



*Игорь Корниенко*

ШУКШИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ  
ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**ЗАВТРАШНИЕ  
ЧУДЕСА**







**ШУКШИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ  
ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**



*Игорь Корниенко*

ШУКШИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ  
ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**ЗАВТРАШНИЕ  
ЧУДЕСА**

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4  
К — 674

16+

*Книга подготовлена по заказу и при финансовой поддержке  
Правительства Алтайского края  
в рамках губернаторского издательского проекта*

**Корниенко, И. Н.**

К — 674 Завтрашние чудеса: рассказы, повесть, роман / Игорь Корниенко ; М-во культуры Алт. края, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. — Барнаул ; Москва : ООО «Полиграфический комплекс», 2020. — 720 с. — (Лауреаты Шукшинской литературной премии).

ISBN 978-5-6044609-0-0

«Завтрашние чудеса» — книга седьмого лауреата Шукшинской литературной премии Игоря Корниенко. В нее вошли лучшие рассказы автора, повесть «Алаведерчи» и роман «Бездомные комнаты».

Все тексты Игоря Корниенко, как он сам признается, в какой-то степени автобиографичны, а все герои — жители Иркутской области, ангарчане. Автор вырисовывает их очень точно, но все же это не бытописание. В его текстах «взрослый взгляд на жизнь и детское к ней отношение, мудрость и слабость, кич и беззащитность», главное в них — выживание человека в экстремальных условиях.

Книга адресована широкому кругу читателей.

ISBN 978-5-6044609-0-0

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

© Корниенко И. Н., 2020  
© Кирилин А. В., 2020  
© КГБУ «Алтайская краевая  
универсальная научная библиотека  
им. В. Я. Шишкова», 2020

Шукшинская литературная премия губернатора Алтайского края учреждена в 2007 году.

Имя В. М. Шукшина для Алтая является знаковым. Талантливый русский писатель, внесший большой вклад в отечественную и мировую культуру, родился и вырос на этой благословенной земле, всю свою жизнь поддерживал связь со своей малой родиной, в литературных и кинематографических произведениях запечатлел ее образ и образы ее жителей. Не случайно в крае существует многолетняя традиция проведения Шукшинских дней на Алтае, а также Шукшинского кинофестиваля.

Литературная премия имени В. М. Шукшина посвящена его памяти. Она присуждается за прозаические произведения, продолжающие лучшие традиции отечественной литературы, вышедшие отдельными изданиями или опубликованные на страницах литературно-художественных журналов в течение трех лет, предшествующих году присуждения премии; претендовать на ее получение вправе авторы, чьи произведения актуализируют проблемы национального самосознания, обретения высокого смысла человеческой жизни, проповедуют идеалы гуманизма, справедливости, доброты, нравственности.

Премия имеет статус Всероссийской. Ее лауреатами стали:

- в 2007 году — Виктор Потанин (г. Курган),
- 2009 — Иван Евсеенко (г. Воронеж),
- 2011 — Михаил Еськов (г. Курск),
- 2014 — Анатолий Кирилин (г. Барнаул),
- 2016 — Михаил Тарковский (п. Бахта, Красноярский кр.),
- 2018 — Владимир Костин, (г. Томск),
- 2019 — Игорь Корниенко. (г. Ангарск).

С 2011 года книги Шукшинских лауреатов издаются в крае отдельной серией. В настоящей книге представлены произведения Игоря Николаевича Корниенко.

## ОБ АВТОРЕ

Игорь Николаевич Корниенко, прозаик, драматург, художник, родился в 1978 году в Баку. Живет в Ангарске Иркутской области.

В областных СМИ работал корреспондентом, ответственным секретарем, заместителем редактора. Публиковался в литературных журналах и альманахах: «Дружба народов», «Октябрь», «Сибирские огни», «Москва», «День и ночь», «Полдень XXI век», «Смена», «Байкал», «Енисей», «Зелёная лампа», в газетах «Культура», «Литературная Россия» и др. Неоднократно участвовал в форумах молодых писателей в Липках. Создал и стал бессменным координатором литературного проекта «Дебют плюс», руководителем молодежной студии Ангарского литературного объединения «АЛО! Пишите правильно!». Член Союза писателей России, Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-центра.

В разные годы Игорь Корниенко становился: лауреатом городской конференции «Молодость. Творчество. Современность» в номинации «Литература» (2003), обладателем национальной премии России «Золотое перо Руси» (2005); Всероссийской премии им. В. П. Астафьева в номинации «Проза» (2005-2006), специального приза жюри Международного драматургического конкурса «Премьера-2010»; Всероссийского конкурса имени Игнатия Рождественского в номинации «малая проза» (2016), Всероссийской литературной премии имени Шукшина (2019).

# ОТ РЕДАКТОРА

*Я не пишу рассказы, рассказы пишут меня.*

Игорь Корниенко

Извечный вопрос, на который никто не в силах ответить: откуда писатель черпает все то, что на протяжении собственной творческой жизни излагает в своих трудах? И еще: откуда, из чего он сам-то получается — писатель? Понятно, подобные вопросы вызывают те авторы, которые в той или иной степени пробуждают наш интерес. Неинтересен — нет вопросов, ходи себе мимо.

У вас в руках книга Игоря Корниенко, книга, появившаяся на свет благодаря победе автора в конкурсе на литературную премию Василия Шукшина в 2019 году. Сорокалетний автор из Ангарска стал лауреатом этой премии в год 90-летия со дня рождения Василия Макаровича и 45-летия со дня его смерти.

Самый короткий и в то же время исчерпывающий отзыв о творчестве Игоря Корниенко в пресс-релизе русского Пен-центра: «Зона его писательских интересов — существование российского человека в экстремальных условиях и выживание вопреки всему. Стиль его нервен и эксцентричен, однако, писательское будущее — несомненно. Уж больно энергичен он на фоне стилистически нейтральных и вяловатых своих сверстников».

Итак, откуда? Рожденный в Азербайджане, он вынужден был в 16 лет из-за межнационального конфликта спасаться в сибирском Ангарске, где до сей поры проживает в рабочем общежитии вместе с матерью на полузаконных основаниях. Статус беженцев семья не получила. Рабочее общежитие — пожалуй, сильно сказано, скорее, это приют для потерянных и потерявшихся. Об этом, о населении печального дома, роман, заключающий книгу, — «Бездомные комнаты». Но сразу предупреждаю, повествование выходит далеко за пределы простого жизнеописания так известных нынче миру и литературе наших отечественных бедел.

Остановлюсь на трех особо близких мне рассказах из этого сборника.

Рассказ «Птичка-невеличка» о человеке, работающем на тракторе где-то в далекой российской глубинке. Человек маленький, несмотря на то, что фамилия у него Богатырь и сам он сложения и роста богатырского. А вот все равно маленький, как большинство простых тружеников в весях и пределах нашей необъятной родины. И попадает этот маленький большой человек в ситуацию, когда надо по возрасту переклеить фотокарточку на паспорт. Делов-то! А вот тут маленького человека и подстерегают большие неприятности. Он неразличим, неузнаваем на собственной фотографии для чиновного люда и охранителей порядка, в котором эти чиновники правят бал.

Понятно, что рассказ не столько о горемыке Иване-дураке, сколько о горечи новой жизни, где забыта-заброшена деревня-матушка, где царит бесправие простого человека-труженика и всеильна власть чиновников и их многочисленной охраны. Чихают все, в чьем присутствии появляется Иван. Им непереносим сам воздух вокруг труженика. Они простывают от малейшего дождика, а он привык к непогоде, работая с утра до ночи на своем тракторе, сороковке. Т-40 — маломощная техника, чаще используется на перевозках или на вспашке огородов. Понятно, что ему, болезному, невеликому умом, не доверяли, скажем, Т-80, Беларусь. Но эта деталь подчеркивает родство железного коня и великана-человека, что и необходимо автору. Рассказ начинается со сна, в котором любимая машина превращается в монстра и гонится за Иваном, чтобы уничтожить его. Для Ивана это потрясение, потому что после смерти матери трактор — это у него единственная родная душа на земле. Но сон вещий, как оказывается впоследствии. Иван помнит, что его место жительства называется селом, а для всех прочих уже давно все едино — село, деревня. Так и произошло в жизни. Большие поселения, называемые поселками городского типа, или рабочими поселками вынуждены были переименоваться в деревни, чтобы получать нищенскую льготу от государства. Государство предстает перед нами

в лице мелких чиновниц, охранника и полиции, которые потеряли способность не только чувствовать и сочувствовать беде ближнего, но и со зрением у них что-то произошло: перестали различать лицо простого человека, маленького человека, который для них чрезмерно мал несмотря на свой огромный рост. Метафора сильна, ничего не скажешь.

Знаете, в живописи есть несколько приемов, один из них — нанесение красок на холст мастихином. Мазки получаются широкие, выразительные, объемные. Кисть живописца пишет по-другому — мягче, тоньше. Птичка-невеличка и Иван Богатырь, фамилия у него такая, да и сам он такой. Мощный образ, мощный мазок. Здесь Игорь работает мастихином. Но иногда в ткань работы просится кисть.

Другой рассказ Корниенко — «Иду искать». Форма, уже опробованная в литературе (Аля Кудряшова, «Мама на даче»). Дети играют в прятки, счет до пятидесяти. Лирическая зарисовка, в которой между отсчетами в игре перед глазами водившего проходит отрезок его жизни. Любовь к умирающему отцу, тоска по уходящему детству. Вот таков финал рассказа.

«— Сорок шесть!

Рука отца обжигала. Он сжал ладонь, и я услышал, как бьется его сердце.

— Ты отрастишь новые крылья, папа. Ты сильный, я знаю. Или хочешь, я поделюсь с тобой своими?.. Одно крыло оно ведь всегда твое. Ты можешь на него рассчитывать.

Отец кивает. Смотрим в глаза друг другу, и я вижу в зрачках папы свет, словно внутри него зажглось ослепительно-белое солнце. Или это луна? Та самая, которую папа подарил маме, достал с неба?..

— Сорок семь!

Слезы щипали глаза. Проморгался. Снова закрываю и вижу все тот же свет, что хранится в глазах отца. Темнота стала светом.

— Сорок восемь!

— Сорок восемь! — кричит до звона в ушах Фунтик.

— Сорок девять!

Вовка-друг прав, никто, кроме нас, не может хорошо прятаться. Димка Ягода за гаражом жует стебель травы. Павлик рядом за толстым стволом сосны спрятал голову между коленок и зажмурился в ожидании. Федька Склянка за бочкой отбивается от назойливой мошкары. Настя в овраге, в окружении стрекоз и анютиных глазок. Папа?.. В этот раз я его найду. Папа там, где свет. Я найду его там, в самом ярком месте. Ярче луны. Ярче солнца.

Поворачиваюсь. Открываю глаза, солнце ослепляет.

— Пятьдеся-а-а-атт!.. — орет Фунтик. — Кто не спрятался, он не виноват!

— Пятьдесят.

— Иду искать!..»

Рассказ того же автора «Змея кусает себя за хвост». Дело происходит... Я потом уже узнал, что дело происходит в Нагорном Карабахе, речь о междоусобной войне. Однако, читая, я не думал, где это, когда это? Война везде и во всякие времена — преступление против человека, против жизни, против света. Хорошая, яркая, выразительная антивоенная проза. Когда у людей теряется разум, а с ним инстинкт самосохранения и понимание, что человек — подобие своего Создателя, за дело берется природа, в том числе та часть ее, которую воссоздал и приспособил себе на службу все тот же человек. И неспроста писатель выбирает натуру южного края, где плодоносит все — кусты и деревья. И символ мудрости змея, и плиты, и старое тутовое дерево — все на своем месте. И дымок из трубы как символ соединения человека с небом. Здесь тоже крупные мазки мастихином, но среди них занимают свое место и нежные штрихи тонкой кисти.

«Вишни не смогли дать отпор солдатам, когда безликие, в камуфляже цвета хаки, с оружием наизготове те один за другим вошли в зеленую калитку. Деревья хлестали ветками по каскам. Стреляли косточками — выбили нескольким захватчикам глаза. Воины ломали кирзачами плиты на дорожке к дому. Черными шрамами изрезали надпись — посвящение всем мамам!

Победно вошли в дом, гогоча и хрюкая. Били посуду, зеркала, выбрасывали книги... Крошили жизнь. Увечили...

Слоны бросились в бой со шкафа, но проиграли в неравной схватке, раздавленные солдатскими сапогами.

А с наступлением ночи, когда люди и нелюди спят, сад с домом работала план атаки.

Тутовник рухнул с рассветом на палатки солдат. Им не хватило места в доме, и они разбили лагерь на помидорных грядках под могучим деревом. Первый лучик солнца стал сигналом к действию, гулко вздохнув, великан заключил в объятия незваных гостей. Оставив под собой кровавое месиво. Раненые и кто уцелел, выползали из-под кусков дерева, тут их и поджидали хлесткие лианы виноградника...

Следом за главой сада обрушилась крыша дома.

Оставшихся в живых врагов добивали гранатники. Взрываясь гранатами. Кроваво-алыми смертельными вспышками, взрывами окрашивая рассвет.

Размечая, как делал я не раз в контурных картах по истории и географии, красными стрелками и штрихпунктиром наше отступление на север.

— Ну вот, я вернулся, я бы все равно вернулся, — оправдываясь, сказал уцелевшему гранату. — Алычи, твоей соседки, нет. Так посадим новую. Подружитесь. И тебе найдем приятелей. Ничто не проходит бесследно. Все уничтожить не сможет ни жизнь, ни смерть. Что-нибудь да останется... И кое-что, но можно вернуть. Воскресить!

Обернулся. Увидел боковым зрением какое-то движение среди травы, и екнуло сердце: жива! (Речь о змее, хранительнице очага — А. К.)

Дух дома, он ведь бессмертен!

И в подтверждение надо мной брызнул красным салютом последний выживший гранат:

— Здравствуй!»

Виноградник, вишня, гранатовые деревья, инжир — военачальники и солдаты, взявшие на себя войну, непосильную для людей. Детство, мама, предательство... Предательство. Это особая часть рассказа, особый путь постижения самого непонятного и непростительного: свои против своих! Вот самый горький, самый болезненный вскрик Игоря Корниенко. Вот, простите меня, пропаганда мира ярче и действенней всякой болтовни на эту тему.

Из рецензии Елены Сафроновой, критика: «Проза Игоря Корниенко легка, как воздушный поцелуй, а взгляд его, совсем еще молодого человека на этот мир тяжел, как крест (Крестный путь?). Возможно, это следствие треволнений и разочарований, которые пришлось пережить автору в самые сложные для человеческого становления годы. Подростковые «испытания» выдерживают не все, кто-то ломается, уходит... Но вместо того чтобы — распространённые опасности для творческого человека! — сесть на иглу, убить мымру, Корниенко стал служить высокой риторике и самым глубинным, теплым и добрым человеческим чувствам. Мне импонирует его живой, дышащий, очень достоверный язык, тонкое чутье автора, умеющего сделать персонажей «в самую точку», именно такими, какие живут рядом с нами, мне импонирует следование золотой классической традиции. Этот путь безошибочно выбирают очень одаренные люди, кому не надо доказывать талант излишним экспериментаторством».

И еще одна цитата, эти слова принадлежат замечательному писателю, ушедшему от нас, но успевшему заметить совсем еще молодого автора, — Роману Солнцеву:

«Игорь Корниенко — человек неумного темперамента и замечательного русского слога. Ни черта не боится Игорь Корниенко. Взял да написал рассказ «Памятник Гитлеру» (мы его обсуждали) — он чутко уловил интерес современных детей к любому жуткому мифу, и их бестрашие, и нашу все еще закоснелую привычку ругать, а не объяснять...»

Напоследок замечу. Чего невозможно не увидеть, не обнаружить в прозе Игоря Корниенко — любви к человеку, к его высоте, данной Создателем.

*Анатолий КИРИЛИН*





# РАССКАЗЫ



## ПТИЧКА–НЕВЕЛИЧКА

В ночь перед поездкой в паспортный стол Василий Богатырь увидел страшный сон.

— Будто трактор мой, сороковка, с которого не сле-  
заю, как в шесть лет батя усадил, — рассказывал тре-  
вожным, дождливым утром он фотокарточке, — с ума  
сошел.

На старом пожелтевшем снимке матушка его Нина Ильинична смотрит на сына сквозь мутное стекло в деревянной резной рамке. Ласково смотрит, пони-  
мающе, из-под цветастой косынки.

Вася сидит за столом на кухне с кружкой горячего  
чая и продолжает взволнованно:

— Капот открывается пастью с клыками. Вместо  
трубы выхлопной — щупальце, им он пытается схва-  
тить меня да внутрь себя затащить. А ревет, гудит, что  
оглохнуть можно. И цветом непривычный, все черный  
да красный... — Отхлебнул чай, протер портрет мате-  
ри рукавом домашней рубашки. — Бежал через поле от  
него, ну, чтобы в лесу укрыться, где трактору не про-  
ехать, а поле бесконечным сделалось. Я в этой пусто-  
те и сгинул. Ни трактора, ни леса, ни меня... Пропал.  
С этим словом и проснулся в четвертом часу. Сел  
на кровати, а внутри все трясется, как с похмелья.  
И страшно стало от неизвестности какой-то. И тоска  
навалилась.

Богатырь ростом и силой в фамилию был. Сейчас,  
в сорок семь, поседели рыжие волосы, оплешивела ку-  
дрявая голова, а по молодости — Буслаевым дразнили.  
А как бороду отпустит, так вылитый богатырь русский,  
былинный.

«Только вот ума, как у Ивана-дурака», — шушука-  
лись сельчане.

В бывшем совхозе, теперь ЗАО «Матвеевское», Василия считали ценным кадром. «Главный по пашне» называли. Работал, если надо, сверхурочно и без обеда, в праздник и в выходной... Безотказным был Богатырь, за «спасибо» огород вспахивал.

И как так получилось, что Люда-кассирша заглянула в паспорт Василия и ахнула и взмахнула руками:

— Василий Григорич, у вас же фотографии нет!

Богатырь согнулся в три погибели у окошка кассы, где по пятницам, в конце месяца, премии отличившимся сотрудникам выдают.

— Какой фотографии? — пробасил и захолопал глазами.

— Дак вам уже сорок семь, а фотографию третью в паспорт надо в сорок пять клеивать. Оштрафуют теперь, — заохала девушка. — Вам в город, в паспортный бегом надо. Сфотографируйтесь и срочно туда. Вот и денюжка пригодится, — отсчитывала мятые бумажки она, — ровнехонько четыре тысячи восемьсот два рублика.

Василий промычал:

— Спасибо.

Тем же вечером, пожаловавшись покойнице матери, пообещал с утра съездить до города сфотографироваться да в паспортный стол.

Ох, не любил он поездки в цивилизацию. От села Матвеевка до города два раза в день, утром в полвосьмого и в семь вечера, ходил рейсовый автобус. Еще на электричках можно добираться, на попутках. Милей всего Богатырю было в родном селе. Да делать нечего, как жить без фотографии?.. Противозаконно получается, размышлял Василий. Люда-кассирша просветила, объяснила как и что:

— Паспортный теперь фээмэсом называют. На Ленина два, в центре самом, вместе с отделением милиции, найдете быстро, если что, язык до Киева... Но сперва-наперво фотки. Моментальное фото теперь

делают, там и фотосалон рядом. Не заплутаете. Денег побольше возьмите на всякий... В паспортном фээм-эсе вам всё скажут, штраф заплатить надо будет. Пожурят чуток...

— Мамка обычно все дела с документами решала, — бурчал Василий. — Вот ее пять лет как не стало, так я и проштрафился.

— Это не беда, — успокаивала девица, жалела. — Поправимо все, а матушке вашей царствие небесное, такая отзывчивая, такая добродушная...

Кивал в ответ Богатырь, соглашался:

— А мне и не нужен никто больше был. Хоть и сватала матушка, а не тянуло к семейной жизни.

Люда прищывала:

— Нет, Василий Григорич, женщина вам нужна. Обстирывала бы, по хозяйству помогала. И она ну никак бы не допустила, чтобы с паспортом беда такая случилась. Просрочить на столько лет.

Нет ответа у Богатыря. Свесил голову на грудь, сказал тихо:

— Спасибо и до свидания, — громко зашагал по деревянному полу вон из конторы.

— Удачи! — крикнула вслед кассирша и выдохнула про себя. — Такой мужик пропадает... — И закрыла окошко кассы.

На утренний автобус из Матвеевки Василий едва не опоздал. Проверял, все ли в порядке с трактором.

— Может, вещий сон, и ты действительно обезумел, убить меня хочешь, — заглянул в кабину Богатырь. — Ожил и давай все крушить. — Обошел в четвертый раз вокруг трактора. — И ведь за мной погнался, будто я плохое что тебе сделал, — потрогал глушитель. — А ты ж как родной, — погладил фару. — Как член семьи. Мы же одни друг у друга только остались в целом свете.

Трактор молчаливо слушал под навесом между домом и стайками с гаражом. Дождь стучал по деревянному

настилу навеса все сильнее и вскоре перешел в ливень. Тут Вася и спохватился, и побежал, перепрыгивая через лужи, к остановке автобуса.

— Еле успел, — пыхтел, забегая в помятый желтый «икарус». — Заговорился, совсем времени счет потерял, а мне до города срочно надо, в паспортный, в фээмэс.

Водитель чихнул:

— В такую дождину за простудой только ездить.

Загудел двигатель, захлопнулись со страшным скрипом двери.

Богатырь вздрогнул, попятился. Словно трактор из ночного кошмара нагнал его и уже ревет за спиной.

— Вот же ж жуть, как двери по-человечьи прям кричат. Смазать надо бы, так и от приступа помереть можно.

Водитель снова чихнул.

— По мне так, дедуль, пусть орут и пусть помирают. Меньше народу, больше кислорода. У вас в деревнях старики одни, чего коптить небо зря, — и чихнул снова.

Автобус ходил ходуном, и скрипел, и стонал каждой деталью ржавого организма.

— Село Матвеевка у нас, не деревня, — сказал единственный пассажир.

— Хрена ли разница. Прошлый век. Такие слова давно пора забыть и не употреблять. Атавизм, ё-моё.

— Так земля же всех кормит, куда от земли-то уйдешь, только в нее саму...

— Ой, дед. Не начинай мозг засорять, ты хоть слово «интернет» знаешь? Земля тебя кормит.

Василий хмыкнул:

— Знаю. Детали к моему трактору Сёмка, сосед, через компьютер заказывал. А ты знаешь, что чем больше солнечных дней по осени, тем слаще свекла сахарная?

В ответ водитель чихнул.

Оставшийся час до города в автобусе раздавались лишь вопли железа вперемешку с чиханьем молодого водителя.

— Бедный автобус. Никто и не пожалеет машину, а ведь у техники тоже душа есть, — вздыхал тихо на заднем сиденье у горячей печки Василий. — Я своего раз в неделю мою теплой водой и хвалю за хорошую работу, поглаживаю. А что сон такой приснился, то ничего страшного, не догнал ведь меня тракторный монстр.

На площади Ленина Василий вышел молча под дождь.

Водитель чихнул на прощание. Автобус застонал, отъезжая.

Большая неоновая вывеска на супермаркете подсказала — «Моментальное фото. Портреты на заказ. Картины. Рамки всех размеров. Только у нас. Скидки частым покупателям. Кредит».

— Тридцать пять на сорок пять, — повторял про себя Богатырь, шагая к стеклянным дверям фотоателье, — черно-белое, а лучше цветное, анфас, без головного убора.

Сотрудница городского отдела миграционной службы привлекла Василия Григорьевича фамилией. «Борозда, — выбито синими буквами на белом бейдже, — Лариса Романовна».

Полная женщина с башней обесцвеченных волос, ярко-алой помадой на тонких губах чихнула в платок, пока Василий раскладывал перед ней на столе документы, сказала:

— И чего вам в такую погоду дома не сидится?! Эпидемия же ходит. Или телевизор не смотрите, газет не читаете?..

Богатырь мотнул плечами:

— Да привыкли мы к непогоде. Дождь землю с небом роднит — урожай готовит.

Лариса Борозда осмотрела посетителя не стесняясь, заглянула под стол, оценила грязные сапоги Василия:

— Все понятно. Колхоз «Красная Заря» снова в строю. — Высморкалась в платок, убрала в рукав пиджака.

— Из Матвеевки.

— Так и я про то ж... Что там у вас, давайте...

— Да вот паспорт...

— Форму заполнили? Госпошлину заплатили? Вы фотографию менять, вижу... — Женщина осеклась, посмотрела на мужчину, снова на фотографии, чихнула в ладонь: — Вы что, шутите? Что за клоунату здесь устроили?! Это не ваш сельский коровник! — швырнула на стол бумаги Василия. — Мало того что с такой большой просрочкой пришли, так еще и это! — постучала она указательным пальцем по фотоснимкам. — Штраф три тысячи и новые фотографии!

Богатырь не находил слов, тупо смотрел на кричащую сотрудницу и хлопал ресницами:

— А что? Что не так?

— Все не так! Это кто на фотографии?! Вы что, меня за дуру держите?!

Мужчина взял снимки. С цветного глянца на него смотрел он — его глаза, нос его, губы — варениками, как матушка в детстве называла. Это без сомнения был он. Тот, кого он видел в зеркале перед тем, как сесть на стул в комнатке фотографа...

— Это, если хотите знать, нарушение закона. Вы собирались вклеить в свой паспорт чужое лицо! Не свое, а какого-то преступника, может которого полиция ищет! Маньяка-террориста, я не знаю!..

— Но ведь... ведь это я, — заикался Василий, глазами обыскивая комнату в поисках зеркала. — Я полчаса назад сфотографировался.

— Значит, я идиотка?! Так получается?! — взвизгнула сотрудница и вскочила из-за стола. — Вы головой не ударились случайно по дороге к нам?

Богатырь не нашел, что ответить, лишь пожал плечами.

— Или у вас справка с психушки есть? Но тогда все понятно, — продолжала на визгливых тонах Борозда. — Я спрашиваю, у вас есть справка?!

Василий снова пожал плечами.

— Да вы вообще в своем уме?! Дурака из себя корчите или по жизни так?!

Иванушкой-дурачком обзывали маленького Васю с детсада. Мальчик рос, тело наполнялось здоровыми соками земли, крепло, уже в десять лет у него был кулак размером с кувалду, и сельчане побаивались откровенно называть Василия дураком. Только Богатырь все равно знал, что из Иванушки-дурачка он вырос в Ивана-дурака, так его и дразнили бы, если бы не сила, которой наградил Бог. С детства же терпеть не мог даже шуток о своих умственных способностях. Поэтому многие в школе получали тумачи и затрещины. Успокоить тогда Богатыря могла лишь родная матушка. Ей одной он позволял называть его губы «варениками», а самого его «моим дурашкой».

В голове Богатыря щелкало, как в тракторе, когда он включал зажигание, и разум Василия окутывало туманом.

— Я не дурак, — сказал он громко, отодвигаясь вместе со стулом от стола. — Не дурак! — встал во весь двухметровый рост.

Маленькая сотрудица, колобок в пиджаке и юбке, запищала:

— Не знаю, как это у вас называется, но все вы деревенские того...

— Из Матевеевки я, село это, не деревня.

— Ой, да какая разница! — Женщина шагнула от посетителя. — Меня не так интересует причина такой просрочки, сколько ваши, точнее, не ваши, фотографии.

— Как матушка померла, так бумагами никто и не занимался. Я на тракторе в поле с утра до ночи, это Люда-кассириша заметила, вот и наказала ехать сфотографироваться да к вам, в паспортный... Это мое лицо на фото, клянусь вам.

Борозда успела вытащить платок, чихнула в него, убрала:

— Нет, это дурдом какой-то. У вас, может, с глазами проблемы?! На снимках — не вы. Не вы-ы! И почему вы встали?! Сила есть, ума не надо? Смотрите, мы вас быстро приструним. Вскочили тут... Сядьте!

Богатырь подчинился. Во сне он исчез в тумане, сейчас удалось выбраться.

Сел, посмотрел на цветные снимки.

Его точная копия смотрела на него.

«Может, премию дадут? Или повысят?! — выстрелила мысль в голове Борозды и застряла, и ни о чем она больше не могла думать. — Задержала мошенника, пресекла нарушение закона, чем не заслуга, не квалифицированная работа, достойная награды?»

Мужчина бормотал про то, как ему жилось с матерью после ухода отца, как он с ранних лет на тракторе, как трудится в бывшем совхозе, и как его там ценят, и как не любит он ездить в город.

— Да вот беда с этим паспортом, а тут еще вы говорите, что лицо не мое. Дайте зеркало самому взглянуть на себя, — закончил Богатырь.

Женщина ответила:

— Да, да, сейчас, погодите, — и быстрым шагом вышла за дверь.

Василий, оставшись в одиночестве, попытался разглядеть себя в стекле шкафа, набитого бумагами. Не получилось — размытое серое пятно лампочки вместо лица.

— Вот недоразумение-то, — вздохнул он, — как со сна началась погоня, так и...

Вернулась Борозда с тощей женщиной в форме.

— Заместитель начальника городского отдела фээм-эс подполковник Кажяева Зулия Гасановна. Покажите ваши документы, — отчеканила гостя.

Богатырь не успел подняться, чтобы поприветствовать начальницу, протянул все, что привез с собой, завернутое в целлофановый пакет от дождя, как научила мама.

— Фото посмотри, Зуль, — прошептала полная на ухо тощей.

Подполковник вырвала ленту снимков из огромных ладоней, впиалась в них толстыми линзами очков. Чихнула беззвучно в плечо, сказала:

— Это кто на фото?

Василий не нашел слов, тяжело выдохнул и уронил голову на грудь.

— Вы сами-то видите, что это не вы на снимках?

— Ничего он не видит, — ответила за него Борозда. — Зеркало, говорит, принесите, чтобы я на себя посмотрел. — И она незаметно покрутила пальцем у виска.

— И что, принесли зеркало?

Лариса Романова чихнула:

— Нет, конечно!

— Так, Богатырь Василий Григорьевич, шестьдесят девятого года рождения, село Матвеевка, — начала тощая, прохаживаясь вокруг сидящего на стуле посетителя. — Два года проживали по недействительному паспорту. Это серьезное административное нарушение. Более того, вы приносите фотографию неизвестного человека и выдаете его лицо за свое.

— Это я! — встrepенулcя Василий. — Богом клянусь!

— Бога вот только, пожалуйста, сюда не вплетайте! — выкрикнула подполковник. — Давайте позовем третьего и спросим, похоже ли ваше лицо на лицо с фотографии. Давайте?!

Богатырь кивнул.

— Люда, крикни Пашку с отдела.

Через минуту в комнате появился молодой бритый парень в полицейской форме без погон.

— Взгляни и скажи, что ты видишь, Павел Евгеньевич. Человек на фотографии и человек на стуле — это одно лицо? — Тощая протянула парню снимки.

Бритый посмотрел внимательно в лицо Василия.

— Если это одно лицо, то моя бабушка Мэрилин Монро, — хихикнул парень. — Не похож ни капли.

— Чего и следовало ожидать, господин Богатырь.

— Богатырь, — хихикнул бритый. — Да, здоровый бычара. А что он натворил, богатырь этот?

— Он доказывает, что на фото он, полчаса назад сфотографированный, — вставила Борозда и чихнула. — Уже час назад сфотографированный, — добавила, сморкаясь в платок.

Павел кашлянул и шмыгнул носом:

— Простуда, блин. А может, он того? Блаженный? Такие богатыри всегда недалекие. Сила есть, ума...

Василий стукнул по столу кулаком. Канцелярские принадлежности, папки с бумагами как одна подпрыгнули.

Бритый по-девчачьи взвизгнул. Подполковник вздрогнула. А сотрудник Лариса пригнулась и прикрыла голову руками.

— Это вы тут все с ума посходили! Я что, не знаю, как выгляжу?! Свое лицо не узнаю?! Совсем одурели!

— Паша, вызывай подмогу, — зашипела, сидя на корточках, Борозда. — Он нас всех одной левой замочит.

Паша чихнул и достал электрошокер.

— Я сам, — шепнул и ударил Богатыря в спину.

Тысячи ос впились в затылок Василию. Его бросило на стол, стол под ним рухнул. Богатырь провалился в жаркое, липкое, ромашковое лето. Он лежал в цветах, где-то в поле за селом, лицом вниз и дышал горячей землей. Пропитываясь сочностью благоухающих трав, одурманенный чабрецом и жарками. А потом он услышал, как мама зовет его, поднялся на локтях, сорвал охапку ромашек и бросился к ней. Тут его и настигли осы. Потемнело в глазах от боли в голове, ноги и руки онемели, он упал, и осы накинулись на него. Они жалили, прожигали насквозь. Они не оставили ни миллиметра живой плоти.

— Мама, — позвал Василий.

Ответило ему лязганье и рев стальных дверей. Кричало железо. И человек закричал вместе с ним.

— Лица на тебе нет, — хриплый, прокуренный голос над головой.

Богатырь разлепил глаза. Он на бетонном полу, а над ним склонился старик — черное, прокопченное лицо, беззубый рот; бомж завернулся в грязный мешок, а на лысой голове шапка-буденовка с красной звездой.

— Лица, говорю, на тебе нет, сынок. Не видать. Сплошная корка. Кровь да синяки. Картинка, однако, похуже моей будет. Кровищи вон и на полу сколько — море. Ногами, суки, тебя били, однако.

Василий протер лицо, окрашивая рукав красным. Поднялся, гулко прогудев: «У-ухх». Болело все тело. Болела душа.

— Посадили, что ли? — выпрямился во весь могучий рост Богатырь.

— Меня ночью привезли, однако, ты тут уже лежал, ага. Тут долго не держат. Сутки-трое — и отпустят. — Бомж протянул Василию смятый прямоугольник из двух фотографий. — Твое, однако? Валялось тут...

— А как понял, что мое? Похож разве? — громко, что у бомжа-старика зазвенело в ушах, пробасил Василий.

— Похож. Как же. Кто ж еще? Ты и есть, — сообщил бомж, беззубо улыбаясь. — Однако сильно они тебя, если себя не узнаешь.

— Да я-то узнаю, они вон, начальники-властелины, говорят, что я — это не я.

Хихикнул сокамерник, почесался:

— Поэтому лучше бродяжничать. Бомжу ни паспорта, ни узнаваемости не надо. Без лица жить проще. Как птичка-невеличка: куда ветер понесет, туда летишь. Что найдешь, то и скушаешь. Где ночь застала, там и заснул...

Богатырь расправил снимок, посмотрел на измятое лицо.

— Теперь наверняка узнают, — вздохнул и убрал фотокарточки в карман на груди.

— Узнают, — щерился бомж, — ихняя же работа, как не узнать. Однако и зубы выбили?

Василий проверил, сплюнул кровавую слюну:

— Целы. Слабаки и трусы. Они только исподтишка и со спины могут. Тявкать да скулить.

— У тебя вся спина в следах от подошв, почиститься надо бы, да тут и водички попить не принесут, — говорил бомж. — Плясали они на тебе, однако, всем отделением полиции.

— В паспортный я ходил, паспорт просрочил, фотку вот принес, а меня сюда...

— Так они же все заодно. Все повязаны, одной веревкой связаны. Менты, кенты... Еще и транспортники, однако, плясать на твоём хребту приходили. Хе-хе. И депутаты с дум всяких, — смеялся сокамерник, — и президент, однако, гопака прилетал на ребрах твоих отстучать...

Василий улыбнулся разорванным ртом:

— Президент?.. Гопака?..

— Ага, на твоих костях. Хе-хеу! — выкрикнул старик, вскочил резво на ноги и давай плясать по камере, при топтывая и хлопая в ладоши: — Эх, говори, Москва, разговаривай, Расея! — схватил Василия за руки и потянул в пляс за собой. — Где наша не пропадала?! Везде пропадала! Эх, живы будем, не помрем!

Богатырь неуклюже прыгал следом за танцующим бомжом и старался подпевать. Старик орал в горло:

— Как на Крымском на мосту

Мильцанер дерет блоху.

Он за что ее дерет?

Она без паспорта живет.

И-ху!

Василий тоже закричал:

— И-ху!

Бомж продолжал, не выпуская рук Богатыря, скакать и брызгать слюной:

— Негодяи все у власти,  
А мы им: «Почтенье! Здрасте!»  
А ведь надо бы сказать:  
«Паразиты, вашу мать!»  
Их-их-у!

Дверь бабахнула выстрелом. Старик мышью забился в угол, словно и не было. Посреди камеры остался один Богатырь с поднятыми в пляске руками и улыбкой во все лицо.

— Нарушаем, — сказал толстый полицейский и с трудом протиснулся в проем камеры. С красными воспаленными глазами, алым носом. — Пять часов утра, ты, дылда неотесанная, — продолжал, шмыгая и постукивая резиновой дубинкой по ладони. — Мало тебе, как я посмотрю? Еще надо бы массажных процедур выписать. Так мы это сейчас быстро оформим. — Полицейский неожиданно чихнул, от души чихнул. С громким эхом и соплями. Выронил палку. Бомж бросился ему под ноги и повалил на бетон.

— Беги, сынок! Птичкой-невеличкой лети отсюда! — закричал старик. — Задай за нас им всем жару. Беги!

И укусил что есть силы беззубым ртом толстяка за нос. Полицейский завыл.

Богатырь бежал не оглядываясь. Сначала он слышал за спиной крики, сигналы, топот, но город накрыло туманом, и беглец растворился в нем. Голова была ясна и чиста. Туман в нее не прокрался.

Когда Василий выбрался из белой пустоты, город остался далеко позади. Впереди поля и леса его земли. Богатырь умылся росой. Сорвал на ходу горсть рябины, в это новое утро ее горечь бодрила, и он не мог ею насытиться.

Быстрее рейсового автобуса добрался до дома. Сама мать-земля помогала идти — мелели болота,

выравнивались холмы и пригорки, лес сторонился, поля расступались... Прямой дорогой к родному сердцу забору, к калитке, а там ждет, скучает трактор его, сороковка.

— Как батя в шесть лет посадил, так и срослись мы с тобой, — приговаривал часто Василий, починяя трактор.

В доме разулся, попил воды и сразу к фотографии матери:

— Ох, и заскучал я по вам, матушка, — поцеловал теплое стекло портрета, протер углом скатерти.

Опустил голову на стол, да так и заснул мгновенно. И сон ему снился из детства, и проспал бы так в окружении стен родных, которые тело и душу лечат, дня три, не меньше, только услышал голос матушки:

— А паспорт-то, сыночек? Как ты без паспорта будешь?! За паспортом-то поезжай. Да помни наказ матери — в обиду себя не давай! Зло наказывай! Добру способствуй, помогай. Поезжай!

Проснулся Богатырь, потянулся, поднялся.

— Ваша правда, матушка, — сказал и глянул с опаской в зеркало, а на лице ни следа от побоев. Ни синяка, ни царапинки.

— На хребтах, значит, и на ребрах. На костях людских. Пляшете. По слезам материнским и старческим... — словно не своим голосом заговорил Василий. — Восстанут сломанные спины, заживут перебитые ребра...

Вытащил из нагрудного кармана измятые фотографии на паспорт, выбросил.

Надел все чистое, материнскими руками сшитое да связанное.

Достал из рамки фотокарточку матери в цветастом платке, поцеловал и спрятал у себя на груди, ближе к сердцу и нательному крестику.

Перекрестился и вышел во двор.

Трактор блестел небесным сиянием в лучах рассветного солнца.

— Друг сердешный, помощник верный, заждался ты меня, вижу. — Провел по резине, по горячему от лучей солнца капоту. — Работа нас ждет жизненно важная.

Поднялся в кабину Богатырь, на мягкое сиденье, которое мать обтянула синей, под цвет глаз сына, тканью. Обхватил, в точности как сорок лет назад, ладонями кожаную мякоть руля и почувствовал, как трактор под ним оживает. Как сливаются они воедино.

Стекла и двери вмиг покрылись непробиваемой панцирной пленкой. Ощетинилась стальными иглами крыша, и кабина стала неприступной крепостью из живой дышащей брони.

Глушитель превратился в знакомое Василию по сну щупальце, им трактор и открыл ворота на дорогу к городу. Дорогу в новый день. Новую жизнь. Зарычал трактор, оповещая небо. Загудела под стальными колесами земля. Богатырь откинулся на спину и провалился в мягкую перину внутренностей трактора. И закрыл глаза. Они всегда были одним целым. Человек и машина. Плоть и железо. И вот слились на веки вечные в день брани.

Сердце Богатыря стало сердцем трактора — железным и бессмертным. Богатырь смотрел глазами-фарами на проносящиеся мимо машины с напуганными в них людьми. Смотрел, как быстро он мчится сквозь поток человеческой жизни вместе с попутным ветром, вслед за солнцем... И думал о птичке-невеличке. Какая она? Как выглядит? От чего спасается и куда летит? Где найдет прибежище и спасение?

Так, с мыслями о птичке-невеличке, он и въехал в город. В самый разгар дня.



# ИДУ ИСКАТЬ

*Знакомым с правилами игры.*  
И. К.

«Туки-туки за папу!»

— Раз!

Все вокруг исчезло.

— Два!

Секунда, а уже кажется, что ничего не было. Память чертит образы. Вот стена, в которую уткнулся лбом, на ней нацарапано: «Обама лох». Справа забор, увитый плющом, — огород бабы Кати. По левую руку — угол дома, где живет Павлик, который наверняка сейчас улепетывает за гаражи, откуда его прогонит прячущийся там вечно Димка Ягода.

— Три!

Темнота живая. Дышит. Течет. Меняется... Рождает другие цвета. Из черного появляется красный, появляется синий... Небо без солнца бесцветно. Серое и безжизненное, даже птицы боятся летать.

— Четыре!

Белая вспышка. Это я приоткрываю веки, вспышка становится светом, расползается побеленной стеной со знакомыми буквами «о», «б», «а»...

— Пять!

Прислушиваюсь. Больше не слышно шлепанья сланцев, смешков, улюлюканья... Танька-толстушка не пищит, чтобы не подглядывал, хотя всем известно, что дальше как за дом она не убежит. Все прячутся.

— Шесть!

Вовка Фунтик не играет, у него заноза в пятке. Сидит рядом, спиной к стене, пыхтит и стонет, выковыривая колючку из ноги.

— Слабаки. Никто, кроме тебя и меня, не может хорошо прятаться, — шепчет.

Не отвечаю, выкрикиваю громко:

— Семь!

Папка отлично может спрятаться, знаю это на все сто миллионов процентов и могу поклясться всем чем угодно.

— Батя у меня знаешь как прячется, так, что век не найдешь, — говорю. — У него это наследственное. Семейное у нас, от деда. Дед мой же следяком был...

— Знаю я про твоего деда все, — кричит Фунтик. — И с дядей Колей тоже в прятки играл, забыл ты, что ли, совсем?

— Восемь!

Это правда, ага, отец такой, с нами играл частенько. В казаков и в лапту, в футбол гонял на поле, про прятки вообще молчу... Не слушал, что там ему другие взрослые говорили, мол, «тыкать позволяешь шпане» или «не строй из себя клоуна». Во дворе он был своим. Это сейчас он не с нами, потому что болеет. Второй месяц как что-то сломалось в нем.

— Перетянул пружину, видать, — говорит и гладит меня по спине. — Ты крылья свои береги и не верь, если будут говорить, что их у тебя нет. Крылья есть у всех.

— Девять!

Снова закрываю глаза. И, словно супермен, вижу, где кто спрятался. Будто в рентгеновских очках смотрю сквозь стены и деревья. За огородом бабы Кати бочка с дождевой водой, за ней на корточках, озираюсь,

Федька Склянка. У него страсть коллекционировать стекляшки всяких форм и цветов, весь гараж в них. Недалеко от бочки, в овраге, где в прошлом году по лету нашли черепаху с разбитым панцирем, Настя притаилась и не вздох-нет. Мне нравится Настя, она похожа на стрекозу, тоненькая, с большими глазами...

— Десять! — орет за меня и мне в ухо Фунтик.

— Десять!

А еще папку уважаем за то, что он спас Пальму от живодеров. Старая карга Петровна вызвала собачников, а отец был с ночи и словно почувствовал наш страх за дворовую псину, ни слова не сказал, впустил блохастую в дом.

И вся наша ребячья банда ждет, когда он поправится, чтобы снова по вечерам на заднем дворе слушать его истории про инопланетян.

— У меня мать тоже здорово прячется, — пыхтит Вовка себе под нос. — Отец говорит, так спряталась с хахалем каким-то с работы, что он до сих пор найти не может. А найдет — убьет, говорит, обоих и глазом не моргнет.

Про Фунтикову мать рассказывают, что она бросила их, живет за границей и уже по-русски даже не разговаривает.

— Одиннадцать!

— Ты хоть название знаешь? — Это он про болезнь отца спрашивает.

Какая разница, думаю, как называется то, что не дает отцу подняться с кровати. И крылья не помогают. Ослабли крылья. Исчезли...

Темнота опять накрывает и уносит воронкой в черную дыру. Папа рассказывал, что черные дыры не только в космосе, и на земле их немало, и в море. Вон — Бермудский треугольник один чего стоит...

— Двенадцать!

Соседка, помню, с мамой на скамейке у дома проговорила, а я рядом, тут как тут. Сказала:

— Радиация, это все от нее. Все опухоли и болячки.

Мама тогда вздохнула:

— Так все этой дрянью дышим. Под комбинатом живем и детей растим.

— Лёнькина мама тоже, как дядя Коля, облысела, парик надевает, — голос у Фунтика печальный. — Может, мы все так? Со временем? Если не сбежим?..

— Тринадцать!

Наше место там, где родился. Где похоронены твои предки. Марс с Луной не для нас. Приходили к такому выводу с отцом, лежа на крыше под звездами. Большая Медведица согнулась над нами ковшом, и жаркий ветер будто разговаривает в проводах — гудит, соглашается.

— Получается, звезды не для нас? — задыхаюсь от волнения.

— В гости на недельку разве что слетать, — смеется папа. — На Сатурн, по кольцам его прошвырнуться на великах, а, как тебе?..

Звезды становятся после этих слов ближе. Протяни руку и схвати. И я хватаю их горстями с неба, и отец следом. Мы смеемся и прячем звезды под мокрые от ночной влаги футболки.

— Четырнадцать!

Вовка радуется, прыгает козлик, хлопает меня по спине, празднует освобождение от злосчастной занозы.

— Малюсенькая, подлюга, а чуть весь день не запошла! — философствует. — Как мало для счастья надо, да же?

Угаваю в ответ.

— Павлик никак спрятаться не может, — комментирует Фунтик. — Места себе не находит.

— Пятнадцать!

— Павлуха! Ты козе в трещинку залезь, — во все горло хохочет друг и пихает меня локтем. — Представь, Чиж!

Коза в поселке была одна, в огороде у деда Саввы, а еще козой звали парикмахершу Лизу Свиридову.

— Шестнадцать!

Утром у отца шла кровь. Мама выносила, незаметно от меня, тазики с водой красно-бурого цвета, как лепестки поздних роз. Я не люблю больше розы, слишком много этого цвета теперь в доме.

— Семнадцать!

Навзрыд плакать. Я знаю, как это. Только не расскажу об этом никому никогда. Даже лучшему другу Вовке. Ни стрекозе Насте, когда мы поженимся и у нас появятся дети, не расскажу. Если только папе... Если только...

— Восемнадцать!

За закрытыми глазами показалось солнце. Небо вмиг стало ярче анютиных глазок, птицы обрели крылья, вернулись в небо. Запело все вокруг, зашумело. Ожило.

— Девятнадцать!

Сквозь щелочки приоткрытых век — та же стена, те же буквы, серость и никакого солнца. Без изменений. Фунтик шелестит оберткой шоколадной конфеты:

— Будешь половину? Или хочешь, всю отдам, мешается просто в кармане.

— Подобрал, — отшучиваюсь, — сам ешь.

— Двадцать!

Время в детстве может затормаживаться и может скакать галопом быстрее стрелок кухонных часов.

— Все зависит от тебя, — разъяснял отец. — С возрастом время перестает подчиняться. Ты сам стано-

вишься его пленником. Поэтому, пока ты не повзрослел, надо успевать пользоваться временем. Крутить им и вертеть вперед, назад... Скакать из настоящего в прошлое и снова в будущее.

— Двадцать один!

— Двадцать два!

— Двадцать три!

— Двадцать четыре!

— Двадцать пять!

— Двадцать шесть!

— Двадцать семь!

— Оу! Оу! Оу! — кричит не своим, огрубевшим голосом Вова. — Ты чего разогнался так?! У меня борода уже растет.

Одним глазом смотрю на друга. Фунтик выше ротом, с рыжей бородкой и серьезным взглядом, косится на меня:

— С отцом что-то, да? — кладет руку на плечо и тихо спрашивает, почти шепотом.

— Двадцать восемь!

«Скорую» перестали вызывать месяц назад. Врачи настаивали на госпитализации, отец просил оставить его в покое.

Мама говорила — стены дома лечат лучше лекарств. Она всегда соглашалась с мужем. И, замачивая после футбола наши зеленые от травы джинсы, лишь хихикала:

— Когда ты мне первый подарок на день рождения подарил, уже тогда можно было догадаться, во что это выльется...

Папа подарил маме через неделю после знакомства самодельно склеенную из картона и пенопласта Луну.

— Вот, достал, как ты просила, — протянул он будущей жене желтый, пахнувший свежей акварелью спутник Земли.

— Двадцать девять!

Вовка просто так не отстанет, и в этом его сила. Мы дружим с яслей. И он всегда добивается всего, чего хочет. Если бы не схожесть с мультяшным поросенком, его смело можно было прозвать баннным листом. И я говорю ему, а за закрытыми глазами вспыхивают новые миры:

— Тридцать!

Сегодня утром, после тазиков с красной водой, проскользнул в спальную. Отец сразу догадался о моем присутствии, не открывая глаз, сказал:

— Последний из могижан, ты снова душился моим одеколоном...

— Черт, так и знал, что почувешь! — Встал на колени возле головы отца. — Мы в прятки собрались всем двором играть.

— Чур я с вами.

— Тридцать один!

Еще прошлым летом водящий в прятках считал до ста. Этим летом общим советом решили — считаем до пятидесяти. И важно, с этого лета стучать за кого-то нельзя.

— Папа сказал, что сыграет в прятки вместе с нами, — рассказал я. — А я пообещал, что когда буду водить, обязательно найду его!

— Тридцать два!

Вовка громко чихнул, я вздрогнул.

— Правда, значит, — шмыгнул носом друг и снова чихнул.

— Тридцать три!

Мама попросила пойти погулять.

— Придут люди... Не хочу, чтобы ты все это видел. Подрастешь когда... Ну, ты понимаешь... Так надо...

— Папа дал слово, что сыграет с нами в прятки.

Мама отвернулась. Я отвернулся. Видеть слезы друг друга... Видеть, как мама плачет, есть ли еще что-то хуже? Страшнее? Больней? Невыносимей?..

Мама держалась. Голос не дрогнул.

— Если отец сказал, значит, так и будет.

— Тридцать четыре!

Будто я уже это где-то видел. Уже со мной происходило. Может быть, во сне? Я стою с закрытыми глазами, чувствую запах сырой штукатурки, над головой шум самолета и голос Фунтика:

— Следующая станция конечная.

А потом нас окутывает лимонный запах отцовского одеколона.

— Тридцать пять!

Вовка говорит:

— Пахнет, как у твоего отца в машине.

Я киваю:

— Ага, это его одеколон.

Смотрю вправо, вижу бегущего Павлика, он никак не может определиться с местом укрытия. Лучший друг растерян, видно по тому, как хлопают его вздернутые ресницы и трясется борода.

— И не говори, что ты не почувствовал! — говорит.

— Ты про что?

Вовка смотрит по сторонам:

— Тут кроме нас с тобой сейчас еще кто-то был.

— Тридцать шесть!

Вечерние истории были не только про инопланетян. Отец рассказывал и о привидениях. Как с друзьями, в нашем возрасте, ходили на кладбище в поисках клада, как вызывали домового...

Они существуют, верили мы и договорились, что после смерти все соберемся во дворе у стены и сыграем в прятки.

— А кто не придет, того пусть черти в кипятке варят. Все поклялись быть.

— Тридцать семь!

Вспомнил сон. В нем отец на своем старом «москвиче» ехал по морю.

— Чтобы быстрее к вам вернуться, — торопился он, и волны закручивались белой пеной вокруг машины, а папа давил на газ, и мама махала ему вслед. Кричали чайки, я передразнивал их, бросался камнями. Когда машина с отцом исчезла за горизонтом и волны утихли, я разревелся. Я был совсем маленьким, еще не умел говорить, только агукать. Мама взяла на руки, успокоила:

— Папа скоро вернется.

— Тридцать восемь!

Мама никогда не ошибается. Папа держит слово. Как очередное доказательство — запах его одеколona. Он здесь, с нами. Он в игре.

— Тридцать девять!

Фунтик сел к стене:

— Я-то знаю, что мать моя не прячется нигде, а живет другой семьей. Это ради сестренки все, подыгрываю ей. На два года меня все же младше. Мы-то почти взрослые, скоро и в прятки играть не будем.

— Почему не будем?

— Другие игры будут, — со знанием дела отвечает друг, — взрослые.

— Сорок!

И второй раз еще громче.

— Сорок! — кричу.

— Финишная прямая. Еху! — восклицает Вова. — Следующая конечная.

И вновь ощущаю присутствие необъяснимого. Все это уже было, происходило со мной...

— Тебе не кажется порой, Фунт, что ты спишь и видишь все это во сне?..

— Мне кажется, что мы все умерли, и эта вся эта канитель происходит на том свете.

— Мертвецы играют в прятки?

— А то...

— Значит, никто не умирает, получается так?..

Опять смотрю на буквы «о», и «б», и «а»...

— Мертвые притворяются, что умерли. На самом деле, как в прятках, прячутся на время, пока не найдут.

— Сорок один!

Встретил у калитки, когда выходил во двор, бабу Катю. Она сняла с головы черный платок и поцеловала меня в макушку.

— Вылитый отец, — прошептала.

— В деда, — ответил. — Папа сам так говорит.

Она надела платок:

— Беги с богом.

В поселке у бабы Кати особый статус. Таинственный. Среди взрослых ее осторожно называли плакальщицей.

— Сорок два!

Услышав про утреннюю встречу, Фунтик чихнул:

— Правда, у меня мурашки, как ее увижу. — Подскокил ко мне, повернул мое лицо к себе и цокнул. — Не, на дядю Колю ты не похож. Скорей на мамку.

И повернул обратно к стене.

— Сорок три!

Если можно ускорить время, размышляя, его можно обратить вспять, вернуть назад, все, что не получилось, исправить. Изменить...

Посмотрел на бородатого друга и про себя начал обратный отсчет:

— Сорок два, сорок один, сорок... тридцать, двадцать девять, — досчитал до девятнадцати, у Фунтика исчезла борода, и ростом стал со мной. Он шелестел конфетной оберткой и спрашивал меня, буду я половину шоколадки или, может быть, всю?..

— Подобрал, — улыбаюсь, — сам ешь.

— Сорок четыре!

Если крылья, те, что у каждого за спиной, не для полетов к звездам, тогда для чего? Папа считает, они людям даны, чтобы творить прекрасное. Без крыльев не было бы написано ни одной ни книги, ни картины...

— Это любовь. Сейчас ты любишь нас, маму, друзей, но очень скоро у тебя появится человек, девушка, которая разглядит твои крылья.

И я прячу глаза. Любовь к девушке — тоже пока еще таинственное, непостижимое, как космос с его обитателями и призраки с того света...

— Сорок пять!

— Ты Настьке только не подыгрывай, — словно прознав, о чем я думал, говорит Фунтик. — А то я видел, как ты в прошлый раз сделал вид, что не заметил ее. Она в овраге всегда сидит, цветочки собирает.

— Сорок шесть!

Рука отца обжигала. Он сжал ладонь, и я услышал, как бьется его сердце.

— Ты отрастишь новые крылья, папа. Ты сильный, я знаю. Или хочешь, я поделюсь с тобой своими?.. Одно крыло оно ведь всегда твое. Ты можешь на него рассчитывать.

Отец кивает. Смотрим в глаза друг другу, и я вижу в зрачках папы свет, словно внутри него зажглось ослепительно-белое солнце. Или это луна? Та самая, которую папа подарил маме, достал с неба?..

— Сорок семь!

Слезы щипали глаза. Проморгался. Снова закрываю и вижу все тот же свет, что хранится в глазах отца. Темнота стала светом.

— Сорок восемь!

— Сорок восемь! — кричит до звона в ушах Фунтик.

— Сорок девять!

Вовка-друг прав, никто, кроме нас, не может хорошо прятаться. Димка Ягода за гаражом жуёт стебель травы. Павлик рядом за толстым стволом сосны спрятал голову между коленок и зажмурился в ожидании. Федька Склянка за бочкой отбивается от назойливой мошкары. Настя в овраге, в окружении стрекоз и аютиных глазок. Папа?.. В этот раз я его найду. Папа там, где свет. Я найду его там, в самом ярком месте. Ярче луны. Ярче солнца.

Поворачиваюсь. Открываю глаза, солнце ослепляет.

— Пятьдеся-а-а-атт!.. — орет Фунтик. — Кто не спрятался, он не виноват!

— Пятьдесят.

— Иду искать!..

## **АСТЕРОИД (УТОПЛЕННИКИ)**

14

Ветер разнес по поселку слух: на карьере кто-то утонул.

Юля, дочь Светы, малярши из ЖЭКа, рассказала матери, что подружка Оля ходила загорать с родителями и встретила одноклассника Гришу Заику, тот сказал, что по берегу с утра новость гуляет, будто кто-то видел, как какой-то парнишка нырнул и больше не появлялся. Пропал.

— Вынырнули лишь пузыри, — приукрашивала Юля. — А мальчика как не бывало.

Света Спиридонова — поселковое Би-би-си, это известно всем жителям Кирпичного. Она не обижается: «Би-би-си — уважаемое во всем мире радио». Так вот Света Би-би-си в обед зашла в центральный поселковый магазин «Дружба» купить парочку пирожков, заодно узнать и поделиться свежими новостями. Пирожки остались только с картошкой, и в магазине уже обсасывали весть об утопленнике.

Следующим пунктом в маршруте Светы стал киоск на автобусной остановке. Она знала, сейчас смена Ларисы Лисиной. Учились вместе до девятого класса, Лариса перешла доучиваться в городскую школу, в поселковой только до девятого класса учили, Света поступила в ПТУ на маляра.

— Слыхала, нет? — пролезла голова в окошко киоска.

Лариса привычно вытолкала голову обратно:

— Что такое?

Она вторые сутки на смене, от недосыпа и сухих перекусов одно желание: хочется, чтобы на киоск упал астероид и стер его с лица Земли.

Света показалась в окошке.

— Утопленник, — прошептала. — На карьере с утра мальчонка сгинул.

Как отчего-то дурного отмахнулась Лариса:

— Что ты такое говоришь? — Кольнуло под сердцем. — Что за мальчонка?..

— А что я говорю? Бултых, и нету. И не знаю, кто это, вот что плохо. Сама исчезалась вся.

Затошнило Ларису, сплюнула в ведро помойное, что в ногах под прилавком, а поднялась, тут перед глазами все и поплыло: голова Светки Би-би-си, стеллаж с сигаретами, шоколадные батончики... Зашумело в ушах, будто взаправду астероид к ним приближается с бешеной скоростью и гулом. Ущипнула себя за коленку, пожалела, что не растит ногти.

Светка тут как тут, в окошко лезет, аукает:

— Ау, алё, прием, ты что там?..

— От недосыпания всё, — дребезжит голос, а в сознании картинка стоп-кадром, точно как у сына Егора на стене, плакат — огромная каменная глыба повисла над планетой Земля. Сейчас этот астероид завис над поселком, прямо над киоском с двумя женщинами...

— Надолго ли?.. — спросила, как оказалось, вслух киоскерша.

— Чего надолго ли?..

— Катастрофа, насколько она откладывается?.. Рано или поздно, а конец придет всему. Метеориты, цунами, СПИД, эболы всякие...

Малярша понимающе вздохнула:

— Утопленник вон на карьере, всё к одному... И ведь давно никто не тонул... А хотя нет, постой, на Восьмое марта, помнишь, пропал паренек из общаги?.. Подарочек своей подруге сделал, утопился в проруби...

Лариса не помнила. Пальцы дрожали, с третьего раза нашла номер сына. Телефон был недоступен. Глыба над головой с металлическим скрежетом сдвинулась и стала еще ближе.

— Ты что, Егора на карьер отпустила, что ли?.. Мало у него болячек! Там же коровы с бичами моются... — отчитывала Света. — Я своей сказала: ходи загорай, но в воду ни ногой. Узнаю, устрою вальпургиевую ночь и день...

— Вальпургиеву, — поправила Лариса и забубнила тихо, под нос: — Спокойно, никакой паники, — часто выдыхая ртом, словно только вынырнула из воды с забитыми носом и ушами, подпрыгни, наклонись, и теплая влага побежит из всех щелочек и отверстий...

— У меня предчувствие, — говорит Би-би-си. — Кто-то из знакомых это.

— Типун тебе! — старается не закричать во все горло Лариса, чтобы подруга проваливала и оставила ее одну. Одна она бы справилась с растущей тревогой. Одной привычней.

— А что я?.. В поселке так-то все знакомые, если что... И какого лешего ты дергаешься? Егор твой плавать умеет, это моя вон, топорфляем только и может. Тоже на очереди в утопленники.

Четвертый раз и пятый неспокойные пальцы под натиском неспокойного сердца набирают номер сына, и мать проигрывает снова и снова счастливый сценарий: «Ой, мам, привет. Ты чего звонишь? Я же с Виталькой в гараже, мотик чиним, тут связь плохая...»

Сердцу приятны эти мысли, и лопается пузырем в небе космический пришелец.

— Сынок, — улыбается мать.

Говорит вслух, выталкивая языком с каждой буквой беспричинное беспокойство...

Света Би-би-си рассказывает увлеченно про своих утопленников, их, она сейчас прямо вот подсчитала, в ее жизни было целых почти десять.

— И я помню, как раз сама чуть того, на Байкале дело было...

— Постой, а спасателей, полицию вызвали? — перебила Лариса, и небо загудело от напряжения.

Женщина у окошка растерялась:

— Вот незадача, а я и не знаю. Не подумала как-то... Если бы не работа, я бы до карьера сбегала, узнала, а так-то у меня и обед закончился, пока я тут...

Лариса увидела, как подруга закинула голову вверх и, раскрыв рот, не издав ни звука, замерла.

Она увидела его! Астероид, тот самый, что покончит с поселком Кирпичный. С Землей. Вот она сейчас осознает своим умишком, что это за штука в небе, и закричит истошно, и побежит, теряя шлепанцы, в сторону дома. Размахивая руками, а лучше выдирая волосы на голове, крича что-то несуразное...

У перекрестка она споткнется, упадет...

— Боже, — ожила Света, перевела взгляд с неба на землю. — Одиннадцать! Мама дорогая!

— Что? Кого ты там?... — Лариса выглянула в окошко, на небе ни облачка.

— Утопленников моих, говорю, одиннадцать. Сейчас вспомнила... — затараторила Би-би-си.

Лариса еще раз набрала сына, на этот раз из динамика старенькой «Нокии» донесся знакомый гул приближающейся катастрофы. Красная кнопка прервала связь, но не оборвала звук необратимости, гул остался, он жил в ней всегда, ждал удобного момента. Никак не могла найти ключи от киоска, а Света тем временем уже насчитала двенадцатого утопленника:

— И ты его знаешь, в классе с нами учился, в восьмом еще был, а в девятом уже нет, утонул на водохранилище, вспомнила?..

— Да, да, — бурчала в ответ Лариса, — припоминаю что-то, ага...

Ее всегда пугал плакат в полстены с падающим астероидом. Егор же был в восторге: «И фильм классный, “Армагеддон” называется». «Еще лучше! — отхивалась мать. — Накаракают эти американцы себе и нам на головы». Смеется сын колокольчиком: «Ну, ма, ты

даешь! Кино же это. Фантастика. И тем более не долетел он. Взорвали перед самой Землей. Брюс Уиллис — крепкий орешек!»

— Взорвали, взорвали... — чтобы не взорваться, повторяет Лариса. Не найдет еще через мгновение ключи, бросит киоск так, незапертым... Ключи тут же и обнаружались под утрешней накладной. Пока закрывала дверь, Света подняла тревожную для поселка тему уличного освещения:

— Всё ведь взаимосвязано. Круговерть такая.

— Круговорот, — спрятала ключ в сумку рядом с телефоном Лариса.

— Круговорот, круговерть — какая разница? Всё закруглено.

Даже не пытаясь проследить логическую цепочку Светланы, чудесным образом связавшую темные фонари и утонувшего мальчика, Лариса громко перебила:

— Мне по делам надо!

Поселковое радио поперхнулась:

— Как, вот так, в халате? Ты же на смене!..

Не смотреть на небо у Ларисы не получалось. Белое солнце раскалило и обесцветило небо, по прогнозу днем воздух прогреется до тридцати — тридцати трех градусов, Егор услышал по радио, присвистнул: «Оу, надо бы до карьера рвануть с Виталькой!»

Сердцем видела, как разрастается темное пятно на белоснежной простыне неба, сжала ручки сумки, так что костяшки побелели, сказала сквозь сжатые зубы:

— Ты на работу, Свет, опаздываешь.

Не дожидаясь, что скажет подруга, пошла прямо по белой прерывистой линии разметки проезжей части, все быстрее и быстрее. А как завернула за угол первого дома, побежала, но услышала, что кричала малярша. Света кричала:

— Тринадцать! Тринадцать утопленников! Слышишь, да?! Несчастливое какое число!.. Может, этот новенький утопленник из наших будет? Четырнадцатый?

— Дура! — выдохнула бегущая женщина, ответ подхватили цикады, растрещали.

Света уже говорила по телефону, яростно жестикулируя одной рукой, другой прикрывая ухо. — Стреко-чут, будто в последний раз! — старалась перекричать голос природы. — С ума все походили с этим утопленником!..

### 3

На карьер Лариса ходила пару раз вместе с сыном. Со стороны поселка на берегу народу совсем мало — из-за соседства с болотом. И колючей травы там по пояс. Другой берег, песчаный, называли «пляжем», и приезжали туда даже из города. На песок Егор с друзьями не ходил: в выходные ступить негде от засилья городских. У них было свое место аккурат напротив пляжа. Траву давно замяли, обставили пятачок бревнами и кусками кирпичей, овражек у болота стал местом для биологической нужды и мусора.

«Тут неглубоко, — уговаривал сын маму искупаться. — Метра через три глубина...»

Лариса стойко сопротивлялась и лишь позволила себе помочить ноги.

— Дура! — сказала вслух, набрала воздуха, чтобы прокричать это, но со стороны дороги кто-то позвал:

— Теть Ларис, что ругаетесь?..

Белая иномарка стояла в тени деревьев на обочине, окна все были опущены, дверь со стороны водителя открыта.

Прищурившись, удалось разглядеть, кто там за рулем.

— Стас? Ты? Отца машину опять угнал?..

У продавцов в киоске таких молодых знакомых — весь поселок Кирпичный, особенно после принятия закона о запрете продажи пива в ларьках и после двадцати трех вечера. Пиво убрали с витрины, но оставили под прилавком. Лариса подметила: после запрета у них в три раза увеличилась продажа пива. Пьяные малолетки бегают за добавкой всю ночь.

— Не, сам дал, — выдул пузырь жвачки Стас. — Про утопленника слышали?..

Солнце беспощадно резало глаза до слез.

— Слышала, — подошла к машине. — А неизвестно, кто это?..

— Парень вроде какой-то. Отец вот и послал за брательником. Говорит, этот молокосос спецом, ему назло может утопиться. А вы тоже до карьера? Давайте доброшу.

Солнце загнало Ларису в прохладу салона. Стас, коренастый крепыш в одних коротких плавках, повернул ключ в замке зажигания.

— Отец у вас — суровый мужик.

Стас выплюнул жвачку в окно:

— Гестаповец, ага. Говорит, не можешь срать, не мучай жопу. Это девиз его по жизни. И про утопленника говорит: чего лезть в воду, если лапами не можешь работать.

«Тойота» повернула налево, съехала с асфальта, подняла вокруг себя смерч из пыли и мошек, впереди заблестела полоска воды.

— А пацаны говорят, карьер — что-то вроде Бермудского треугольника. Тела утонувших если сразу не нашли, то песок, не найдут никогда. Да за мои семнадцать лет там уже человек двадцать утонуло, а нашли одну девицу, и то потому, что ее друг успел вытащить.

Не слушала молодого водителя Лариса, кивала в такт его торопливой речи.

— Это же карьер от кирпичного завода, и глубина какая — неизвестно, — продолжал Стас, а как начал считать своих утопленников, Лариса поежилась и подключилась к разговору:

— О господи, и ты туда же!

Парень не понял, что имела в виду тетя Лариса, поэтому загнул третий палец на протянутой к женщине руке.

— Три утопленника в семье, а ведь все плавать умели, — вздыхает печально Стас. — Отец предполагает, они это специально из-за неустроенности в жизни. Так он говорит.

И вот оно, скрежет с небес, и тень нависла над крохотным авто.

— Ну как так специально? Разве так можно!

— Отец говорит, в воде ты вдруг понимаешь, чего стоишь, когда на глубине и со всех сторон вода. Вода заставляет принять себя. И тогда, ощутив свою ничтожность и ненужность, ты сдаешься глубине.

Он резко нажал на педаль тормоза, подержанная машина, застонав всем своим железным телом, остановилась под желтым куполом пыли.

Лариса вцепилась в приборную доску:

— Папка у тебя мастак философствовать, со школы еще.

Стас выскочил из машины, позвал:

— Вот, взгляните, взгляните! — Вытянутая рука указательным пальцем тыкала в сторону карьера, от нетерпения Стас подсакивал.

— Я уж подумала, отец твой нарисовался, как ты затормозил!

Выбралась, подошла.

— Видите?

С этого места был виден весь карьер. «Узкая овальная салатница под рыбу», — сравнила Лариса. Ветер влажный, горячий, с запахом полыни, белые спины слепили ярче бликов от воды.

— Что я должна увидеть, Стас?

Она убрала со лба волосы, чтобы лучше разглядеть нечто, так взволновавшее сына одноклассника.

— Небо. Оно не отражается в карьере. Приглядитесь. Вода черная, словно отражает что-то за небом... Черную дыру, не знаю. Ад?..

— Ад? — переспросила и отвела взгляд в небо.

Это отражение астероида, зависшего и ожидающего своего часа. Сколько он уже висит так над ними?.. Пару часов? Дней? Лет? Тысячелетий?

— Действительно. — Лариса перевела дыхание. — Бездна...

— Ад! — не унимался Стас. — Кто сказал, что он под землей? Ад на небе.

Сейчас он поднимет голову и увидит.

Стас ткнул пальцем в небо.

— Уверен, он там, — сказал и запрыгнул на сиденье. — Я не согласен с отцом, что дядя Слава из-за неустроенности утопился, он же был спасателем-водолазом и сильным. Его затянуло это нечто. Космос. Тело ведь так и не нашли...

Мать набрала номер сына. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». С карьера ветер принес радостный визг ребятни.

— Может быть, это ошибка и никто не утонул? — Вернулась на свое место, пристегнулась. — Я даже уверена.

Повел плечами Стас, повернул ключ:

— Отец любит говорить: всё, что ни делается, всё коту под хвост.

А еще он рассказывал, что дружил с тетей Ларисой и что она была бы сейчас известной актрисой, если бы не вышла замуж за ушлепка Кольку Лисина, который сам не приспособлен к жизни и семью на дно утащил, а как результат спился и помер. Этого Стас не озвучил, сказал:

— Вы же с отцом в одном классе учились?

Кивнула Лариса, спросила:

— Как мама?

— Пьет.

Спуск к карьере извилист, под колеса бросается напуганная зеленая мелочь, в окно настырно лезут ветки пахучих кустарников. Запах — смесь гниющего трупа животного с цветочной сладостью.

Кирпичный аромат — определил бы Егор. Сыну не нравился поселок — кильки в консервной банке. Киснем и тухнем все!.. У него была мечта переехать жить в город, подальше от поселка.

«Не надо ни велика, ни скутера, ни телефона! Квартиру в центре города, а лучше в другом каком городе, и буду я счастлив».

Лариса злилась, срывалась на крик:

«Чем тебе Кирпичный не угодил?! Я здесь всю жизнь почти живу, что-то не испортилась! Не протухла!»

Сын кривил улыбку:

«Это как посмотреть».

— Смотри как посмотреть, да, — задумчиво-обреченно говорит женщина на сиденье рядом с водителем.

Юноша в плавках кивает, словно понимая, о чем речь, вставляет:

— Да, у всех свой взгляд на всё. У отца такой вот резкий, дикий. У мамы, — хмыкнул многозначительно, — через горлышко бутылки. Даже у гребаного карьера свой. — Трижды Стас просигналил в подтверждение слов. — И только у меня, у таких, как я, нового поколения, нет своего мнения. Мы повторюшки. Без собственных идей и мыслей. Стадо. Сегодня модно ругать президента, значит будем ругать. Завтра скажут, что жили всё это время неправильно, надо жить по-другому, и мы поверим...

С трудом переваривая, о чем говорит Стас, Лариса многозначительно мычала, кивала, отрепетированно говорила:

— Это все пройдет. Думаешь, в наше время было иначе?

Стас вдруг засмеялся:

— Теть Ларис, конечно иначе! Вы, походу, не слушаете меня... Да не переживайте вы так! Это не Егор.

Астероид над ними ожил, зашевелился.

Она ждала, чтобы кто-то за нее обозначил тревогу. Назвал. И она едва сдержалась, чтобы не обнять Стаса.

— Вот братюня мой, он не готов к жизни, не приспособленец, и это не со слов отца, это я вижу своими глазами изо дня в день. Он сможет опустить руки и пойти на дно без борьбы. Егор ваш не такой. Егор будет рвать и метать, ведь у него есть вы. Такая замечательная мама...

Лариса вновь подавила желание броситься на шею водителю, сыплющему комплименты.

— Ему с вами повезло. Вы только поостороже с ним. Как мой отец, прав — не прав, понял — не понял, без разговоров по уху, а потом уже разбираться, за что и кто виноват. Хотя уверен, у вас на этот счет свои приемы! — Хихикнул.

Улыбка заиграла на лице Ларисы, откровенная, искренняя:

— Ну вот, а говоришь, нет своего мнения. — Она похлопала его по плечу. — По мне, так вы намного смысленей нас, вам приходится рано взрослеть.

Остановились на развилке.

— Я съезжу быстро на песок, заберу брата Вовку и вернусь, подожду вас, — решил Стас по-мужски. — Вы давайте не задерживайтесь. Если будет сопротивляться, в охапку его и до дороги, здесь я уже помогу.

Улыбка расцвела смехом.

— Можно на пинках? — спросила, сделав серьезное лицо.

Стас удивленно вздернул брови:

— Шутите же?..

Лариса кивнула и пошла по узкой змеевидной тропинке в гущу зелено-желтой травы, комок горечи перекрыл дыхание, она знала, что еще пара шагов и разревется.

— Договорились, в общем. Я буду ждать!

Голос Стаса за спиной, и она знает: он смотрит в ожидании, что она как-то отреагирует. Лариса махнула рукой, не оборачиваясь.

— Осторожней, под ноги смотрите! — кричал Стас, подпрыгивая, чтобы лучше видеть удаляющийся силуэт. — Там всего понабросано!

Пришлось прикусить кожаную ручку сумки, а как загудел двигатель, Лариса посмотрела в самое сердце солнца, протяжно взвыла. Щипало глаза от пота, от слез, смотрела упрямо, не моргая, в солнце. Стихли шумные обитатели травы, крикливые озерные чайки, природа притаилась в ожидании крика. Мать закричала.

Материнский зов, пропитанный болью и надеждой,  
подхватил ветер:

— Горик!

Поддержал оркестр зеленых трещоток в траве:

— Егор!

Разнесли по берегу и дальше в поселок птицы.

## 1,5

С пригорка виден весь берег — берег пуст. Вдалеке стадо коров потерянно бредет сквозь камыш. И на противоположном берегу народ суетится, машины уезжают. Узнали про утопленника?

Делает шаг к воде Лариса, икает. На берегу вода успокаивает воспаленные глаза нежно-салатовым цветом водорослей. Пустые пластиковые бутылки плавают тут же, ошметки бумаги стайками сбились в кучу...

Еще шаг. Звон комаров стал невыносим, перерос в гул, и тень накрыла озеро. Шаг назад. Лариса отступила, снова шагнула прямо в воду, еще шаг, вошла по колено. Пригляделась, прикрывая глаза сумкой от светила.

Сердце застучало в голове. Икота оборвалась.

— Нет, нет, нет! — вслух, а внутри, сбиваясь и начинающая снова, первые слова молитвы «Отче наш».

Величаво раскачиваясь, успевшая надуться пузырем, посередине карьера болталась черно-белая туша коровы.

Ларису загипнотизировал глаз размером с блюдце. Кроваво-черный, он наблюдал, как худая, измученная жизнью женщина в светло-голубом халате с промокшим, почерневшим подолом испуганно осматривается, как дрожит всем телом, всхлипывает и не знает, что делать. Топчется в холодной мутной воде, кричит от нерешительности и неизвестности. Сердцем кричит. Душой.

Лариса провалилась во времени, в прошлое, пять лет назад она стояла вот так в воде, мочила ноги, считала, сколько сын продержится под водой. «Сорок девять, пятьдесят, — начала волноваться, — пятьдесят один...

давай, Егор, вылезай, пятьдесят пять, и так губы синие... Шестьдесят. Вылезай, кому говорю! — шлепнула ладошками по воде. — Больше не пойду с тобой, только нервы трепать!» Круги разошлись по водной глади. Страшные, самые невозможные, безумные мысли возникают вот из таких кругов. Они вертятся в голове, накручивая, обрастают деталями, тонкостями...«Его-о-р! — закричала, разгребая воду обеими руками, словно пытаясь заглянуть, что там, на дне. — Убью тебя, слышишь, если сейчас же не вынырнешь!»

Мысли — разносчики болезней, инициаторы, в этом Лариса уверена. От чудовищных мыслей все невроты и мигрени... А как избавиться от них, не думать, вычеркнуть... Лариса в таких случаях читает молитву, снова и снова...

Что-то схватило ее за ногу, потянуло вниз, на глубину. Лариса закричала, в точности как пять лет назад. Тогда это был Егор, сейчас об ноги трется скользкая туша мертвой коровы.

— Боже! — вернулась в настоящее Лариса. Поежилась от отвращения и холода.

Кожа на руках превратилась в гусиную, халат промок хоть выжимай.

Глаз коровы лопнул с булькающим звуком, Лариса ойкнула, выскочила на берег, не останавливаясь, не оборачиваясь, вбежала на пригорок под настойчивый сигнал «тойоты». Из сумки достала телефон, рассматривая опустевший пляж, набрала не глядя номер сына.

— Его-о-р? Получишь у меня! — Убирая телефон — Слышишь, Егор?! — выкрикнула в чистое небо. — Я, честное слово, обещаю, что переедем в город! Слышишь?!

Сигнал долгий, бесконечный — вместо ответа.

— Обещаю. — Взгляд упал на мертвую тушу, скользнул по черной водяной глади.

Говорят, матери всегда знают, чувствуют, где и что с их детьми. Так считают те, у кого их нет. Для матери

ее ребенок всегда с ней рядом, где бы он ни находился, будь то другой город, страна, планета... На небе или под землей. Поэтому чушь всё это. В сердце матери ее дитя живет вечно!

Опустевший карьер, лишившись человеческого присутствия, выглядел пугающе. Вокруг все обесцвечивалось, словно цвета поглотила, высосала черная бездна коровьей глазницы.

Сигналил младший брат Стаса, заметила выбравшаяся из травы Лариса, отряхиваясь.

— Бесплезно, — сказала Стасу, встречавшему ее с подсолнухом. Парень надел джинсы и футболку, прилизал вечно торчащий ежик на голове. — Я про то, что халат теперь только на помойку разве что...

В зеркале увидела свое отражение. Сетка волос на потном сером лице, под глазами черные точки раздавленной мошкары, на щеке засохшая кровь от прихлопнутого комара...

— Молокосос видел Егора на поселке. — Стас протянул ярко-желтый цветок. — Так что вот так.

Она взяла дикий подсолнечник, спрятала за ухо растрепанные волосы.

— Да... — растерялась, не зная, куда деть подарок, сунула в сумку. — Спасибо. А когда? Во сколько?..

— Эй, ухошлеп! — развернулся на каблуках начищенных до блеска лакированных туфель. — Сколько было время?

— В двенадцать мы сюда пришли, — прокричал бритый, с торчащими ушами мальчишка лет десяти. — И сам ты такой! Говоришь на меня, прилипает к тебе! — закончил философски и просигналил.

— Двенадцать. Чуть раньше, значит, — уточнил Стас и покраснел.

С туфлями переборщил — загорелось на лице, завертел головой в поиске способа немедленно провалиться сквозь землю или хотя бы вернуть сменку отца назад в багажник.

— Спасибо, Господи. — Лариса притянула Стаса и робко прижала.

Стас задержал дыхание, побагровел.

Из машины донеслось мычание.

— Вам надо домой сейчас, ремня дать Егохе, — прогудел. — Если что, могу свой ремень одолжить.

С туалетной водой, что обнаружил у отца в бардачке, Стас тоже переборщил, это он понял, почувствовав сладковатый лимонный привкус во рту.

— Или в киоск вас завезти?.. Куда скажете?

Мычание прервалось комментарием:

— Это чтоб не приснилось плохое, его этим же плохим надо прогонять. Корова сама не страшная, но наткнись на нее в воде, я бы со страху помер.

Просигналив в последний раз, Вова перебрался на заднее сиденье, Лариса устроилась рядом.

— Это первый труп в моей жизни, — заправляя футболку в плавки, — как крещение какое-то. Век больше не зайду в эту воду!

Стас сел за руль, после того как спрятал туфли не по размеру в багажник:

— Будет вас доставать тупыми вопросами, вы не стесняйтесь, дайте ему подзатыльник, он это дело любит.

Вова никак не отреагировал. Продолжал:

— Корова же не человек. Получается, у меня не полноценный утопленник. У Стаса аж три утопленника, у меня, получается, половина, что ли?

Лариса сказала:

— Ну, коровы — священные животные. Их почитают и ценят как богов в некоторых странах, в Индии...

Мальчик хлопнул брата по спине:

— Понял, да?! У меня не половина, а полтора утопленника!

И еще раз стукнул.

Тут и увидела Лариса рисунок ручкой на руке младшего — ромб, нацеленный острием в ладонь, а из противоположного угла стреляли молнии.

— Ладно, полтора, — смирился Стас, разглядывая в зеркало пассажиров. — Хотя это индусы на коров молятся, а мы их едим.

— Ура, у меня полтора утопленника! — запрыгал Вова.

Соседка по сиденью поймала его руку с рисунком:

— Это что, Володя, расскажешь?

Загудело в голове, вспотели ладони.

Мальчик приложил палец к губам:

— Защита! — Палец с губ переместился вверх и уткнулся в крышу авто. — Чтобы он на нас не упал.

— Кто «он»? — шепотом спросила, зная ответ.

— Астероид две тысячи двенадцать игрек кью один. При столкновении удар будет равен взрыву двадцати пяти тысяч бомб, сброшенных на Хиросиму, — протараторил зазубренную, жизненно важную информацию. — В списке потенциально опасных тел значится наравне с астероидом Апофисом.

И совсем тихо, нагибаясь к уху соседки:

— Я его во сне уже много раз видел. Никто не спасся, он упал прямо на поселок. Неожиданно появился в небе — и бац! — кулаком ударил по рисунку Вова. — Хрясь! Бум! Бах!

— Насмотрелся всякой мути по телику, вот и снится что попало, а спросонья потом несет всякую подобную дребедень, матери лишний повод напиться, — раздраженно отчитал старший. — Скажет с утра про конец света, и мать в стакан ныряет с беды такой. Что, не так?

Младший успел разинуть рот, старший злобно добавил:

— Тогда да, точно, у тебя полтора утопленника. Поздравляю, возьми с полки пирожок.

Дружно подпрыгнули на кочке, Стас матюгнулся, тихо сжав зубы, Вова покрутил пальцем у виска, Лариса сказала, улыбаясь:

— Нам, русским, не страшен никакой астероид. У нас каждый день как конец света.

— Во-во... — закивало отражение Стаса в зеркале. — А он матери еще эту ерунду нарисовал, и ходят по квартире как два придурка.

— Это защита! — слезливо проскулил брат. — И мама пьет, потому что не приспособлена к этой жизни! И она не утонет, если хочешь знать! Я ее защищу!

У киоска парни — курят, пьют пиво, хохочут под стальным зонтиком. Лариса не взглянула на место работы, железную неуютную коробку-клетку, выкрашенную в светло-голубой цвет, Стас помахал парням, вырулил к дому киоскерши.

100000000

Потемнело на улице — привычное явление в этом мерзко-континентальном климате (Егор так называл резкую смену погоды от жары к заморозкам), но сперва пыльная буря, переходящая в ливневый дождь, с ломанием веток тополей и сдиранием шифера с крыш...

— В точности как во сне, — прошептал с неподдельным испугом на перепачканном лице Володя. — Сначала тень закрыла солнце...

Не успел возразить брату Стас, отвлек дикий вой сотового, и старший, прокашлявшись, серьезным голосом сказал в микрофон:

— Да, папа. Скоро уже. Да не гоняю я. Тетю Ларису встретил, до дома сейчас доведу и подъеду.

Стас знает силу такого ответа: сегодня он в милости, и отец весь вечер будет расспрашивать про бывшую одноклассницу: «Что говорила? Как выглядела? Про меня спрашивала? Каким тоном? Что еще? Никто ее не обижает? А вспоминала, как в третьем классе я ей пугач подарил?..»

Дом номер шесть по улице Лесной. Лариса вглядывается в окно второго этажа — за белым тюлем комната сына. Сегодня он обещал прибраться. Лариса увидела незастеленную кровать, гору музыкальных дисков на

полу у изголовья. Разбросанные носки... Во всю стену вместо обоев в цветочек — плакат с астероидом.

У подъезда на лавочке встречает соседка, мать Виталика, с прозрачной полуторалитровой пластиковой бутылку разведенной настойки боярышника.

Лариса говорит спасибо Стасу, выбирается из автомобиля, подмигивает Вове:

— Всё хорошо. Астероид до нас не долетит, его взорвут в космосе.

Володя отрицательно мотает головой: его не проведешь:

— Это только в кино, а в жизни они долетают, — и показал защитный талисман на руке.

— Я привет от вас отцу передам, можно?

— Ой, да, обязательно, Стас, и маме передавай, — зашептала Лариса. — День такой безумный...

Мальчик на заднем сиденье по-взрослому заметил:

— И это еще лишь начало.

Старший брат просигналил на прощание.

Соседка Люда икнула и заговорила:

— Давай, Ларочка, давай помянем утопленничка моего.

Сердце Ларисы остановилось, и сама она замерла, прижав сумку с поникшей, желтой головой подсолнуха. Небо над ними задышало — хрипло, гулко, страшно...

Люда подвинулась, приглашая Ларису присоединиться к ней, икнула:

— Вот так вот растишь их, растишь, а они нырк — и утопли... — Налила в алюминиевую кружку алкоголя, протянула: — Давай, Ларочка. Знаю, не пьешь, пригуби ради утопленника.

— Да кто утопленник, ты скажи нормально?! — выбила из руки кружку. — И хватит уже гадость эту пить!

Соседка выдохнула, грузно опустила на колено, подняла кружку, дунула, протерла подолом юбки.

— Будем считать, что выпила, — сказала тихо, налила себе. — Дети наши, вот кто, — промямлила, выпила, икнула.

Одно желание вспыхнуло в голове, что зачесались ладони у Ларисы: схватить эту тощую алкоголичку, встряхнуть, чтоб вся дурь вылезла.

— Кто утонул, Люда?! — Лариса нагнулась к женщине и кричала в лицо. — Кто утонул? Имя как?!

Люда мотала головой, плакала и сквозь приступы икоты говорила:

— Дети наши, дети, каждый день тонут, каждый бо- жий день.

Лариса еле сдержалась, чтобы не зарядить пьянчуге по лицу:

— Так ты не знаешь, кто утонул на карьере? Да?!

Космическое тело задвигалось, готовое прорвать синеву неба в любой момент.

— Дети наши, — продолжала соседка. — Сто милли- онов утопленников, и все — наши дети. Твои и мои...

— Виталик где? С моим сыном?! Не видела их?!

Женщина с кружкой и бутылкой развела руками:

— Утопли.

Ветер загудел, зашумело все вокруг, ожило под на- тиском стихии в ожидании переломного момента.

— Дура! — выбила в этот раз бутылку с вонючей жидкостью. — Протрезвей уже!

— «Курск», подлодка, считай, сто восемьдесят с чем- то детей... — не унималась Люда, глотая сопли и слезы. — Живьем же захлебнулись...

Хлопнула подъездной дверью Лариса, руки тряслись похуже соседских, дрожь шла изнутри, дрожала душа.

В темном подъезде пахнет кошками и перегаром.

Остановливаясь на каждой ступеньке, собиралась с силами, наверх.

Дверь в двухкомнатную квартиру под номером четыр- надцать. (Егор упорно называл «квартира номер пять».)

Ключ, как в дешевом сериале, не попадал в замок, потом не хотел поворачиваться.

Завибрировал телефон, и Лариса бросила в сумку подсолнух, ответила:

— Да, да, да!..

Хозяйка киоска, Любовь Владимировна, хотела узнать, выйдет ли она сегодня на смену в ночь. Лариса ответила «нет», дала отбой.

В квартире непривычно тихо. Темно, и за кухонным окном беснуется тополь, царапая ветками по стеклу. Подсолнух поставила в баллон с отстоянной водой для чайника. В комнате сына нашла синий фломастер, села на разобранную кровать Егора, оголила левую руку, несколькими нервными штрихами нарисовала в точности такой же рисунок, что у маленького Володи. Ромб с тремя молниями из верхнего угла.

— Так, — сказала, поднимаясь, Лариса. — Одно дело сделано.

Астероид на глянцевом постере выглядел не так устрашающе, как раньше. Лариса закатала второй рукав халата.

— Тоже мне Армагеддон, камушек в небе, — усмехнулась. Набрала номер сына. Ответило небо.

Шторм сменил цвета, загустели краски летнего дня, шум человека заглушила природа, готовая в один миг смести все с лица Земли.

— Сидеть ждать — нет, не дело, не по мне! — От окна кухни к окну в комнате Егора, круг за кругом. — Надо действовать! Не сидеть, не молчать!..

Достала из-под кровати спортивную сумку сына, побросала в нее разбросанные Егором футболки, шорты, носки... Сложила аккуратно пижаму, из шкафа достала рубашки, костюм, свитера...

— Я обещала, что съедем из поселка. Значит съедем!

В телефоне долго не могла найти нужный номер. Нашла.

— Пётр, — обрадовалась знакомому голосу, — узнал?.. Ты как всегда неизменен и постоянен со школы еще. У меня к тебе просьба. Не поможешь с машиной? Потом объясню, ты только пообещай.

Пётр пообещал.

Лариса сказала: я в тебе не сомневалась. Сказала, что позвонит завтра и все подробно расскажет. Мужчина спрашивал что-то еще, но Лариса спешила.

Свои вещи решила собрать в мешки, как и книги, диски — у Егора их сотни.

За мешками надо бежать в киоск.

Снова завибрировал телефон, высветился номер Светы Би-би-си, Лариса не ответила, оставила телефон дребезжать на кухонном столе, наспех надела шлепанцы, выбежала в подъезд в рабочем халате с прилипшими зелеными колючками.

Поселок накрыла пыльная буря, обесцветив и ослепив. Лариса бежала против ветра, не пряча и не защищая лицо от хлестких пощечин матери-природы.

Остановилась отдышаться на дороге, на разделительной черте, подняла голову — и вот он, гигантский астероид, занял место неба. Женщина сложила губы трубочкой, замычала. Громко, насколько хватило воздуха, потом еще раз:

— Му-у-у!

И еще!..

Материнский голос расколол каменную угрозу. Из трещины в астероиде хлынул дождь. Холодный, обжигающий...

Нет, Стас, ад не на небе. Ад — это мы. Ад и рай. Утопленники и спасатели — всё мы.

По лужам, продолжая мычать, — к киоску, долго искала ключ, мычала, а когда нашла, кто-то неожиданно закрыл ей глаза теплыми ладонями:

— Угадай кто?..

Ответ пришел из сердца, оно услышало стук второго, родного сердца, душа почувствовала душу.

— Астероид две тысячи двенадцать игрек, не помню что-то там, один, — отчеканила, расплываясь в улыбке, мать. — Угадала?

## РАЗВИЛКА

С каждым новым днем отец все яростней ненавидит поселок. Его улицы, выметенные с раннего утра оранжевыми человечками, пахнущими потом и перегаром. Лицемеров, притворщиков, обитателей двухэтажных домов, половина которых нуждается в капитальном ремонте. Ненавидит деревья с корявыми, торчащим, словно пальцы больных артритом, ветками. Ненавидит собак, их здесь все больше. Птиц, особенно сорок. Он уверен, сороки всё видели. Те, что живут в лесочке у развилки. Их гнездо наблюдательным пунктом возвышается над поселком.

После случившегося отец следил за птицами, в гнезде постоянно пищали птенцы, и две жирные сороки хозяйничали в ареале своего царства. Отгоняли кошек, тех, что наведывались из общежитий по соседству, наглых, прожорливых ворон, не брезгующих полакомиться птенцами сородичей...

— Сороки знают, — бубнил.

Он бубнил с детства, тихо под нос, недовольный всем на свете, возмущался и скрипел зубами. В семье подшучивали над ним, называли ворчуном, запугивали: «все зубы свои съешь, беззубым ходить будешь». Ругали. Отучить не смогла и жена. Сумела дочка. Заявив как-то по дороге в сад, что он похож на Гришку — Буку-бубуку, того, что ест свои козюльки в их детсадовской группе, и что она не любит Гришку.

Отец сделал соответствующие выводы и с того дня позволял себе поворачать под шум воды, в ванной, принимая душ после работы. А если и начинал, забываясь при домашних, мастерски импровизировал, превращал привычку в милую беседу с шутками и смехом. В их семье любили смех. Подшучивать друг

над другом и даже обзывать невинными, безобидными обзывалками, которые придумывали на ходу.

Кто только не обитал в семье Крапивиных: Мата-бата-та, Кукуня-засуня, Кошелом и Пучерышкин Горлодёрник, Несмею-нетревожу, Хрюньделеподобный Хохотун... Еще были замечены: Брыси, Тапочкины ножки, Обрыдалки, всяческие Улыбаки, Безпятиминуты, Скоропобежалки, Подковка-счастливка и другие, и подобные...

Теперь привычка вернулась, отец бубнил снова. Громко разговаривал сам с собой, спорил, ругался, кричал... Плакал... Ненавидел.

Не сразу пришло это чувство. Мизантропия, презрение, жажда мести. Отец желал смерти всем. Начиная с сорок, трещащих без конца под окном и плешивых собак... Он и не думал, что возможно так ненавидеть. До дрожи в пальцах изводится мыслью придушить любого, кто скажет, что он не должен так изводиться. Что жизнь продолжается.

— Да, — говорит отец, — скажи мне сейчас, чтобы я успокоился или прекратил поиски, и я зубами вырву кадык у тебя из глотки. Буду бить ногами. Буду крушить. Буду убивать.

Окно когда-то бывшей спальни — его наблюдательный пункт в квартире на втором этаже двухэтажного кирпичного дома рядом со школой. Сразу напротив железная дорога, по ней мотаются составы с грузом для заработавшего цементного завода, дальше лесок с гнездом сорок. Направо развилка. Дорога раздваивается куриной душкой, отрезая островок — горсть старых деревянных стоек и гаражей, от поселка отдельной республикой, прозванной поселковыми Аляской.

Всё как на ладони. Летом не спрятаться при желании от любопытных глаз, забитых стариками и пьяной молодежью скамеек, настезь распахнутых окон...

Дни растворились в том дне. Его он помнит до секунды, до черточки, до капли, до вдоха. Не может вспомнить, что ел вчера, а ел ли вообще?..

Перечитывает страничку в паспорте, ту, что под графой «дети». Снова и снова про себя и вслух. Как молитву.

Мать уговаривала, слезно, сходить в церковь, начать молиться и этим спастись:

— Приходить в норму, — говорила, — в себя.

Он сжимал кулаки до кровавых отметин на ладонях.

— Я услышал, мама, — отвечал, — достаточно уже одной молящейся сумасшедшей.

— Ты так о Маше? О жене? О матери твоего ребенка, между прочим... — всхлипывания переходят в плач. Сейчас все заканчивается так. Слезами.

Первые дни после последнего дня Павел как-то пытался не отдаляться от жены. Вместе переживать трагедию. Людмила решила отходить от беды сама, повязав голову косынкой и пропадая с рассвета до заката в церкви Святой Троицы на другом конце города.

— Молитвами отмолим доченьку, — крестилась и шептала она, и больше не делила с ним постель, начала соблюдать пост и все церковные праздники, а потом решила дать что-то вроде обета молчания.

— Это моя жертва, — она перестала называть его по имени, заметил Павел, — я отдам свой голос и буду молиться о спасении души дочки.

Она повторяла и повторяла «о спасении души», а он с трудом сдерживался, чтобы не ударить:

— Наша дочь жива, — твердо сжимая зубы, — спасай свою душу!

— Если бы и ты к Богу обратился, было бы намного быстрее...

Он спрашивал:

— Быстрее что?..

Она складывала ладони в молитвенном жесте:

— Успокоение души доченьки нашей Светочки.

Павел сдержался, ногтями впиваясь в свою плоть.

Он увидел, как кулак врежется в лицо жены прямо между глаз, увидел, как кровь брызгает из разбитого носа, и она опрокидывается назад...

— Ненавижу, — скрипит зубами, — иди к своему Богу, и пусть он уже делает свою работу! Помогает нуждающимся и верующим в него!

— Отец Савватий говорит, что если пропавшего не находят в течение нескольких дней, то уже не найдут никогда.

И Павел замахивается на жену:

— Клал я на твоего отца Савватия!

Жена падает на колени и кричит, мотая головой, волосы прилипли к вспотевшему лицу, рот перекошен, в глазах пустота, муж не узнает женщину у него в ногах, это не его жена. Она кричит:

— Давай уже уверуем, и истина сделает нас свободными!

Раз, два, три, четыре, пять, — посчитал до десяти Павел и тихо сказал:

— Это твоя жертва Люда, так иди и молись. Моя жертва в другом.

— Другом?! В чем же?! — визг и слезы, — ждать?! Ждать с моря погоды и надеяться?! Надеяться, что ее найдут! НЕ-НАЙ-ДУТ!

Жена странным образом меняется, она больше не плачет, смотрит отрешенно сквозь него, не моргнет, лишь губы шепчут:

— Богородица, Господь с тобой...

— Вот иди и молись! — закончил разговор Павел, — иди и молись.

— Люда пошла дорогой Бога, выбрала свое спасение в служение ему, — говорит мягко, по-женски, мужской голос в наушнике сотового, — я готов помочь и вам, Павел Дмитриевич. В нашей церкви есть место всем заблудшим и страждущим душам. Я гарантирую, вы начнете новую жизнь...

Павел Дмитриевич смотрит на телефон в руках, словно он ожил и обратился в нечто неприятно-противное:

— Ты кто вообще?! Бог, что ли?! Христос, может?! Себе помоги!

Сороки прознали его страхи, страх мужчины. Отца. Они трещали смело над ним, хохотали по-человечески, гавкали по-собачьи. Прогоняли со своей территории. Павел пригибался, уворачивался от черно-белых вспышек, мелькающих перед глазами.

Он искал в высокой траве ответы. Но в лесочке хозяйничали сороки. Вооруженный бесполезной палкой отец капитулировал.

— Что вы прячете! — закричал однажды и швырнул подобранную палку в сторону гнезда сорок. Сороки завывали пожарными сиренами.

— Что скрываете?!

Снилось, сороки заговорили. Сказали, что помогут отцу найти дочь. Для этого нужно было всего лишь принести им самое ценное, самое дорогое.

— Отдам все, что есть, — говорит отец, — вам нравится золото? Будет золото. Принесу. У жены этого барахла...

— Самое ценное, — кричала сорока.

— Самое дорогое, — вопила вторая.

— Бесценное! Дороже золота! Дороже собственной жизни! — перебивая друг друга.

— Дороже жизни?.. — у отца был один ответ — дочка.

— Неси дочь, неси дочь, неси дочь!.. — сотней голосов разверзлось небо, сороки взорвались на клочья и перья, и тысячи тысяч сорок своей чернотой скрыли небо и солнце:

— Неси дочь!

Сон повторялся. Он боялся этого сна. Боялся сорок.

В детской Людмила сделала свою молельню. Убрала фотографии дочери, Павел не спорил, молча забрал снимки в радужных, винтажных рамках, с рюшками, стразами, бабочками, приютив их в спальне, в своем наблюдательном пункте.

Вместо фотографий дочери Людмила повесила иконы. Если бы Павел посчитал, он бы удивился их количеству.

Икон разве что только на полу не было.

— На поиски пропавшего ребенка вышли взрослые, подростки и даже дети поселка «Кирпичный», — сообщила диктор местного телевидения в программе новостей, — до позднего вечера и в темноте велись поисковые работы. С утра водолазы проверили дно карьера. Пока, к сожалению, никаких следов пропавшей девочки не обнаружено...

Сосед семьи Крапивиных, известный в поселке под прозвищем Бухарин, из-за болезненного пристрастия к выпивке тоже отправился на поиски соседской дочурки, прихватив с собой пару флаконов, «фанфуриков» с настойкой боярышника:

— Без дизеля никак, — делился он со всеми, кто соглашался слушать, — я всю жизнь на этом топливе и никаких болячек, живее всех живых.

Когда на дне второй настойки осталось на полпальца, Бухарин решил прилечь у забора ДНР. Переименовал Аляску алкоголик со стажем по праву сторожила, да и любитель он был выделиться, называя это замашками бывшего работника культуры: Бухарин два месяца проработал в поселковом клубе «Дружба» сторожем.

— Прилеж, значит, обмозговать дальнейший ход событий, — рассказывал он тем же вечером на скамейке у печально известного теперь дома многочисленным собутыльникам, — в тенечке, и так чтоб дорогу видно было, мало ли. И вдруг откуда ни возьмись женщина. Не простая, а вся в сияние окутанная, и одежды, и нимб над головой светятся как солнце, а сама босая и идет по траве высокой, а трава не гнется под ней. Копия точь-в-точь с икон сошедшей Богородицы.

Слушатели разинули рты, верующие креститься стали, когда Бухарин продолжил:

— А за руку эта Дева Мария девочку ведет, с сумочкой в форме сердца через плечо и тоже точно копия девочки из седьмой квартиры. Те же волосы рыжие кругляшами, веснушки и одета как по описанию, — отпел тут рассказчик и показывал пальцем в сторону развилки, — вон там, сразу за рельсами, левее Аляски, и запахло вокруг сразу не по-земному как-то, чистотой, свежестью. Дева Мария девочку по головке гладит, а под девочкой трава тоже не гнется. Я так и замер, шевельнуться не могу, а они вдруг огнем вспыхнули и пропали, лишь голос остался, как всхлип, и завоняло, будто болотом или канализацией. И меня как прошибло током, и сразу на ноги кто поставил, а голос в голове женский говорит:

— Ищи нас в колодце.

Отец услышал это вторым, первой с историей о встрече Бухарин поделился с соседкой Людой, как чувствовал, что женщина даст ему на бутылку дорогой водки.

Павел на водку не дал, дал пинка, вышвырнув соседа за дверь:

— Протрезвей хоть раз в жизни, а то сдохнешь и не узнаешь, что сдох!

Возмущениям обиженного соседа не было предела:

— А ведь был тихий и муху не обидит, — жаловался на скамейке, — не матерился, добрейшей души человек. А смотрите, что стало... В зверюгу бессердечного превратился. Будто я, что его дочь пропала, виноват...

Людмила позже попросит Бухарина показать то место, и ее еще не раз будут видеть стоящую на коленях по горло в высокой траве.

«Ищи в колодце» — единственное, что зацепило отца в бреднях старого алкоголика, и Павел облазил все канализационные люки в поселке до центральной железной дороги.

— Полиция, — по словам все той же дикторши, — делает все от нее зависящее и возможное. На поиски брошены все отделения ГИБДД, задействованы военнослужащие двух воинских частей и сотрудники МЧС.

А через неделю поиски прекратят, и местная газета «Вечерняя среда» окрестит это «Исчезновение в международный день защиты детей». Первополосный материал с фотографией семилетней Светы Крапивиной еще неделю будет мелькать перед глазами поселковцев, но на третью неделю 350 гектаров горящего леса займут новостную ленту, и только отец будет искать. С первыми лучами солнца и до темноты.

Сначала Павел напишет заявление об отпуске без содержания, а месяц спустя заявление об увольнении по собственному желанию.

И во сне отец искал, бродил по знакомым до желудочных спазмов, до сердечных схваток и зубной боли, местам: по развилке, вокруг Аляски, вниз в овраг под железнодорожным виадуком...

Искал под ликование сорок. Искал и всегда находил красную резинку для волос с двумя ягодками-малинками, а иногда сумочку в форме сердечка, они купили ее в тот самый день...

Сердце отца где-то на дне затаило, зарубцевало ощущение потери.

— Дочь жива! — от двери к окну. — Жива, и я найду ее!

До конца лета оставалась неделя, первого сентября Света должна была пойти в первый класс:

— Должна, — Павел в тысячный раз брел мимо железнодорожного полотна и бубнил, — должна и пойдет. Глаза всегда опущены, высматривают следы, а тут что-то окликнуло, позвало, взглянул вверх отец и на насыпи из камней увидел красное пятнышко. Остановило бой сердце отца. На карачках, царапая ладони об острые камни, забрался на насыпь и не поверил гла-

зам, сумочка дочери будто только купленная. Схватил находку, прижал к груди. Оглядываясь, в надежде позвал дочь по имени, сначала тихо позвал, потом громче и, наконец, закричал.

Крик разорвал пузырь реальности, отец увидел, как из знойного, вибрирующего от испарения эфира прямо по железнодорожным путям бежит его девочка, смеется и подпрыгивает, в том же белоснежном сарафане в цветочек, с сумочкой в форме сердечка...

Открыл сумочку Павел — пусто. Да и цвет вблизи не таким красным кажется, даже не красный, а бордовый какой-то, и не помнит отец, чтобы на сумочке дочери был кармашек.

Положил назад, как свое сердце оторвал, и на камни. Спустился, не удержал слезы отец. Здесь в лесопосадке почти в трех километрах от поселка он часто себе это позволял. Заходил в гущу деревьев, прислонялся к первому стволу, тихо плакал, вгрызаясь ногтями и кулаками в кору дерева до крови, до стона...

— Похитители бы давно объявились, — строили предположения в поселке, — выкуп запросили или еще чего...

— На органы сейчас детей продают за границу, — пугали своих непослушных отпрысков родители, — особенно тех, которые допоздна шляются, в лапту играют...

— Аляска утатила бедняжку. Проснулась, видать, проголодалась и съела, — старухи шептались.

Только всех так называемых пропавших в Аляске находили.

Один упал в погреб, сломал ключицу, тело нашли через неделю по запаху, вторая скрывалась от мужа в заброшенной стайке два месяца, а третий по пьяни не смог выбраться из картофельной ямы, пока не нашли на четвертые сутки.

— Аляска, Аляска, отдай, что забрала, — шептала бабка-знахарка, ее привела в квартиру мать Павла, строгонастрого велела сыну слушать, не перебивать. Знахарка баба Рима таращилась слепо в карты, потом в тарелку с водой. Держала отца за руки:

— В твоём сердце стучит и её сердце. Сердце дочери, — говорила.

Смотрела фотографию Светланы, жгла над ней спички:

— Не вижу ее среди мертвых. Тепло от снимка идет. Живая, значит. И в колодце не вижу, не в плену она. Но и нет в ней ощущения свободы. Слышу, как шумит ветер, но не чувствую его дыхание на себе... Так деревья на ветру колышутся и трещат. Все раскачивается, как на качелях, и много разных голосов странных, птичьих, животных...

Павел вцепился в край кухонного стола и стол затрясся, когда он услышал:

— Вера творит чудеса, молитва.

— Пятьсот икон! Пятьсот, если не больше, это разве не молитва?!

Икон было куда больше. Не все Людмила принесла в комнату дочери, некоторые так и лежали в целлофановых, разноцветных пакетах под кроватью. И в прихожей, в тещиной, в шкафу с обувью, и между зимней одеждой, купленные со всех точек продаж освещенные иконы...

— А что остается, если не молитва, — продолжала настойчиво баба Рима, а Павел скрипел зубами:

— Ненавижу.

— Смирение, а не гордыня, вот что поможет обрести душевный покой.

Отец перевернул бы стол на голову гостье, если бы вовремя не подоспевшая мать. А на прощанье, стоя в дверях, знахарка вдруг сказала:

— Ненавидь больше, сынок. Если не молитва, то ненависть поможет выжить и найти ответы. Ненавидь, дорогой. Ненавидь сильней, крепче. Всех!

Мать посмотрела на старушку, потом на Павла. Развела обессиленно руками:

— Да что же вы говорите, его же злоба эта погубит...

Баба Рима продолжала:

— И в следующий раз, как над тобой пролетит со- рока, сынок, не ленись, брось в нее что под руку по- падется, камень брось и скажи: несчастье птице, что летит против хода солнца.

Павел кивнул, старуха знала о сороках.

— А икона без веры, без молитвы, так, картинка, украшение... — закрыла она дверь за собой.

— Совсем сдурела бабка, — возмущенно хлопнула в ладоши мать, — сороку еще зачем-то приплела. А я ей еще риса отборного и гречки, думала дельное что скажет, поможет...

Сын поцеловал мать в голову:

— Жива.

Жена держала свой обед молчания, говорила по делу, коротко, по существу. Перед первым сентября сказала, что уйдет в монастырь. Павел ответил:

— Угу, и иконы все с собой прихвати, я Светину ком- нату в прежний вид завтра приведу.

Людмила, заметил Павел, захотела что-то спросить, может возразить, но остановилась среди зала и молча захлопала глазами.

— Желательно прямо сейчас начать собирать их, чтобы я с утра все в порядок у нее привел. Ей не по- нравится такое... — он не мог подобрать нужного слова, — такое... такой бардак. Я фотографии еще новые проявил, ей они точно понравятся, Светотуси болтуси.

Закрыв лицо руками, Людмила пропищала что-то, пошла собирать, послушно иконы.

Утро, первое сентября. Пасмурно. Из тревожного сна в такое же беспокойное утро с морозящим дождем и страхом от неуверенности.

Ненавидистные сороки кричат в ненавидистных деревьях, празднуют.

К девяти часам нарядные школьники потянулись мимо его наблюдательного пункта к школе. Замелькала школьная форма черно-белым цветом, завертелись в первом вихре осени банты, шары, листья...

Дождавшись, когда жена уйдет в церковь к заутренней, вымыл полы в квартире, расставил в комнате дочери фотографии и плюшевые игрушки, развесил по стенам рисунки Светы.

Акварелью расплылось по альбомному листу счастливое, тогда еще улыбающееся семейство. На карандашных рисунках всяческие придуманные существа. Добрые и веселые стражники семейного счастья: Сердценошка, Пушистый барабашик, Солнцепрыг, Ночнушка-хохотушка, Фей-фонарик, Звончепух и королева королев Помадка — все из семейства «улыбак» с широкими, в форме рогатого месяца, улыбками и звездами вместо глаз.

Закончил Павел под доносящуюся со школьного двора песню «Первоклашка». И на удивление самому себе начал подпевать:

— Первоклашка, первоклассник,  
У тебя сегодня праздник.  
Будь серьёзный и весёлый —  
Встреча первая со школой.

Вышел из подъезда с бумажным свертком под последние аккорды песни, знакомой с детства, прошел мимо школы, не взглянул в сторону развилки и Аляски, через рельсы, твердым, уверенным шагом к месту из сегодняшнего сна. Пророческого сна.

Жертва у всех своя. Но все мы жертвы.

Бухарин вышел следом за отцом, а вечером на скамейке расскажет и будет клясться всем святыми и мамой, что отец шел, как та Дева Мария, с девочкой по верхушкам травы и трава под ним не гнулась...

Людмила купила последнюю иконку в киоске при храме. В тот самый момент Павел подошел к березе под истошный крик сорок, птицы пикировали, пытались когтями и клювом попасть в лицо, орали, гавкали, шипели, пищали... На макушке дерева шарообразной формы сорочье гнездо. Птенцы давно встали на крыло, но не спешили покидать родительское гнездо. Он все эти месяцы наблюдал и все больше ненавидел, мечтавая растоптать в кровавую кашу...

— Сорока-сорока, кашу варила, — развернул сверток, — деток кормила, — газета упала под ноги, — этому дала, — отец поднял топор над головой, — этому дала, — птенцы присоединились к родителям, смело атаковали, вцепились в волосы врагу, — и этому дала, — лезвие, занесенное над стволом березы, отбросило солнечный зайчик в тень травы и шиповника, — этому тоже дала, — отбиваясь левой рукой от пернатых, — а этому не дала!

Жертвы бывают разные. Но жертва необходима.

Чтобы вернуть потерянное, нужно жертвовать. И чем крупнее жертва, тем большая вероятность возвращения утраченного...

Удар.

Он увидел жену, постриженную в монахини, молящуюся на коленях перед пылающим в свете тысяч свечей алтарем.

Топор легко пронзил мягкую, податливую кору березы.

Отец замахнулся во второй раз. Сороки над головой взорвались небесным громом.

Удар.

Увидел себя под виадуком у железной дороги. Он знает, что надо делать, и делает... Увидел поезд Улан-Удэ — Москва, как он на всей скорости сходит с рельс в том самом месте, где отец нашел сумочку, похожую на сумку дочери. Кровь окрасила черные камни красным, под цвет его боли. Крики и стоны людей из перевернутых, искореженных вагонов перебили сорок.

Береза покосилась, затрещала подраненная, осыпала человека пожухлой листвой...

Ему повезло, он сбил одного птенца, прежде чем тот клюнул в глаз, птица упала в траву, забилась.

В третий раз лезвие сверкнуло молнией и ударило в дерево, в свежую рану. Со стоном и треском завалилась срубленная береза, сорочье гнездо раскололось на веточки и щепки.

Отец оглянулся, посмотрел на развилку, по ней сейчас должна идти, прискакивая, его дочь в белоснежном сарафане, с сумочкой в форме сердца. Они, правда, опоздали на школьную линейку, но это не беда. Бывают беды и пострашней... Зато успеют переодеться и прийти как раз к классному часу и чаепитию для первоклашек, его решили устроить родители, сбросились по пятьсот рублей, купили сладостей, торт на заказ...

Развилка пуста. В точности как в тот день, последний день семьи Крапивиных.

В тот день, втроем сходили до магазина, решили побаловать себя тортом-мороженым и купили Светлане сумочку-сердце, очень уж приглянулась ей безделушка. На обратном пути, у развилки, дочка предложила:

— Давайте кто быстрее?! Вы с мамой по одной стороне развилки, я по другой дороге, кто придет первый, тот и победитель. Тому самый большой кусок.

Разошлись. Девочка долга махала родителям, пока не скрылась за забором Аляски.

Больше они ее не видели.

Развилка развела жизни, разделила... Души, мысли, сердца...

Первые пять минут они ждали ее появления, всматривались в пустынную дорогу, потом отец сбегал, проверил квартиру. Побежал по дороге дочери, оббежал на сто кругов Аляску.

Ни следа. Одни сороки тарахтят над ухом, смеются...

Людмила начала плакать, торт-мороженое таял в ее руках и смешивался со слезами, капал на асфальт у подъезда...

Со стороны Аляски подул пронзающий, холодный ветер, запахло перцем и кровью. Снова заморосило.

Павел уронил топор. Сорок не видно и не слышно, будто не было никогда, а гнездо всего лишь кучка веток, скорлупы, и... Первым увидела душа, потянулась...

Отец нагнулся, поднял, под тарабание сердца в ушах, красную резинку от волос с ягодками-малинками, сжал в ладони, поднес к губам.

Света любила, когда папа кормил ее, он протягивал к ней самую крупную малину, и дочь ловила ее губами, а вместе с ягодой кусала его за пальцы. Они смеялись до колик и слез, смеялись до звезд...

Не чувствуя, не видя, не дыша. Вернулся в квартиру. Без мыслей, без чувств, без воспоминаний... То, что столько месяцев утаивал от себя на дне отцовского сердца, прорезалось, вытекло черной кровью... Потекло по разбитым о стены кулакам, побежало из глаз по щекам за ворот, хлынуло из сердца, перелилось через край, через горло...

Он спал и вот проснулся, кромсая в зале, руша в спальне, в ванной и на кухне все, что стало теперь ненужным, лишним...

Не тронул детскую. Комнату дочки.

Место, куда он не может не вернуться. И он вернулся. Сел на кровать в окружение ее любимых игрушек, фотографий в ажурных рамочках и стразах... Сел, снова и снова прикладывал к губам пластмассовые красные ягоды, словно целуя, словно пробуя на вкус, и тихо, вполголоса, позвал на помощь:

— Звончепух, Помадка, Горлодерик, Сердценошка, Тапочкины ножи, Барабашик, Солнцепрыг...



## ГОРСТЬ РОДИНЫ

*Всяк человек — земля есть...*

*Народ*

«Мать! — осенило в самолете перед самым взлетом, когда застегивала ремень безопасности. — Твою ж мать!» Сабина дернулась в кресле нервно, по-детски дернулась всем телом от бессилия и злости на себя.

— Ма-а-ать, — сквозь зубы.

Взглянула в иллюминатор: серая лента взлетной полосы, спицы антенн, в небе ни облачка — умиротворенный, статичный пейзаж безразличия, неучастия, отстраненности... А внутри у нее ураган, и «мать» превращается, зарифмовывается в яростное матерное слово, она повторяет его про себя, а так хочется прокричать, чтоб освободиться от горького привкуса невыполненного обещания.

«Дура, дебилка, идиотка!»

Сосед, пожилой лысый мужчина, участливо улыбнулся.

— Забыли что-то? Сочувствую, — закивал он и кивал после каждой произнесенной фразы. — Я как-то про жену забыл (кивок) — вот это была, скажу я вам, катастрофа (еще кивок). Все ведь поправимо, не расстраивайтесь (кивок, кивок, кивок).

Ну вылитый китайский болванчик, кивнула в ответ Сабина, молодая и ужасно дерганая, нервная для своих двадцати семи лет женщина. Мать ее иначе как «психушка» и не называла с детства.

— Ты посмотри на свои волосы, — тыкала дочь лицом в зеркало. — Пятнадцати еще нет, а уже седина лезет. А все из-за чего? Из-за нервов. Раздражительности... Выросла невротичка.

Сабина ущипнула себя за бедро, смотрела на блестящую лысину соседа и говорила с ней. Всю созна-

тельную жизнь не смотрит людям в глаза — не выносит, терпеть не может. Выдерживает лишь взгляд собак и кошек.

— В аэропорту, что ли, забыли? Жену...

Мужчина кивнул:

— Не совсем. Проснулся — и забыл, что женат...

А вы, если не секрет конечно, что забыли?

— Родину, — не задумываясь ответила Сабина.

На самом деле место, где родилась и прожила до пяти лет, Сабина не считала своей родиной.

— Потому что не помню ничего, — рассуждала она. — Ни моря, ни дома с виноградником, ни лиц. Ни черта... А родина — настоящая — там, где ты все знаешь. Ее вспоминаешь, видишь в снах, по ней скучаешь... Моя родина — Сибирь, а юг, Каспий как что-то иное, не мое, неродное. Ненастоящее. Да и жару я терпеть не могу.

Поэтому без особого желания и энтузиазма прилетела Сабина на свадьбу сестры и всю неделю с утра и до полной отключки вливала в себя домашнее вино, мешая его в дичайшие, безобразные коктейли с пивом, водкой, агдамом, ликерами, коньяком...

Она и перед самолетом сделала себе «успокоительное» из вина с минералкой.

— Но как вылетело из головы, что дядь Ване пообещала, ума не приложу! — оправдывалась и торопливо курила у здания аэропорта, уже на родной сердцу сибирской земле. — Для него это так важно. Ё-о-о... Для него это вопрос жизни и смерти.

Не докурила, бросила под ноги сигарету, растоптала.

Встречал Сабину друг детства, «полумуж» Дима («дружить — дружим, но замуж — ни-ни»). Ему, впрочем, такое обращение не нравилось («так евнухови скопцов называли раньше»), возмущался всякий раз, однако Сабина продолжала, и Дима свыкся со статусом полумужа. Пусть уж так, чем совсем никак.

Полумуж выслушал слезливую исповедь, предложил:  
— Да какая разница, откуда земля?! Она везде одинаковая. Набери дядьке нашей земли. Скажи, что с юга, с родины. Делов-то... Сабина долго мотала головой под монотонный бубнеж:

— Не, не, не, не...

Дмитрий настаивал:

— Обидится дядя Ваня ведь. Пообещала и не привезла землицы. Уж лучше соври. — Открыл банку пива, протянул полужене. — По мне так: земля — она и в Африке, и в Зимбабве земля землей...

— Зимбабве — это тоже Африка, умник. — В пару больших глотков опустошила банку, бросила, раздавила кроссовкой. — С-сука, чувствую себя паршиво. Предательницей. Вторично родину предаю, теперь еще и дядьку. Ну кто я после этого, если не сука?

Попробовал приобнять:

— Ты самая красивая девушка Иркутска и Сибирского региона!

Сабина вывернулась:

— Останови тогда улесочка, там хоть земля настоящая...

Дядя Ваня тридцать лет живет на чужбине.

— В ссылке, — повторяет он все тридцать лет. — В шестнадцать бежал беженцем от войны, стал каторжником, стал заложником.

Сабина, двоюродная племянница, знает эту историю наизусть. Но терпеливо слушает каждый раз дядьку — очень уж любит она этого угрюмого родственника. Единственного и по-настоящему родного — что при жизни родителей, что после их скоропостижного ухода.

— Сначала девяностые оглоушили своим дурдомом в стране и в мозгах. В нулевых, на родину чтобы попасть, стал нужен загранпаспорт. А у меня простого-то паспорта двенадцать лет не было — не до заграна... Так и смирился со своей каторгой, с зимней спячкой. Буд-

то уснул, в анабиоз впал я в этой Сибири, где моря нет, звезды далеко и земля зимой насквозь промерзает...

«Ссылка», «каторга», «чужедалье», «временное пристанище», «неродина», «запределье» — и никак иначе. А если вынужден был конкретно обозначить место проживания, дядя Ваня коверкал название города, переставляя или изменяя буквы.

— Потому что одна родина у человека, как и Бог один, и мать с отцом, и группа крови, и мозг, и душа. И каждый из нас один и уникален.

Ну что тут возразить? Сабина многим обязана дядьке.

— По-настоящему — всем обязана. Он мне семью реально заменил. На ноги, можно сказать, поставил. Я же, неблагодарная, забыла такое важное дело! — снова и опять жаловалась она полумужу, запивая вино красным вином из тетрапакета. — Всего-то надо было — землю привезти с родины. И тут я налажала.

Сабина споткнулась, Дима успел подхватить ее за локоть. Она недовольно фыркнула, вырвала руку, расплескав вино из откушенной с уголка коробки.

— Хочу в ауте быть, когда дойдем до дядь Вани, ясно тебе?! Пьяной проще совершать всякое непотребство, и сей грех тоже легче сотворить под градусом. А наутро все забыть и жить дальше...

— Говорю тебе, Бина, земля везде одинаковая, — талдычил ей в семьдесят второй раз (он считал). — Химический состав один и тот же, поверь.

В семьдесят второй раз Сабина спросила:

— Правда, что ль? По-настоящему? Поклянись мамой.

Клялся мамой полумуж, пока они добрались до квартиры дяди Вани, в общей сложности восемьдесят раз.

Дядя заждался родственницу: сидел на табурете у приоткрытой двери в прихожей; выглядывал из окна на кухне, откуда видна дорога к подъезду; звонил на выключенный сотовый; разгадал все, что нашел, кроссворды со сканвордами; выпил шесть кружек крепко-

го чая; съел килограмм вафель и уже накапал в рюмку корвалола, разнервничавшись не на шутку («куда подевалась племяшка, пять часов как прилетела»), — и тут в дверь позвонили.

Выпил для успокоения сердца раствор и еще с кухни услышал звеняще-пьяненький голос племянницы.

— С чего-о-о начинается Родина-а-а?! — горланила она.

Черная земля в прозрачном полиэтиленовом пакете, завязанном на несколько узлов, в центре кухонного стола.

— Семь полных ладошек, — повторяет и повторяет Сабина. — Семь горстей с горкой.

Дядя Ваня, смолоду весь в морщинах и рано поседевший, смотрит на подарок — видит детство: лианы винограда, скрывающие небо; море, проглатывающее солнце; себя, еще совсем мальчишку; песчаный берег, где песок дышит жаром, пахнет нефтью, и рыбой, и счастьем...

Племянница не дает открыть дядьке рот:

— Могилку с ходу нашла по астрам. Все как ты рассказывал, все в них: сиреневые, розовые такие, будто звездами могила укрыта.

Дима поддакивает, поддерживает подругу, успевая вставлять:

— Ага, ну, но, во-во, все так, ё-пэ-рэ-сэ-тэ...

Сабина сочиняет, придумывает досконально, до мелочей, штрихов и запахов. «Врать не привыкать, во мне актриса живет и, когда надо, играет нужную роль согласно сценарию, — хвасталась. — Дядьке лишь одному не врал». —

И вот:

— С моря думала еще набрать земли, да че там — песок и ракушки... А с бабушкиной могилки аккуратненько под астрочки — шмыг, и так семь раз, семь полных ладошек. А земля мягкая, сырая, податливая, хоть и жара за сорок... Потом все боялась, что с землей в самолет не попят.

Дима в очередной раз разлил по сервизным чашкам красного полусладкого.

— За родину! — прозвучал тост.

И дядя Ваня наконец озвучил, что мучило и терзало последние десятилетия:

— Могилки хоть ухоженные?

Подавилась вином Сабина, закашлялась до потекшей по щекам туши и багрового лица.

— Не в то горло, что ли? — колотили мужчины женщину по спине.

Кивает Сабина, а сказать как, не знает: вино во рту словно свернулось, песком, землю стало, что с трудом проглотила, оцарапав нёбо и горло.

— Не в те ворота, — прохрипела. — Водички бы...

Племянница пьяно, слезно клялась, что могилка бабушки ухоженная, и за остальными покойничками следят, и никакой мерзости запустения, и кошмары теперь прекратятся.

Кошмары дядю Ваню посещают каждую ночь. Чаще всего это сон про неухоженные могилы, что остались на родине. Они кричат с кладбища, зовут его разными голосами, будто все мертвецы сговорились, ополчились против него. Видит: могилы открываются гигантскими ртами, внутри черная пустота — страшная, бесконечная, манящая. Она втягивает его, засасывает невидимыми токами, и дядя Ваня просыпается с криком и шрамом в сознании — как если бы он узрел пустые глазницы любимой бабушки...

— Брошенные могилы не прощают своего одиночества. Забытые покойники мстят, я это знаю. Они находят предателей сначала в снах, потом...

И это зависшее в небесном эфире «потом» пугает его сильнее ночных кошмаров, пугает племянницу, Диму, всех слушателей, потому что у каждого где-то зарастает колючкой и сорняком одинокая могилка.

— Я все детство провел на могиле деда, — вспоминает дядя Ваня. — Бабушка через день ходила на кладбище

к нему убираться. Чтобы не скучал дед, говорила. Мы там и ели, и в игры играли, даже уроки иногда делали и вслух деду читали. Вот как с мертвыми своими общались — еще теснее, чем при жизни. Бабушки не стало через год, как мы бежали с родины. Я только знаю, что с дедом ее похоронили, и больше ничего не знаю... Лишь в снах вижу могилу. Так то сон, не истинное...

— С кошмарами покончено! — вместо «до свидания» заявила Сабина.

Молодые чмокнули дядьку по очереди в плохо побритый подбородок. Дима напомнил лечить воспалившийся «ни с того ни с сего» глаз чайным раствором, племянница наказала сходить к врачу.

Дядя Ваня многозначительно промычал, уж больно не терпелось остаться одному, один на один с частичкой далекой родины, с прошлым, с вечностью!

«Две трети жизни вне родины! — ворчит про себя дядя Ваня. — Забыла она уже меня. Погибли корни». Замер в проеме кухонной двери, смотрит на гостинец с юга, а глаза щиплет до слез — не то от желтого электрического света, не то от нахлынувших воспоминаний, тоскливых, ранивших.

Тридцать лет выживания воспоминаниями и прошлым, существование в вечном ожидании невозможного... Смирение с участью никогда больше не увидеть родину пришло после сорока. Появились болячки от бесконечного самобичевания, невысказанного, невыплаканного.

«Всеболезниотнервов,оттревогипереживаний...» — считала давно исчезнувшая из жизни дяди Вани сожительница, и он с ней согласен. Сожительница сгнула, чтобы не разделять его болячки, оставив книжку с таблицами соответствия болезней психологическим нарушениям, и теперь дядя Ваня знает, что бессонница у него от чувства вины, а растущая на левом глазу катаракта — неспособность смотреть вперед, в будущее

с радостью. Туманное, расплывчатое, мутное будущее. Отсутствие как такового... Проблемы с желудком — это ужас от всего нового, боязнь и закрытость. Недовольство собой и своей судьбой, чувство обреченности ведет к гастриту. А частые запоры свидетельствуют об избытке накопленных переживаний, чувств, воспоминаний, с которыми никак не расстаться, как и о нежелании избавиться от устаревших мыслей, о том, что увяз в прошлом...

Прошлое вернулось, пролетев более пяти тысяч километров. Оно появилось в настоящем, упакованное в полиэтилен прошлое.

— Здравствуй, — не своим голосом, — кусочек юга на севере.

Отчего-то дядя Ваня испугался произнести слово «Родина», которое всегда пишет и проговаривает с большой буквы. Заглавная буква «Р» встала поперек горла. Сердце напомнило о себе старой раной, кольнуло.

Может ли клочок земли заменить все то прошлое, что случилось на родине? Семь горсточек — могут ли они называться Родиной с большой буквы? Или это всего лишь почва, поверхностный слой педосферы Земли и не более?

Присел дядя Ваня к столу, залил копошившиеся мысли остатками вина. Ягодная сладость заполнила голову. Виноград детства зелеными лианами обвил стареющее тело и душу поднял к потолку и выше — сквозь крышу к звездам-астрам. Именно такие звезды были над головой у мальчика Вани. Он смотрел в глазастое небо детскими глазами и называл небо своим.

— Мое глазастое, цветастое небо.

И подсолнухи, что росли вдоль забора, звездными маяками посылали сигналы небесным собратям; Ваня падал на спину в прыную негу зарослей и взлетал, и летел по Млечному Пути над родным домом, поселком, над школой и кладбищем...

Узлы развязались сами, едва дядя Ваня прикоснулся к пакету с землей. Подушечками пальцев коснулся родины — и вот он, Млечный Путь, а под ним пики кипарисов и знакомые крыши домов, и такое саднящее чувство близости с крестами и памятниками, с могилками дорогих близких.

— Это мой дом, — шепчет дядя Ваня.

За прикрытыми веками пролетает иная вселенная, жизнь-мечта, придуманное счастье... А на кончиках пальцев крупички земли из пакета, и дядя Ваня подносит их к губам, пробует крошки на вкус. Земля родины со вкусом новогодних праздников, где мандарины перемешаны с искрами бенгальских огней, салатом оливы и мамиными поцелуями. Песчинки во рту лопаются перезревшими гранатами, взрываются хлопучками, рассыпаются разноцветным монпансье.

Дядя Ваня возвращается на родину...

Пока дядька бежал, глотая соленый ветер, к морю, сливающимся с небом, племянница вошла в оградку одной уцелевшей на пригорке могилы в окружении выжженной до черной пыли земли. Клыки сломанных надгробий и тлеющих крестов — до горизонта, до неба. Сабина знает, что должна сделать, что обещала, только все не так, как она представляла.

— Разве война не кончилась? Это что, конец? Конец света?..

Нагнулась, взяла с могилы горсть земли. Земля в ладони стала вязкой, липкой, стала алой кровью. Сабина зачерпнула обеими руками — и вот они, полные пригоршни густой, горячей, кровавой жижи, а на мраморном надгробии ее имя и фамилия, а с овала фотографии смотрят ее глаза и улыбка.

Сабина закричала, руками закрыла лицо.

— Это не по-настоящему! — размазывая кровь по щекам и шее. — Это ложь!

«Ложь! — взорвалось красным небо и чернота вокруг; все окрасилось кровавым цветом. — Ложь!»

Проснулась Сабина — сердце стучит в горле, а горло полно земли, пересохшее, сплошная горечь во рту. Взгляни сейчас в зеркало — Сабина убеждена, на нее бы посмотрело испуганное, страшное лицо, покрытое начавшей ржаветь, запекшейся кровью. Слово из сна, окрасившее небо и землю красным, болью стучит в похмельной голове. Мелкая дрожь в пальцах. Так же трепетали руки, когда она набирала землю из оврага в лесочке рядом с аэропортом. Дрожь передалась всему телу, проникла внутрь.

— Это во спасение ложь! — крикнула в серость раннего утра, беспрепятственно заполнявшую спальню.

Сорванная гардина с громадой штор, похожих на огромную бабочку, стояла в углу у окна. Сабина нащупала на макушке шишку с кулак.

«Так тебе и надо!» Затошнило от мутных обрывков воспоминаний. Горячей волной воспоминания поднялись к горлу. Она едва успела заскочить в ванную, где, согнувшись в три погибели, выпустила из себя красный, зловонный поток вчерашних злоупотреблений.

«Ванна, полная лжи», — забулькало, закипело откровение, и его ей никак не выдавить из себя.

На полу на кухне храпит полумуж, свернувшись вокруг ножки стола. Ополовиненная бутылка шампанского ожидает, чтобы опохмелить обожженную душу. Сабина выпила выдохшийся и совсем не игривый напиток залпом.

— Ванна, полная лжи! — пнула мужчину. — Слышишь? Я не могу так!

— Что? Про че ты? — Дима пьяно смотрел на женщину из-под стола. — Какая ванна?

— Полная кровавой земли ванна! — закричала Сабина и схватила с заставленного бутылками и остатками закуски стола сотовый телефон. — Я звоню дяде Ване — и все, короче!

Пока полумуж вяло и кряхтя поднимался, Сабина дозвонилась до родственника и услышала радостный, полный восторга и огня голос:

— Глаз! Помнишь мой воспалившийся глаз?! Я машинально, без всякой мысли помазал его землей вчера перед сном. Уж больно ныл — не уснуть, даже после выпитого... И, Сабиночка, не помню, как заснул, а проснулся — глаз-то здоровей здорового! Никакого покраснения и от припухлости ни следа! Представляешь? Без заварки и врача прошел глаз. Это все родная земля. Живая земля! Целебная!

Племянница слушала, открывала рот, но не издала ни звука. Искренность дядьки разоружала, бодрила, наполняла верой во что-то необыкновенное, в чудо... Сабина потерялась в вихре эмоций, заблудилась в эйфории, льющейся в ухо. Привиделось: она попала на могилу далекой родственницы, где астры звездами, и она взаправду набрала семь горстей земли, и земля та была теплой на ощупь и пахла ванилью и сахарной ватой.

— ...да, да, земля с бабушкиной могилы, сама собрала, своими руками, по-настоящему...

Дядя Ваня отвечал на ее бормотание:

— Ну конечно, по-настоящему. Это же земля моих предков! Наших предков! Я теперь буду вместо таблеток принимать землю внутрь, как биологическую добавку. Так и вылечу все болячки. Родная земля лечит! А? Что думаешь? Излечит меня земля-матушка? Чего молчишь? Думаешь, дурак дядька, на старости лет мозги последние посеял? А я, между прочим, ясней, чем когда-либо за эти тридцать лет, все вижу, чувствую и ощущаю! Будто с этой землицей помолодел: одно прикосновение к ней — и половина возраста как с куста. Не поверишь, но я пробежался с утречка по парку! Шел из магазина, и вдруг меня понесло, ноги сами помчали...

— Здорово же, — Сабина щелкала пальцами, нервно сжимая кулаки, и не находила других слов, — здорово...

А перед глазами ванна с бурлящей кровью... Посмотрела на все еще не проснувшегося, качающегося и кивающего полумужа — китайского болванчика, прошептала:

— Налей мне.

— Это по-настоящему здорово, дядь Ваня, — скажет она через неделю, услышав про новое лечебное достижение любимого родственника.

— Если раньше ежедневно изжога мучила, а то и несколько раз на дню, то теперь и черный хлеб жую, и лечо употребляю — и хоть бы намек на жжение. А всего-то — земли на кончиках пальцев раз в день.

Закатывает глаза Сабина, заламывает пальцы рук, кусает губы.

— Здорово, но ты все равно аккуратней. Землю глотать — это как-то...

— Не просто землю, ну ты чего? Это ж с родины земля! С могилы бабушки. Она сама, помнится, говорила, что земля предков — священная! Мать сыра земля — из нее все созданы. И в нее же уходим — вместе с горстью земли, брошенной на гроб.

— Ого!

— Так, ладно. У меня слово было не разгадано в кросворде, мучило меня, а тут бац — и сложились буквы. «Движение бичующих». Знаешь ответ? Знаешь?.. Ну признайся, что не знаешь!

Снова не находила слов племянница, глазами искала на столе что-нибудь алкогольное.

— Вот и я никак не мог угадать, а здесь сами буквы словом встали: флагелланство. Я-то думал про бичей, бомжей всяких, не мог понять никак, что это за движение бездомных. А оказалось, это бичевание, самобичевание верующих, как средство умерщвления плоти...

Сабина услышала, как рассекла со свистом воздух плеть за спиной, вздрогнула — твою мать! — телефон из руки едва не выскочил. Обернулась.

— Здорово, — сказала, рассматривая тарахтящий холодильник.

Еще через неделю дядя Ваня сообщил: исчезла катаракта с левого глаза и читает он теперь без очков. Бегать стал каждое утро по школьному стадиону и собирается подать заявку на участие в городском полумарафоне, посвященном Дню города.

Диме Сабина в тот же вечер скажет:

— Я смирилась уже и убедила себя, что земля эта с родины, а не из-под иркутского аэропорта. Но это же у дядьки в фанатизм какой-то перешло. Он забыл, что терпеть этот город не может. Что ссылкой, каторгой, неродиной называл! Сейчас же в честь города бежать собирается и медаль получить в забеге. Потом и на область планирует... Ну что это, если не фанатизм? Безумие же, Дим! Не знаю, хорошо это или плохо...

Дима прижал ее к себе:

— Второе дыхание у него открылось от твоей лжи. Благодаря ей. Пускай бежит. Это же круто: на старости лет такие перемены. Послушай, может, та земля и впрямь какая-то чудодейственная, а? И нам, может, попробовать земли оттуда?

Отстранилась, посмотрела на друга Сабина:

— Ты серьезно землю жрать собрался или шутка юмора это?

Улыбаясь, полумуж ответил:

— Че, я бы попробовал в качестве эксперимента денек-другой, неделю. Вдруг мой геморрой рассосется? — И, не давая Сабине сказать что-нибудь обидно-оскорбительное, поставив тем самым точку, добавил: — И ты бы свои женские болячки подлечила.

Дядя Ваня возвращался со стадиона, сжимая кожаный мешочек с родительской землей, когда его окликнули. Окликнуло прошлое. Прошое в лице соседа из детства подошло к нему спустя полжизни, обняло. Прошое звали Ринатом, припомнил дядя Ваня.

Ринат случайно тут, обычно с вахты летал через Москву, но не оказалось билетов. И друг армейский

пригласил... У прошлого много вопросов и совсем нет ответов. Одно знает точно, на все сто процентов: нет больше поселкового кладбища. Уже лет десять как нет. Ни кладбища, ни могилки, ни звездных астр нет... Не осталось ничего от прошлого, все новое, современное, рассказал Ринат. От родины ни следа. Это уже другая земля. Не наша. Не та, что была в детстве.

Вот оно, сбивающее с ног откровение, которое он боялся высказать и которое знал всегда: родины больше нет! Нет могил предков, дома детства, двора... С прошлым связывают лишь сны и воспоминания, да парочка старых друзей и знакомых, которым, по-честному, нет до тебя никакого дела, у которых своя жизнь и новая родина.

Дядя Ваня прозрел. Проснулся от зимней спячки. Посмотрел сквозь время, увидел, как уходит под асфальт кладбище, безмолвный страж поселка. Как сам поселок, с его миниатюрными, уютными домиками и вечноцветущими садами, превращается в современный мегаполис из стекла и металла. Увидел племянницу, растерянную, потерянную, набирающую семь горстей (она считает вслух) земли в пакет, зажатый между коленок, в каком-то незнакомом, неродном зеленом парке... Она не могла позволить дорогому человеку, оберегающему ее всю жизнь, узнать горькую правду.

— Она сохранила для меня родину!.. Открыла! — говорил дядя Ваня, набирая номер Сабины. — Открыла!

Когда племянница ответила, он не сдержался. Хоть и велел себе, строго-настрога наказывал, мужчина заплакал.

Слезы к слезам. Сабина расплакалась в ответ на слезы дяди Вани.

Накануне полумужу удалось ее уговорить поэкспериментировать с землей, той, что в овраге у аэропорта. Они приехали к месту в сумерках. Дима накопал два пакета земли — тут и зазвенел у Сабины телефон.

Дима не сразу понял, кто звонит. Не понял и что говорила Сабина. Всхлипывающая, испуганная, растрепанная, на себя не похожая в этой синеющей темноте.

Нажав отбой, она сказала:

— Надоело притворяться, что настоящая. Надоело жить наполовину. Ни там, ни тут... Давай уже бери меня замуж, что ли?!

Уронила телефон, нагнулась поднять, но вместо телефона кулак сжал черную сырую землю. Поплелась, спотыкаясь, через кусты и деревья к шумному шоссе.

— Бина!

— Не ходи за мной. Думай пока над моим предложением. И земли набери еще — пригодится! — прокричала она ясно и громко, прежде чем исчезнуть, раствориться.

Потом Дима услышал визг тормозов и сигналы машин, крики. Одновременно услышал, как завибрировал и пропиликал Сабинин телефон на куче свежевырытой земли. Пришло СМС.

Он побежал, рисуя себе возможные и невозможные варианты произошедшего на дороге. Остановился.

— Телефон! — крикнул в темноту. — Слышишь, Сабин, тебе сообщение!

Поднял сотовый будущей жены, спрятал в карман. Набрал в обе ладони земли, прикоснулся губами к пахнущей пожухлой листвой и грибами почве, попробовал на вкус, одобрительно промычал.

Муж пошел, жуя землю на ходу и глотая, пошел сквозь нахлынувшую тьму к сверкающей электрическими фонарями магистрали и вскоре стал частью света.

А над лесом, дорогами, аэропортом и городом... глазастое небо смотрит на мельтешение жизни внизу звездами-астроми.

Эсэмэску, первую в своей жизни, написал дядя Ваня. «Приезжайте, родная. Жду вас. Откроем бутылочку. Выпьем за Родину!»

## ПОЛОВИЦА В НЕБО

*Баку! Городу, который во мне!  
С надеждой на возвращение!*

Дед крестился, когда над ним пролетал самолет. Сплевывал.

— От греха подальше, — говорил и не смотрел вслед улетающей машине.

Ему с детства снились такие летающие «распятия».

— В послевоенной-то, голодной жизни одна надежда на сны была, но и тут я не сыскал покоя, — подвыпив, жаловался дед. — Из ночи в ночь стальные Христы так буравили голову, что желудок от страха сводило. Кресты с неба, будто дождь, сыпались с дымом и огнем. А ведь еще старики наши говорили: настанет время, когда люди начнут падать с неба. И вот началось...

Дед боялся неба. Грома боялся. Бабушка шептала, что это с войны все:

— Мальчишкой дед под бомбежку попал, вот и страх в нем засел.

Ребятишками внуки разделяли страх деда. Повторяли за ним. Крестились, когда над деревней гудела железная птица, плевались через левое плечо и не смотрели самолету вслед. Только Поля, помнится, однажды все ж взглянула.

— Случайно вышло, — оправдываясь, плакала потом она. — Показалось, он за горой уже скрылся.

— Когда кажется, креститься надо, — ворчал дед и замахивался каждый раз теперь на младшую внучку, когда с неба слышался знакомый гул.

До самой смерти деда Полина боялась даже мельком взглянуть на небо.

— А вдруг самолет этот птицей притворится, а как только гляну, снова железным станет...

Дед умер, когда Поле было пятнадцать. До совершеннолетия и получения паспорта в городском паспортном столе внучка носила черный платок — траур по деду.

После смерти деда ей и достались в наследство его сны.

Кресты — черные, блестяще-стальные, разноцветные — с монотонным гулом плавно рассекают голубые небеса, пронзают кучевые облака, разрезают их на лоскуты. Прячут под своей плотью солнце. Небо взрывается в клочья от миллиардов крестов, которые возникают из ниоткуда и падают один за другим на землю. От грохота взрывов и жара огня Полина просыпается. Дрожит всем телом, крестится.

— А людей, людей ты видишь? — спрашивал брат, выслушав очередной сон сестры.

Девушка не могла вспомнить.

— На самолетах этих люди же летают, они пустыми не летят.

И Поля вспоминала:

— Однажды было. Только было слышно, как они кричат. Люди. Разве с такой высоты упав, живым останешься?

Брат Клим Поле отвечал:

— Всяко бывает...

Потом она влюбилась. В электричке до города вместе с ней в техникум легкой промышленности ездил чубастый Гриша. За год учебы изредка здоровались, а потом вдруг она стала видеть его в своих снах. И он, как позже оказалось, каждую ночь, пребывая в царстве Морфея, видел только ее. Любовь возникла. Он старался сесть в электричке рядом, если удавалось, платил за нее. Они стали договариваться о совместных обедах, он дарил ей шоколадные конфеты, а по вечерам провожал до дома.

— Ты летал на самолете? — спросила она его как-то зимним вечером, когда они возвращались с последней электрички.

Придерживая девушку за локоть, Григорий чувствовал опаляющий его жар любви. Она куталась в свой полушубок, пряча острые скулы в шерстяном шарфе, он шел — пуховик нараспашку, в подтверждение великих слов, что любовь греет. Падал снег, они дышали морозным дыханием друг друга.

— Нет. Пока нет. А ты?

Остановились у дома с темными окнами. Они вторую неделю так поступают. Это их маленький ритуал. Только их двоих. Он легонько наклоняется к ней и целует. Она отвечает ему приоткрытыми губами.

— Только во сне, — шепчет Полина и прячет глаза в глазах друга. — На небо до сих пор смотреть без содрогания не могу. Дедушку вспоминаю.

Гриша знает всю историю с самолетами и поэтому обнимает ее сильнее, прижимает, стараясь сквозь толщу зимних одежд услышать сердце. Сердце к сердцу.

— Теперь я с тобой, и ты можешь смело смотреть на небо. Оно звездными ночами просто божественно.

Она кивает. Она соглашается с ним. Она смотрит на небо, подняв глаза, прячась за его плечом. Она говорит:

— Ты только со мной смотри.

Он снова целует ее и клянется:

— До самой смерти так и будет. Только с тобою смотреть на небо будем. Ты и я, и небо. Втроем.

И темные небеса, и бесчисленные звезды слышали клятву эту. Тихим морозным вечером в начале нового десятилетия.

Про говорящую половицу-предсказательницу Поля знала с раннего детства. Она видела не раз, как дед осторожно, не дыша, почти на цыпочках ступал по

ней. Прикрыв глаза в ожидании ответа на вопрос. Доска в два шага отвечала ему, и дед довольно вынимал папиросу, прикуривал.

— Вот шальная, — ухмылялся, — ведь все как есть рассказала. Глава дома — половица наша. Стража.

Половица под желтым абажуром в зале и по цвету отличалась от остальных. Стертая частыми вопросами, она блестела в свете одинокой лампы и была похожа на раскатанную ледяную дорожку, ведущую к двери из дому. Дед прятал чудо-половицу под узкий коврик из лоскутков.

— Бабке вашей специально велел такой связать, — рассказывал, — чтобы попусту не шастать по матушке-половице. А кого за безобразием таким поймаю, шкуру спущу.

Поля перед экзаменами в восьмом классе первый раз спросила у половицы ответа. С братом они убрали цветастый половик. Половица, казалось, светилась в сумерках вечера.

Девочка спросила про экзамены.

Прошла, расставив руки в стороны, словно над пропастью прошла. Половица скрипнула под ней.

— Да, — озвучил ответ половицы брат, — значит, все сдашь. Все экзамены.

Полина радостно захлопала в ладоши, запрыгала рядом, заверещала весело и звонко:

— Я б ее расцеловала.

— Так расцелуй, — ответил Клим и накрыл предсказательницу.

— Почему она про то, что мамка с батей под поезд попадут, не знала, а?! — рявкнул вдруг он. — Почему?!

Поля растерялась сначала, перестала хлопать, собралась с мыслями.

— Так не спрашивал никто про это.

— Дед с бабкой о хорошей жизни всегда нам говорили, мол, половица всю жизнь им рассказала, и что?! Где наши родители?! У!

Он стукнул босой пяткой об пол. По половице. Полина взвизгнула. Клим вертел головой — смотрел на лоскутный радужный коврик, на ногу, в испуганные глаза сестры.

— Ты это тоже слышала? — Голос его дрожал.

Девочка кивнула.

— Она мяукнула, — сказала и, зажав рот ладонью, убежала.

Брат отпустился на корточки, убрал коврик, выдохнул:

— Прости меня. Я не со зла. Я и не думал, что по тебе попаду ногой.

Он погладил рукой окрашенную красно-коричневым лаком доску.

— Конечно, ты не знала про аварию, ты же доска. Это дед сумасшедший да Польшка, его любимица, думают, что ты что-то знаешь... Будущее. Но мы-то с тобой знаем, что ты всего лишь скрипучая доска. Скрипишь, когда тебе вздумается, а дед верит, что ты раскрываешь ему секреты бытия. Так и живет с твоим скрипом...

Клим остался за главного в доме, когда умер дед, а следом за мужем ушла бабушка. Они всю жизнь прожили вместе, и смерть не разлучила их надолго.

— Если люди не смогли, то смерть и подавно не сможет, — умирая, радостно говорила бабуля и целовала внуков, и велела жить в согласии и мертвых не забывать, и половицу... — Главное, не мой половицу половой тряпкой, — наказывала внучке, — лучше фартуком или подолом юбки аль халата протирай, тем, что на тебе надето будет. И крестить не забывай. Дед всегда так делал.

Бабушка умерла с улыбкой, дед ее уже там заждался. На прощание бабуля вымыла пол, подолом фартука протерла половицу. Поцеловала ее.

— По тебе, родненькая, дед ушел, ты и меня проводи в путь с Богом, — сказала, легла у половицы и встретилась с дедом.

Через полгода Клим женился. Поля с невесткой Ольгой быстро сдружились. С Ольгой девушка во второй раз испытала пророчащую половицу.

На носу последний месяц учебы в техникуме. Григорий в армию уходит. Кольца обручальные купил. Вот и возник вопрос у Поли:

— Выходить замуж или обождать?

Зажмурила глаза Полина, руки опять, как в первый раз, расставила и прошла быстренько к двери. Половица скрипнула — «да».

На этот раз девушка не хлопала в ладоши и не прыгала, посмотрела на Ольгу. Женщина повела плечами.

— Замуж, значит, что ли?..

Полина лишь ахнула.

Ольга подошла, приобняла девушку, успокоила:

— Кольцо возьми, а распишетесь, когда с армии вернется. Любишь же его или как? Дождешься из армии-то?..

Поля заплакала.

Гриша писал письма каждую неделю.

Писал: «Здесь, на юге, просто рай. Отслужу, так здесь останемся. Вышлю тебе денег и приедешь. Ты море не видела — оно, как небо. Тебе понравится. И мы будем вместе смотреть на него. Как на небо. Здесь такие фрукты, что сроду не увидишь. Не попробуешь. Фейхоа — зеленая такая ягода, на помидорину похожая, а на вкус, как мед, просто ум съешь, какая вкуснятина. Ты обязательно должна приехать, попробовать. Что тебе с братом дом делить? Я здесь дом построю...»

Поля писала в ответ, что приедет, что они будут вместе смотреть на море и есть сладкую «фейхую». Что ждет с нетерпением окончания службы и когда он позовет ее. И в конце всех писем приписывала: «Только лишь у половицы разрешения спрошу».

Ей стало сниться море. Непокойное. Бушующее, порой доводящее себя до цунами море.

— Из-за фильмов все, насмотрелась, — утешала Ольга и гладила свой большой, на шестом месяце, живот, — мне вечно все, что по телевизору увижу, ночью приснится. То Крюгер этот с когтями за мной будто бегаёт, а на днях этого, как его, здоровый такой? Шварцнейгера вот видела, ага, раздетого. Голого до стыдобы. И он такой, ко мне, значит, с вопросом, дескать, как до речки Засранки добраться, мол, до нашей. А сам весь голый и такой спокойный, ага, до речки ему надо. Ну, а я и отвечаю ему, говорю: «Вы, Арнольд Батькович, зря хозяйством своим на ветру болтаете. Простудите. И не по бабам, и не до купанья будет». А он мне рукой так, значит — отвали, и пошел, откуда пришел.

Смеется Полина навзрыд, до слез, и Ольга ей вслед:

— Главное, хозяйство у него с гулькин нос. Сразу видать — заграничный, не русский мужик.

Полина работала в столовой кассиром, тетка знакомая пристроила. А тут закончился срок службы Григория, и пришел денежный перевод на ее имя. И письмо, в котором жених подробно описал, что нужно сделать Полине. А сделать нужно было одно, самое главное — поехать в город и купить билет на самолет в один конец.

«Вещи бери только на первое время, только летние и самые нужные. Здесь не Сибирь, и снега почти нет. В аэропорту встречу. Как возьмешь билет, закажи переговоры, помни про разницу в часах...»

Она опять плакала в письмо. Но на следующий же день поехала за билетом.

Сделала все, как наказал Григорий. Через три дня, за час до назначенного времени была в телеграфе, смотрела на людей в телефонных кабинках и думала о море и фейхоа.

— Баку, пятая кабинка, — раздался женский голос, — кто заказывал Баку?! Пройдите в пятую...

Поля была уже там и уже кричала в трубку:

— Лечу! Лечу! Лечу!

На самолет Полину собирали всей деревней. Соседка баба Ганя принесла соленья. Со столовой кухарки надавали пирогов три куля. Подружка принесла с церкви молитву на дорогу, велела пришить к лифчику у сердца. Ольга — в одной руке ребенок, другой собирает в чемодан самое необходимое...

И только за полночь Полина наконец подошла к половице. Уверенная в ответе, она твердо спросила:

— Лететь?

Прошла, схватившись руками от волнения за горло. Ольга с младенцем и Клим стояли в дверях. Половица скрипнула под девушкой два раза.

«Нет».

— Нет!.. — простонал Клим. — Ты же не собираешься не полететь?

Ольга, молча, укачивала малыша. Полина стояла перед ними, все еще держась за горло. В ушах шумело, слезы давились в горле и выступали на глазах.

— Нет, — шепотом сказала она.

— Давай пройди еще раз, — велел брат, — давай.

И сестра прошла еще раз. И половица снова скрипела два раза.

Руки отпустили горло, повисли.

— Это твоя жизнь, — сказал брат.

Сестра в ответ кивнула.

— У деда крыша съехала, вот он и слушал деревянную палку, так и помер с ней... Ну, а ты-то чего?.. Не в восьмом классе...

— Она тогда скрипнула один раз, — тихо ответила Полина, — один скрип значит «да», два скрипа... Как дедушка учил...

Клим подскочил к сестре, схватил за плечи, встряхнул.

— Это половая доска, — прошипел ей в лицо, — она не вправе решать за тебя, как поступать. Ты что? Опомнись. Мы взрослые люди. Давай, вот давай я по

ней пройду. Вот смотри. Смотрите! У меня вопрос: «Моего сына зовут Игорь?»

И он прошел по половице, которая под ним тонко скрипнула.

— Правильно, — прошептала Ольга чуть слышно.

— Стоп, стоп, — попятился мужчина, — я просто тяжелее, вот она и скрипнула только раз.

Полина всхлипнула.

— Давай подождем, Клим, может, мне еще рано? Лететь. Давай подождем...

Брат не ответил.

Она повторила:

— Слышишь, Гриша, каждый день буду спрашивать половицу. Каждый божий день. И рано или поздно... Нет, я верю — она разрешит. Скоро. Очень скоро.

Из трубки в ответ лишь треск и тяжелое дыхание.

— И я сразу же возьму билет и прилечу. Не молчи только, прошу. Ты меня убиваешь.

— Половица, значит... Все дело в ней.

— Гриш...

Мужчина сказал:

— Я постараюсь. Я стараюсь, Полина. Очень.

— Ты не должен один смотреть на небо и на море. Не должен. Ты же клялся, помнишь?! Только вдвоем. И фейхую эту без меня не ешь, слышишь?! Пообещай...

— Фейхоа, — поправил он.

— Ну, да, фейхуу... Гриш. Дорогой. Разлука ведь только укрепляет чувства...

— Так третий год пошел, Поля!

От неожиданно резкого голоса девушка выронила трубку. Схватила.

— Алло, алло...

Далекие, давящие гудки и ничего больше...

— Каждый божий день, — сказала в трубку она.

Больше на переговоры Григорий не приходил. Перестал писать письма и отвечать на срочные телеграммы. Поля терпеливо писала, ждала на переговорном пункте, молилась...

Стало ритуалом утром, в обед и вечером проходить по ненавистной половице. Поля с каждым разом все сильней ненавидела эту скрипучую деревяшку. Море ей теперь не снилось, вновь по небу летели стальные распятия и падали, разбиваясь о землю.

Ольга ходила беременной вторым. Клим терпеливо ждал. После того как Поля в десятый раз неправильно выбила кассовый чек, заведующая столовой добродушно попросила написать заявление по собственному желанию.

— И Полечка, — говорила заведующая, — поезжай к своему уже. Ты себя так в могилу загонишь. Похудела вон как — кожа да кости. Никого не слушай, слушай свое сердце, оно не обманывает. Не подведет. Я тебе за весь месяц получку дам, ты поезжай. Больно смотреть, как ты терзаешься. Поезжай.

В обед половица скрипнула два раза. Девушка сдержалась, чтоб не прыгнуть на доску двумя ногами, да со всей силы.

Вечером она пришла к половице с гвоздодером.

Стояла под желтым плафоном с железкой в руках и громко спрашивала:

— Мне лететь? Лететь?!

И про себя уже решила, что последний раз спрашивает, что разнесет эту гребаную половицу в щепки, если та скрипнет...

Половица не скрипнула. Ни разу.

Девушка прошла еще.

Ни звука. Прошла еще. Половица не скрипела. Выронила из рук гвоздодер. Инструмент бабахнул об пол. Поля разъяренно пнула его босой ногой, разбив пальцы в кровь, ноготь на большом сразу почернел,

но Поля не почувствовала ни капли боли. В приступе ярости она сбила желтый плафон, руками схватилась за горячую лампочку и сжала ее. Лампочка взорвалась, в темноту погрузилась комната. Ни плача, ни скрипа, ни звука. Ни дыхания.

В этот раз на самолет ее никто не собирал. Ольга боле-ла животом, Клим пообещал лишь проводить в аэропорт. С того вечера половица так и не скрипела.

И брат по ней ходил, и невестка. Поля боялась.

— Она умерла, — говорила себе девушка, — как де-душка, как мама с папой, как бабушка... Она умерла...

Молчание половицы вынудило Полину самой при-нять решение всей жизни, и девушка решила:

— Лечу.

В ночь перед вылетом увидела во сне деда. Он стоял в огороде и смотрел на небо. Было пасмурно. На небе серо-черными полосами тучи. Дед грозил небу кула-ком и сплевывал. И тут она услышала скрип. Дикий, стонущий, всеразрывающий скрип. Скрип небес.

— Дедушка! — услышала она свой крик. И рухнули на них небеса. Со скрипом и скрежетом...

— Это сон, это сон, — говорила Полина, но не про-сыпалась.

Сходила на кладбище к могилам родных. Поставила всем новых цветов, налила свежей воды. Попрощалась.

На могиле родителей поплакала. Попросила проще-ния. Пообещала не забывать. А позволит Бог, вернуться.

— Это мое решение, — говорила на могиле деда, — сама приняла. Так и жить теперь буду. Все сама ре-шать... Как смогу. На сколько хватит...

До аэропорта довез приятель брата. Брат всю дорогу молчал и в аэропорту заговорил, только когда объяви-ли ее рейс:

— Ты правильно делаешь, сестра, — сказал, — давно пора. Я рад, что все так получилось.

Сестра посмотрела на брата.  
— Что?..  
— С половицей и вообще.  
— Она замолчала из-за меня. Это я виновата.  
Клим кашлянул, отвел от девушки взгляд.  
— Не ты. Я.  
— Нет. — Поля взяла ладонь брата, поцеловала. —  
Я. Я пришла к ней с гвоздодером. Я предала наших ста-  
риков. Дедушку...  
— Ох, сестренка.  
Они обнялись.  
И Клим сказал:  
— Я поменял половицу.  
И шум аэропорта исчез. Стало тихо, словно Полина  
оглохла. Она слышала, как дышит брат и как она гово-  
рит, тихо так говорит, спрашивает:  
— Поменял?..  
Брат отвечает:  
— Поменял. Теперь у нас пол одного цвета. Ровного.  
Та же доска вся истерлась до блеска, треснула пополам,  
вот и скрипела невпопад... Пришлось, сестренка.  
— А что с той половицей? Говорящей?..  
— Говорящей, — усмехнулся Клим, — скажешь тоже.  
На дворе сжег вместе с мусором, куда ее, не хранить  
же...  
Снова объявили рейс на Баку.  
Брат и сестра стояли в обнимку и молчали еще пару  
минут, потом Клим сказал:  
— Пора.  
Полина сказала:  
— Да.  
— Не боишься лететь? — спросил брат, когда Поля  
прошла регистрацию.  
Сестра мотнула плечами:  
— Теперь уже нет.  
— Что значит теперь?  
— Без половицы.

Брат, не понимая, все же кивнул.

— Дед наверняка сейчас за тебя боится, — усмехнулся Клим.

Полина промолчала.

Прощались недолго. Полина была последней. Опаздывающей. Поцеловались наспех, успел только брат рассмотреть слезинки в глазах сестры и крикнуть вслед:

— С Богом.

Она шла по мокрой взлетной полосе и не верила глазам, блестящая от росы полоса была не полосой — половицей.

«Брат не сжег ее с мусором. Вот она».

Полина прошла по половице к гудящему бесконечно-серебристому самолету, где у трапа ее ждали двое. Их лица были знакомы, но девушка не могла никак вспомнить, откуда она их знает, где видела...

«Словно лица из семейного альбома. Лица со старых фотографий».

Она протянула посадочный талон женщине. Мужчина рядом улыбался.

«Я точно их знаю».

Поля осторожно поднялась на первую ступеньку трапа, а дальше пошла по все той же половице, красно-коричневой половице, которую, как велела покойница-бабушка, никак нельзя вытирать тряпкой, а ласково протирать подолом халата...

— Фейхоа, — улыбалась знакомым лицам она, — фейхоа.



## ДРУГ ИЗ СССР

У Павла по жизни все кругом предатели. Подцепил из детского садика словечко, уже и не вспомнит от кого, и стало оно его любимым, сначала словом-сорняком, потом определением окружающего большинства и страны в целом.

Воспитательница, посмотревшая косо в сон-час, сосед-одногодка по лестничной площадке, прозававший «лопухом», отец, напившийся в хлам на его семилетие и исчезнувший на следующий день рождения...

Армия предателей нарастала и крепла с каждым днем и часом перебежчиками из числа даже домашних братьев меньших. Волнистым попугайчиком Репой, вылетевшим из клетки и угодившим в когти такого же предателя, кота Васьки...

Предатели вещали из телевизора, давали бессмысленные советы в газетах, учили мутным истинам в книгах, выбирались в депутаты, становились начальниками, президентами...

Миром правят они. Доносчики, изменники, иуды... Окружают, пытаются всеми силами и способами втиснуть в свою продажную, бессердечную шкуру и его...

С появлением интернета и сотовой связи количество изменников себе, принципам, близким, изменников Родине... выросло в сотни, миллионы раз.

И хотя Павел родился перед развалом Советского Союза, и взросление его пришлось на беспокойные постперестроечные времена, считал себя рожденным в СССР, в стране высоких идеалов с мизерным количеством предателей.

— Успевшим почувствовать вкус хорошей, счастливой жизни, — считал он.

Вкус этот привила бабушка не без помощи вырезок из газет «Пионерская правда», «Известия», «Советский рабочий», журналов «Юный натуралист» «Работница», «Крестьянка», всё, что бабушка считала полезным в становлении внука как Человека с большой буквы, она аккуратно вырезала и собирала в толстые канцелярские папки с пометками «для внука о здоровье» или «внуку, как содержать дом и огород», «внуку, чтобы помнил»...

Ненужную макулатуру бабушка сдавала и собрала, по ее меркам, «неплохую, нужную библиотеку на любой запрос и вкус».

Со вкусом же, как и запросами, у Павла было все предельно скромно — «по бедноте своей жизни и обстоятельств живу, не по бедноте души».

Душа, учила бабушка, главное тела, и заботиться надо о ней. Отец же считал иначе, в советское время не вылезая из вытрезвителя и больниц для алкоголиков, в «освободившейся России» — папочкино выражение — сгинувший в неизвестности.

Мать не пережила перемен, сокращенная с завода полимеров, старший мастер, стала резко никому не нужной, торговала в начале девяностых на рынке всем, чем придется, где окончательно запустила здоровье, ушла следом за мужем в известно неизвестном направлении.

Так и остался Павлик с «маминой мамой», звал так бабушку в шутку, а время и одиночество вдвоем сократило словосочетание до мамы.

С «мамой» после смерти родителей в 95 и 97 годах прожили 20 лет, в первый день весны 2017 года Павел остался один.

Один на один со своими предателями. В предательском мире.

— Бабушка не могла предать, — одно лишь предположение, произнесенное вслух, разрывало тишину опустевшего вдруг пространства квартиры, разрывало уши, душу, сердце тридцатилетнего мужчины, — бабушка не предатель!

Отец предателем был изначально, и предательское исчезновение этому яркое подтверждение. Маму забрала предательская болезнь, забрала неожиданно, неподготовленно... Бабушка уходила от него постепенно, таяла... словно снежинка на теплом окне, где они разглядывали ледяные узоры января. Свечой, зажженной в шторм, когда отключали надолго электричество. Ароматом состряпанного к Пасхе кулича...

— Старость забирает все в этом мире. И солнце стареет со звездами, и моря высыхают... — лекарственный голос бабушки тих и угрюм, — бабушка и на том свете позаботится о тебе, внучек. Не оставит одного. Пошлет друга...

Не любит слово «друг» Павел, огрызается:

— Какие тут друзья, если кругом одни предатели?! Нет и не будет у меня друзей!

Не спорит старушка, улыбка в мудрых, печальных глазах:

— Не оставляю! — обещает.

И не оставила. На сорок первый день был внуку знак.

Понедельник-предатель тянется медленней любого другого дня. У Павла постоянная работа в трамвайном депо, бабушка пристроила после двух провальных поступлений в институт и учебы в художественном училище. Павел с маляра вырос до художника-оформителя, теперь обклеивает трамваи цветной, самоклеющейся пленкой.

10 апреля, когда стрелки часов наконец соизволили доползти до шести вечера первого рабочего дня, Павел по привычке, ни с кем не прощаясь, покинул натруженное место.

Не любил ходить через рынок, вечно гудящий безликой толпой, но только там продавался «бабушкин» хлеб, поэтому свернул и, пробираясь мимо рядов, пахнущих всеми запахами на свете, от прекрасных, до тошнотворных, Павел вдруг услышал:

— Не проходи, друга из эс эс эс эр купи!

Замедлил шаг Павел, а повернуться заставило сердце, оно первое услышало бабушкин шепоток:

— Говорила же, что не оставляю...

Павел обернулся, носом прилипнув к «бабушкиной» трехлитровой банке, с «бабушкиным помощником и спасителем».

— За сотку отдам, — дыша перегаром, затараторил маленький мужчинка бомжеватого вида, болтая банку с желто-коричневой медузой над плешивой головой, — бабка разводила, померла, а мне оно на кой?.. Я им боярышник пробовал запивать, так, сука, не вставляет, боженькой клянусь, будто этот гад все выпивает, трезвит, понимаешь?! Все целебные свойства спирта убивает, дрянь склизкая. Да и, честно, боюсь я его. Как инопланетянин какой-то.

И знакомый до замиранья сердца кисло-сладкий запах юлой вернул в детство, к подоконнику и манящему, переливающемуся на солнце баллону янтарного цвета с таинственным существом внутри.

— Чайгриб, — звала с лаской в голосе бабушка желтое желеобразное нечто, смиренно расплывшееся у горлышка толстым блином, иногда пускающее пузыри под марлевой повязкой, — японская матка эликсир бессмертия творит, — приговаривала, бережливо вытирая пузатое, как и жилец внутри, стекло банки, которую называла «баллоном».

Маленький Павлик нет да переспросит бабушку:

— А он правда живой?

Бабушка в очередной, сотый, раз отвечает:

— Правда.

Тогда Павлуша интересуется:

— А почему он такой угрюмый?

И не дожидаясь ответа:

— Молчит почему? Он немой? У него язык есть? А он понимает по-нашему? У него есть мама с папой? И бабушка есть? Может он не разговаривает, потому

что вода мешает? Я тоже не могу под водой разговаривать. А зачем ему вода? Давай его достанем? Посмотрим, есть у него глаза?..

Взрослый Павел улыбнулся светлым воспоминаниям, улыбнулся беззубому, коротышке-пьянице с баллоном, по-доброму улыбнулся, по-детски:

— Говорить-то он умеет? — спросил.

Продавец отпрянул, удержала улыбка:

— Научишь разговаривать, будет разговаривать, научишь петь, будет петь, — наградил покупателя ответной улыбкой, — научишь плясать... За сто пятьдесят, мож, дружка возьмешь, а?.. Чтоб на водку мне хорошую?..

Павел отдал за друга две сторублевки.

Прижал банку к сердцу, теплое стекло приятно грело тело через рубашку, и сердце прислушалось, Павел почувствовал, заворочался чайный гриб в мутном, резко отдающем уксусом, застойном настое, ожил.

Сердце отозвалось на тихие сигналы SOS, застучало быстрее, тверже, увереннее, словно делясь своей энергией и запалом с обессиленным новым другом.

— Вот кто уж точно не предаст, — Павел сказал вслух, не обращая внимания на разглядывающих его торговков и узбеков, поторопился к дому, бережно прижимая покупку, напрочь забыв купить бабушкин любимый хлеб.

Чайгриб не намного пережил СССР, он исчез с подоконника перед школой, если Павла не подводит память. Быстро выветрился лимонадный запах. Герань и фиалки снова заняли свое облюбованное, законное место.

Бабушка вздыхала:

— Время Чайгриба прошло, пришло время концентратов. Сухие соки «Юпи» и «Зуко» убили японскую матку, убили натуральное.

Павлик вздыхал вместе с бабушкой, но втайне покупал пакетик растворимого сока, ему не столько нра-

вился разведенный сок, сколько измазанный кристалликами концентрата язык под цвет указанного фрукта, больше всего Павлуше нравилось манго.

А двадцать с хвостиком лет спустя, уже в другой, купленной с продажи дома квартире, он вновь ощутил этот запах, запах, сроднивший прошлое и настоящее, объединивший живое и мертвое...

— Мама, — позвал тихо, робко, с новым постояльцем в руках не успев зайти в прихожую, — мамина мама, — громче, заглядывая в зал, — бабуля?..

Стащил кроссовки, прошел в маленькую комнату, где еще теплится жизнь в вещах любимой старушки, выглаженном белье, в ее корзинке с вязаньем, среди разноцветных клубков, в аккуратно сложенных стопками папках с вырезками для внука... просунь руку внутрь, поглубже, и ощутишь ее присутствие... Легкое, едва уловимое, как дыхание... И такое огромное, родное, непоколебимое, как гора.

— Бабуля? — из-за плотных задернутых штор сумерки поселились в комнате, часы над кроватью не тикают, их остановил Павел, чтобы запечатлеть время, заморозить, сохранить, подчинить.

— У меня друг, — сказал, обращаясь к идеальной — ни складочки — застеленной лоскутным одеялом, кровати, — я получил твой подарок, — подушка домиком, под белым, кружевным тюлем молчаливо глядит, слушает, — спасибо. Пойду тогда приведу его в должный вид, как ты делала...

Прикрыл дверь, прислушался, ожидал всем нутром, что из комнаты донесется хоть какой-то звук: скрип, ворчанье, кашель, вздох, всхлип... Голос. Он все бы отдал, чтобы вновь услышать: «Павлик, ты покушал?..»

Голос тишины жесток и беспощаден, он отшвырнул Павла на кухню.

Там, под тепло-оранжевым плафоном люстры, Павел обрел бабушкины руки.

Пальцы аккуратно вытащили из самого настоящего укусного раствора — кожу щипало — раздувшийся, обрюзгший гриб, больше похожий на подтаявший, прокисший холодец. Умело отделили верхнюю часть медузы, нижняя, трепуха из слизи и лохмотьев, отправилась в целлофановый пакет, пакет — в мусорное ведро. Старое жильё Чайгриба отправилось туда же.

В новую трехлитровую банку Павел залил остывший чай из заварного чайника, добавил воды, сахара — не жалея, высыпал всю сахарницу — новая среда обитания для новообетенного друга.

— Придумать тебе имя? Или потом, как одыбаешь, сам скажешь, как звать? — просунул друга, слоеный блин ровной круглой формы цвета сгущенного молока, в горлышко баллона, друг плавно погрузился в янтарную свежесть чайной «закваски», — будешь у меня пока Че. Если не возражаешь?..

Че не возражал, расплылся по дну, довольный, счастливый, это было видно по тому, как заиграла радужными переливами скользкая, гладкая поверхность, и стайка пузырьков, вальсируя, поднялась вверх.

Банку поставил на холодильник.

— Чтобы вровень с глазами был, — объяснил, — види друг друга по-честному, как друзья, на одной линии плоскости. Без тайн и недомолвок.

Булькнул в ответ Че, соглашаясь.

Накрыл марлей горлышко Павел, скрепил резинкой, тут и ощутил вес перемен, груз ответственности...

Пролетевшее незаметно время, присутствие кого-то еще, другого, живого существа, необъяснимая сытость, хотя еще пару часов назад, на работе, желудок требовал наполнения... И вон оно, заполнение, оно накрыло, затопило пространство квартиры сладкими флюидами чайного гриба, расплылось ленивым спокойствием, словно бабушка задремала в своей комнате и скоро проснется, чтобы приготовить ужин. Мир

Павла законсервировался в ожидании, плавно потек вместе с наползающими сумерками в безмятежные воды сна...

Нож в спине, прямо между лопаток, что его не достать, как ни пытайся, не заламывай руки. Павел повернулся, чтобы увидеть противника, злодея, который сделал с ним это, так подло воткнул нож...

В зале из зеркал он один, и руки его в крови, и неизбежное осознание истины:

— Я сам?!

Повторяющийся сон давно стал частью любого другого сна, он врезался, нарушал повествование, искажал, обрывал, будил...

Бабушке сон не рассказывал, считал, не по-мужски это — рассказывать сны, будто демонстрировать исподнее.

А другу можно, проверенному, надежному...

Тобою выращенныйному другу...

Месяц Че восстанавливался. Лежал на дне, собираясь с силами, наливаясь соками жизни.

Павел пробовал чайный настой каждое новое утро, подслащивал, добавлял кипяченой воды и заварки, разговаривал.

Говорил:

— Я не верю в одиночество. В то, что люди сходят от одиночества с ума, не верю. Лучше быть одному, чем с предателем. Мир упрямо стремится к отказу от верности. От принципов. Честность моветон. Верность — удел простолюдина, слабака.

Пыхтел Че, покрывался новой, белесой пленкой, обновлялся, твердел, мутнел раствор.

— Человек не одинок, пока у него есть фантазия, есть воспоминания... Первые дни после ухода бабушки я представлял, что она в комнате отдыхает. Я даже разобрал ее кровать и создал видимость с помощью

бабушкиной шубы, будто бы она спит, укрывшись с головой одеялом... Включал радио и любимые, заслушанные наизусть записи бабушкиных исполнителей — Магомаева, Зыкину, Толкунову... И могу поклясться, сердцем чувствовал родное присутствие. Движение в воздухе, запах, звуки, тени... Ну, какое тут может быть одиночество?!

Пристроив табурет у холодильника, Павел говорил, откинувшись спиной на стенку, разглядывая оранжевый маячок люстры, отражающийся в коричневом настое, словно всевидящее око друга.

— Вот у тебя и глаз теперь имеется, — в шутку серьезно комментировал Павел, — дело за малым — научить тебя говорить.

Замначальника трамвайного депо по эксплуатации, непосредственная начальница Павла, первая заметила:

— Сияющий ты какой-то, Паша, последнее время и общительный вдруг, никак девушка появилась?.. Давно бы так. Не у нас работает, нет?.. Может, кондукторша какая охмурила или водительница?..

Сияние побагровело, Павел пробурчал:

— Перемены. Это всё перемены...

— К лучшему, значит, перемены, хорошие, раз такое дело, что ты у нас в лице изменился и улыбаться начал. Явно же завел кого-то?!

Улыбнулся художник-оформитель вместо ответа.

«Больше чем завел!».

Че поднимался, всплывал затонувшей Атлантидой, величаво, гордо, неторопливо, солнечным островом, монолитом.

— Солнца кусочек в баллоне, — поясняла бабушка, — и ка солнце всходит, так и Чайгриб восстанет со дна здоровым, окрепшим, сильным. Поделится своим целебным настоем, как солнце лучами.

В день Космонавтики Че вышел на орбиту, занял свое место в космосе трехлитровой банки, заполнив все пространство у горлышка.

Полстакана грибного кваса натошак, как научила бабушка, и Павел Гагариным готов к полету и открытиям.

— Эликсир бессмертия, — называла настой бабушка. Внук, десятки лет спустя, назвал «мое ракетное топливо».

Довольно бурчал Че, пузырился, слушая рассказы друга. Павел делился всем, без стеснения и утайки: как прошел день, о чем думал, что заказал в трамвайной столовой на обед, сколько раз сходил в уборную и с кем поздоровался, о желаниях и мечтах, темных фантазиях и мыслях...

Рассказал Павел и сон про нож, полушепотом рассказал, стоя перед холодильником, губами касаясь теплого стекла банки. Словно нашептал дурной сон на воду, и кошмар не вернется. Но этой же ночью нож вновь торчал у Павла между лопаток.

— Только теперь я был не в зеркальной комнате, а в банке, такой, как твоя, — утром пересказывал сон, — я испугался уже не из-за ножа и предательства, испугался, ведь я не умею плавать, и вообще, как я буду дышать под водой?..

Чавкнул Че, Павел спросил:

— Что? Какой на вкус? — Хмыкнул человек: — Вот ты странный, Че, я мог утонуть, захлебнуться, умереть, а тебя волнует, какой у воды был вкус. Хм... Горький был вкус.

Че надулся обиженно, Павел щелкнул по банке:

— Да пошутил же я, чего ты сразу?! Ну не надо, я, честно, не хотел тебя обидеть. Давай мир, — стукнул кулаком по стеклу Павел в знак примирения, — лучше я тебе про отпуск расскажу, что мы там с тобой замутим...

Отпуск совпал с майскими праздниками, а день Победы Павел любил как никакой другой праздник. Любил вместе с бабушкой смотреть прямую трансляцию парада на Красной площади, но больше всего слушать про бабушкины парады в Советское время: дружные, семейные, самые настоящие, с ощущением праздника, с транспарантами, шарами, военными песнями из каждого динамика, флагами и цветами...

У Че оказалась феноменальная память, и прожил он немало лет в СССР, хорошо помнит речевки пионеров и газированную воду из автомата за три копейки с сиропом. Помнит талоны на мясо, сахар и классики, начерченные мелом на асфальте, сбор макулатуры и металлолома, и, конечно же, майские, незабываемые демонстрации с пестрой толпой и неподдельным счастьем помнит.

— А я все со слов бабушки помню, — честно признался Павел, — из ее рассказов, из заметок-вырезок... Память — штука такая, может убедить и заставить поверить во все, что угодно, даже в то, чего никогда не было. В бога мы тоже верим по памяти, врожденной памяти предков.

И вдруг поймал себя на мысли Павел, что давненько не употреблял такое родное слово «предатель», словно оно стерлось из его обычного лексикона, смылось грибным, шипучим, как газировка, настоем.

— Вот те раз, — удивился вслух, — вот так перемены.

Взял банку с другом, подошел к окну. С кухонного окна можно разглядеть праздничный салют, радужные ленты и веера фейерверка, взрывающие темную плотность неба вечером девятого мая.

Смотрели молча, Павел представил, что бабушка рядом, любит разноцветными звездами, облокотившись на подоконник, он вдохнул ее теплый ванильный запах, прижался к мягкому плечу рукой, услышал:

— Для нас, ребятни и взрослых, салют как целое событие, приближение к чуду, к той самой Великой Победе.

Павел не помнил, как ложился спать, «заспал», зато отлично запомнил сон, от которого проснулся:

— Змеи, — все еще прибывая в окружении кишачих повсюду гадов, Павел брезгливо передернулся, — змеи в банках, и банки все как одна взрываются, выпуская мерзость из своего стеклянного нутра... Змеи превращаются в ножи, а нож в спине — в змею, — снова передернулся, — и нож-змея вползает в меня, глубже, внутрь, в сердце...

На руку села маленькая мушка, и Павла передернуло в третий раз, передернуло до хруста в шейных позвонках, прихлопнул крохотное насекомое ладонью, как не смог бы ни в жизнь, как бы ни желал прихлопнуть скользкое пресмыкающееся.

— Змеюка.

На кухню потянул холодный сквозняк, не увидев на холодильнике друга, по сердцу лягнула мысль: «Предатель!», сердце подскочило к горлу, вторая мысль не успела родиться, взгляд скользнул на подоконник, где одиноко из баллона смотрел на друга Че, восходящим солнечным окном.

— Ох, черт, я что, вчера здесь тебя оставил?! — подскочил к другу. — Прости, и форточку не закрыл, ну совсем...

Взял банку, Че зафыркал, забулькал протестуя...

— Я же попросил прощения, чего ты начинаешь.

Вернул на место друга, поблек, потух солнце-глаз, и с холодильника на Павла взглянул желтый, предостерегающий, мутный настой с тянувшимися от гриба лохмотьями.

Перед носом замельтешила воскресшая мушка, Павел, вновь прихлопнул ее, шлепнув себя по носу:

— Змеюка.

И весь день, сказала бы бабуля, «ходил как не свой» и «места себе не находил».

Будто случилось что-то, а он не может понять толком что?..

— Все из-за сна, — ворчал, разрезая квартиру на геометрические фигуры, — чертовы сны только жить в реальности мешают, — заглянул в бабушкину комнату.

Обычно, посидев на бабушкиной кровати, внук успокаивался, но не сегодня, сегодня нечто непонятное (предчувствие беды?) не давало сидеть, заставляя накручивать километры под карусель тревожных мыслей.

Вечером грянул гром. Весь день за окном светило солнце, ни облачка, ни ветерка, природа напряглась, природа чувствовала приближение грозы.

Павел налил полстакана грибного лимонада:

— Успокоиться, — оправдался перед другом, — а то, видишь же, весь день на нервах.

Янтарный напиток вкусом прошлого, вкусом СССР, вкусом солнца освежил горло.

— Все не так уж и плохо, — тут Павел и увидел названного гостя в стакане с квасом, мушка ползла по стенке стакана, а у Павла перед глазами фрагментом из сна, извивающееся, черное тело змеи в банке, — вот оно!..

Тревога обрела форму. Павел вылил остатки гриба в раковину, взял баллон с другом, Че заворочался, сдернул резинку с марли, заглянул внутрь и, вот оно...

С десяток белых червячков копошатся на гладкой, молочной поверхности друга. Передернуло Павла так, что он едва не выронил банку. Сон стал явью, стеклянные сосуды взрывались в голове мужчины, выпуская скользких ползучих монстров.

— Нет! Че! Нет!

Заметался между холодильником и раковиной Павел, растерянный, напуганный, «не зная за что хвататься, с чего начать» — здесь снова пришла на помощь бабушка.

Вынул друга бабушкиными руками, без тени брезгливости смахнул паразитов, промыл податливую мягкую поверхность, на ощупь Че был теплый и совсем нескользкий... Живой.

Операция по спасению друга, с промыванием банки уксусным раствором и приготовлением новой закваски, заняла два часа. К полуночи раненый Че грузно и молчаливо погрузился на дно банки, Павел сменил марлевую крышку, выбрал потуже резинку:

— Враг не пройдет.

Всю ночь плохо спал, бегал, проверял друга, повсюду мерещились мушки и черви. С раннего утра, не умываясь, сбегал в хозяйственный отдел ближайшего магазина купил «Дихлофос» и липкие ленты от мух:

— Теперь враг точно не пройдет.

Че никак не отреагировал, повис боком, словно в невесомости, «встал на ребро», бабушка считала это хорошим знаком выздоровления.

И Че действительно меньше чем за неделю отошел от подлого нападения. Солнечный глаз вновь ярко заискрился, заулыбался друг под гирляндами от мух, развешанными над холодильником и по всей кухне.

— На круги своя, — бабушкиным выражением описывал Павел установившийся ход жизни, — без эксцессов и катаклизмов, в мире и согласии, как и положено проживать человеку.

В конце отпуска в начале лета съездили на могилу бабушки. Возвращаясь, Павел, отметил, как потяжелел друг. Че заметно раздобрел, потолстел, расслоился, и еще через пару-тройку месяцев явно будет в половину трехлитровой банки, если не больше... Поэтому сразу же с кладбища Павел отправился в хозяйственный отдел.

Продавец успокоила, продавая десятилитровую банку, казавшемуся ей забавным покупателю:

— У нас и пятнадцатилитровые и двадцатипятилитровые найдутся, а надо, так и пятидесятилитровую тару закажем.

Тара понадобилась с наступлением осени, в середине сентября.

Впрочем, «тара» казалось оскорбительным словом, и Павел называл новую, десятилитровую обитель Че домом, иногда космосом, иногда планетой «Че».

Новой планете было мало место на холодильнике, сначала Павел пристроил ее на кухонный стол, но и там она не прилась «ко двору», в зале также не нашлось удобного места... Долго, почти две недели, думал и решался внук устроить Че в бабушкиной комнате, взвешивал все «за» и «против», а решил все неожиданный визит пожилой соседки снизу, Клавдии Егоровны. Во избежание ненужных вопросов, Павел поспешно убрал стеклянную громадину подальше от любопытных глаз.

— Бабуль, это на время, — пристроил друга на столе у окна между папками с жизненно важными вырезками, — баба Клава, как всегда, не вовремя.

Баба Клава пришла помянуть бабушку, перепутав даты, и потом два с половиной часа, сидя за чаем на кухне, возмущалась и поверить никак не могла, «что она, заслуженный бухгалтер страны и вся Руси, ошиблась в цифрах здесь?! Да быть такого не может!»

Пересчитав на сто раз и рядов календарь, так и не приняв ошибку, заслуженная бухгалтер, угрюмо удалилась, клятвенно пообещав прийти на два года «помянуть, как подобает, по-человечески».

Закрыв за соседкой дверь Павел — и к бабушке. Открыл дверь в дальнюю комнату, да так и замер, впившись обеими руками в дверную ручку.

Бабушка, мамина мама, стояла, оперившись на стол, и смотрела в щель между шторами, на синий вечер за окном.

— Бабуля, — шепотом, боясь спугнуть виденье, — ты?..

И бабушка ответила:

— Я.

Воображение — чудо, данное нам небом в помощь, сила, которой подвластно все. Именно оно делает нас счастливыми. Оно наше спасение и наказание...

Конечно, Павел понял, что это игра света и тени, игра его воображения соткали из банки на столе и стопок папок, фигуру родного человека. Сумрак и фантазия воскресили бабушку, вернули в мир живых, вернули к внуку. Стоило ему протянуть руку, включить свет, бабушка без сомнения бы пропала, но это было бы предательством с его стороны, так ведь? Поэтому Павел вошел в темную комнату, прикрыл дверь, выпустив на волю всю свою фантазию художника.

— Теперь ты не уйдешь так надолго, ведь правда? — присел на край кровати внук.

— Я всегда была рядом, — голос у бабушки — шум ветра за окном.

— Ты же останешься тут, мы будем, как и раньше, после ужина вести долгие беседы о прошлом. Читать твои вырезки из газет... Ты расскажешь, как там было в СССР, расскажешь о счастье и верности, чистоте и силе...

— Да, внучек, да...

Не стал Павел сдерживать мальчишечье желание захлопать в ладоши от восторга, хлопнул, нарушая привычный ход времени, второй хлопок обратил время вспять. Время поменяло полюса...

Бабушкина комната машиной времени перенеслась в прошлое, в детство Павлуши и дальше, и дальше, во времена пятнадцати сестер...

Павел просидел с бабушкой всю ночь, а когда темнота в комнате стала сереть, осторожно, на цыпочках, вышел, со щекотным нетерпением в душе и во всем теле ожидая наступления нового вечера и новой встречи...

При свете оберегая друга Че, ухаживая и разговаривая обо всем на свете, Павел подгонял наступление сумерек, солнце скрывалось за горизонтом, выпуская небесные чернила, темнота творила свой мир со своими законами... Внук обретал бабушку, обретал счастье... Каждый вечер и ночь до рассвета. И верилось, что этому не будет конца...

Отрезвление пришло перед второй годовщиной ухода бабушки. Именно «отрезвей!» услышал Павел во сне выкрик и проснулся. Голос из сна, похожий на его голос в молодости, продолжал звенеть в голове:

— Гриб отравил тебя своим настоем, одурманил ядом своим, затуманил, опоил, подчинил! Ты предатель! Променял бабулю на этого слизняка! Соком лжи и измены наполнился ты до краев! Открой глаза! Оглядишь! Отрезвей!!!

Бросился к бабушкиной комнате внук, распахнул дверь и не поверил глазам. Огромный, истекающий сли-

зью, отравляющий сознание гриб сидел за бабушкиным столом, расплывшись на стуле мерзкой отвратительной медузой. Это был не Че, не друг, это самый настоящий недруг, враг, предатель, захватчик!.. Он, жадно чавкая, пожирал бабушкины вырезки из папок, всасывая в себя лист за листом огромной пастью-воронкой.

Голос в голове превратился в страшный писк — это гриб-пришелец закричал в предчувствии беды, в предчувствии своего конца. Его раскрыли, рассекрели, разоблачили...

Павел закричал в ответ, набросился на противника с кулаками, раздирая противную, вражескую плоть руками и зубами :

— Я не предатель! Не предатель! Не предатель!!!

Кричал:

— Бабуля, прости!

И плакал навзрыд и вновь кричал:

— Я не предатель!

А когда темнота стала сдаваться перед утренним рассветным часом, Павел услышал другой голос.

— Да какой же ты предатель, внучек. Это же я тебе друга из СССР послала. Что же ты. Давай уже прекращай видеть во всем предателей. Видеть предателя в себе! Все мы в чем-то предатели, все в чем-то виноваты. Не отстояли Союз, не боремся часто за правое дело, боимся сказать «нет» и пойти против системы... Не признаемся нужным людям в своих светлых чувствах, не говорим искренне, не делаем от души... Кто мы, как не предатели, когда позволяем твориться вокруг нас беззаконию и несправедливости?! Предатели. А ты, ты борешься, мой хороший. Борешься с предателем в себе, и ты победишь! Мы победим! И пусть не вернем СССР, не вернем того, что осталось позади... Мы обретем согласие с собой, уничтожим внутреннего предателя! Так что, внучек, давай, возьми себя в руки и спаси друга! Верни Че!

— А ты, как же ты, бабушка?!

Бабушка рассмеялась:

— Я рядом.

Смех оборвался писком, писк звоном разбитого стекла. Павел проснулся на диване с липкими и окровавленными руками. За окном светает. В квартире пахнет укусом. Павел вспомнил, как влетел в комнату бабушки посреди ночи, как схватил банку с Че, тряс ею, разбрызгивая по залу и в коридоре эликсир бессмертия, на кухне поднял планету «Че» над головой и бросил в раковину с криком:

— Я не предатель!

Замелькали слайды воспоминаний: пьяный отец, забывший про его день рождения, сосед, обозвавший лопухом, учительница, поставившая неправильную оценку, кот Васька, сожравший попугайчика Репу, он, разбивающий банку с другом...

— Нет! Не может быть!

Вскочил, поскользнулся на чем-то липком, в коридоре босые ноги липнут к линолеуму, на кухне, как и в воспоминании, раковина, полная стекла, ошметков грибной трещины, капли крови, Че не было.

— Че?.. — голос больше похож на писк. — Че, ты где?..

Согнулся над раковиной Павел и в сливном отверстии разглядел молочную плоть друга.

«Предатель!»

Прибирался в ожидании вызванного из ЖЭКа слесаря, говорил с другом, не замолкая, через каждое предложение, фразу, просил прощения:

— Наваждение, такое у меня с детства, редко, но метко, это как лунатизм. Моя темная сторона прорывается, она у всех, эта темнота, кто-то контролирует, кто-то... У тебя наверное ее нет, достаточно моей на двоих, — натянута нервно хохотнул Павел, — предатель будет вырываться наружу, пока мы его не задавим в себе своими стойкими принципами верности, честности, преданности...

В дверь позвонили.

Женщина на первый взгляд чуть постарше него, приятно полновата, с улыбкой и искрящимися глазами обезоружила надписью на красной кепке, первое, что бросилось Павлу в глаза — «Сделана в СССР!» белыми, флуоресцентными буквами.

Вопрос остался неозвученным. Женщина ответила:

— Слесарь я, ага, есть такое, удивляются многие. Но вот я, слесарь из ЖЭКа, вызывали?!

— Вызывали, — кивнул Павел.

Голос слесаря знакомый, из детства, бабушкин?..

— Проходите, — пропустил женщину, — кепка у вас хорошая, — сказал неожиданно для самого себя, и не дожидаясь ответа: — А у меня ни инструмента, ни молотка, как оказалось, нет, даже не знаю, куда все подевалось. — Заговорил, скрывая нахлынувшее горячее волнение, то и дело вытирая мокрые ладони об спортивные штаны: — А у меня в раковине... В раковину провалился, короче, друг угодил в слив и теперь там в трубе, а как достать, спасти как... Вот я и вызвал вас...

Слесарь, не задавая вопросов, молча слушала, разбирая слив в раковине. Павла, как сказала бы бабушка, «прорвало», почувствовав неведомое единство, спаянность надписью на бейсболке, Павел откровенно вспоминал бабушку, вечерние разговоры, предательства, сны... Пока голос слесаря не прервал.

— Вот так друг, — сказала, поднимаясь с колен, женщина, — сто лет не видела, надо же, они еще существуют, друзья, — протянула едва уместяющегося в двух ладонях, расплывшегося, поржавевшего Че. — Жить будет, — сказала.

Сказала:

— Может, поделитесь другом, вон он у вас какой гигантский, им же делиться надо... Как в СССР учили.

Павел забрал Че, отпустил в приготовленный чайный раствор в трехлитровой банке.

Сделанная в СССР продолжила весело:

— А я вам за то, что поделитесь, кепку подарю такую же, по рукам, — протянула липкую, испачканную ладонь, — «Сделанный в СССР!». Только вот вы говорите, вернуть Союз и все такое, а он ведь не вернется. Это прошлое. История. Надо жить новым, жить будущим. Надо не возвращать, а строить новое. Новый СССР, если на то пошло. Наш СССР.

— Строить... — мечтательно повторил мужчина, пожимая горячую ладонь.

— Да, размножать, как вашего друга. Вы мне частичку от... — задумалась слесарь, — от...

— Солнца, — подсказал Павел.

— Точно, частичку от солнца, я частичку солнца соседке, соседка — «тому парню»... Наполнять такими людьми, как мы, страну. Такими мыслями, принципами, правилами... Вот и все. Все просто. Ну, так что, поделитесь?..

Кивнул Павел.

— Давайте тогда через неделю, и друг восстановится, и у меня отгулы будут, в двенадцать на площади у памятника Ленину или у шпиля с курантами, выбирайте?

Павел снова кивнул.

— Значит на площади. Меня зовут Вера. И верю я только в хорошее.

Кивок стал словом:

— Вера. — Второе слово было: — Приду.

— Тогда до встречи.

Ушла слесарь, прикрыв за собой тихо дверь, а Павел долго еще стоял посреди кухни с липкими руками и колотящимся в горле сердцем.

Че сам к концу недели отслоился, поделился частью себя. Павел сказал другу: «Спасибо», и на холодильнике появилась вторая банка, вторая планета.

В ночь перед встречей Павел никак не мог уснуть, заснул, выпив третий стакан напитка «Дружба», и через пару минут увидел себя с ножом между лопатками.

В этот раз он дотянулся до рукоятки, вытащил нож, а когда поднес его, чтобы рассмотреть, нож превратился в лавровую ветвь с молодыми, жесткими, зелеными листьями.

Бабуля обожала лавровый лист, добавляла его во все блюда и в термос с чаем, ветка лавра всегда стояла в ее комнате, в доме детства.

— Лавр — это победа над врагом, — говорила бабуля, — бессмертие и сила, красота и слава, здоровье и мудрость, мир и вечная жизнь!..

Павел проснулся переполненный запахом лаврового листа. Прошел в одних трусах сразу на кухню, где под гирляндами от мух, в солнечном зареве зарождалась миниатюрными солнцами новая жизнь, Вселенная... Новая страна...

— Предатель, — скажет с обидой в голосе в 12:15 Вера, совершая сотый круг вокруг памятника Ленину, — предатель, — постучит по уложенной сегодня с утра в парикмахерской прическе кепкой с надписью «Сделан в СССР!»

А в 12:17 увидит одиноко стоящего в тени шпилья под курантами мужчину с баллоном в руках и не сможет удержаться, предательский смех разорвет тишину площади.



## ОСКАЛ ДЖОКОНДЫ И УЛЫБКА ЧЕШИРСКОГО КОТА

*Под аркой. День. Ближе к вечеру.*

«Абонент не отвечает или временно недоступен».

Сотовый вернулся в карман куртки. Женя подумал: «Осень чище весны. Весна грязнее», перепрыгнул через лужу, забежал в арку.

Дождь пошел сильнее. Забарабанил по железу автомобилей, шапкам беседок-грибов на детской площадке, судьбе...

«Всегда дождь. Всю жизнь».

Под аркой было холодней, словно ветер тоже боялся промокнуть и укрылся в кирпичном проеме дома номер 17 по улице Коминтерна.

— Простыть, заболеть, умереть... — парень попрыгал, достал телефон, повертел.

Окно на пятом этаже отсюда хорошо просматривалось. Белая занавеска, слегка приоткрыта форточка, на подоконнике стопка книг.

«Нет, это заурядный сценарий. Пошло».

Представил — дождь превратился в бензин. Он промок насквозь, до трусов, до костей, пропитался... А вот в руке зажигалка, между губ сигарета, решил покурить, наполнить никотином пустое ожидание.

Щелчок — и крохотная искра превратилась в пламя. Миг — и он обратился в огненный столб. Стоял и горел. Не шелохнувшись, уставившись в окно на пятом этаже.

«Абонент не отвечает...»

Он будет смотреть до последнего, пока не выгорят дотла глаза. И пустыми глазницами будет смотреть, ждать, когда в окне за белой занавеской покажется знакомая фигура...

Пеплом станет. Пепел будет смотреть... Ждать...  
Спрятал телефон. В арку заглянула худая черно-  
белая дворянка.

Кивнул ей.

«Как я. Одинокий, мокрый, забытый».

— Никому не нужный, — сказал.

Пес согласился, скользнул вдоль стены и сел в шаге  
от юноши.

— И зачем мы с тобой все еще живем? А?..

Дворянка знала ответ. Знала, но как рассказать?.. По-  
делиться?.. Хоть загавкайся, не поймет ведь...

Пес улегся, положив морду на грязные лапы, при-  
крыл глаза. Дождь гипнотизировал, ветер усыплял...

«Сгореть! Сгореть от невозможности чувствовать  
ответное чувство! От неумения смириться... Пеплом  
стать... Пеплом твоим... Твоей...

«Пеплом твоей сигареты

Буду!

Родинкой над губой,

Простудой...»

Женя усмехнулся пришедшим строкам. Пес хмыкнул  
в полудреме.

«...Звуком в рассказе о нас,

Буквой.

Жарким дыханием твоим,

Утром...»

Стихи последние месяцы лезли в голову, толпились,  
иногда вынуждали записывать их на смятых клочках  
конфетных оберток...

— Пеплом твоей сигареты...

Вытянул руку под дождь.

Раньше он любил дождь. Теперь нет. Мокрая, холод-  
ная стена разделяет. Под дождем все становится раз-  
мытым, неестественным... Далеким...

— Это дождь нас отдаляет. Проклятый весенний дождь...

Пес в этот раз никак не среагировал.

«И вместе с кем-то ты все равно один».

На изрезанной мелкими трещинками ладони капли дождя собрались в крупную пузатую слезу-улитку. Женя перевернул ладонь, улитка-слеза скатилась и плюхнулась на асфальт. Разбилась.

Он опять увидел пылающего себя... Освещающего собой темные стены арки... Мрак грубых сердец и черствых душ.

— Осветитесь моим огнем. Пропитайтесь светом моим... — прошептал тихо.

«Бензиновый дождь  
Раздает чаевые,  
Кому зажигалку,  
Тебе только спички —  
Гори!»

— Это весенняя жертва, дружок, — сказал и вернулся к спящему псу, — весна не начнется без жертвоприношения, понимаешь? Всему нужна жертва. Большинству — точно.

Присел на корточки. Снизу окно казалось пропастью в небо. Серое, грустное, неживое небо...

— Пропасть в пропасти.

Дружок поднял ухо, повертел носом, взглянул на человека, пожалел его...

«Так мало света вокруг. Безумно мало... Итак, если свет, который в тебе, — тьма, то какова же тьма?..»

В коленях заныло, пришлось подняться, пес встал следом, огляделся.

— Все в порядке? — спросил Женя. — Без изменений, — ответил за пса, достал телефон.

И снова, и снова...

«Абонент не отвечает или временно недоступен. Пожалуйста...»

Вышел под дождь.

«Давай, поливай, дождь! Сожги меня. Я жертва! Бери! Я готов! Да будет свет!»

Пес в арке неожиданно резко, с надрывом гавкнул. Лай подхватило эхо и разбило о стены домов с невероятным грохотом...

— Йо, — вздрогнул, развернулся.

Дружок теперь рычал, уставившись на стену, оцетившись и замерев.

— Эй, что с тобой?!

Только сейчас Женя увидел нарисованную на стене красным улыбку Чеширского кота из Кэрролловской Алисы:

— Ее же не было...

Он хорошо помнил бетонные кляксы-раны, паутину трещин на серо-желтой стене. Помнил нацарапанный лозунг «Кто не с нами тот под нами!». Улыбки не было!

— Не было...

«Кот, по всей видимости, был тут. Тоже скрывался от дождя под аркой. Коты, солидарны со мной, ненавидят дождь. Чертовый дождь... Дружок почуял, спугнул котейку, и вот все, что от него осталось...»

Подошел к стене, пес перестал рычать:

— Кс-кс-кс, — тронул улыбку Женя, — свежая...

Улыбка от прикосновения потекла красным по пальцам...

— Блин, — отдернул руку как ошпаренный. Ладонь, казалось, вспыхнула, загорелась. Огонь в секунду добрался до локтя, плеча...

— Чё-о-о-рт, — бешено затряс рукой, Дружок истерично зашелся лаем...

«Под дождь!»

А под дождем Женя заметил, как на пятом колыхнулась занавеска...

— Не-е-ет!

На ладони красная краска, и сердце выстреливает из груди, бабах! По направлению к окну. Пулей, кро-

вавым ошметком, оно разбивает стекло и взрывается там, в маленькой комнате, фонтаном. Сердце — бомба.

«Неужели она?»

Но соловей как заговоренный... Беспощадный...

Время беспощадно, чувство, дождь...

«Улыбка беспощадна».

Возвращение под арку, как расстрел. Добровольно на крест со своим молотком и гвоздями...

Дружка нет.

«Все уходят! Все бросают!»

На стене красный оскал...

— Ну уж нет.

Руку в карман, там, где зажигалка.

«Не взгляну, даже в пол-лица. Ни глазком...»

С ладоней капает дождь...

«Бензиновый».

— Чувствуешь запах? — обращается Женя к кошачьему оскалу, и не дожидаясь ответа (вдруг ответит), чиркает колесиком зажигалки.

«Пеплом твоей сигареты буду...»

Искра.

*Под аркой. Ночь. Позже или намного раньше.*

— Все. Задрало. Давай будем толкать.

Мужчина с трудом выбрался из машины. Толстый — 120 кг, вспотевший от плотного ужина и злости, в темноте его лицо лоснилось и пылало:

— Всегда ненавидел тут ездить, нет — поперся.

Сын молча стоял рядом. Заглохшая под аркой черная «Волга» блестела под стать владельцу, вымытая вечерним ливнем.

— Мож, из-за того что весь день под дождем была, — предположил шуплый юнец.

— Макс, — рывкнул отец, — не гони. Вот, херню же порешь, сам понимаешь...

Мальчик попятился в темноту.

— Посвети лучше, я уронил что-то...

Максим кашлянул, промычал...

— Ты-то че застрял?!

— Я-а, это, — испуганно озираясь, полез в карман джинсов.

— Говорю же, что куришь... мать...

Отец в темноте замахнулся:

— Вот только попробуй мне не бросить.

Максим достал зажигалку:

— Может, сотиком посветить?

— Может, заткнешься?! Без тебя тошно, — в мясистой ладони загорелся экран телефона, — умник чертов! Сам знаю.

Сын осмотрелся, он не часто ходил здесь последний год. Взглянул на стену. Искаженная кровавая полуулыбка взглянула на него.

В него.

«Вот блин».

Максим поднес к рисунку зажигалку и чиркнул по кремнию.

— Че, совсем тупой, да?! — прорычало мгновенно возле уха, — не чуешь запах?! Мать! Бензином. Горючим воняет, а он тут пшикает!..

— Я-а, это...

— Это, взлетим ща пулей к дяде Пете... Дебил. На том свете не покуришь...

Толстяк, довольный остроотой, хохотнул:

— Ума нет, считай калека. И че эт, вроде первый час ночи, а ни одного окна не горит.

— Одно.

— На пятом которое? Это там, где кошатница жила?

— Это ее мать, она поэтессой была...

— Какая хрен разница, обе того... Ку-ку... Так померла же она уже месяца два как... Кто там свет жжет?.. А мы потом платим... Суки...

— Она в параллельном классе училась...

— Кошатница?

— Поэтесса. Дочка...

— Знаю, что дура.

— Она стихи про любовь писала, про дружбу, про мир, про наш двор...

И вдруг услышал девичий голосок. «Или это ветер так дует в арке?..» Она читала стихотворение собственного сочинения когда-то давно сто лет назад:

— Дождь — собака —

Зарядил и идет почем зря...

Хотя почему же собака?

Дождь — кошка.

Украдкой ластится

Мне в душу,

А я...

Я устал от дождя.

И дождь не собака,

А кошка.

Не заметил, как начал нашептывать стих себе под нос:

— В окошко... Стучит...

— Молишься ты там, на хрен, что ли?.. — Толстяк отрыгнул: — Весь в мать...

— Хорошие стихи, добрые стихи, — ответил, юноша, — мне посвятила однажды...

— Конечно тебе... Такой же debil, че тебе еще останется... Ни рыба ни мясо. Если в облаках не летаешь, так куришь.

— У них там другой мир.

— Дурдом, хули...

Сын вздохнул:

— Вечность...

Отец же, пытаясь отыскать под машиной что-то, громко продолжал вперемешку с отрыжкой:

— И тебе, гы-к, если не повзрослеешь, гы-ык, психушка, гы-ыы-к, светит. Потом тож, как эти, подохнешь по-тихому, гы-к, и квартиру государству, мать

его, оставишь... Гы-ык... Духи наверняка там шастают, по квартирке-то... Призраки, епти... Гы-ы...

Сын смотрел в светлое окно, спасительный маяк на пятом этаже в море тьмы. Он был там, в той комнате когда-то давно, сто лет назад... У них окотилась кошка, и Максим зашел выбрать котенка. Да, так оно все и было. В квартире, как в ином мире. Другом времени. Измерении. Большие часы с маятником в прихожей, деревянные резные книжные шкафы, чучела всяческих птиц, керамические скульптуры и картины.

— Мона Лиза? — мальчик застыл перед картиной в массивной раме на стене. Он не ожидал увидеть такую знаменитую, такую знакомую картину здесь, в детской комнате девочки из параллельного (мира) класса. От удивления рот вытянулся заглавной буквой «О».

— Я буквально недавно смотрел про нее передачу, про загадку этой картины. Предполагают, она инопланетянка... Это же Мона Лиза?..

— Ага. Джоконда, — девочка тогда улыбнулась.

Макс готов и сейчас поклясться, что улыбка той женщины, что была на картине Леонардо, и улыбка девочки, стоящей с котенком в руках перед ним, были одинаковы. Один в один...

— Копия, — сказал тогда, сто лет назад, мальчик.

— Копия, — подтвердила девочка, продолжая улыбаться...

— Че тормозишь, твою душу, Макс?! Толкай, давай, меня сейчас вырвет, не надо было столько курицы... — Он еще и еще раз отрыгнул. — Че притих? В жопе язык застрял, ау?..

Сын не ответил. Щелкнула зажигалка и слабый огонек осветил каракули на стене дома 17 по улице Коминтерна.

«Изначально это была та самая улыбка, улыбка девочки, улыбка с картины... Теперь же это оскал. Что-то стерло улыбку, изранило, исказило, извратило... И этот оскал пронзал до костей, до крика...»

— Невозможно, — говорил сын, — невозможно.

Со стены и в самое сердце души вонзился в него, человека, этот нечеловеческий оскал. Вонзился и пронзил. И поразил...

— Придурок! Дебил, мать твою! Мы же взорвемся! — вопил толстяк, размахивая руками, брызжа слюной, — сгорим к чертовой матери!..

Максим вобрал сколько было возможно в легкие воздуха, «воздух после дождя отдает бензином», и, повернувшись к отцу, закричал тому в лицо. В ответ. И крик сына раздул пламя. Крик сына взорвал тишину и заплывшее жиром сердце отца. Крик зажег все окна в доме... Дом вспыхнул десятком, сотней окон... Загорелся...

Крик подхватило небо. Небеса ответили громом. Удар за ударом... Стараясь перекричать человека. Но сына крик — победил.

Грохотало всю ночь...

Гром успокоился, затих, лишь спрятавшись под аркой дома номер 17, когда первые лучи солнца дали о себе знать пожаром из мириада солнечных зайчиков. В лужах, в окнах, в глазах...



## ПОД КОЖЕЙ (ПОСЛЕДНИЙ ЦВЕТ)

### *Трещины*

Чудовище с куском кровавого мяса вместо лица появилось неожиданно из полумрака коридора, едва не сбив его с ног.

Он успел разуться, снимал куртку, тут оно и набросилось. Худощавый, длинноволосый одиннадцатиклассник пригнулся, накрывшись промокшей от дождя болонью.

Чудовище засмеялось и вдруг сказала голосом матери:

— Чего это ты трус у меня такой, Юлька?..

Юноша выглянул из-под ворота куртки:

— А ты чего?..

Женщина убрала с лица два тонко отрезанных ломтя свежей говядины:

— Это разглаживатель. Морщин чтоб у твоей Мэрилин не было. Мой косметолог с Вьетнама вернулась, ей тайный рецепт молодости нашептали.

Юлиан выпрямился, сердце еще колотилось под кадыком:

— Мясо на лицо? Мама?! Это же мясо!.. Кровь вон еще течет...

Пятидесятилетняя высокая дама в пляжной шапочке протянула сыну куски:

— Хочешь, чтобы я раньше времени на чернослив стала похожа? Что за интонация?! Что за претензии необоснованные?! И сколько раз можно повторять — не мамкай!

Сын забрал косметическое средство матери — осторожно, двумя пальцами, на расстоянии вытянутой руки пронес розовые полоски на кухню.

— Семнадцать лет почти, он все мам да мам, — доносилось, — можно ведь как-нибудь обходить это обращение? Каждый раз не напоминать мне о возрасте и что жизнь так безжалостна, к женщине особенно. К красоте. — Мать была готова расплакаться.

Не стал спрашивать, как поступить с «разглаживателем морщин», выбросил в ведро, сполоснул руки.

Мать уже слезно всхлипывала:

— Правильно, все к этому шло. Я загадала, если ты сегодня не напомнишь мне о моих годах, не соглашусь на пластику... Все разрешилось, сам видишь. Думаешь, по душе мне мазать себя яйцами и имбирь поглощать килограммами? А что такое микротоковая стимуляция кожи, ты знаешь?!

Сын вернулся, женщина стояла перед зеркалом и говорила своему отражению. Голос изменился, повеселел, никаких плаксивых ноток, настроение улучшилось из-за принятого решения:

— Значит, договорились, Юлька, — она взяла его за руку, не отрывая глаз от отражения, — ложусь на подтяжку.

Пожал плечами Юлиан.

— Что за пассивность, не пойму?! Весь в папашу, от того тоже никакого действия не дождешься. Слова клещами вытягивать приходилось.

— Дорого, — выдохнул сын.

— Дорого?! — она отбросила его руку. — Тебя поднимать на ноги дорого! А подтяжка лица всего двадцать тысяч. Дорого ему... На красоте не экономят. Слышал, как классик сказал: «Красота спасет мир!»

Она впиалась в его глаза фиалковыми линзами (это цвет душевного богатства и глубинного единения с Космосом, король всех цветов). Она могла долго не моргать, с детства выигрывала в «кто кого переглядит». Мать ждала реакции. Юлиан знал, от его кивка ничего не зависит, но не согласись он сейчас, результатом будут слезы, обвинения, хлопанье дверей.

Сын кивнул.

Женщина снова схватила его ладонь:

— Повторять не буду — помнишь. Если что, ты мой племянник. Незачем афишировать, что у твоей Мэрилин такой большой сын. Знаешь ведь, как я не переношу все эти возрастные вопросы... И вообще, по минимуму меня навещай.

— Ты уже точно решила, когда?

— Ой, меня не знаешь, я записалась еще два месяца назад, — ущипнула мальчика за щеку, — к Липшицу очередь, он лучший.

— Ну да, — поддакивает, Юлиан, — так когда?

— Послезавтра, — освобождает руку сына, смотрит на несвежий маникюр, — нарисуешь мне цветочки на ногтях?

— И сколько?

Мать закатила глаза:

— Опять время?! Неужели невозможно без него? — сняла шапочку, под ней оказался целлофановый пакет, «чтобы реакция была, и краска равномерно легла», перепачканный белой хной.

— Дня три, операция несложная — тут подтянут, там уберут. Фиалки нарисуешь, ок?

Он не успел ответить — женщина взвизгнула и бросилась бегом на кухню:

— Юлькаааа, — ныла, — так и знала, что ты мои куски в мусор отправишь.

Подошел к матери с низко опущенной головой:

— Я еще хотел спросить, куда их, — сожалел он писк-ляво, — но подумал, что с ними ничего уже не сделаешь. Суп не приготовишь, с картошкой не пожаришь...

— С тобой, вот, точно каши не сваришь, — заглянула в мусорное ведро и топнула ногой, хлопнула крышкой, — ладно, фейслифтинг все исправит, и ты мне на ногах фиалки нарисуешь.

Виктория Вершинина не стала брать фамилию мужа:

— Борзенко, — это как кличка собачья.

Имя сыну выбрала сама — Юлианом назвала в честь гламурного певца 90-х.

— Он же на голубого похож, — пытался возразить муж, — и по ощущениям, больше, чем просто похож.

— Ощущения? — переспрашивала язвительно Виктория, — это ты про свое часовое просиживание в туалете с журналом «Спорт»?.. Ощущения у него.

Иван игнорировал все нападки жены, списывая их на ее тонкую натуру, продолжал:

— Его на эстраде за мужика не считают. Глаза покрашены. Манерный...

— Глаза не красят, а подводят, информация тебе к размышлению. И кстати, ты бы лучше косяк дверной со стороны подъезда покрасил, там и штукатурка отлетела, знаток российской эстрады выискался...

Муж все поправил, даже больше, перекрасил в любимый цвет жены свою «Тойоту Короллу». Но Виктория была неподкупна, «непоколебимая я» — как в то время любила говорить она, и первенца назвали Юлиан.

— Все к этому шло, — говорил потом отец сыну, когда тот пошел в первый класс, а мужчина собирал вещи, чтобы перебраться на съемную квартиру, — твоей маме нужен воздух. Свободное пространство... Мы не разводимся, это вроде свободных отношений, подрастешь, поймешь, о чем я. Ты, когда захочешь, можешь меня навещать, и я буду заходить.

Юлиан вырос, но так и не понял, про какой воздух говорил отец и что так необходимо было матери. Она и сейчас могла метаться по трехкомнатной квартире, несколько раз на дню передвигать мебель в поисках стиля и новых ощущений.

— Вибрации — вот составляющая часть домашнего уюта, — объясняла, меняя местами в своей спальне ночной столик с пуфиком, — они исходят от правильно расставленных вещей, излучают энергию. Как цвета. Цвет правит миром.

Виктория обожествляла фиолетовый и терпеть не могла черный.

— Сон перед ревизией, — отмахивалась от всего черного женщина, — при моей жизни никакого намека на этот траур.

И Юлиан одевался в радужные цвета и не предполагал, что у матери волосы цвета воронова крыла.

Певца-тезку нашел в интернете. Тот давно уже не выступал, и о существовании такого исполнителя, «слава Богу» — считал он, поколение Юлиана Вершинина не знало.

— На гея похож этот твой любимчик, — скажет он как-то матери, — чем ты думала?

— Ты что-то против меньшинств имеешь? Отцовские гены, никак, взыграли?..

Сын не отвечал.

— И он уже не любимчик давно, — добавляла женщина, — мне сейчас совсем другое нравится. А это уже пройденный этап. О котором ни вспоминать, ни думать не надо. Табу. Я хотела, чтобы ты певцом стал, но видишь, тебя слух подвел. Но ты зато прекрасно рисуешь.

И в сотый раз просила нарисовать на отманикюренных ногтях фиалки.

### *Книга без обложки*

Коридоры больницы — клетки-лабиринты стекла и бетона. Запах медикаментов, хлорки, старости... Юлиан заблудился. А сотовый матери был недоступен. Сердце стучало, пристроившись, в такт его торопливым шагам. Он не на шутку разволновался, когда во второй раз вышел в застекленный переход между двумя корпусами больницы на третьем этаже.

Юлиан повторял:

— Третий этаж, левое крыло, палата 136, Вершинина.

Осмелился и зашел в деревянную дверь с табличкой «Посторонним вход запрещен». Попал в длинный бе-

лый коридор, под яркий свет флуоресцентных ламп, быстро прошел по нему, свернул направо. Здесь было не так ярко, лампа горела лишь посередине, пахло заваренной китайской лапшой и туалетом. Шумела вода, двери в палаты по обеим сторонам коридора открыты. Сошурившись, Юлиан опустил голову и целеустремленно ринулся вперед к еще одной двери. Тут его и окликнули:

— Юлий?

От неожиданности поскользнулся, пакет с фруктами прижал к груди, чтобы не выронить.

— Это же ты, Юлий? Я услышала твое сердце своим.

Обернулся на голос. Женщина-мумия. Голова — белый шар из бинтов, с щелками для губ и носа. В черном, с жуткими ярко-желтыми цветами байковом халате. Она сидела на кровати и смотрела на него.

«Почему нет отверстия для глаз?» — подумал Юлиан и ответил:

— Да, это я.

Шар пришел в движение. Женщина зашаркала резиновыми тапками черного цвета в попытке подняться, но не смогла и протянула к нему руки:

— Сыночек мой.

Руки тоже перебинтованы, пальцы торчком со свежими коростами и подстриженными под мясо ногтями.

«Это не мама!»

— Сын. Мой. Я молилась, вот ты и пришел. Подойди, слышу, как бьется твое сердце. Не бойся. Ничего не бойся. Главное, ты пришел, и все у нас будет хорошо. Правильно ведь я мыслю?

Он подошел. В палате еще одна кровать, на голой панцирной сетке книга без обложки.

— Мама? — не столько женщину, сколько себя спросил, — ты же терпеть не можешь черное...

— Черное? — шар опасно наклонился к Юлиану, — у меня все теперь черное. Мир изменился. Поменялись цвета. Обесцветились, знаешь... Да и что тут такого, в черном свете жить легче. Не видеть — это благодать.

«Что-то произошло за два дня, как мама легла на операцию. Необъяснимое. Замена. Подмена личности. Мини-конец света».

— Ты наверняка совсем забыл про еду, Юлий? Чего молчишь?

Всматриваясь в несвежие бинты, он ответил:

— В холодильнике полно еды. Перед тем как к тебе пойти, съел два яйца вареных.

Мумифицированная голова затряслась от смеха:

— Яйца? Ты же терпеть их не мог. Видишь, и ты изменился. Скоро все изменится основательно и безвозвратно.

«Ты тоже переменялась», — захотелось сказать, но из шара донеслось:

— Сколько я уже здесь сынок? Совсем счет времени потеряла. А раньше, вспомни, каждую минуту, секунду считала. А сейчас не знаю, неделя прошла или месяц. Какое число, день?..

Не задумываясь Юлиан протараторил:

— Среда, седьмое октября.

— Черт, не люблю я эти среды, — женщина кашлянула, — седа — ни туда и ни сюда. Вроде и середина недели, а подумать — не середина вовсе. Время так непостоянно, в точности как ты. Вчера терпеть меня не мог, так же как яйца, сейчас...

В палату незаметно, бесшумно вошла медсестра и терпеливо ждала за спиной посетителя.

— ... не верится, что это ты. У меня в голове все перемешалось — прошлое, будущее. Счастливые часов не наблюдают. Хе-хе, получается, я самая счастливая на планете. А? Как тебе, сынок, такое счастье? Я перестала слышать твое сердце. Ты здесь, сын?

Юлиан открыл рот, но уронил пакет, когда кто-то тронул его за плечо, и вскрикнул.

— Ох, прости, простите, — засуетилась девушка, собирая с пола рассыпанные мандарины и киви, — мне не надо было. Надо было дать о себе знать. Но... К ней никто ведь не приходит, вот я и решила... Не надо было...

Мумия шарила вокруг себя руками, по кровати и воздуху:

— Что?.. Что происходит? Юлий?!

— Василиса Николаевна, это я, успокойтесь, — стоя на коленях, медсестра подлезла под свободную кровать и вытащила укатившийся киви, — сына вашего напугала, он вам фрукты принес.

— Но я не... — пытался вставить Юлиан.

— А я не таким его представляла, — поднималась, отряхивая коленки, — не таким стильным, что ли.

— Полина, как хорошо, что ты подошла. Вот познакомьтесь.

Он замахал руками с мандаринами, медсестра, прижав палец к своим губам, беззвучно сказала «тихо», а потом:

— Юлиан. Я сразу как вошла, догадалась. Все-таки пришел, видите. Я же говорила, — девушка еще раз показала пальцем «молчок».

Выкладывая гостинцы для матери на больничной тумбочке, никак не мог избавиться от мысли — что, если это на самом деле его мама? Операция на лице изменила не только внешность, изменила ее всю целиком?..

— Я заберу фрукты, перекручу, а на будущее, Юлий, вашей маме лучше пока все в виде смесей, пюре приносите.

Юлиан кивнул, сказал:

— Хорошо, правда, мне уже пора.

Шар всколыхнулся, женщина вновь сделала попытку подняться:

— Как, так скоро?.. А алоэ, Юлий? Ты про алоэ не забываешь? — она тянулась к нему обеими руками, и ему пришлось взять их. Сухие, горячие, костяшки вцепились, он почувствовал пульсацию сердца. Только не мог понять, чье это сердце?..

Медсестра одобрила, похлопала по спине:

— Не вставайте, Василиса Николаевна, Юлий пообещает нам, что завтра придет и расскажет, как там

ваши растения, — успокаивала Полина, — будет теперь кому книжку вам, без обложки которая, читать.

Было нисколько не противно и не неприятно держать эти незнакомые, ненаманикюренные пальцы — подметил. И то, что сказал потом, вышло как само собой разумеющееся:

— Обязательно приду. И почитаю. Честное слово. Мама.

После этого мама отпустила руки сына.

### *Мера света*

И в десятый раз сказал: «До завтра, мама», — пока, наконец, медсестра не закрыла за ним дверь палаты.

— Фуф, — выдохнул он.

— Я все объясню, — взяла под локоть и повела по коридору Полина. В меру симпатичная, в меру разговорчивая, она и делала все в меру — как наставлял ее отец. Он любил это слово — «мера», сам же не в меру пил все, что пьянит, не в меру был жесток и умер раньше отмеренного ему Богом срока, отравившись паленым спиртом.

Юлиан слушал, боязливо поглядывая на яркие плакаты, глазающие на него со стен. Он ни за что не станет читать, что в них написано, они кажутся ему источниками самих болезней. Так, по крайней мере, предполагала мама, и он в этом с ней был согласен.

— Мы притягиваем к себе все. Все, что видим, к чему прикасаемся, что читаем и слушаем... Это проникает в нас. И либо защищает, либо разрушает...

Медсестра говорила:

— Больше чем полмесяца, и никого. Соседка, та, что вызвала скорую, сказала, это сыночек ее мог такое сотворить. Представляете, каково ей?..

— А что с ней?

— Целый букет. Черепно-мозговая у нее, ожоги третьей степени головы, шеи, рук, груди. Зрение, — она перевела дыхание, — правый глаз сильно поврежден,

требуется реабилитация, большая вероятность, что будет инвалидность. Ей первое время анальгетики давали, она не говорила, только кричала. Сына все звала.

— А он? — рассматривая свои испачканные в грязи кроссовки, спросил тихо себя Юлиан и сам ответил: — И не думал появляться.

— Наркоман, Юлий этот. Конченный. Соседка все рассказала — и как он измывался над матерью, терроризировал — еще не то слово, все вещи из дому, да что, сами знаете, как они все тащат. Это сто процентов сыночек с ней такое сотворил.

Он почувствовал ее пристальный взгляд и посмотрел в ответ в голубые глаза девушки:

— Что сотворил?

Полина цокнула, вздохнула и тихо сказала:

— Там чайник пустой валялся, и вода разлита по всему полу. Врачи из «скорой» говорили. Она выползла в коридор, они определили по мокрому следу, и соседка услышала крик. Когда «наши» приехали, в квартире была только одна мать, без сознания. Понимаете?

Юлиан не понимал.

— Он вылил чайник ей на голову. Кипяток.

Лампа над ними ярко загорелась, загудела, они как по команде подняли головы и вместе ахнули, когда свет погас и весь коридор стал сплошной темнотой.

— Долбанный президент, — пронесся мужской выкрик эхом, захлопали двери, зазвонили сотовые...

В темноте зарождается жизнь, оживает...

— Устроить темную — слышали такое выражение?

Юлиан давно заметил, что ему легче разговаривать с людьми, знакомиться, общаться не при ярком свете. Желательно в полутьме, когда не так ясны очертания, все размыто, стерто, местами совсем невидимо, утрировано, местами раздуто...

— Мне ближе «темнота друг молодежи», — ответила медсестра, — обычно это ненадолго. — Продолжила тихо: — А как вас-то зовут?

— Юлиан.

— Шутите?

— Поэтому я отозвался, когда она позвала.

— Это не случайность даже, это предначертание, знамение какое-то. Такое редкое имя...

— Только я Юлиан, и в паспорте так, а он, как я понял, Юлий.

Вспыхнул экран телефона, это Полина посмотрела время:

— Разве это не одно и то же?..

Юлиан не знал ответа и поэтому спросил:

— Думаете, сын способен на такое?

Глаза привыкали к отсутствию света, вот он уже видит скуластое лицо медсестры и как блестят зрачки, она чешет нос, говорит:

— Дети жестоки, подростки особенно. И сыновья разные, сами знаете, вы, уверена, на такое не способны, а вот этот пэтэушник чертов...

— Он учится в ПТУ?

— Явно не учится, колетса если. Кстати, помните, школьник-наркоман у магазина продуктового молотком насмерть забил одноклассника? Это из той же категории.

«Категории?»

— Вы про то, что их много?

— Про то, что меры не знают ни в чем. Без меры живут. А во всем нужна умеренность, это истина, даже в нашей беседе. Это хорошо, что вы подыграли, Юлий.

«Юлиан», — хотел поправить, но «разве это не одно и то же?..»

— Ей это необходимо, поддержка. Она сыном только и живет. Без перерыва о нем спрашивает, говорит, рассказывает. Его так в честь Юлия Цезаря отец назвал.

— Долбаный мэр, — громыхнуло из темноты, — долбаная завотделением Киселева!

Хмыкнула Полина:

— Отец его пропал без вести.

— Цезаря?

— Юлия.

— Долбаный свет!

— Надеюсь, вы сделаете вид, что она ваша ... — недоговорила, в кармане собеседника зазвонил мобильный.

Звонила мама. Юлиан извинился, принял вызов.

— В темноте заблудился, я так поняла, — вырвалось из трубки, — племянничек.

Мальчик смог лишь промычать в ответ.

— Ладно, не напрягайся, я и не горела желанием, а после шести уже на кефире твоя тетушка, — хихикнула, потом захохала, — смеяться шибко не желательно, так что давай, племяш, выбирайся на свет, потом штрафной — нарисуешь мне что-нибудь эдакое, а то надоели эти цветочки.

— Звезды? — предположил сын.

— Фиолетовые. Точно. Звезды для Мэрилин.

Она пробормотала едва разборчиво — «чмоки-оки» и отключилась.

— Какая веселая у вас тетя.

Юлиан, убирая сотовый во внутренний карман куртки, наткнулся на что-то горячее. «Черт, оно жжет!»

Пальцы сжимали не телефон, нет — ручку чайника. Он понял это в тот миг, когда вытащил его из-за пазухи. Вода кипела, брызгала из горлышка чайника. Пар, белый, светящийся в темноте, ошпарил лицо — это Юлиан поднял крышку. Еще мгновение, и он опрокидывает содержимое на голову медсестре.

«Стоп! Это не скуластая девушка с голубыми глазами в белом халате!»

— Я промою тебе мозги! Мамуля!

Вода вспыхивает яркой, блестящей вспышкой. Она ослепляет, он жмурится и открывает глаза, когда слышит голос:

— Да будет свет! — весело говорит медсестра. — Я же говорила, полчаса не больше.

Сотовый возвращается в карман, Юлиан только кивает.

— Значит, договорились, завтра к четырем? Вы — сын, а мать вашу знаете, как зовут?

Он кивает:

— Знаю.

— Долбаный Буратино!

### *Изнанки*

Человек с собачьим лицом держит в руках зеркало. Голый Юлиан пытается прикрыться, но рук нет. Его руки у песьей морды. Чудовище скалится, мальчик заглядывает в зеркало и видит — два тонко отрезанных куска говядины:

— Мама? — слезы сделали голос писклявым. — Вернись, мама. Я не узнаю тебя. Что случилось с тобой?! Что с твоим лицом?!

Из мяса сочится кровь, из алой, тягучей субстанции появляются руки. Одна, вторая. На длинных ногтях маникюр с фиолетовыми цветочками.

— Это не мои руки, мама!

— Твои, твои, твои, — гавкает нечто.

У Юлиана теперь руки матери.

— Ты, ты, ты, — продолжается лай.

И мальчик с материнскими руками вонзает острые ногти-когти в собачью пасть:

— Мама, выбирайся оттуда. Живо.

Он рвет на части, на клочки, он кричит и захлебывается своим криком. Обливается кровью, тонет в ней. Потом красное становится фиолетовым. Кровь — цветами. От благоухания — невозможного, тошнотворного, его рвет, он блюет ногтями в фиолетовых фиалках.

Проснулся. Горло саднит, словно и впрямь всю ночь выпускал из себя что-то жесткое.

До звонка будильника еще час.

Лежа на спине, смотрел в потолок и приказывал себе: ни о чем не думать! Не думать о том, что надо не думать!

Правая ладонь, с ней что-то было не так, «будто стекловату потрогал».

— Ожог?! — не верил глазам Юлиан. — Быть этого не может!..

«Во сне, видимо, натер об ковер», — успокаивал себя, натягивая спортивное трико. «Или расчесал?» — делая кофе, собираясь в школу.

С последних уроков физкультуры сбежал. По дороге к больнице набрал мать. Абонент вновь был отключен или не в зоне действия сети.

— Блин, мама, — все, что смог сказать сын.

Василиса Николаевна была на месте. Его встретили чистые бинты и «шар» сегодня казался меньше, опрятнее...

— Сын пришел, — протянула руки женщина, — сон видела сегодня про тебя, давно уже ничего такого не снилось...

Поздоровался, прикоснулся губами к пальцам на каждой руке, в ответ услышал тихие всхлипывания.

— Ни о чем не жалею, сынок. Все, что было, давай оставим в прошлом. Зачеркнем! Забудем!

Он отпустил ее руки, сел рядом на кровать, приобняв:

— Я не могу ничего вспомнить из того дня, — прошептал, — это как потеря памяти, амнезия, лоботомия.

Она нащупала его колено, погладила:

— Все верно, так правильно, я не помню ничего, что было до вчерашнего дня. Это как затмение, и вот оно прошло. Мы изменились, Юлий. Во сне я купила тебе рубашку, помнишь, тебе понравилась? У зарубежного актера?.. Вот точно такую. Ты пытался примерить ее, а она никак не налазила, и мы смеялись как потерпевшие. Вспомнила, как ты однажды пошел в школу, надев рубашку на левую сторону. Помнишь?

Юлиан выдохнул:

— Помню, конечно.

В третьем классе он действительно пошел в школу в рубашке наизнанку. «Вот так совпадение», — ухмыльнулся.

— Мы искали, выбирали подходящую рубашку из кучи вещей, тряпья, как в каком-то секонд-хэнде, — вспоминала сон Василиса Николаевна, — но тебе

ни одна не подходила. Ты разнервничался, как обычно, с психа схватил первое, что попало под руку, убежал. А я кричала вслед: — Юлий! Сынок, это же мое свадебное платье! Ты не можешь его надеть!

Юлиан убрал с колена руку женщины, встал, сердце заняло место кадыка и застучало до звона в ушах. Подошел к окну, встал на цыпочки, чтобы ощутить свежий воздух с улицы в открытой форточке.

— Сынок? Что такое?

Платье мама хранила в чемодане вместе со свадебными фотографиями и туфлями:

— Это памятник моей слабости и глупости. Пожизненное напоминание.

Она и уговорила Юлиана надеть платье. Примерила фату:

— Слушай, тебе идет, — серьезно говорила, — не зря я девочку хотела.

Юлиан смеялся, а потом мать увидела, что платье надето неправильно.

— Я же мерил свадебное платье, мама? — спросил, глотая холодный воздух с привкусом дождя.

— Если только без меня, — затрясся от смеха шар, — отец бы это явно не одобрил. Ты — и в платье. Ох, рассмешил... Цезарь с фатой...

Женщина смеялась и заразила мальчика.

— Бюстгальтер, надеюсь, мой не примерял?!

Юлиан сквозь слезы отвечал: «Нет».

Он помнил, как мама застегнула за спиной бретельки, как они сдавили его грудь, потом она запихала в чашечки свои носки и, отступив от него на пару шагов, сказала:

— Юлька, ну вылитая я.

— Ну, нет, — не согласился сын.

— Дети — это изнанка родителей. Не спорь с матерью. Накрась тебя, вылитая я-школьница будешь...

Василиса Николаевна попросила отвести ее до туалета:

— Досмеялись, — хихикала, — а знаешь, как мне в таком положении неудобно на горшок ходить.

Теперь их смех слышали и на втором, и на первом этажах левого крыла.

Ожидая у туалетной комнаты, еще раз набрал номер матери. Ответил недовольный голос:

— Как всегда, вовремя. Мы тут заняты с доктором. Понимаете?.. Давайте вечером вы мне перезвоните.

И как всегда, не дожидаясь ответа и не прощаясь, за маму договорили гудки.

Яростно заревела вода, и, все еще смеясь, Василиса Николаевна, слепо шаря впереди себя, открыла дверь:

— Погляди, Юлий, я в плавки юбку не заправила? А то такое ощущение...

В палате он достал купленный в молочном киоске у больницы йогурт с семью злаками:

— Покормлю, если хочешь, — предложил.

Она кивнула большой перебинтованной головой, заплакала.

### *Клеопатра меняет кожу*

— Сынок, ты про алоэ мои не забываешь? — проглотила последнюю ложку йогурта женщина. — Знаешь, как мне они дороги. Алоэ, он ведь от всех болезней. Помнишь бабушкин самый старый, в таком здоровенном горшке, ему, не соврать, уже лет шестьдесят, он самый лечебный...

Мальчик промычал.

— Они непривередливые, но раз в неделю полить надо.

Поискал мусорное ведро. Не нашел, смял пластиковый стакан, забросил на подоконник:

— Да, да, мама, я помню, знаю, конечно, — вытер ладонью розовые кляксы с бинтов на подбородке.

— Не так мази от ожогов помогут, как алоэ. Если с медом его пить, так здоровым, как отец, будешь. Цезаря здоровей! Клеопатра, кстати, благодаря соку алоэ, сохраняла свою молодость, так говорят легенды.

— Клеопатра, — повторил «зачарованно», как отметила бы мать, и достал сотовый. Повертел.

Единственной кнопкой быстрого вызова 1 — была «мама», по ее же просьбе переименованная в «Мэрилин».

— Сам, поди, одними пельменями с китайской лапшой питаешься?.. Если уже яйца полюбил. Не дело. Попрошу, чтоб через пару дней выписали.

Юлиан убрал телефон:

— В наше время и Клеопатра без пластики и липосакции не смогла бы. На одном алоэ красоту не сохранить.

— Ничто не вечно, сынок...

— Поэтому всегда наготове должны быть змеи.

Вздрыгнула всем телом женщина, поднялась:

— Что такое ты говоришь, Юлий?! Что за мысли дурные! Ты это брось!

От такого неожиданного поворота он растерялся и не сразу нашел, что ответить:

— Да я так, к слову. Вспомнил, как она себя с помощью змей убила...

Обняла мальчика женщина, прижала к себе:

— Пообещай мне, родной, поклянись! Здесь и сейчас дай слово, что ты никогда не оставишь меня! Не уйдешь, как отец, не исчезнешь! Клянись! — она тряхнула его за плечи. И еще раз встряхнула: — Клянись! — и еще.

Юлиан сказал:

— Клянусь. Я обещаю, мама!

Плоть бинтов царапнула по щеке:

— Ты моя жизнь! Мой алоэ!

— Сегодня же полью все растения, — и поцеловал в кончик носа.

— Ты мой хороший...

— Только, мам, у меня с ключом беда, заедает, по часу домой не мог...

— Ой, в сумке в шкафу возьми мои ключи, и там на телефоне зарядка села, тоже подзаряди. Хотя, кто мне звонить будет, ты, слава Богу, рядом, больше никто не нужен!..

В сумке куча квитанций об оплате за электроэнергию, с водоканала... Конверты из банка о срочном погашении кредита. Адрес.

Семья Калина, мать и сын, проживали в противоположной семье Вершининых части города. Старой.

Успел сказать: «Завтра буду», как затрещонил телефон непривычно громко, требовательно. Вызывала Мэрилин.

Перепрыгивая через две ступени, Юлиан выбежал на улицу:

— Да мам, — выкрикнул, не успевая отдышаться, — я рядом. Скоро буду.

— Нет! И тссс, — зашипело в трубке, — мамкаешь мне, зачем приходиться, когда все хорошо?! Я выждала момент, чтобы никого не было, у меня грандиозная новость — Липшиц пригласил меня в «Ночной Баку».

— Это где все в евро?

— Да, да, виайпи, все на уровне. И твоя Мэрилин согласилась, — взвизгнула она, — а тут одной курице кожу с ягодиц пересадили на щеки и подбородок, представляешь, мне смешно сделалось, как представляю, кто целовать ее будет... Ты представь, представь...

Виктория смеялась, пока не закашляла:

— Ух, как бы швы не разошлись, второй день как вспомню... А ты чего хмурый? На погоду? Хочешь, в школу завтра не ходи.

Юлиан молчал.

— Кожа как новая, ни трещинки, ни пупырышка. Все гладко и блестит. Я обновленная. Он мне и на шею складки подтянул, без дополнительной оплаты, — зашептала и снова засмеялась мать.

— Так к тебе не подниматься, что ли? Купил йогурт...

— Съешь сам, тебе полезней. И чего тебе тут делать, пообщались же... На такую красоту не терпится взглянуть?! Понимаю...

— Клеопатра пользовалась соком алоэ и никакой пластики, — выпалил сын, — если верить легендам.

— Клеопатра? — растерянный голос из сотового, — любовница Цезаря которая, что ли?.. Так она и в молодке купалась, и жила припеваючи, царицей. Ты бы на нее посмотрел, живи она в наше время, в нашем городе — бичихой была бы, если б под нож не легла. Сейчас красота после сорока, без мешков под глазами и с упругой попой, исключительно заслуга хирурга. Скальпель творит молодость и привлекательность, а алоэ бабулям оставь на подоконнике, чтоб поливали.

Тишина повисшая испугала, и Юлиан заговорил:

— Да уж, у всех своя правда, только как и правда, молодость и алоэ, ничто не вечно...

— Опять ты?! — от вскрика матери он едва не выронил телефон. — Ты специально мне портишь настроение, да?! Я правильно понимаю?! Твое занудство и пессимизм! Самому хреново, и мне должно, значит, быть так же!.. Ну уж нет. Давай, топай до дома и ешь свой йогурт, может, повеселеешь! Нытик!

Юлиан стиснул кулаки и зубы:

— Да пошла ты.

— Чтооо?! — завибрировало в ухе, — чтоооо?! Куда мне пойти?! Давай, смельчак, озвучь направление!..

— К Липшицу!

### *Когти алоэ*

До старой части города добрался на трамвае номер семь. Это окраина с двухэтажными домиками, садоводами и железнодорожной станцией в окружении автомобильных сервисов, гаражей, мастерских.

Всю дорогу смотрел на дождь, пытаюсь вспомнить сегодняшний сон. Запомнилось ощущение тревоги. Лестницы, словно из теплого воска, изгибались под ним, таяли, исчезали. Снилось — у него волосы по пояс. Он пытается спрятать их, чтобы его не засмеяли, но волосы оживают, змеями выбираются из-под шапки, лезут в глаза, нос, в поры и под кожу... Про-

брались и притаились в нем, внутри, ждут подходящего момента, чтобы выбраться, покарать, убить...

«Все из-за матери», — вертелась мысль.

К дому шел уверенно, словно жил в нем все шестнадцать лет. Вошел в мрачный сырой подъезд, пахло кошками. Поднялся на второй этаж, без промедления открыл дверь одиннадцатой квартиры, сделал шаг в темноту коридора и сшиб с ног чудовище.

— Твою ж жопу мать, — заворчало хрипло оно, ворочаясь на полу, — есть че?

Чудовище — худой парень в одних плавках, белое тело исполосовано свежими и покрытыми коростами ссадинами. Самопальные татуировки бросаются в глаза открытыми ранами. Вены на руках — штрихпунктир из фиолетово-черных болячек. Воняет мочой, тухлятиной, медикаментами.

— Ты не Катик-чмо?! — цепляется за джинсы Юлиана наркоман, поднимается. — Есть че? Дунуть?

— Не курю.

— Да я про ширнуться, — показывает на истерзанные руки в гематомах, — че приперся тогда, если нет ничего?!

— Пиво? — предложил незваный гость.

— Мож на водяру наскребешь? В четвертой хате баба Галя катает, по полтиннику, — почесывая бритую голову в шрамах, промямлил Юлий, — ханки бы...

— Водки? — Юлиан заглянул в зал — пустые книжные полки. Матрац и ведро в центре, больше ничего. Штор с гардинами нет, на подоконнике одинокий горшок с желтым алоэ. — Закусывать есть чем?

— Ты че как не мужик?! Хочешь, семечек возьми... Деньги в пустое... Катик-чмо, все равно подгонит ченить, за ним должок, — и, отрыгнув, сплюнул на пол, — цветками матушкиными закусим, епта.

Только прикрыв за собой дверь, Юлиан понял, что замок сломан.

Магазин нашел через дорогу, взял 0,7 водки, двести граммов чесночной колбасы и полоску нарезного батона.

В одиннадцатой квартире Юлий ждал его за столом на кухне:

— Стаканы помыл, — сказал он, — мать куда-то съехала, понять ниче не могу. Приходится как-то самому вертеться.

На кухне уцелел шкаф с посудой, на вешалках замусоленные полотенца. Раковина забита грязными тарелками, там же сковорода с наростами подгоревшей картошки и пара солдатских ботинок.

— Разливай давай, — скомандовал, трясаясь всем телом, хозяин и плюнул под стол, — жажда!..

Юлиан подчинился.

— А, это... Число какое сегодня? — схватил рюмку, быстро опрокинул в себя, жадно вгрызся в колбасу, другой рукой кроша батон. — Я, бля, совсем счет времени потерял, — чавкал и наливал себе водку Юлий, — знаешь, как после бугра...

Юлиан кивал, Юлий напротив подливал, выпивал, говорил:

— Вмазаться бы. Катик-чмо унес чайник, такой электрический, знаешь? Должен отравы пригнать. Жду его, бычару, скока уже...

Гость делал вид, что пьет, подносил стакан к губам, вертел в ладонях, интересовался:

— А с учебой что?

Наркоман смеялся беззубым ртом:

— Выгнали, тока мамке не спали.

— А где она?

Юлий выпил, закинул в рот остатки колбасы:

— Спросил тоже, я бы знал... Испарилась. Проснулся я давеча, меня таращит, а ее нигде нет, и че делать?.. Я цветы и покидал с балкона ей назло...

— Так может, ты что-то с ней сделал?

Парень напротив поперхнулся, выплюнул розовую мякоть на стол, вскочил с выпученными глазами, уставился на Юлиана:

— Ты! Ты че?! Совсем сдурел, да? — задыхался и брызгал слюной с крошками сын. — Она ради меня почку отдала, квартиру-трешку разменяла! Понял, да?! Сделал?.. Что я сделал? Я только горшки с кактусами побросал... А Катик-чмо, чайник унес и микроволновку, а, сука, отдачи никакой. Ты, может, что загонишь, кислый?

Замелькали по кухне синими кляксами наколки, Юлий раскрыл все шкафы, вытащил из раковины берцы:

— Может, их загнать? — спросил. — Почти новые, мамка брала на зиму.

Теперь он чесался весь, стараясь содрать с себя кожу, не прекращая метаться по квартире:

— Катик-чмо принесет баш, бля буду, — допил из горла водку, собрал и съел крошки со стола, — я, вот, гляди, уже и баян приготовил, — показал шприц, — мне с децл надо, я потом откатаюсь.

Вернулся в зал, кричал, таскал из угла в угол матрац, пинал пустое ведро, минут через десять затих.

Юлиан заглянул, голый тезка лежал на матраце лицом вниз, плавки валялись рядом. Тихо перешагнул через него, подошел к погибающему цветку алоэ. Провел пальцем по шипам, больше похожим на когти хищной птицы. Проткнул подушечку указательного пальца до крови, слизал кровь. Сплюнул под ноги спящему. Нагнулся, поднял шприц:

— Цезарь, твое время пришло.

Игла вошла в мякоть умирающего растения, сок, мутно-желтый, наполнил шприц до отметки четыре миллилитра.

На окно села синичка, человек и птица встретились взглядом;

— Это Катик-чмо принес, — прошептал человек.

Желтая грудка исчезла в дожде, шприц Юлиан оставил рядом с плавками на полу. Юлий застонал, перевернулся набок, яростно корябая плечи.

## Запах времени (Мам)

Сотовый телефон Василисы Николаевны зарядился, и он включил его далеко за полночь. Куча непринятых звонков из банка и неизвестных номеров. Десятки сообщений — срочно связаться с коллекторским агентством, масса рассылок со скидками из магазинов. Одно сообщение от «сыночка». Его он не мог не прочитать.

«Мпм4с.м2ф;.ю» — так написал сын своей матери три недели назад.

Юлиан отключил аппарат.

Мать решила на выходные остаться в клинике под присмотром доктора Липшица в отместку за грубость сына. Сын навестил маму Юлия:

— Алоэ цветут и пахнут, — обрадовал.

— Цветут? — женщина стояла спиной к окну и в сумраке комнаты была похожа на киношного пришельца. — Это такая редкость, бабушкин алоэ, еще когда ты махонький был, цвел, и больше нет, с тех пор не видела. Вот так новость — это знак.

Мальчик пробубнил:

— Угу.

Шар в свежих бинтах закружился, Василиса Николаевна взвизгнула, остановилась, протянула руки:

— Это знак, сыночка. Знак свыше. Это начало нашей новой жизни. Теперь все будет по-другому. Уже все по-другому! Твой голос, твои мысли, твои вкусы, сердце стучит твое весело, как раньше, до всех этих, — она осеклась, — и зубы тебе вставим, вылечим, и я возьму кредит, купим, как ты давно хотел, мини-мопед, как его там — скутер?..

— Скутер, — прижался, сердце стучалось о сердце, — только, мам, Катик-чмо микроволновку с чайником увел, — тихо в бинты сказал Юлий.

— Пусть. Бог с ним. Ты, главное, пообещай, что он в нашей жизни больше не появится, и может хоть все из дома выносить. Мы начинаем новую жизнь. С чистого листа. Да же?

— С чистого, — сжимая худую женщину крепче, говорил он, — новую!..

— Время будет работать на нас. За нас! Мы справимся со всем! Главное, вместе и чтобы ты оставался таким, как сейчас. Я так давно не слышала в твоём голосе смех. Не слышала, как ты улыбаешься.

— Мы вылечим твои глаза.

— Да черт с ними, я и так все прекрасно вижу. Сын.

— Ма.

Они стояли, обнявшись, молчали, сердца стучали, как одно. Минута, десять. Полчаса... Потом погас свет, и в темноте коридора знакомый голос по привычке оповестил:

— Долбаный президент.

А мать засмеялась и спросила:

— Какого цвета цветок?

Мальчик ответил не задумываясь:

— Белого.

— Цвет света. Цвет жизни...

— Никакого черного, — сказал, забираясь под одеяло, Юлиан и погасил свет.

В голове он уже не раз прокручивал историю своего будущего — вон он покупает в цветочном магазине алоэ с белоснежным цветком на длинной стрелке.

А это он уже в подъезде у двери с номером 11, и соседка (та, что вызвала «скорую») улыбается ему:

— Юлий, ты ли это? — спрашивает она, поправляя очки с толстыми стеклами.

— Я, — смеется он и толкает незапертую дверь.

— Ты так изменился, посвежел, и лицо чистое, и зубы на месте... — не верит глазам старушка, — ну другой человек прям.

Ему нечего сказать, он смеется, и белый цветок смеется, болтаясь на тонком стебле, вместе с ним.

— Маме подарок купил? — говорит соседка. — Она любит алоэ.

— До свиданья, — прощается торопливо Юлий, ведь его ждет работа. Большая уборка. В квартире тихо. Ни звука. Он проходит на кухню, ставит в центр грязного стола горшок в ярко красной подарочной обертке и открывает настежь окно.

Проходит в зал, где одинокий матрац и ведро на полу, и там открывает окна.

На подоконнике мертвый сухой алоэ с капелькой застывшей крови на шипе-коготке.

— Во всем необходима мера, — истина, на которой строит свою жизнь медсестра Полина, он слышит ее звонкий, голос, — даже у алоэ. Время цвести и время увядать...

Она смеется, смех звенит. Звенит громче. Настойчивей. Пробуждает.

Глашатай времени отметил начало нового дня. Мальчик поднялся, отключил будильник, в одних плавках прошел на кухню. Включил чайник. Тут и ударил в нос запах тухлятины.

Он оказался в одиннадцатой квартире, в зловонном зале, где на полу земля и битые осколки глиняных горшков, растерзанные цветы герани, алоэ и лилий... И шипение змеиное под шорох червей:

— Катик-чмоооо...

Шум нарастал, заполнял голову, вытесняя мысли, вытесняя разум, шум наполнял страхом, тревогой, опустошал...

Щелчок — это чайник закипел и отключился. Мальчик вернулся на кухню. Вонь вернулась с ним.

— Мама! — вспомнил он чудовище с кусками кровавого мяса вместо лица.

Под раковиной в мусорном кухонном ведре два тонко отрезанных ломтика говядины зацвели белыми цветами.

# ОПЕЧАТКА

Персонажи не вымышлены,  
события и совпадения не случайны.

*Вначале было Слово...  
от Иоанна 1:1.*

«В голубо-розовую полосу небо под вечер — не к добру».

Тамара Иннокентьевна отошла от окна.

«Не люблю вечера».

Вечером она всегда одна. Изредка приходила подруга-одноклассница, математичка Алла, раз в полгода навещал сын Антон, соседка с третьего могла заглянуть — занять пару сотен. Вечер делила с взятой на дом работой, разбавляя зачастую сухой журналистский материал кружкой горячего куриного бульона из кубиков типа «Кнорр» или «Магги».

«Корректор от Бога» — пускай штамп, но именно так говорили о Тамаре в газете, где она работала уже пятнадцатый год.

Иннокентьевна втайне гордилась этим званием, хотя каждый раз отнекивалась:

— Скажете тоже — «от Бога», и получше видали...

Еще ее называли «незаменимой», и тут она снова скромничала:

— Незаменимых людей не бывает.

Тамара любила свою работу, не любила только вечера и небо в голубо-розовую полосу.

Свежий выпуск своей газеты просматривала всегда вечером. Здесь она знала все. Каждое слово, каждую букву, запятую, кавычку, тире...

Любимым занятием, как у всех одиноких людей, было разговаривать с самой собой. Часто Тамара зачитывала абзац из первой попавшейся на глаза статьи и хвалила себя любимую за такую божественную корректуру:

— Ай да Тома, ай да сукина дочь.

Сегодня, закутавшись в теплую кофту, в своем «рабочем» кресле женщина раскрыла новый выпуск газеты «Вечерняя среда» и на восьмой полосе прочла кусочек из криминальной информации о ДТП. Прочла громко, с выражением, вслух:

— Из статьи Михаила Павлова «Догонялись»: ... результате столкновения автомобилей никто из пассажиров серьезно не пострадал. Однако, как сообщили нам в пресс-службе ГИБДД, потрепавш...»

Голос Тамары резко оборвался, она отбросила, верней, отшвырнула от себя сначала газету, потом кофту. Встала, скорей вскочила. Вскрикнула и закрыла лицо руками.

— Нет, нет, нет... — шептала как заведенная, — нет, нет, нет...

И так до бесконечности...

За окном давно стемнело, а Тамара все еще боялась открыть глаза и взглянуть на разбросанные газетные листы.

«Это все небо».

— Нет...

Телефонный звонок — ударом по сердцу.

«Вот оно, — вспышкой в голове женщины. — Началось».

Тамара отпускает руки, открывает глаза. Стараясь не наступить на газету, медленно, боязливо подходит к телефонному столику, с надеждой, что телефон, наконец, замолчит. Но нет...

Она снимает трубку.

«Из редакции. Точно».

— Тома, что не подходишь так долго?!

«Алка, блин».

— Спать уже легла, — а голос предательски дрожит и как будто не ее.

— На встречу выпускников собираешься? Я без тебя как-то...

— Ой, я и забыла совсем... Если работы...

— Что ты привязалась к этой работе?! Пойдем. Посмотрим...

— Я позвоню...

— Ну, все понятно с тобой. Спи...

От резких гудков в трубке Тамара вздрогнула.

«Как сирена воздушной тревоги. Нет! Милиции».

— Приедут и заберут, — сказала тихо женщина, — посадят. Пожизненно...

Идиотка, ты ошиблась, это не опечатка. Там, конечно же, написано «потерпевшие», ты ведь корректор от Бога, лучше тебя...

Шаг, другой, и газета в руках. Вот и восьмая полоса, и та самая криминальная информация о столкновении, и...

«Как я могла пропустить?!»

— Где были твои глаза, старая слепая дура! — прокричала она. — Столько лет работы, и ни одной ошибки, а тут...

Тамара не могла ни поверить своим глазам, ни произнести это слово...

Оно как приговор, как преступление и наказание, как убийство...

— Нет, нет, нет...

Легла на пол, на смятые листы газеты, укрылась кофтой и под собственное монотонное бормотание уснула.

И приснился ей арест и суд, и как ее допрашивали, как вели по тюремным коридорам в темноту, и одно только слово, одно...

«Это конец».

Тамара Иннокентьевна проснулась. Боялась встать, а будильник истерично этого требовал, настаивал.

«Пора на работу».

— Может, отпроситься или сесть на больничный? — спросила у себя.

«И почему до сих пор никто не звонит?!»

Посмотрела одним глазом на телефон.

«Трубка вроде на месте».

Будильник звонил.

«Корректор от Бога. Спаси, Боженька, и сохрани».

И вслух:

— Хоть и не верила в тебя и не молилась толком... Молю. Сделай так... Сделай так, чтобы ничего этого не было. Этой... Этого слова... Сделай, Господи, и уверую. В церковь буду ходить и свечки поставлю. Молю, Господи, только сделай это...

Тамара неумеючи перекрестилась, лежа на полу, глядя в потолок, именно там где-то, за потолком и выше, должен был находиться, по ее мнению, Бог, к которому она впервые за свою жизнь обращалась...

В редакции привычная суета. Готовится новый номер. Редактор Валентин Геннадьевич у себя, планирует с ответсекком Павлом. Журналисты, как всегда, гадают и делают вид, что работают.

Тамара поздоровалась со всеми.

Валентин Геннадьевич в ответ помахал, Павел сказал: «Утро доброе». Журналисты поздоровались с корректором от Бога, перебивая друг друга, и...

«Ничего».

Она прошла в свой кабинет, оставив приоткрытой дверь.

«Быть может, это у них тактика боя такая? Выжидают, когда я заговорю об этом первая? Ну уж нет. Я ничего не видела. Я для них незаменимый кадр».

Из-за дверного косяка показалась рыжая голова спортивного корреспондента Коли:

— Тамара Иннокентьевна, вам полосу спорта на вычитку принести?

«И улыбается как-то язвительно, подлец».

— Принеси.

«Только бы не выдать себя. Только бы...».

Тамара достала ручку с красным стержнем, которым по обыкновению исправляла журналистские ошибки, и стала ждать.

Прошло пять минут.

«Заговор».

Еще пять.

«Они видели. Они знают».

— Коля! — крикнула зло корректор.

— Тамара Иннокентьевна, минуту, — донеслось, — я на планерке.

«Вот оно. Сидят и обсуждают. Решают, как меня казнить...»

Тут появился Коля с полосой:

— Ненавижу эти планерки, блин.

Тамара посмотрела на юношу. Он ей улыбнулся.

— Чего новенького у нас? — спросила женщина.

— Ниче, все по-старому, если только что Геннадич с похмелья болеет, а так... все тип-топ.

«Врет и не краснеет, троечник, мерзавец».

Коля ушел, а Тамара все никак не решалась взглянуть на полосу. Казалось, взгляни — и окаменеешь. На всем листе будет одно только слово. Одно.

— Тамар, — в дверях появился редактор, с начатой бутылкой коньяка, — я пойду, а то после вчерашнего, понимаешь... Ты, как захочешь, тоже иди, хорошо?.. Что-то мне плоховато...

Женщина не успела открыть рта, а Валентин Геннадьевич уже спешил к выходу.

«Или на стрелку с пострадавшими полетел, пьяница?»

Убрала непрочитанную полосу в стол и ушла следом, не сказав никому ни слова, ни с кем не попрощавшись.

«Предатели».

Вернулась домой с кипой газет, какие успела выкупить в ближайших от редакции до дома киосках. Вышло шестьдесят восемь штук.

«И это при тираже в пятнадцать тысяч экземпляров, бляха».

В холодильнике с прошлого дня рождения, уже почти год, стояла нераспечатанная бутылка водки. Не разуваясь, Тамара прошла на кухню.

— Почему бы и нет. Самое лучшее лекарство для само-сохранения, когда всё вокруг тебя рушится, — сказала, и, сорвав крышку, сделала большой глоток прямо из горла.

И даже не передернулась, как бывало раньше, даже не закусила.

И второй глоток.

«Сейчас должно полегчать».

Третий.

— Как там у Достоевского — «Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищущу».

После четвертого глотка разделась, побросав вещи и обувь в коридоре на пол. Вернулась на кухню. Слегка шатало и подташнивало.

— Закусить, — приказала себе.

Так и поступила.

Женщина допила всю бутылку молча. Стараясь не думать ни о чем. Потом взглянула в окно — и вот оно, ненавистное небо в голубо-розовую полоску.

— Ты, — произнесла с трудом и бросила что есть силы пустую бутылку в окно, в небо...

Следом загремела под стол сама.

«Как потерпевшая».

Наутро Тамара никак не могла вспомнить, откуда взялась разбитая бутылка водки на полу под подоконником.

«И выпила-то чуток».

Впервые за пятнадцать лет работы в «Вечерней среде» она проспала.

— Будильник подвел, — сказала редактору, — наверняка батарейка села.

Валентин Геннадьевич молча кивнул, не отрывая глаз от монитора компьютера.

День с тяжелой головой тянулся болезненно долго. Вычитывая страницу за страницей, Тамара Иннокентьевна не могла поверить, что никто ничего не заметил.

«Грамотеи, тоже мне», — ликовала корректор.

«Сплошные двоечники или вечные троечники по жизни».

И как в подтверждение ее мысли, из соседнего кабинета раздался голос рыжего Коли:

— Тамара Иннокентьевна, а как пишется слово «испокон веков», Валентин Геннадьевич спрашивает!

— Вам как, по буквам продиктовать? — улыбнулась женщина. — Или по слогам?..

А для себя она кое-что решила. Наверняка.

«Бог со мной».

Только в церковь Тамара не пошла, несмотря на то, что где-то глубоко в себе верила — ей на помощь пришли высшие силы. Чудесным образом опечатку никто не заметил.

«А свечку поставить всегда успею».

Перед выпуском номера в печать корректору не спалось.

Бессонница, пожалуй, была еще одним неприятным обстоятельством в ее жизни. Но серое вечернее небо успокаивало. О нем и думала, сидя в своем кресле в темноте, Тамара.

«Хороший знак — значит, все получится».

Так, в кресле, перед самым рассветом она и заснула.

Увидела свой любимый 10 «а» класс, шел экзамен, она — совсем еще молоденькая, с косичками и испуганными глазами — стояла у школьной доски. На доске большими буквами, цветными мелками, было написано: «ИСПАТОМ ВЕКОВ».

Это написала она — Тамара. Девочка смотрела слезными глазами в глаза учительницы и дрожала, она ждала решения. Оценки. Ждала приговора. И он прозвучал:

— Ты все правильно написала. Все правильно сделала. Садись, Тамарочка, пять.

Ты настоящий корректор от Бога...

Она шагнула и увидела себя замурованной в четырех стенах: ни окон, ни двери — только одно небо над головой.

— Нет, — пропищала Тамара и, чтобы не видеть, как небо меняет цвета... Открыла глаза. Она опять проспала.

Сегодня номер до пяти часов должен быть сдан в типографию. Того, что Тамара опоздала на час, никто не заметил. Сверстаны все двадцать восемь полос, осталась незначительная правка, и можно смело отмечать выход очередного номера «Среды».

— Мне кое-что поправить, — попросила Тамара уставшего верстальщика Марка.

Марк протянул ей все полосы.

— Ненавижу день перед выходом, — прошептал худой и бледный юноша, — хоть вешайся.

— В отпуск лучше иди, — женщина щипнула и потрепала Марка за щеку, — да и жениться тебе надо, так угробишь себя с этой работой. И перемены у нас будут хоть какие, а то ничего не происходит...

— Ага, — был ответ.

«На встречу выпускников». Твердо решила Тамара.

— Дело сделано, — говорила себе, собираясь, — ай да сукина ты дочь.

Алла ждала подругу на кухне и спросила:

— Что ты там про суку сказала?..

— Так, — раздалось из ванной, — про работу вспомнила.

— Да ну ее на хрен, твою эту работу, ослепнешь скоро совсем, будешь знать.

— Я корректор от Бога, Аллочка, я не могу ослепнуть.

— Ну-ну, рассказывай, от сумы и от тюрьмы...

— А вот проверим, если в завтрашнем номере «Среды» одно слово будет написано так, как я его написала, и никто не заметит, значит...

Тамара замолчала.

— Что?..

— Значит, Бог не только есть...

— И ты корректор от Бога?..

— Так точно.

— Слушай, пойдем скорей лучше выпьем...

Тамара напилась меньше чем за час. Алле («Ну ты, подруга, даешь, я тебя не узнаю!») пришлось вызывать такси и везти одноклассницу домой.

— Ты же и не пьешь толком, — говорила она в такси.

— Теперь пью. Повод есть... — заикалась женщина.

— Я недопитая, недотанцованная и Славку Соколова не увидела, все ты...

— А я, между прочим, вообще никого не увидела...

— Конечно, если водку с горла, не стесняясь, хлебать...

— Ох, хоть вечер не одной...

— Я не останусь...

— А если мы возьмем еще бутылочку?..

Математичка Алла осталась.

Утром первый вопрос, который услышала Тамара, был:

— Зачем тебе столько газет одного номера?.. — женщина перелистывала «тот самый» номер. Тамара выхватила газету из рук подруги:

— В туалет ходить, — рявкнула.

— Но ты раньше чуть ли не пыль с каждого выпуска сдувала?

— Башка болит, а ты с вопросами дурацкими, сделай лучше кофе, хотя нет...

Алла с удивлением наблюдала, как Тамара залезла под кресло и достала оттуда бутылку коньяка.

— Сыну на двадцать третье февраля брала — он, гаденыш, не приехал.

— Это ты про Антошку так — «гаденыш»?!

— Слушай, не начинай, — пригрозила Тамара, — пойдем лучше на кухню, поправим здоровье.

— Ты что, на работу не идешь, что ли?

— У меня повод, и хватит речей, лучше наливай...

Вторую, теперь уже умышленную опечатку, снова никто не заметил. Ни в редакции, ни читатели...

Все выходные Тамара ждала звонка. Раз десять сама звонила в редакцию, спрашивала: «Как дела?» и «Какие новости?».

Отвечали: «Все тихо, без эксцессов».

Женщина попросила прочитать новый выпуск Аллу — ничего. Отнесла — специально купила в киоске рядом с домом — газету соседке с третьего. Бегала к ней весь вечер субботы. То под предлогом: «Соли не одолжишь щепотку, кинулась готовить — и ни грамма». То позвонить: «Мой аппарат сломался, что ли?»

И каждый раз интересовалась:

— Статью-то ту прочитала?

— На несколько раз, — отвечала соседка, — не знаю, что ты в ней нашла. Я сроду спорт не любила.

«Неужели?!» — металась по своей однокомнатной квартире Иннокентьевна.

«От Бога?!»

На кухню.

«И все до такой степени отупели?!»

В коридор к двери.

«Как?! Что?! Неужели?!»

Снова в зал и на кухню, и снова к двери.

И так без конца.

Третью опечатку Тамара сделала на первой полосе «Вечерней среды». В рубрике «Слово мэра», в слове «среда». Она просто изменила одну букву посредине слова...

«Если и это не заметят...»

### *Не заметили*

Тамара перестала есть. Позвонил сын, спросил, как дела. Мать не нашла слов. Вечера теперь коротала с сорокоградусной бутылочкой. С ней она могла поговорить по душам и забыться пьяным сном, где не было места снам. В один из таких вечеров за закрытыми темными шторами Тамара — корректор от Бога («Кто скажет «нет», пусть бросит в меня камень!») — вдруг поняла, чего она хочет. Что должна сделать. Она просматривала дома новые статьи для свежего номера и...

— Вот оно...

Быстро, как могла, к окну. Распахнула шторы, выдохнула.

На небе только звезды — глаза Бога.

«Последний раз, чтобы убедиться».

Вернулась к креслу, долила остатки водки. Еще раз посмотрела на статью, точнее, на слово, в котором решила сделать опечатку.

«Оно, и только оно».

Выпила залпом, сматерилась и разбила рюмку о подлокотник любимого «рабочего» кресла.

— А чтоб его! — крикнула. — Я или не я это все устраиваю, в конце концов?!

Ей показалось, что зазвонил телефон, и она заорала:

— Ты еще не знаешь, что я приготовила! Это были цветочки, а вот ягодки!.. И не вздумай мне звонить в такой поздний час! Я, между прочим, корректор, а это значит, что я равная Бо!..

Женщина не докричала, сползла по креслу на пол и уснула посреди осколков.

Без снов.

Первая мысль — самая верная, говорят. Прежде чем исправить правильное слово на неправильное, Тамара подумала: «Теперь точно конец — арестуют, посадят, убьют».

Она еще раз, а это был уже сотый раз, посмотрела на слово.

Прочла про себя по буквам и взяла ручку с красной пастой.

Через минуту позвала верстальщика Марка:

— Тут надо поправить маленько.

«Увидит?»

Марк молча взял полосу.

Корректор привстала.

Юноша через секунду произнес:

— Сделано, Тамара Иннокентьевна. Газету можно отправлять.

«Всё».

Женщина села. Ручка с красной пастой в ее руках лопнула и потекла.

— Вот черт!

Тамара посмотрела на испачканные красным ладони.

«Как похоже на кровь».

— Что там у вас, Тамара Иннокентьевна, — голос рыжего Николая.

— Ничего. Так, замаралась.

Из редакции выбежала, едва не сбив ночного сторожа с ног.

«Совсем с ума спятила», — подумал старик.

«Только не смотри на небо», — твердила Тамара.

Дома забралась в шкаф с бутылкой какой-то настойки.

— Небо дает и небо забирает. Всё, теперь это точно всё.

Она услышала, как у соседей пропикало радио.

«Семь часов».

Выглянула. В зале темно, на полу у кресла неубранные осколки.

«Свидетели обвинения».

Отхлебнула из бутылки.

«Нет».

Вылезла из укрытия и — к телефону, судорожно набрала номер редакции.

«Только бы на месте, только бы не ушел», — почти молилась.

— Ну же.

Голос в трубке:

— Редакция «Вечерней среды».

«Он!»

— Валентин, это...

— Да узнал, что ты...

— У нас опечатка!

— Что еще? Номер уже печатают...

Тамара подняла глаза к потолку. Именно там, где-то за потолком и выше должен был находиться, по ее мнению, Бог.

— Как? И не остановить?

— Ты корректор от Бога, не переживай, все образуется, что за слово?

Женщина молчала.

— Да не переживай так. Один косячок в пятнадцать лет — не беда. Че за слово-то?

И Тамара выдавила это слово из себя. Еле-еле:

— «Господь».

Валентин Геннадьевич усмехнулся:

— Нашла тоже...

— «Господь» Бог — это слово! Там опечатка.

— И что, из-за этого он на нас в суд подаст? Хе. Ну ты рассмешила.

— Но ведь...

— Скажи еще, что он всю нашу редакцию за эту опечатку накажет. Покарает. Судный день, ептить, устроит всем нам...

Мужчина смеялся. Тамара сдерживалась, чтобы не заплакать.

— Это моя вина. Это все я. Виновата...

— И какое тебе, Тома, наказание придумать, — спросил сквозь смех Геннадьевич, — распять тебя на кресте, что ли?! Хе.

— Опечатка — эта...

— Ладно, хватит. Не переживай. Всё.

«Вот именно — всё».

— Может, и опечатки никакой нет. Может, тебе показалось?!

— Есть!

— Ну, Бог с ней. То есть с ним, — и он снова громко засмеялся в трубку, — ну если ты так хочешь-хочешь, на сто процентов, премии тебя лишу?! Чем не наказание?! Хе...

— Я-а-а...

— Если Бог есть, то он не допустит такой опечатки. А нет — так и судить нас, тебя, некому. Понятно?! Всё, ложись спать со спокойной душой и сердцем. Ты у нас незаменимая, ясно?! Всё, спать, спать, спать...

Неожиданные гудки испугали.

Резкие, в самое сердце, гудки.

Тамара схватилась за левую грудь, попыталась нащупать сердце. Не смогла.

«Как?!»

Одни лишь гудки, и никакого стука сердца.

«Без сердца?!»

Заплакала.

— Сто процентов премии — вот она, цена...

Подошла тихонько к окну, приоткрыла одну шторку. Небо встретило ее алым заревом. Женщина опустила заплаканные глаза и посмотрела на ладони, они все еще были красными...

«Как небо в лучах заходящего солнца».

— Тук-тук-тук, — все громче и громче повторяла она, словно хотела до кого-то достучаться — тук-тук...

И так до конца...

*Конец.*

## УЛЫБКИ

141178

Чужой билет, который он вытащил из порванной обивки сиденья, тоже оказался несчастливым. На всякий случай проверил еще раз — 141...

«Да и не мое это было бы счастье».

Поймал на себе взгляд кондуктора трамвая, полная, усатая женщина с катушкой билетов на груди улыбалась.

«Заметила, что ли, как считаю?» — подумал Семён и в ответ хмыкнул.

— Я тоже девчонкой искала счастливый, один раз даже чуть не умерла, ага, подавилась билетиком, не в то горло попал, да, его ведь съесть нужно, если счастливый, ведь так?..

Семён кивнул.

— Вот теперь мое счастье: испорченный желудок и зарплата такая — сказать стыдно...

Трамвай начал тормозить, остановка «Узел связи», его пункт назначения.

— Знаешь, сколько таких охотников за счастьем у меня за смену проезжает?

Конечно, он не знал.

— И всем счастье подавай. В дурацких цифрах лучшей жизни ищем, в математике, все складываем, а жизнь только на вычитание работает, да, в минус, — глубоко вздохнула женщина, — нет в жизни счастья, а уж в билетах этих тем более, ага, так, баловство одно.

Семён многозначительно промычал.

«Счастье зашифровано во всем, главное — подобрать ключ, код к шифру».

Дверь нехотя отъехала, солнце ослепило.

— Счастье есть, — сказал и выпрыгнул из трамвая.

Кондукторша уже самой себе пробурчала:

— Может быть, где-то и есть, только не здесь...

Оторвала проездной талон и мельком пробежала по выбитым зеленым циферкам.

208201...

Счастье было рядом.

— Так, вошедшие, проезд оплачиваем!

451447

Сердце стало огромным, не вздохнуть. Красные астры распустились, взорвались салютом перед глазами. По спине покатались бисерины пота.

«Катя, Павлик».

Ладони мертвецки холодны, а внутри жар. Сердце растет, пульсирует, сердце раскалено, оно выжигает дорогу на волю. Удар за ударом. Тук, тук, тук. И грудная клетка не выдерживает натиска. Сердце вырывается из плена дряхлого тела. Прочь! Вот она, свобода! И ввысь, и в небо... Сердце становится солнцем!

— Улыбки, — старик задыхается, — мои улыбки... улы... уви...

Семён бросается к сторожу, «это розыгрыш», последнее горячее дыхание старика отпечатывается на щеке юноши легким ожогом.

— У-лы...

Солнце, беспощадное, палящее солнце встретило вознесшуюся душу очередной вспышкой...

606974

— Снова про улыбки?

— Ага, — Семён сделал очередной большой глоток пива.

— Ты смотри, старый. Перед смертью и все о своем. — Ответственный секретарь еженедельника «Вечерняя среда» Михаил Кульков, хронический пьяница и непризнанный (если верить его словам) гений, разлил по стаканам остатки пива. Пили — «снимаем стресс», как

выразился Кульков, — в кабинете корректора Тамары Иннокентьевны. Женщина по пятницам приходила вычитывать материалы, если таковые были, после обеда, что случалось крайне редко.

— Что за улыбки-то? — Семён работал в редакции третий месяц и с немногословным сторожем Николаем толком не общался.

«Здравствуйте» и «до свидания» — два слова на утро и вечер. Но про улыбки старика Семён все же слышал. Девятого мая на застолье Николайпил минералку — «больше двадцати лет как завязал» — и тихо, словно самому себе, рассказывал молоденькой внештатной корреспондентке Люде о том, что главное в его жизни:

— В этом мое счастье...

— В одиночестве? — переспрашивала подвыпившая девушка.

— В улыбках...

— От улыбки станет всем светлей, что-то вроде этого?

— Каждому свое. Я вот нашел. И только этим и живу.

Люда не слушала бормотания старика, девушка пела:

— ... поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется...

Николай улыбался в ответ, подпевал:

— С голубого ручейка начинается река...

— Что за улыбки-то, — переспросил Семён, — а?..

— Да кто его знает?.. Он же все загадками говорил.

Я вообще так-то непьющим шибко не доверяю. Мутные они. Как в наше время и не пить? Вот объясни мне...

— Я не знаю, дядя Миша.

— Вот и я про то... Дети у него вроде были... Должны быть. Жену, знаю, похоронил давно, один он вроде, сколько себя помню. Я, и сколько лет-то ему, не знаю.

— Под семьдесят точно.

— Угу. — Секретарь расстроено покрутил пустую пластиковую бутылку из-под пива. — Помянуть надо.

Семён кивнул.

— Может, улыбки эти — существа какие-нибудь, там... животные домашние например...

— Ага, крысы.

309776

Журналистка Лиза, ведущая дамской странички, псевдолесбиянка, скрывающаяся под псевдонимом «Веро Тина», считала, что старик сторож коллекционировал улыбки.

— Что-то вроде хобби. В рекорды Гиннеса хотел попасть по части «самое большое количество собранных улыбок».

— Человеческих? — спросил Семён.

— Ну не собачьих же! — Девушка закатила к потолку глаза. — Как в лужу, Семён, ну правда...

— Что, собаки тоже улыбаются, питбули особенно...

Лиза пропустила это мимо ушей.

— Он как о живых об этих улыбках все время говорил. Бедный, несчастный, никому не нужный сторож... Ты бы, Сёмка, лучше б гроб помог нести, чем про улыбающихся псов рассказывать...

Теперь пришла очередь юноши молча закатывать глаза.

— Не за столом будет сказано, — подал голос задремавший после второй двухлитровки Кульков, — но мой покойный батя, знаете, какую часть женского тела так называл?..

— Улыбкой? — Лиза хрюкнула, залпом опрокидывая в себя стакан с выдохшимся пивом. — А то не знать, самое сокровенное, — и глубоко вздохнула, — любимое...

000245

Пообещал себе проверить билет на счастье дома, «надо воспитывать выдержку». Первые три останки паялился на сумерки, скользившие за пыльным трамвайным стеклом. Пару минут разглядывал выцарапанную надпись «Вадик гомогей» на соседней спинке сиденья.

До его остановки оставалось совсем чуть-чуть, поворот и один светофор, не сдержал слово, не вытерпел: «Вот всегда так», косым взглядом пробежал по цифрам.

— Черт, — вслух, и плевать что подумают: — Ну за что?!

Старик рядом покосился.

— Остановку профукал, сынок?

— Счастье! — огрызнулся и выскочил из трамвая.

Нервная дрожь и желание кричать во всю глотку.

Как всегда, как всегда!

— Семён!

Резкий голос мамы за спиной испугал.

— Черт!

— Не черт, а мама. — Женщина протянула сыну пакет с покупками. — Чего здесь?

Юноша молчал.

— На работе что-то?

— Не, просто...

— Похороны сторожа вашего когда?

— Завтра.

— Опять напьетесь!

— Не начинай, а!

Заглянул в пакет, сверху на связке зеленых бананов лежал автобусный билет.

— Счастливый?

— Не поняла.

— Билет.

— Говори нормально, какой билет?

Свободной рукой, затаив дыхание, вынул бумажный прямоугольник.

«Так, должно быть, первые христиане прикасались к Иисусовым следам».

— А, ты про это? Взрослый уже — верить в такое...

Семён промычал, в уме складывая цифры. Два, три, один и ноль плюс пять плюс один.

Остановился.

— Что?

Протянул маме билет, сказал:

— Твое счастье, возьми... Его надо съесть...

— Счастье? Давай уж лучше сам его ешь, я тебе это счастье дарю. Забирай, — она улыбнулась и закончила: — если бы все было так просто: съел билет и — счастлив. Если бы...

— Но, — Семён растерянно смотрел на мать, — это тебе выпало...

— Я делюсь им с тобой, только потом на живот не жалуйся, если запор будет. — Женщина хихикнула и пошла к дому.

Переминаясь с ноги на ногу, юноша поднес билет ко рту, «как на причастии», и откусил клочок, смочил слюной, пожевал безвкусный катышек, проглотил.

«Счастье есть».

И засунул билет в рот целиком.

«Только мать может поделиться своим счастьем с сыном». Окликнул:

— Ма, куда так быстро?!

— Жуй, жуй, пережевывай, — смеялась, — не хватало, чтоб ты еще моим счастьем подавился!

Семён послушно жевал, жевал и думал: «Сколько нужно съесть счастливых билетов, чтобы стать по-настоящему счастливым?»

Позже, разуваясь в узком коридоре однокомнатной квартиры, он скажет маме «спасибо» и добавит:

— У счастья вкус горьковатый какой-то...

— Тебе лучше знать, — ответит она.

140890

«Вынос тела — дурацкое словосочетание».

Семён стоял у входа в подъезд дома, где всю жизнь прожил Николай Иванович. Незнакомые мужчины молча курили на ступенях, на тротуаре стояли два табурета под гроб. Юноша поежился.

«И зачем согласился нести гроб, сучка Лизка, чтоб тебе...»

Через минуту подошел главный редактор Валентин Геннадьевич с женой Анной, она же информационный обозреватель газеты. Потом появился, как всегда, под градусом, Кульков.

— На кольце трамваи стоят, — проямлил и икнул.

— Зря я тебе аванс выписал. — Геннадьевич стрельнул бычком в сторону Михаила. — Тебя самого впору выносить.

— Гена, я чуть, помянуть...

Позвали наверх.

— Кто гроб несет? — спросила девушка в черном.

«Дочь» подумал Семён и огляделся.

Подоспевшая Лиза кашлянула в кулак.

— Дядя Миша в состоянии нестояния.

Компанию Семёну составили трое молчаливых мужчин.

В зале у гроба человек десять, не больше.

— Всех своих пережил, — вдруг сказал лысый мужчина, — бывает же такое.

Семён кивнул.

— Ты, малец, где ноги бери, удержишь?

Юноша снова кивнул.

— Вам первым идти, ногами вперед. Саквояж свой оставь.

Семён послушно положил барсетку на свободный стул.

— И чего Танька своими силами решила хоронить, — бурчал мужчина, — заказала бы ритуалку.

— Это вы про дочь?

— Соседка это его, — мотнул головой лысый в сторону девушки в черном, — видать, квартиру на нее переписал старый, вот и старается Танюха. Хлопочет. Дети у него умерли...

Мужчина кашлянул в кулак. Огляделся. Продолжил:

— Павел, старший, и Катерина, младшенькая, давно дело было... Иваныч тогда сильно пил и не доглядел по пьянке детишек, угорели они, а он выжил... После, как

подменили, пить бросил, чтоб забыться, сам, в одиночку, квартиру эту восстановил, а как ребятишек-то вернуть?... — Лысый замолчал, словно ожидая ответа.

Семён сглотнул.

— Никак.

— Вот именно, что никак. Хотел на себя руки наложить, да что-то остановило его. Про улыбки все какие-то бормотал...

Юноша и мужчина переглянулись.

— Может, помутнение какое, — предположил лысый и громко скомандовал: — Ну, взяли мужики!

Кто-то в зале тихо заплакал.

404003

Их Семя увидел случайно. Как не заметил раньше?.. Такие яркие, врезающиеся в глаза и сердце.

Выносили гроб из зала, и вдруг на белом крашеном косяке зарубки, окрашенные в разные цвета.

«Павлик — 3 года» — красная зарубка. «Катюша — 1,5 годика» — желтая, словно улыбка, отметина. Синяя, зеленая, фиолетовая, снова красная... Таращились с двух сторон дверного косяка радужные улыбки. Павлику уже семь, а Катерине двенадцать...

— Вот они, — произнес Семён, и екнуло сердце его. И душа стала большой, во всю тощую юношескую грудь.

«Господи! Вот же они! Вот!»

Казалось, да нет, так оно и было, случилось, он стал сильнее от понимания. Он знает. Он разгадал тайну старика сторожа, и знание изменило его. Гроб стал легче. Твердость в ногах и уверенность в шаге...

Семён увидел Ивановича, эдакого Робинзона Крузо на острове своего возмездия. Добровольного заточения. Расплаты. Увидел, как день за днем стареющий Николай делает зарубки на косяке. (А когда не останется места на косяке, ведущем из детской комнаты в зал, он будет вырезать зарубки — улыбки — на дверном проеме спальни, на кухонном косяке...) Он делает

их ножичком из конструктора Павла, подарок на Новый год, а раскрашивает фломастерами Кати, он купил их ей, когда она перешла в третий класс...

Это его улыбки. Их улыбки. Улыбки, которых он не увидел. Которых недосчитался. Потерянные улыбки...

Теперь он ведет им счет каждый день. И до последнего дня.

Семён увидел эти картинки так же четко и ясно, как видит теперь подъездную дверь, табуретки, впившиеся ножками в мягкую землю, когда на них поставили гроб. Видит небо над головой, такое огромное, как над затерянным, крохотным островом в океане...

«Все мы Робинзоны, и у каждого из нас свой личный остров».

Лиза с дядей Мишей что-то ему говорят, но он не слышит их, не видит лиц. Ни одного лица. Лиц нет. Только улыбки. Красочные. Друг на дружку не похоже. Разные. Кривые, сморщенные, радостные, печальные, злые... Улыбки.

Сёма улыбнулся.

— Какой у вас остров, дядя Миша? — спросил он вдруг. — Остров несостоявшегося гения? Или остров невезения?.. А у тебя, Лиза? Остров потерянной любви?..

Улыбки изменились. Еще мгновение — и они превратились бы в оскалы. Возможно, так и случилось, только Семён отвернулся.

Он грустно улыбался. Улыбка в гробу была на удивление довольной.

Хотя почему «на удивление», старик теперь там — со своими улыбками.

«Рай — это место улыбок. Место, где все улыбаются. Где нет места оскалам».

320121

Помянул старика киселем. Быстро со всеми попрощался. Всю дорогу почему-то бежал, казалось, подпрыгни — и улетишь. К солнцу. Улыбающемуся солнцу.

В трамвае сложил билет вдвое, вертел в руках до своей остановки, там выбросил истерзанную бумажку в урну. Дома первым делом поцеловал в уголок рта маму. Поцеловал в улыбку.

— Не буду спрашивать, как и что. Но явно прогресс налицо, — усмехнулась она. — Я тебе там, на столе, билетов всяких по карманам у себя насобирала, иди, глянь. Явно один, но счастливый. Твой.

Семён долго не отвечал.

«У нас с мамой тоже свой остров. Наш остров».

Наконец ответил:

— Да не надо было, мам. Счастье же не в этом. Сама знаешь...

Женщина хмыкнула.

— А в чем?..

Она смотрела на сына. Сын смотрел на нее. Посреди коридора, освещенного вечерним солнцем, они стояли друг напротив друга.

— В улыбках.

Мама улыбнулась.

— Это вот в таких что ли? — И тут же скривила улыбку. — Или вот в таких?..

Они засмеялись. Чего не делали вместе уже давно. Смеялись. Как в детстве.

А позже, после ужина, Сёма с закрытыми глазами вытащил из кучи маминых билетиков один и быстро, насколько мог, сложил цифры.

12332...

И не сдержал улыбку.



# ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

*Голосуй или проиграешь!*  
*Призыв*

- Город?
- Таллин.
- Таллин?!
- Ну...
- Че, бли, ну?! Лучше город не придумала?!
- А что?
- Что «что»?! Они нашего русского солдата, бронзового, памятник, бли, пилили и распилили. Она туда же. Таллин! Совсем, бли! Еще давай голосовать ей. Пойдем проголосуем, на выборы. Патриотка хренова. Стыдоба... Совсем Россию не уважает. Родину, бли... Таллин! Тюмень у меня.
- Да ладно...
- Че ладно?! Река?
- Тобол.
- Черт, мать, и у меня. Троечку ставь. Имя?
- Тимофей.
- Тамара. Ага. Фамилия?
- Тимошенко.
- Ты че, бли, специально, да?! Спецом мне назло?! Да?! Тимошенко, бли!
- Так что на ум пришло. На скорость же играем! Кто быстреей.
- Быстреей... Всех фашистов, бли, собрала. Все, эт раз доиграем — и баста. В гробу я эту игру с тобой видал. Добила, бли... Животное?
- Тигр.
- Подглядываешь, бли, что ли, не пойму? Кино давай!
- «Три тополя на Плющихе».
- Да пошла ты...

Николай Иванович смял тетрадный лист и демонстративно отшвырнул:

— Тридцать с хвостом лет в игру играем эту, бли, а все одно и то ж...

Галина Константиновна встала из-за кухонного стола. Спорить с мужем она сегодня не будет, для себя решила. Сказала:

— Уж кто из нас патриот, только не ты. Я с семи утра тебе про выборы талдычу. Про долг. Сегодня какое число? Ведь за три месяца красным число в календаре обвела. Вон, как кровью блестит...

— Скорей светофором. Стой, бли. Не ходи.

— Ты эт про что?

— Да про то. С умом голосовать надо. Не хрен собачий выбираем. Президента страны, бли.

— И я про то же.

Николай Иванович потянулся, зевнул:

— Валюшке звонила?

— А как же. С утра.

— И че, бли? Проголосовали?

— Сказала, попозже пойдут.

— Вот, бли, тоже, вся в мать, бли. Ее Димасик, поди, супружеский долг исполняет так же...

Галина Константиновна закричала:

— Ну они-то тебе что сделали? Сам с утра собраться не можешь! Долг ему... До седин дожил, а голосовать ни разу не ходил! Ни в жизни!

— Бли, зато другой долг исправно выполнял, бли. Не трынди.

Чета Кудреватых переглянулась. Он хохотнул. Она махнула рукой:

— Да ну тебя в пень.

Николай процедил любимое «бли-и-и», потянулся.

— Вот и ленишься потому, что тянешься за столом, — пожурила Галина, — всю жизнь так.

— Эх, голосуй или проиграешь. Надо гражданский долг родине отдать. Слышь? Я это, в окно глядел по-

утру, смотрю: Васюковы всем табором до избирательного гуськом топают. Бли, и собачки их, эти две плюгавые, рядом. Навстречу им, бли, значит, Пётр Самсонов с Тамаркой. Проголосовали уже и тоже, бли, со своим кобельком. Остановились, мол, так и так, слово за слово, и, видать, Васюковы не за того президента идут голосовать-то, тут и началось. Тамара еще та патриотка, одной массой, одной грудью задавит, бли, выпирающим авторитетом, мать. Пётр дохлый, руками машет, орет, за жену спрятался и оттуда кулаком грозит, бли. Васюков, сама знаешь, с него не убудет, он всегда за красных был, закалки еще той мужик, долго не думая — в бой. «За Родину! За Сталина!» И собаки туда же — вцепились. Лают, визжат. Кто кого перекричит, думаю, перелает — люди или собаки...

Николай резко замолчал. Будто задремал.

Галина подождала чуток, не вытерпела:

— И что дальше? Че притих?

Иванович, будто очнувшись:

— Бли, люди перегавкали собачонок.

— Подрались, что ли?

— Почти, — встал Николай Иванович. — И ты туда же, бли, Таллин... Че, городов на «т» больше не знаешь?

Встрепенулась Галина Константиновна:

— Почему это не знаю? Тюмень.

— Тюмень, бли, у меня была.

— Тэ-э-э, а что тебе Таллин не нравится?

— Тьфу, бли, — сплюнул муж, — русских там не любят.

— Нас нигде не любят.

— Правильно, бли, из-за таких, как ты. Патриоты хреновы — всю Россию просрали...

— А что сразу — мы просрали? А вы где были?

— Боролись с такими, как вы, бли, где еще...

— Боролись они, ты вон с утра на выборы...

— Да пойду, бли, сказал же! — рывкнул Николай, да так неожиданно, что Галина от испуга громко выпустила газы.

В кухне стало тихо. Кудреватых переглянулись и как один засмеялись в два горла.

— Напугал, черт лысый, — захлебывалась женщина.

— Да ты, никак, проголосовала уже. Отдала, бли, голос за своего президента, — задыхался мужчина, — вот, мать, как голосовать-то надо. И никаких избиркомов, бли...

Успокоились через полчаса.

— Сколько уже? Обедать, бли, пора. Хватит ржать, так и помереть недолго.

Галина, вытирая слезы с лица полотенцем:

— Водки никак не дождешься, а долг гражданский куда? Когда?

— Тебе-то чего волноваться? — Николай еле сдерживал смех. — Ты вон уже свой долг отдала, бли, и паспорт не понадобился. Сразу, без очереди твой голос учли. Сам президент... Уж проголосовала так проголосовала. По-нашенскому...

Успокоились еще через полчаса.

По очереди сходили в туалет. Умылись на кухне.

— Ты разогревай, на стол накрывай, а я нашим позвоню, проверю, — по-хозяйски scomандовал Николай.

Галина покорно накрывала на кухне, прислушиваясь к голосу мужа из коридора.

— ... ага, твоя мать проголосовала, как из пушки. Аж в Москве услышали и голос засчитали. Че вру-то, бли?! Испугались в столице, бли, как бы я еще не проголосовал. И нас за двоих посчитали, бли, и ходить никуда, без урн, без бланков всяких... Залпом... ба-бах! И мы свой долг исполнили... Не ходили еще?! Бли, Валя, вы что там?! Какая у него работа, выборы президента, бли, на шесть лет выбираем кормильца... Совсем, бли... Какой?! Гражданский, мать, долг! Сейчас же, говорю, бли! Без Димона что, никак, бли?! Не зли меня, дочка, лучше. Проголосуй, бли, потом все остальное... Судьба страны, бли, решается, а она стирает! Все, шуруй, я вечером позвоню, проверю! Вот, бли...

И, входя на кухню:

— Вся в тебя, бли, никакой ответственности...

— Не надо вот это! — Галина поставила на стол салатницу с винегретом. — Это у нее от тебя. Упрямая, как баран, вот это от тебя точно.

Пропустив последнюю реплику мимо ушей, Николай продолжил:

— Еще не проголосовали, бли, четвертый час, день, бли...

— Проголосуют, не переживай. — Галина достала из холодильника запотевшую бутылку «Столичной».

— Вот из-за таких, бли, так и живем хреново. Скажи же?

— Это долг каждого — проголосовать, я так считаю. Ведь жизнь свою дальнейшую выбираем. Жизнь наших детей, внуков...

— Во-во, бли... Некогда ей голосовать идти. Стирает, бли... И муженек ее туда же, на работе. Я хренею от вашей семейки, бли... Потом плачем, почему цены растут, а прожиточный минимум шиш! Да все потому же. За вас уже проголосовали, бли. Просрали свой голос. Россию...

— Не за столом, Коль...

— Бли... Накладывай уже, я налью. Зла на них не хватает.

Первая рюмка. Первый тост.

— За честные выборы!

Выпили.

Между первой и второй... Второй тост.

— За гражданский долг!

Отварная картошка с куриной поджаркой, винегрет, тут и третий тост созрел.

— Третью, как всегда, стоя, за любовь, с левой руки. — Николай приподнялся. — За любовь к Родине!

И, не дожидаясь, пока встанет жена, выпил.

Захмелевшие пенсионеры оставшуюся водку допили молча. После приняли решение вздремнуть часок.

Так и поступили, чтобы потом с новыми, свежими силами свершить марш-бросок до избирательного участка.

Легли в зале на разобранном диване. Галина Константиновна, как всегда, легла у стены, и снилось ей детство: родные алтайские степи, мама с отцом, дом, кладбище. Николаю Ивановичу, на краю, снилось, как его принимают в Кремле, и как президент поит его самым дорогим коньяком. Он щедр, президент, подливает и подливает Николаю, и кажется пенсионеру, этому чуду не будет конца...

Проснулся злой. Матюгнулся. Разбудил Галину.

— С президентом сейчас пил, — сказал довольно, но печально и отрыгнул тем самым коньяком. — Хорош, бли, глава государства, вот за кого голосовать надо.

Спросонья Галина не сразу поняла, о чем речь, поэтому, соглашаясь, промычала.

— Я, главное, бли, в костюме, в котором женились, ага, и президент в таком же. Еды... Икра, осетрина... Он мне коньяка наливает, а я и не отказываюсь.

— Хе, — отошла ото сна Галина, — ты бы еще и отказывался.

— А он, президент, бли, мне и говорит, ласково так, по-свойски: «Вот за меня, Коленька, и проголосуй».

— И?

— Я и проголосовал.

— И?

— И проснулся, бли...

— Вещий сон, Николай, ну хоть проголосовать успел.

— Расстроился я, бли, жуть. Наверняка давление подскочило. Сердце не железное, и не мальчик уже. Седьмой десяток.

— Так приляг.

— Знаю без тебя, бли. Настойки, может? В честь выборов?

— Не настоялась еще.

— Маленько попробовать. На травах все ж.

Галина Константиновна не спорит, переживает:

— Ты только не волнуйся.

— Наливай уже... И Валентине позвони, узнай, бли...

После настойки на травах и на спирту полегчало Николаю Ивановичу. Еще больше захорошело, когда жена сообщила, что дочка с мужем проголосовали.

— За того хоть проголосовали?

— Того самого, — был ответ.

После еще нескольких глотков крепкой настойки потянуло пенсионера к соседу узнать, исполнил тот свой гражданский долг или... Только жена не пустила. Предложила:

— Может, в города сыграем? Город, река, имя, фамилия? А? Поздно уже, десятый час...

Разморенный, словно топленое сало, Николай Иванович, все еще пребывая в президентских объятиях, не смог отказать.

Нарвали листов в линейку, достали ручки, расположились на кухне.

— Давай, тыкай пальцем в газету, на какую букву играть будем?

Жена послушно ткнула:

— Буква «хе».

Муж скомандовал:

— «Хе» так «хе». Поехали.

Утром сосед по лестничной площадке сам пришел навестить семью Кудреватых, поинтересоваться, за кого они проголосовали, ну и похмелиться, конечно. У Ивановича всегда была заначка, знал сосед Гриша с шестой квартиры.

Мрачнее мартовского неба были лица пенсионеров. Когда же испуганный Гриша спросил: «Что, соседи, ходили на выборы президента? Проголосовали или как?» — Николай с Галиной переглянулись. Пенсионер Иванович, пряча улыбку в кулак, пропищал:

— А как же, это наш гражданский долг, бли...

Жена хихикнула:

— Проголосовали, ага...

Выглянуло наконец долгожданное солнце, освещая полумрак кухни. Николай достал оставшуюся настойку, сел, громко поставил бутылку на кухонный стол:

— А ты, Григорий?

— Что?

— Выполнил свой долг?

Сосед опрометчиво махнул рукой:

— Какой там долг?! Всё без нас уже решили. Кого надо — выбрали.

Николай привстал. Галина прикусила нижнюю губу.

Тут все и началось...



## КИТАЙСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА

Понедельник — день большой стирки. Каждый понедельник из недели в неделю... Вот уже тринадцать лет подряд без намека и мысли на дезертирство. Встать в семь, накормить всех, мужа проводить на работу, сына в школу. К девяти загрузить стиральную машину и, пока белье плещется и отжимается, быстренько прибраться и начинать готовить ужин...

Так было с тех пор, как появился на свет сын Гриша. Так было и две недели назад, пока она не нашла в ранце сына коробку с разноцветными деревянными палочками:

— Что это, Гринь?..

— Китайская головоломка, — ответил мальчик, — на 23-е девчонки всем пацанам в классе подарили.

— И что, разобрать разобрал, а собрать не можешь? — ухмыльнулась мать, разглядывая радужный подарок.

— А ты сама попробуй... Эти китайцы сами не поняли, что придумали...

— А давай поспорим, что соберу?! — женщина протянула сыну руку.

— На скейт, — сжал ладонь матери Григорий.

— Порукам. Папа! — громкопозвала Людмила мужа. — Иди, разбей нам...

— Да, разбей, папа, — довольно говорил сын, теребя руку матери, — мама скейт мне купит.

Женщина лукаво улыбалась:

— Проиграешь же... Месяц посуду мыть будешь...

— Еще посмотрим, — щерился мальчик, — еще посмотрим.

— Разбивай.

Теперь третий понедельник. День большой стирки. Белье, скопившееся за две недели, лежит в битком

забитых тазиках и на полу в ванной. Посуда в раковине горой. Немытый пол. И на запыленном экране плазменного телевизора отпечатки ладоней домочадцев...

Раньше Люда могла позволить себе стакан вина в обед или баночку пива во время уборки. Украшение полного заботы и дел дня. Маленькое, невинное удовольствие всех домохозяек. Теперь, вот уже третью неделю, Людмила начинает день стаканом пива:

— Без бутылки здесь не разберешься, — чисто по-русски решает она, снова и снова примеряя детали китайской головоломки друг к другу.

Сорок семь палочек с отверстиями при удачном сочетании должны, если верить рисунку на коробке, сложиться в кристаллическую решетку. Кубик Рубика made in China. Только вот у Люды никак не получалось собрать эту головоломку:

— Черт ногу сломит. Правильно назвали — головоломка, — жаловалась она первые дни мужу. Анатолий улыбался:

— Есть чем теперь отвлечься...

— Ага, не было печали, и без этого дел по горло...

— Настало время отдохнуть от домашних забот...

— Отдохнуть, как же... Налей мне сухого...

Уроки с сыном она больше не делала:

— Не могу сосредоточиться, — отвечала, — вся голова только этими палочками забита...

— Хотя бы по русскому, — хныкал Гриша, — краткие прилагательные...

— Что, уже сам не можешь? — срывалась. — Или что, хочешь, чтоб я проиграла, да?! А вот фигушки. Сам иди думай свой русский. Я занята. Не до вас... спор есть спор... На десятый день Люда поняла. По частям собрать головоломку не получится.

Она должна собраться целиком. Сразу. Иначе развалится. А еще она поймала себя на мысли, что готовка еды ее очень отвлекает, больше чем уборка и стирка:

— Купи пельменей и вареников. Лапшу, китайскую, чтоб этим узкоглазым пусто было, — наставляла мужа, — полуфабрикатов там всяких.

— И как долго нам этими химикатами питаться прикажешь?..

Она не смотрела ему в глаза. «Не до него. Не до выяснений отношений. Не до них. Пока».

— Люд?..

— Ой, дайте мне хоть раз заняться тем, чем я по-настоящему хочу заниматься! — вскакивала, вскрикивала женщина. — Без всех этих ваших глажек, стирок, готовок — вот соберу эту хрень, и все будет по-вашему. Как раньше! Только оставьте меня в покое!

Хлопали двери. Собиралась в углах квартиры в шарики пыль...

Анатолий купил и приготовил в тот день пельмени. Пельмени разварились и были больше похожи на кашу с кусочками спрессованного мяса. Гриша ел, давился. Люда есть отказалась. Она сидела с двухлитровой бутылкой пива и гипнотизировала рассыпные деревяшки на кровати в спальне, куда вход всем строго был запрещен. Муж сегодня снова, как и вчера, и позавчера, будет спать в зале.

Двойка по русскому и двойка по алгебре совершенно не взволновали, как расстроили бы раньше, женщину:

— Пусть папа лучше уроки проверяет, — сказала, — я должна от всего освободиться. От этой вашей суеты... И тогда смогу постичь суть этой игры. Это не просто головоломка. Я поняла. Это целый мир. Вся жизнь. Концентрат жизни. Китайская философия... — размышляла она вслух сама с собой:

— Без жертвы собрать ее не получится. Надо от чего-то отказаться... Может, и от всего. Чтобы приобрести... Познать... Собрать...

Гриша давно пожалел о споре с мамой. Он уже и не мечтал, и даже не думал о скейте: «К черту скейт, только бы мама пришла в себя. Стала такой как раньше. До головоломки...»

Забываться помогало пиво после вина. Пиво она пила, не разбирая названия и градус. Захмелев, возмущалась бардаку вокруг, начинала убираться. Ходила по квартире, из комнаты в комнату, собирала разбросанные вещи мужчин, бубнила что-то под нос, плакала... Клялась, что с завтрашнего дня все вернется на круги своя... Никаких китайских кубиков-рубиков... Так и засыпала... А утро начинала с кружки пива — упаси господь, если Анатолий с вечера не купил бутылочку — и с красной полоски головолмки. Потому что красный — ее любимый цвет. Цвет крови. Истины. С него все начинается, и им все заканчивается.

— Может, хватит уже?! Этот цирк! Просто кошмар какой-то! Ты если не сойдешь с ума, то точно станешь алкоголичкой!

Голос мужа прозвучал в голове громовым раскатом. Сидели на кухне. Людмила проигнорировала мужа.

Анатолий продолжал:

— Ты уже месяц как не в себе. Как одержимая. Ау, очнись. Домом кто будет заниматься?..

«Молчи, молчи, молчи», — говорила себе, но не сдержалась:

— А обо мне! Обо мне кто-нибудь подумал?! Столько лет только домом и занимаюсь! На себя уже хер положила. День и ночь только и знаю — уборка, стирка, варка... И что? Ну затянула меня эта побрякушка, и что? Свет клином сошелся? Что?.. Ну поели пару дней пельмени, ну скопилось в ванной белья немножко...

— Пельменей?! Немножко?!

— Да, а что?..

— А то, что Гриша на двойки скатился. В школу вызывают...

— А отец на что?! Почему везде и всюду я?!

— Не дружу я с русским языком, непонятно что ли?..

— А русский тут при чём?!

— Забыли, — словно защищаясь, мужчина вытянул перед собой руки. — А сколько ты пить стала?

- Это участь всех домохозяек.
  - Это алкоголизм.
  - Пусть так.
  - Давай я выброшу эту китайскую хрень к чертям собачьим, и будем жить как раньше?!
  - Может, я не хочу как раньше?! Не хочу! Мне как сейчас нравится!
  - Да?!
  - Да...
  - О нас, конечно, ты подумала?! Думаешь, нам нравится? Нам приятно на все это смотреть?!
  - Кому это нам?..
  - Ты угадай...
  - И на что «на это»? Это ты меня «это» назвал?..
  - Ты когда в ванной последний раз была?..
  - Это о чем ты? — женщина налила себе еще стакан пива.
  - Без пива уже никак?..
  - Я же не спрашиваю, где ты до часу ночи пропадаешь?..
  - Работаю! — крикнул мужчина.
  - И не хрен орать, я тоже не балду пинаю...
  - Конечно, головоломку собираешь... Поесть и помыться некогда...
- Она выпила залпом пиво:
- Мы поспорили, ты забыл?.. Сам нам руки разбивал...
- Анатолий выдохнул со стоном:
- И уже тысячу раз пожалел об этом... Люд...
- Подошел к жене, обнял. Она не сопротивлялась, только потянулась к бутылке пива на столе...
- Давай кончать с этим спором... Это уже перебор...
  - Но я почти у цели... Еще денек... Здесь главное — постичь суть этой головоломки. Цель не столько собрать, сколько понять, зачем тебе это надо...
- Мужчина отстранился, а ведь собирался поцеловать в шею:
- Только денек?..
  - Денек.

— Давай еще день — и хватит. Это не жизнь, — снова прижал ее к себе.

— Не жизнь, — повторила Людмила и налила еще стакан пива.

«Я выиграю. Я соберу. Я смогу...»

Приснилось, она собрала головоломку. Вот она лежит на ее ладони, такая сверкающая всеми цветами радуги... Такая целая. Полная смысла. Вмещающая в себя весь мир. Всю вселенную...

А что ей осталось?! Ей, 35-летней женщине? Что ей? Ничего? Все закончилось. Все кончалось! Без цели. Пустота. Без смысла...

Проснулась с чувством тревоги. С разрывающим нутро чувством потери. И невозможно понять, откуда это пришло и что потеряно... В квартире пусто. Никого.

Все ушли... Она одна. Теперь она никого не собирает, никого не провожает, никому не готовит и никого не целует... Все осталось там, где-то позади... Во времени до головоломки...

Посмотрела на половину кровати, где вместо мужа вот уже месяц разбросанные цветные деревяшки...

Люда поднялась, села. В голове пустота. В квартире то же самое...

«Пустота».

Сгребла детали головоломки в кучу.

Ни мысли...

Из красных деревяшек сложила слово «дом». Из зеленых — «Гриша». Синие и желтые сложились в «Анатолый» и в слово «любовь». На свое имя палочек не хватило:

— Вот так. Всегда чего-то да не хватает, — произнесла, — нескладушка, головоломка...

В это самое время Григорий полез в ранец за ручкой, начинался урок русского языка. А вместо ручки на дне портфеля нашел недостающую деталь китайской головоломки. Красная деревяшка с отверстием посередине восклицательным знаком лежала на ладони мальчика. Гриша сжал кулак.

Анатолий составлял список — «чтоб ничего не забыть» — покупок, когда сотовый зазвонил любимой мелодией жены, которую он не слышал почти целую вечность. Он не поверил глазам, увидев на загоревшемся экране телефона волшебное, такое дорогое слово — «любимая».

— Да, — боясь спугнуть чудо, тихо произнес он, затаив дыхание. И через мгновение услышал:

— Я собрала!



## СТАРИК И РАДИО БОГА

Вспомнилось вдруг старику, как на свое семидесятипятилетие отыскал это радио в ящике для инструментов. Когда была жива жена Галя, она в нем хранила картошку со свеклой да морковь с репой. Галя оставила старика, еще когда он не был стариком. Старик помнит этот ужасный год. Дети, Ксюша и Витя, обвинили во всем отца и оставили одного в доме. Потом продали дом, купили ему однокомнатную квартиру на третьем этаже и оставили вместе с ящиком доживать свои дни.

Соседи жалели старика, изредка навещал Василий с первой квартиры, еще реже Павел Петрович, бывший председатель колхоза «Красная заря» — так он всегда всем представлялся и повторял это в разговоре по несколько раз.

Дети звонили. Иногда. Под веселое настроение. А со временем лишь поздравляли с Новым годом.

На семидесятипятилетие пришла только Валентина, худая и болезненная болтунья из соцслужбы:

— Дочка ваша, Геннадий Николаич, звонила, сказала: мол, так и так, они все в разъездах, занесите отцу пирог. Поздравьте от нас.

Старик держал коробку с вафельным тортом, который он терпеть не мог еще с детства, и молча кивал в такт ее трели.

Она продолжала:

— Сказала, чтобы я к вам и по выходным приходила. Супчик-то вы себе какой варите? Чего молчите? Видала давеча, клейстер какой. Макарошки эти, когда вода закипит, потом их только бросать надо и мешать часто, чтоб не разварились, а то как, эт даж собака такое есть не будет.

Он вздыхал и кивал.

Торт, как Валя-болтушка ушла, отправился в мусорное ведро.

«С днем рождения, старик», — тикали часы на кухне.

«С днем рождения», — закипая, свистел чайник на плите.

Старик махнул рукой, и что-то потянуло к старому ящику, словно там все еще остался запах прошлого: Галиных духов, детской пудры — ребятишкам вечно что-то да припудривала мать...

Стоя на коленях, в углу сундука он и обнаружил радио.

Достал, повертел в руках. Маленькое, с две ладони, грязно-желтое, с кнопкой включения, роликом настройки и громкости.

— На батарейках, ёк макарёк, — выругался старик, привстал, болью отдало в спине, громко хрустнули колени. — У-у-у, — взвыл, ухватился за ящик: переломится — так и дело с концом.

Отдышался. Радио больно вдавилось в ладонь.

— Подъем, старик! — приказал себе.

Приемник в ладони зашипел резко, негромко, и заиграла музыка.

Старик улыбнулся беззубой улыбкой:

— Вот так подарок.

Теперь вот уже третий год как они с радио разговаривают.

— Беседуем, — так объясняет старик.

К примеру, спросит старик приемник:

— Как дела, батареечный?

И ждет, пока в массе музыки и передач не прозвучит ответ. Радио отвечало всегда. Или диктор ласково ответит ему: «Все у нас сегодня просто замечательно». Или же в песне какой промелькнет: «Хорошо, все будет хорошо».

Радуется старик и снова спрашивает.

— Погода-то нынче — вон как выюжит. Настроение как твое? Есть еще порох в пороховницах?

И ласково так его называет: приемничек.

Про радио Бога он услышал от бабушки, Царствие ей небесное. Старик помнит: чуть что, так бабуля сразу это радио Бога вспоминала: «Да радио Бога не трогай это, внучек». Или: «Забирай уже радио Бога». Или вот: «Не шали ты, радио Бога». А еще: «Говори, радио Бога»; «Послушай, радио Бога».

Подрастая, он узнал, что такое радио, и про Бога узнал.

Радио — некий посредник между Богом и человеком, думал он тогда, давным-давно. Сейчас он в этом убедился.

У приемничка не было названия. Старик осмотрел его со всех сторон, и батареи вытаскивал, и с лупой просмотрел каждый миллиметр. Никаких опознавательных знаков.

Вот и назвал его по-бабушкиному: радио Бога.

Для Валентины покупка долгоиграющих, как говорил старик, батареек стала проблемой:

— Они такие все дорогие, Геннадий Николаич. Жуть просто. Эти, с зайцами которые, как двести граммов колбасы, стоят.

— Мне они нужнее колбасы, я с радио разговариваю.

Охает женщина, руками машет:

— Рассказывала же я вам про еще одну мою клиентку, бабу Шуру. Помните?

Не помнил старик, молчал.

— Она тоже одна, как и вы. Дети бросили, хорошо хоть платят пока, а так в богадельню собирались отправлять, да передумали что-то. Так вот, она стала по телефону незнакомым людям звонить. Наберет какой номер из головы, какие цифры выдумаются, и разговор начинает. Здравается, представляется: мол, так и так, баба Шура вам звонит. Спрашивает, с кем разговаривает, и все такое... Бывает, и дружбу заводит, а с кем и часами потом разговаривает. И по более часу, и весь день проговорить может... Так от одиночества и лечится. И никаких батареек. Вот и вам надо попро-

бовать. Все меньше растрат будет. Телевизор вон у вас, сколько лет уже не включали?.. А там, между прочим, такие страсти, — она закатила глаза к потолку, — такой форс-мажор. Поглядите, поглядите. Но сперва позвоните кому-нибудь, вдруг кто откликнется, заговорит, вы и подружитесь, болтать будете потом и про радио свое с батареями забудете.

— Но батареек десять ты мне, Валюш, к субботе все ж возьми, у меня и пенсия как раз, — тихо говорит старик и еще тише: — Да и двадцать можно.

Взмахивает костлявыми руками женщина, охает-ахает, прощается, уходит.

Старик включает радио:

— Вот дура-баба.

Радио отвечает. Соглашается.

Попробовать позвонить на незнакомый номер решил даже не из любопытства — Валя-болтушка допекла. Каждый свой визит: «Звонили кому, Геннадий Николаич? Почему нет? Давайте вот при мне звоните...» Старик пообещал.

Старик набрал наугад первые пришедшие в голову цифры. На том конце провода раздалась долгая гудка вызова.

— Старый дурак, дуру-бабу послушался, — ругал себя вслух.

Щелчок — и голос, металлический, женский, неживой: «Вы позвонили в единую службу госконтроля...»

Старик положил трубку.

— Еще раз — и все.

Во второй раз трубку не взяли.

— Бог любит троицу, — решил старик.

Ответил детский голос:

— Алё.

Сердце старика подпрыгнуло к горлу.

— Ксюша? — голос дрожит.

— Нет, — дразнящий голосок.

— Витенька? — слезы защипали глаза.

— Угадай! Угадай! — в трубке весело захохотало.

— Кто там еще, Владик?! — донесся мужской голос.  
— Не балуйся с телефоном, кому сказал!

— Ладно. Пока, — ответил Владик из другого мира, и на старика обрушились пулеметной очередью гудки.

Подстреленный, старик отпустил трубку. Заплакал. Громко. Завыл. Перебивая радио.

В следующий раз старик заказал, как отрезал, двадцать долгоиграющих батареек.

Он не сразу понял, что сквозь голос диктора, передающего новости, или между строчками песни он явно слышит обрывки чьей-то речи. Слышит голоса. Повертел волну. Белый шум, не более. Вернулся на нужную волну. Радио Бога ловило только эту станцию. Ранним утром, после четырех, голоса слышались четче. Старик прислушивался.

— Как есть голоса, — убеждался каждую ночь.

Он услышал слово «не бойся». И слово «старик» услышал. «Жди», «верь», «передай», «иди»...

Старик записывал слова в старой тетрадке жены с кулинарными рецептами и желтыми страницами: «день за днем», «сила», «слушай звезды», «скоро», «радость», «дети», «возвращение»...

Как-то перед рассветом услышал имя «Галина». Прибавил на полную мощность звук. Слова часто повторялись. И это повторилось. Старик соскочил со стула. Стул бабахнул об пол кухни оглушительным взрывом.

— Галя. Галина...

Радио Бога на столе затрещало, заиграла музыка. Было ровно шесть часов утра.

— Это голоса мертвых или живых?! — спросила Валья-болтушка. — Че-т не пойму я вас, Геннадий Николаич.

Сидели за столом перед радио. Старик пил черный чай. Валентина с собой всегда приносила смесь неизвестного содержания для очищения организма.

— Голоса звезд, — пробурчал он.

Женщина по привычке закатила глаза и взмахнула руками:

— С космосом общаетесь, что ль?! С этими, как их там, забываю это слово, непризносимое такое?..

— Инопланетяне?

— Вот, оно самое, инплатаияни. Думаете, они в вашем радио того?..

Старик отхлебнул горячий напиток.

— Ой, — вскрикнула неожиданно она, — они что, по-русски говорят, что ли?

Радио Бога ответило за старика.

«Вероятно, да, — говорил диктор, — именно этот язык и выбрали исполнители для своего выступления на смотре „Евровидения“ в две тысячи пятнадцатом году».

Старику, как он начал записывать голоса из радио, стало сниться прошлое: живая Галя, любимые дети. Порой сны были такими яркими и живыми, что старик еще долго ощущал присутствие того, минувшего...

И сегодня проснулся, сел в кровати с уверенностью, что рядом лежит Галина, всегда околдовывавшая его запахом своих волос. А за стеной ребятишки уже проснулись и, чтобы не разбудить родителей, тихо рисуют в альбомах карандашами. Ксения рисует русалочку, а Витя слонов. Он их обожает. Половина детской комнаты — в слонах: плюшевые, керамические, бумажные...

Старик даже слышит, как дети перешептываются, хихикают. Он нагибается за тапками и понимает, что это был сон. А ведь ночью он именно это слово и услышал: «слон». Или это было слово «сон»?..

Старик не может разогнуться, в груди хрустнуло. Сдавilo. Словно грудная клетка прилипла к спине. Старик коснулся ладонями холодного пола и позвал жену:

— Галя.

Тишина убивает, когда она беззвучна. Мертва. Старик всегда боялся тишины. Оттого и говорил сам с собой, и громко шаркал шлепками, и кашлял, и гремел посудой...

Он не вспомнил, как оказался на полу возле кровати. Сейчас его тревожило одно — тишина в квартире. И почему молчит радио?

На улице темень. Внутри словно изжогой выжжено в груди и горле...

На карачках старик пополз к кухне.

Радио Бога молчало.

Вскарабкался на стул, взял приемничек в руки, покрутил настройку. Ни звука.

Все так же в темноте — он давно привык жить вслепую — вытащил батарейки, вставил новые.

— Ну же, хоть ты не оставляй меня, — взмолился, — одного не оставляй. Ради Бога. Ради Бога!..

А в груди жар, в груди боль. Старик знает, что надо хотя бы принять корвалол, но как ненормальный крутит колесико настройки, и слезы горячие разрезают лицо глубже морщин и иссыхают. Огонь заполняет все тело. Огонь вырывается и проглатывает маленькую кухню старика.

Огненное дыхание. Огонь в глазах и перед глазами...

Это конец. Это долгожданный ад.

Радио Бога умерло.

— Приемничек, — смиренно шепчет старик, — маленький одинокий приемничек...

Ему бы дотянуться до аптечки, там столько таблеток и капель от сердца. Только старик достает с полки из укромного места одну свечу. Свечу с тех времен, из того далекого прошлого, когда в их доме во время штормов часто отключали свет. Они всей семьей любили это время. Собирались в зале, и бабуля рассказывала, как они с дедом жили. За окном выл ветер, бросаясь в окна соленым дождем и листьями, а у них на столе горели свечи, отражаясь в зеркалах на стене.

«Как в сказке, во дворце», — шептались дети.

«Мы и живем с вами во дворце», — обнимал он жену.

Старик зажег свечу. И пошаркал в спальню. Огонь шел рядом. Огонь лег с ним в кровать. Окружил. Ста-

рик поставил на грудь радио Бога, сверху, накапав горячего воска, прикрепил свечу.

Тишина и огонь здесь правят бал.

Старик смотрел на свечу, как бьется пламя. Огонь пожирал его...

Старик закрыл глаза. Ему казалось, он видит свет, обещанный свет в конце тоннеля, как вдруг в огненной тьме услышал треск.

Сначала это был треск догоревшей свечи. Следом треск приемничка.

Старик не открывал глаз. Боялся.

На том свете, быть может, тоже есть свои радиоприемники...

А потом он услышал голос. Знакомый голос.

«Папа» — вот что это было за слово. Первое слово. Потом было море слов. Море голосов.

Голоса. Они звали его. Говорили с ним. Кричали! Прощали! Возвращали!

В субботу утром, после долгих звонков в дверь, Валентина, окончательно выведенная из себя, открыла дверь старика своим ключом.

— Знаете что, Геннадий Николаич, у меня, между прочим, выходной, а таких, как вы...

Старика не было в спальне. Она заглянула в ванную и туалет.

— Геннадий Николаевич, где вы?!

Испуганная, она прошла на кухню. На столе лежала записка для нее: «Батареек больше не надо. Спасибо за все. Удачи Вам, Валя. Ваш Геннадий Николаич».

Женщина закатила глаза, взмахнула руками, шумно опустилась на стул.

Она произнесла громко, словно пытаюсь поверить, убедиться в правильном понимании слов:

— Батареек больше не надо!

На кухонном столе — рассыпанные батарейки, штук десять, и нераспакованный комплект новых.

Радио не было.

## КОШАЧЬЯ КОСТОЧКА

У кошки не было ни одного белого пятнышка. Сплошная чернота. Язык — и тот черный лоскуток. Только глаза в темноте блестели фосфорно-зеленым.

Кличка кошки была Легион, потому что кличек у нее было много. Например, баба Зоя, завсегда тайница центральной скамейки, звала кошку Зинкой, в честь золовки-покойницы.

— Уж больно похожа, та тоже чернявая была по молодости, а гулящая...

Дети во дворе, рядом со школой, обзывали по-разному, чаще — Ведьмой, Бабайкой, Горгоной, Жопой. Реже — Вороной, Кляксой, Ночкой.

Кошка не отзывалась ни на одну кличку. И старалась держаться подальше от людей, детей в особенности. Нет в мире кошек тирана жестче мальчишки с палкой и веревкой...

В это утро баба Зоя в начале восьмого уже была на своем посту. Она приходит сюда каждый божий день, ждет пропавшего двадцать лет назад сына.

— Он обязательно приедет и заберет меня к себе, — рассказывает старухам-подругам Зоя, — обещал, как устроится, так сразу. Буду с внуками нянчиться...

Прошли годы, у Зои развился Альцгеймер, но про сына не забывала. Могла выйти до магазина в домашних тапочках, забыть, кто сейчас президент и какой год, но на скамейку приходила как по часам, не пропуская ни одного дня...

К девяти часам к школе тянулась вереница из школьников, родителей и учителей. От автобусной остановки, мимо центральной лавочки — к двухэтажной средней общеобразовательной школе № 21.

Завуч старших классов Нелли Васильевна Гиреева с утра на телефоне. Нервы на пределе, а все из-за раннего звонка от неизвестного.

— Взятчица, — сказал голос, — ты попалась.

Нелли Васильевна вскрикнула:

— Да что вы себе позволяете?!

Ответом были пронзительные гудки в ухо.

Сегодня впервые за много лет работы она опаздывала. Из автобуса почти бегом — к школе. Ничто, казалось, и никто не в силах ее остановить в достижении намеченной цели. Цель ее — кабинет, где она решит вопрос с анонимным звонком.

Но черная кошка перебежала дорогу, и женщина встала буквально по стойке смирно.

— Вот дрянь!

«Не к добру все это», — подумала Нелли.

Рядом оказался ученик 9 «Б» рыжий, долговязый Коля Блаватский.

По другую сторону дороги пара стариков, держащихся друг за дружку, и молодая девушка с пузатым пакетом в руках.

— Мне отмщение, и аз воздам, — прокричала баба Зоя со скамейки.

Патологически худая, с выпученными глазами под толстыми линзами очков, завуч дернулась всем телом. Будь она одна, подальше от любопытных глаз, она бы грязно ругнулась, закричала зубами и вырвала клоч жиденьких волос с головы, но Нелли не одна, и все, что смогла сделать, это выдавить из себя:

— Ну, неужели мы, взрослые люди, верим в такие суеверия?..

Старики Кудряшевы совершали свое ежеутреннее паломничество до «дального», как они называли, продуктового магазина.

— Там сыр плавленый на три рубля дешевле, чем в нашем «ближнем», — ворчала Клавдия Кудряшева.

Дед Фёдор с женой всегда соглашался. Скажет бабка — «пей, дед, водку», Фёдор пьет, скажет — «не пей» — не пьет. Со свадьбы так у них повелось.

Переглянулись старики.

— Давай, плюй через левое плечо три раза, — командовала Клавдия.

Дед подчинился. Дружно поплевали. Бабка перекрестилась.

— Ты спешишь, ты и иди, чего как вкопанная встала? — пробурчал дед. — Мы не торопимся.

— Не торопимся, — поддержала Клава, — наш сыр никто кроме нас и не берет. Обождем. Нам черная напасть незачем, и без того бед хватает.

— Двадцать первый век! Верить, что черная кошка приносит несчастья. — Голос завуча дрожал, дрожала каждая клетка тощего тела. — У меня важное дело, и мне не хочется, чтобы получилось так, что оно из-за какого-то нелепого суеверия...

Коля хохотнул и сплюнул. Васильевна строго взглянула на ученика из-под очков.

— Ты опоздал, между прочим, Блаватский. — Демонстративно посмотрела на часы, показала циферблат мальчишке. — Девять ноль пять, у тебя первый урок начался.

— А что вы ко мне, Нелли Васильевна, пристали?! Я ребенок, если что, и мне страшно может быть. Бабушка рассказывала, как у них целая семья в деревне вымерла, после того как им дорогу кошка черная перебежала. Так-то. А вы меня на смерть, получается, толкаете?!

— Ну, надо же, на смерть его толкаю, как же... Ребенка. Бабушкиных сказок наслушался. Тебе в армию скоро, Родину защищать, а ты кошки испугался, поверья какого-то...

— Не знаю как вы, а я верю в проклятья. В черных кошек ведьмы превращаются. — Коля отвернулся, делая вид, что кашляет, сам же еле сдерживал смех, зажав рот ладонью.

Девушка с пакетом, из которого торчала сменная одежда, попятилась.

— Это знак, — шептала она, истерично моргая заплаканными глазами и шмыгая красным носом, — знак, я не должна так поступать, не должна. Это неправильно...

— Аз воздам, — подала голос Зоя.

— Смотри, как бы припадок не случился, — сказала завуч девушке, — чего испугалась-то? И что за молодежь пошла трусливая?!

Баба Клава попыталась взять девушку под локоть, но из пакета выпала скомканная простыня в голубой цветочек, и это стало сигналом к действию. Девушка развернулась и побежала прочь от дороги. Назад, откуда пришла.

— Вы белье потеряли! — закричал Коля ей вслед. — Новое, — окончил тише, — чистое.

— Сумасошлывсе, что ли?! Что за утро ненормальное. — Васильевна достала телефон. В этот момент из ниоткуда появился велосипедист. Проехал мимо них, широко улыбаясь, из его наушников доносилось бешеное гремяхание басов. И снова пропал в неизвестности.

— Все, граница нарушена, — убрала телефон назад завуч, — давай, Блаватский, бегом на урок. Потом ко мне зайдешь, я тебе тет-а-тет объясню политику партии.

— Не, это не считается. Тот, кто не видел, как перебежала кошка, на того это не действует, — протараторил мальчик, — только один из нас может взять несчастье на себя...

— Так, все, хватит чушь нести! — повысила голос женщина. — Тебе самому не стыдно такую ересь говорить?! Взрослый, с девочками гуляешь, а такую ахинею городишь!..

Старики молча наблюдали за перепалкой.

— Ты мой урок сделал на сегодня?

— Биологию, что ли?

— Нет, физкультуру! Давай рассказывай, что выучил?

— Прямо тут?! — Блаватский снял рюкзак со спины. — Шутите?

— Меньше месяца до конца школы, ты как, собираешься в десятый класс или в ПТУ пойдешь?.. Я ведь тебе могу устроить веселенькую жизнь. Будешь всю жизнь толчки вымывать и сортиры сторожить!..

— С началом развития человеческого общества его влияние на биосферу очень сильно возросло, — начал монотонно бубнить зазубренный урок Коля.

— Молишься ты, что ли? Громче давай! Пятьдесят первый параграф. Что такое ноосфера?

Мальчик растерянно потоптался на месте.

— У, мегера, — плюнул старик, — пристала к пареньку. Мужика, видно, давно не было?..

— Я с вами не разговариваю. Так что будьте добры, не лезьте в воспитательный процесс.

— Тоже мне, воспитатель, — возмутилась Клавдия следом за мужем, — на себя бы посмотрела, выученная больно много. Все на мальчонку свесила. Сама взяла бы да пример показала. Не верит она в суеверия. Вся вон злобой зашла, трясешься, как бобик. Сама смотри в приступ не грохнись.

И старики как один зафыркали на женщину:

— Фу, фи, фууу...

— Вам на кладбище впору, а вы тут учить взялись. Завалили бы хлебальники свои морщинистые...

— Ах ты, обноска, килька дохлая, — встрепенулась старуха.

— Крыса драная, сучка необъезженная, — заступился старик.

— Да что вы говорите, пердуны старые. — Завуч сорвала с себя очки. — Мозги свои куриные прожевали вместе с сыром плавленным!..

— Аз воздам, — донеслось снова со стороны скамьи.

— Учительница еще называется! — кричали старики.

— Мертвецы ходячие! — перекрикивала завуч, по совместительству учитель биологии, солнечным утром в последний день апреля посреди дороги с побитым асфальтом, под чистым голубым небом.

— Да ну вас, — тихо сказал Коля, закинул на плечо рюкзак, поплевал в десятый раз через плечо и побежал к школе.

Первым уроком сегодня была физкультура.

Черная виновница дорожного происшествия все это время сидела за тротуаром в кустах, не без любопытства разглядывая людей. Она понимала, что причиной столкновения была она, и это ей льстило. Люди источали волны ненависти, страха и злобы. Кошке они напомнили тех детей с палками и веревкой. Дети привязывали кошку к сколоченным крестом палкам. Дети поднимали распятое животное над своими головами. Дети улюлюкали и смеялись. Это был страшный смех. Это было ликование смерти. Кошка надеялась, что взрослый, который увидел это, спасет ее от жестоких детей, но взрослый человек сделал вид, что ничего страшного не происходит. Взрослый закрыл глаза. Кошка не спаслась. Ее мучили до захода солнца, а потом, наигравшись, выбросили все еще привязанную веревками к кресту в открытый канализационный люк с клокочущей черной водой. Оттуда кошка выбралась ночью, черная до кончика языка, а была снежно-белой...

Мальчик забежал в ворота школы. Старики выдохнули:

— Вот же сука. Жаловаться на тебя некому. Вот и распоясалась, королевишной себя возомнила. Глиста в скафандре. Если с мальчишкой что случится, на твоей совести это будет!

Плюнули дружно под ноги завучу и пошли потихоньку к «дальнему» магазину.

Нелли Васильевна проскрипела в ответ зубами. Надела очки. И только баба Зоя со скамейки видела, как женщина до крови ушипнула себя за шею.

— Кс-кс-кс, — позвала Зоя кошку.

— Все будет хорошо, — сказала себе Нелли, — ты со всем этим справишься и разберешься. Ты победишь.

И плюнула три раза через плечо.

— Кис-кис, — не унималась старуха, — кис-кис-кис...

Потом достала из кармана кофты завернутую в газету нарезанную колбасу и положила у ног.

Кошка пошла на запах.

Убежавшая незнакомка вернулась в квартиру, где жила с родителями, бросила пакет в коридоре, разделась, заперлась в ванной. Проплакала под шум воды из крана больше часа. Успокоилась.

Вернулась в коридор, подняла с пола пакет. Сняла трубку стационарного телефона, по памяти набрала номер. Услышала до боли в области души, что в районе сердца, знакомый мужской голос:

— Слушаю. Говорите.

Она громким и ясным голосом сказала:

— Я буду рожать! А ты делай аборт!

И положила трубку на рычажки отбоя.

Впервые за последние годы она почувствовала себя счастливой.

Забежав в ворота школы, Коля запнулся и упал.

«Вот те и месть черной кошки».

Поднялся, стряхивая пыль, разбитое колено выглядывало из порванных брюк.

— Зато уважительная причина есть, и физрук «отсутствует» не поставит, — говорил себе и улыбался, — и пошла эта Васильевна козе в трещину.

Мальчик вышел из боя победителем. Героем, спасшим стариков и злюку-завуча. Набрав полную грудь воздуха, Блаватский засвистел и, прихрамывая для пущей трагичности, поковылял к спортзалу.

Нелли Васильевна подошла к своему кабинету в половине десятого утра. Здесь ее ждали. Директор молча показал головой на людей в форме. Здесь же были родители девочки из 11 «А» класса, подарившие завучу старших классов Гиревой в знак благодарности

сорокадюймовый плазменный телевизор. И родители ученика 9 «В», оставившие конверт с открыткой «Поздравляем с днем учителя!» и шестьдесят тысяч рублей на столе в ее кабинете.

— Е...ая кошка! — взревела Нелли, срывая очки и бросая себе под ноги. — Е...ый свет!

Схватила за лицо, переполненная желанием содрать с себя кожу, впила ногтями в щеки, ноздри, в глаза...

— Это все кошка! Это она! — запищала завуч и стянула лицо.

Старики Кудряшевы скупили весь плавленый сыр в магазине. На день просроченный сыр заведующая магазином «Дружба» решила сильно уценить. Продать за копейки.

— Как есть копейки, разве три рубля это деньги? — ликовала Клавдия. — А на сэкономленные, так и быть, возьми водочки чекушку, — разрешила деду.

Фёдор довольно тряс седенькой бородкой.

— Эх, повезло нам, мать, сегодня. Как с утра встали вдвоем с правой ноги, так все правильно и идет.

Клавдия поддакивает, кивает.

Не сразу, примерно через месяц, поселковые заметили исчезновение бабы Зои. Поговаривали, что старуха вконец ополоумела от отчаяния и одиночества. Продала душу дьяволу. А дьявол надоумил ее поймать черную кошку. И будто видели, как Зоя гладила на скамейке черную животину. Потом, если верить старухам центральной скамейки, кошку надо сварить, сесть перед зеркалом и, зажимая в руке кость за костью, смотреть в зеркало. Как отражение исчезнет, значит это и есть косточка-невидимка. Только у черных кошек имеется такая волшебная косточка.

И баба Зоя ее нашла. Да сдуру проглотила и исчезла совсем. Теперь невидимой бродит по поселку и мстит всем, кто обижал ее и кошку.

А еще, как вариант, рассказывают, что за бабой Зоей приехал сын.

Сидела она дождливым вечером, как всегда, на своем месте, кормила не то голубей, не то кошек, как вдруг остановился возле нее черный лимузин.

Зоя сама не поверила своим глазам. Подумала, это болезнь затеяла с ней новую игру... Но нет, его она не могла не узнать. Это он. Ее единственный сын. Все такой же молодой, как двадцать лет назад. Он протягивает к ней руки.

— Я вернулся за тобой, мама. Поехали со мной.

— Я верила. Я молилась. Я ждала... — плачет мать-старушка.

— Будешь нянчиться с внуками, — говорит сын и усаживает мать на заднее сиденье лимузина, и целует ее руки, и плачут они вместе, мать и сын, слезами стирая годы долгой разлуки...

— Поехали, мама, — просит сын.

— Поехали, сынок, — отвечает мать.

Очевидцы видели, как лимузин бесшумно отъехал от пустой скамейки и так же бесшумно растворился в дожде.

И кошку, говорят, они забрали с собой. Ту черную, без единого белого пятнышка. Сплошная чернота...



## ЗЕМЛЯ ПУХОМ

«Мертвых больше, чем живых. Кладбище — последняя остановка. Все на выход. Не задерживаемся...»

Девушка в черном поежилась, не столько от холода — было не по-мартовски тепло, — сколько от возникших мыслей.

А еще, слышали новость, Харон, паромщик с реки Стикс, теперь ездит на катафалке. Перевозчик душ образца двухтысячного года. С помятым лицом, вечным перегаром, в замусоленной фуражке и стоптанных кирзачах, под ногтями свежая грязь — тавот, голос пропито-прокуренный, не живой:

— Гроб-то кто будет выгружать, моя бабушка?! — кричит новоявленный Харон. — У меня через полчаса еще похороны, — и тише, почти про себя: — и че им не живется?.. Дохнут как мухи, забодай меня комар ...

Катерина, та самая девушка в черном, спрятала улыбку в утробе кожаной перчатки. Это были ее юбилейные, десятые, похороны.

Когда все разойдутся, она подойдет к свежей могиле и срежет пластмассовый цветок из первого попавшегося венка, а пока она стоит в стороне от похоронной процессии и наблюдает за тем, как пятеро мужчин выгружают на приготовленные заранее табуреты гроб из катафалка. «Харон» докуривает папиросу, сплевывает и, не говоря ни слова, забирается в кабину (читай на палубу) своего «парома».

Привычка не прощаться — хорошая привычка. Он никогда не ждет, когда гроб закопают. Он никогда не интересуется, кто лежит в деревянном ящике. Ни имени, ни фамилии... Ни жалости. Он всего лишь паромщик...

Кряхтит, ревет двигатель, разбивая кладбищенскую тишину. Миссия выполнена.

Сегодня никто не плачет, и вороны, на удивление, притихли.

Она мельком слышала в автобусе по дороге на кладбище, что покойник был не самым хорошим человеком. И смерть его для близких как избавление. Награда.

— Всю жизнь — тиран из тиранов, — шептались в автобусе две старушки, — сначала жену Галю, найдобрейшая была женщина, довел до психушки, потом детей одного за другим в могилы загнал. Всех пережил, и вот, наконец, того... Все ведь с собой в могилу унес старый. Ни детей, ни плетей...

Застучали молотки — последняя песнь прощания. Барабан смерти. Memento mori.

Сердце Катерины забилося в такт с ударами молотков. Бум-бум-бум...

Она ждала этот момент, тогда ей казалось, что она познаёт смерть, проникает в тайну загробной жизни, с каждым ударом удаляясь все дальше и дальше, и быть может, когда-нибудь она увидит тот свет, выпьет его, станет им и... Будет жить вечно.

Мертвые не умирают.

Последний удар. Лишь эхо повторило его и растворило в нигде. В пустоте. Что остается после смерти? Ответ — ничего. Ответ — пустота. А если вся жизнь проходит впустую, мимо, то и смерть не страшна...

— Заполнить пустоту, — все так же в перчатку шепчет Катя, — заполнить пустоту, — и уже как приказ самой себе, убирая перчатку от лица: — Ты должна жить!

Искусственные цветы с кладбища после похорон она приносила в свою съемную квартиру на первом этаже старого деревянного дома по улице с символическим для Кати названием: «Крестовая».

Цветы девушка ставила в вазу с водой, воду меняла каждое утро, ваза стояла на рабочем столе рядом с ноутбуком.

На этот раз она принесла кроваво-красную розу.

Катя, когда-то давно, уже не помнит, когда это было, увлекалась хромотерапией и знала, как работает красный цвет.

Помимо известного всем влияния на сексуальность, красный положительно влияет на систему кровообращения и, самое главное, заживляет раны.

Для Катерины это было важным. В свои тридцать лет она считала себя одной сплошной открытой раной. Кровоточащей. И кусочка, не тронутого болью, нет на теле и в душе...

— Вот так, — сказала девушка.

Говорить самой с собой тоже было любимым занятием:

— Красненький. Наверное, лучше было взять мак. Вон уже три розы. Белая. Желтая. Розовая. Теперь... Вот дура. Вечная дура. Вечный жид тебе в друзья-товарищи. Вам с ним по пути. Топай вприпрыжку за Агасфером и не вздумай останавливаться. И оборачиваться назад — ни-ни. Без тебя соленых столбов хватает. Взгляни в окно. На улицу выйди... Все хотят остаться в прошлом. Все боятся нового. Будущего. Все кругом жены Лота. Ты же бежишь от него... От прошлого... Прямоком, не замечая настоящего, в новое. Твое.

Девушка аккуратно просунула красную розу между желто-голубым нарциссом и сочно-зеленым листом лопуха.

Сняла с плеч черный платок с золотыми кистями. Бабушкин.

— Почему всему живому суждено умереть? — села в компьютерное, не известно когда купленное кресло, смотрела на коллекцию своих цветов. — А неживому, уже мертвому, — жить вечно? Зачем тогда стремиться к жизни, если мертвое вечно?..

Усмехнулась отражению в вазе.

— Прочитать два раза Библию и так ничего не понять. Бабушка окрестить хотела в такой крохотной, миниатюрной, старой церквушке. Не успела. Да. Не успела. Может, в этом все дело?..

Вздыхнула болезненно тяжело, протяжно Катерина. Покрутилась легонько, пол-оборота влево, пол-оборота вправо на кресле, потом уставилась в черный потухший экран ноутбука.

— За чернотой — жизнь. Не пустота. За тьмой всегда что-то скрывается. Прячется. Как тать, приходит в ночи...

Смотрела, не моргая, и вдруг черный цвет стал расти. Обволакивать. Проникать. В какой-то момент. Миг. Вспышке подобный, перед глазами пронесся Млечный путь. Звезды. Она увидела миллионы, триллионы... звезд. От яркости разноцветья обожгло глаза. Катя моргнула. Перед ней потухший экран, а на щеках горячие слезы. Доказательство того, что за чернотой есть жизнь.

— Моя жизнь...

У дверей салона ритуальных услуг «Последний путь» народ — Катерина это давно заметила — всегда собирается в кучки. Стайки по три-пять человек. Редко увидишь кого-то одинокого, пришедшего проводить покойного в известный всем путь. И поэтому боялась, все время боялась, что на нее могут обратить внимание.

«И что тогда? Прогонят? Подойдут и скажут, уходите с наших похорон. Мертвец наш? Нет. Это не по-христиански. Не по-человечески. Такого, наверно, прецедента за всю жизнь или смерть на планете не было! Нет, не прогонят! Наоборот, еще пригласят в столовую на поминки».

Такие мысли успокаивали, но волнение приходило вновь и вновь, и все сильнее, катастрофичней, с каждым ее новыми похоронами.

Слегка моросило, но зонт никто не спешил открывать.

— В закрытом будут хоронить, — услышала Катя женский голос за спиной, но не обернулась.

— На ней живого места нет, — тот же голос.

— И это у нас в городе, — мужской голос, — уму не постижимо.

— Из-за любви, говорят. Она бросила его, а он ее без ума любил. Она его первой женщиной, говорят, была.

— И последней, — выдохнул мужчина, — и так изрезать любимого человека?.. Не понимаю я этого.

— Так он ведь и себя, тем же самым тесаком... Сердце себе вырезал, представляете, какая любовь?!

— Ну, вы даете, какая любовь?!

— До гроба. Как какая?! Его самого завтра хоронят.

— Дела, — пробасил мужчина.

— Любовь, — всхлипнула женщина.

Катя впервые не поехала на кладбище. Из-за прогноза погоды. Обещали ливневые дожди, вот и решила, чтобы не отставать от так называемого графика — похороны в день — сходить к салону ритуальных услуг. И не прогадала.

«Любовь до гроба». Ей до дрожи в коленях захотелось взглянуть в лицо счастливицы.

«Какая прекрасная должна быть смерть — от руки любящего тебя человека».

— Катарсис, — вырвалось у нее.

В небе грозно пробарабанил гром.

«Барабан смерти».

Лицо покойницы на фотографии показалось Катерине до вскрика знакомым. Эти завитые рыжего цвета кудри, нерусский разрез глаз, родинка под левым глазом...

«Может, учились с ней?»

И воротник воланом она уже видела...

Убитую любовью звали Светлана.

Катя прочла имя на венках, которых здесь было не меньше сотни: «Светлане, любимой и единственной дочери от родителей. От дяди Василия и тети Зарины, от подруг и друзей, от бабушки Дуни, от соседей Шитько...».

«... Светлане, Свете, Светику, Светусе, Светочу очей наших...»

Глаза заслезились от «пожара» тысяч свечей.

«Не помню. Прошлое умерло вместе с бабушкой. Не помню. Не помню. Не помню! Прошлое не существует!»

Нежно-голубой цветок, похожий на тюльпан, лежал в луже, рядом с мусорным баком, далеко от салона «Последний путь». Почти у дороги.

«Наверняка выпал, бедняга, из чьего-то венка, и ветром унесло».

Голубой цвет помогает при неврозах, если полагаться на хромотерапию, оказывает обезболивающее действие.

— Иди ко мне, мой хороший.

Катя подняла цветок.

«Как живой», — вздрогнула девушка и чуть не выбросила находку.

Остановила выпирающая из центра бутона медная проволока.

«Мой». Прижала мертвый цветок к груди.

— Мой.

Дождь полил сильней.

Работать, когда за окном дождь, удовольствие. Только не сегодня. Катерина никак не могла сосредоточиться.

— Похороны любви, — говорила она и никак не могла заставить себя сесть за стол. Ходила от окна к двери, на кухню и снова к окну...

Работала Катя на дому, переводила тексты с английского для всевозможных издательств. Получала очень даже неплохо. Ее такое положение вещей устраивало.

— Бабушка умерла и вместе с ней умерла любовь. Нет больше в мире любви. И нелюбви нет. Сплошное безразличие.

Прошла на кухню, к плите.

— Никто никому не нужен — не секрет. Только мертвое можно удержать, оставить с собой рядом. Мертвое. Живое же всегда изменчиво, непостоянно. Живому свойственно уходить. Оставлять. Бросать... Обещать и не возвращаться...

Подошла к окну.

— Все построено на лжи и недосказанности. Все врем. Уже и сами верим в ложь и не в силах определить, где что. Что есть ложь? А что правда?..

В молчании правда. В неживом.

Провела ладонью по букету мертвых цветов.

— Вот где истина.

Прошлое возвращалось только во снах. Катя боялась таких снов. Кошмаров. В них снова и снова были ссорящиеся родители, непонимающие учителя, скобы на зубах, жестокие одноклассники, невзаимная любовь, попытка изнасилования, забитый ломом пес «Лохматый»...

Спасала бабушка. Ее появления. Теплые объятия, пахнущие свежим тестом и мятой, щекотный поцелуй в нос, нежное «люблю» переворачивали сон вверх дном. Становилось уютно и солнечно, в таком сне хотелось остаться навсегда. Хотелось спать и не просыпаться.

Но Катя просыпалась. И жалела об этом.

«Ведь во сне бабушка жива и живет во снах вечно».

Добиралась до кладбища на автобусе. Маршрут №7. «Божье число».

Двадцать минут — и добро пожаловать в обитель тишины и вечного покоя.

Всегда кто-нибудь да едет вместе с ней до конечной остановки. Не было ни дня, чтобы Катерина выходила одна. Выйти одной равносильно самоубийству, считала она. «Вдруг водитель что заподозрит?..» Ей везло — пара-тройка людей с каменными лицами всегда составляла компанию.

На этот раз это была пожилая чета ярко выраженных интеллигентов и две молодые девушки с искусственными букетиками.

У ворот кладбища девушки резко остановились, и Катя услышала:

— Нет, ты лучше спроси, у тебя всегда получалось, — произнесла рыженькая.

— Че я-то сразу?! — был ответ блондинки. — Вместе подойдем и спросим. Как договаривались.

Из кладбищенской сторожки в это время вышел дряхлый старик в солдатском бушлате на голое худое тело. В валенках и с черенковой лопатой.

— Опять, поди, к маньяку чертовому пришли?! — прокричал он, обращаясь к девушкам. — Радуйтесь, что вас не изрезал.

Они переглянулись:

— Мы учились вместе, — начали они в один голос, — вот цветов...

— Цветов... Выкопать бы его, убить и снова закопать. Любовь у него, видите ли. Девуцу так. Тьфу, чтоб его...

И через долгую паузу:

— 28 улица, слева могила, 105, что ли... Не помню. Найдете по фотке, с вас не убудет, — старик снова сплюнул.

Девушки поспешили прочь, стараясь не смотреть в сторону сторожа.

— Проститутки, — тише бросил вслед старик, — одни мужики на уме. Как таких не прибить, коль сами вешаются. Даже на мертвого кидаются. Тьфу...

Катерина пошла следом.

— Я возьму землю с его могилы, — сказала блондинка, уверенно загребая горсть земли и высыпая ее в сумку, — говорила два пакета возьми. Дуреха.

— Тогда я тоже земли возьму, — и рыжая вытряхнула из целлофанового пакета кучу камней.

— Че вот ты вечно за мной все повторяешь?.. Как эта...

— Че повторяю-то?.. Подруги мы или насрано?..

— Ой, ладно, бери землю и пошли скорей, сейчас еще хмырь старый припрется, сумки вздумает проверять, его мать...

Рыжая загребла пакетом свежую землю.

— Ты еще весь песок перетаскай, всю могилу. Придурошная. Горсточку всего надо. А так покойника к себе приведешь, будешь потом знать. Или из родных кто умрет, или сама коньки отбросишь.

Рыжая отсыпала большую половину земли назад.

— Че орать сразу?!

— Пошли давай.

Катя долго смотрела девушкам вслед, тщетно пытаясь проникнуть в их секрет.

«Зачем им земля?»

— Любовь? — произнесла вслух и испугалась своего голоса.

«Неживой голос». Кашлянула.

— Живые не дают покоя мертвым. Нигде нет покоя от живых...

Зашла в ограду, где несколько минут назад творили свое таинство две девчушки.

На мраморном сером памятнике овал с фотографией. Соколов Вадим Леонидович.

Родился 1. 05. 1983г. Умер 24. 03. 2010г.

Катерина наклонилась, взглянула в глянцевые черты молодого человека.

В глазах, она такие глаза называла собачьими, бездонная печаль. Прическа ежиком, нос с горбинкой.

— Явно в жизни тебе не везло. А ведь ты добрый. Про таких говорят: «хороший». Неужели любовь на такое способна?.. Или это не любовь тебя сгубила?.. Кто знает?.. Остались лишь слезы, жалость и боль...

Куча вопросов и ни одного ответа. За исключением слова...

Она не глядя выдернула из земли воткнутый цветок.

— У тебя глаза зеленого цвета. Это цвет хорошего настроения.

Спрятала цветок в сумку.

— Зеленым лечат головную боль, он помогает при бессоннице...

Присела у памятника, взяла горсть земли, смотрела на нее — рыхлую, влажную, черную. «Черное на белом». Потом медленно высыпала назад, пропуская между пальцев.

— Земля пухом.

А подымаясь, машинально, неожиданно для себя взяла еще одну горсть земли и спрятала руку в карман куртки.

Дома. На кухне долго искала, куда деть землю с могилы убийцы.

Нашла пустую банку из-под кофе, высыпала туда. Поставила возле вазы.

Отошла, посмотрела, как смотрится композиция со стороны в целом.

— Нет.

«Мертвая земля — дает жизнь».

— Хотя какая она мертвая? Земля не может умереть. Таков Божий замысел. Только рожать удел земли. Давать жизнь.

И тут ее осенило.

Катя, трясущимися руками открыла банку из-под кофе и осторожно (как бы не просыпать), высыпала землю в вазу.

Вода вмиг почернела.

Она забыла про цветок в сумке. Его Катерина найдет утром на следующий день. В ее голове созрел план. План на уровне ощущений, чувств, ментальности... Здесь правит не разум и расчет. Это за границей понимания. За границей жизни.

Больше воду в вазе она не меняла.

Это были ее сорок четвертые похороны.

В вазочке с мертвыми цветами вместо воды черная жижа.

Хоронили местечковую звезду, поэтессу, творившую всю свою поэтическую жизнь под псевдонимом «Коко де Бис». Наконец настал час, когда все узнали настоящее имя «Коко» — Эльвира Хабалкова.

«Понятно, почему вся сознательная жизнь под де Бис прошла».

Катя не могла дожидаться окончания панихиды. Поэты же наперегонки читали у гроба поэтессы посвященные ей строки.

«И не было им конца».

Спасибо, ускорил процесс все тот же «Харон» на катафалке. Он вежливо, перед ним богема все ж, попросил закругляться и добавил: «Расчирикались не на шутку. Не накаркали бы чего». И завел свой «паром».

Она выбрала ирис оранжевого цвета. Оранжевый — возбуждает аппетит и способствует восстановлению гормонов в организме. А Катерина последние две недели, как никогда, чувствовала себя живой. Существующей в окружении несуществующего. Неживого...

Улыбалась по утрам мертвым цветам, слушала на полную громкость радио, здоровалась с кондуктором в автобусе. Со сторожем познакомилась. Теперь у нее на кладбище свой блат, свой человек. Такой же мертвец...

Катя присела на корточки у свежезакопанной могилы, легонько погладила холодную землю. Взяла в ладонь...

Что-то коснулось ее бедра. Девушка замерла, не выдохнуть. Проснулось и затарабанило барабаном смерти сердце.

«Вот и всамделишный Харон по твою душу пожаловал. Прошу любить и жаловать».

Ещё прикосновение — настойчивее, ощутимее.

И еще...

Катерина выдохнула и с опаской посмотрела вниз.

У ног ластился, мурлыкая, большой, грязный, ободраный серый кот с отрезанными ушами и хвостом.

Катя вскрикнула, вскочила.

— Ух, ты, боже мой!

Кот жалобно мяукнул.

Левый глаз заплыл катарактой, порванные ноздри...

— Кто тебя так?..

В области души кольнуло. Больно. Щемяще...

«Как что-то родное — промелькнуло, — что-то из детства».

— Похоже, тебя прошлое тоже не жалело?! Вон искромсало как. Живого места нет.

Кот замыкал громче.

— Да, от прошлого нам достались только раны. Бедняжка, за что тебя-то?.. Даже животных не жалеет...

Девушка вернула оранжевый ирис могиле.

Кот терся о ноги, не переставая мурлыкать.

— Сколько тебе лет, кошара?..

Животное продолжало свой ритуал.

— Ты, наверное, давно здесь живешь? Серый? Среди мертвых свой дом нашел.

«Как и я. Как и я».

Серый приподнялся на двух лапах, оперся на колено Кати и потянулся правой лапой к девушке.

— На руки?! Не-е-е... Вдруг блохастый ты?! Лишайный?!

Кот не отступал. Он цеплялся за тонкую ткань джинсов словно пытаясь, ухватиться и забраться.

В области души у Кати снова сдавило, сердце резко перестало барабанить.

Захотелось заплакать.

«Как на похоронах бабушки».

Серый мякнул.

Девушка расплакалась.

«Никого у нас с тобой нет. Потрепанных».

Взяла кота на руки и сказала сквозь слезы:

— Ну и тяжелый ты, засранчик.

Из ворот кладбища она вынесла только кота. Тот, удобно устроившись на ее руках, сразу уснул.

«Колыбель для кошки».

Кивнула на прощание сторожу:

— Руки заняты.

— Домой, что ли бича этого повезешь?! — закричал в ответ сторож. — Больной никак?! И страшный какой, как моя жизнь, мать перемать!

Катя промолчала.

«Оставайся со своими мертвецами».

Кот спал до самого дома. Съемной однокомнатной квартиры по улице Крестовая.

— Просыпайся, — похлопала по спинке животного Катя, — я ключ из сумки не могу достать.

Серый широко зевнул, потянулся на руках девушки и послушно слез на пол.

— Смышленный. Прошлое нас многому научило. Особенно умению забывать. Все плохое забывать, — сказала, а сама подумала: «Теперь будет хоть с кем разговаривать».

— Заходи, — распахнула перед котом дверь.

Кот деловито задрал обрубок хвоста медленно прошел в коридор и сразу на кухню.

— Ну, даешь ты, Серый. Разборчивый, — Катя закрыла дверь.

Наливая в миску молока, она говорила:

— Надеюсь, кладбищенская еда не сделала тебя гурманом? От молока не откажешься? Сейчас колбаски отрежу, а завтра за кошачьей едой схожу.

Серый от молока с колбасой не отказался.

— Искупать тебя немедленно надо, воняешь ты...

Кот, соглашаясь, вертел мордочкой, не прекращая есть и мурлыкать одновременно.

Серый — Катя решила так и продолжать называть кота. После ванной, которую он принимал стойко и смиренно, ни разу не мяукнув, Серый стал еще серее. Стали видны новые раны. На спине, боках. Глубокие порезы, болячки.

— Убежать от прошлого к мертвым — это ты правильно сделал. Мы с тобой этим похожи. Мы вообще многим с тобой схожи.

Кот по кличке Серый во всем соглашался, перекатываясь из стороны в сторону на коленях хозяйки.

Ночью раздался взрыв.

Катерина буквально подлетела на кровати. Включила свет. И все, что вырвалось из ее губ, было:

— Бо-о-ж...

По всему полу, на линолеуме, были разбросаны искусственные цветы. В грязно-черной жиже сверкали осколки разбитой вазы и радужные пятнышки: красная роза, белый нарцисс, желтый тюльпан... А посреди всей этой катастрофы выкупанный девять часов назад Серый.

«Счастливый, как песня».

— Мяу.

— Ни «мяу», а будешь помогать мне убирать. Разбойник.

Мертвые цветы выбросила в мусорный контейнер утром, когда пошла за кошачьей едой.

Всю дорогу до магазина не могла поверить, что все кончено. Поездки на кладбище, коллекционирование цветов, земли, ран...

Захотелось праздника.

— Праздника, — сказала себе.

Что-то, что осталось за спиной, еще напоминало о себе слабыми уколами в сердце. Это что-то назойливо требовало остановиться. Обернуться. Остаться. Катя шла. Вперед.

«Надо купить новую вазу и цветов. Живых». Твердо решила.

Так и сделала.

Серый любил наблюдать за бегущий по экрану ноутбука стрелкой курсора, кода Катерина работала. Он сидел рядом и следил, изредка делая попытки поймать

скачущую стрелку. Но больше всего он любил смотреть на фотографию умершей Катиной бабушки. Бабы Вали. Усядется на полу перед фоткой на стене (здесь бабушка еще молодая) и смотрит, не шелохнувшись, не моргнув, не пискнув. Девушке иногда казалось, что в это время кот перестает дышать. И так несколько часов подряд.

«Словно он вступает в контакт с бабушкой».

— Что ты там видишь, серый котяра? Бабуля говорит с тобой? Бабуля бережет нас? Охраняет? Ведь так?..

Кот мурлыкал в ответ, шевелил остатком хвоста.

Вечером, несколько дней спустя, Катя готовила ужин и вдруг громко сказала:

— Знаешь, Серый я решила уехать. Вернуться в родной город. Там, где жила с бабушкой. Где ее дом, ее могилка. Место людей там, где могилы их любимых... Ты со мной?!

Взяла кота на руки, потрепала:

— Со мной, засранчик... Завтра же поедем. Соберем самые необходимые вещи, закроем квартиру и поедем. Я надену желтый костюм, желтый цвет тонизирует, и к тому же это цвет радостного настроения, и синий берет, он действует на меня умиротворяюще, синий успокаивает. Ну, а ты у нас Серый одним словом. Не красить ведь тебя зеленкой? Или как?..

Этой ночью она снова не видела снов из прошлого.

«Страж снов», так она звала Серого, теперь спал у нее в ногах. И, как и бабушка, сторожил. Защищал. В это верила Катерина.

Проснулась с безумным порывом действовать.

Поднялась. Кота в ногах не было.

— Серый?.. Нам надо собираться. Сегодня великий день для нас двоих!

«Где же он?»

— Серый?..

В зале его не было.

Заглянула под кровать.

— Нет.

Встала, в одной ночной рубашке прошла в коридор.

— Ксс, Серж, ты где?.. Кс-кс...

«Счастье не бывает долгим. Хватит с тебя и двух недель. Оставайся со своими мертвецами».

— Господи, Серый! — закричала.

В голове, в области души забарабанил барабан, тот самый...

— Нет! — заплакала. Слезы просто текли сами по себе, обжигая лицо, шею, капали на грудь и пол.

Ее слезы прожигали. Выжигали глаза, щеки, линолеум на полу, жизнь...

— Серж.

В ванной кота не было. И в туалете.

— Котик мой, Серый, кис-кис...

«Моя вина, Господи. Моя. Верни его, одну родную живую душу. Никого ведь у меня. Верни. Обещаю...»

— Серый!.. — Крик ударил о стены кухни, и стены рухнули.

Яркий солнечный свет ослепил. Она стояла посреди кухни среди обломков разрушенных стен, а когда привыкли глаза, Катя увидела его.

— Нашла, — всхлипнула, — Серый...

Кот сидел на форточке прямо перед солнцем и смотрел непонимающим взглядом на хозяйку: «Что за шум, а драки нет?»

Девушка протянула к коту руки:

— Ну и напугал ты меня, засранчик. Думала, на кладбище, к мертвецам вернулся. Чуть с ума не сошла. Давай, спускайся, нам пора собираться. Сегодня первый день нашей новой жизни. Давай...

Серый поднялся, потянулся. Солнечные лучи отразились от вымытой несколько дней назад шерсти кота, от каждой волосинки.

И Серый стал золотым.

## ВОСЬМОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

*Играя в жизнь, главное – не заиграться!*

«Моя вина».

И ударил ветер в окно. Слабая щеколда не выдержала натиска стихии, и вот уже осколки стекла вонзаются в мое лицо. Лоб, нос, щеки, глаза...

«Мое наказание. Только этого так ничтожно мало. Мало!..»

Форточка бьется в истерике об угол стены. В пустой глазнице окна чернота. Голые ветви деревьев тянутся в комнату.

— Выколите мне глаза, — тихо прошу, — вытащите из меня это поганое сердце! — теперь кричу и падаю на колени.

«Пусть боли не будет конца. Мертвец — готовый умирать снова и снова...»

Ненавижу себя! Это моя вина! Моя боль! Моя...»

Хватаюсь руками за лицо. И пальцами в глаза.

«Да будет тьма...»

Забор роддома и все его стены исписаны счастливыми папашами, что-то вроде книги жизни. Благодарственные письма отмучившимся после нелегких родов роженицам. Разноцветные надписи: черным — «Таня, спасибо за сына. Валера». Красным — «Зая с 12 палаты, этот мир — для тебя». Синим — «Кулагина Нина, люблю тебя! Теперь нас трое!» Зеленым — «Люди, я счастлив — у меня дочь!!! Спасибо, Катя!!!» История рождения. История счастья. История жизни. Бесконечная история. Вереница выплеснутых на кирпичную стену чувств, надежд, желаний... Любви.

— Кристи! — крикнул я в третий раз.

— Кристина! — заорал прямо мне в ухо подвыпивший друг Дима.

Я всегда брал его с собой. С ним я не так стеснялся кричать под окнами роддома, дожидаясь, когда в заветном окне наконец появится любимый человечек. Теперь их у меня два. Два любимых человечка.

С Кристиной расписались два года назад и все это время работали над проектом под недвусмысленным названием «Вовчик».

— В память об отцах, — говорила Кристина.

Так получилось, что наши папаши оказались тезками. И умерли с разницей в один день в одной больнице, только от разных диагнозов.

Я был обеими руками «за».

— Вовка так Вовка.

Когда два дня назад моя девочка родила, от волнения даже не спросил кого. Тут же набрал номер друга и с трудом выдавил из себя:

— Я папа...

— Проставляйся, — все, что сказал Дима.

Мальчик. Вова. Владимир. Вован...

Кристина подошла к окну на третьем этаже. На руках у нее был наш сын, плотно завернутый в голубое одеяло.

Сердце остановилось.

«Мой ребенок. Мой!»

— Видал, папаша?! — Дима хлопнул по плечу. — Весь в тебя, отсюда даже видно...

Помахал своим. Кристина заплакала.

Я сам был готов пустить слезу, еле сдерживался, еще Димка поддерживал — тараторил без остановки:

— Отец — это здорово, есть о ком заботиться, ради кого жить. Ночами не спать, переживать, а заболит когда, так хоть вешайся... Первые зубки, первое слово... Нагадит на тебя, а ты счастливей счастливого... Быть папой — круто, понимаешь, что значит быть мужчиной... Завидую я тебе, чесслово, Виталь. Мож, мне тоже того?..

— Ага, — пропищал и отвернулся. Слезы разрезали лицо на четыре части.

— Вот за это надо выпить, — торжественно произнес друг, икнул, — я угощаю.

Сначала пили в кафе напротив роддома. Следующей остановкой стала съемная квартира общего друга еще со школы Женьки Лисина. Потом поехали к кому-то еще... И еще...

Помню, как звонил Кристине, как плакал в трубку. Помню, что занимал деньги на водку, или это было, когда покупали коньяк?.. Ругался с таксистом. Блевал в чьей-то ванной. Пил разбавленный медицинский спирт. На сотовом села батарея, помню... Больше ничего не помню...

Удар по лицу. По голове и снова по лицу...

Не отбиваюсь. Подставляю то одну, то другую щеку... Слезы смешиваются с кровью. Боюсь открыть глаза...

«Почему я не выкалол их?!»

— Хватит! Хватит! Хватит! — кричит Кристина и бьет по лицу, по спине, по рукам...

Ветер ледяной, колючий и стук разбитого окна об угол стены, словно поступь, отсчет... Приближение...

Она берет меня под мышки и тащит по полу. Она плачет и что-то бормочет. Не разобрать слова. Только стук. Тук. Тук... Шаги необоримости. Поступь непоправимого. Шаг за шагом навстречу безумию, безмолвию, необратимости...

Боюсь открыть глаза. Боюсь увидеть ее глаза. Они не такие, как раньше... Ничего больше нет, что было раньше. Раньше не существует. Есть только один день. Последний день...

И вот сейчас, когда и сейчас не существует, не может существовать, не должно, она затаскивает меня на кровать. Она говорит:

— Все. Все. Все.

Я реву навзрыд, до икоты, до хрипа...

Прячу лицо в мокрые — кровь и слезы — ладони.  
Кристина гладит меня по голове и просит:  
— Посмотри на меня. Открой глаза...  
Боюсь.  
Тук. Тук. Тук...

Сны страшны хотя бы тем, что возвращают тебя в прошлое. Искажают. Заставляют поверить, что ничего не произошло и все хорошо...

Просыпаешься в жирном, липком поту, трясешься от холода и от страха перед реальностью. И смотреть, и закрыть глаза страшно, вдруг снова уснешь, и во сне снова все будет...

Проснулся в незнакомой квартире. В комнате, где, по всей видимости, шел ремонт. Вокруг стопки старых газет, банки с краской, кисти, рулоны обоев, сваленная на бок стремянка...

Я на полу рядом с другом Димкой и еще кем-то. В окружении пустых и недопитых бутылок, закуски... В голове конное ржанье и безумное перестукивание колес поезда... И боль... И дикий тремор. Трясется все, каждая клеточка, пора... Тошнота давит и мутит... Кажется, лучше лечь и умереть, чем так.

Толкнул Димку в плечо. Друг промычал что-то нечленораздельное, приподнялся.

— Бр-р, — мотнул головой, — похмелиться бы сейчас чуток.

Заприметив возле себя полбутылки водки, ехидно улыбнулся:

— Почти полная, — сказал, открутил крышку и сделал большой глоток, поморщился, занюхал кулаком, — ух, есть все-таки Бог на свете.

Меня от одного вида этой картины вырвало на кусок газеты с засохшей коркой хлеба, луком и моим сотовым телефоном.

— О, дружбан, так дело не пойдет, — подполз ко мне Димка, — надо тебя опохмелить, срочно, иначе кранты. Пиши пропало...

Все, что я смог — это замотать головой и сильнее сжать зубы.

— Надо, надо. Не спорь со старшими. Мне вот уже, веришь-нет, полегчало.

Раздобыв где-то за спиной рюмку, он наполнили ее до краев.

Трясущимися руками я взял ее.

— Давай. Дерни. Я с горла. На раз, два, три. За твоего сына. Дай Бог каждому. Ну, давай. И-и-и, три.

Водка обожгла горло, желудок; зажав рот рукой, медленно посчитал про себя до десяти.

«Вроде пошло».

— Теперь сразу по второй, дабы закрепить. Так надо, — наливал в мою рюмку Дима, — уж я на опохмелке собаку съел. Кстати, ты собак хоть пробовал?

Я не ответил, а сказал:

— Главное не переборщить.

— С чего тут...

— А какой сегодня день недели? — спросил.

Друг посчитал по пальцам:

— Восьмой, — был ответ.

«Я не справлюсь».

Кристина говорит:

— Мы должны это пережить. Вдвоем. Ты и я.

Она сильная. Я — нет.

Говорит:

— Это не твоя вина.

Я же знаю — виновен!

«Моя вина. Мое наказание».

— Если бы не эта неделя загула... — произношу и голос не слышу.

— Хватит уже, — отворачивается от меня Кристина, любимый человечек, — тебя все равно бы не пустили...

В разбитое окно запиханы одеяло и старые куртки. Вон мое пальто, поеденное в том году молью...

— Я даже... даже...

— Ты нужен мне. Одна я не справлюсь. Мы должны. Вместе...

Плачу. Тихо. Она держится. Берет меня за руку:

— Приди в себя. Хватит. Завтра страшный день. И он может быть бесконечным, если мы не будем вдвоем...

«Втроем».

— Но я не могу, — почти кричу с закрытыми глазами, — как?! Как?!

Не сказав ни слова, Кристина бьет меня по лицу. Встает с постели. Делает шаг к двери, останавливается.

Слышу, как стучит ее сердце, как тяжело и хрипло она дышит. Не плачет. Она сильная. Очень.

— Ты же так хотел поддержать его на руках, — произносит тихо.

Не нахожу слов для ответа.

«Хотел! И хочу! Сын! Мой сын!»

— Говорил, что держать своего ребенка на руках — высшее счастье. Что когда ты возьмешь его, прижмешь к сердцу... Говорил?! Говорил?!

И здесь я закричал...

Телефон оказался не просто разряжен, сотовый был сломан в хлам. Такой и облевать не жалко. Димка свой мобильник никак не мог найти:

— Где-то посеял, бляха.

Взял у незнакомого мне хозяина ремонтируемой квартиры — некоего Ромы — позвонить.

Телефон Кристины был недоступен.

— Не может быть, чтобы всю неделю гулеванили, — повторял одно и то же я, — не может быть...

— Ха-ха, — выдыхал табачный дым друг, — так сына все-таки твоего обмывали. Первенца. Тут сам Бог ве-

лел. Кристя, уверен, поймет. Все мужики так. Не ты первый, ептить... У меня дядя Гриша месяц дома не появлялся, когда тетя Валя ему двойню родила... У всех так. Не переживай, если че...

— Дурно мне что-то. Не по себе... Чувство такое... Нехорошее...

— Значит, надо еще по одной, — потянулся за бутылкой Дмитрий.

— Не, я до дому. Моих наверняка выписали. Кристина с ума там одна сходит. Пойду...

— Тогда и я с тобой, — поднялся с пола Дима, отпрыгнул и, встав в нелепую, гротескную позу, запел: — Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий, верный друг, — еще раз отпрыгнул и рухнул на пол.

— Отрубился, — пробурчал хозяин Рома, — конкретный аут.

Дома никого. В детской нераспакованная коляска, кровать, пакеты с вещами для малыша. Для нашего Вовы...

В холодильнике пропащее молоко. Как знак беды...

Я, кажется, не закрыл холодильник. Я бежал до роддома не останавливаясь. Бежал под шарманку одной мысли: «Только бы все было хорошо»...

В комнату она вошла незаметно. Было сумеречно, горело только бра.

Я сидел на кровати и до появления Кристины больше часа тупо смотрел на свои ладони. Они казались мне чужими. Я не узнавал их. Линии на руках стали крестами. Крест, еще крест, еще... Одни кресты... Кладбище на ладонях...

Подошла ко мне. На руках она держала нашего сына, завернутого в белоснежное одеяльце... Мадонна с младенцем. Два моих любимых человечка.

Я встал. Я заплакал.

— Возьми, — шепнула Кристина, — поддержи его на руках, ты ведь так хотел...

Протягиваю руки.

«Не могу».

Она отдает мне младенца, поддерживая мои ладони своими. Ее ладони...

— Возьми. Прижми к себе. К груди. К сердцу...

Я подчиняюсь.

— Хочешь посмотреть на него?

Молча киваю.

Убирает уголок одеяла — и вот оно, сияющее личико моего мальчика, моего маленького, любимого человечка.

Носик — зернышко, щечки — булочки, губки — сердечком...

— Ангелочек, — говорю, и слезы капают на кружева одеяла, — мой сын, сынуля, мой Володенька...

— Тс-с-с, — грозит Кристина, — видишь, он спит. Глазки закрыты. Только его покормила... Пускай спит.

— Пускай спит, — повторяю, а сам сильнее прижимаю к себе, — я твой папа. Па-па...

Целую в лобик, в носик, в глаза...

— Сын. Мой сын. Я твой папа...

Сажусь на кровать, Кристина пристраивается на полу у моих колен. Вот так втроем мы и проведем эту ночь. Я, Кристина и наш Вовочка...

И пусть не будет этой ночи конца...

— Вы разве не знаете? — спросила меня женщина в бело-голубом халате, по фамилии Древко.

С большим трудом произношу:

— Не знаю что?..

Она опускает глаза:

— Пойдемте...

— Куда?..

— Пойдемте...

— Что-то с Володей?

— С кем? — обернулась она.

— С сыном, мы Володей его назвали. наших отцов Владимирами звали, представляете, какое совпадение. Обоих...

Я говорил и говорил, боясь остановиться. Боялся ее голоса, ее слов, ее ответа...

— ... мы тут недельку с друзьями, сами понимаете, первый ребенок, да еще сын... И телефон как назло сломался, я своей звоню, она недоступна, и дома никого, думаю, неужели не выписали еще, неужели...

Кристина вышла нам навстречу. Воспаленные от слез, кроваво-красные глаза, засаленные волосы, искусанные губы...

Я замер. И она остановилась.

«Только бы все было хорошо Господи. Только бы...»

Врач по фамилии Древко сказала:

— Я пойду.

Шагнул к жене...

— Семь с половиной дней, — ее голос, как шуршание ветра в пожухлой листве, — всего лишь семь с половиной...

Я обнял ее. Она потеряла сознание.

Так наступил восьмой день недели...

Мы сидели втроем и разговаривали. Говорили только мы — я и Кристина, сын Вова спал.

— Какие сны ему снятся? — спросил я. — Как ты думаешь?

— А разве маленькие дети видят сны?

— Еще в утробе начинают видеть.

— Да брось ты...

— Чесслово. Утробные сны называются.

— Тогда ему снятся звезды.

— А мы там есть? Ты и я?..

— Ну конечно есть, куда он без нас... Ему всего-то чуть больше недели...

Помолчали.

В ночи было слышно, как перекликаются поезда на далекой железнодорожной станции «Причал», как постукивают по подоконнику одинокой дробью капли начинающего дождя.

Мы втроем в комнате, где, словно свеча, горит только одно бра.

— Может ведь быть так, что утро для нас не наступит никогда? — спросил чуть слышно, боясь нарушить хрупкость нашей, на троих, тайны.

— Мы должны в это верить.

За окном прогрохотало, я сильнее прижал сына к себе, и пошел дождь. Которому не будет конца...



## **ПТИЧКА, ВОЗВРАЩАЙСЯ ДОМОЙ! (МАМА, РОДИ МЕНЯ ОБРАТНО)**

Внутри все сжалось в кулак, в бутон, да, именно так, она увидела, как бархатные лепестки цветка оторвались вместе с кусками плоти, разорвали грудную клетку. Сердце лопнуло, она услышала этот звук, он поселился в ней теперь навсегда. Чавкающий шлепок, плевков реальности.

Это было последнее, что услышала мать, потом в ушах зазвенело, и наступила тишина. Непростая это была тишина.

«Мертвая» — пришло слово. И это слово изменило мир вокруг. Изменило ее...

Мать стояла в дверном проеме, когда пришло состояние невесомости, оно обрушилось потолком в серых плешах паутины, когда, не чувствуя под собой опоры, ноги оторвались от пола, мать взлетела над телом мертвого сына, в комнате на подселение, которую купила ему много лет назад.

Бутон внутри почернел, следом за невесомостью пришла боль.

— У меня же нет сердца, — вспышка, — откуда боль?..

И у этой боли — пришло осознание — не будет конца, она бесплатное приложение к плевку неизбежности, необратимости...

Невесомости?

— Жанна Леонидовна, — далекий голос из прошлого, — вам плохо?

Возвращение всегда болезненно.

Что бы ни ответила, для этого пьяницы она бессердечная сука. Впрочем, все обитатели этой квартиры на три хозяина давно так считают, с заезда сына.

Считают: бросила сына на произвол судьбы. Оставила одного.

— Сын довольствуется редкими подачками. И слова ласкового не скажет, не поддержит, мать еще называется, — услышала как-то кухонные перетирания ее костей, приехав без предупреждения к сыну.

— Вам плохо? — повторил Гена, сосед из комнаты, что справа от комнаты сына.

Мотнула головой мать, спрятав невесомость в себе, внутри:

— Ты его нашел? — спросила.

— Так по запаху нашли, — оживился, Гена с говорящим прозвищем Шалупонь, вечно безработный, вечно пьяный, — я сперва не чуял, Лизка моя всю ночь тарахтела, воняет, мол, чем-то пропащим. Я говорю, ты, наверно, скисла. А потом поутру слышим, телефон евошный звонит без конца, а он не отвечает, ну, я и принял...

Запах, мать почувствовала его еще в подъезде, запах сына.

Вспомнила его холодные ладони, было лето, конец августа, жара плавил асфальт и мозги, она случайно, уже не вспомнить, как так вышло, взяла его за руки, за ледяные пальцы:

— Ох, ты ж ё-моё, Родион, любовь не греет, что ли?..

Она быстро растерла руки сына своими руками, а когда поднесла к губам и подула, ладони ответили мускатным, пряничным ароматом.

Родиону тогда только исполнилось шестнадцать, он стеснялся любых проявлений своих чувств. Но, как и любая мать, она знала, что внутри у сына. Матери знают, что у ребенка на сердце, что под сердцем, знают, чем сердце кровиночки успокоить...

Сын убрал руки в карманы, поежился, пробурчал что-то, она не разобрала.

— Что ты сказал? Громкость прибавь.

— Я спросил, — откашлялся, — любовь к матери считается? Грех?..

Жанна Леонидовна вновь ощутила запах теперь в дыхании сына, будто он только съел какое-то пирожное и запил сладким душистым напитком, Родион с детства обожал тархун.

Мать слышала — у злостных курильщиков травки особый, специфический, сладкий запах. Они буквально пропитываются им: пот, слюни, волосы — все пахнет марихуаной.

И вместо ответа мать понизила голос, грозно сжав зубы, не размыкая губ, спросила:

— Ты травокур, что ли, не пойму?

Сердце матери говорило: «Нет, нет, не верь!»

Червь сомнения пробрался в голову, запищал противно: «Ты посмотри на его глаза, вечно, как у обдолбыша, мямлит, а не говорит и ходит, будто под градусом. Тот еще наркоша».

Сердце кричало: «Не слушай! Верь мне! Верь сыну! Верь в сына!»

«А запах, характерный запах откуда?» — перебивал червь.

Родион захлопал глазами, посмотрел по сторонам, ища помощи, поддержки от кого-то невидимого, промямлил:

— Я же про любовь спросил... Материнскую...

Ткнув указательным пальцем сыну между глаз:

— Я тебе дам любовь. Ты травку куришь?! Ответь мне сейчас же!

И сын пробурчал:

— Не курю я.

— Честно?! — заглянула в глаза сына, не убирая палец. — Поклянись мной!

— Честно.

— И говори громче и четче! — взвизгнула мать. — Шепотом в этой жизни ничего не добьешься!

— Клянись! — громко ответил сын.

— Поклянись мной.

Сердце молило: «Не надо. Нет».

Червь ликовал: «Да, пусть поклянется! И скажи, что если он соврет, то ты умрешь!»

Мать сказала.

Сын тихо сказал:

— Клянись тобой, — на глазах заискрились слезы.

— Материнская любовь греет, как не сможет согреть никакая другая любовь, — произнесла Жанна Леонидовна, все еще стоя на пороге в дверях комнаты сына.

Она не сказала этого в тот день, не сказала и потом, сказала сейчас, много лет спустя, когда запах сына оставил его навсегда.

— Он вас не слышит, — икнул Гена Шалупонь.

Мать увидела себя, стоящую на коленях у изголовья дивана, на котором умер сын, она наклонилась к Родиону, губы касаются холодной, посиневшей мочки уха:

— Материнская любовь греет горячей всех любовей, сынок, — говорит, и слеза матери падает на краешек уха, скатывается улиткой внутрь раковины... Слезая горячая, тело ледяное...

Слезая пробивается сквозь барабанную перепонку и дальше, и глубже, согревая тело, а достигнув сердца сына, слеза матери наполняет его соком жизни, сердце стучит, сердце распускается алым бутонем розы.

— Я слышу, мама, — поворачивает голову Родион, и щеки розовеют на глазах, — я так и знал, ты же знаешь, ты все всегда знаешь.

— Знаю, — говорит мать.

Гена Шалупонь икает:

— А может и слышит?! Говорят же, душа, пока сорок дней не отведешь, среди нас.

— Да, да, — соглашается женщина на пороге и не решается сделать шаг в комнату.

Она смотрит в единственное окно, на пыльные желтые шторы, слева стол завален бумагами, открытый ноутбук, справа от окна диван. На диване — сын.

— Запах нас выдает, всегда нас выдают наши запахи, выдают с потрохами, — наигранно замахал перед алым носом сосед, — пьяный ты или с похмела, все понятно по запаху, обгадился — тоже не скрыть, а уж как по-мрешь, так развоняешься за все непрожитые годы...

Не вникает мать в монолог Шалупоня, в комнате сына что-то случилось со светом. Здесь и в солнечную погоду всегда мрачно, а тут будто тени ожили, задвигались, и на секунду матери почудилось, сын пошевелился.

Дернул правой рукой, приподнял голову...

Живой.

Жанна Леонидовна шагнула в комнату. Тени замерли, насторожились. Еще один крохотный шаг, не сводя глаз с дивана. Окаменели тени, умерли. Острия скул, полуприкрытые глаза, бело-желтая, натянутая — вот-вот порвется — кожа щек, черные губы перекошенным полумесяцем...

Боясь, что вернется невесомость, шагнула от дивана к столу, схватилась за угол. Стол под матерью забился мелкой дрожью.

— Вот и осмелились, — прокомментировал Гена, — я ведь тоже, как дверь выбил, побоялся сразу зайти, какой-то страх одолел, а еще с бодуна, в голову всякие страсти как забрались.

На столе лист, почерк сына.

«Предсмертная записка», — больно сдавила виски матери мысль. Заходил ходуном стол.

Буквы, написанные синей пастой, заплясали, смешались в абракадабру, расплылись...

Родион сочинял стихи, которые она совсем не понимала. Читал, любил это делать, хорошенько приняв на грудь, Жанна Леонидовна честно силилась вникнуть, правда, не всегда слушала, иногда грубо обрывала:

— Не мое это Родион. Поэзия твоя такая... Я выросла на Пушкине с Цветаевой. И чего это ты снова пьяный? Как к тебе ни зайдешь, так либо болеешь после гулянки, либо под градусом, как это называется?..

Сын разводит руками, выдает:

— Это называется двадцать семь лет, мама.

Он два года как съехал с родительской квартиры в комнату на подселение, инициатором переезда была мать.

— Ты уже взрослый Родион, уже не мальчик. Родя, Родиончик, Родинка! У тебя свои, мужские, естественные потребности, так ведь?! — и, не давая ответить: — Девушку пора давно заводить, а не с мамой жить. Не секрет, что и у мам свои интересы, нужды, мечты, если на то пошло...

Все, что остается сыну, — кивая соглашаться. Что в семь лет, когда поддавшись уговорам мамы, один, дабы научиться самостоятельности, отправился в школу, что в двадцать пять.

Мама утверждала:

— Так правильно. Свой угол. Свобода. Делай что хочешь. С кем хочешь и когда хочешь. Друг от друга отдохнем за столько лет-то. Комнату подходящую я уже подыскала, почти в центре, все близко, и магазины нужные, и остановки... Живи — не хочу!

Сын кивал.

— Я же помню, как в восемнадцать, когда от армии тебя отмазали, в тот день ты заглянул в спальню и увидел меня в неглиже. Помнишь, как ты побледнел и чуть в обморок не грохнулся?

Покраснел Родион, градус или же воспоминание едва не сбило с ног, пошатнулся на подкосившихся ногах, схватился за воздух.

— Во-во, я про то же, зачем тебя своими лифчиками-бюстгальтерами смущать, это и ненормально. А в своей комнате и ты хоть без трусов ходи, и никаких потрясений...

Воздух не удержал, сын схватился за сумку матери, она висела у нее на локте, почувствовав твердь земли под ногами, пришел в равновесие, выпрямился:

— Когда съезжать? — едва дыша, с печалью, разрезавшей лицо, спросил, стараясь не смотреть в глаза матери.

— Да хоть сейчас, — сказала, рассмеялась, ущипнула сына за подбородок, — как соберешься, за полгода я уже заплатила за комнату, потом вся коммуналка на тебе. Комната твоя...

— Живи — не хочу, — закончил за мать сын.

— Вот именно, — поставила точку она.

Точка перед глазами — это буквы на листке собрались в кучу. Жанна Леонидовна отцепилась от стола, пытается разбить точку на буквы, на слова... не получается.

— Что там? — заглядывает в комнату Шалупонь. — Вам плохо?

Поднятый указательный палец останавливает мужчину в дверях. Не входите! Угрожает палец. Это территория неприкосновенна. Территория сына — территория матери.

Буква «М» появляется первой, потом «А».

— Мама, — шевелятся губы.

И пол исчезает под ногами. Она взлетает над столом и буквы, собранные в слова, в предложение, висят над ней перед глазами лозунгом, надеждой, приговором.

**МАМА, РОДИ МЕНЯ ОБРАТНО!**

И все, одно лишь это синей пастой посередине листа из блокнота.

Чтобы вернуться, поняла мать, нужно произнести вслух написанное сыном заклинание. Надо лишь отлепить прилипший к нёбу язык и сказать. И слова, а это непростые слова, волшебные, воскресят, да, правильно подобранные слова имеют такую силу — возвращать к жизни мертвых. Мать отдирает язык, с кровью, кровь орошает сухую гортань:

— Мама, — сглатывает сладко-горькую кровь, — роди меня обратно.

Боковым зрением на сына, в немой мольбе, что вот дрогнут ресницы...

Чпок — плевок реальности ответом.

Нет тебе воскрешения.

Она у стола, на листе буквы.

— Вам лучше присесть, — советует успевший сбегать в свою комнату и похмелиться разведенным боярышником Гена, — в ногах правды нет, правды вообще нет. Все полуправда.

Шалупонь говорит: «Правда», мать присаживается на стул у стола, слышит: «Выгнала». Окровавленным, смоченным кровью горлом, кричит в ответ:

— Не выгоняла я его! Это жизнь! Жизнь!

Гена прикусил язык от неожиданности, выпучил на мать глаза, проблеял:

— А я, а я че?.. Я и не говорил такое... Это жизнь, правильно. Всем хочется нормальной жизни... Никто никого не выгоняет, это за нас жизнь делает... — и, кивая в сторону тела на диване, — вон, одного уже выгнала.

Закончил он смачной отрыжкой. Мать сдержалась, не закричала, прикусила губу, черный квадрат экрана ноутбука, как окно в другое измерение, космос, где невесомость, и куда отправился на веки вечные ее сын.

Кусок дивана в отражении и ее плоское лицо. Вместо глаз две дыры, из которых никак не польются слезы.

— Я че говорю-то, Жанна Леонидовна, — бодро, словно ожил, затараторил Генка, — Родька говорил, буквально на той неделе говорил, что у него нет ни одной фотки, так и сказал: «Окочурюсь, а на памятник фотки нет, из паспорта только». Как чувствовал, будто... Говорят ведь, что ощущаешь ее приближение, когда она близко совсем...

Оторвавшись от черноты Космоса, мать осмотрелась, в горле снова сухо, в груди, там, где должно быть сердце, огонь изжоги:

— У меня, у меня его фотографии есть, только он на них маленький, — она поднялась, деревянный стул освобождено затрещал, стала перебирать стопки бумаг на столе, — как, совсем нет ни одной взрослой фотографии? — спрашивала у себя, спрашивала у неизвестности. — Совсем ни одной?.. Совсем?

Слезы наполняли дыры, но время слез еще не пришло, мать надавила пальцами на глаза, словно загнала их назад, на глубину, на дно...

— Совсем, — Шалупонь курил, выдыхая дым в сторону входной двери, — говорю же, как чувствовал Родя, говорит пару дней назад, мол, нет фотографии нормальной...

— Я поняла, — прикрикнула мать, — и что?

— Так это, если и у вас нету, а ведь нету?! У меня кореш есть, он бог фотошопа, снимет его такого сейчас, за бутылку, а глаза прифотошопит.

— Глаза что?.. — мать посмотрела на пьяного соседа.

— Ну, пририсует, приделает в фотошопе. У него же они закрыты, вот он их и это, откроет, за бутылку...

— Иди проспись! — оборвала мать.

— Так я же, типа, помочь вам, одной же как, вот, и фотки нет...

Ничего не сказала мать, села за стол, на скрипучий стул, ладонью прикрыв лист с надписью.

Шалупонь побурчал, потоптался на пороге и незаметно для матери исчез.

Оставшись одна, закрыла глаза, где в точности такой же Космос, что и на экране ноутбука сына.

Из тьмы выбралась на солнце, первым делом до дома, в секретере куча фотоальбомов. Она помнит, должна быть фотка, в прошлом году фотографировались на Рождество.

Родион с детства не любил фотографироваться, жалел птичку.

— Она же маленькая, — объяснял первоклассник Родя, — вылетит птичка из домика и потеряется, и не найдет дорогу домой, и умрет.

Фотограф растеряно пожимает плечами, ищет поддержки у родителей, а ей нечего сказать сыну. Жанна Леонидовна смотрит на мужа, это последний год их совместной жизни и последнее семейное фото. Отец берет тогда сына на руки со словами:

— А мы не будем выпускать птичку, пусть сидит в домике. Так и скажем дяде фотографу, да? Давай?

Родя одаривает всех бесконечно счастливой улыбкой, говорит:

— Пусть птичка сидит дома!

Фотограф складывает пальцы в знак ОК и не говорит волшебных заклинательных слов.

Вспышка — птичка вылетела.

Фотографии, разбросала их по всей двухкомнатной квартире. Нет снимка с Рождества.

— Быть такого не может!

Она держала его в руках, на нем они вдвоем — мать и сын крупным планом. Родя, как всегда, серьезен, но глаза выдают счастье.

Да, в такие моменты, он их для себя называл «моменты причастности», Родион был действительно самым счастливым человеком на планете. Мать это знала, матери они ведь все всегда знают, но не могла остановить ход жизни. Самостоятельной жизни для каждого из них. Она называла это свободой. Сын — испытанием, наказанием.

Пробежалась по знакомым, у кого могли быть фотографии сына, зашла во все конторы, где когда-то, пусть и недолго, работал Родион — ничего.

Какие-то смывые, стертые, старые фотографии мельтешили. Измятые, черно-белые, цветные снимки причиняли невыносимую боль. Болело все внутри и снаружи, самая незаметная, тоненькая морщинка впивалась, ранила...

— Даже фотки своей мне не оставил, — сказала мать углу дивана в черном зеркале, а если взглядеться, можно увидеть кусочек носка, небрежно заштопанного на большом пальце, — это месть, сынок?..

Мертвая тишина.

— Оправдываться? Бесмысленно, я поступала так, как считала правильной всего надо поступить. Хотела лучшего. Для нас. Для тебя.

Мать пошевелилась, стул хрустнул, она перевернула лист, синие, большие буквы навсегда с ней, в ней, как и тишина, и чавкающий плевков реальности.

На обратной стороне мелкий, с трудом читаемый почерк сына. И каждая буква, запятая, точка — укол, укусом, ударом... Раной.

Внутренний червь запищал: «Порви не читая, это тебя убьет!»

Мать озвучила голос сердца. «Заткнись!» — приказала.

Ма стояла на пороге, стояла не шевелилась, дышала? Нет. И сердце не стучало. Боялась войти в комнату, в комнате на диване тело сына. Сын не дышит. Сердце его не стучит. Скорая выехала, но приедет не раньше, чем через час. Сын умер ночью, и стрелки на часах, что на стене над диваном, застыли, обозначив время смерти. Половина третьего.

Ма не плачет, потому что, заплакав, она не остановится уже никогда, пока не выплачет всю себя.

В комнате серое утро белеет с каждой минутой, но ма не решается войти и подойти к сыну. К телу. В окаменевшей руке сына зажат лист бумаги. Это его последнее стихотворение. Его он написал для нее. Ода матери. Только она не прочтет. Ма так и будет стоять здесь на пороге. Пройдет час, солнце заполнит комнату с сыном, мать будет стоять, не шевелясь, не дыша. Приедет бригада скорой помощи, врачи отодвинут ма, как какой-то неодушевленный предмет, как часть интерьера, вещь, проникнут в комнату и будут хозяйничать, шупать мертвого сына, и ма...

Обрывался рассказ сына, жизнь оборвала, или нежелание продолжать. У Родиона это от отца, бросать все на подороги. Начать и не закончить. Вот и здесь, с этой историей, по всей видимости, так. Проба пера.

Первый рассказ, сын давно говорил, что хочет попробовать себя в прозе...

— И ма, — произнесла вслух мать, заскрипела стулом, это она пригнулась, включила ноутбук, пододвинула к себе поближе.

Сын так и не научился набирать свои стихи, всегда просил ее, а когда она отказывалась, мучительно долго стучал по клавиатуре одним пальцем.

— Ма не сможет долго стоять на пороге, сынок, потому что материнская любовь греет, как никакая другая, потому что любовь ма сильнее смерти.

Загорелся экран знакомыми лицами с рождественской фотографии: она улыбается, щекой прижимаясь к щеке сына, Родион серьезен, но глаза выдают счастье.

Мать заплакала. Нарушила мертвую тишину комнаты и сердца. Оживила.

Почерневший бутон побагровел и начал распускаться.

Слезы текли, капали на клавиатуру, промочили лист...

Мать быстро набрала написанный от руки текст сына.

— Птичка, возвращайся домой! — громко, как заклинание, попросила.

В комнате все ощутимее сладкий, пряничный аромат.

Мать пишет незаконченную историю сына.

Историю наоборот.



# ТРЮК

*У зеркала на всё свои взгляды.*

И. К.

Увидев афишу, распечатанную на плохом черно-белом принтере, вдобавок ко всему размноженную на ксероксе, со смазанными, кое-где потертыми буквами, вы наверняка не обратили бы на нее никакого внимания. Так ведь? Но только «наверняка». Ударившая по глазам надпись: «Трюк, который вы еще не видели!» — заставит вас остановиться и прочитать афишу до конца.

Итак: «Трюк, который вы еще не видели! Трюк, который изменит ваше представление о мире! Не пропустите! Семиклассник из поселковой школы № 14 Саша Березин войдет в зеркало. 1 октября в 18 часов в зале поселкового Дома культуры «Вестник». Вход бесплатный».

Ну, конечно же, вы ухмыльнетесь, конечно, не поверите, но... Но что-то внутри вас шевельнется, «Трюк, который изменит ваше представление о мире!», и 1 октября вы будете там.

Саша Березин переехал в шестикомнатный дом-барак на улице Подгорной в начале лета. В сентябре он пошел в поселковую школу в седьмой класс. Новичков, как он узнал после первого занятия, одноклассники принимают с радостью — в поселке мало молодежи, только (так уж с издавна повелось) каждый прибывший должен придумать и показать трюк. Об этой традиции Саше рассказал сосед по парте Глеб Косенков по кличке Череп (происхождение клички налицо — голова у Глеба сильно походила на лампочку, ну, или грушу).

Позже про трюк Березину рассказали так называемые смотрящие — самые главные «держатели» школы и поселка. Без них никто не мог просто так кого-то

обидеть, все вопросы и разборки в рамках школы и поселкового двора решались через них. Пятеро безвозрастных юношей объяснили, что от трюка можно откупиться, сумма небольшая — 300-500 рублей, только это будет не очень по-мужски, «все должны завоевывать свое положение в обществе испытаниями. Трюком».

Как оказалось, старшая сестра Саши Лина знала про трюк. А еще она дружила с Русланом, одним из «смотрящих»:

— Я могу с ним поговорить, если что, и все уладить.

— Ты жениться на нем собралась?

— Во-первых, не жениться, а выйти замуж, а во-вторых, не твоего ума дело. Лучше трюк свой придумывай, пора уже становиться хоть чуть взрослее.

— Можно подумать! — пробурчал мальчик.

Трюк нужно было придумать за месяц.

— Какой еще трюк?!

Это спросила Сашина мама. Все сидели за столом на кухне, ужинали.

Лина покосилась на брата:

— Здесь так заведено, мама, испытывать новичков.

— Да, — заступился за дочь отец, — у нас такое во дворе тоже было, в детстве.

— Что и девочек?

— Мама?!

— Трюк... Ну надо придумать.

Саша проглотил целиком вареную картофелину.

— Папа, а ты какой трюк делал? — мальчик не сводил с отца глаз.

— Мы все до одного должны были сходить на кладбище после полуночи, найти указанную могилу и вонзить в нее нож. Утром все идут проверять. Если нож на могиле, то ты становишься «своим», если нет...

Муж с женой переглянулись. Женщина кашлянула в кулак.

— Если нет, то?.. — Саша ждал ответа, открыв рот.

— То... живи, как знаешь. Был случай, рассказывали, один с испытания так и не вернулся...

— Опять, — перебила женщина, — потом это нельзя рассказать, обязательно за столом.

— Ма?! — Саша.

— Нытик! — Лина.

— Ладно-ладно. Все равно все уже доели.

Мальчик скорчил рожицу сестре. Лина фыркнула:

— Будешь придумывать трюк! Во, — показала дулю, — шиш я за тебя слово скажу. Нытик.

Мать стала собирать грязные тарелки.

— Давай, па.

Отец открыл форточку, прикурил, он любил рассказывать о своем детстве:

— Не помню, как его звали, Вадик, что ли?.. Не помню. Значит, назвали ему, чью могилу он должен найти, дали нож, и к полуночи все отправились к кладбищу. Вадик, назовем его так, поднялся, кладбище было на холме, остальные остались ждать его. Прошел час, второй, хоть и было лето, а к трем часам ночи стало холодно. Решили с утра сходить до могилы, может, Вадик подшутил и обошел их другой дорогой, подумали. Наутро на указанной могиле нашли Вадю. Он лежал мертвый, умер от разрыва сердца. Нож, когда он вонзил его в землю, зацепил край его рубахи, Вадик стал подниматься, а его кто-то держит, тут сердце, видать, и не выдержало.

— Он подумал, что это мертвец его схватил?

— Наверное, хотя кто знает, что там произошло на самом деле. Кладбища хранят, сынок, столько тайн. Ты со своим трюком тоже осторожней. Сначала нам расскажи, что надумаешь.

— Мне почему-то страшно.

— Почему? — отец докурил папиросу, выкинул ее в пасмурный вечер. — Если ты не хочешь...

— Я должен. Ведь ты тоже через это проходил. И Лина говорит, что пора...

— Уроки делать пора, вот что, — женщина вернулась на кухню, — сделай уроки за полчаса, вот это будет трюк. Трюкачи.

Саша подружился с Глебом. Череп жил напротив Березиных в таком же доме-бараке. В бараках почти семьдесят лет назад жили первостроители города. Поселок городские власти сохранили как дань прошлому, живой музей истории. Поселок превратился в маленькую автономию, оброс своими традициями, правилами, ритуалами и совсем не нуждался в поддержке города. Поговаривали даже об избрании своего мэра, так, в шутку.

Глеб видел только два трюка. Оба три года назад. Первый — прыжок со старой пожарной вышки.

— Один конец веревки он привязал к себе, другой где-то там, на крыше, и сиганул не раздумывая, — дрожащим голосом рассказывал мальчик, — его потом с трудом отвязывали, веревки в тело впились до крови, ужас. Он обмочился, кажется. Я далеко стоял, подойти боялся, маленький ведь. Этот трюкач потом вскорости уехал, им квартиру в городе дали.

Второй трюк делал старшеклассник Вова, я тебе его покажу, он проглотил гитарную струну, просунул ее прямо себе в горло, потом вытащил назад. Струна, — тише заговорил вдруг Череп, — вся струна была в какой-то слизи.

— Слизь?!

— Ага. Кто-то, я слышал, ходил по краю Черной скалы, с завязанными глазами, а еще когда-то давно кто-то сделал себе крылья и полетел.

— Браки это.

— Рассказывают так, Сань.

— Далеко улетел?

— Разбился, крыло одно отвязалось. Его могила на кладбище есть, говорят... Ты что собираешься показывать, не придумал? Трюк? А?..

Саша молча смотрел в лужу под ногами, в луже отражалось небо — темно-серое небо. Сидели на лавочке под вечнозеленым плющом у дома Косенковых. Глеб больше ничего не спросил, замолчал. Саша наклонился, заглянул в лужу, увидел свое отражение.

— Придумал что-то, а что, пока не знаю. Но что-то придумал.

Саша потянулся, тронул лужу ладонью, отражение поплыло, он шлепнул по луже, и отражение исчезло. Лужа стала черная.

— Исчезновение.

Саша встал.

— Что? — Глеб поднялся следом. — Что?!

— Я исчезну, — ответил и наступил ногой в лужу.

Зеркал в доме было предостаточно. В коридоре висело самое большое, в полный рост. В спальне родителей два зеркала, на стене у сестры...

Саша дождался, когда в доме никого не будет, и пробрался в комнату сестры.

Зеркала должны быть пусть и не одинакового размера, решил он, но обязательно чтобы одно было в его рост — то зеркало, в которое он будет смотреть. «Я должен видеть себя целиком». Второе зеркало может быть любой формы, хотя бы вот такое, как у сестры — небольшое, квадратное. «Самое то».

— Так раньше гадали, — рассказывала покойница бабушка, — обязательно должны по двум сторонам зеркал гореть две свечи одинаковой высоты.

Сейчас Саша свечей не зажигал. Он встал перед стенным зеркалом и навел на него зеркало сестры. Увидел свое отражение, сначала одно и сразу второе, третье, четвертое... Он увидел себя в зеркальном коридоре —

сумеречном коридоре. Отражение отдалялось, становилось меньше. Легкий наклон зеркала, и очередной, уже крохотный Саша еще немного и исчезнет в темной точке зеркального коридора. В конце того мира — мира зеркального, нереального, потустороннего...

Мальчик закрыл глаза, убрал зеркало.

«Я исчезал. Еще бы чуть-чуть, и...»

— Я бы исчез, — сказал вслух, открыл один глаз. Из зеркала на него смотрело что-то темное. Саша закрыл лицо зеркалом сестры:

— Прочь!

Бабушка говорила, что из коридора может выбраться нечто — то, что живет по ту сторону света.

— Прочь!

Мальчик все так же одним глазом взглянул на стенное зеркало. И увидел себя.

«А что если оно не выпустит меня назад?!»

Классный руководитель 7 «Б» Антонина Вячеславовна взглянула на Березина, приспустив очки:

— Саша, ну зачем? Я, конечно, позволю тебе воспользоваться нашим принтером, распечатай штук десять-пятнадцать афишек, но этот трюк — это, это... Не подумай, я считаю тебя хорошим мальчиком, ты без пяти минут отличник, только идти на поводу...

— Это традиция.

— Я тоже здесь девять лет назад была новенькой.

— Так вы же приехали уже взрослая. Взрослых это не касается.

Учительница не нашла, что ответить.

— Знаешь, это исчезновение с помощью зеркал, Александр, может быть опасным.

Саша вспомнил темную фигуру.

— Почему вы так решили?..

— Я тебе принесу энциклопедию, сам прочитаешь.

Мальчик кивнул.

— И еще, Саша, у тебя ошибка в афише.

Саша перечитал написанную черным фломастером сегодня утром афишу.

— Бесплатно тебя, а тем более всех, кто захочет на тебя посмотреть, в «Вестник» никто не пустит.

— Но ведь трюк — это традиция поселка... Я думал...

Перед тем как идти с Глебом развешивать афиши, Саша зашел к директору Дворца культуры «Вестник». Толстый усатый мужчина напомнил ему кота Базилио из фильма-сказки про Буратино, поэтому мальчик улыбнулся доброй, чистой, мальчугановской улыбкой и, поздоровавшись, протянул директору Базилио распечатанную афишу.

Мужчина взял лист, прочитал, потушил в пепельнице недокуренную сигарету:

— Не люблю, чтобы дети видели, как взрослые курят.

— А мой папа при мне курит и на кухне курит, хотя мама и ругается.

— Правильно делает мама. Все беды от вседозволенности. Вот и трюки эти ваши.

Протянул афишу назад. Саша не решался взять, он спросил:

— Вы мне отказываете?

— Вы смелый молодой человек. Смело. Смело заявить, что вы исчезнете. Я ведь правильно понял ваше вхождение в зеркало? Вы должны исчезнуть?

— Должен.

— Замечательно. Исчезающий на глазах зачарованной публики семиклассник.

Лист афиши лег на стол директора.

— У нас в ДК последнее время, кроме творческих вечеров и редких показов кинофильмов, ничего интересного, поэтому, думаю, почему бы и нет? Только по червонцуслюбопытствующих можно было дернуть, — толстяк лукаво подмигнул мальчику, — а почему бы и нет, поделим по-честному.

— Я-а, я, правда, не знаю, вдруг трюк, вдруг трюк...

— Не удастся?!

— Да, — тяжело выдохнул Саша.

— Знаешь, если ты соберешь полный зал, аншлаг, это уже будет трюк, я тебе обещаю.

Директор-Базилио встал и протянул мясистую большую ладонь мальчику. Саша неуверенно пожал ее.

— У нас есть старенький ксерокс, можешь отксерокопировать на нем, сколько тебе нужно афиш. Знай: чем больше, тем лучше.

— Но ведь вход...

— Вход пусть будет бесплатным. Я, мы, мы здесь организуем свое. Свои ставки.

Он похлопал Сашу по худенькому плечу.

— Давай, трюкач. Буду держать за тебя пальцы.

И Базилио скрестил два толстенных пальца-сардельки.

Это выдержки из краткой энциклопедии славянской мифологии Н. С. Шараповой, которые Саше принесла Антонина Вячеславовна:

«Зеркало — символ «удвоения» действительности, граница между земным и потусторонним миром (поэтому разбитое зеркало, т. е. нарушение этой границы, считается предвестником беды). Особую опасность зеркало представляло в моменты рождения и смерти, когда происходит неизбежное пересечение границы жизни и смерти. Опасность состояла не только в соприкосновении через зеркало с «тем светом», но и в последствиях самого удвоения (посредством отражения в зеркале), грозящего двоедушием, раздвоением между миром людей и миром нечистой силы, превращением в колдуна, ведьму, вампира...»

— Достаточно? — был вопрос классной руководительницы.

Готовящийся стать через две недели трюкачом мальчик вернул исписанный красной пастой лист женщине:

— Спасибо.

- Родители знают?
- Весь поселок знает.

Она посмотрела, как всегда, как на всех, приспустив очки:

— Ты совершаешь ошибку, Березин. Делает шаг по кривой дорожке. Оттуда не возвращаются.

Саша громко сглотнул:

- Я не боюсь.
- А надо бы.
- Откуда «оттуда» не возвращаются?
- Увидишь.

Она вырвала из его ладони свой вечерний труд в десять строк. Подняла очки. Ушла. Хлопнув дверью учительской.

Конец сентября в поселке. Дожди и ожидание. Грязь. Ранний листопад, депрессии. Алые гроздья рябин по глазам, и мокрые, плачущие черным афиши необыкновенного представления. Скоро. Осталось три дня.

В школе шушукались. Завидовали. Сторонились. Вторым Копперфильдом называли. «Смотрящие», особенно Руслан, друг сестры, интересовались, не опасен ли трюк? Не попадет ли кому потом? Вдруг? Мало ли что?..

— Сможешь вернуться? — спросил как-то отец и крепко прижал. — Что молчишь?

— Я постараюсь, папа.

Березин Николай Дмитриевич почувствовал страх. Он вдруг испугался за сына.

— Может, я тебе тайком дам триста рублей или сколько там нужно?

Сын улыбнулся:

— Мне то же самое по секрету мама пообещала вчера. Говорит, еще сверху на нужды мне всякие даст, если я брошу эту затею. Только это не затея. Я знаю, папа, если я это не сделаю... Я должен попробовать. Столько людей ждут этого, этого... чуда.

— Но это не чудо. Время чудес миновало. Это фокус, иллюзия, аттракцион, фикция, обман, разве не так? — тараторил расстроенный отец.

— Нет. Нет, па. Это чудо. Колдовство.

— Мне страшно за тебя, сына.

— У меня должно получиться. Ты ведь сам говорил, какой трюк без риска.

— Но чудеса-то рискованными не бывают.

Еще одна репетиция. Вторая. За день до представления. Саша зажег бра в коридоре. Смотрит в зеркало. Все тот же коридор, и он в нем, отдаляющийся. Все дальше и дальше... Впереди точка темноты, в которой он должен пропасть, исчезнуть.

«Попробовать сейчас?» — думает он.

Из точки что-то отделяется. Темное. Оно быстро приближается, и Саша знает, что если он не перевернет сейчас зеркало в руках темной стороной, то...

Он больше не видит свое отражение в зеркале на стене. На него смотрят такие привычные, такие родные, любимые глаза... Он давно их не видел. Лет пять точно.

— Бабушка?! — шепчет Саша и протягивает к покойной бабушке руки. Зеркало падает на пол.

Темнота.

— Я запрю его дома, никуда он не пойдет, — кричит мама Саши, Анастасия, — у него жар, если ты хочешь знать.

— До вечера завтрашнего дня еще целых, целых... почти сутки, поправится, — отвечает тише Николай, — мы не можем его не пустить. Это как убить мечту. А это у него больше чем мечта. Это его чудо. Понимаешь? Чудо. Он сам его придумал.

— Да, конечно, только я не хочу потерять сына. Я завтра сама пойду в этот ДК и все всем расскажу. Что? Куда? Зачем? Я там такой трюк покажу, на всю жизнь запомнят!

— Мама! — включается в беседу на повышенных тонах Лина. — Он должен. Ему надо повзрослеть.

— Я смотрю, и тебе бы повзрослеть не мешало.

Саша очнулся. Он у себя в комнате. На столе разбросаны чертежи его трюка, ему видно с кровати еще кусок зеркала. Зеркала из комнаты сестры.

«Слава Богу, не разбилось».

Он слышит:

— Его все будут считать за лоха, у него еще вся школа впереди, а ты?!

— Вот будут у тебя дети, тогда посмотрим, как ты заговоришь!

— Настя!

— Не кричи на меня, Коля, я сказала, и все!

— Он пойдет!

— Да, мама, это ты «хватит». Хватит!

— И ты не ори на меня, соплячка!

— Я-а, да я-а...

Хлопает кухонная дверь.

— Сашенька, — всхлипывает женщина, — а если мы его потеряем?..

— Ну хватит, Насть, Лину зачем-то обидела...

— Ты же знаешь, как сильно я его люблю.

— Мы все его любим.

— Как я тяжело его рожала, ты знаешь...

Плач, смешивается с журчанием воды из-под крана.

— Мы не будем ему мешать, — говорит отец, — он нам потом всю жизнь не простит.

— Я тоже вам всю жизнь не прощу, если с ним что случится, — Анастасия кричит, — не прощу!

— Он справится.

«Я справлюсь».

Саша закрывает глаза и не видит, как из зеркала на столе за ним подглядывает белый глаз луны.

Первое октября. От афиши на столбе у Дворца культуры после ливневых дождей осталось немного: «Трюк... изменит ваше мире!.. п...устите! Саша в зеркало. 1. 18...сов. зале...ход бес...»

Так было там написано.

Семья Березиных собиралась молча, и все — по отдельности.

В обед Саша с Глебом утащили зеркала во Дворец. Бра обещал достать и протянуть на сцену директор-Базилио.

— На тебя уже столько человек поставили, — потрепал он за щеку мальчика, — можешь спокойно не исчезать, все равно мы в выигрыше. Уж поверь мне, старому бывшему картежнику. Азарт у меня в крови.

— Деньги мне не нужны.

— Деньги нужны всем, малыш, впрочем, как сам пожелаешь. Ну-с, в половине шестого жду тебя за кулисами. За сценой. О зеркалах мы позаботимся, будут стоять в самом лучшем месте, видно будет всем.

Есть не хотелось, до пяти вчера он сидел в своей комнате и смотрел на чертежи.

«Трюк должен удался».

— Ты, если боишься, что не сможешь вернуться, привяжи к зеркалу один конец бельевой веревки или лески, как эта, нить Ариадны как будто, — советовал Череп.

— Уже не боюсь, — Саша был серьезен, — то, что должно случиться, то случится. Так моя бабушка всегда говорила.

Помолчали.

— А еще она говорила мне: «Будь что будет».

— А меня только подзатыльниками дед «кормил», я свою бабульку даже на фотках не видел.

— Такое разве бывает?

— Поживи в моей семейке, еще не то увидишь. Кстати, батя говорит, что ты никуда не исчезнешь, что в полу будет люк или вместо зеркала дверь.

— Дурак твой батя.

— Он не дурак, он алкаш. Ладно, пойду собираться.

Хочу прийти пораньше, чтобы в первый ряд попасть. Ходят слухи, что весь зал уже выкуплен. Мои тоже ставку сделали.

Саша не стал интересоваться «за» или «против», он сказал другу:

— Увидимся, — и пошел по направлению к дому.

— Уверен?

Канонадный раскат грома над поселком перебил ответ Александра.

«Трюк — слишком неподходящее название для моего номера, скажу всем я со сцены — это и не номер вовсе. То, что вы сейчас увидите, это — чудо».

Только этого он не скажет перед забитым — не пройти — залом. Он выйдет на сцену, одетый в брюки и красно-черный свитер, в простых кроссовках, увидит глаза людей, сотни, тысячи глаз, и ничего не скажет. Он вспомнит, как мама сказала, когда он уходил из дому:

— Иди, обниму тебя на прощание.

Вспомнит, как она обняла его и на ушко прошептала:

— Если что, я за тобой приду. Не бойся.

Она поцеловала его.

Отец пожал руку:

— Мы будем смотреть на тебя и гордиться. Трюкач.

Ни пуха ни пера.

Саша не ответил.

Сестра Лина была с Русланом. Руслан обнадежил:

— Как бы не прошел твой трюк, ты «нашенский».

И отвесил легкий подзатыльник.

— Русик, — пропищала сестра и чмокнула младшего брата в щеку, — ничего не бойся, Сань. Мы тебя в обиду не дадим. Да и трюк-то плевый, — она подмигнула ему, — ты сам мне говорил, нет?

Брат кивнул:

— Конечно.

Вспомнил бабушку.

«Я видел ее тогда в зеркале, точно видел».

Базилио зачем-то второй раз представил его. Он кричал, надрываясь, в микрофон:

— Исчезновение в зеркале. Такого вы еще не видели! Впервые и только у нас! Трюк, который изменит ваше представление о мире! Саша Березин на ваших глазах войдет в зеркало!

На этот раз музыку сменила барабанная дробь, знакомая многим, кто бывал в цирке.

Саша не стал искать знакомые лица в зале.

Была команда:

— Свет в зале!

Зал погрузился в полнейшую тьму.

На сцене у большого настенного зеркала из коридора Березиных вспыхнуло два светильника.

Мальчик-трюкач поднял зеркало сестры и уверенно шагнул, и встал между «свечей».

Он увидел себя в зеркале. Увидел коридор. Все было без изменений. Он видел все ту же черную точку, в которую должен превратиться, уйти, войдя в зеркало.

«С зеркалом в зеркало?»

Шаг.

Зал притих. Тишина. Ни дыхания. Ни скрипа. Ни звука.

Третий шаг. Он почувствовал, как коснулся костяшками пальцев холодной гладкой поверхности зеркала. Черная точка приближалась. Еще шаг, и он встретится с ней.

Трюкач коснулся лбом стекла.

Два зеркала коснулись друг друга, неприятно скрипнули.

Зал вдохнул.

Трюкачу осталось сделать один шаг.

Трюкач его сделал.

Зеркало разбилось.

Зал исчез.

## ШНУРОК

Не давал покоя Федьке Свистуну поклонный крест с самого дня его появления.

— А это тютелька в тютельку третий год, с августа четырнадцатого, — загибал длинные мозолистые пальцы мужчина. — Революционер я или кто, в конце концов?!

Привычные слушатели, собутыльники в пивной, кивали, хлопали по спине с неподдельным сочувствием:

— Революционер, еще какой революционер, всем революционерам революционер!

— Свистишь, точно как Троцкий, — полушепотом говорили остальные сельчане, зная нескладный, бунтарский характер Фёдора еще со школы, когда он бросился с кулаками на физрука за то, что тот нелюбезно высказался в адрес Свистунова-старшего.

Отца Федька не любил (уж больно тот пил, как не в себя, и колотил домашних, вплоть до кота), но и говорить про родителя гадости никому не позволял.

— Не из революционной породы батя — кто же его защитит, если не я?! — вздыхает гулко единственный сын, а голос словно из бездны. — От слабости квасил и колотил нас, когда кулак мог сжать, тоже от слабости, а теперь рюмку самогонки и ту расплескает, пока до рта донесет. Как мамка преставилась, так и батя за ней ушел — живым мертвецом ходит-бродит, одно только знает — глотает горькую и горькой запивает.

Чаще же всего «революционеру» не с кем поговорить. На работе с утра до вечера токарит, ни рук, ни глаз не жалея, вечером в пивнушке — уже залитые до краев дружки и теплое пиво. Топают Федька до дому, опустив низко голову, придавленный небом (где нет места Богу, лишь птахам свободным) и величественным шестиметровым крестом, что в устье реки

Ирмени, сразу за селом. И крест поклонный, чуется Федьке, давит на него потяжелее небесной громады. Гнет головушку так, что колени прогибаются.

— У! — замахивается всякий раз человек, проходя мимо места последней битвы сибирских казаков с ханом Кучумом.

Именно в честь этого события да в память о начале присоединения Сибири к России возвели сей ненавистный Федьке мемориал. Помнит тот августовский день Свистун: с явлением епископа народу, щелканьем затворов фотокамер, молодыми казачками с флагами, песнями и плясками, с реконструированной сценой стрелецкого боя...

Но в сердце раной осталось совсем, совсем не это.

В ночь на двадцать первое августа мама уснула и не проснулась.

— Хорошая мамка у тебя была — тихая, кроткая, мирная, воти ушла так, — разбавлял самогон слезами отец. — Ангелом земным была. Вот и упорхнул наш ангел раньше времени, оставив нас, чертов рогатых, кипеть в нашем собственном, рукотворном аду.

Сын не слушал отца, вцепился в край стола до синих ногтей и, если б из-под ногтей не брызнула кровь, вырвал бы, как пить дать, кусок деревянной столешницы. Кровь не отрезвила, боль не привела в чувство.

— Да лучше бы это был ты! — заорал в помятое бордовое лицо родителя, выхватил стакан с алкоголем, заправленным отцовскими слезами, и впервые в жизни проглотил зеленого змия, проглотил залпом и не поморщился.

Змий тоже не помог.

— Мерзкая гадюка только шипеть и может — когда не шипеть, а дела делать надо, — революционно размышлял Свистун.

Кличка прицепилась сразу, с детсада; в армии Соловьем-разбойником звали, с уважением звали, пряча

глаза; а вернулся в село — Соловья ощипали родные односельчане, знающие его как облупленного, вновь до привычного Свистуна.

— Знаете-то знаете, да внутрь не заглянете, значит, не все-то и знаете, — грозно поговаривал Федька, глядя исподлобья страшным взглядом.

Не любила мамка его этот взгляд, отмахивалась, крестила. Федька отмахивался от материнского крестного знамения:

— Ма, ну перестань меня этим самым святить. В семье у нас ни один мужик в Бога не веровал, вот и я. Да и какой может быть Всевышний в наше-то время? В себя никто не верит, а уж в Бога подавно!

— А ты, сынок, в кого веришь? — Голос матушки — пушинками в уши и на душу.

Хмурится сын:

— Ну как? В тебя верю.

Мать улыбалась чище самого солнечного света:

— А еще в кого?

— В революцию! — выпаливал не то в шутку, не то всерьез Федька. Революция для него лишь слово, ограждающее от Бога, от всего непонятного, чужого. На любое посягательство извне Свистун отвечал однозначно:

— Революция все поправит.

Начиная с забора, завалившегося на заднем дворе, гулящей соседской девки Машки и кончая повышением пенсионного возраста и состоянием страны в целом.

— Революция все решит, исправит, расставит по местам! А верить в Бога — как сказкам верить. В ту же Бабу-ягу с Кощеем или домового с Дедом Морозом!.. Ну что даст такая вера?

Вздыхала матушка:

— Так ведь без Бога ни до порога, сынок...

И сын демонстративно перешагивал порог дома.

Мать вслед незаметно крестила, снова и снова.

О той самой битве, на месте которой крест черной птицей возвышается, маленькому Феде рассказывал дед — путаясь, привирая, чадя вонючей папиросой, кашляя через каждое слово и матерясь.

— Бились там, кхе-кхе, где Ирмень в Обь впадает, значит, воевода Андрей Матвеевич Воейков с отрядом из стрельцов да казаков, да служивых татар, бились с войском собаки хана Сибирского ханства Кучума, что пятнадцать лет продыху нам не давал, оторви и брось. Кхе. Был указ самого царя Бориса Годунова, — желтым от курева указательным пальцем, как царским перстом, махал дед перед Федькиным носом, — сыскать становище Кучума и изничтожить к едреной матери, ибо мешал сучий сын Кучум продвижению Русского государства на восток. Ну, и Божьим милосердием и государевым счастьем, так сказать, не своими словами, побили хана, крюк мне в дышло, к полудню двадцатого августа. Кхе-кхе. Полдня с небольшим секлись. Догнали и тех татарских всадников, что из окружения вырвались, обожги их кипятком. Тут и битве конец, а Кучума самого ни среди живых, ни среди мертвых-то и не нашлось. Слинял, песий хвост. Чтоб я так жил. А в плену у нас его жены, штук восемь, с гарема, да сыновей с пяток, князей и высших сановников всяческих. А вот Кучума след простыл. Мож, в водах Оби сгинул, морда, так туда ему и дорога. Кхе... Так вот с той поры, — вновь желтый перст тычет внуку в нос, — объявился в наших краях синий конь.

Вот тут дедово воображение, подогретое свекольной настойкой, разыгрывалось не на шутку. И веселых матюгов становилось больше с каждым новым витком фантастической истории про коня, вернувшегося за своим потерянными раненым всадником на поле боя.

— А увидеть его можно в оный день Ирменского сражения и нынче, ибо не нашел конь хозяина своего, забодай тебя блоха.

Кимаря, дед рассказывал историю, как они с другом, еще задолго до войны, отправились караулить синего коня на холм, где сосна да береза только и росли. Натянули вожжи, забрались на деревья, стали ждать. Да вот беда, заснул дед («чтоб мне пузырем лопнуть, чтоб век ничего крепче кваса не пить»), а поутру дружок, ехидина сопливая, поведал о встрече с синим конем. Будто среди ночи явился блестящий туман, послышался шум, грохот, крик людской, стук копыт и звон оружия — то эхо минувшего сражения. Вдруг из тумана серебристого — с диким ржаньем конь невероятно синего цвета, грива волной струится, копыта бьют, искры голубые летят. А сквозь коня события тех давних дней видать — прозрачный конь. Почуял тут конь дух человеческий, рванул и налетел на вожжи, и разорвал их в клочья, и заржал горько, и растворился с туманом.

— Бреешь, говорю ему, сопляк. А он мне куском вожжи по роже — хрясь. Эт потом я смекнул, что наверняка, подлец, ножичком их.

Дед засыпает. Внук дергает старика за усы:

— Почему конь синий, а не красный, деда?

Мычит, кряхтит дед сквозь дрему свекольную:

— Поди да узнай почему, глазопялка.

— Куда пойти? На холм? К реке?

Храпит вентилятором испорченным дед, аж воздух дрожит. Махнул рукой внук, дернул еще раз деда за ус и никуда не пошел.

Ни до речки, ни до холма за селом Федька так и не сходил на поиски синего коня: не верил в сказки Федька. В сражение и хана Кучума верил, в дедушкины ранения и деревянную левую руку верил, в войну, на которой эту самую руку дед потерял, верил.

Когда спрашивал про войну, дед поглаживал протез, бурчал всегда одно и то же:

— Победили.

Федька Свистун гордился, что пошел в деда, сравнил лицо с желтых, отцветших фотокарточек со своим лицом на цветных глянцевых фотках.

— Копия, — самоутверждался. — Ну вылитый!

Отец соглашался, говорил:

— Знаешь, у твоего деда в военном билете запись была, печатью на всю жизнь: «Безбожник». Вот и этим ты в него — ни в Бога, ни в черта с пеленок не веришь. Даже в Деда Мороза не верил и в зайчика, что гостинцы передавал.

Свистун воспринял это как комплимент, гордо взглянув в окно на синее, как выдуманный конь, небо:

— Безбожник.

Свистунов-старший же после смерти жены собрал ее иконки и все спрятал себе под подушку. Все чаще с пьяных уст слетали слова о Божьем прощении, принятии, покаянии, Божьей милости.

— Слабый отец, — отвечал на отцовские молитвы сын и поспешно уходил в мастерскую на заднем дворе работать над своим тайным революционным проектом.

Визжал наждак, стучал молоток, скрежетали напильники, кричало железо...

Это похороны мамы. Все село вышло на дорогу. Идут ровными рядами к катафалку и автобусам. Плачут люди, плачет небо — морозящим дождем, плачет солнце — мягкими теплыми лучами, плачут птицы — молчанием. И лишь поклонный крест, огромный, непоколебимый, не плачет. Смотрит с величественной высоты, и кажется Федьке: улыбается, потешается крест над копошащимися внизу людишками.

А как Федька вошел в тень креста, так и увяз в растаявшем под ним асфальте, провалился по пояс, и трясина потянула ниже и глубже... Барахтается Свистун, а кричать не может — нельзя, не полагается на похоронах. Одно слово «мама» в голове волчком вертится. Высвободил Федька руку из черной каши, а ухватиться

не за что, шарит рукой по воздуху, и вдруг — что такое? — крест вслед за асфальтом тоже мягким сделался, согнулся над тонущим человеком, подставляет спасительную перекладину. Оттолкнул от себя руку помощи Свистун, оттолкнулся от креста и провалился во тьму, полную криков, плача, хроста, стонов и скрежета зубовного...

Проснулся мокрый, будто и впрямь куда окунулся, пот холодом обжигает, с простыней хоть воду выжимай, сердце под кадыком колотится, и на душе, как три года назад, тоска кровавая — ложись и не дыши.

— Плохой сон.

Поднялся Федька. Тревожно скрипят половицы, готовые в любой момент расплавиться под ним; чайник на плите взволнованно загудел; утро серое, неприятное давит на окно беспокойством и паникой.

У Федьки тишина всегда вызывала панику — хочется зашуметь, застучать кулаками, затопать, только бы испортить, нарушить эту тишь, смерти подобную. В такие моменты Федька начинает свистеть. Свист рождается из глубины его беспокойного, бунтарского сердца, проносится по гортани к губам, врывается в мир соловьиной, доселе не слышанной трелью. Иногда свист подобен ветру из затерянных краев, иногда плачу неведомых существ, чаще это долгий и пронзительный крик о помощи, жадный вопль перемен...

— Не свисти, все деньги и все на свете просвистишь, — бранилась мама.

— Или досвистишься до Бога, — пьяно ерничал отец, — или до черта.

В детстве Федька послушно переставал. Теперь же засвистел, не боясь разбудить отца в спальне, свистел по дороге на работу и у токарного станка, нарезая резьбу за резьбой, свистел, не обращая внимания ни на шутки ребят из цеха, ни на угрозы бригадира. Свистел.

— Хочешь быть услышанным всеми — свисти, — у самого уха знакомый женский голос.

Это Люба из столовой — маленькая, пухленькая, стеснительная. Когда он смотрел на нее, она всегда краснела и не знала, куда деть непослушные руки.

Выключил станок Федька, обернулся, снимая защитные очки.

— Да это так, баловство, — сказал и тоже покраснел.

Федька долго избегал встреч с Любой, считал, затаила она обиду на него из-за старшего брата. Его Сви-стун поколотил как-то под Новый год, за то что про-шлую жизнь ругал, память предков.

Люба подошла первая, попросила просверлить от-верстия в самодельном дуршлагае.

— Сыну, Павлуше, по труду задали, — оправдывалась женщина, заламывая белоснежные руки, — а у меня ни гвоздя в доме, ни молотка.

Сегодня она протянула Свистуну кусок пирога на та-релке, завернутой в целлофан.

— Нам с Павликом много на двоих, а ты, смотрю, на обед не пришел, вот и...

И Люба впихнула тарелку в чумазые руки мужчины, торопливо ушла — до того, как щеки запылали румян-цем. Ленька-слесарь, наблюдавший всю картину, осто-рожно присвистнул. Федька показал слесарю кулак.

Утренняя тревога, заеденная яблочным пирогом, на время притаилась. Звонок об окончании смены разбу-дил ее. Заметалась тревога, замутила голову Федьке до тошноты.

Ленька позвал в пивнушку:

— Пару кружек опрокинем, за жизнь побалакаем. — Отметив нулевую реакцию, соблазнительно добавил: — Может, морду кому набьешь. Революцию замутим местного разлива, — хихикнул.

— Не, я до дому. Чуйка с утра ноет, как бы батя чего не натворил.

Серьезность в голосе токаря заставила слесаря рети-роваться.

— Тогда в другой раз, — сказал Ленька, где-то глубоко, на уровне подкорки, чувствуя: другого раза не будет.

Отца нигде не было. Федька на сто рядов обошел дом, двор, стайки, мастерскую, даже в «черную дыру» уличного туалета заглянул. Сжимая кулаки, скрипя зубами, в огне мыслей — что-то случилось, что-то нехорошее! — на улице, вокруг пивной и магазина.

— Батю не видели?

— Не, не видели!

За школу, через стадион, к лавочке, где отец частенько выпивал со стариками.

— Что-то отца найти не могу, не появлялся здесь?

Старики-пьяницы дружно открестились: не было, нет, не приходил. И тут кто-то:

— Видел его после обеда, ага. Сказал, молиться пойдет. Все дружно загоготали.

Свистун угрожающе нагнулся над пьянчугами. Пьянчуги дружно вжали головы в тощие тела как один, зажмурились. Федька сплюнул.

Поклонный крест раскроил сознание — черной туалетной дырой, кровоточащей раной... Пока бежал за село, гроыхая наспех напыленными тяжелыми сапогами, сын вдруг осознал, что никогда в жизни не называл отца папой. Батя, родитель, отец, предок, старик, шнурок, пахан — и никогда-никогда! — папа.

Все тот же крест резанул по глазам, ослепил. За много метров сын увидел свернутого калачиком отца в канаве, в пыльной траве, на повороте к центральной дороге к поклонному кресту.

Отец не дошел до желанного места, не помолился. Он потерял равновесие и скатился кубарем вниз.

— Батя, батя, ну что же ты?

Сын поднял осторожно родителя на руки, легкого, невесомого, как травинка, пушинка, пылинка. Отец

открыл глаза, открыл рот, не произнес ни звука; слеза обожгла щетинистый скуластый подбородок сына. Тот крепче прижал отца к себе, сердцем слыша его боль, надлом, рану.

— Все будет хорошо, батя, ты, главное, это, не засыпай давай и крепись — выберемся.

Сын говорил не замолкая все то время, пока шел по шоссе в сторону города с отцом на руках, говорил до первой остановившейся машины.

— Блин, я подумал, с ребенком. — Бритоголовый водитель растерянно выбрался из авто, растерянно открыл заднюю дверь. — Подумал, ребенка несешь, понимаешь? Машина сбила на дороге, подумал. А тут...

Федька, укладывая отца на заднее сиденье, сказал лишь:

— До больницы.

Сел рядом с водителем сын, обернулся на крест вдалеке, черный знак, росчерк, метку его судьбы на зелено-голубом фоне августовского пейзажа.

Сплюнул и захлопнул дверцу.

— Поперечный перелом крестца, смещение шейных позвонков, сотрясение мозга...

Врач рассказывала о лечении, анальгетиках и блокаде, неврологических осложнениях, массаже и витаминном комплексе. Федька кивал, угукал, со всем и вся соглашался... Диагноз — поперечный перелом крестца — сложился в нем крестом, поднялся с низа живота, пронзая желудок, сердце, дальше по горлу, воткнулся в небо — ни вздохнуть, ни пошевелиться. Открой он сейчас рот — и врач, уверен Свистунов, увидит черную блестящую верхушку креста.

— ...злоупотребления, возраст, сами понимаете... Уход и еще раз уход.

— Да, да, да, все сделаю, — не разжимая губ. — Я попытаюсь все исправить.

— Исправить все вряд ли...

Мужчина не дал женщине договорить, поднял руку, как школьник:

— Можно я завтра приду? Сейчас мне надо позарез.

Врач закивала:

— Конечно, идите. Ваш отец под успокоительными как минимум до утра проспит.

И Федька встал, закатив страшно глаза, перебирая и хрустя костяшками пальцев в предвкушении суровой, страшной битвы. «Похлеще Ирменского сражения». Лишь на миг взгляд подобрел, когда пальцы сжали костлявую холодную ладонь отца.

— Я все исправлю и завтра вернусь, обещаю, папа.

В ответ ладонь приятно потеплела.

Вышел из больницы Федька, посмотрел на темнеющее небо, набрал в легкие вечерней прохлады, привычно сплюнул и побежал. И бежал бы, нисколько не уставая, до самого села (злость, месть, ненависть всегда придают человеку силы, делают его на время бесстрашным, безумным, бессмертным), да подвернулась попутка.

Разговорчивый водила говорил за себя и за пассажира, а под конец, подъезжая к селу, выдал:

— Крест на Сибири поставили. Чего уж — на России крест стоит! Куда ни глянь, всё в крестах!

Свистун молчал. Слова — это не для него. Слова расслабляют: начнешь говорить — не выполнишь задуманного. Лающая собака не укусит. Мечь не любит разговорчивых. Мстить надо со свистом, присвистывая любимый мотив. А слова — лишь сотрясение воздуха, мыслей, чувств.

Мимо дома, бубня: «Так и знал... как чуял... немного еще осталось... почти готово... только наточить ребра...» Прямоком в мастерскую, плотно закрыв дверь. И загудело, застонало, загрохотало все внутри

железным лязгом, стенанием, криком... Час, другой, третий — и музыкой стала песня металла. Для уха Федьки самой прекрасной мелодией на свете. Мелодия революции. Песнь отмщенья.

В свете растущей луны, в наступившей с последним звоном тишине вышел Федька из мастерской с самым настоящим, как есть царским скипетром в руках. Мечта детства — металлическая дубина с шестью острыми пластинами-перьями, пернач, шестопер. Рисунок Федя увидел у деда в бумагах. Дед отнекивался, дескать, знать не знает, что это за такое и как у него оказалось. Но внук видел этот огонек в дедовских глазах! Так в людях горят мечты. Горят и сгорают.

— Вот, дед, взгляни, — поднял Свистун к звездному небу шестопер, покрутил, показывая каждое из ребер булавы. — Мой подарок тебе и этому миру! Потому что мечтам гаснуть нельзя!

По небосводу, мерцая, ползет спутник, крохотное сердце огромного космоса — именно так и ощущал себя Федька. Но с таким орудием в руках он больше, чем просто точка.

— Пришло время революций! Время правды! Время мести! — махал шестопером Федька. — Посмотрим, кто кого! Слышишь? — Он прокричал это в сторону поклонного креста. — Готовься, я иду сразиться с тобой!

Тишину августовской ночи пронзил металлический лязг и грохот: это Свистун по дороге к месту битвы тренировался, сбивая и круша своим чудо-шестопером урны, железные столбики, все, что попадалось под руку.

Выйдя на главную дорогу к намеченной цели, засвистел так сильно, как мог, чтобы слышало небо и звезды, а особенно та еле заметная песчинка-спутник. Со свистом Федька зашел в ограду мемориала — верной дорожкой из плит к кресту, сливающемуся с темнотой.

— От меня не спрячешься. Правда должна восторжествовать! И восторжествует!

Свист стал еще громче, еще яростней. Свистун прыгнул на каменный постамент, занес булаву над головой, целясь в основание креста, сплюнул — и небо над ним, вместе со спутником-точечкой, взорвалось мириадами падающих звезд.

Удар.

Рассказывают (особенно это любят делать бывшие дружки-собутыльники Фёдора Свистунова), что когда в ту роковую для него ночь Фёдор ударил первый раз по кресту, то услышал эхо давно минувшей битвы и вокруг него развернулось Ирменское сражение.

— Окропленный кровью зарубленных воинов, обливаясь чужим потом, в пыли и пепле битвы, он ударил второй раз. Вот тогда и отскочил его шестопер, вылетел из рук кеглей игральной, — по секрету рассказывает слесарь Лёнька. — Смотрит Фёдка: что же смогло остановить его несокрушимую булаву? А перед ним конь синий, это он подкову свою подставил. Не веря глазам — не сон ли это? — революционер наш схватил за синюю гриву коня. Взбрыкнул конь и понес Фёдку в неведомые места, где прошлое и будущее встречаются. Чего уж увидел там Свистун, одному Богу известно. До рассвета носил революционера синий конь по мирам всяческим...

— Очнулся Фёдка с первым лучом солнца у подножия креста, встал на колени и помолился. И первая молитва в его жизни, а годков ему — ровно Христовых, сделала из него другого человека. Уверовал Свистун. — Тут бывший Фёдкин собутыльник крестится. — Женился на Любе из столовой, у них уже двое ребятишек народилось. Отца лекарствами и молитвами откачал. Бегаёт до сих пор старикан, горькую, правда, уже не так попивает, но и не бросает это дело. Хотите — верьте, хотите — нет, а так все и было. Мне сам Фёдка в первые дни, пока шибко верующим не стал, рассказал. А за рассказ купите пол-литру.

Павлуша, старший сын, еще не называет Фёдора папой. И отцом не называет, не называет батей, предком, шнурком, стариком... Фёдор понимает — сам такой был! — время назовет все своими именами и даст всему названия. Время.

Павлуша же часто спрашивает про синего коня, особенно перед сном:

— Правда, дядь Фёдор, что ты встречал его, коня синего, когда на крест с булавой ходил?

Светло и чисто, совсем как любимая матушка, улыбается Фёдор и крепко сжимает в кулаке нательный крестик на необыкновенно сверкающем синем шнурке.



## **КОВЧЕГ**

### **(ВОДА СТИРАЕТ КАМНИ)**

Воды не было. Ни холодной, ни горячей. Маша не видела привычного объявления на подъездной двери, потому что не было никакого объявления. Воду отключили без предупреждения.

Утро, пасмурное, холодное, началось с непрозвеневшего будильника. Секундная стрелка нервно подергивалась за стеклом на циферблате, в точности как левый глаз мужа Гены, это у него нервное, с детства, как он говорит. Утром же, в половине девятого вместо семи, то и дело, ударяясь головой о пластмассовый плафон люстры, высокий и тощий Геннадий метался по кухне, собираясь на работу:

— Блина мать, первый раз не завел на сотовом будилку — и на тебе, — налил неуспевшей закипеть воды в кружку с двумя ложками растворимого кофе, — а сегодня еще день такой.

Маша не стала спрашивать «какой?» Наспех наложила в банку вчерашней жареной картошки, мужу на обед.

Муж отхлебнул кофе, выплюнул назад:

— Да что это за утро сегодня?!

— Батарейка села, — сказала Маша, — и воды нет.

— Какая, к черту, вода...

Кружка возглавила гору посуды в раковине, Гена схватил приготовленный женой пакет, впрыгнул в кроссовки и уже через минуту бежал, наступая на шнурки к автобусной остановке.

У Маши сегодня с утра окно, и в школу ей ко второму уроку. Черчение у 7 «А» класса. Любимый класс Марии Игоревны, она с этими ребяташками с первого класса, с первых уроков рисования. Дети, за редким

исключением, любят Марию Игоревну. «Она добрая и красивая», — говорят девочки. Мальчишки соглашались: «И не кричит никогда, если что сотворишь».

В начале десятого воды все еще не было.

До школы Маше идти ровно две минуты неторопливым шагом, наслаждаясь пестрыми, золотыми красками сентября. Сегодня младшеклассники будут рисовать собранный ею по дороге на работу осенний букет из листьев и одной еловой веточки с шишкой.

По вечерам пятницы Мария Игоревна на добровольных началах ведет изостудию — единственный факультатив в поселковой школе №21. Вот и сегодня Маша спешила домой в седьмом часу, Гена обычно по пятницам пил пиво с коллегами компьютерщиками, и у нее было время приготовить ужин.

На второй этаж, перепрыгивая через ступеньку, достала ключ, и, поворачивая его в замке, Маша поняла: воду дали. Она встретила ее, чавкающим звуком пролившись через порог на парусиновые туфли.

Муж появился в дверях пьяный и довольный, когда за окном было темно, Маша не посмотрела на часы, она выливалась в унитаз пятидесятое ведро мутной воды:

— Не считая двадцати тазиков, — сдерживая слезы, пищала, — на руки посмотри, — показала сморщенные гусиной кожей распухшие ладони, — даже в зал вода затекла: из-под книжного шкафа два ведра вычерпала...

Гена пыхтел, слепо осматриваясь, разводил руками.

— Мы точно затопили нижнюю квартиру, — испуганно прикусила уголок полотенца, им она вытирала вспотевшее лицо и волосы.

Муж, все, что смог сказать, это икнуть.

Маша шлепнула его полотенцем по плечу:

— И ты еще, какого лешего, напился.

Гена снова икнул.

Жена чихнула:

— Ой, нельзя мне заболеть, начало года, — и в очередной раз проверила краны с водой на кухне, а потом в ванной.

В полночь открыла банку тушенки и под храп мужа из зала съела всю. Подходила к двери каждые полчаса прислушивалась. Ждала неизвестно чего. Хотя известно — за все надо платить. И если судить по вздувшемуся на кухне линолеуму, воды к соседям снизу набежало немало.

Легла в спальне, долго ворочалась, морозило, поэтому укрылась с головой и попыталась представить успокаивающий осенний лес — желтый с рябиновыми вспышками и елочными иголочками...

Лес шумел морем деревьев, Маша повторяла и повторяла это словосочетание, пока над лесом не поднялась, закрыв солнце, волна.

Это самое страшное, чего она боится после религиозных фанатиков, — цунами.

Его она видела лишь по телевизору, и оно всегда будило в ней первобытный испуг. Мощь воды поражала, Маша невольно, инстинктивно, отстранялась от телевизора, закрывала глаза. Во снах это волна появлялась нечасто, ее запомнила Маша со школы, в первый раз она приснилась в день, когда Маша узнала о разводе родителей, потом перед выпускным экзаменом...

Волна появлялась и в отсутствие моря. Она могла возникнуть перед школьной доской, на которой Маша рисовала задание на сегодняшний урок, или в спальне забурлить и восстать вместо зеркального трюмо. И всегда перед важным событием в жизни, переломным, решающим...

Маша успевала заметить водоросли и рыб, прежде чем побежать от волны. Но сегодня в грязной серой воде ее привлекло что-то белое, чистое, знакомое...

Лес притаился, затих в ожидании конца. Маша впервые не убежала, она шагнула к воде.

«Кукла», — подумала, когда нечто вновь показалось в волне, промелькнуло, Маша увидела пупса, в точности как у нее был в детстве. Она боялась игрушки из-за ее натуралистичности, всячески избегала не то что прикасаться к пупсу, смотреть в голубые пластиковые глаза не могла, не вздрогнув.

Кукла в волне закричала. Это был не крик — вой воздушной тревоги, и Маша проснулась, мокрая от пота и с температурой.

По субботам в школе доделывали, что не успели за последний месяц лета, а именно красили мастерские, в которых занимались мальчики на уроках труда.

Мария Игоревна помогала, а в последние недели ей просто очень нравился запах краски.

— И я не могу подвести Виктора Константиновича, Гена, — Маша выпила таблетку парацетамола, — спать толком не спала еще из-за потопы. Смотри, может, сегодня снизу кто пожалует...

У Гены болела голова, он молчал и даже не кивал по обыкновению.

Маша говорила:

— Ты, если, кто придет, не хами, как ты любишь, это наша вина...

Муж молчит, соглашается.

— Явно же до обеда проваляешься, есть ничего не будешь, а приду, приготовлю супчик...

Проверила краны, наказала и мужу смотреть:

— Мало ли что... — чмокнула его в небритую щеку, — я тебя закрою, отдыхай.

На прощание еще раз взглянула на вздутый линолеум на кухне, вздохнула.

В подъезде тихо спустилась на первый этаж, квартира б, за железной дверью тихо, Маша прислушалась. Слышно, как стучит сердце в больной голове. Как хрипит в груди, урчит желудок...

Подъездная дверь хлопнула, Маша отпрыгнула. Соседка тетя Лена выгуливала своего Звоночка.

— Ой, как вы кстати, — Маша уступила дорогу грузной пожилой женщине в рыжем парике и кудрявому пуделю, охрипшему от беспричинного лая, — я хотела спросить, не знаете, в шестой квартире живут? Мы тут сколько лет, и я ни разу...

— Машуня! — замахала, перебивая тетя Лена, — живем через стенку, а видимся раз в сто лет. Я же стихи писать стала, представляешь?.. Ни с того ни с сего проснулась как-то по весне, а из меня строчки так и полились, будто ручеек весенний, журчащий.

Отпустила поводок тетя Лена, встала в позу, приложив ладонь ко лбу, запрокинула голову и громко начала:

— Король погиб, и шут теперь на троне,  
Моя мечта забыта на балконе,  
Промеж бумаг и банок с огурцами,  
Я так любил! Но вы меня предали.

Маша успела в паузу вставить:

— Очень хорошо.

Новоиспеченная поэтесса вошла в раж, закатила глаза и еще громче, нараспев, продолжила:

— Но в одночасье смерти не отвечу,  
Закрыв ладонями глаза,  
Я не пишу об этой гнусной жизни,  
Я не живу, а плачут облака.

Наверху завыл жалобно Звонок.

— У вас очень эмоциональные стихи, — похвалила соседка, — а кто живет здесь, под нами, не знаете?..

Словно очнувшись, тетя Лена посмотрела на женщину перед ней, потом на дверь с номером шесть:

— Ах, тут же подруга вашей бабушки, тоже уже покойница, жила, — поправила парик, — баба Тоня, внук у нее попом в храме служит. Батюшка, или кто,

не знаю, врать не буду. Кстати, у меня про религию тоже стих есть. Про этот опиум...

Маша грустно сдвинула брови:

— Мне правда бежать надо, я бы с радостью послушала, тетя Лен...

— Лаванда Вишневская, — протянула руку поэтесса, — я псевдоним взяла, и, если тебе не трудно, зови меня Лавандой. Я верю в то, что имя с фамилией формируют всю твою жизнь и успех. Ну что мне за пятьдесят с хвостиком лет моя фамилия дала?.. Да ничего. Облысела вон с такой фамилией — Лысенко Елена Дмитриевна. Мне почти шестьдесят, хочу пожить Лавандой. Никогда не видела этот цветок, но песня у Софии Ротару есть прекрасная. А вот вишню видела в цвету и пробовала. Так что решилась. Отныне я Лаванда Вишневская. Парик вон, посмотри, идет мне, только честно?..

Маша соврала:

— Очень идет, тетя... Лаванда, и Лаванда — такое поэтическое имя, — пятилась к выходу Маша, — я тоже считаю, что наше ФИО сильно на нас влияет. Кардинально...

— Я и про наш Кирпичный поселок написала стихотворение...

Пронзительный, агонизирующий скулеж Звонка, хозяйка взмахнула руками, запричитала:

— Ох, божечки, колокольчик мой, — загромыхала по деревянным ступеням, — ты заходи вечерком, я тебе все почитаю, — махнула Маше поводком, — думаю поэму про наш поселок написать. Ни кирпичика от «Кирпичного» не оставлю.

Ответив неразборчиво, Маша вышла, закрыла тихо дверь за собой. Она терпеть не может, когда хлопают. По ее мнению, так поступают слабые и неуверенные в себе и в своей жизни люди. Они издают очень, очень много шума, пустого, как крик, топот и хлопанье дверей.

Только на улице на холодном ветру прочувствовала, что туфли все еще мокрые. В учительской, под ее столом, сменная обувь, за ней она и побежала.

Муж редко звонил на работу, а сейчас, выбравшись из провонявших ацетоном и краской мастерских, Маша с удивлением обнаружила три пропущенных вызова от Гены.

От волнения забыла выпить перед обедом таблетку, и что стошнило, когда заканчивала красить, забыла.

— Соседи снизу приходили? — выпалила, на ходу переодеваясь.

— Какие соседи? — проямлил Гена. — Возьми банку пива.

Каждое утро Маша будет просыпаться под крик ожившей куклы-младенца, бежать в ванную и выbleвывать частичку сна, частичку волны.

Будет подходить к железной двери квартиры № 6 и слушать тишину.

Линолеум на кухне больше не пузырился. Гена не мог вспомнить вечер пятницы:

— Все как на засвеченных фотоснимках.

Волна нависала над Машей, Маша ждала. А на десятый день, после потопа, 27 сентября, в день воспитателя и всех дошкольных работников, согласно отрывному календарю, и Воздвижения животворящего креста Господня, Маша узнала, что беременна, обе полоски в тесте обжигали красным, а Гена познакомился с хозяином квартиры номер шесть.

— Не с ним конкретно, — прикрывал муж левый, больше не дергающийся глаз, пока Маша обрабатывала синяк под правым бодягой, — поп этот не удосужил нас своим визитом. Гоблина послал какого-то, в прикидке типа людей в черном и с кулаком больше моей головы.

— И он что, без разговора тебе в глаз? — злилась жена, злилась на мужа, что не дал сдачи, на священника с гоблином, на красные полоски беременности, злилась на себя.

Пили чай с подругой-воспитательницей в честь ее праздника, поэтому пришла позже мужа. Гена встретил жену в дверях с объявлением:

— Один миллион рублей компенсации просит, вернее, требует поп за ущерб.

— Да брось, быть такого не может, — сказала, стоя в дверях, Маша.

Тут муж и показал синяк в пол лица:

— Это к словам батюшки, — сказал, скривив от боли улыбку, — подпись вместо тысячи слов.

— Но миллион за ремонт?.. — Маша не верила в происходящее. Не верила с момента, как поняла, что беременная. Мир раздвоился, она вышла из дома, а на улице сентябрь стал весной: цветом, запахом, настроением... Шум жизни и щебетанье птиц смешалось с шелестом листвы, Маша шла через парк, с каждым шагом удаляясь от реальности в измерение с другими ощущениями.

— Мама, — сказала она тихо, — я мама.

Слово «жизнь» обрело целостность, четкую форму, Маша увидела, как рисует его на белом полотне. Робкими несмелыми штришками... Жизнь несет в себе множество жизней.

Бодяга пахла реальностью, настоящим сегодня, и цветом была таким же — жизненным серым.

— Он же служитель Бога, — выдохнула, — это, должно быть, ошибка. Недопонимание.

— Фингал под глазом — какое тут может быть недопонимание, проснись, ау. Лимон на стол к Покрову, если я ничего не попутал с такого сотрясения.

— Покрову? Это церковный праздник, когда он там? — Маша убрала тюбик с мазью от синяков в холодильник, сняла календарь, полистала.

Гена капитулировал на диван.

— 14 октября, Покров Пресвятой Богородицы, — громко, с раздражением, — я все понимаю, мы их затопили, мы и не отказываемся, но руки распускать зачем? И сумму он, что, наугад, из воздуха?.. Миллион. Там что у него картины в подлиннике висят, что ли?..

— Иконы, — донеслось из зала, — эти святоши никогда не лопнут от обжорства. Бедных старушек объедают, и Бог их не наказывает.

— Бог-то тут при чем, Гена! — Маша растеряно прошла до входной двери, вернулась на кухню, нервно щелкая пальцами, — это человеческий фактор, а не Бог и не церковь. Люди, все от них. Бог не придет и не станет требовать у тебя деньги и стучать по лицу...

— Правильно, поэтому он посылает своих поверенных посланников, — выкрикнул и страшно захохотал Гена, — мне, если че, кредит не дадут. Да и тебе тоже.

Маша свернула в зал, все еще терзая пальцы рук:

— Да я думать о таком даже боюсь. Какой кредит? Нет. Это страшный сон какой-то.

Гена привстал:

— Гоблин так не думает, — ткнул пальцем на измазанную болотной бодягой сторону лица, — на работу приду расписанным под хохлому.

— Я же тебе кусок торта принесла, — вспомнила Маша, — он в сумке, черт.

Маша бросилась искать сумку, Гена снова лег, отвернулся к стене:

— Ешь сама, — обида в голосе и надежда, — пострадавший я тут пока что, могла бы покрепче торта что-нибудь захватить... Пивас, там, чтоб боль утихомирить.

Квартира в поселке была бабушки, и Маша с детства ее обожала. Все радостные моменты юности и взросления происходили в этих стенах, где в окно спальни видно, как время преобразует, убивает и воскрешает непобедимое болотце.

Поэтому после смерти бабушки Маша больше года не решалась на переезд. «Жизнь заставит», — любила повторять бабушка, и внучка сдалась перед жизнью, собрали вещи молодожены, со съемной квартиры перебрались в квартиру на окраине города.

Первый год приживались, Маша сразу устроилась в школу, Гену не устраивало одно: автобус по расписанию, Гена работал в городе, в агентстве по компьютерному обслуживанию.

Жизнь заставляет, время корректирует. Семь лет прошло, а вроде бы только вчера заехали...

Часто занимаясь сексом без презерватива и таблеток, шутили: «на авось».

— Он и случился, этот авось, в самый подходящий — в кавычках — момент, — жаловалась Маша подруге воспитательнице из поселкового детского сада, — этот Гризли, уполномоченный священника, явно не шутил, у Гены синяк во все лицо.

Подруга что-то быстро и громко говорила, Маша отводила телефон от уха, успевая вставить:

— Ну, ага, вот и я про тож...

Подруга советовала обратиться в полицию.

— Гена говорит, дохлый номер. Под церковью все, он уверен: и полиция, и остальные власти...

Подруга настаивала, говорила написать заявление в ЖЭК, найти грамотного юриста, пожаловаться самому главному Патриарху Всея Руси...

Учительница же давно для себя решила: пойдет и поговорит со священником. Посмотрит в его глаза, и если он повторит слова своего посыльного, и язык у него повернется назвать сумму в миллион рублей, то Маша скажет все, что думает о нем и о его вере.

Скажет:

— А как же всепрощение? Возлюби ближнего? Помоги нуждающемуся?.. Где милосердие и сочувствие?

Священник растеряется, покраснеет, начнет заикаться, прятать глаза, а она будет продолжать сыпать христианскими истинами:

— Блаженнее давать, нежели принимать. Скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый в царство божье, не можете служить Богу и мамоне...

Пристыженный, он махнет рукой и забудет про миллион или хотя бы согласится на ремонт по тарифу...

После таких мыслей Маша засыпала легко, просто уверенная, что все так и произойдет.

Волна ждала ее на той стороне бытия.

Не сразу Маша поняла, что она строит. Сначала думала забор, но какой он должен быть вышины, чтобы укрыться и устоять от волны, до небес...

На третью ночь появились рисованные помощники из детства, шарообразные и многорукие существа из альбомов по рисованию, разукрашенные фломастерами и карандашами, пришли на подмогу. Ловко подкапывали бревна, сбивали из досок лестницы...

Кто-то из помощников и произнес это слово — «ковчег».

Все утро Маша провела с карандашом. В школе на уроке в 7 «А» осмелилась, развернула лист.

Мария Игоревна никогда не понимала сюрреалистов, да, Дали — бесспорно талантливый художник, но далека она от абстракции и метафизики, ей нравится Куинджи, нравится Айвазовский, Шишкин. То, что нарисовала она, было за гранью ее понимания и реальности. Это как обрывок сна — волна, у ее подножья ящик, похожий на гроб, — ковчег? Из досок, самого центра, тянется и исчезает в толще воды пуповина. Если приглядеться, можно разглядеть, что пуповина заканчивается пупсом. Пластмассовый младенец распят на досках, сложенных иксом.

Учительница убрала лист.

У нее неделя на обдумывание. Жизнь или...

Подруга заверяет:

— Аборт — это как чихнуть. Только с другой стороны. У меня на счету уже три таких апчхи.

— Ты у нас современная, продвинутая, — Маша не сопротивляется уговорам, Маша считает часы до назначенной встречи.

— Это называется жизнь, детка, сейчас без аборт  
не проживешь, — наставляет подруга, — хочешь жить,  
умей вертеться. У моей тетки восемнадцать аборт  
и три сына — и ничего. Так что не теряйся, решай во  
прос с миллионом, а родить успеешь.

В храм на другой, противоположной, стороне горо  
да решила съездить в четверг — сразу после обеда у нее  
двойное окно.

Священник отец Леонид и владелец квартиры номер  
шесть служит настоятелем при храме:

— Или как это по-ихнему называется? — Лаванда  
разбавляла чтения своей поэзии краткой информаци  
ей о соседе снизу, — все вот эти непонятные простому  
человеку названия и словечки только отдаляют рели  
гию от народа. Ну что это за протоиреи, епархии, эк  
зархаты?...А нельзя по-людски?... Простота всегда по  
беждает. Божественность в простоте. Так и в стихах:  
все должно быть легко, без всяких епитимий.

Подчеркивая каждое слово щелканьем крупной би  
жутерией на костлявых пальцах, поэтесса любовалась  
своей рукой и говорила будто с ней, не замечая Машу  
за кухонным столом.

Маша такому диалогу была рада, главное она узнала  
все, за чем пришла на эту кухню поздним вечером.

Я скажу ему: «Вы знаете, святой отец, ваша бабушка,  
баба Тоня была лучшей подругой моей бабушки, бабы  
Вали. Они друг друга сестрами звали. Как, вы думаете,  
отреагировала бы ваша бабуля на этот миллион?!»

Лежа на спине, с закрытыми глазами, рисовала успо  
каивающие картинки Маша. Рядом похрапывал муж,  
который не подозревал, что в постели их сейчас трое.

Обнимая живот, еще нисколечко не заметный, Маша  
говорит отцу Леониду:

— Побойтесь Бога.

Он пристыжено опускает взгляд, он сознает свою ошибку.

Он говорит:

— Бес попутал. Я прошу прощения у вас и вашего мужа. И готов возместить вам за причиненные неудобства...

Голос его убаюкивает, течет, журчит... Шумит надвигающейся волной...

Надо успеть достроить ковчег — с этой мыслью Маша просачивается сквозь пленку реальности туда, где ее ждут рисованные помощники строители.

Октябрь разговорчивый — листва падает, шуршит под ногами, мечется в надежде задержаться, продлиться... Все дни до шестого Маша зачеркнула. Шестое, «День страховщика», обвела красным.

Гена не заглядывал в календарь, но про шестое число, четверг, спросил:

— Если ты надумала одна с этим святошей разговаривать, не вздумай, пойдём вместе.

Жена не ответила. Муж решительно настроен дожидаться назначенной даты и посмотреть, что будет:

— Заснять все на камеру, потом они нам должны будут, не мы.

Спорить с мужем бесполезно: он и камеру установил уже на дверном косяке, и в телефоне у него микрофон для записи. Подготовился, словом, а след от синяка еще отливает фиолетовым...

Да и о ребенке, зачем говорить, если после шестого числа его может не быть. Маша привыкла принимать решения сама, без подсказок и секундантов. Надеяться на себя. Гене нужна поддержка, поэтому они и поженились, чтобы ему легче шагало по жизни.

Вот такое проявление любви.

Хотя они обошлись без упоминания этого слова. Оно не прозвучало ни разу.

Зачем говорить, когда и так все понятно, считал Гена. Маше хватило, что Гена нарисовал, хотя не умел этого делать со школы, ее профиль мелом на асфальте перед ее окном. И подписал: «Маша <3».

Перевернутое сердце у ног: так будущий муж объяснил компьютерный символ. И, конечно же, он единственный, кто додумался подарить ей на день рождения наполовину использованный набор старых школьных красок.

— Еще узнают, как с компьютерщиками связываться, нам в глаз, а мы в мозг, — ворчал, готовясь к встрече Гена. Маша не мешала, кивала, спрашивала: может, чем помочь?..

До 13:00 четверга оставалось семнадцать часов.

— Это же шантаж, угрозы, преступление, можно смело писать заявление в полицию, — продолжал муж, распаляясь. Жена угукала в ответ, она знала, где-то в параллельном мире катятся обструганные бревна, грохочут молотки и кувалды... Строится спасительный ковчег.

Странное дело, за тебя будто говорит твоя первая учительница тем далеким голосом, с той же интонацией затертое до дыр:

— Звонок звенит для учителя, — Мария Игоревна улыбается, впервые за сегодняшнее утро. Улыбка делает тебя сильнее. На часах 12:40.

Через двадцать минут автобус до города.

Тошнота подгоняет: в двух словах рассказала о домашнем задании, за минуту успела сбегать в учительскую унести чертежи, пять минут простояла над раковиной в туалете, голова кружилась, капающий кран раздражал с каждой каплей все сильнее.

Закрутила, сколько было силы, вентиль, не помогло, капли набухали и взрывались о фаянс раковины.

— К черту, — открыла воду Мария Игоревна, шум заполнил голову бурлящими пузырьками, тошнота отступила.

Вода вынесла учительницу волной к остановке и приятно успокаивала музыкой прибоя, всю дорогу, с пересадкой на автостанции, до храма.

«Моя стихия вода, — считала Маша, — вода мой спутник и утешитель. Достаточно прикоснуться к холодной струе, чтобы ощутить себя живой, целой...»

Маша обожает находиться в воде, мыть посуду: так она приводит нервы и мысли в порядок. Только вот моря ни разу в жизни не видела, лишь во сне морская бесконечность открывала свои горизонты.

Стук собственных каблучков доносился издалека, с другого берега, Маша хоть и была здесь впервые, плыла, как по течению, под плеск волн и крики чаек.

Кричали потревоженные вороны. Маша шла вдоль бетонного забора с плешами ржавой арматуры, а впереди перед узким входом в ограду храма следом за птицами запричитали вороны близнецы в черных лохмотьях, протягивая к молодой учительнице когтистые костлявые лапы:

— Поддай Христа ради... Спаси и сохрани... Во имя Господа нашего, — кряхтело и кудахтало ото всюду.

Маша, не глядя, распихивала по ладоням железные рубли. Их она разменяла заранее, так поступала бабушка всегда, перед тем как пойти помолиться в церковь. Бабушка и слова подбирала к каждому нищему, Маша бубнила что-то неразборчиво, прорываясь к крыльцу храма, где ее поджидал крупный мужчина в черном костюме и очках.

Гоблин, он же Гризли, он же Годзилла, он же Гиббон — теперь Маша убедилась в точности определений мужа, телохранитель отца Леонида соответствовал всем этим эпитетам. Она бы еще добавила «горилла», потому что никогда, как и моря, не видела гиббонов даже по телевизору.

Неуклюже мужчина перекрыл ей дорогу к дверям:

— Голову платком так-то женщины повязывать обязаны, — прохрипел, — да и закончилось служение, вечернее только в семнадцать часов.

— А вам бы руки свои поменьше распускать, — учительским тоном сказала, подняла глаза, посмотрела в упор в черные стекла очков Мария Игоревна, — или думаете, управы на вас не найдется? Ошибаетесь. Найдется.

Не давая ответить, она говорила:

— Все под Богом ходим. И вы, и ваш отец Леонид...

— Опа, малышка на миллион, — донеслось глухо, как говорить в пустой стакан, — деньги принесла?

Контроль злости сорвало, как кран под напором воды, Маша наступила каблуком на кроссовок мужчины, встав всем своим весом:

— Два миллиона, не хочешь?!

— Больно ж! — отпихнул верзилахрупкую женщину, — совсем, что ли, ошалела?! Дура!

— Я поговорить с отцом Леонидом хочу, чтобы он сам озвучил сумму. Мы согласны сделать ремонт сами...

— Нету его, я за него, — задрав ногу, тер кроссовок телохранитель священника, — и я все твоему мужу объяснил, всю картину.

— Я буду говорить только с хозяином квартиры.

— Ну я хозяин! Че теперь?.. Со мной говори, — неприятно, противно выдавил он и загородил проход в храм, — чего не понятно?! Можете частями отдавать, или как хотите, но батюшку не беспокоить. Финансово-денежные вопросы я решаю, ясно теперь?!

Протянул здоровенную пятерню к лицу гостьи и сжал в кулак перед носом:

— Я не шучу. Пусть муженек почку продаст. Или ты продай.

Хрюкнул доволью.

— Я беременна, — сказала и тут же пожалела.

— Ребенка продай, — заржал громко, взახлеб, страшно, что притихли вороны и попрошайки, — на органы само то!..

Закипела внутри у Маши душа, кровь закипела. Она метилась каблуком в ту же подраненную ногу мужчины, промахнулась, стукнула по деревянному полу, от бессилия скрипнула зубами:

— Мерзавцы.

— Ага, — зажевал он.

— Бог вас накажет, — сдержалась, не плюнула в лицо телохранителю Маша, сглотнула, — молитесь, так и передай своему покровителю, мо-ли-тесь!

— Вы тоже, — смачно плюнул через деревянные перила крыльца, — не расслабляйтесь, до Покрова недолго осталось.

Не вздумай пустить слезу — Маша спустилась на ступеньку. Еще один плевок обогнал ее, шлепнулся на бетонную дорожку.

Последнее слово будет за ней, ступила на землю Мария Игоревна, сказала:

— Побереги слюни, здоровяк, в аду они тебе пригодятся, — с иронией и издевкой в ясном голосе, — хотя и не помогут.

Поперхнулся за спиной громила, закашлял.

Нищие не тянули к ней руки, вороны не каркали, одна старуха поклонилась низко, до земли, сказала:

— Благословенна ты в женах и плод чрева твоего...

В животе кольнуло, Маша прижала сумку, слабое ощущение безопасности, короткими, быстрыми шажками, посеменила по жухлой листве к остановке.

Небо над ней наливалось мутной водой.

На аборт записала подруга. Расхваливала, какой хороший доктор и симпатичный в меру, в меру лысоват и волосат:

— И руки теплые, мягкие, в тебя проникают — ласкают, нежный, как молочная пенка, спрашивает каждый раз: не больно вам? комфортно?

— Воскресенье, в больнице только ты и он, рас-  
слабься, не паникуй, — дает указания подруга, — за  
деньги не думай, я разберусь сама. Делай, что решила.

Не вздумай слушать, что говорят, будто это убийство  
или грех. Убийство — это Чикатило и Афган с Чечней,  
а грех — то, что священник миллион с тебя трясет.  
Усекла?..

— Усекла, — шепотом, чтобы самой не слышать, от-  
вечала Маша, в календаре зачеркнула 9 октября, «Все-  
мирный день почты», черным фломастером.

— Посылка до адресата не дойдет, — вполголоса, —  
вскроют посылку, растащат содержимое.

У Гены каждый день новые идеи и планы.

В среду он собирал информацию о шантаже.

— Статья 163 УК РФ. Вымогательство — преступное  
деяние, под которым понимается незаконное истре-  
бование у лица денег. — Зачитывал интересные вы-  
держки из закона вслух. — Шантаж — это один из спо-  
собов навязывания другим лицам своей воли. Самый  
тяжелый состав, прописанный в части третьей статьи,  
карает вымогателя сроком от семи до пятнадцати лет и  
миллионным штрафом, — подсвистывал муж.

В четверг решил, лучше заплатить Ваське Рыло, по-  
селковому мелкому бандиту, чтобы тот со своими  
дружками помяли бока Годзилле и попугали святошу:

— Бьют лицо за бабло, отбивают почки за доллары, —  
весело уточнил муж, — и совсем немного за все про все  
берут, полторы тысячи.

В пятницу отмечали на работе день рождения кол-  
леги, Гена пришел пьяный, клялся, что он разобрался  
уже со всеми и что ни одна тварь двуногая не помешает  
им больше быть счастливыми.

— Ты мой герой, — уложила мужа Маша и еще дол-  
го слушала подробности в мельчайших деталях битвы  
вселенского масштаба. Уснула давно за полночь.

Снилось, она ловит рыбу в ванне. В свадебном пла-  
тье, в фате, закатав прозрачные рукава, Маша стоит на

коленях перед заполненной до краев ванной, а по дну мечется золотисто-рыжая рыба с черными навывкат глазами.

Машу ранит этот взгляд, стыдит, заставляет чувствовать себя полным ничтожеством.

— Глаза твоего отца, — голос в голове, голос матери, колючий, насмехающийся, — у тебя тоже отцовские глаза, и у сына твоего они же, на деда внук похож, главное, только чтоб по его пятам не пошел!.. Смотри, как брыкается, как батя твой, когда выпивший!..

Маша плюхается всей грудью в ванну и хватает рыбу за скользкое тело.

— Правильно! — визжит голос. — Выколи! Выколи ему глаза! Сердце вытащи с молоком и зажарь целиком всего на сковородке! В духовке изжарь!..

Рыба в руках невесты лопается, ванна наполняется кровью и миллионами розовых икринок:

— Это девочка, — слышит Маша свой голос, чувствует горячие слезы на щеках, — девочка, дочка!..

— Маша, девочка, проснись, — трясет за плечи муж, — ты плачешь, во сне. Приснилось что?.. Все хорошо. Ну, не плачь!..

На грани сна и бодрствования Маша вырывается, вытирает руки, все еще ощущая на них влагу и слизь:

— Девочка, девочка, — вперемешку с иканьем и всхлипами, — это девочка.

Обнял жену Гена, сказал:

— Может, пора нам завести ребенка.

Жена в голос зарыдала.

Теперь, после встречи под сводами храма Успения Пресвятой Богородицы, Маша не смотрит на дверь квартиры шесть, закрывает глаза и проходит эти два-три шага в темноте, держась за перила. В эти мгновения воронка заглатывает и утаскивает квартиру в небытие черной дыры.

— На самое, самое дно, — спускается Маша к подъездной двери и открывает глаза, а за спиной больше нет злосчастной квартиры: одна сплошная стена из морской воды с тиной и медузами.

У 3 «Б» первый урок рисования. Рисовали фрукты. Прозвенел звонок, Мария Игоревна попросила сложить альбомы у нее на столе.

— А Данилов обзывает меня и мое яблоко нехорошими словами, — пропищала Катя Латышева.

Учительница взяла альбом, яблоко, кроваво-красное, ожило, сильно разбавленная водой акварель закрутилась спиралью — и вот на месте фрукта зародыш в позе эмбриона смотрит на нее большим, черным, отцовским глазом.

— Что это?.. — тонко, испуганно спросила Мария Игоревна, а краска уже стекает с альбомного листа ей на подол белой юбки, в тонкую, черную полоску.

— Мария Игоревна, — так и застыла с открытым ртом и широко распахнутыми глазами Катя.

Между ног распустился букет алых роз. Кляксы просочились сквозь ткань, прикосновение — мокрое, неожиданное, Мария Игоревна вскрикнула, поднялась, красные стрелы расчертили юбку косыми линиями.

— Господи!

— Катька родила! — кричит весело третьеклассник Костя Данилов.

Катя Латышева не сводит глаз с окровавленного пятна на юбке учительницы.

— Черт! — Мария Игоревна прикрылась альбомом. — Всем на перемену. Данилов за родителями хочешь сходить, как я погляжу, — голос недостаточно громкий, но с учительскими нотками. — Катя, у тебя очень реалистичное яблоко. На пятерку. С водой в следующий раз не перебарщивай...

— Как на кровь похоже, — прошептала Катя.

Иногда знаки настолько очевидны, что страшно. Пугающе откровенны совпадения, намеки прямолинейны, все конкретно и ясно. В лоб.

Кровавое пятно между ног. Вода окрашивается в розовый, Мария Игоревна снова и снова смывает акварель холодной водой из-под крана.

Красный цвет, цвет правды.

— Боже, помоги, — слышат кафельные плиты женского туалета, — помоги поступить правильно.

Говорит тихо, яростно вытирая ладонью темный мокрый след на юбке.

А перед глазами ожившее яблоко подмигивает единственным глазом:

— Продай бабкину квартиру, рассчитайся с попилом, — скрипит голос, как по плитке ногтями, — не будет житья, не даст спокойно жить, пока своего не получит, церковник.

Голоса матери и отца слились в противный давящий скрежет.

— Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно, — вслух, громче шума воды и голосов, начала Мария Игоревна, — желтый свет предупреждение: жди сигнала для движения.

Хлопок двери стал сигналом.

Мария Игоревна закрыла воду.

— Маша, — математичка Софья протянула альбом, она подняла его с пола, — какие страсти в третьем классе рисуют, а что будет дальше.

— Это яблоко, — выдохнула Мария, — а ты что подумала?..

Осмотревшись для верности, точно ли одни они в дамской комнате, математичка, нагнувшись к коллеге, полушепотом сказала:

— Как будто младенец в утробе.

Ветер шуршит остатками листвы, а Маше то и дело кажется, за ней кто-то идет. Не оборачивается. Ускоряет шаг. Она знает, кто это.

Гоблин нагоняет ее, в костюме и черных очках, огромный, обезьяноподобный. Он пытается схватить ее прямо здесь, на узкой тропинке в парке, и шум листвы становится шумом надвигающийся воды. Волна вырастает из-под земли, накрывает деревья, сбивает с ног преследователя, он кричит, барахтается, все тщетно, поток уносит его в морскую круговерть. Очки сверкают стеклами на солнце, это все, что оставила вода от телохранителя. По щекам Маши скатилась пара капель за воротник. Обернулась. Пустая, усыпанная пестрой листвой дорожка посреди реденьких деревьев и невыносимо острый, солоновато-горький запах моря. Она вдохнула его, воздух освежил горло, заполнил легкие непривычной кристальной чистотой. Небо спустилось, Маша нырнула в его синеву.

В небо, как в море. С головой в облака:

— Помоги, Господи.

Что-то мягкое нежно коснулась лба, скользнуло по носу к губам.

Маша поймала это в ладонь, приоткрыла глаза, в щелочку между пальцев разглядела что-то белоснежное, на ощупь, словно паутинка, пух. Раскрыла ладонь, перышко тут же подхватил ветер.

Небо услышало.

14 — еще не засохшей красной краской на двери, единица больше походит на неровный с длинным подтеком крест †. И соседка, новоокрещенная Лаванда Вишневецкая, с пудельком на руках:

— Хулиганы какие. В нашем поселке скоро порядочных людей не останется, — в новом парике и халате под хохлому, — то-то Звоночек после обеда такой нервный...

— Разберемся, — все, что сказала Маша.

— А я стих как раз сегодня поутру написала. О безумии мира. Безумии каждого дня. Оно начинается так, — закатила глаза поэтесса, пес твякнул, — что приготовил день? Лишь вечер это знает. И нечего на утро напирать...

Дверь с красной меткой бесшумно закрылась.

Сразу прошла в ванную, включила воду, села на край ванны. Вода журчала в сливном отверстии раковины, убаюкивала. Бабушка рассказывала плохой сон воде. Бывает, проснется еще потемну и сразу, в ночнушке, к раковине, откроет холодную воду, нагнется к струе, забубнит, закрыв глаза. Маша подглядывает за бабушкой, потом спросит обязательно:

— А про что сон был?

Молчит бабушка. Нельзя значит даже вспоминать о ночном кошмаре.

— А глаза почему закрываешь? — не унимается Маша.

— Так легче вспоминать, что приснилось, — тепло и мягко говорит бабушка, — ты тоже, если что плохое, водичке расскажи, она все выслушает, запомнит и унесет прочь от тебя. Всю беду, весь негатив, всю злобу...

Маша так и не воспользовалась советом, по детству сны забывались, стоило открыть глаза, в юности не верила, рациональность побеждала, сейчас Мария Игоревна слегка согнулась, облокотившись на стиральную машинку, щекой касаясь водяной струи, зашептала.

Вода попадала в рот, брызгала на лицо и под ворот. Вода впитывала, вода вытягивала слово за словом из Маши и растворяла в себе. Вода очищала...

Муж успел дважды постучать поинтересоваться, все ли у нее хорошо?

Голос у Гены показательно спокойный, но Маша слышит дребезжание глубоко скрытой паники. И она не будет паниковать, как бы ни хотелось дико заорать, разбить что-нибудь, потом ходить по квартире и каичить и ныть, что жизнь — дерьмо...

В третий раз Гена постучал:

— Я смысл это с двери, — весело сказал, хохотнув, — пусть теперь весь дом нюхает, чем поповские шутки пахнут, — рассмеялся, аж закашлял, — ядреный растворитель.

Закрутила кран, поймала себя на мысли, что любит этого долговязого мужчину за его ребяческое простодушие и непохожесть.

— Уверен, все разрешится, ты даже не волнуйся, — доносится из-за двери, — если так, найду я этот чертов миллион, нарисую.

— Вместе будем рисовать, — выглянула улыбка с двумя прищуренными глазами, — нам вдвоем никакие бандиты не страшны. Мы ведь похлеще этих Бонниклайдов.

Муж и жена обнялись, впервые за все дни после потопа.

Она видит огромную стену одной стороны ковчега. Стена исчезает в облаках, за ней она слышит гул бушующего моря.

— Там же ребенок! — Маша бросается на доски. Стучит, царапая кулаки, кричит: — Там за стеной остался младенец!

Доски кровоточат, из щелей вытекает густая жидкость, пачкает руки. У Маши руки по локоть в крови.

— Какой же это ковчег, если за стеной остался ребенок?!

Грудь Маши, живот покрылись алой горячей кровью. Маша кричит, захлебывается от крика и просыпается, оттого что кто-то дернул ее за ладонь и сказал:

— Тут я, мама.

В спальне светло, в горле застрял крик, и страх дрожит на кончиках пальцев рук. И дата в календаре, превратившаяся с помощью фломастера в черный квадрат, — огромной стеной над Машей, как продолжение сна...

Затошнило. Зажав ладонью рот, стараясь не разбудить мужа, — в ванную.

Вода, как всегда, привела в чувство. Пока умывалась, повторяла в себе:

— Все, что ни делается, делается!.. Решилась, значит, делай!..

Собралась за десять минут, не хотела встречаться с Геной глазами. Боялась, что взгляд выдаст. Ранит. Убьет. Не поцеловала его впервые, ушла, тихо закрыв дверь на два оборота.

Из-за двери поэтессы доносилась музыка, знакомая с детства, но сегодня любимые ноты резали наживую, без наркоза.

— Миллион, миллион, миллион, — зачитывала приговор женщина, которая поет. Соседка ей подпевала, — миллион, миллион, миллион...

Маша побежала.

Из подъезда выскочила под дождь. Под козырьком крыши набрала подругу:

— Я готова.

Подруга так же коротко ответила:

— Еду.

Пока подруга ставила машину, Маша нашла киоск у больницы, купила пачку сигарет. Она курила однажды в старших классах, разочек затянулась, зашлась кашлем до слез, больше к сигаретам не прикасалась.

— Теперь вот захотелось, — сказала продавщице.

Продавец грустно ответила:

— Не советую. Кукольное все это. Искусственное, — и вытряхнула из окошка пепельницу, полную ржавых окурков, под ноги покупательнице, — вот так и здоровье, и детей потом выбросишь.

Маша взяла пачку «Винстон», распечатала, достала сигарету:

— Черт, — ругнулась, — огонь.

Покупать в киоске она точно не будет ни спички, ни зажигалку, осмотрелась — никого.

— Все, что ни делается, — сказала и выбросила пачку в дождь.

— Деньги не экономим, — подросла подруга, — ай-я-яй...

— Это порывы.

— Хотя не позывы, — хмыкнула, взяла под руку, — не роды же...

— Сны такие, знаешь, снятся странные. Нечеловеческие.

Подруга ждала продолжения. Медленно шли по крытой аллее к серому пятиэтажному зданию городской больницы.

— Ковчег я строю.

— Ну.

— Каждую ночь почти строю.

— От потопа который, что ли?..

Маша не успела ответить.

— Так во сне чего ни приснится, — успокоила подруга, — мне раз, помню, приснилось, что у меня между ног хрен вырос. Типа мужиком я стала. Проснулась, и не поверишь, сразу полезла, проверила, все ли на месте.

— И как? — Маша сдерживала улыбку. — Вещий сон?

— Ага, до колена вещей, — пробасила, — все можно объяснить, поверь, и мой член, и твой ковчег. Ты явно от попа-шантажиста защиту возделываешь. Стену строит твое подсознание...

Кивнула Маша:

— А с членом твоим что?..

Вместе рассмеялись в ответ.

Из всего, что происходило в кабинете, Маша запомнила немногое.

Сначала ощущение, что с каждым шагом до кресла-кровати в нее впитался весь свет. Она высосала даже бледное солнце за окном. Потемнело вокруг.

Как же так, мучила мысль, теперь свет, что во мне, выскребет этот в меру лысоватый, в меру волосатый врач?!

Опоры для ног обожгли беззащитную кожу, свет погас, Маша закрыла глаза. Голос врача превратился в знакомый шум. Маша почувствовала прикосновение к бедрам, чтобы не закричать, она растворилась в темноте, в воде.

Маша увидела, как дверь с номером бвыбивает волна — это взорвались трубы и батареи в квартире. В спальне комнате и в зале. Выбило краны в ванной и на кухне. Вода горячая и холодная встретилась в коридоре прихожей, смешалась в единый могучий поток...

— Этого не может быть, — голос врача, испуганный, и Маша открыла глаза.

В меру лысоватый врач смотрит на свою руку в перчатках, а на кончиках резиновых пальцев балансирует белое перышко.

Волна подхватывает Марию, выносит из палаты легко, как перышко, как пушинку, проносит мимо подруги и дальше по мрачному, душному коридору больницы, где ей трудно дышать, выносит на свежий воздух, на свет.

— Машка?! — подруга попыталась схватить Марию за руку, увидела врача. — Что, уже всё?!

Врач махнул головой:

— Она девственница.

Подруга сказала:

— Нет. Она же беременная.

Врач повел плечами:

— Да, беременная. Девственница.

— Ковчег, — прошептала подруга и побежала.

Растерянный, ничего не понимающий, словно только родившийся врач повторил про себя, а потом вслух:

— Ковчег.

И перекрестился.

— У подъезда потоп, — сказала подруга, заезжая на газон возле дома.

Маша не слышала, Маша спала на заднем сидении без сновидений.

А до поселка уже дошла весть о чуде.  
Кто-то говорил: второе пришествие.  
Кто-то — брехня.

«Синдром Девы Марии» — планирует назвать статью журналист городского еженедельника.

Лаванда Вишневская начала писать стихотворение о соседке, но пока застряла на первой строке — Ты утренней звездой зажглась на небосводе...

Гена увидел машину подруги, подбежал, не сдержал слез.

— Это правда?!

Подруга выбралась из салона, обняла мужчину:

— Правда.

— Я папа?

— Папа, — похлопала по спине, — а мама пусть поспит. Натерпелась. У вас-то что? Поповскую квартиру снова затопил?

Гена шмыгнул носом, посмотрел на небо, лбом поймал первую снежинку грядущего снегопада:

— Оно само, — сказал и лукаво улыбнулся кому-то там наверху.



## МЕСТО ВСТРЕЧИ ПОЕЗДОВ

Время — ночь.

Я и проводница у бачка с кипятком. Она — здоровенная тетка с большущим бюстом и прической, мимо нее просто так не пройти:

— Если хотите, могу выпустить на улицу. Мы здесь минут сорок простоим.

Она прячется в своей каморке, я говорю:

— Если не трудно. Душно в купе.

— А на улице дождь, несильный, — появляется гром-баба, — я не очень люблю дождь. Но здесь, на маленьких, богом забытых станциях другой дождь. Не как в городе. Здесь дождь романтичней, человечней, что ли. Не бьет в лицо, не грубит, мягкий он тут какой-то, будто разговаривает.

Вот оно, думаю, безумное сочетание крупной формы и хрупкого, нежно-лиричного содержания. Вся Россия такая. Вся из крайностей и противоречий.

Я спрыгнул на мокрую платформу маленькой безымянной станции. Вдалеке пара-тройка одноэтажных миниатюрных строений, голубые маячки семафоров тут и там, лес.

Всматриваюсь, показалось, в темноте промелькнуло что-то белое. Приблизилось.

Вернулась моя собеседница:

— Я бы спустилась к вам, да боюсь, позовет кто, сами видите — не Дюймовочка, — хмыкнула, затащила сигаретой, выпустила в ночь кольцо дыма, — это все из-за моего первого и единственного мужа. Он меня научил похмеляться и пускать кольца, а я стихи, между прочим, тогда хорошие писала, книжечка у меня есть. Если у себя найду, я вам подарю.

Сказал:

— Спасибо.

— И про ночь, вот как сейчас, писала, и про измены мужа... Когда он ушел, все как отшибло. Распухла, писать забросила, все девичьи мечты коту под хвост, пить еще больше стала, потом хорошо на железку взяли, пожалели, вот и теперь я тут. А что, мне нравится, людей я понимаю, слушать умею.

Бросила бычок сигареты, крошечный огонек в темноте:

— Молчать не люблю. Боюсь. Пять лет одиночества убили во мне молчание. Молчание — смерть. В гробу намолчимся. Согласны?

Она терпеливо ждала от меня ответа. Я молчал. Смотрел в лес на белесый силуэт между деревьев.

— Пойду, поищу вам свои стихи.

Она ушла. Я подумал, что зря ничего не сказал, обиделась наверняка гром-баба. Но это в лесу... И вот награда: на платформу блестящая от дождя вышла девушка в белом платице. Подошла, позволила мне разглядеть ее ноги, талию, грудь, губы, глаза... Она как будто только что плакала.

— Вы плакали? — спрашиваю тихо, словно боюсь спугнуть.

— Смотрела на звезды, — неожиданно ответила она, — вы любите смотреть на звезды?..

— В детстве вроде любил.

— Да, детство иногда заканчивается. Перестает. Печально. Не правда ли?..

— Угу.

— А ночью все совсем иначе, не то что днем. Ночь — она полна тайн. Волшебства. Верите в чудеса?

Усмехнулся, меня забавляли ее по-детски наивные, простые и в то же время непростые вопросы:

— Не очень.

— Надо верить в чудо на самом деле, если в него верить, оно будет и в вашей жизни, чудо.

— А что это вы делаете здесь так поздно?

— Встречаю поезда. Это такое место. У всего ведь на земле есть свое место. Есть и необыкновенные места. Места со значением, места, куда хочется возвращаться и возвращаться...

Поезд тяжело вздрогнул, зашипел. Отвернувшись на секунду, чтобы посмотреть, не подошла ли моя проводница, оборачиваюсь и вижу — пустую платформу, лес, мягкий, ласковый дождь.

— Засмотрелись на звезды, — знакомый голос за спиной, — в этих местах небо ближе к людям. Потому что люди тут добрее, к природе всё ж ближе. А я вам книжку свою нашла. Забирайтесь.

Поезд набирает обороты, возвращаюсь в свое купе. Думаю, а не вернуться ли к ней, к моей проводнице, попросить крепкий чай и проговорить с ней весь остаток ночи. Но почему-то не иду, продолжаю сидеть и смотреть в окно.

Промелькнула табличка, еле успел прочитать. «Место встречи поездов», — было написано на ней. Вот те раз, я и не знал, что такие места бывают. Поезда — как люди. Да, у всех свое место, свои встречи...

Открываю подарок, смотрю на фотографию молодой поэтессы, в глаза, будто она только что плакала, и... и не знаю, как поступить. Выбежать из купе, побежать, отыскать проводницу, спросить, рассказать, узнать...

Сижу. Не шелохнусь. Сердце слилось с размеренным стуком колес поезда. Все-таки чудеса существуют. Все-таки надо верить в чудо.

Смотрю в окно, а за окном пролетают звезды.



## КЛЯТВА

К.

Первый пьяный звонок в час ночи, если бы он тогда не ответил, сказал потом, что спал крепко, как убитый, с кем не бывает, ничего, быть может, и не было — возвращается мысль снова и снова, вертится в голове.

Но он ответил, всегда так, потом ругает себя за опрометчивость, слабину, обзывает бесхребетным ослом, добродушным придурком, и всегда отвечает:

— Да, Коль, — сказал тихо, стараясь не разбудить жену, прикрыв микрофон сотового телефона ладошью, — рад слышать.

Бульканье, сопенье и после громкой, смачной отрывки довольный, взбодренный приличной дозой алкоголя голос:

— Ой-йу, а я как рад, — «рад» прозвучало как «ад», — не поверишь, где я сейчас.

Илья сполз с дивана бесшумно, ни скрипа, ни вдоха, на цыпочках вышел из спальни:

— У тебя же раннее утро, — нашел выключатель, загоревшийся свет поманил на кухню, — шесть, начало седьмого...

— Вот ты, блин, математик, — неподдельное восхищение, — а я, помнишь, на алгебре задание по геометрии списал? — смех друга, всегда опасно заразительный, эхом в голове, — так понял, где я?..

— В школе, что ли?! — Илья сел за чисто прибранный стол, Аня это называла «вылизать до блеска, или ни крошки тараканам».

Друг икнул:

— Почти угадал, ё-моё, ну ты прям ясновидящий, — в устах Николая «ясновидящий» стал «есвидищим», — у Григория Сиславича я.

Не сразу, по ходу обрывистого, не поддающегося никакой логике, бессвязного разговора, Илья понял, что друг всю ночь пьянствовал с Григорием Станиславовичем, мужем их школьной учительницы по алгебре и геометрии.

«Математичка» превратилась в «Мачимачиху», «Илья» в звук «лю».

Минуты опьяняли с каждой новой секундой, и после пятнадцатой минуты Коля говорил одними междометьями.

— Молодец, что позвонил, я прям приободрился, — честно признался Илья, ему действительно приятно и весело было слушать лучшего друга, с которым десять лет просидели за одной партой. Вместе учились курить, пробовали пиво, ухаживали за одной и той же девочкой и мечтали стать летчиками.

Возраст корректировал планы и мечты. Жизнь плюнула реальностью в лицо и разнесла все в клочья.

Илья после армии не вернулся, остался в ста шестидесяти километрах от Москвы, удачно устроился на железную дорогу, женился, сначала обзавелся двухкомнатной квартирой в центре Калуги, потом ребенком, Аня родила девочку.

Николай к этому времени успел дважды развестись, покреститься и разочароваться в секте «Свидетели Иеговы», открыть бизнес по чистке ковров, признать себя банкротом, сдать квартиру, доставшуюся от родителей, в съём, сам перебрался в пустой гараж писать книгу.

— Роман тридцати трех лет, — говорил, чаще самому себе, — воскрешение или распятие.

Он так и назвал роман. Но через год, не написав ни строчки, решил переименовать.

«Тридцать четвертое утро, — набрал в вордовском документе двенадцатым кеглем. — Роман Николая Старикова».

В это похмельное утро, после дня рождения, с раскалывающейся головой, мучимый солнечным светом и жаждой, он позвонил другу застав в этот раз его на работе.

Илья после двадцатого звонка за месяц сбился со счета.

— Работа — не бей лежачего, — говорил Илья, — инструктирую поезда и молодые кадры, не вставая с кресла.

Больше о работе ни слова. Ни жене, ни лучшему другу.

— Цел? — первое, первым спросил Илья. — Живой хоть?..

Голос сдавленный, хриплый, ни капли привычного задора, ни смешков, про подколы с шутками и речи быть не может. «Голос, словно из могилы», — поймал себя на мысли Илья.

— Не распнут тебя уже, — шутит, — после тридцати четырех не распинают.

— Я становлюсь похожим на НЕГО, — как зачитал приговор и тут же подавился кашлем, — на этого долбанного пропащего алкаша, гори он в аду!

Илья говорит:

— Да брось ты, это похмельное, проходящее. Тяжелые, мрачные мысли, сидишь как на измене... Выпей пивка, полегчает.

Но внутри червь сомнения точит, вгрызается в душу и растет, превращаясь из червя в зеленого, склизкого, мерзкого змея, змей шипит: «Он прав, прав! Водка приближает его с каждой рюмкой к отцу. К этому ничтожеству, что мучил семью, издевался над сыном и сдох в канаве, захлебнувшись своей рвотой. Твой дружок опускается ниже дна. Видел бы ты, на кого он сейчас похож... Яблоко от яблони... Червивая яблоня, приносит червивые плоды. Червь от червя...»

— Нет, — вырывается из горла Ильи, — ты же сильный, просто день рождения, расслабился, ну, переборщил с выпивкой, намешал, как всегда... Отец тут ни при чем! — громко, чтоб не слышать шипенье в голове.

— Я видел, Ильюха, — испуганно, слезно, — видел сегодня в зеркале. Его. Вместо себя. Он кривил свой поганый рот этой его фирменной ухмылкой. И я прочитал по губам, он сказал: «Ты проиграл».

«Проиграл! — подхватил змеиный голос, так сильно похожий на голос Старикова, — старшего. — Похорони его вместе с папашей, бутылку водки не забудь положить в гроб, чтоб отметили это дело...»

— Протер зеркало, глаза, а он не исчез — отекший, как после месячного запоя, с глазами на выпучку и бордовым, бородавчатым носом, — на надрыве, готовый перейти в крик.

«Голос, — зацепилась в сознании Ильи мысль, — у Кольки другой голос».

— Голос отца, — тут же зашуршало пожухлой листвой, — у него глаза поменяли цвет, стали, как у гребаного родителя, поносно-желтые, и зубы в точности, как у бати, гнилые, съеденные паленым спиртом и кариесом. Он и кончит, как этот засранец, пережрет спирта и проглотит самого себя!..

— Так, давай ты возьмешь себя в руки, — приказывает другу, приказывает себе, — у тебя сейчас обед, около того? Тебе надо поесть, заставить себя. С пивом попробуй запихать в себя хоть что-то и ложись, поспи, приходи в себя. День, два и, увидишь, все это забудется как страшный сон...

— Страшные сны не забываются, — вставил Николай, или это был змей?..

Растерявшись на мгновение, Илья дернул бритой головой, словно откидывая с глаз чуб, который носил в юности, сказал:

— До отца тебе далеко, Колька, ох, как далеко. Он расплескал столько, сколько ты ни в жизнь не выпьешь.

На другом конце света друг улыбнулся:

— Ты же обещал, Илья, помнишь?! — тихо раздалось в наушнике сотового.

Друг ответил не задумываясь:

— Помню.

Еще он помнит, как они, двенадцатилетние школьники, волокли черными ходами, тайными тропами пьяного, упавшего и уснувшего между магазином и поселковой столовой Старикова-старшего, дядю Колю.

— Вырасту, поменяю имя, — клялся Николай-младший, — не имя, а клеймо!.. Что за безумие — называть именем отца, Николай Николаевич — как приговор, порча, проклятие какое-то...

Они возвращались со сдвоенных уроков по алгебре, а дядя Коля с двумя бутылками Агдама за пазухой прикорнул, по его выражению, уставший и притомленный, у кустиков в тенечке:

— Знал же, что вы этой дорогой пойдете и подберете, не бросите человека. Человеки. Вы ведь люди-человеки, или я ошибаюсь?!

Пьяно растягивал слова и буквы пришедший в себя дядя Коля. Он любитель поговорить о возвышенном, поразмышлять вслух о природе человека, после пары рюмок, особенно, если рюмки — стаканы:

— Люди не всегда человеки. Чаще это люди-крысы и люди-змеи. Есть люди-ехидны, люди-тараканы, люди-вши, волки и тигры, люди-львы, но это редкость. Обмельчали люди. Не люди, а людишки... Человечушки. Чушки.

Смеется, обдавая мальчишек перегарной вонью, и Коля-младший представляет, как разбивает лицо этого дурно пахнущего недочеловека своим кулаком. Иногда вместо кулака нога в тяжелом ботинке, иногда молоток.

Стыд, стеснение друга передается Илье, он буквально чувствует все переживания, всю ненависть Коли к родителю, его боль и как кровь закипает в венах. Коля плакал еще полгода назад почти каждую ночь в своей комнате, спрятав голову под подушку, укрывшись одеялом. Коля грыз ногти до крови и резал лезвием

бритвы руки чуть выше запястья, резал коленки. Коля писал одну и ту же историю про мальчика без имени и фамилии. Одним солнечным утром этот безымянный мальчик набрался смелости и подстроил все так, что его мучителя, (отчима, дядьку, монстра, отца, мудака, оно, это) убило током. Были также варианты: падение в натертой мылом ванне, отравление крысиным ядом, удушение собственной рвотной массой...

— Если бы не мама, — признавался Коля Илье, — я бы давно или ушел из дома, или грохнул его.

Илья хорошо помнит тетю Лену: тихую, невидимую женщину, она все время болела, и он ее почти не видел. Раза два-три. Слышал от друга, что болезнь неизлечима, а еще, что если пенсию мамы успеет перехватить отец, то они месяц живут на одной картошке и сухарях с чаем.

Помнит Илья и тот день, когда дядя Коля продал за бутылку лекарства тети Лены, и Коля искал отца, (он его, впрочем, так не называл; «это», «этот» — только так), по всему поселку с кухонным ножом в рукаве.

До темноты Илья пробежал с заплаканным другом, Коля впервые, не стесняясь, плакал при нем. Тогда он и пообещал другу, что не позволит Коле-младшему превратиться в старшего, в это!

— Зашей рот, залей в горло цемент, — всхлипывал, и глотал слезы, — делай все, что хочешь, что посчитаешь нужным, убей! Но обещай, поклянись, что не позволишь мне стать, как он!

Коля вынул нож, черкнул по левой ладони, сразу протянул нож другу.

— На крови давай обещай!

Помнит Илья, как неприятно обожгло лезвие руку и как потом, закрепив клятву крепким рукопожатием, они обменялись кровью друг друга. Кровь двенадцатилетнего Коли, кипящая магма, влилась в тело Ильи, он вспотел, голова закружилась:

— Обещаю, — сказал Илья, — клянусь!

Нож с пятнами крови друзей Коля убрал в рукав.

Сын прождал отца с окровавленным ножом до утра. Друг отпросился с ночевкой, сидел рядом на табурете у приоткрытой двери. Отец не появился.

— Оно умерло, — коряво, ехидно по-отцовски улыбался Коля, — я кровью чую. Это сдохло.

Кровь от крови. Младший оказался прав. Старшего Николая Старикова нашли следующим вечером в овраге за поселком.

Мертвец прижимал к груди ополовиненную бутылку водки.

Через день после разговора от друга пришло СМС:

«Прости меня! Спасибо за все! Помни!»

Илья снова на работе, пытается сосредоточиться, не получается. Сообщение от Николая застыло перед глазами, он слышит эти слова, они звучат голосом друга, тихо, печально:

— Прости меня! Спасибо за все! Помни! — вердикт, добровольное смирение с участью, так выглядят записки самоубийц.

Илье не работается, не думается, не сидится, встал, прошелся по кабинету, задержался у окна, он даже не знал, что у него за окном растет дерево — странное, похожее на атомный взрыв, причем шапка дерева-гриба — сплошь ярко-красные листья.

— Надо же, — вслух удивляясь открытию, — век живи, век...

Не заканчивает, решается, быстро находит номер друга, нажимает кнопку вызова, смотрит, как сентябрьский ветер дышит в кроне дерева-взрыва. Идут гудки вызова, листья дрожат, пульсируют в такт гудкам. А потом ветер проникает в телефон и больше не слышно ничего, лишь шум в листве.

— Черт, — сбрасывает вызов, набирает номер снова.

В ответ все тот же ветер.

Помнит Илья, как в припадке злости Коля бьет все, что попадет под руку. Был случай в последнем, одиннадца-

том классе, швырнул сотовый телефон в одноклассницу: та назвала его маменькиным сынком. Сотик, что-то вроде первых моделей «Нокиа», габаритный, увесистый, попал ей в затылок, с громким, пугающим звуком — хрустом.

Четыре шва наложили девочке в местной поликлинике, Колю пригласили на беседу с участковым в отделение полиции. Телефон, разлетевшийся на три части, собрал Илья, и не удивился, что он работал.

— Стопудово, сейчас что-то подобное, — ходит кругами вокруг рабочего стола, — психанул и долбанул телефон, может, об кого-то, может, и об себя...

Незаметно — заметит позже жена — грызет ноготь на большом пальце правой руки:

— Сука-а-а, — протяжно, еще одна тщетная попытка дозвона.

«Он сдох, — колыханьем листвы знакомый до тошноты голосок, — сдох, как папаша, скажем «аминь» и примем на грудь, остограммимся в память о сгинувшем в небытие друге-пьяньчужке».

Заткнись! Заткнись! Заткнись!

Палец искусан в кровь, пачкает кнопки телефона, Илья осторожно подбирает каждое слово в сообщении другу:

«Коля. Что с телефоном? Не могу дозвониться. Перезвони. Сильно волнуюсь. Помню!»

Перечитал, удалил «Сильно волнуюсь», взглянул в окно, за окном багровел в лучах полуденного солнца атомный взрыв, снова написал: «Сильно волнуюсь!» — теперь с восклицательным знаком, перечитал, отправил СМС.

Сообщение доставлено пришло уведомление.

Облегченно выдохнул Илья.

Змеиный голосок растворился в заунывном шипенье, шелесте листвы. Илья подошел к окну, закрыл жалюзи, впервые за три года работы в этом кабинете.

Прислушался — тихо гудел компьютер, в кулере на донышке спокойно булькала вода, беспокойно стучало сердце.

Дочке Славе послезавтра пять. Илья заставляет себя думать о дне рождения любимой зайки, о подарке, завернутом в цветастую обертку, спрятанном в спальне. Напоминает себе — заказать торт со слонами, дочка обожает лопоухих слоников, купить праздничные свечи, прости меня! Воздушные шары не забыть, спасибо за все! Цветы Анюте, розы, только не красные, помни!..

Сегодня впервые он ушел с работы раньше времени, купил банку светлого пива и выпил по дороге домой, заглядывая каждые пару минут в телефон.

От друга ни черточки.

А помнится, приходили забавные СМС, как результат Колькиных гулянок, загулов: «ДУg\_кнам %весело ты0!». Или: «срочно! Вылетаю. Выходи. 0ю5 литр. 999». Пустые сообщения приходили частенько. Сообщения в стихах, некоторые Илья сохранил:

«Ты не думай-не гадай,  
Эсэмэску дочитай.  
В строчках этих есть секрет,  
И получишь ты в ответ:  
Деньги, счастье, секс, любовь.  
Перешли лишь это вновь.  
Разошлешь пяти друзьям,  
Ты желанья загадай.  
Все исполнится, лишь жди,  
Эсэмэску сбереги».

Прочитал сообщение Илья, выцедил в рот последние капли теплого пива, смял банку:

— За тебя друг, — выбросил жестяной комок в мусорный контейнер, — давай уже появляйся.

Вместо вестей от друга пришло угнетающее чувство вины. Тревога расплзлась по телу холодком, от которого кожа покрылась мурашками. Необоснованный страх прополз змеей.

— У Кольки были такие мысли, с детства, — сказал жене после ужина, — суицидные.

Аня, маленькая, миниатюрная, обладала отнюдь не хрупким характером и очень даже колючим языком:

— Да, Коля пропал на день, ты весь испереживался и поэтому решил выпить?! Что, думал, что я не почую запах пива?! Втихаря, значит, начали употреблять?!

Голос зазвенел в ровных рядах стаканов на полках в кухонном шкафу, отразился от столовых нержавеек — и напрямиком в голову мужа.

— Банка пива, что, уже под запретом? — промямлил в оправдание, в висках заломило. — Пить просто захотелось, душно в кабинете сегодня было. Старик еще из головы не вылезает...

Жена открыла громко воду в раковине:

— Старику твоему кодироваться пора, если силы воли ни капли, — громче воды, гремя тарелками: — Бухать — не кули ворочать. Все умеем. А если тебе интересно, у меня тоже возникали такие мысли, и не только в юности...

Ложки с вилками ожили, забились друг об дружку, мучимые под струей горячей воды.

— Со мной когда уже жила, тоже думала, что ли? — массировал виски пальцами Илья.

Анна посмотрела на мужа:

— Ой, а что это, неужели, нам так интересно?.. Ты лучше Старику позвони, поинтересуйся, как он там, в Сибири своей, не замерз? А то, может, нажрался и в сугробе где лежит.

Боль токовым разрядом прошла от висков к макушке ударила в затылок, шею:

— Черт, Аня! Ты совсем, что ли?! — встал из-за стола. — Накарай еще, давай, ты же любительница!

Жена не успела ответить, на кухню влетела дочь — заплетенные косички торчат рожками, с перепачканными в акварели ладонями и щеками:

— Я, между прочим, рисую! — топнула ножкой. — А вы тут кричите!

Илья погладил дочь по спине:

— Это мама свое плохое настроение на папе проверяет.

Бросила взгляд Медузы Горгоны на мужа жена, бросила губку в раковину со смачным шлепком и брызгами:

— Сам за собой домоешь. В рабыни не нанималась!

Повел плечами Илья, поцеловал дочь в макушку:

— Поможешь папке посудку помыть?

Слава скорчила рожицу:

— А ты покажешь филина?

Отец надул щеки, боль перекатывалась из виска в висок, выпучил глаза, угукнул, моргнул и снова проугукал. Дочь зазвенела весенней капелью:

— Еще хочу, еще! — запрыгали косички.

— Хватит паясничать, — отдернула ее Анна, — и посуду ты мыть не будешь, помыли один раз уже, от дерматита потом месяц лечились.

— То было из-за стирального порошка. — Илья даже не услышал собственных слов. Боль заполнила голову, и принятые две таблетки цитрамона не помогли, помогло обезболивающее: не раздеваясь, уснул сверху на покрывале в супружеском ложе, так и не помыв за собой посуду.

Снилось детство в черно-белом цвете. Лишь солнце в форме гриба было кроваво-красным. А у друга рядом с ним, такого же мальчугана, не было лица. Илья боязливо касается гладкой — ни морщинки, ни родинки — кожи, в том месте, где должен быть нос:

— Ух ты, теплое, — удивленный восторг, — живое.

Голова без лица кивает.

Трогает место для глаз, там под лоснящейся, блестящей кожей пульсирует жизнь.

— Так ты, может, уже и не Коля?!

Отстранился Илья от друга.

Безликий схватил его за руку. Рука не детская, взрослая, жилистая, покрытая черными волосами.

— Ты не Коля! — сорвался испуганный крик.

Вены на руке незнакомца вздулись. Рука потянула мальчика к себе.

Кожа на месте рта треснула розовой морщиной, приоткрылась, из красного нутра выглянул глаз. Глаз уставился на него, зрачок бегал в глазнице, глаз часто моргал.

Илья с отвращением смотрел, парализованный страхом, а когда в ротовой полости появился второй глаз, Илью прорвало, он закричал, как не кричал никогда в жизни.

В зале-спальне он один, в открытые шторы заглядывает уличный фонарь, горло саднит от таблеток, сушняка и крика.

Нашупал в кармане телефон, яркий свет вспыхнувшего экрана резанул по глазам, в голове пусто, боль ушла. Ничего нового, и в сотовом ни пропущенных звонков, ни сообщений.

— Колян, черт бы тебя, — шепот в темноте.

Время — ровно четыре утра.

Из детской ни звука, значит, делает вывод Илья, вся мощь крика досталась подушке.

Выпил воды на кухне, не зажигая света, вернулся, не удивился желанию покурить, сел на диван, смотрел на фонарь за окном. Пять минут, десять... Проверил еще раз телефон.

В Сибири, у друга детства сейчас начало десятого, посчитал и набрал номер. «Вызов “Старик”», — появилось на экране. Не поднося сотовый к уху, услышал всем знакомый неприятный женский голос: «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети».

— Вне зоны, — швырнул телефон на диван, — сука.

Увидел себя покупающим пачку сигарет в круглосуточном мини-маркете на углу дома. Прикурил, легкие сладостно втянули никотиновый дурман, Илья выпустил колечко дыма, еще одно, и еще...

Вместе с дымом растворился в серых предрассветных сумерках с мыслью о командировке. Созревший план действия укреплялся, твердел...

Негласный бойкот нарушило известие о предстоящей командировке.

Илья весь рабочий день готовился к разговору. И без запинки был готов дать ответ на любой самый заковыристый вопрос с подвохом. Он написал заявление на неделю без содержания, забронировал билеты, осталось принять последний, решающий бой, отстоять, победить.

— Вот так неожиданно, вдруг?!

Анна знает, раз в год муж ездит в Москву, проходит инструктаж, сдает какие-то нормы, получает новые инструкции... В том году ездил на переэкзаменовку, так он это назвал.

— Всегда неожиданно, — сказал Илья, он стоял перед распахнувшим объятья стенным шкафом с одеждой, — даже для меня, — в голосе уверенность, с нотками нежелания вот так срываться и ехать, смирение, — работа не волк, работа ворк, — улыбнулся, разглядывая рубашки на вешалках.

— Завтра день рождения если что...

Илья посмотрел на жену, она за его спиной, делает вид, что ищет что-то жизненно важное на полке с книгами и сувенирами:

— Поэтому билет на послезавтра.

Калужский аэропорт «Грабцево» открылся в конце 2015 года после долгой, пятнадцатилетней реконструкции, Илья верен старой памяти, взял билет из Москвы. Вылет из «Домодедово» в десять утра местного времени. В Иркутске, с разницей во времени и шестичасовым перелетом, он будет поздно вечером, около двадцати одного часа.

— Ты что меня совсем за дуру держишь?! — Анна смотрит в упор на мужа, подмечая мельчайшие колебания в чертах лица, в воздухе...

— Не понял? — вопросительно вздернул правую бровь. — Ты о чем?

— О том! На дуре безмозглой надо было жениться, чтобы теперь сказки рассказывать!

— Слушай, у тебя, что — опять, со вчерашнего?.. — Илья смотрит в глаза жене, не моргая, на скулах напряглись желваки, — поругаться снова не терпится, не пойму?! Банку пива простить все не можешь, или что за Старика переживаю, а?!

«Да, да, верно, так держать, — зашипело, — скажи ей, что друга ты знаешь всю жизнь, а ее каких-то десять лет».

Перекрикивая шуршанье змеиной кожи в голове, Илья продолжил:

— Может, и тебе на неделю съездить до матери?.. Развейся. И Слава бабушку повидает...

Анна моргает первая:

— Все с тобой понятно, — махнула рукой, — развейся, это по вашей части. Езжай куда хочешь. Ты же у нас обещания держишь. Езжай. Только обещать, не жениться!..

Илья развел руками, открыл рот в немом вопросе.

— И не надо вот врать мне только, ладно за дуру принимаешь, но идиотку из себя делать не позволю.

По-рыбьи открыл и закрыл рот муж. Анна скопировала, передразнила:

— Вот и у меня слов нет, маты и слюни одни лишь.

«Пошли ее туда, откуда не возвращаются», — скользкий голосок, подхихикивая, подобрался к горлу и едва не вырвался наружу.

— Да ты совсем?! — Илья с трудом проглотил горький, колючий ком. — У меня командировка, что не так, тебе может дать телефон главного?! Позвони, предъяви ему. Дать?!

Мгновенье тишины. Если Анна прислушается, думает Илья, то расслышит, как движется между ними невидимая змея сомнений, недоверия, подозрений... Чешуйки противно царапают ковровое покрытие, скользкие змеиные прикосновения полны отвращения и неприязни...

— Просто все так навалилось, — сдается Анна, голос на мокром месте, и она смотрит вниз, туда, где только что проползла змея, смотрит и вот-вот заплачет.

— Нют, — муж взял ее руку. Согласно привычному сценарию, она нехотя, но убрала руку, Илья взял ее снова, поцеловал внутреннюю сторону ладони, — ты пахнешь моим «Олд спайсом».

— Все мое нижнее белье на полке им пропахло, — пожаловалась.

— И как теперь с этим будем жить? — шутит Илья, а руки забираются под подол легкого халата в ромашку.

В пятый день рождения дочери Илья совсем забыл про телефон и проверил его уже за полночь, слегка выпивший, сидел на унитазе, сначала прослушал всю уже всем известную историю недоступного абонента, потом набрал сообщение:

«Старик. Вылетаю завтра. Рейс 778. Сможешь, встретить. Нет, так жди. Я помню!» Поставил подпись «Ил», отправил. Сообщение доставлено.

Анна собрала поесть в дорогу, проверила замки на спортивной сумке, провела опись командировочных вещей.

Илья рассчитывал управиться за пару дней, так и сказал жене:

— Если буду задерживаться позвоню.

— Чтоб утром, днем и вечером звонил, — в шутку серьезно велела жена.

Он чуть не проболтался о вреде часовых поясов, вовремя прикусил язык:

— Согласно распорядку рабочего дня, — сказал, расплываясь в улыбке, — уже скучаю.

Она ответила:

— Врешь.

Перед нечастыми поездками ему снится один и тот же сон — он опаздывает. Часы показывают разное время, и он не знает каким часам верить. Кому верить. На ручных — десять ровно. Половина двенадцатого — со-

гласно стрелкам будильника. «09:09», — застыли цифры на сотовом телефоне. Он в номере гостинице и в доме детства одновременно мечется полуголый в поисках точного времени, одевается на ходу и уже в дверях видит себя в зеркале в полный рост. Он в платье матери, в том самом, в котором она выходила замуж. Илья помнит его по черно-белым фотографиям в старом семейном альбоме. Только сейчас все в цвете, белое и красное, и цвета становятся ярче. Вспыхивают жирно накрашенные губы, тени под глазами, горят румяна...

Илья просыпается от этой яркости и никогда не опаздывает.

Сон вспомнил в самолете. Попытался увидеть свое лицо в иллюминаторе, улыбнулся нелепой затее и все же разглядел, нет ли на губах помады.

Помады не было.

Из детства мы редко приносим сны во взрослую жизнь. Не вспомним и под пытками, что нам снилось в лет десять.

Колька любил приставать с расспросами: а что тебе сегодня приснилось?..

Илья не помнил, не запоминал и не старался, поэтому сочинял свои сны. Подстраиваясь под настроение и желания друга. Ему до щекотки внизу живота было приятно слушать, как друг расхваливал его сон, пускай и придуманный.

Коля говорил:

— Ты счастливый, если тебе такое все светлое и хорошее снится. Мне ничего подобного. Вечно я убегаю от темной зловонной массы, от нее несет перегаром, как от этого.

Илья в курсе: этот, это — Колин отец, дядя Коля.

— Или снилось недавно, — рассказывает Коля, — я на похоронах, и в гробу, знаю, должен лежать он, этот мудак, но гроб пуст, и будто бы никто этого не видит, кроме меня. А я в панике, в слезах, ищу, куда мог деться труп. Если он ожил, то я покойник. По пьяни он всегда пугал, что не даст мне дожить до совершеннолетия.

— Шлепну тебя, пока не научился, как руку на отца поднимать, и спрячу, чтоб никто не нашел.

Красочно рассказывает Коля, как он заглядывает в гроб, переворачивает его, нет отца-покойника, опускается на колени, вглядывается в могилу, и тут его кто-то толкает.

— Мне кажется, Ил, что часть меня так и осталась там, в могиле, — заканчивает друг, — я проснулся неполноценным, что ли, половинчатым...

Илья помнит этот разговор слово в слово, взгляд Колькиных глаз, искусанные ногти коростами, дыханье. Старик всегда так печально и тяжело вздыхал, и, казалось, что весь мир после такого вздоха не будет прежним. Но мир оставался прежним. Безразличным. Чужим.

Илья вздохнул. Соседка рядом, упитанная дама, завернутая в пеструю шаль, как в кокон, взглянула оценивающе, сказала:

— Не переживайте, все там будем.

Илья вздохнул, и на этот раз получилось в точности, как у Старика в детстве.

В аэропорту «Иркутск» его никто не встретил. Его никогда не встречают, провожают... В родном городе, кроме лучшего друга и пары одноклассников, с которыми не общается даже в соцсетях, никого. Родители похоронены в разных местах страны, по воле случая и развода. Отец — где-то на Урале, мать — в Мордовии при женском монастыре. Для Ильи бегство в армию было спасением, он и сейчас ощущает, как поднимается в нем температура прошлых воспоминаний. Отец занимался бизнесом, всегда в командировках, мать всегда с новым ухажером. Это потом отец остепенился, нашел любовь всей жизни, а мать ушла в монастырь замаливать одни лишь ей ведомые грехи. Илья помнит, что ему хотелось даже такого пьяницу-отца, дядю Колю, но только, чтобы он был рядом, и тогда, быть может, мама не совершала бы всего, чего творила:

— Это я не тебе мшу, сын, — объясняла она свою жизненную позицию как-то поздним вечером, собираясь на очередную встречу, оставляя сына с полным холодильником еды и подарками от командировочного папы, — это месть твоему отцу. За то, что он нас так оставляет, поматросил и бросил, никакой ответственности за тех, кого приручил. Пусть подавится своими деньгами и этими своими шмотками, игрушками. Я что, думаешь, тебе сама не могу все это купить?! Запросто.

Илья не отвечал, не кивал, молча провожал мать, заперев за ней дверь и никогда не позволял себя поцеловать. Отцу пожал руку один единственный раз, на проводах у вагона армейского поезда, и то потом объяснил это самому себе слабостью от выпитого.

Вспотели ладони и под мышками — это злость на прошлое, на все, что не исправить. Захотелось увидеть вдруг лицо друга, чтобы встретил... Поискал глазами знакомые черты, набрал телефон Николая.

Смирился. Его жизнь научила этому. В смирении — спасение души и тела, так, вроде, учит Библия...

Сумерки смиряют природу, пока вызвал такси и ожидает, прошлое отпускает, размазывается, как тени сгущающейся вокруг него ночи. Темнота делает мир проще, более смиренным, когда все кажется доступным и возможно...

Илья продиктовал адрес водителю по памяти.

— Бывший автокооператив «Сигнал», что ли? Там гаражи, точно туда едем?!

— Точней не бывает, — довольно ответил Илья, — еще только в магазин заедем, возьму кое-что, друга сто лет не видел.

Водитель понимающе, одобряюще ухмыльнулся:

— Мы не так часто видимся, чтобы пить чай.

Миниатюрная железная дверь в воротах цементного цвета выкрашена красным, гараж номер 114. Илья не забыл все эти многочисленные повороты к Колькиному укрытию.

Николай-старший продал машину, Илья и не помнит, чтобы она имелась в наличии, лишь со слов друга, гараж держали под склад ненужных вещей, картошку и соления.

Впускал Николай-младший по условному, специальному стуку. Илья так и постучал, спустя почти тридцать лет после первого стука, тогда Коля по детской наивности решил проучить отца, сбежал из дома, за что потом получил от обоих родителей.

— Старик, — позвал Илья, и потянул за ручку, дверь подалась, вечно заклинивающая на памяти Ильи, с легкостью открылась.

Из темных внутренностей гаража пахло спертым, застоявшимся перегаром, горячей изоляцией проводки и потом.

Друг согнулся, забрался в узкий, гномов проход. Глаза сначала увидели раскаленную докрасна спираль электрической плитки на тумбе. Из полумрака показался стол со старым, громоздким компьютером, бумагами и бутылками, тут же три табурета, калорифер, подобие лежанки, на ней — свернувшись калачиком, человек.

Споткнулся о провода, тянувшиеся из смотровой ямы к столу, матюгнулся, человек никак не отреагировал.

«Мертвец, — змей тут как тут, шипенье такое четкое и ясное, словно он здесь, караулит в пыльной, сырой темноте гаража, — мертвей мертвого, как и папашка. Просохатил ты друга. Не сдержал клятвенного обещания. Groш тебе цена! Иди и убейся! А лучше выжри все, что есть горючее, и ложись рядышком с мертвецом, друзья до гроба. Догоняй пока он далеко не ушел!..»

— Колян?! — дребезжит голос, Илья не смог сдерживать испуг, нагнулся, тронул темную фигуру за плечо, потрянул. — Старик, Коля!

«Трупец твой Коля, что к мертвому привязался, ты, чертов некрофил! Будь хоть верным другом, помяни, тяпни той жидкости, что на столе, она его и доконала!»

— Заткнись! Ты слышишь?! ЗАТКНИСЬ! — гроыхнуло в гараже, разлетелось эхом.

Развернул лицом, узнал друга, узнал, хотя и лицо уже не его. Опухшее, с щелками заплывших глаз, щетина торчит клочками, левая щека сплошной синяк.

Лицо Николая-старшего. «Змей подколодный прав», — пощечиной по сердцу мысль. Илья отстранился, потом приблизил лицо:

— Дышит, — облегченно выдохнул, — он дышит!

Коля-младший с лицом отца отрыгнул и открыл правую щелку глаза:

— Есть че? — по-змеиному прошипел.

— Сученыш, — поднял с легкостью, прижал к себе оживший труп, — я чуть сам кони не двинул. Узнал хоть?!

Скривил рот по-отцовски, криво оскалился:

— Ил приплыл...

— Тогда уж прилетел, — прижал сильней.

Коля отрыгнул:

— Я знал, что ты приедешь, хоть он и твердил, что нет, я знал.

Друг заплакал. Илья похлопал по спине, помог подняться. Свет от лампочки, торчащей из патрона в стене над столом, стал ярче, или это все та же привычка. Привыкаешь ко всему, жить в темноте, видеть невидимое, слышать...

Змей молчал, может, уполз, и быть может, на веки вечные... Еще одно облегченье, один плюс.

Коля на табурете давит всхлипывание в кулаке:

— Я слышал его голос, веришь?..

Илья догадался, о ком речь, но про своего змея решил промолчать. У каждого из нас свой внутренний голос и змеи...

— Чертовый голос с могилы, с того света, — Николай сплюнул в ведро под столом, от ведра несло кислотыной, поморщился Коля, посмотрел на друга целым глазом, — приехал-таки. Я одним ожиданием тебя и выжил. Клянусь. Посмотри, там, в компьютере письма тебе. Писал и этим жил. Ждал.

И он выдал свой терзающий сердце вздох.

— Я же обещал.

— Ты же побудешь сомной?! — схватил Илью за руку. — Хоть чуть-чуть?..

— Пока ты не поправишься, — обещает Илья, — ты не станешь своим отцом! Помнишь?!

Отпустил руку друга Николай, осмотрел заваленный, грязный стол:

— Ну, за встречу-то можно маленько, да и мне здоровье поправить, — стесняясь, разглядывая теперь уже пол под ногами, — мы же столько лет не виделись... Двадцать?

Вспомнил про пакеты с покупками Илья, он оставил их у красной дверцы, сказал:

— Вот блин, — в два шага оказался у двери, в этот раз дверь заклинило, и открылась с третьей попытки, — ну прямо как в детстве.

Пакеты были на месте, окочуренно хрустели, захваченные ночным морозцем.

С первой бутылкой водки друзья разделались на одних тостах за встречу. Вторую начали с воспоминаний, перескакивая из прошлого в настоящее и будущее.

Откуда синяк в пол-лица, Коля не помнил:

— Да и не хочу вспоминать эти дни, недели... Это все не я, не мое... — косился в темноту, — будто покойник вселялся, этот, — и он кивнул в угол, где черная пустота, — и телефон посеял, кажется в яме, а там жуть, как в могилу спускаться, я что-то не рискнул, вдруг там что и не пустит назад... Ты прости, а?..

— Да забудь, синяк сойдет, телефон найдем, — Илья быстро захмелел, но успел отправить сообщение жене, пообещал позвонить и строго велел целовать дочь, — главное же, что теперь все изменится. Так ведь?!

Коля ударил в тощую грудь кулаком, икнул:

— Клянусь. Ты свою клятву сдержал, вот и я свою сдержу!

— Будешь собой, закончишь книгу, и выпивать — по праздникам великим?

Еще раз ударил себя в грудь Николай:

— Клянусь!

За это и выпили.

Во втором часу ночи решили единогласно, что совсем невыпившие, почти трезвые, и надо б это дело исправить, отправились за третьей бутылкой.

— Тут рядышком, за моим гаражом, тоже мужик живет, — разъясняя вяло Старик, — машины чинит, ну и спиртом приторговывает, Бизнесмен, так его все и кличут.

— Не отравимся? — как-то не особо волнуясь спросил Илья, его больше тревожило отсутствие на небе звезд. — Попрытались, что ли?! — возмущался с задранной головой, цепко схватив друга под руку.

— Травятся мухи и бомжи, — проснулся философ в Николае следом за вторым дыханием. — Тварь я дрожащая или право имею? — криком в темень и пустоту бетонных блоков. — А звезд тут отродясь не было. Это же суровая сибирская зона. Тут не до страз гламурных. А звезды это че?.. Правильно — стразы неба, бижутерия, епта. Цацки... Тут у нас такого не любят — ни мужикам с серьгами ходить, ни небу не позволено!..

— О как, — Илья рассмеялся, — сам-то давно из уха серьгу снял?! Носил же, помню.

— Так я ж спецом носил, ухо проколол назло же этому, имя которого не называют. — Коля говорил на удивление внятно и трезво. — И писать стал, и напишу книгу, все ему назло, такая месть сыновья. Он же считал, что все писатели эти — гамадрилы через букву «о», и меня стращал, типа, если узнаю что подобное, живьем зарюю, ты как, не помнишь-то?!

Илья не помнил. Зато кадры из сна, где он в свадебном платье матери, раскрашенный, как последняя девка — яркими вспышками. От них он отмахнулся,

как от кровопийц-комаров, в буквальном смысле слова, замахав перед лицом свободной рукой. Прогоняя.

— Для него каждый мой рассказ как оскорбление, а уж серьга в ухе — удар в пах. Мои разводы — тоже его заслуга, невидимое присутствие, как гниение... Вся наша жизнь сплошная месть отцам. Война с папашами, и плевать, что они давно в могиле. Для раненых сыновей отцы занозой в ране под коростой. Занозой в жопе, — Коля зарычал, — он мое выразительное «эр» терпеть не мог, оно его бесило, говорил, уж лучше б картавил. Поэтому, Илюх, не прощать своих отцов — лучшая месть сыновей.

Лучом света в темном царстве приоткрытая щель в воротах гаража.

Коля говорит:

— Вот и спасительный маяк, что приведет нас в страну забвенья, где нет места отцам, не выносящим своих детей. Убийцам счастливого детства.

— А мать?

— А мать — это не отец, а значит спасение и свет. Мать значит Бог!

Бизнесмен, толстяк с крысиным хвостиком седеньких волос и такой же жиденькой бородкой-косичкой, не спал:

— У меня война со сном, — слюняво хрюкает, — мы друг друга не перевариваем. Когда мне хочется спать до усеру, его ни в одном глазу, ну, и наоборот, работы до крыши — глаза слипаются. Такая петрушка.

— Война нам строить и жить помогает, — продолжал разводить демагогию Николай, — давай нам две литрухи и бейся дальше, а лучше, — он показал три пальца.

— Ты, как посмотрю, тоже все воюешь, — поросичий восторг остроте, — водка — наш враг, но мы врагу не сдаемся, так?! Напарника вот, как погляжу, привлек к сраженью!

— Друг детства, познакомься, — отдает деньги Ильи Коля, прячет пластиковые бутылки в пакет, пока мужчины обмениваются рукопожатием.

— Вдвоем вы точно всех порвете! — вытирает слюнявый рот Бизнесмен. — И звезды, и луну. Гаражи наши оставьте только, у меня перекатанного спирта еще литров двадцать.

Дерево-гриб с красно-алыми листьями стало взрывом. Взрывная волна подкатила к горлу, вышвырнула из пьяного сна в не менее пьяную больную реальность. Илья по наитию, вслепую, на карачках нашел ведро под столом, куда его стошнило огнем и желчью.

Стошнило листьями с дерева, заметил, разлепив глаза: рыжие, алые, фиолетовые и багряные листья.

Второй позыв удалось сдержать, проглотить, маленькая победа — временное облегчение.

На лежанке — матрасе у стены проснулся друг, уснули в одежде, в обуви... Илья не может вспомнить, как и во сколько?... Коля помахал, выдавил сначала что-то наподобие «уффхе», потом:

— Испугался, что ты мне приснился.

— Хотелось, чтобы кое-что все же было сном, — сказал Илья и добавил: — Мы курили, что ли?! Я?! — поднялся, полки с банками краски, растворителями, инструментами затряслись перед глазами. Закрыв глаза, выдохнул: — Точно курил, черт.

— Ой, да пара затяжек, — успокоил Коля, — я тож как бы бросил, бросаю...

На телефоне мигает значок СМС сообщения:

— Аня, — говорит Илья. Но СМС-ка не от жены. Сообщение от оператора — просьба пополнить баланс во избежание блокировки номера.

— Черт, — снова и снова чертыхается Илья. В то время как друг разливает по рюмкам, весело булькая:

— Почти литр и половина, ниче так заначка. Самое то на утро. Во избежание Стрелецкой казни.

— У меня весь гараж ходуном, даже не знаю, не ползет, кажется.

— Когда кажется — крестятся, — Коля в своем репертуаре, в предвкушении, оттого и позитивен, — а от тремора спасет рюмка-другая, и надо б за закуской слазить и...

— Точно, помню, твой телефон в смотровой...

В голове знакомая боль, пока несильная, ноющая, может, рюмка водки и поможет, притупит, рассосет, взял рюмку Илья.

Старик сказал тост:

— За нас с вами, за хрен с ними!

Выпил Илья с закрытыми глазами. Подраненный желудок отозвался жжением, организм принял похмельную дозу.

На столе в блюдце нарезанные, засохшие кусочки колбасы, сморщенные малосольные корнишоны.

Илья закусил, банки с краской на полке стояли не шелохнувшись.

Вторая рюмка, дабы закрепить первую, руководствуясь опытом Николая, вошла как в сухую землю.

Вынес ведро Илья, вылил за гаражом, не взглянув на содержимое. Листья обратились во что-то иное, он слышал шуршание чешуек о пластмассу, нечто живое извивалось на дне ведра мерзким, противным клубком...

— Третью — за любовь, и в яму, — решили друзья.

Так и сделали.

Убрали деревянный настил, Коля светил настольной лампой, свет ходил ходуном, как уличный фонарь на ветру.

— Держи ровно и в лицо не свети, — Илья спустился, четыре железные ступеньки, держась руками за стенки из кирпича. Вместо привычных запахов автомобильных жидкостей, машинного масла, солярки — резкий запах сырости, пожухлой листвы и мха, запах другого мира.

Банки с соленьями и консервы в противоположном конце ямы блестят мутным светом. Холодно об-

наженным рукам, Илья разделся до футболки, парок изо рта возвращает детство: они забирались сюда с карандашами в зубах, делали вид что курят, затягивались и дымили.

— Ты знаешь же или забыл, что я крыс терпеть не могу? — голос над головой. — За их хвосты, такие тонкие, розоватые, от одного вида воротит даже сейчас, как представляю...

— Свети, помню я все.

— Но больше всего боюсь змей.

— В точку, как раз вовремя, — шепотом и громче: — Ниже свети! Под ногами что — не видеть!

Подчиняется друг, и первое, что видит Илья, — змеиную кожу, сердце подскакивает к горлу, и вот, привкус страха, сладковато-горький, водочный.

— Ё! — Кожа — это всего лишь провод покрытый чешуйками инея. — У меня тоже особые отношения со змеями, — перевел дыхание Илья, пригнулся, разглядывая дно ямы: листы бумаги, смятая картонная коробка, батарейки, банка из-под пива, еще одна... Продвигается вперед: пачка «Кэмел», гаечный ключ, черно-белая фотография, пригляделся, на снимке семейство Стариковых, подобрал, убрал в карман, шажок еще — и вот она, дорогая пропажа:

— Наливай! — поднял вверх телефон. — Ни царапинки.

Запрокинул голову Илья, и сердце оказалось во рту. Сверху вниз на него пялилось безликое существо из сна. Оно протянуло руку, кожа на месте, где должен быть рот, разошлась морщиной, лопнула раной...

Вот он, другой мир, загробный мир могилы, тут обитают безликие существа и змеи!

Если бы Илья закричал, он бы выплюнул сердце в грязь ямы, он заскулил, зажмурился, присел на корточки:

— Ммм...

Голос друга:

— Ил, что там ты?! Не пугай! Крыса?..

Илья приоткрыл глаза — свет скакал по пыльным стеклянным банкам прямо перед ним.

Сны могут быть реальны. Надо еще разобраться, что есть настоящая жизнь — сон или явь.

Вытянул руку с телефоном друга Илья:

— Потерялся на секунду, — сказал, проглатывая сердце, — ты еще под ухо со своими крысозмеями.

— Люди-крысы, люди-змеи, — повторил отцовские высказывания Коля-младший, забирая сотовый.

Илья не рискнул посмотреть, кто свесился над ним и дышит свежим перегаром. Заставил себя хохотнуть:

— Мне больше его люди-вши и люди-тараканы нравились.

Чуть не добавил — фантазия явно у тебя от бати.

Свет покинул его, Илья наугад взял две банки, попятился к ступенькам:

— Если это варенья, сам полезешь снова.

Раскрылся веером электрический желтый свет с голосом Николая:

— Да, я это, заряжаю... Нет там варенья, сладкое убивает.

Банка гречневой каши с мясом и банка лечо первыми выбрались из ямы, следом вскарабкался человек.

— Как там внизу, — пошутил Коля, — есть жизнь?

Илья ответил не задумываясь:

— Пожалуй, нам стоит выпить.

Жене позвонил, потерявшись в часовых поясах, когда в Калуге было раннее утро. Анна перебила его с первого слова:

— Баночкой пива тут уже и не пахнет.

— Чем же? — стараясь сохранить голос уверенно твердым.

— Водкой разит, аж тут воняет.

Илья оправдался, наговорил все, что мог выдумать опаленный разбавленным спиртом мозг, пообещал вырваться через пару суток.

— Ты же точно в Москве? Знаешь мою интуицию... И сон сейчас видела, сто лет кошмары не снились, да никогда не снились, а тут...

— Сон? — переспросил муж. — Боже, какой сон? Сны меня эти достали.

— Какой? Кошмарный! Ты будто бы провалился в могилу, а в ней всякой гадости кишмя кишит: мокрицы, черви, сороконожки, змеи. И все они на тебе, потом вижу тебя, точнее, я понимаю, что это ты, но они съели твое лицо. Все эти жути. Проснулась, а это лицо, точнее, не лицо передо мной, все такое... Страх короче. Тут ты и позвонил.

Икнул Илья.

— Ты давай, осторожней там, никаких глупостей не натвори, не пей шибко. Скорей возвращайся, два дня и...

В трубку с визгом ворвалась проснувшаяся дочка:

— Папа, покажи филина!..

У Ильи закончились на телефоне деньги. Связь оборвалась.

Пока Илья говорил с домом, Коля Старик успел сбежать до Бизнесмена.

— Для подкрепления здоровья, — поставил на стол первый из принесенных литров. Сколько бутылей в пакете, Илья не стал смотреть, разогрел кашу, выложил в одну большую алюминиевую тарелку:

— Как раньше будем, — дал ложку другу.

Коля в ответ вложил ему в ладонь полную до краев рюмку:

— Молодец, что приехал. За нас! — подмигнул подбитым глазом, синяк начал желтеть.

— Чтобы держали свои обещания!

— Клятвы.

— Если придется, я зашью тебе рот, — подмигнул Илья

— Лучше вон, — показал головой куда-то за спину друга Коля, — пеной строительной глотку залей.

Рюмки встретились.

Мылся, как оказалось, Старик, где получится: в бане на «Крупской», когда водились деньги, если в кармане пусто, захаживал в гости к тому же Бизнесмену, к мужу бывшей учительницы математики, иногда к своим квартирантам.

— Но чаще вот в том тазу, — показал на перевернутый красный таз, — воды с колонки наберу, вскипячу, ведро с ковшом в помощь, и ниче так джакузи.

Как бы подметила Анна — их ржанию не было конца. Илья, стоило ему вспомнить, и нарисовать сие действие, взрывался:

— Мочалку-то берешь? В джакузи?

Не уgomонились и в сауне, бывшей бане на «Крупской», и парная с бассейном не помогли, и холодный душ:

— Тыщу лет так не гоготал, — сидели вдвоем на заднем сиденье такси, поздним вечером возвращаясь в гараж, — живот от смеха болит.

— И рот, — старался не щериться Илья, — девица та, что белье с пивом принесла, подумала, мы психи.

— И гамадрилы через букву «о».

Илья вопросительно мотнул головой.

— Ну, раз девочек не заказали, то кто мы еще, и ржем, как два дебила...

— Гы, — поползла улыбка у Ильи в стороны, — видела бы она, как мы спим.

Водитель посмотрел на друзей в зеркало:

— У меня теща веники на заказ делает, лечебные — береза, ель, все такое, вам — за полцены, и парьтесь хоть в ванной, в тазике, главное ведь эффект веника...

Стекла такси вздрогнули от грохота чистого, мужского смеха, и небо вздрогнуло.

Дружба лечит!

Прибрались в гараже, восемь пакетов мусора вытащили за гаражи на свалку. В пакет с алкоголем не заглядывали. Выпили по рюмке, доели кашу. Перед тем

как улечься, Илья позвонил жене, поговорил с дочкой, Анна тщательно пыталась услышать в голосе мужа пьяные вибрации и под конец разговора сказала:

— Не, ну баночку пива мог бы и выпить, чтоб спалось крепко.

Муж ответил, что любит своих заек.

На сон грядущий выпили по рюмке, Илья намазал лицо друга бодягой, строго приказывая себе: «Не заржи!» Не сдержался.

Николай пытался включить компьютер, не получилось.

— Утро вечера... оставь, — успокоил Илья, — и сегодня я у стены.

По полрюмки, чтобы освободить тару, и пустая пластиковая бутылка отправилась в мусорный пакет.

Фотография выпала из кармана, когда Илья сворачивал джинсы, пригатавливаясь «залечь на дно», по выражению друга детства.

— Ой, да, глянь, — Коля сидел на матрасе, решая вопрос жизни и смерти: курить или не курить, вот в чем вопрос.

Взял снимок, и вместе с ним повалился на лежанку:

— Так и знал, что он там, в яме. Со стола ветром или как смахнуло, а, сука, боялся спуститься, трусло... — разглядывал, как в первый раз, — хотел сначала этого замазать да че-т не знаю. Не замазывается. Рука не поднялась, будто сдерживает кто...

На фото Стариков-старший с женой Леной в полный рост и мальчик Коля по центру, вцепился в воздушный шар, который вот-вот лопнет под ноготками в белых черточках-искринках.

— Помню этот день, Первоймай это, сразу с парада. Этот еще не пил по-черному, но в тот день упоролся в честь праздника. Да, наверное, с этого дня все и началось...

Илья прилег к другу:

— Шарик-то лопнул? — меняя печально известную тему избитой, как жизнь, истории.

— Не помню, слушай, — оживился Николай, — как-то не думал, постой, нет, не лопнул. Точно. Я его отпустил. Привязал желание, ну на бумажке пишешь самое заветное, к нитке привязываешь и в небо на рассмотрение Боженьке посылаешь, — тараторил Коля, — да, шарик уцелел в этой битве. Может, он и сейчас все еще летит где-то там, в космосе, между звезд...

Вдвоем легли, уставились мечтательно в белый потолок гаража. И будто не было тридцати лет взрослой жизни, детство вернулось.

— А чего загадал-то? — голос Ильи тих, как колыбельная. — Хотя не надо, не говори, вдруг не сбудется.

Коля шмыгнул носом, фирменно вздохнул:

— Попросил, чтобы мама выздоровела и папа не пил. Тишина договорила остальное.

— А цветом каким? — нарушил долгое молчание Илья. Слышно, как урчат животы и стучат сердца.

— Красный. Видел, как дверь выкрасил? Вот точно такого. И вроде красный цвет не особо нравится, злющий он какой-то, но тянет к нему. — Коля снова швыркнул носом, вздохнул. — Чушь, конечно, но мне в своей жизни хватит вот этого. Лежать так с тобой на полу, на матрасе в гараже, смотреть в плохо побеленный потолок, в паутине и трещинах, и говорить о шарике цвета крови с желанием на ниточке...

— Старик, — Илья не услышал, как произнес это.

— Надо поклясться, что найду этот шарик, и найти, и все исправить... — Дыханье у Николая стало прерывистым, частым, на выдох. — Клянусь, я найду его, где бы он ни был! Может, тогда заживу по-человечески. Как живут все нормальные люди-человеки...

Илья нащупал его руку, сжал в кулак, смотреть на плачущего друга страшней, чем в существо без лица. Загорелись глаза, зашипали, Илья осмелился лишь сказать:

— Давай завтра с утра сходим на кладбище.

Солнце, странное дело, пробралось в гараж. Стены, потолок, ворота, полки со всякой дребеденью, светились каким-то внутренним, таинственным светом. И внутри у друзей тоже светло.

Дорога до кладбища — минут сорок пешком, сверкает инеем, не по-осеннему тепло, Илья снова проверяет время:

— Будто проснулись в другом мире, — говорит.

— Точно, я за столько лет хоть выпался, без могильных снов с покойниками и чудищами. — Коля нашел древнюю жвачку «Турбо», прибираясь на столе, сейчас разломал напополам, протянул Илье. — Давай вспомним вкус детства.

И оказался прав, стоило резинке попасть в рот, и мультифруктовый вкус воскресил мультивоспоминания: тут и первая линейка в школе, и колесо восьмеркой на велосипеде «Украина», мамины блины с вареной сгущенкой, заноза в пятке, зайчики, пущенные зеркальцем в окна соседей, догонялки с псом Рексом, ожог крапивой и карусель в парке, которую по дворовой легенде, если раскрутить достаточно сильно, можно увидеть себя в будущем, себя взрослого...

Илья помнит, как они с Колькой проделывали это и не раз. Как-то ему открылось будущее, он увидел за ограждением, у будки аттракциона, возникли две фигуры мужчин, у одного из них, разглядел мальчик, половина лица была разноцветной...

— Сколько раз здесь бываю, — голос Старика среди кладбищенских берез и оград громок и непривычен, — а его памятник не вижу. Только материн. Мозг договорился с глазами, и они стерли его. Начисто.

Они в ограде у двух могил, тут же раскладной, железный столик, скамейка как раз для двоих.

— Мамка простила отца, велела похоронить ее рядом с ним, — говорил самому себе, примиряясь с собой, Николай, — я не мог в это поверить, кричал, что

поменяю имя и фамилию, отчество! Вычеркну следы его пребывания на Земле. А она простила, жена, женщина, которой он загубил всю жизнь...

Илья разложил на столе бутерброды, разлил в два пластиковых стакана водки, приготовил третий стаканчик.

— Ничего я не поменял, а ведь, честное слово, собирался, у меня список есть любимых имен и фамилий, веришь? — мужчины обменялись тихими улыбками. — Том Соьер даже в том списке.

Сын исповедовался на могиле родителей, говорил, что не выговорил, больше высказывал все отцу, которого и отцом-то никогда не называл. Сегодня — назвал.

Памятник отцу, стертый в сознании сына, возник — мраморная плита с именем, как у него, и отчеством. Заросший сорняками, ржавая жестяная банка с дождевой водой, вот и все посетители могилы отца — трава и дождь...

Коля говорил, кричал, плакал, рычал, выдирая сухую, жесткую траву голыми руками. Не позволил другу помочь. Илья оставил Николая наедине с родителями. Сходил, купил живых цветов у ворот кладбища, вернулся в тишину. Свежие следы веника на земле, даже за оградкой, капли воды на вымытых памятниках блестят слезами. Коля на скамейке мнет пачку сигарет:

— Простить отца — это половина, большая, но половина, теперь как простить себя?! — Пачка исчезла, в руке появился стаканчик, — отцу цветы не ставь, он их терпеть не мог, водки лучше. Mamka обожала цветы, но на моем веку он ей их не дарил. Ни разу.

Илья все так и сделал, цветы распушились радужным веером у памятника Елены Стариковой, стаканчик с водкой и хлебом, встал на место жестяной банки в подножье плиты на могиле с прахом Николая Старикова. Подошел к столику и тут за оградой увидел змею — черная чешуя на солнце искрилась тонкими, серебряными иголками.

— Она ж ядовитая, — не отводя глаз от змеи, сказал.

— Ай, да, не стал выбрасывать, тебе чтоб показать, — оживился друг, — на могиле отца, прикинь, я сначала опешил, она в самом центре кольцом, а я траву дергаю. Ну и схватил гадюку за шею, и как камень с души, словно всю ненависть всю злобу на отца в себе задушил. Сразу так похорошело, думаю, раньше бы тебя, змею подколодную, придушить надо было, столько лет не мучился бы!..

Илья перевел взгляд на друга, все, что он мог сейчас, это вертеть головой с открытым ртом. На друга, на змею, опять в глаза другу:

— Ты же...

— Я уже ничего не боюсь, Ил-76. Ни змей, ни крыс, ни жизни не боюсь. Ни себя. Давай помянем, водка закипает.

Поминали, вспоминали до обеда, попрощались. Змею, подцепив палкой, Коля выбросил в мусорный контейнер у ворот. Прогулялись по поселку детства, где для Ильи все ново и незнакомо, в парке выпили по пиву. Взяли билет до Москвы на завтрашний вечер. Пока Коля забирал квартплату, Илья позвонил домой:

— Завтра буду дома.

Анна сказала:

— Ты у меня замечательный муж и друг ты настоящий. Если бы не сдержал обещание, я бы, может, подумала, а не развестись ли нам?

Муж второй раз за сегодняшний день замер с открытым ртом.

— Старику привет передавай, пусть уже женится или книгу пишет. Лучше и то и другое, он ведь тот пострел...

Мир изменился, стал лучше. Илья почувствовал это каждой частичкой тела. Почувствовал кровью, кожей души...

В самолете, унося с собой день, когда мир стал лучше, увозя объятых друга, случившиеся у стойки досмотра в аэропорту, его режущее «эр», он вспоминал слова друга:

— Не прощаемся же. Я, может, роман не напишу, но повесть осилю. Этот воздушный шарик меня так зацепил, покоя не дает... Надо с ним что-то делать.

Илья только в самолете понял, что сегодня ему снилось детство и никакого свадебного платья и алой помады... Он простил отца, простил мать. Осталось, как сказал лучший друг днем раньше на могиле своих родителей, сумевший задушить змею непросщения одними руками, простить себя.

Мир стал другим. Дерево перед окном на работе больше не походило на атомный взрыв, и чем он смотрел раньше?!

— Вылитый воздушный шар, — говорит Илья. И не прислушивается в ожидании услышать в голове или рядом змеиное шипенье. Змей мертв. Дружба лечит. Мир может изменить слово. Обещание. Клятва.

Первый пьяный звонок в час ночи, если бы он тогда не ответил, сказал потом, что спал крепко, как убитый, с кем не бывает, ничего, быть может, и не было...

Илья уверен, что до последнего дня жизни будет помнить этот звонок, а еще тот день, изменивший мир.

Коля звонил часто, смешил, читал куски повести без названия, грозился переслать письма, написанные в те, кажущиеся невзаправдашними времена, говорил загаками.

Последний звонок был через полтора года после их встречи. Старик сказал (Илья помнит все досконально, слово в слово):

— Ты не теряй меня. Я не в запое и не натворил ничего дурного. Не надо меня искать и все такое. Я на время уеду... Расскажу все после. Ты просто верь и жди. Я, как смогу, как вернусь, сходу тебя наберу. Номер только не меняй.

И друг исчез.

Потом, примерно полгода спустя, Илья увидел в интернете сообщение о чудике из сибирского городка, продавшем квартиру и в собственном гараже смасте-

рившем воздушный шар. Тут же фотки: на одной Коля — лысый, улыбающийся, рядом помощник, так окрестили в материале Бизнесмена, Илья узнал его. Второе фото — воздушный шар, огромный красный с крохотной корзиной — желанием. У шара было название, Коля-младший назвал его КЛЯТВА — белыми огромными буквами на красном.

«Улетел, но обещал вернуться», — заканчивалась статья.

Еще год прошел без вестей от друга. Анна забеременела, родила мальчика, над именем не думали.

Маленький Коля, рос под сказку о чудике, отправившемся на воздушном шаре за другим шариком, поменьше, за ответами, которые известны лишь небу и звездам...

Все семь лет Илья смотрит на дерево-шар и снова и снова набирает номер друга. СМС возвращались назад, аппарат абонента вне зоны действия сети.

Илья верит, Коля Старик вернется, ведь иначе никак. Остались непрочитанными письма, недописанная повесть, осталась дружба, что лечит, и мир, который его ждет...

Илье чудится, что дерево-шар на самом деле не дерево... Что в некоем другом мире, в мире смотровой ямы, например, это Колькин воздушный шар с большими буквами по всей окружности КЛЯТВА.

Илья каждый день — утром, в обед и вечером — подходит к дереву, к воздушному шару, прикасается к нему, к теплой коре корзины:

— Ты сдержал свою клятву, сукин ты сын, — говорит почти всегда одно и то же Илья, — давай уже, делись, что там наверху, желания исполняются?!

Сегодня, только он это сказал, в кармане пропиликало, пришло сообщение. Душой увидел Илья, от кого оно. Короткое, всего лишь значок. Значок, так сильно похожий на капелюшку крови.

# АНГЕЛ НА ЧЕРДАКЕ

*Моему ангелу-хранителю*

## 1.

Детство невозможно без ангелов. Ангелы и привидения, домовые и места силы, безумные ведьмы по соседству и таинственные животные в темных уголках городского парка... Это часть детства. Сказочный, волшебный грот, через который проникаешь во взрослую жизнь. В жизнь, где нет больше места чуду.

Про ангела-хранителя рассказывала сначала бабушка. Потом мама. Ангел дан каждому из нас Богом. Он невидим, но всегда и всюду рядом с нами. Его присутствие ощущаемо особенно ночью, перед сном, когда засыпаешь, и на рассвете, при пробуждении, можно почувствовать дыхание хранителя. Сладкое, теплое, как объятья мамы. Мамины поцелуи.

— А в полночь ангел отправляется к Богу с отчетом за день. Рассказывает, какие дела ты совершил, что нового узнал, о чем думал и о чем мечтал...

Это уже я нашептываю засыпающей дочери на ушко. Ей почти пять, и она обожает истории про ангелов. Детство идет ей навстречу, скорее, бежит вприпрыжку с распростертыми объятьями.

Я рассказываю. Она держит меня за большой палец, проваливается в зыбкий сон, но вскоре снова слушает с раскрытым ртом и широко распахнутыми глазищами. Я вспоминаю...

Поздней, поздней осенью температура сбила меня с ног. Месяц, как мне исполнилось двенадцать лет. Я лежал в кровати, укутанный двумя одеялами, и то дрожал от холода, то закипал, как чайник на плите. Мокрые простыни мама меняла несколько раз на дню...

Рассказываю дочке не все. Есть вещи, которые остаются не рассказанными никогда. Никому. С тобой. В тебе...

Строчка в больном мозгу, одна строчка из стихотворения, которое учил не так давно в школе: «тлеет скарлатины смертный огонек».<sup>1</sup>

У меня скарлатина и гнойная ангина. Диагноз запомнил на всю жизнь. От скарлатины раньше умирали, знал я. Теперь она лечится. Но смерть пряталась за печкой. Я видел ее за занавеской, в углу между шкафом и стеной. Она таилась, кружа неподалеку... Она была в старом солдатском пальто, в таком же, что и дед на фотографии с войны. На голове шутовской колпак, где вместо бубенчиков черепки. Лица у смерти нет — пустота, в которой порхает полчище серой моли... Она не говорит. Не издает ни звука, лишь шорох падающей листвы. Ее шаги — тиканье часов. Тик-так. Она возле кровати. Тик-так. Тенью пробежала по потолку. Тик-так. Смерть спряталась за дверь. Тик-так. Ее спугнула мама. Мама вошла в детскую, принесла с собой поток ароматного свежего воздуха. Поток жизни и здоровья. Я закашлялся, и мама взяла мою голову, положила себе на колени. От ее прикосновений стало легче дышать...

— Я слышал ангела-хранителя, мама, — выдавил я, — он ходит там за потолком. На чердаке. Я считал его шаги. Он надо мной...

— Да, да, сыночка, я знаю. Он всегда дает о себе знать, когда тебе плохо. Когда болеешь. Поддерживает тебя. Напоминает о себе своими шагами. Своим присутствием. Ты скоро поправишься.

— Правда?

И мама отвечала:

— А то!

— А то? — переспрашивает меня дочка.

И я повторяю. И я продолжаю:

---

<sup>1</sup> Э. Вагрицкий «Смерть пионерки»

— Я слышал, как кто-то ходит наверху. А там у нас чердак, где масса интересных вещей: старых журналов, неполных сервизов, игрушек, книг...

— Это был ангел? — глаза дочки ясны, в них ни капли сна.

— Ангел. Он ходил надо мной. Стучал в потолок и стены, словно выстукивал какие-то магические заклинания. А потом я услышал песню...

— Ангелы умеют петь, папа? — Она привстала с кровати и заглянула мне в лицо. Глаза в глаза.

Я ответил:

— А то. Еще как.

Она легла. Вся раскрасневшаяся, сияющая.

Мы молчали, думали об одном и том же, о том, как поет ангел...

Тогда же я узнал, что такое бред. Он начинался с видений. Карандашница на столе изменялась. Деформировалась и взрывалась. Только взрыва не было, он был в моей голове. Вокруг же все стекало расплавленным воском. Ручки с карандашами текли по столу и капали на пол. Потолок плыл волнами, радугой изгибались стены... Я проваливался в температурный бред и оказывался там. На чердаке. Рядом с ангелом. Белоснежный, со здоровенными, больше, чем он сам, крыльями, ангел ходил по чердаку, рисуя понятные лишь ему знаки. Магические письмена. Исцеляющие... Он писал их серебристой пудрой, что сыпалась с его крыльев. Ангел-хранитель тихо напевал...

Возвращаясь в себя, я открывал глаза, но все еще слышал пение ангела. Он все так же, подобно шаману, плясал на чердаке, и от этого священнодействия мне становилось свободней. Я дышал без хрипов в груди, появилось желание поесть, захотелось смеяться...

— Мне надо встретиться с ним, — уговаривал я маму, — подняться на чердак и увидеть его, поблагодарить за выздоровление...

Мама обещала:

— Ты еще встретишься с ним, вот увидишь. Ты еще слаб, тебе нельзя вставать с постели, а на чердаке холодно и крыша протекает, там пыльно...

— Но ангел же там... И я почти здоров...

— Всему свое время, родной, — и гладила меня по голове, и напевала в точности, как ангел. И я засыпал, и снова оказывался на чердаке с ангелом.

Я закончил. Дочка целует мою колючую, небритую щеку.

— Спасибо, папа, ты мой ангел-хранитель, — говорит и тут же засыпает.

С чувством человека, побывавшего в прошлом, возвращаюсь к работе. Пишу большой материал для серьезного издания. С женой мы больше года как в разводе, и пять месяцев, как пробовали вновь сойтись. Дочь Нина большую часть времени со мной. Да почти всегда, за редким исключением.

— Времени, — говорит бывшая, — у меня в обрез, и ты сам настоял на ребенке, если помнишь. Я на все это пошла только из-за тебя. Так что не обессудь...

— Я никогда не стану моделью, — обещает дочка, — буду сочинять книжки про ангелов.

И почему-то мне верится, что так все и будет.

## 2.

Грузовика я не увидел. Услышал грохот позади себя и даже не успел обернуться. Разрывная молниеносная боль пронзила спину, меня отбросило вместе со столиком куда-то к витрине уличного кафе.

«Вот так попил кофейку», — мелькнула мысль. Я, кажется, успел улыбнуться, а потом наступила тьма. И, о да, в ней был плач и скрежет зубов.

Опять всему виной стал человеческий фактор, так напишет какой-то журналист в городской газете. Он напишет, что водитель возвращался с двойной смены (ночь,

день, ночь) и задремал за рулем. Потерял контроль над управлением. Протаранил столики в уличном кафе «Ласточкино гнездо». Двое погибших. Пятеро раненых.

Он и про меня там напишет. Но не будем об этом.

Мама прочтет мне это в больнице через неделю после аварии. Нина будет крепко сжимать мой большой палец и стараться не плакать, но я слышу, как она дышит, как слезы заполняют ее сердечко, и как бегут слезинки из больших зеленых глаз. Слышу, как стучит ее сердце — стучит прямо о мое...

— Пусть снова придет ангел, — молит она.

И бабушка, моя мама, тихо ей отвечает:

— Так все и будет.

Они уходят, и я вижу, как лампы надо мной меняют форму, они превращаются в объемные светящиеся капли, а потом срываются и разбиваются об меня, об кровать, об пол...

Я проваливаюсь, пропадаю, возвращаюсь назад...

Это мое детство. Третий день, как я поправился после тяжелой болезни. Я поставил лестницу и залез на чердак.

Ангела там не было. Все было как и раньше — старые шкафы с разнокалиберной посудой, стопки книг, какие-то сувениры, клубки ниток, плюшевые игрушки... Одно «но» — не было привычной пыли. Не сказать, что все сверкало чистотой, но чердак был убран как никогда. Все лежало аккуратно на полках или собрано в стопки по коробкам... Пахло дождем и чем-то знакомым:

— Нарциссы? — гадал вслух я, отыскивая следы пребывания ангела. — Лимонные корочки? Ваниль? Розовая вода? Чабрец?..

Я так и не угадал запах. Залазил на чердак снова и снова... И однажды нашел все-таки след ангела. Перышко необыкновенно серебристого цвета. Оно застряло между рамой и стеклом чердачного окна, и все это время светило в лучах солнца. Теперь было па-

смурно, и вместо солнца засветилось оно. Сердце екнуло, душа потянулась раньше, чем руки за находкой:

— Вот оно, — прошептал, — я верил. Верил!

Прикоснулся к перышку и словно проснулся, в голове стало чисто (как на убранном чердаке) и ясно. Может, это называется — повзрослел?..

В больничной палате очнулся наполненный до щеколки в горле тем самым запахом из детства. И, не поверите, над моей головой кто-то тихо заходил из стороны в сторону.

Медсестра, так сильно похожая на мою бывшую жену, клянется, что в палате сверху никого:

— Сама ради вас сейчас сходила, проверила, — она разводит руками, — пусто. В выходные многие ходячие домой торопятся.

— Ходячие, — усмехаюсь, — у меня вон свой ходячий... Крылатый..

Я уже могу говорить, но ноги все еще не хотят выполнять приказы мозга.

Не сдаюсь. И днем, и ночью во сне повторяю, как заклинание, как молитву — наказ Иисуса парализованному юноше:

— Встань и иди! Встань и иди! Встань!..

А шаги над головой сильней, настойчивее... Постукивания, словно азбука Морзе, перемещаются по палате тоже с какой-то неизвестной мне закономерностью.

Через три дня я услышал знакомое пение.

Попробовал записать все, что слышу на диктофон в телефоне. Пока прослушивал, что получилось, позвонила бывшая. Рыдала в трубку, истерила, это у нее естественное состояние, когда не выходит так, как она планировала:

— Все, брошу всю эту модельную х..ню! — после развода она стала грязно материться, истинная природа, видно, рвалась наружу.

Попросил успокоиться. Она пообещала наглотаться таблеток:

— Все просрала! — кричит. — Ребенка просрала, мужа просрала, молодость, жизнь...

Снова прошу успокоиться. Она отвечает, что напьется и бросится с многоэтажки.

Говорю ей:

— Если все так плохо, возвращайся, попробуем еще раз. Может, в третий раз получится...

— Бог любит троицу, — соглашается. И больше не плачет.

Она целует меня бесконечное число раз — так она говорит — и отключается.

Я включаю запись диктофона. И... Вот они, шаги, ясно различимы сквозь гул ламп дневного света, и вот он, тонкий голосок, напевающий непонятную мелодию.

От восторга задыхаюсь и произношу лишь одно:

— Попался!

Мама приходит каждый день с дочкой. Нина рисует всякий раз нового ангела:

— Бабуля только крылья помогает рисовать, — оправдывается.

Рисунки с разноцветными ангелами висят по всей палате и на лампах дневного света тоже...

— Ангел вернулся, — делюсь я с родными людьми, — я снова его слышу.

Дочка хлопает в ладоши, прыгает, смеется. Мама легонько улыбается и говорит в точности, как тогда, двадцать пять лет назад:

— Ты еще встретишься с ним, вот увидишь.

И гладит меня по голове, и словно не было всех этих лет, будто мне снова двенадцать, и я только переболел скарлатиной.

— Разве при жизни это возможно, мам?.. — спрашиваю я двенадцатилетний.

— Ты добрый, — шепчет мама, — твоя душа чиста и открыта волшебству. Значит, возможно все.

Как только любимые ушли, вновь напомнил о своем присутствии ангел-хранитель.

Заранее, еще в обед, у инструктора по лечебной гимнастике попросил костыли.

— Осмелитесь прогуляться в одиночку? — интересуется он. — Барышню, никак, приглядели?.. Понимаю. Уважаю. Сделаю.

С костылями ходить непривычно, а подниматься по ступенькам уж лучше ползком, быстрее будет.

На верхний этаж поднялся минут за пятнадцать. Ангел обычно затихал к полуночи. До времени стрелок, указывающих на небо, еще как минимум час, и я не тороплюсь. Только постукивание костылей напрягает. Как бы не спугнуть этим бабаханьем крылатого...

И тихо идти не получается, в больнице лишь робкие перекрикивания больных да телефонные рингтоны.

Палата № 77 — там скрывается мой ангел-хранитель.

Останавливаюсь. Пот бежит по лицу, щиплет глаза, заползает под воротник пижамы... Сердце колотится о грудь и отдает в дерево костыля, на который я облокотился, чтобы перевести дыхание.

«На счет три», — решаю я.

И вот опять этот ласкающий нос и душу запах. Тонкий, едва уловимый.

Мне снова двенадцать, я на чердаке в поисках следов ангела, пытаюсь определить, чем же это так чудно пахнет:

— Нарциссы? Лимонные корочки? Ваниль? Розовая вода? Чабрец?..

Откровения на то и откровения, что приходят внезапно, как удар грузовика в раннее утро:

— Духи.

А перед глазами флакончик в бархатной розовой коробочке и непонятные двенадцатилетнему мальчишке слова на французском.

— Как? Как же?..

Дрожь от волнения, слезы, давно ожидавшие своего часа, побежали по щекам, сердце, казалось, встало поперек горла. Я не мог произнести этих слов, они звучали во мне:

— Как же? Как? Почему раньше не догадался? Не понял?..

— Всему свое время, родной, — сказала мама больше чем двадцать пять лет назад.

— Ангел на чердаке! — не знаю, воскликнул вслух или все так же голос кричал это во мне. В голове. В сердце...

Костыли бабахнули о больничные плиты. Я навалился на дверь палаты, и она поддалась.

Белый свет ослепил своей чистотой. При встрече с ангелом-хранителем иначе и быть не могло. Пахло духами из детства. Пахло детством. Детство — от него нельзя убежать, как бы ты ни хотел... Детство, которое всегда с тобой.

И вернулось чудо. Чудо, которое может вернуть только один человек на Земле. Не человек — твой ангел-хранитель.

Минута — и глаза привыкли к свету. Стоя лицом к лицу с ангелом, я продолжал молча плакать. Да и какие тут могут быть слова...

Если только одно самое известное Слово. И самое сильное. Как молитва. Как спасение. Как жизнь. Его можно произнести всего двумя слогами, но оно вмещает всю бесконечность Вселенной, все, что есть, даже Бога.

И я его произнес!



## ЗМЕЯ КУСАЕТ СЕБЯ ЗА ХВОСТ

*Сны возвращают назад.  
Мечты подобны снам.  
Во снах мечты сбываются.  
Наяву?..*

Калитка. Зеленая краска. Перед родительским днем красили вместе с бабушкой, много лет назад. Краска облупилась, покрылась грязными, рваными ранами. Обнажились кости досок, клыки ржавых гвоздей... Щеколда сорвана, но просто так не войти, калитка осунулась, постарела, вцепилась последними силами в землю. Ключья ощетинившейся травы, крапива на страже. Забор, омытый тысячами дождей, больше не похож на крепостные стены замка. Стар, хил, сер. Угрюмо косятся вразнобой доски, поддерживаемые стеблями плюща. Плющ тоже очень старей, нет той сочной, лоснящейся зелени. Прележни сухих ветвей. Залысины...

Тогда же, за несколько дней до родительского, всей семьей белили забор. Пьяненький батя торопил, спрятанная от мамы с бабушкой заначка ждала на заднем дворе между грядками с королевскими помидорами.

— Давай скорей, сына, скоро «В гостях у сказки» начнется.

— Так не воскресенье, какие сказки?!

— Я сам тебе такие истории расскажу, только рот разевать успевай.

И я спешил.

Вишня встречала, низко склонив ветвистую голову над калиткой. Редкие черные переспелые вишни, лакомство детских лет, точками-кляксами смотрели сверху вниз беспросветной, беспощадной чернотой пистолетного дула.

«Предатель. — Слышал, как шумят листья старого дерева: — Хватит патронов и на тебя!»

Дорожка укалитки — разбитые плиты. На одном уцелевшем от испытаний временем и войной куске плиты затертая надпись синей краской — слово «МАМА».

«Пусть всегда будет мама!» — написали у врат в семейную крепость с младшей сестрой. Жгучим южным летним днем в цветущую пору жизни, когда все распускается, брызжет красками, благоухает, живет...

«Пусть всегда будет мама!..»

Как заклинание. Молитва о счастье. Произнеси это много-много раз и почувствуешь ток жизни. Мама — это жизнь. Дающая жизнь. Мама — природа! Сад. Искалеченный. Но выживший сад за зеленой калиткой с дряхлым забором.

Он вечен. Страж. Страж человека, оберегавшего его.

Дальше по дорожке к дому — абрикосовое дерево. Сейчас это лишь обрубок, вызывающе, грозно торчащий из сухой земли корявым пальцем, как укор. Памятник человеческой слабости, жестокости.

В тени дерева скамейка. На ней поздними вечерами, когда небо ближе к людям, смотрит яркими звездами в глаза, мы любили разговаривать обо всем на свете. А с появлением телескопической трубы — папа купил в мой двенадцатый день рождения, — затаив дыхание, считали пятна на полной Луне и отслеживали полет звездочек-спутников...

Красили всегда скамейку под цвет калитки, как и заборчик, что тянется вдоль дороги к дому.

Дорога чувств и переживаний. Следы прощаний и встреч. По ней в рождение и в последний путь... Дорога вечная. Бесконечная...

Асфальт в жаркие июльские дни становился мягким, дышал под босыми ногами.

Тогда, в последний день, шел дождь, а в лужах на дорожке не было привычных отражений — ни облаков, ни зеленой листвы...

— Ты уже проводила нас навсегда. Ты знала, — сказал тихо, но все же спугнул одинокого воробья, прятавшегося под дверным козырьком.

Дверь, вечно голубая, со стеклом-окошком посредине, никогда не запиралась в прошлом. Когда можно босиком выбежать из дома, обжигая пятки, пробежаться до калитки и, чтобы без лишнего шума, не тревожа послеобеденный сон бабушки, перелезть через забор на улицу. А дальше в одних шортах, стреляя веснушками в улыбающихся прохожих, бежать навстречу ветру. Подпрыгивать и взлетать. Ноги знали дорогу. Бесстрашно шлепали по колючкам и лужам. Ты был непобедимым. Бесстрашным и сильным, нисколько не обижался, когда называли сушеным Гераклом.

Справа от дома, если стоять к нему лицом, — пристройка, летняя кухня, утопающая в кустах терна и цветах — ромашки, нарциссы, сирень. Теперь здесь пустота. За пристройкой рос страж сада — тутовник. С могучим неохватным стволом и раскинувшимися над домом ветвями. Великан приютил скворечник и качели и терпеливо оберегал с десятков ребятишек в сезон сбора тута. С него, забравшись в дождливый день по мокрому дереву, не боясь упасть, потому что знал, верил, что тутовник не позволит такому случиться, я и разглядел черные стрелы дыма — пожаров начавшейся войны.

Под ногами хрустнуло, спрыгнул с тутовника, вернулся к голубой двери — серо-грязной, покрытой лишайником.

Тутовника словно и не бывало никогда — выжженная земля, пепел... Стеклопанель веранды из сотни мозаичных стекол тоже нет — их не стало с первыми ударами ракет.

«Земля-воздух», «земля-земля» — до начала беды эти словосочетания были такими привлекательными для мальчишки: завораживающими, интригующими, впрочем, как и все другие военные штуки...

Войнушка с соседним двором, где всегда побеждали «наши», вдруг ожила. Ненастоящее — стало дышать. Палки, выстроганные под пистолеты-автоматы, заблестели металлом. Налились свинцом. Палки стреляли пулями. Палки убивали насмерть.

Сердце, все это время застывшее наравне с дыханием в области души, пробудилось, когда, осмелившись, заглянул в рваную рану окна. Там в растерзанной гостиной под когда-то желтым плафоном лампы собиралась обедать семья. Сейчас — осколки камней и стекла под голубым небом крыши. Но это лишь для невооруженного глаза. Я сразу... даже не я, это глаза прошлого, глаза улыбчивого детства выхватили из хаоса крупницу спокойствия и тишины.

Слоник из набора слонов, выстроенных по росту на шкафу. Маленький, самый крохотный слоник уцелел в битве. В войне.

Желтая капелька солнца смотрит в меня, а я уже ищу ручку двери, потому что знаю: выбить старую дверь не составит труда, только я ввек не сделаю этого. Я закрываю глаза и пролезаю, как делал больше сорока лет назад, в распахнутое окно лоджии, переливающейся разноцветной мозаикой.

Трава вместо привычного бабушкиного коврика, сразу у окна сундук, в нем хранятся вещи деда. Атрибуты двух войн. Третью, которую пережили мы, дед бы не пережил...

«Свои» не могут воевать со «своими».

Подбираю драгоценную находку. Сердце? Я стал одним большим сердцем. Душой. Я наконец ощутил, что такое жизнь. Прикоснувшись к тому, что давно считал потерянным, мертвым.

На слонике ни царапинки.

— Прости, — шепчу ему, — седьмой.

По какой-то случайности у нас оказалось два комплекта слоников — на верхней полке между сервизами и чайниками. Обычно слоны стояли клином, знаком

победы «V». Лишь подвыпивший отец мог замысливать выстроить их и убеждать нас, что именно так слоны и строятся во время битв.

Мама позволяла папе выпить рюмку-другую, он был главой, опорой, героем... Это потом, когда разлетелась мозаика окон и посыпалась с потолка штукатурка, отец оступился. Капитулировал. Исчез в алкогольном тумане, проиграв войну. Он сдался. Утонул в бутылке и сгинул, в конце концов, в неизвестности.

Мама и бабуля с двумя детьми (мной и сестренкой) продолжали сопротивление.

И дом с садом встали на нашу защиту.

— Слоник, прости, — губами прикасаюсь к пластмассовой горячей плоти. — Теперь мы вместе. Снова.

Прячу уцелевшего седьмого в левый карман, поближе к себе, и делаю шаг в гостиную.

Слева зал и спальня родителей, там всегда наряжали елку и принимали гостей. Елка переливалась огнями, наполняя зал и наши сердца праздником. Чудом.

Туда и подселили по указке народного фронта первых квартирантов войны, молодого капитана с женой, которые с трудом говорили по-русски.

По ним пришелся первый удар.

Дворовая змея — гюрза коричневого цвета, больше метра длиной, судя по сброшенной коже, которую не раз доводилось находить в укромных местах сада и построек, — дух дома. Бабушка верила, что это предок семьи — охранник очага и хозяин двора. И рассказывала, что Бог наградил змею, увенчав ее голову короной, за то, что та спасла Ноев ковчег, хвостом заткнув в нем дыру.

У нашей змеи действительно была такая корона, черная, почти фиолетовая. Запомнил я на всю жизнь нашу случайную молчаливую встречу под виноградником на заднем дворе. Я мочился в траву, а змея, видимо разбуженная моим вторжением, медленно уползала между ног к густым зарослям ежевики у забора.

Я не успел даже испугаться, только когда чешуя исчезла совсем, натянул шорты и бросился к дому.

— Надо же, пописал на дух предков...

Испугался я в ту первую ночь с квартирантами. Они заняли зал и хозяйничали там, передвигали мебель, вносили вещи, говорили на тарабарском, а ночью дом разбудили нечеловеческие крики.

Бабушка потом рассказала, что молодая жена проснулась от громкого шипения, она зажгла свет, а на решетке, во все окно, изогнулась наша гюрза.

Успокоила квартирантов бабушка, чаем напоила. Но на следующую ночь история повторилась. И на следующую...

Съехали же они, когда капитан с женой проснулись, а между ними вытянутой струной — змея. Лежит-полезивает. В чем спали, так и выскочили из дома оккупанты. И ни в какую, наотрез отказывались возвращаться за вещами.

Помогал отцу собирать пожитки квартирантов войны, радуясь освобождению, и про себя, и вслух благодаря духа семьи, и извиняясь за тот случай на заднем дворе.

Счастье было недолгим, в город вошли войска, в дом солдаты.

Виноградник поселился в детской — она сразу за гостиной. Дикий, похожий на веревки-канаты, с коричневыми листьями и сухими плодами, он стелился по исчезнувшему паркету, кроватям, книжным полкам... Слева от входа, напротив печки, была моя кровать, дальше — сестры. У большого, во всю стену окна — письменные столы. С настольными лампами и карандашницами... За окном на железных подпорках — зеленым сводом виноградник. Пара прыжков, и вот они, гранатовые деревья.

Осенними ночами в теплой кровати любил слушать, как лопаются переспелые плоды граната.

Деревья просыпаются, когда люди спят. Только пес Рекс становился редким свидетелем бессловесной и непонятной перебранки.

Сад разговаривал в темноте — шорохом, шелестом, скрипом... Главный голос был, конечно, у старого тутовника, но старик спал вместе с домом. И за главного становился взрослый гранат — громкий, настойчивый, требовательный. С ним мог соперничать абрикос, но из скромности отмалчивался. Спорили два дерева алычи кислая зеленая и красная сладкая. Айва пыталась докричаться с дальнего угла сада. Слива тогда, вместе с молодыми саженцами груши и яблока, просила быть благоразумными и не будить домашних. Вишни-скромницы, они со всеми соглашались. Инжир, мудрый и рассудительный, всегда прекращал споры на рассвете, и сад засыпал с первыми лучами, когда бабуля выходила во двор с поливочным шлангом.

Гранатники, три дерева в самом сердце сада и дома, разметили маршрут нашего отступления. Мы уходили. Сад и дом отпустили нас. Стены дома-крепости уже не могут защитить, и деревья не прикроют, не скроют, не спасут...

— Вы отпустили нас, — смотрел на уцелевший кусок стены дома — здесь висело зеркало, с помощью которого я ходил по потолку. Незабываемые ощущения, когда смотришь в отражение и боишься наступить на желтый плафон в гостиной. Когда каждый шаг как в неизвестность. В начало. Начало конца.

И мы бежали, оставив сад и дом биться в одиночку.

На прощание абрикосовое дерево день за днем наливалось новыми плодами, не успевали их собирать. Ветки ломались под натиском огненных мини-солнц. Безжалостно абрикос махал нам, ломая и калеча себя.

Слива возле летней кухни засохла за одну ночь.

Попадали замертво птицы из скворечника на туге.

Дворовая змея не выползла и кончик хвоста не показала нам на дорожку. Дух остался с домом и садом. Остался ждать.

Мне часто потом снилось, как она ползет вслед за уезжающим авто. Как умирает посреди шоссе, раздавленная грузовиком, но нас не оставившая. И я просыпался в ночи, и плакал, и не мог себе простить это бегство, и не мог ничего изменить...

Я ожидал, что на стене из трещин, обтянутых зеленым мхом, сложится слово «ПРЕДАТЕЛИ». Но вместо этого мох покрылся россыпью белых, словно рассыпана манная крупа, цветков.

Перешагиваю через дымоходную трубу; зимой, если подняться на задний двор, можно было увидеть застывший в морозном воздухе дымок, и я думал, что вот так человек соединяется с небом.

Иду, а на меня спасительным призраком ложится влажная тень от виноградных листьев.

Иду к одному уцелевшему гранатнику.

Поравнявшись с голыми ветвями дерева-скелета, замечаю крепко сбитый, коричневый плод с кулачок ребенка на самой дальней ветке.

«В самом небе».

— Я вернулся, — тихо говорю дереву-любимцу. — Я знал, ты выстоишь!

Подул ветер, всколыхнул волосы, воспоминания.

Мама просила нарвать ей алычи для компота.

— Покрасней которые! — кричала вслед.

Алыча была соседкой троицы гранатников. Я спешил на улицу, было совсем не до алычи и компота. И все бы закончилось для меня очень и очень плохо, может, и переломом позвоночника, и вечностью на инвалидной коляске или... Но когда, соскользнув с опасной высокой ветки, я летел вниз, веером над собой рассыпая собранную алычу, молодой гранатник потянулся ко мне, и, вместо того чтобы упасть спиной на землю, я куклой повис на его когтистых ветках.

— Он тебя спас, наш гранат, — пробовал компот отец.

Мама снова шлепала меня, всхлипывала. И только маленькая сестра ничего не понимала.

Бабуля, как стемнело, долго ходила вокруг гранатников. Разговаривала с деревьями. Молилась.

— Ты ведь меня тогда спас, верно?! — сказал и потряс ветви в надежде, что собью уцелевший гранат.

Вишни не смогли дать отпор солдатам, когда безликие, в камуфляже цвета хаки, с оружием наизготове те один за другим вошли в зеленую калитку. Деревья хлестали ветками по каскам. Стреляли косточками — выбили нескольким захватчикам глаза. Воины ломали кирзачами плиты на дорожке к дому. Черными шрамами изрезали надпись — посвящение всем мамам!

Победно вошли в дом, гогоча и хрюкая. Били посуду, зеркала, выбрасывали книги... Крошили жизнь. Увечили...

Слоны бросились в бой со шкафа, но проиграли в неравной схватке, раздавленные солдатскими сапогами.

А с наступлением ночи, когда люди и нелюди спят, сад с домом разработали план атаки.

Тутовник рухнул с рассветом на палатки солдат. Им не хватило места в доме, и они разбили лагерь на помидорных грядках под могучим деревом. Первый лучик солнца стал сигналом к действию, гулко вздохнув, великан заключил в объятия незваных гостей. Оставив под собой кровавое месиво. Раненые и кто уцелел выползали из-под кусков дерева, тут их и поджидали хлесткие лианы винограда...

Следом за главой сада обрушилась крыша дома.

Оставшихся в живых врагов добивали гранатники. Взрываясь гранатами. Кроваво-алыми смертельными вспышками, взрывами окрашивая рассвет.

Размечая, как делал я не раз в контурных картах по истории и географии, красными стрелками и штрихпунктиром наше отступление на север.

— Ну вот, я вернулся, я бы все равно вернулся, — оправдываясь, сказал уцелевшему гранату. — Алычи,

твоей соседки, нет. Так посадим новую. Подружитесь. И тебе найдем приятелей. Ничто не проходит бесследно. Все уничтожить не сможет ни жизнь, ни смерть. Что-нибудь да останется... И кое-что, но можно вернуть. Воскресить!

Обернулся. Увидел боковым зрением какое-то движение среди травы, и екнуло сердце: жива!

Дух дома, он ведь бессмертен!

И в подтверждение надо мной брызнул красным салютом последний выживший гранат:

— Здравствуй!







# ПОВЕСТЬ



# АЛАВЕДЕРЧИ

(Повесть в трех частях)

## Часть первая ПЕТРУШКИНА АЗБУКА

### *Герои*

Смерти нет. Она для слабаков. Нацарапал гвоздем на трухлявой доске в туалете. Туалет был на улице. Дожидал свои последние вонючие деньки.

Каждые лет так десять копали яму для нового домика биологических нужд. Это было целое событие для семьи. Похлеще всех дней рождений вместе взятых и всеми любимого Нового года. На моем веку это было первое такое событие. Если точнее, второе, но то рытье, что случилось, когда мне было три годика, я не помню. Хотя отец по пьяни любит рассказывать, как я навалил кучу в свежую, по колено, ямку, я, честно, не верю ему. Любит он сочинять, привирать да преувеличивать. Из мухи слона — это про него. Мама считает, я в отца такой фантазер, и почему-то это сравнение меня жуть как огорчает. Наверное, все пацаны в двенадцать лет не хотят быть похожими на своих отцов — с их слабостями, промашками, вредными привычками. Косяками. И так далее.

Кто там придумал, что у мальчиков отец — это герой?!

Возьмем моих друзей. У Языка нет отца, и герой у него мама. Мамы — всегда герои, в отличие от пап. Отец Тимура Пельменя неходячий. Ходит только под себя. У Мухи папа — на воскресенья и праздники. Дядя Коля, отец Лёши Чемпеля, конченный алкаш, так говорят все в поселке, все, кроме Лёхи, у него на тему

отцовского злоупотребления наложено табу. А мой родитель — герой на словах. Говорить, как вы поняли, он любит, особенно когда накатит.

Раньше, помню, мы тихо завидовали Серёге Мухе, у него каждую неделю какое-то разнообразие, и в родителях, и из поселка выезжает — отец в городе живет с другой семьей, — и подарки всякие. Сейчас Муха ненавидит воскресенья, и отца с матерью ненавидит за то, что развелись. Курит, не боясь быть застуканным, никуда не выезжает, не разговаривает с предками, было дело раз, пил пиво вместе с городскими знакомыми.

— Это моя жизнь, что хочу делаю, — ответил тетке-соседке, она в ответ только рот раскрыла шире.

Мог бы, конечно, послать куда подальше, Муха грубил и выбирал позапращеннее слова, чтобы быть услышанным кем-то из родителей. Он и шоколадку стащил из магазина только ради того, чтобы мать с отцом встретились в полицейском участке. Закон подлости срабатывал, в отличие от планов Мухи. За ним не приехал ни один из родителей, тетка-соседка, та самая, оказалась родственницей поселкового участкового, она и забрала Муху, а на свободе, не сходя с крыльца отделения полиции, он закричал ей в лицо:

— Я вас ненавижу!

Ненависти этой его научили родки. И почему-то, когда по телевизору говорят, что где-то в Штатах школьник расстрелял весь класс или забил до смерти своих родителей молотком, я вижу лицо Серёжи Мухина — рыжеволосого, в ржавчинка-конопушках, совсем неулыбчивого, злого.

И мне ужасно хочется сказать его матери и отцу, что я о них думаю. А думаю вот что: если убрать все, что уже не раз им наговорил Муха, и с чем я согласен на девяносто девять процентов, я бы сказал: ради сотворенной вами двоими жизни стоит пожертвовать своими удовольствиями, принципами и что там еще вы придумали, чтобы забыть о существовании Мухи, Мушки.

Из безобидной мушки может вырасти разъяренный слон, тот, что громит и топчет все на своем пути в далекой Индии.

Мухи по осени кусаются, кусают больно, до крови.

Я позвал Серёгу помочь рыть, и он мне сказал так, походя, между делом:

— Пойду могильщиком на кладбище работать. Руку сейчас набью и пойду. Нах эту школу и предков нах... Буду могилы рыть всем ненавистным людишкам. Первому отцу вырою. Я ему без лома и лопаты ее вырою, руками и зубами, копать и грызть...

С нами был тогда еще Яша Язык. Яшка не рыл, а развлекал бесконечной болтовней ни о чем, это он может делать лучше, чем работать руками, ну еще может достать языком кончик носа и сворачивать язык трубочкой.

— Спорим, не пойдешь?! — выдал он вдруг серьезно.

— Не пойдешь ты в могильщики, в бандиты, скорей.

Я сказал:

— Мы уже банда, какие тебе еще нужны бандиты?!

Муха вытер пот со лба, сощурился, солнце в конце сентября жгло и слепило беспощадно, сплюнул:

— На че спорим?

Серая от проглоченной пыли слюна мрачной улиткой жадно впиталась в сухую землю, Муха проследил за ней, наступил на мокрое пятно — все, что осталось от улитки:

— Проигравший нырнет на дно Петрушкиного сортира. Спорим?!

### *Живой!*

Петрушкой меня звала бабушка, как я ни противился, сколько ни обижался. Она и настояла на имени Пётр, тогда как мама с отцом уже решили, что меня будут звать Мишей.

В пятом классе писали сочинение — описание куклы-игрушки, я и написал, как вы думаете про кого?.. И ведь сроду не было такой игрушки — Петрушки. Ванька-встанька был, пара разнокалиберных Матрёшек...

Бабуля сшила за ночь. Тряпичный Петрушка в красной рубаше и колпаке с желтой кисточкой перчаткой надевался на руку. Указательный палец отвечал за картонную голову куклы: с длинным грузинским носом, глазами-пуговицами синего и зеленого цвета и огромным ртом до ушей-лоскутков.

Большой и мизинец просовывал в рукава рубахи Петрушки, и он оживал, вертелся, кривлялся и говорил моим голосом, хотя я и старался говорить пискляво, неестественно.

«Петрушка» закрепилось за мной на всю жизнь — смирился, и стоило мне с этой мыслью сдружиться, как тут же захотелось закричать, объявить всему миру, что вот он я — Петрушка! Самый настоящий и единственный! Не кукольный! Живой!

### *Шишка от Достоевского*

С тобою спорить — равносильно с акулой целоваться: это про меня.

Когда ты прав, почему и не поспорить.

А спорить мы любили. Было время, в том же пятом классе, спорили по любому поводу и на все, что вздумается.

Доходило до смешного, абсурдного, дикого.

Не вспомнить точно, как, кто и с чего начал спор, но точно дело было в учебнике по литературе, ну и кто-то из класса или даже банды бросил клич:

— Толстой Пушкина порвет!

Вызов подхватили:

— У Пушкина пистолет, он бы Толстого застрелил.

— Лермонтов тоже стрелялся на дуэли, он бы Пушкина уложил...

Спорили на математике и на английском... До конца уроков спорили. Надрывая голосовые связки, яростно жестикулируя, плюясь, матерясь, кидаясь друг на дружку с кулаками... Спор перебрался за пределы школы, прокатился кубарем по парку, проскакал через скамейки, клумбы, посидел в беседке и, наконец, обосновался в библиотеке нашего поселкового дворца культуры, между стеллажами с русской классикой. Командовал экспериментом ЛёхаЧемпель. Откуда эта кличка? Подозреваю, после школьной олимпиады по физкультуре, в которой он взял высший балл в двух практических испытаниях и одном теоретико-методическом задании. Всю неделю после соревнований Лёху звали только так: Чемпион. А время трансформировало в Чемпель.

Книги авторов-дуэлянтов спорщики проверяли на себе. Первым «стрелялись» Чехов Антон Палыч и баснописец Крылов. Чемпель сделал серьезное, как подобает строгому, непредвзятому судье, лицо, по очереди сбросил на головы участников спора с высоты вытянутой вверх руки пыльные труды мировых классиков.

Силу удара оценивали по пятибалльной шкале. Кто больней, тот и победил.

Дальше очередь Некрасова и Фета, «Черная курица» Погорельского против «Муму» Тургенева, шли мы пройденной программой учебника по литературе за пятый класс. Гоголь шарахнул щелчком меня прямо по темечку, Языку досталось сказками Пушкина.

Я поставил Гоголю твердую «пятерку». Потрепанные «Мертвая царевна и семь богатырей» по сравнению с кирпичным томом Николая Васильевича были шуточным, дружеским шлепком и вытянули на «троечку».

Доспорились до шишки, ее мне поставил Достоевский, потому как закончились писатели из учебника, азарт же только разгорелся и в ход пошли классики наугад. Те, что попадались на глаза.

«Братья Карамазовы» заслуженно получили пять с плюсом, и я вышел из игры. «Улисс» Джойса вырубил

нокаутом Кафку и Пельменя, у него разболелась голова, он сдался. Яшка прикусил язык до крови, получив мощный удар от внушительной книги с яркой, загадочной обложкой «Тысяча и одна ночь».

— Плавда, на всю тыщу тянет, — еле ворочал раненым органом он, — поунуха кака-то. Ни в жизнь не прикаснусь к ней.

Кровь положила конец спорам, которые могли продолжаться бесконечно.

— До смерти бы спорили, — подвел итог Чемпель. — Ничья.

Так Федор Достоевский набил мне шишку со своей бандой Карамазовых.

Спорщики мы те еще, поэтому, когда Муха протянул Языку испачканную в грязи ладонь, Язык принял вызов:

— Спорим, — сказал и подмигнул мне: — Давай, Петруша, разбивай. Ты за свидетеля-секунданта.

— Проигравший нырнет с головой в тот туалет, — показал на деревянный домик с обитой железным листом крышей Муха.

— Заметано, — кивнул и тряхнул руку друга, а теперь и соперника: — Ты уходишь в могильщики, я окунаюсь в говнояму. Ты продолжаешь учиться, в яму солдатиком прыгаешь ты.

Обоюдный кивок как сигнал, я разбил ладони.

На следующий день место Мухи за партой заняла Лиза Борода, и на всех уроках Мухину Сергею поставили «н» в школьном журнале.

### *Курорт и некоторые его обитатели*

Кладбище возвышалось над поселком. Мертвые сторожили живых. У нас его называли курортом, не все, но многие. Бабушка говорила: им (имея в виду мертвых) там, как на курорте, тишина, лежат себе, покоем наслаждаются, вдали от проблем житейских и будней быта.

Для нас, мальчишек, походы на могилы родных тоже сродни поездке на курорт. Я обожал ходить с бабушкой по выходным на могилу к деду и остальным. Мы уходили на целый день, и не было ничего прекрасней вареного яйца, очищенного грубыми от непрекращающейся работы, мозолистыми руками бабушки, съеденного за столом в тени кладбищенских, ой, курортных, кипарисов. Вкусней яйца я не пробовал. Здесь все менялось: вкус, запах, цвет, ощущения... Наверное, отправься в другую, далекую страну, скажем, в Бирму или Гренландию, почувствуешь то же самое.

Уже у подножия курортной горы понимаешь, что тропинка вверх уводит тебя от реальности в другое место. Из зеленой травы стреляют кузнечики и красные маки вспышками-кляксами. Маки здесь кровавей, а кипарисы печальней. Во время цветения ветер стряхивает серо-желтую пыльцу с хвои, и вот тогда ты попадаешь в призрачный мир жителей курорта. Оживают тени, сильнее слышны шорохи невидимого присутствия...

На курорте всегда много работы, в номере деда, ушедшего отдыхать еще до моего рождения, работ невпроворот всегда, говорит бабуля: покрасить оградку, столик с двумя скамейками, повыдергивать колючки с сорняками, побелить...

Бегал, петляя узкими дорожками между могилами-номераами, в начало курорта к бочке с водой, громко стуча алюминиевыми ведрами. Не потому, что боялся тех, кто теперь уже ничего не боится, тех, кто таится, кто невидим... Так я ощущал себя живым, гремел ведрами, отмечая свое присутствие. Живое присутствие. Пугал сонных птиц, бродячих собак и кошек.

Черная, ни пятнышка, кроме черноты, кошка — частый гость в номере деда. Как и странный туман-облако, что не раз приходилось наблюдать. Она появлялась из воздуха, обходила обязательный круг

вокруг сонного ложа дедушки, забиралась на ограду. Следила глазами молчаливых обитателей за тем, как мы суетимся.

Отец утверждает, это хозяйка кладбища. Он не говорит «курорт», он нарочито подчеркивает смерть. У него: могилы, покойники, трупные дела, мертвая вода... Бабушка крестит его. Ничто не уходит бесследно, говорит, и камни своей жизнью живут, и почившие...

Черная надзирательша исчезала, как и странный туман, незаметно, была и нет. А к гостинцам дедушки прибавлялось блюдо с молоком.

Первого гостя увидел под вечер, вернувшись проверить калитку (бабушка строго наказывала оставлять оградку открытой). Серебристая змея свернулась кольцами вокруг блюда, пила. Замер не от испуга, остановила с открытым ртом неожиданная раскраска змеи. В лучах закатного солнца, пробившегося сквозь мохнатые ветки курортных кипарисов и елей (лучи можно пересчитать, если задаться целью), шкура переливалась, искрилась, гипнотизировала. Да, да, именно так, кольца пришелицы, как нефтяное пятно, извивались радужными пятнами — вихрями, заманивая в свой круговорот, обездвигивая, путая мысли...

Кошка прыгнула, словно с неба, разбила змеиные чары. Невидимыми мягкими кошачьими лапами она толкнула меня в грудь, убегая, успел краем глаза увидеть, как змея раскрученной пружиной отлетела за ограду, в неизвестность. А догнав бабушку возле бочки с водой у ворот, решил, что все это привиделось, разноцветные кольца хулахупа скакали перед глазами, я никому о странной встрече-поединке не рассказал.

Много лет спустя я встречу эту змейку, застывшую браслетом, но узнаваемую, на тонком белом запястье одноклассницы, и в этот раз не будет кошки-спасительницы рядом. Змеиные чары увлекут, лишат рассудка, лишат воли, силы... сделают сентиментальным дураком. Это будет самая настоящая любовь на букву «з».

Буду я беззащитным, обезоруженным, зависимым...  
Зачарованным...

Будущее возможно увидеть, главное — знать, куда и как смотреть. Разглядеть в гипнотических кольцах змеи, в трещинах на асфальте, в облаках... в счастливом вечном времени детства...

### *Пятая звезда*

Детство — это, бесспорно, буква «В». Вечность. Время здесь не властно. День может длиться сто лет, тысячелетие, а может пронестись падающей звездой в мгновение...

Мы обожали смотреть на звезды. Считали падающие, лежа с Мухой на крыше дома. Моя была правая половина неба, у Серёги — левая.

Он часто оставался у нас на ночь после случая с шоколадкой и побега.

Муха не раз сбежал от матери и всегда возвращался. В этот раз его вернули через трое суток полицейские. Избитого, грязного, изменившегося... Муха не сказал, ни что произошло, ни где пропадал эти дни. Не разговорили его ни слезы матери, ни крики отца. Муха молчал.

«Пропадал» — самое верное слово: не скитался, не бродяжничал...

Муха пропал из этой достававшей его, половинчатой, неполноценной жизни.

Выпал бы и исчез, быть может, на веки вечные, если бы...

Я повторил:

— Если бы?..

— Если бы не мальчик на рельсах.

На этот час у меня были две упавшие звезды в копилке, у друга четыре. Небо опухло от звезд, готовое в любой момент прорваться и обрушиться на нас звездопадом.

— Он бегал наперегонки с поездами. Придурок ждал поезда и пытался его перегнать. Снова, и снова, и снова.

Я до ночи смотрел на него, как он не сдаётся, не обращая внимания на солнце, на ветер, на дождь... На меня. Упорно к цели, пускай и такой несерьёзной, сумасшедшей...

Я сказал:

— Так он, наверно, и был того, с приветом.

Муха засмеялся:

— Так а кто без привета? Мы-то чем лучше: звезды ловим на крыше в полночь. А он в догонялки с поездами играет, и знаешь, — Муха повернулся ко мне, лицом к лицу, и серьёзно так: — я поверил в него. Я уверен, он добьётся своего, обгонит поезд, рано или поздно, но сделает это. Веришь?..

Упала с Серёгиной половины неба пятая звезда, я кивнул:

— Верю!

Детство — это когда безумие не страшно, сумасшествие в награду, весело и загадочно. Собирать упавшие звезды — собирать души мертвых. Бегать наперегонки с поездами, ветром, биться на дуэли вместо Пушкина и Лермонтова и получать затрещины от Чехова, спорить о невозможном и верить, что землю вертишь именно ты, скользя босиком по утренней мокрой траве, и зажигаешь солнце одним щелчком пальцев, на раз.

Раз.

## *Задание*

По школе пронёсся слух, в парке объявился человек с гусиной лапой.

Опоздавший школьник, из первоклашек, видел, как он прыгал по елям.

— Будете на уроки вовремя приходите. — Наша классная руководительница временами была действительно классной. — Мухин, случаем, не с ним заодно в ловитки играет, школу прогуливает?..

Я знал, что Серёга договорился о встрече с директором кладбища, а ещё, что он не может не выиграть спор.

— Алтаев, тебе поручение, даже задание, двойное. До завтра узнать все о человеке с куриной лапой. — Класс взорвался хохотом. — Что такое? Что я не так сказала? — Класс поправил. — Гусиной, куриной, да хоть павлиней лапой, — стараясь сохранить строгий тон, продолжала Светлана Александровна. — Итак, Пётр, твоя задача выяснить, что это за пугало и не замешан ли в этом безобразии твой друг Мухин.

6-й «а» класс снова превратился в палату номер 6.

— И ты смотри, Петя, не поддайся их влиянию, а то знаю я вас, чуть что, так давай с радости по деревьям скакать...

Тут она была права, наше последнее изобретение в сфере игр и развлечений — ловитки на дереве, хит летне-осеннего сезона.

### *Ловитки*

Треугольник — место в нашем дворе, где происходили основные события жизни. Местами асфальтированная дорожка, в метра полтора длиной, четко очерчивала границы детства. По тропинке после сумерек прогуливались парочки, готовящиеся нарушить границу, бежать, перейти на сторону врага. А что есть взросление, если не противник детства?..

Неизбежно враг подступал, отвоевывая территории и лучших бойцов...

Лёха Чемпель станет первой жертвой из нашей банды. Будет долго метаться между двух сторон границы, наконец сдастся. Как-то вечером вместо ловиток отправится гулять по треугольнику под ручку с Олей Рожковой.

— Тяжелый я для ловиток на дереве, — скажет в оправдание. — Сколько можно падать? — напомним о своей руке в гипсе трехмесячной давности и недавнем удачном падении на гору из ранцев. Впрочем, для ловиток с мячом он тоже оказался вдруг негодным:

— Крупный шибко, в меня легче попасть, да и бегать с мячом — что Рожок скажет?.. — Это он так Ольгу называл ласково, ага.

Слово «предатель» повисло на ветках деревьев, как будто специально высаженных для игры в ловитки в ряд по периметру треугольника.

«Перебежчик» — протрещали ласточки. «Взрослый» — шуршал ветер в кронах и высокой траве.

Взрослый — это не страшно, ну что такое, все становятся рано или поздно... Но ведь не хочется так скоро расстаться с Вечностью...

Двенадцать лет, тринадцать, ну еще годик, а задержаться в мире, где ты бессмертен и счастлив. Где ты бог.

— У меня другие ловитки, — грустно отшучивался Чемпель, кличку эту он унесет с собой за границу треугольника и дальше до самого курорта. Воспоминания — в точности, как гипс со сломанной руки, исписанный пожеланиями скорейшего выздоровления, в рожицах и черепах, — снимутся, переберутся сначала под кровать, потом в чулан. Выбросятся со временем. Забудутся. СотрутсЯ из памяти, сотрутсЯ в пыль.

Другие ловитки — гонка за деньгами, удовольствием, работой, уважением, любовью, счастьем...

Мы отправились на деревья играть, где одно из условий, самое главное — ни в коем случае не касаться земли. Прикоснулся — пропал. Выбыл. Чемпель коснулся, Чемпион проиграл в соревновании с названием жизнь. Вечность больше не для него.

Он стал простым смертным. Как многие, как все, за границей 14+.

### *Кто последний!*

Треугольник — недостроенная детская площадка с непонятными железными конструкциями с одной стороны, с другой — пустырем, колючками и камнями. Интересного мало, интерес туда вносили мы, придум-

мывая, что невозможно придумать. Особенно на пустыре у костра, рассказывая убийственные истории.

Повторяя заученные всем известные байки про черную руку и гроб на колесиках, разбавляя новыми, услышанными и всегда правдивыми, даже если и придуманными пару минут назад, пока собирал дрова или бегал за картошкой, чтобы запечь ее на углях.

История о человеке с гусиной лапой вспоминалась периодически, но сейчас она обросла новыми подробностями, деталями.

— Он вернулся. Он ищет свою оторванную ногу... Ищет того, кто это с ним сделал, чтобы отомстить, наказать. Это случилось с ним в парке, поэтому у него там пристанище, логово...

Если второй пункт задания Сансанны был мне ясен, как то, что Муха, несмотря на кличку, не может летать и что он не в школе, потому как с утра и до темна караулит директора кладбища. С первым заданием все сложнее, за вечер с ним не справиться.

— И одному трудно выследить Лапу. — Сидели у меня почти всей бандой, Муха задерживался.

— Прогуливаться тупо по парку?

— Первоклашка видел его прямо на центральной дороге...

— Устроить засаду?

Вопросы остались вопросами.

— Да это калека, ясно же, а что по елкам прыгает, — художественное преувеличение, для красного словца, — вынес вердикт Чемпель, — я пас. У меня свиданки по вечерам. Петруш, не в обиду, придумай что-нибудь клас-снухе, она ведь тоже не серьезно это.

Тимур разглядел что-то наиинтереснейшее у себя под ногами, промямлил:

— Мне за отцом так-то надо бы... Но один ты точно не потянешь... — Язык надул и лопнул пузырь до одурения пахнувшей клубникой жвачки: — Поймаем засранца.

В парке в тот вечер была вся пятерка. Чемпель, расстроенный, что не пошел на свидание, и Муха, ежесекундно заворачивавший голову в сторону курорта в надежде, что директор материализуется на его фоне прямо перед Серёгой. Закон подлости работал: ни намека на хромающего мужчину, да и женщину прихрамывающую никто из нас не засек.

— Может, не время? — предположил Яша.

— Может, повзрослеете? — огрызнулся Чемпель.

Муха докурил до фильтра сигарету:

— Блин, кто-нибудь да найдется, — стрельнул окурком в сумерки, сползающие с возвышающейся над поселком горной гряды.

Пельмень молчал, щеки его горели, он то и дело вздыхал и сплевывал.

Я сменил тему, спросил Муху, собирается ли он в школу и что завтра сказать классной?

— Новая яма готова, еще пару дней, дней пять, и...

Язык высунул язык, помахал им:

— Успевай, Мухин.

Мухин кивнул:

— Успею.

— Кто последний, тот засранец, — вскочил Язык. «Засранец» — новое слово-паразит в его лексиконе, — на счет «три». И, три!..

Мы побежали со скоростью света, обгоняя птиц, обгоняя ветер.

Догнала нас только ночь.

### *Сокровище и карта*

Гигантские светляки уличных фонарей возвещали приход темного времени суток. В парке между школой и двором фонари жили своей жизнью, горели, когда вздумается. Могли начать мигать, переговариваться друг с другом и звездами, посылая в космос шифрованные сигналы. Могли гореть через один и разными цветами...

Муха остался у меня с ночевкой, и за туалетной темой — как это: погрузиться в море дерьма — взялись рисовать карту сокровищ. Сокровищем, кладом, конечно, стал доживающий последние деньки домик с железной крышей.

— Карту надо хорошенько спрятать, — щерились, потому что смеяться больше не могли, болели щеки, и животы вот-вот взорвутся. — Умора будет, когда лет так через пятьдесят, сто, кто-то ее найдет и отправится искать сокровища.

— Бабушка, кстати, говорит, что это удобрение — самое настоящее сокровище. Я умолчал о том, как сокровище черпается ковшом с длинной ручкой и входит в состав бабушкиного чудо-удобрения, на котором пышет зеленью и плодами весь сад.

— Так я и не отрицаю, что говно — то еще золото, — хрюкал, обняв живот, Муха. — Всемкладам клад.

— Надо туда взаправду что-то дорогое бросить, — пищал я, чтоб не лопнуть. — Искателям не так обидно будет, когда откроют клад...

Две старые закопанные ямы превратились на карте в заманки-обманки.

— Два лже-клада, — сказал, и это нас разорвало в клочья.

Давно не видел, чтобы Серёга так смеялся, и это доставляло необыкновенную радость. Наш смех долетел до курорта, его услышали небо и звезды... Наше сокровище, наше богатство — вот оно — звонкое заразительное, зажигающее...

Муха смеялся, как в последний раз, — червоточиной неприятная мысль, и от нее не избавиться. Уже в постели, переговариваясь шепотом, я спросил: — Ты же не собираешься сдаваться?..

После минуты тишины услышал:

— Я обгону этот поезд.

Карта сокровищ разрасталась подробностями. Утром, когда Муха отправился на долгожданную встречу с директором, я в школу, на карте добавилась

железная дорога, что слева от поселка. Полоса с курортом в самом верху карты, правее и ниже парк разрезала дорожка, помеченная штрихпунктиром, она шла мимо дворца культуры к школе и исчезала за обрывом альбомного листа...

Сентябрь — это летнее эхо, еще не спал загар и не доиграна куча игр, те же самые ловитки и ночные прятки, учишься вполсилы в надежде, что за сентябрем не будет проливных дождей с мокрым снегом, а снова наступит июнь.

### *Тяпка*

Отчитался Светлане Александровне:

— Мухин появится с запиской от родителей в понедельник.

Мама его готова, не спрашивая, написать все, что угодно, только бы Серёга не выступал. У матери Мухи все, что он делает, — выступления. Будто не жизнь у них, а сплошной спектакль, концерт.

— С Лапой за выходные постараемся разобраться.

Она кивала, слегка улыбаясь, когда закончил, сказала: — Теперь давай между нами, Петя, у Серёжи опять проблемы?..

Я сделал лицо тяпкой — «ну, началось»:

— Никаких, говорю же, приболел, мама его напишет за три дня отсутствия записку..

— Мне сказали, он на кладбище все эти дни пропадает.

Лицо тяпестей некуда:

— Чушь, что ему там делать, на курорте?

— Это я у тебя хотела спросить, по-дружески. На курорте... И вы уже мальчики большие, Алтаев, взрослые, понимать должны, что кладбище — не курорт. Там опасно.

— Мертвецы что ль опасны? — тупеет тяпка.

Мы в кабинете географии на втором этаже в самом углу, у окна, из него, если постараться, можно увидеть одну из немногих дорог на курортную гору.

— Не мертвецов, Алтаев. Живых надо бояться! Опасны живые, мертвые ничего уже не сделают. И что это за игры на кладбище, не понимаю?! Мест больше не нашли или опять спор какой-то затеяли?!

Тут тятка чуть было не слетела с лица.

— Болеет он, что вы, в натуре, Сансанна.

— В натуре, Петя, вы умные мальчики, не секрет, что мир — не курорт, кладбище тем более, есть вещи страшней мертвецов. Поэтому держитесь вместе, если что-то пойдет не так и вы это заметите, увидите что-то, услышите... смело говорите мне, не мне, так тому, кому больше доверяете. Вот это, в натуре, будет правильно, по-взрослому.

Лицо тяткой сменила улыбка до ушей, мне, по чесноку, понравилась забота в голосе учительницы, неподдельная, теплая:

— Хорошо. Обещаю, — сказал и не удивился протянутой руке Сансанны.

— Вот и замечательно, — она крепко сжала мою ладонь. — А сделай еще такое лицо, — улыбнулась. — Как вы его называете, прием этот? Тяткой?..

Я закатил глаза и втянул щеки. Тятка собственной персоной.

### *Черный час*

Конечно, школа не менее опасна, чем курорт, просто не все учителя знают историю про госпиталь. Может, Сансанна в их числе.

Во время войны в школе размещался военный госпиталь, раненые умирали, тела хоронили в рощице за школой, а неуспокоенные души остались в стенах заведения. И дают о себе знать время от времени.

В кабинете литературы, например, раз были перевернуты все портреты классиков лицом к стене. А это как минимум три метра высоты.

Или, было дело, ночной сторож дядя Саша рассказывал, как услышал, чего вовек не забудет. Он каждую ночь что-нибудь да слышал.

— Но в этот раз, — крестился пенсионер, — я и с чекушки пригубить не успел, а со стороны черного входа, там лестница в подвал, стон долгий, протяжный. У-у-у... Два круга секундная стрелка на часах в холле сделала, пока стон не оборвался, и тут же крик, явно мужчина, а в крике слова разобрать — и прислушиваться не надо. «Где моя голова?! Пришейте голову назад! Отдайте мою голову! Где голова?!» И все в таком духе. Я уже сбился со счета, сколько кругов стрелка секундная намотала, от крика оглох, сплошным эхом стена-нья обратились. Крестился, молился, успокоительное все с чекушки выпил, видно, под ним и уснул. А проснулся ни свет ни заря — и в подвал, страшно до жути, но обязанность вынуждает. Спустился, а там все стены и потолок в крови, это я сначала подумал, чуть сердце в руки не выскочило. Краска то была, эмульсионка, половина банок раскурочена, будто взорвались сами по себе. После этого по па и пригласили освятить школу, только по секрету, время было такое...

Была еще история о пропавшем мальчике-хулигане, курившем на чердаке. Будто забрался как-то в неподходящее время, в черный час, и сгинул, исчез бесследно.

Вывод — курение опасно. Можешь пропасть без вести. Я еще не отошел от разговора с классной, как по школе пронесся слух: в парке по дороге в школу пропал мальчик.

Подобные слухи не новы, и я не очень-то и внимание обратил, пошутил:

— Может, докурился пацан?..

Напряжение — это не ток в проводах, оно в голосах учителей, старающихся скрыть тревогу. Волнение не в море — в учительской, за запертой дверью.

На большой перемене шушукались: мальчика нашли в старой части парка в туалете, в тяжелом состоянии увезли в больницу. Мальчик будто сам выполз на дорогу с перебитыми ногами и переломанными ребрами.

— Лапа начал охоту, — говорили.

Старшеклассники своими предположениями не делились, но сестра Чемпеля, ни в жизнь с нами не разговаривавшая, вдруг подошла, мы сидели под лестницей у спортзала, сказала, чтобы не вздумали шляться в парке, «лучше обходите парк дорогой, и где ваш рыжий? По одному не ходите, не бродите. Одиночка — потенциальная жертва маньяка».

Вот оно — маньяк. Молча переглянулись, типа вот и ответ.

— Я Муху предупрежу, — сказал я. — Рыжего, — добавил.

Сестра Чемпеля кивнула, отошла.

Как всегда не вовремя прозвенел звонок. И обсудить тему маньяка мы не успели, а в конце дня все говорили про чудовище и комендантский час.

Черный час — это даже не час, некий промежуток времени, не подчиненный этому самому земному времени, когда происходит что-то из ряда вон. Разрез между миром живых и миром потусторонних в черный час приоткрывается, как сковырнуть зажившую рану, и вытекает нечто, что не поддается разумному объяснению...

Комендантский час был всегда, негласно, сегодня же его озвучило радио и телевидение. С наступлением темноты несовершеннолетним запрещено появляться на улице без сопровождения взрослого. Черный час стал реальностью. Проявился, выпустил чудовище...

После ужина смотрели телевизор, из-за поднявшегося ветра антенну штормило, и отец злился, потому

что закон подлости срабатывал, изображение пропало в самый интересный момент. Смотрели фильм про войну. Смотрел, впрочем, один папа, мама убирала со стола, я на ковре делал вид, что читаю энциклопедию, на самом деле ждал звонка от Мухи.

Кино прервал спецвыпуск местных новостей. Я стал одним большим ухом.

Сообщение диктора о введении часа бодро комментировал папа и корректировали помехи.

...Пострадавший третьеклассник в состоянии... реанимации... Не первый случай в городе... С 21 часа... Чудовище... окрестили средства массовой...

— Наш поселок — лакомое место для таких вот извращенцев, — горланил, чтобы и мама слышала, отец, запивая все это пивом. — Я сколько лет говорю, дети с пеленок шляются без присмотра. Раздолье маньячное. Сам бы стал таким от такого соблазна. Слышь, Петь?.. Как тебе — батя-маньяк, а? — Стукнул меня ногой по плечу: — Ты, поди, сразу сдал бы меня, Павлик Морозов наш, — развалился на диване, снова попытался достать меня ногой, я отодвинулся.

— Какой из тебя маньяк, — усмехнулся.

— Так ты бы и не знал, думаешь, у этих психов нет семей? Да все они семейные, вот и крыша съезжает от бытовухи.

Мама вернулась недовольная, видно по лицу и голосу:

— Что, совсем оба уже?.. Тему для разговора больше не нашли... У людей горе. Не дай Бог никому.

Телефонный звонок, и в один миг меня нет в зале. Я уже держу трубку телефона и сквозь страшный треск и помехи слышу голос друга.

Муха сказал:

— Завтра.

Связь оборвалась.

### *Третий глаз*

Есть сны, их не запоминаешь. Проснулся и, как ни мучайся, не вспомнить, что снилось. Белый экран. Есть сны, которые помнишь долго, очень долго. Всю жизнь.

Мне достался кошмар, и, может, видел я его всего раз много лет назад, но кажется, он снится каждую ночь. Бесперывно.

Я тону. Я нырнул с надеждой проплыть под чертовой кирпичной плитой и потерялся. Не понять, где верх? Где дно? Куда плыть? Вокруг серо-зеленая мгла. Паникуя, я размахиваю руками, пузыри щекочат, обжигают. Глотаю горькую воду, сквозь толщу пытаюсь разглядеть бледное подобие солнца. Нет солнца. Пытаюсь опуститься глубже, нащупать дно. Дна нет. Бездна, и я где-то посередине. Бесконечность.

Мечусь. Кричу. Захлебываюсь. Слезы проливаются в море. Последняя попытка признать действительность — умереть или проснуться. Кусаю ладонь. Вода окрашивается красным. Кусаю еще и снова. Кусаю и проглатываю. Я жру себя. Большими кусками отрываю свою плоть... Сначала проглотил левую руку, потом очередь второй, и ноги... Зубы впиваются и вырывают из меня меня же всюду, где достают. Я хочу выгрызть сердце и умереть, только бы не эта круговерть в мутной, отдающей солью и полынью субстанции.

И будто в диафильме кто-то прокрутил картинку, и вот я снова кусаю себя за ладонь в надежде проснуться, и вновь начинаю есть себя. И снова. И снова. На пленке диафильма лишь одно это — бесконечно повторяющееся. Круговорот поедания самого себя в природе.

Потом кто-то из банды принес альбом стереокартинок «Третий глаз», и мы все дружно пучили глаза на яркие глянцево-цветные рисунки.

У Пельменя никак не получалось, он психовал, почти хрюкал. Муха курил и смеялся. Я научился попадать

в трехмерное пространство зашифрованной картинке и в одной из них увидел себя. Да-да, картинка задрожала, и раздвинулись зеленые стены, в центре фигурка человека, он явно застрял там и болтается в морской бездне вечность, если не больше. Страхом не назвать то, что обволокло меня тогда, липкие ладони и холодный пот — это в книжках, меня обездвигила неизвестность, парализовала — ни мысли, ни дыхания... Клянусь, я чувствовал едкий запах растертой полыни и покалывания всей кожи... Глаза впелись в фигурку, что не моргнув, загнипнотизированный, как той радужной-змеей, я поднял ладонь и укусил. До крови. И укусил бы еще, если бы Пельмень не перевернул лист.

Все смотрели на меня с раскрытыми ртами, на кровоточащую руку, а я не чувствовал боли, лишь странные ледяные иголки по всему телу, и пустота в голове, и в теле пустота...

— Я пустой, — прошептал.

А Муха уже перебинтовывает ладонь, говорит:

— Тогда кровяща откуда, пустой ты наш?.. Кого это было? Глюк словил?..

— Говорю же, сатанинские эти картинки, могут и с ума свести, если глубоко заглянуть, — обрадовался подтверждению своей теории Язык. — Кто знает, что там на самом дне?.. Может, ад самый настоящий. Или вон, пустота, как у Петрушки.

— Там была пустота? — затянул больно бинтом узел Серёга. — Ты что увидел-то там?..

Мотнул плечами я:

— Потерю.

Больше стереокартинки я не смотрел. Пробовал, начинала болеть голова, стоило мне напрячь глаза, как говорил отец, «собрать в кучу». Где-то в центре черепной коробки происходил ядерный взрыв. Закрывал, чтоб не выскочили из орбит от ударной волны глаза, и видел повисшую в красной пустоте фигурку тонущего и никак не могушего утонуть человечка.

Может, сон выбирался из того мира в тот самый черный час вместе с чудовищем и стал явью? Моей реальностью?..

### *Утро*

Самый лучший день недели в учебное время — это суббота. Без разговоров. Пятница с воскресеньем на втором месте.

Проснулся и долго сидел в постели, с ногами, пытаюсь припомнить сон. Ветер за ночь нагнал тучи, моросил дождь, добивая последнюю листву и шлепая по натянутой над ямой клеенке. Бабушке в срочном порядке пришлось уехать к подруге в деревню без названия, и поэтому открытие нового туалета отложили на неделю. А значит, и у Мухи есть время для новых вариантов и возможностей выиграть в споре. Так ему и сказал, когда он появился в дверях сразу после завтрака.

— Неделей позже или раньше, я готов, — весело сказал Сергей. — Все равно я обгоню этот поезд.

Он отказался проходить, не захотел разуваться, сел тут же на пороге.

— Директрису могут под суд отдать, если она позволит мне взмахнуть хоть раз лопатой. Клевая тетка, пообещала, как паспорт получу, она меня сразу в работники возьмет. Так что давай отыщем Лапу, грохнем чудовище, и я смело нырну в говнояму с чувством выполненного долга. Победителем. Я был готов зааплодировать ему.

— Че, вот так нырнешь и глазом не моргнешь?!

Муха моргнул.

### *Место преступления*

В парке нашим излюбленным местом было болотце, недалеко от танцплощадки. Летом оно иссыхало, осенью наполнялось дождями, весной расцветало осокой, водяными лилиями, головастиками.

Считалось, это конец парка, если же идти с нашего двора, то самое начало.

— Самое место для чудовищ, — закурил Муха, — но не для маньяков, те большие на всю голову, возле туалетов за мальчиками промышляют.

— А с Лапой что?..

Мы прошли рощу, скрывающую болото, направляясь в сторону бетонного квадрата с двумя проходами, обозначенными красными отметками «М» и «Ж».

— Лапа, могу поспорить, одинокий старичок-боровичок с больной ногой. За ним никто не ухаживает, не смотрит, вот он и бродит по парку в надежде, что кто-нибудь с ним поговорит, скрасит одиночество.

Я с Мухой согласился. А потом сказал:

— Наверное, одиночество и маньяков толкает на всякие делишки. Когда долго один, сходишь с ума и готов на все, только не быть одному...

Муха дымил:

— Да мож, и это тож, мож, и рождаются такими. Но скорей, все равно становятся.

— Затюкатые, всеми обиженные, маменькины сынки, — мыслил вслух я.

— Точно, но не обязательно маменькины, папы не меньше виноваты в том, что сын маньяк, если не больше, — Серёга говорил без намека на улыбку, со знанием дела, — сначала папы распускают языки и руки, потом сыночки, сперва повторяют, потом мстят. Месть отцам движет маньяками.

Я слотнул:

— Ты, прямо как в маньяки собрался, говоришь.

Дождь в парке всегда другой, спокойный, шуршит тихо сам себе над головами, наши голоса отзываются эхо в пустом туалете. Пахнет какой-то химией.

Сердце застучало сильнее, ладони вспотели. Все-таки это было место преступления. Где каждая травинка и камень — свидетель... Я не успел спросить Муху, будем ли мы заходить внутрь, из туалета вышел, заправляясь,

толстый полицейский. Осмотрел нас. Мы продолжили идти как ни в чем не бывало, Муха бросил бычок в урну.

— Телефон полиции знаете? — прокричал вслед полицейский.

— Ноль два, — не растерялся Серёга.

Я успел схватить его за локоть и дернуть, прежде чем Муха отмочил что-то из своего репертуара. Прежде чем «выступил», сказала б его мать.

— Ты че, я закурить всего лишь хотел спросить, — скорчил недовольную мину Муха, — терпеть не могу этих ментов. Что маньяки, что они. Туда же идут люди с определенным складом ума, в полицию работать.

Я обернулся, полицейского след простыл.

— Странно, но на секунду я подумал, что он и есть маньяк. Переодетый в форму.

Он так смотрел на нас...

— Да они на всех так смотрят, как на преступников. По-звериному.

Теперь Муха схватил меня за локоть, сказал:

— Убийцы возвращаются на место преступления, ты в курсе? Это у них фишка такая, ритуал.

Мы остановились, на широкой алее дождь настойчиво застучал по козырькам наших кепок.

— Он же не мог отливаться на месте преступления? — Муха протянул кулак. — А он заправлялся, — продолжил я.

Пальцы, мокрые от дождя, дрожали. Возбуждение нарастало. Наши кулаки встретились, костяшки стукнулись, мы обменялись теплотой и силой.

— Давай сделаем круг и пройдем мимо, будто возвращаемся, — предложил Муха. — Его там нет, можем смело идти назад, — уверенно сказал.

Серёга присел на корточки, так удобно следить: видно всех и даже кто прячется за голыми стволами хвойных.

— Ни души, — поднялся, — не удивлюсь, если они не будут никого искать. Замнут.

— Да не...

В отличие от друга я верил в справедливость, возмездие и в полицию.

— Не все же продажное дерьмо.

— Но почти, — Муха пошел первым.

Его бесстрашие было сродни безумию. Он точно обгонит поезд, каким бы скоростным поезд не был...

Мы не поверили глазам. На дверях туалета, железных, выкрашенных в грязно-красный цвет, висели здоровенные замки. Никаких желтых сигнальных лент, как в кино, обозначающих место преступления. Две бумажные пломбы с неразборчивыми буквами и смытыми дождем печатями.

Прикоснулся к замку, чтобы убедиться в реальности. Реальность на ощупь мокрая, твердая, почти ледяная. Вдобавок замарала пальцы ржавчиной, как ни мылил, а исчез оранжевый цвет лишь под вечер.

Не рассказал Мухе, что, прикоснувшись к замку, увидел себя внутри туалета, как внутри стереокартинки. Капало отовсюду, вода текла по стенам, и на полу вода.

«Смерти нет. Она для слабаков», — заметил выпарапанную надпись, и, конечно, это моих рук дело, но как? Я сказал это вслух, и Муха ответил:

— А вот так! — шлепая по плечу. — Мир сходит с ума, и мы вместе с ним!

*Ау!*

Я думал об этом частенько: как это — сойти с ума. Выжить из ума. У нас в поселке было немало сумасшедших, если верить папе. У него каждый второй с приветом. На самом деле я знал одну, ее дразнили Надька Ау! По легенде, она лишилась рассудка, узнав, что ее любимого убили на войне. О какой войне речь, неизвестно, мы дружно решили, что это Афган.

У такого рода людей нет возраста. Время не справляется с ними, они его не ощущают, ни во что не ставят... Живут по своим правилам, в своем часовом поясе. Рано поутру

и на закате Надька Ау бредет по обочине центральной дороги в сторону города и тихо зовет любимого, потерянного. Заунывно так зовет, аукая... Говорят, если она его дождет, отыщет, то снова обретет разум и станет нормальной. Но, по мне, так она сама не хочет возвращаться в наши ряды так называемых нормальных, обычных людей. На ней яркий красный бант и белое платье со стразами, переливающееся, искрящее, зеленые тени на глазах и морковная помада. Ей наплевать, что о ней думают, как она выглядит. Она была бы счастлива, если бы не несчастье с ее суженым. А может, в том несчастье, что стало причиной безумия, ее счастье?! Ау не прячет взгляд, смотрит в глаза и всегда с гордо поднятой головой.

Мне бы хотелось в чем-то походить на Ау. В том, как она уверенно смотрит и говорит в лицо все, что думает. Честная, неподдельная... Муха, он тоже ляпает все не думая, потом, может, и жалеет, но не подает виду. Пельмень разбалованный, и во всем всегда его хата с краю. Лёша, как положено всем спортсменам-чемпионам, говорит, что хотят от него услышать, он должен нравиться всем. Я, я прячу глаза, отвожу взгляд, будто мне есть, что скрывать. Стеснительность с возрастом пройдет, считает мама. А мне кажется, что пройдет она в том случае, если я стану, как Ау, чуточку сумасшедшим...

Еще кажется, что это во мне из прошлых жизней. Я сотворил, видно, что-то невозможное и поэтому не могу смотреть людям в глаза, чтобы они не смогли узнать о содеянном... Но что такого я мог сделать? Как бы разузнать, заглянуть за время... Может, я кого-то убил, и вина за содеянное сидит во мне из жизни в жизнь, пока я не покаюсь, не признаюсь, не буду наказан...

Эхом из прошлой жизни отвожу глаза в сторону и вниз.

Муха протянул мне сигарету:

— Пыхни, на. Расслабит. Все равно мы ничего сделать не сможем. Если только сами его не выследим и не завалим.

## Дождь

Драки в поселке редки, старшие забивали стрелки и решали свои вопросы далеко от дома. Мы, еще совсем зеленые, любили подубасить друг дружку или таких же, как мы, сорванцов из соседнего двора. Но все было несерьезно, без чрезмерного кровопролития и затаенной злобы. Уже на следующий день здоровались как ни в чем не бывало...

«Завалить» — звучало намного серьезней, чем «надрать задницу» и «надавать по тыкве»...

Дождь после обеда лил беспощадно, стеной. Сидели у меня в комнате, Муха курил в открытое окно, я рисовал по памяти полицейского, выходили одни глаза, нечеловеческие.

— Блин, ну хоть какой нос у него был?

Муха не помнил ничего.

— Он же был по-настоящему, — посмотрел на друга, — реально живым?

Стало не по себе, разболелась голова, шум наполнил комнату. Я провалился внутрь стереокартинки, оказался в центре дождя, дождь поливал в комнате, рядом никого, Муха исчез, вместо него сплошная гладь воды. Вытянул руку, ладонь исчезла в дожде, стертая невидимым суперластиком. Отдернул руку — культю, ощущаю, как перебираю пальцами, но не вижу их...

«Что я скажу маме?» — мысль, и сразу вторая: — «Как покажусь в школе?..»

Дождь, прочитав мысли, ожил, двинулся на меня. Исчез альбом с глазастым рисунком, разбросанные карандаши растворились один за другим...

Встал, пятиться некуда, я окружен водой, втянул живот, чтобы подольше оставаться видимым.

Надо что-то сделать. Как-то остановить дождь? Сказать кодовое слово? Пароль-заклинание?..

На глазах исчезли кончики носков, я в шортах, и острые выпирающие коленки исчезают следом...

— Смерти нет. Она для слабаков, — тараторю, не действует, дождь наступает. — Замри! — кричу, уверенный, что должно помочь, и движение действительно прекращается, дождь замер. Указательным пальцем уцелевшей левой руки легонько касаюсь дождя и сразу отдергиваю. Дождь на ощупь стал стеклом. Постучал по нему кулаком, ни звука. Я замурован в стекле. Как букашка в янтаре... Воздуха надолго не хватит, это конец. Смерть для слабаков. Смотрю вниз и вижу пальцы правой руки, и черные концы носков вернулись, и колени, поднимаю глаза, а вместо мутной глади стекла лицо друга Серёги. Муха трогает мой лоб, говорит:

— Ты что, уснул вот так, с открытыми глазами?!

Мама с бабулей говорили, что я луначу иногда, правда с годами это случается все реже, но чтоб заснуть, вот так, да еще с открытыми глазами...

— Из-за дождя, — проямлил.

— Мать у меня раз тоже прямо на ходу заснула, шла и грохнулась на пол, — как-то безучастно рассказывал Муха. — Лежит, спит, а из носа кровь на ковер бежит, давно это было, до их развода, уже даже кажется, что не со мной, или приснилось все, нафантазировал.

Окно прикрыто, дождь прилип к стеклу и, кажется, не кончится никогда.

Дождь стирает реальность, когда он такой сильный и бесконечный.

— Надо это сделать в дождь, ни следов, ни сочувствия... Просто дождь, холодный и беспощадный, — сказал друг, и я кивнул:

— Просто дождь.

*Лунатикам вход воспрещен!*

Чтобы не разгуливал лунатиком по ночам, мама у кровати одно время приспособливала обильно смоченную половую тряпку. Срабатывало, босые пятки касались холодной ткани и шустро возвращали меня в кровать под теплое одеяло.

— А то ведь уйдешь так, куда живым хода нет, — страшала бабушка. — А во сне ты наполовину там. В призрачном мире.

В это нетрудно поверить, лунатики на грани реальности и мира снов. И явно, если они бродят, не боясь упасть, по конькам, по краям крыш, лавируют, балансируют над пропастями, то рано или поздно находят дверь, проход в тот свет.

— Ведь маньяк может быть и лунатиком, — думаю вслух. — Сделает во сне что-то ужасное и забудет, проснувшись.

— Ага, и его невозможно поймать, потому что он невидим для бодрствующих. А мы с тобой лунатики, вот и разглядели убийцу. Чувшь все это киношная, — Муха ходил кругами по комнате. — Лунатик у нас один, и это не я, а все эти чудовища — простые люди и не лунатят даже. Им по кайфу причинять боль, вот и все. Лунатики другие, у них крылья есть, такие муху не обидят.

— Забыл, как головастика на пару давили?

И тут Муха не растерялся, у него на все словно приготовлены были ответы:

— Так то в первом классе было, — отмахнулся, — не страшно и не считово. Вы же, лунатики, явно избранные, для чего-то нужны, для поддержания какого-нибудь вселенского балласта... Проводники, может, в иные пространства...

Засмеялся, а что еще оставалось, я в свою особенность не то что бы не верил, близко не предполагал, что могу чем-то отличаться... Хотя все мы чем-то да отличаемся. Чемпел — спортсмен, и штангу тягать, и бегать мастер, Муха — справедливый бунтарь, brave Робин Гуд, Язык искусно владеет языком, Пельмень — ответственный, с детства за отцом ухаживает, а я рисую, сочиняю, наверное, в этом моя отличительная способность. Могу нарисовать даже с закрытыми глазами все что угодно.

— Почему вот только не получается этого ссыку-на-полицейского портрет, — смял лист. — Призрак какой-то.

— Не призрак он никакой, тварь божья.

### *Звезданутость (Эхо)*

Ближе к вечеру собрались все в гараже у Чемпеля. Место машины давно заняли самодельные тренажеры, подвесные гири, скамейки со штангами, две боксерские груши...

— Батя собирался новую иномарку покупать, — как бы оправдывал появление собственноручно собранных качалок Лёха, — да все никак, а старую «Волгу» продал, — вздыхал, терзая эспандер, Чемпель.

Он рассказал, услышал от сестры, что старшеклассники с родителями собрали отряд добровольцев, патрулируют вокруг школы и парк. А еще, что задержаны подозреваемые.

Про утреннюю встречу в парке мы промолчали, не сговариваясь.

Настроение по погоде, веселье на нуле, лишь дождь бомбит, не уставая, и одно на всех желание — забраться поскорей под одеяло...

Сегодня ночевка у Мухи, его мать позвонила моей, сказала, что это единственный способ нормально пообщаться с сыном.

Они жили возле треугольника, на втором этаже двухэтажного дома, в трехкомнатной квартире. Комната Серёги была соединена с застекленной лоджией, и летом мы проводили все время там, у распахнутых окон перед бесконечным звездным небом. У самого начала Вселенной — так мы считали.

Мы давали свои названия созвездиям и звездам, а на следующую ночевку, конечно, не могли их вспомнить и придумывали новые.

Как и полагается, у каждого было по несколько собственных созвездий с нашими именами и фамилиями. Созвездие Мухи Бессмертного, например, или Петрушкин Клык. А уж над названиями звезд как мы изгалялись...

Смеялись, бывало, до слез, и небо становилось ближе. Оно проникало в нас всей своей громадиной, опрокидывалось, заполняло. Хотелось прыгнуть с лоджии в полной уверенности, что не разобьешься, что ты — часть неба... Звезданутость оставалась в нас надолго, и во сне, где летать — в порядке вещей, и наутро еще ощущалось ее присутствие больным, как после занятий на пресс, животом, и легкостью в походке: подпрыгни и взлетишь к потолку. Думаю, звезданутость остается в нас до конца. Потом мы отправляемся на небо и сами становимся звездами, а на Земле остается эхо нас. Наше эхо.

### *Люстра*

Звонок в квартире Мухиных громыхал на весь подъезд пулеметом-органом — мама Мухи, тетя Кристина, привезла его откуда-то из-за границы. Правда, она просит называть ее просто Кристиной:

— Тетя Кристина как-то неблагозвучно, — считает она.

Я стараюсь избежать прямого обращения, всячески улыбая, но сидя за столом лицом к лицу, это трудно.

Стол накрыт в зале перед телевизором с выключенным звуком. Прячусь от пристального взгляда тети Кристины за вазой с фруктами.

Успели съесть суп с яблоками и курицей, доедали сладкий рис, тут мама Мухи начала вспоминать детство сына:

— Вот он не любит, когда я сравниваю, но как без этого?! Люди привыкли воспринимать мир через сравнения, — она налила из бутылки белое вино в пузатый стакан. — Это проще, согласишься, чем вдаваться в долгие объяснения.

Киваю, искоса смотрю, как бегают желваки на Мухиных скулах.

— Сегодня с утра специально достала из «тещиной» коробку, я оставила на память старую люстру. Таковую, с пластиковыми канделябрами-висюльками в три ряда. Сержик обожал это дело, он тогда в детский сад ходил, так вот для него мыть эти самые висюльки было праздником. Наберу в таз воды, снимем туда эти сосульки, как он их называл, и Сержика целый день не видно, не слышно. Ну, а потом вдевать назад, это целая комедия, — рассмеялась она. Муха встал, взвизгнули по полу ножки стула:

— Пойду, подышу, — пробурчал, не открывая рта.

Тетя Кристина вспыхнула в лице, взмахнула руками:

— Что?! Что я такое сказала?! — проводила взглядом сына до балкона, тут же пронзила меня: — Подышать, как же, — зашептала, нагибаясь ко мне через стол. — Вот как не сравнивать, когда весь в отца? Тот тоже хватался всем, что курит с семи лет. А я как запрещу, против что скажу, сразу в позу, сразу выступает.

Жую молча, разглядываю рисинки в тарелке.

— Я и с люстрой этой канитель затеяла, только чтоб приблизить его. Мне она сто лет не уперлась. Даже гречку ему сегодня сама собиралась пожарить... Это он придумал, как-то прихожу, а Сержик кулинарит, гречка, как кукуруза, распускается попкорном в горячем масле и на вкус съедобно... — выпила остаток вина одним глотком, всхлипнула: — А его не пронять. Упертый, как баран-отец. Тут и параллели проводить не надо, все налицо. А я устала от его неучастия! От непонимания! Кто-то должен объяснить, вбить ему в голову, что такое случается и люди разводятся. Расходятся, как в море корабли!

Я кивнул. Она налила себе вино, протянула бутылку:

— Будешь? Хорошее вино для здоровья полезно, сосуды очищает.

Не успел согласиться, тетя Кристина бахнула в стакан с компотом белое полусладкое, согласно этикетке.

— Алкоголиком становятся не от вина, поверь, да и не от водки, жизнь делает из людей пропащих, никчемных пьяниц, — отхлебнула, я взял стакан, пригубил, компот на вкус был даже ничего, кисло-сладкий, аромат заполнил рот и голову. Заговорил, казалось, пахнущими словами:

— Все очень вкусно, спасибо, — я собирался с этими словами выбраться к другу, не вышло.

— Он и не посмотрел, глазом не повел в сторону финтифлюшек, замоченных в ванной. Это же не дело. Все, что бы я ни делала, — в штыки, и глухой игнор на любое проявление участия в жизни.

А я сделал еще глоток, и еще два, увидел дно стакана и, переполненный виноградными испарениями, сказал, что собирался сказать давно. Зазубренный текст выплеснулся из меня благоуханием через край, тетя Кристина от неожиданности раскрыла рот и начала икать.

Пожалел ли я о том, что сделал? Ни капельки.

Вышел из-за стола, сказал: «Спасибо», и что «по мою посуду, если вы не против, тетя Кристина».

Тетя Кристина икнула. Не против.

В ванной, в тазу, сосульки из мутного серо-желтого плексигласа, замоченные в стиральном порошке, похожи на разбитые мечты — изогнутые, побитые, ненужные.

— Пусть отмокают всю ночь, — сказал Муха тихо, утробно. — Завтра с утра повешу вместе с мамкой. Отдам дань прошлому.

А от Серёги уже и не веет детством: запах сигарет и крепкого пота, голос с легкой хрипотцой и серьезность зашкаливает.

— Раньше мне чудилось, что это драгоценные трофеи из сказочного королевства. Я был причастен к чему-то таинственному, вечному, — хрустел канделябрами Муха, перебирая в тазу обеими руками. — Чистые, они сверкали, как настоящий хрусталь, от зажженной лампочки, и я мог часами любоваться вымытой люстрой. Мечтать.

Переломив с надрывным треском несколько сосулек, Муха молча вышел, вытирая о себя мыльные руки.

Осколки исчезли на дне, а я увидел люстру с торчащими клыками вместо канделябров на потолке в центре зала, где сейчас убирает со стола грязную посуду тетя Кристина, на острие каждой сломанной сосули застывшие капли крови.

Моргнул, люстра схлынула кровавым водопадом.

### *Сигналы*

Жареная гречка хрустела поломанными плексиглазовыми висюльками, но несмотря на это, была хороша. Закидывали горстями прямо с горячей сковороды, обжигая язык и нёбо, перебрались на лоджию. К этому времени тетя Кристина успокоилась, не икала, лишь изредка вздыхала, глядя на нас:

— Не спешите взрослеть, мальчишки, в этом нет ничего хорошего.

Мне стало жалко маму Мухи, и я отругал себя за все, что наговорил, мог бы помягче, она ведь женщина, ей и так от сына достается. Успокаивало решение Серёги утро посвятить маме.

Из распахнутых окон виден угол треугольника, там по обыкновению мы жгли костры. А когда не было звезд, как сейчас, поджигали длинные прутья и поднимали над головами крохотные светильники. Творили свои звезды. Оранжевые, голубые светлячки прожигали ночь, рисовали на темном холсте крученые параболы и тайные знаки... Хотелось больше звезд, много, секстиллион секстиллионов, тогда в руках вспыхивали факелы. Разрезая тьму, мы грозили пламенем бесконечному космосу, ощущая себя властелинами планеты, победителями мрака.

— Помнишь, ты сказал, что факелами мы подаем сигнал инопланетянам? — задумчиво сказал Муха, перегибаясь через подоконник в ночь и выпуская из себя

спрессованные колечки тумана. — Огонек сигареты тоже ведь одинокий сигнал. Что-то вроде SOS, — вспыхнул кончик «Винстона», поблек и вновь затрепетал бордовым цветом.

— Думаю, они видят, как мы им сигналим, — взял зажигалку друга, щелчком сотворил крохотное пламя. — Если бы они прилетели и решили забрать тебя с собой, ты бы согласился?..

Я посмотрел на Муху, профиль серьезный, строгий, взрослый.

— Не прилетят, — профиль обернулся анфас. — Да и не нужен я им. Тут никому толком не нужен, на Земле, а на небе тем более. Космос не для нас. Не для меня точно.

Погас маячок Мухи, нет сигнала, бычок растворился мгновенно в темноте.

— Буду сигналы под землю посылать. С мертвецами, в гробах, записки с вопросами всякими, о том свете, о жизни там и тут, про черные дыры спрошу обязательно, и эликсир бессмертия... Они ведь там все уже знают, вот пусть поделятся со мной. Засыплю их записками-сигналами и рано или поздно, — Сергей подмигнул мне, — и рано или поздно кто-нибудь ответит.

И ясной четкой картинкой в проеме открытого окна — Муха, бегущий и обгоняющий поезд.

### *На человеческом языке*

Ощущение, что это последняя наша ночевка, не покидало с той минуты, как переступил порог квартиры, оно было и раньше днем, и утром. Оно поселилась с того момента, как мама сказала про звонок тети Кристины:

— И чего вам, мальчишкам, не жить дружно с родителями? — мама сделала что-то с голосом, он зазвучал тверже, настойчивей: — Ведь все ради вас и делается. Столько сил и нервов, столько всего... Серёжа рано

столкнулся с реальностью. Развод, суды, обвинения, то папа плохой, то мама злоупотребляет чрезмерной заботой... Мне, честно, жалко вашего Муху и радостно, что ты на его стороне. Завтра отправляйся на ночевку, но обещай не курить.

Вот за это я обожаю маму! И за много чего еще!

Поэтому, переполненный тоской, лег к Мухе с тетрадкой, исписанной каракулями, моим новым рассказом-ужастиком про то, как в одном, конечно же, американском городке — у нас бы сроду ничего такого не случилось — заговорили домашние животные.

Муха слушал, заложив руки за голову, уставившись в потолок, и не дышал, пока пожилая пара убивала друг друга после прослушивания сообщений, оставленных на автоответчике их шестнадцатилетним котом. Кот поведал об обоюдных изменах стариков, рассказал в деталях, где, когда, как и с кем.

История заканчивалась хэппи эндом для всех животных. Люди уничтожили друг друга, и в городе остались одни кошки да собаки с курами.

— Хороший рассказ, — вынес вердикт благодарный слушатель. — И название «На человеческом языке» отличное, одно «но».

Я привстал, выкатив на друга глаза, это у нас называлась «словить мину».

— Заграничные имена, Петруш, ну к чему они?.. Чем наши Маньки и Васьки хуже?..

Где-то внутри я давно ожидал подобного, поэтому кивнул:

— Да, мне тоже Джулии эти и Сэмы не по вкусу, честное слово, — признался, и легче стало от этого, будто сам заговорил на своем, человеческом. — Сочиняю и долго мучаюсь с выбором имени, с фамилиями нерусскими так совсем завал. Фу, — выдохнул и вдохнул себя нового.

— Кот Барсик отомстит покруче каких-то там Тома и Джерри, — Муха вытащил из-под меня одеяло, укрылся. — И станешь ты самым классным писателем

и художником, и будет у тебя жена какая-нибудь актриса или модель, дом, домов у вас будет по всему миру куча, но жить вы будете на берегу океана...

Завалившись на спину, вытянулся в сплошную, бесконечную улыбку. Улыбка самого-пресамого счастливого человека на Земле.

— Про меня разрешаю не писать, хотя могильщик — тот еще персонаж, — Муха вздохнул с надрывом. — Только я буду грустным могильщиком, никакого экшена со мной не получится, одна скукотища.

— В скукоте свои ужасы, — ляпнул, не задумываясь.

— Да, — согласился резво Серега, — вот тебе и название готовое «Убийственная скукота».

— И в конце все умрут.

— От скуки.

— Могильной.

Мы посмеялись, лежали рядом друг с другом, уставившись в потолок, а на самом деле смотрели сквозь него, сквозь шифер крыши и темную толщу ночного неба, туда, где один язык на всех. Язык звезд.

### *Предчувствие*

Будто врезался в стену холода. Открыл глаза, внутренне сгруппировался в ожидании, что окажусь замкнутым внутри стереокартинки. Первое, что пришло в голову, — я в том самом туалете в парке и сейчас произойдет что-то ужасное. Отблеск стекла, и вот передо мной вереница окон, за стеклами ночь, и лишь далекий уличный фонарь на повороте к треугольнику стойко борется с мраком пульсирующим мечом бледного света, отражаясь в темных стеклах домов. Не успеваю моргнуть, как стекла начинают дрожать в оконных рамах, будто решили, что им в них тесно и сейчас они вырвутся на свободу. Загудело все: и небо, и земля слились в один протяжный утробный гул, я попятился, наткнулся на что-то спиной, обернулся, это был Муха,

он стоял в одних плавках, белая кожа светилась, из открытого рта шел этот режущий звук, а из глаз его текла кровь.

— У тебя кровь, — все, что сказал я.

— Это твоя кровь, — донеслось сзади, я обернулся и... гул исчез.

— Пётр, — испуганный голос Сергея, — все нормально, Петя, проснись же... Я на лоджии у разбитого окна. Стекла под босыми ногами, на ладони правой руки порез ярко прочерчен выступившими бусинками крови.

— Ты ходил во сне, лунатил, — у Мухи глаза, как два тазика, — и порезался...

Открытая фрамуга с оскалившимися осколками стекла захлопнулась очередным порывом ветра, я сказал:

— Что-то большое и темное, слышишь, Муха?.. Приблизилось, и оно все сломает. Разрушит.

Муха мотает головой:

— Это ветер поднялся, в крыше шумит.

Говорю ему — нет, не ветер, и начинаю стучать зубами, но говорю еще:

— Похоже, что это конец, Муха.

— Конец будет нам, если ты сляжешь с температурой, — хватает за неповрежденную руку и тянет к себе, решаю, что надо сопротивляться, толкаю его, окровавленной ладонью бью по лицу:

— Это конец, — шипит змея в моем горле. — Отпусти, ничего больше не будет!..

Сергей умело перебрасывает меня через порожек прямо на кровать в еще теплое нутро простыней и одеяла. Я плачу (да я ли это?) в объятьях друга навзрыд и знаю, предчувствие меня не обманывает.

### *Захватчики*

— Будто всех: и тебя, и маму, и мальчика того, что от маньяка пострадал, оплакивал, — смотрел в глаза другу, перебарывая дикое желание ослепнуть или провалиться сквозь этажи в подвал.

Муха намотал на кончик спички вату, смочил ее йодом и легонько обработал порезы, не переставая дуть мне в ладонь. Щипало терпимо, нетерпимо было рассказывать причину слез, тем более, когда она тебе самому непонятна.

В понедельник, еще ошущая неловкость и покалывания в перебинтованной ладони, я ждал на перекрестке ребзю, когда загрохотало все и загудело. Два бульдозера и два самосвала — источники шума. Покрытые коркой многолетней грязи, похожие на пришельцев из космоса, они двигались, распугивая дворовых собак и кошек. Птицы в ужасе оставили гнезда, скворечники... Стекла, я видел, как в доме напротив задрожали все стекла в окнах. Непривыкший асфальт центральной улицы крошился под громадинами, грязь летела в стороны на аккуратные пестрые кучи осенней листвы вдоль обочины и на побеленные заборы, стены, прохожих...

Могу поклясться, в кабинах за баранками сидели самые настоящие чудища — чумазые, с гнилыми зубами и свирепым взглядом мертвых глаз. Монстры скалились, дымили огрызками папирос и плевались на пол кабины.

Я не заметил, как друзья собрались вокруг меня — ошалевшего и обездвиженного. Оглушшего. Поэтому я не слышал ничего, что они говорили, какие ругательства выкрикивали вслед незванным гостям, захватчиком. Лёха прокричал в ухо:

— Ты-то что как истукан?! Матюгнулся бы для приличия.

И я заорал, как никогда до сегодняшнего утра, а потом крик стал набором страшных слов, от которых, как скажет позже Муха, у всех, кто слышал, заворот кишок случился.

— Такие маты сроду не слышал, — похлопал Чемпель по плечу. — И не повторю ни в жизнь.

Яшка высунул язык, помахал им, промычал:

— Ты — мой герой.

Ну, а у Тимура взаправду, с перепуга или, как он утверждает, из-за яйца на завтрак, скрутило живот, и понос на весь день был обеспечен.

Неужели правда, и треугольник, мир нашего дворового детства, будет стерт с лица земли зверомашинами?..

Исчеркал черными фигурами-квадратами, треугольниками, крестами последний лист в каждой тетради, пока дождался конца занятий. Не думал ни о маньяке, рыщущем в поисках новой жертвы, ни о гусиной лапе... Даже приезд бабушки не был в радость. Хотелось забраться под одеяло и проснуться в мире без бульдозеров и самосвалов... Говорить об этом с бандой было невыносимо, и я убежал с последнего урока, с географии. Каклюбятповторятьваамериканскихфильмах — мне надо было побыть одному.

Увильнув от дежурной и завуча на дверях, не раздумывая — в парк. Слева осталось серое двухэтажное здание безымянного дворца культуры, на афишах после дождей радужные кляксы вперемешку с тарабарщиной, похожей на ту, что несли мы в начальной школе — вставляя перед каждым слогом слова частицу «та». А на тропинке, параллельно страшному месту преступления, кто-то дернул меня за подол куртки-ветровки. Сердце оборвалось и бухнулось в карман школьных брюк.

Вот он, конец.

Конец сказал вдруг голосом Мухи:

— В окно тебя увидел и сиганул следом. Ты что это, один на маньяка собрался охотиться?!

— Ну, ты... — не договорил, так как сердце подскочило из кармана к горлу и вернулось на место.

Муха прикурил:

— Из-за треугольника расстроился? — выпустил через ноздри драконьи сизо-белые струйки. — Ты это почувствовал, так ведь?.. Предвидел?.. Что-то большое и темное. Оно все ломает. Разрушит.

Сергей произнес это, и мой следующий шаг уносит меня в сон, полуявь, другую реальность, заключив со всех сторон бетонными стенами, где один только звук — раздражающий, сводящий с ума звук равномерно каплющей воды.

## Подписи

Не знаю, что я имел в виду тогда, в предрассветный час у разбитого окна лоджии, но то, что предстало нашим глазам, было из разряда фантастики, запредельного, как черный час и чудовища...

Забор, железные листы грязно-зеленого цвета метра два высотой вокруг треугольника. За ограждением орудуют машины, за несколько часов вырыли огромный котлован и продолжают копать...

— Деревья... — вырвалось у меня.

Муха затушил о забор недокуренную сигарету:

— Накрылись ловитки на дереве, — пнул железный лист. — Да все накрылось.

Я говорю:

— Нет.

Он говорит:

— Да.

И это его «да» — аксиома, не требующая доказательств.

Чемпель бы сказал : «Я же говорил. Детство кончилось».

Муха добавляет:

— И с этим мы ничего не можем поделать, разве что это, — расстегивает ширинку и мочится шумно на забор. — Давай оставим им свои подписи на долгую память, — выводит он буквы на ржавой зелени.

Я присоединяюсь, нисколько не стесняясь, не боюсь быть увиденным, пойманным, наказанным.

Это станет нашим ритуалом, и мы при любом позыве и возможности будем его выполнять. Еще разукрасим забор, живого места не оставим, лозунгами — «Вечность за нами!», «Убирайтесь назад в ад!», «Этот мир наш!», разбавляя надписи звездами, солнцами, бесконечными улыбками...

## *Четыре Конца Света*

Последняя неделя сентября — раскаленное дробе-ла солнце, асфальт — мягкий пластилин, горячий, так и хочется взять и начать лепить вместо осени лето.

На субботу назначен перенос и открытие нового туалета. Яшка Язык всю неделю потирает демонстративно ладони. Муха проиграл спор и нырнет на дно старого сортира.

Серёга Муха в ответ повторяет жест победителя. Порой, чтобы победить, надо проиграть.

У Чемпеля депрессия, он подозревает Олю Рожкову в измене.

Тимур решил всерьез похудеть и запретил называть его даже в шутку «Пельменем».

Мне же каждую ночь снятся кошмары с ожившими машинами-монстрами, превращающими поселок в руины.

— Они стерли с лица земли наше детство, — говорю я.

«Они» — это взрослые, конечно же. Те, кто так или иначе причастен к уничтожению треугольника, к появлению забора, ничего не предпринявшие, мирно смотревшие на катастрофу взрослые.

«Это больше чем просто катастрофа, это Конец одной второй части Света! И все виновны в этом!» — пишу в тетради, где начал неделю назад новый рассказ. У героев рассказа с черновым названием «Четыре Конца Света» наши русские имена и фамилии.

По задумке некая высшая сила предлагает четырем разным непохожим людям с разных концов Земли (но все будут русскими по чистой случайности, а может, по задумке высшего разума) придумать свой собственный сценарий Конца Света.

Ну, те и рады стараться, разносят Землю всеми невероятными и невозможными способами...

Один из способов уничтожения — машины, все без исключения виды транспорта и даже игрушки, по сценарию, стали громить все вокруг, а выведенные из строя взрывались самым настоящим ядерным взрывом.

— А прикинь, если все, что бы ты ни написал, сбывалось?! — Муха присвистнул, я раскрыл рот, а он выдал: — А давай, попробуй написать что-нибудь про нас, и проверим.

Я пролистал тетрадь с четырьмя Концами Света.

— Напиши, скажем, про то, как у Яшки язык стал жить собственной жизнью. И прикольно, и поглядим, сбудется-нет.

И хоть какая-никакая, а месть за проигранный спор — хотел, но не сказал Муха, подумал я и ответил:

— Запросто. Напишу за ночь.

Друг поднял ладонь, и я ударил по ней.

— Если все получится, — бросило меня в пот, — мы и маньяка поймаем, и треугольник вернем.

У меня загорелось в груди, будто глотнул кипятка, ладони зачесались, в точности как тогда, после стекловаты. Ноги понесли по дышащему от распалившегося солнца асфальту к дому номер два по улице Дворцовой.

Очередной Конец Света вновь откладывался на неопределенный срок.

### *Смерть языка, или три тысячи и одна ночь*

Итак, у Яши Гончарова ожил язык, после того как он прикусил его за ужином. Язык долго кровоточил, распух так, что еле во рту помещался. Мальчику удалось заснуть после второй таблетки обезболивающего, и снилось ему, язык зацвел большими фиолетовыми цветами...

Проснулся Яша ранним, еще темным утром от собственного голоса.

Автономия языка, вероятно, распространялась и на голосовые связки, потому что из горла Яши, не обращая внимания на сигналы мозга, выскакивали незнакомые мальчику слова. Яша попытался закрыть рот, не смог. Зажал его ладонями, рот болезненно растянулся, и Яша услышал череду матерных слов в свой адрес.

— И если он попытается сделать так еще раз, — грозно прохрипел незнакомый голос, — он, то есть язык, сделает плохо всем.

Писал до часу ночи, пока мама не заговорила не своим голосом и не начала угрожать подобно придуманному мной языку:

— Или выключай свет и в кровать, или никаких выходов со своей бандой.

Мама победила, мамы всегда побеждают. Остановившись на том, как Яша задумывается об объявлении войны своему языку, забрался, недовольно ворча, под одеяло.

— Думаю, этого достаточно для проверки, — успокоил себя, огонь внутри погас, руки не чесались, я закрыл глаза и открыл их под трель будильника из спальни родителей в семь утра. Я обожал такой сон — молниеносный сон-вспышка.

До того как оживет мой будильник, еще час, и я бы поспал еще, но руки тянутся к тетради с рассказами, хотя в голове ни мысли о том, чем же закончится война героя с собственным органом речи.

Всю дорогу к школе пересказываю Мухе историю, пока он не останавливает меня, дернув за локоть.

Яшка идет навстречу нам, выделявая языком крученные параболы.

— Не сработало, — говорит, не открывая рта, Муха.

— Ага.

Но на большой перемене я делюсь с друзьями яблоками, что привезла бабушка из безымянной деревни, Яшка выбрал самое зеленое, тут же откусил больше половины и... прикусил язык.

Красный червячок выполз из белой мякоти плода и сполз на подбородок, глаза у Яши заполнились слезами, он выплюнул окровавленный кусок и промычал, стараясь меньше ворочать раненым языком:

— Тьтытыши и одна ночь.

Я сразу вспомнил спор годичной давности и книгу сказок, выведшую Яшку из игры мощнейшим ударом по голове, мне тогда поставил шишку Достоевский с «Братьями Карамазовыми».

Муха смотрел то на хрипящего, плюющего кровью во дворе школы Яшку, то на меня:

— К-к-как название рассказа? — спросил вдруг.

Я растерянно прошептал:

— Смерть языка.

И мы набросились на друга, в четыре руки тарабаня его по спине.

Бабушка, а за ней и отец, часто повторяют: «Бог отвел». Вот и с Языком, после того как он умылся и приложил к ранке чистый платок, я предположил то же самое — Бог отвел. К медсестре Яша идти отказался, люто жестикулируя. Муха шепнул мне на ухо:

— Пиши, как мы поймали маньяка.

Кивнул ему, а после школы, не обедая, сел и написал коротенькую историю о том, как мальчику по имени Серёжа удалось избежать малоприятную участь исследования дна выгребной ямы.

### *Роза-огнемет*

За забором детства и в выходные шумит работа. По слухам — треугольник, землю, на которой он находился, выкупил какой-то миллионер-предприниматель, и здесь теперь будет автостоянка с подземными гаражами. «Или супермаркет», — говорит бабушка, ей кто-то из соседей шепнул, и будто у этого богатея денег столько, что весь поселок купить может.

— Весь да не всех, — буквально дрожу всем телом от злости. — Эх, узнать бы, кто это, мы бы ему устроили вырубку деревьев...

Бабушка мотает головой, на ней платок, расписанный ярко-зелеными листьями и алыми розами, маленьким я любил расстилать этот платок у себя на коленках и лю-

боваться близостью такого совершенного произведения искусства. Я водил по краям лепестков и срисовывал цветы на альбомный лист. Включал фантазию, и у моих роз появлялись глаза. Розы меняли цвета, были прозрачные розы, черные и голубые. Розы с ртами-пастями, полными острых зубов, розы с ангельскими крыльями. Друзьям больше нравилась роза-пистолет — длинные черные дула револьверов вместо лепестков, смотрелась роза угрожающе и этим была привлекательна для мальчишек. Именно эту розу представлял я, разговаривая с бабушкой о миллионере. У нас у каждого такая, мы крепко сжимаем рукоятки, стволы роз, и нажимаем на курки-лепестки, когда видим противника-разрушителя. Красные пули, похожие на зерна граната, бьют точно в цель.

— Для такого дела, — говорю сам себе, — я бы нарисовал розу-пулемет.

Улыбка на моем лице, улыбка всех мультяшно-киношных злодеев, вместе взятых, растягивается под щелчками глаз.

— Роза-огнемет...

Безликий маньяк исчезает в огненном вихре следом за миллионером-предпринимателем. Я отчетливо слышу, как трескается раскаленный воздух, ощущаю горячую волну на лице, и капельки пота на лбу, и жар...

### *Волшебное слово*

Потерялся во времени. Растворился где-то между сном и явью. Потерялся, как в самом страшном своем кошмаре, где нет ориентиров. Нет дна, нет солнца...

Будто весь мир — это стереокартинка, и я завис в ней, в этой неизвестности, и выход один... Я его знаю, помню. Круговорот поедания самого себя в природе. Только я не могу пошевелиться, я застывшая крупинка в оконелой массе и, чтобы спастись, я должен произнести слово. Волшебное слово. Все всегда решает одно слово. Секретное слово. Как ключ от всех дверей. От Вечности...

— Отомри, — пароль в игре «море волнуется раз» в остальных случаях не срабатывает — проверено. Как не помогают и другие пароли — «пожалуйста», «клянись мамой», «ради бога»... Я пробую, произношу сначала про себя: «Смерти нет», потом вслух добавляю: «Смерть — она для слабаков».

И вижу себя царапающим ржавым гвоздем этот пароль, слово в слово, на гнилой доске туалета. Трухлявая доска крошится, я протягиваю ладонь, пытаюсь поймать чешуйки и хватаю себя за нос.

В том, что это нос, убеждаются и глаза, сперва веки приоткрываю чуток, смотрю сквозь ресницы, по всем ощущениям, я в своей комнате, лежу в кровати, схватив себя за самую выпирающую часть лица, ресницы распахиваются.

На прикроватной тумбочке бумажно-картонные упаковки лекарств, стакан с водой наполовину пустой, две ложки — одна чайная и столовая с белесыми следами от растолченных в них мамой таблеток. Градусник, я присмотрелся, серебряная стрелка ртути на отметке 38. Откусанное зеленое яблоко пляшет поржавевшей сморщенной раной.

За окном, не понять, серое утро или вечернее угасание?..

Тяжесть в затылке, напоминание о прошедшей головной боли. Боль никогда полностью не проходит, она прячется, как все эти чудовища из черного часа, как маньяк, которого никак не поймают...

Во рту вяжет, как после съеденной хурмы, ни слюнки, горький привкус отрыжки таблетками...

Утро или вечер? Поднимаюсь из жаркого, липкого нутра постели. Словно сам стал жертвой своего оружия — огнеметной розы, теперь вот восстаю из пепла... В подтверждение хрустят коленки.

Хруст как шифр к коду, как пароль к старту воспоминаний.

## *Хруст и крик*

Хруст — это Муха оторвал доску, расширяя отверстие в деревянном полу, а внизу вонючая до рези в глазах и легких яма (метра два глубиной), полная экскрементов.

Жижа, темно коричневая, живая, она дышит копошась в ней червями и мухами. Тимур отворачивается, с трудом сдерживаясь, чтобы не сплевать.

Яша поспешно спрятал язык, им он все утро снова и снова касался кончика носа, скривил лицо. Чемпеля не было, у него примирение с подружкой или очередная тренировка — взрослая жизнь, двумя словами.

— Сокровища, — выдохнул весь воздух я, стараясь не дышать поднявшимся вместе с тучами мух ароматом.

— Жизнь — дерьмо, — сказал, ни капли не сконфузившись, Серёга, даже носом не повел, отметил я. Муха говорит: — Если всю жизнь в дерьме, значит и замараться не страшно, не замараюсь, — хихикнул, надел водолазную маску.

На нем, кроме маски, еще темно-синие плавки. Солнце, несмотря на раннее утро, жарит вовсю. Последние дни сентября.

Кот Васька опасливо обошел разобранную коробку туалета, пять лет назад он был первооткрывателем этой территории: с Мухой решили проверить, выберется ли кот из моря фекалий. Васька выбрался и отомстил, забравшись на выстиранные бабушкой простыни.

Васька забрался на вишню от греха подальше. Я перевел взгляд с кота на Муху, перед глазами белые простыни в грязных коричневых кляксах и тазики, в них до ночи мы перестирываем всю грязную одежду в доме, включая кота Ваську.

Глаза Мухи за мутным стеклом кажутся большими и круглыми, под стать маске.

Он подмигнул мне:

— Я перегоню этот поезд, — сказал чуть слышно. Я кивнул, посмотрел на Яшку, «Может, хватит?» — должен был прочесть он в моих глазах, Язык не прочел, подмигнул и довольно потер ладони.

Тимур ушел на безопасное расстояние, под вишню с Васькой, там, видимо, уже не чадило.

Серёга сказал что-то еще, я не расслышал и, прежде чем успел спросить что, он плюхнулся в густую зловонную субстанцию.

— Срань, — Язык отвернулся и сплюнул. Я не видел Тимура, но по донесшемуся звуку за спиной понял: его стошнило.

Сморщившись похлеще «перекособоченной тляпки», смотрел на колышущуюся толщу дерьма.

Смерти нет.

Прошла минута или около того.

Она для слабаков. Я вдруг понял, что Муха не собирается выныривать, и закричал.

### *Аз, Буки Веди*

С кровати, на карачках по полу, дотянулся до тетради с рассказами. Сердце в горле — ни вздохнуть, ни закричать.

Каша мыслей, не каша — жижа, та самая, вязкая, как тряпина, с клочками туалетной бумаги...

— Я же написал, — бормочу, — Муха не должен был нырять.

Листаю все, что написал за последний месяц. Рассказы, мысли, сны... «Петрушкина азбука», — говорит бабушка.

Ищу историю про Серёгу и не могу найти.

— Быть этого не может! — страница за страницей мелкого почерка. И в мельтешении этом обрывки слов: ловитки, звезды, детство, пустота...

В затылок вернулась боль, постучалась, без приглашения прошла по спине, вернулась назад с разбега напрямиком в мозг.

Закипели мозги, теперь я знаю, как это. Перед глазами все потекло, размазались обои, книжные полки, тетрадь...

Пошел дождь, я смотрел сквозь стену воды. Дождь на ощупь теплый, маслянистый...

— Муха, — позвал, — ты вынырнул?.. Или я прыгнул следом за тобой?..

Прислушался — шум дождя.

— Нас спасли?..

В раскрытой тетради на листе в клетку слово. Я знаю — это то последнее слово, что произнес друг, но не могу прочитать его. Лист промок, буквы расплылись... На свете масса нужных, главных слов — мама, счастье, радость, дом, боженька, ... Это, должно быть, одно из них.

Я переберу все и найду то самое слово. Слово, которое вернет мне друга. Вернет треугольник детства, вернет лучшие времена!.. Вернет меня!.. Начинаю с самого начала. С буквы «а».

## Часть вторая

### ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА КЛАДБИЩЕ ЗВЕЗД

Запах жженой резины пьянит. Он протягивает руки к костру. Греется. Кольца стальной проволоки — все, что останется от шины, он часто натывается на эти мотки в новой части кладбища, путается, матерится про себя, изредка вслух, выбираясь из назойливо-приставучего хаоса.

Вид огня не успокаивает, как раз наоборот, напрягает, выводит из себя. А он все держит в себе и, даже выйдя из себя, остается молчаливым и печальным.

Лицо истинного могильщика. Печать холодного прикосновения того света. Особенно этот потусторонний свет хорошо виден в его глазах, если приглядеться. Только он отводит взгляд, всегда, не дает заглянуть туда, в глубь, в самое дно.

Жечь отработанные шины от машин после статьи в городской газете, озаглавленной «Черная копоть памяти», написанной некой Вией Тришкой, крайне опасно, и директор кладбища «Северный простор» намекнул, что делать это нежелательно:

— Но кто же знал, что зима нагрянет в начале октября, а жмурики перевыполнят план вдвое?! — пищит пупс-директор, размахивает кочерыжками-руками и напоминает Сергею кудахтающую курицу наседку, носящуюся в панике по курятнику в поисках неизвестности.

Директор грозит:

— Уволю эту журналистку к чертовой матери, у меня с редактором свои терки. И что это за имя Вия?.. И что за фамилия дурацкая? Бабу, видно, не дерет никто, вот она беснуется, пишет разгромные статьи. Наезжает на всех. Я поглядел, у нее что ни статейка, то мэра нагибает, то городскую администрацию... Сучка.

Могильщик Сергей не смотрит в глаза директорской курице, старый вышарканный линолеум на полу куда интересней жирной, лоснящейся физиономии.

— Говорю вам, увидите кого с фотоаппаратом, гоните в три шеи, — клокочет, — наплевать, что баба, эти журналисты — бесполье.

Убрал от огня руки Сергей, смотрит на белое пространство снега в редких кляксах ворон перед собой, и так до самой реки. Здесь он видел неделю назад человека с фотоаппаратом. Молодой парнишка помахал дружелюбно, щелкая затвором камеры и улыбаясь во все лицо. Улыбка кулаком по лицу и в грудь, в сердце.

Могильщик отвернулся, закрыл черной от копоти рукою лицо. Не глядя, поднял свободную, правую, руку махнул в ответ.

«Проваливай!»

Внизу живота больно сдавило, закрутило. Боясь, что наделает в штаны, Сергей обернулся с целью добратся как можно скорей до туалета, в крайнем случае, до ближайших деревьев, тут бесконечная улыбка резанула по глазам, до слез.

«До крови».

— Что тебе?! Здесь запрещено фотографировать! — прогудел Сергей, хватаясь за живот, — только с личного разрешения директора кладбища.

Улыбка стала еще больше, а потом могильщик не вспомнит, ни какие у юноши глаза, ни что он ответил... ничего, кроме этой ранящей, сияющей бесконечности...

— Псевдоним это, — вернулись глаза от белого безмолвия ранней зимы к рыжему, гудящему пламени, — могу поспорить на...

Замолчал на полуслове, взглянул на небо — нет неба, пустота серая, безжизненная. Ни птички, ни облачка... Самолеты и те не летают здесь, боятся.

Разговаривать с огнем проще, чем с людьми, шептаться с лесом, снегом, особенно падающим, с деревьями...

От них он не отводит глаз, смотрит прямо в огонь, как пузырится и чадит чернотой шина, проникает внутрь снежинки, туда, где иголки-кристаллики создают геометрический узор...

— Спорим на щелбан, это псевдоним, — Сергей поспорил со всем, что окружает, и с отсутствующим в этот октябрьский день небом поспорил.

Поежился, когда в ответ на его предложение за спиной каркнула ворона.

Спор принят.

Сцепив грязные, мозолистые ладони, могильщик разбил их подбородком с недельной щетиной, довольно шмыгнув носом, тут же достал из теплого нутра телогрейки смятую пачку сигарет. Руки дрожали, пока прикуривал, дрожали не от холода, щемящая тоска сильнее мороза сковала и потянула куда-то в пустоту по полям, где снег в черной копоти, и дальше, и дальше...

Первое время руки выламывала боль, ночами кости взывали к темным, сырým стенам, и он колотил по обоям с желанием стереть кожу, кирпич, хрящи... все вокруг... искрошить.

Раны долго не заживали. Некоторые зарубцует смерть.

Смерть, которая обходит его стороной... В которую он не верит.

Да и жизнь, его жизнь, вся из вспышек. Именно вспышки делают его существование значимым.

Улыбка незнакомца на кладбище — самая яркая вспышка за последние две недели.

Потрескивание огня и спор с самим собой — тоже вспышки, звездочки в ночи его бытия. Мысли — вспышки, образы, возникающие из ниоткуда. Из ниоткуда ли?.. У всего ведь должно быть объяснение...

Копание в себе не для него, он копает могилы, могилу за могилой, отвечая коротко, иногда мыча, на вопросы коллег по работе. Неразговорчивость и сделала Сергея Мухина через полгода сторожем кладбища, одним из двух ночных вахтеров.

Сперва он огорчился, ведь у него есть секрет, маленький, невинный. Как детство, в котором они прятали под кусок стекла конфетную обертку, жука, кра-

сивую картинку из журнала, закапывали и называли секретиком. Сейчас Сергей отсылает послания на тот свет. Задает вопросы, интересуется, ждет ответа.

Он пишет на листке бумаги пару слов, часто это даже не вопрос — просьба, руки всегда дрожат при этом, ручка не слушается, норовит выскочить, бумага липнет, и сердце, как ошалевшее, подпрыгивает к горлу. Затем превращает лист сложными манипуляциями в стиле японской техники оригами в восьмиконечную звезду.

Звезду с посланием могильщик спрячет, зароет в углу свежей, только выкопанной могилы.

И будет ждать. Он давно ждет. Всегда.

— Похоронил я себя здесь вместе с покойниками, — делится с огнем Сергей и не вздыхает, как должно человеку его судьбы и положения, докуривает до фильтра сигарету, метким щелчком отправляет бычок в никуда, — кладбищенский человек я, ищу жизнь среди мертвецов.

В это утро он разогревает землю для своей последней могилы. В кармане заготовлена еще с вечера бумажная звезда с просьбой. До часу ночи перечеркал с десятков, сотни просьб. Просьбу за просьбой, и во втором часу решил, что правильно написать так... Сложил непослушными пальцами лист и до двух часов ходил со звездой в ладонях по съемной однокомнатной квартире из кухни в зал, тем же маршрутом обратно...

Уснул с поделкой на груди, завалился, не раздеваясь, на скрипучий, старый диван, доставшийся, как и кухонная утварь, вместе с комнатой, и провалился в пустоту.

Пустые могилы — вот жизнь кладбищенского человека. Ему снится пустота, но он всегда знает, просыпаясь, что это была его пустота, пустота пустой могилы.

— Однажды я заполню это ничто, — говорит он себе, про себя, бывает, и на дню по несколько раз, — заполню собой.

По обыкновению, могилу копали двое, у него был напарник Васька Колотун. Васька все время трясся,

потому что страдал вечным похмельем. Лопата, кирка, лом в его руках выделяли такие кренделя — загля-  
денье, глаз не отведешь. Коллеги землекопы бросали  
свои могилы, только бы чуток взглянуть на виртуоз-  
ную работу Васьки.

Медленно, но уверено, вгрызались они в упрямую,  
добродушную землю — трясущийся Колотун и мол-  
чаливый (а кто-то считал его немым) Мухин. Но эту  
могилу, Сергей решил, будет копать один, да и Колотун  
в очередном запое:

— Когда пью, руки дрожать перестают, — клянется  
Васька, — твердые, как камень, а стоит день не про-  
спиртоваться, колотит, зуб на зуб не попадает.

Поэтому, услышав, как за спиной кто-то прокашлялся,  
Сергей, не оборачиваясь, поднял руку «приветствую».  
И подумал — чего вот приперся?.. Наверняка денег на  
боярышник занять, а еще пятихатку должен, не вернул.

Вспомнил про звезду в нагрудном кармане рубашки  
и сразу ощутил ее тепло, крохотный огонек под серд-  
цем, загорелась восьмиконечная, опустил глаза мо-  
гильщик и, правда, увидел светлое пятно на телогрейке  
в районе сердца.

Кашель повторился.

«Пьяный, видать, в усрачь, слово выдавить не мо-  
жет», — произносит глубоко в себе раздраженно Сер-  
гей и, скривив лицо «топорищем», повернулся.

Вспышка.

В его жизни нет места неожиданностям, разве что  
диарея прихватит вдруг и только. Вспышка фотоappa-  
рата и вспышка внутри его измученной души совпали,  
едва не сбив с ног в кострище.

Ослепленный, обезоруженный, одинокий...

«Если бы не рука, схватившая за ворот телогрейки,  
я бы зажегся в небе новой звездой, никому не нужной  
звездой», — мелькает в сознании могильщика, перед  
тем как грязно матюгнуться.

Он слышит тревожные извинения, сожаления... видит, как с лица молодого, худенького паренька сползает улыбка, испуг перекошил симпатичное личико, и могильщик жалеет, что так грубо выразился, могильщик думает: «Может, это к лучшему, упал в огонь, сгорел и получил ответ на все вопросы. Хотя бы на один».

— ... я не уйду, пока вы не разрешите мне хотя бы попробовать, — голос звонкий, дрожащий, слегка шепелявый, — или я напишу статью, — угрожает.

— Вия Тришка, — гулко басит могильщик, — псевдоним. Я выиграл.

Внештатный корреспондент еженедельника «Вечерняя среда» сделал вид, что не услышал, сказал:

— Это будет что-то вроде репортажа под рубрикой «проверено на себе».

Могильщик повторил, стараясь не смотреть в ясные, как звезды, глаза, и на удивление услышал:

— Допустим, вы правы, но вы никому это не расскажете. И я могу сказать почему со стопроцентной уверенностью.

Сергей Мухин давно не слышал такой уверенности, смелости в голосе, веры. Присел на прямоугольник волнового шифера. Шифер привезли с полгода назад для загадочных целей, так и бросили. Работники новой части кладбища приспособили его под обеденный стол, и в теплые дни за импровизированным столом собиралась вся кладбищенская рабсила.

Кивнул могильщик в ответ: «Ну-ну», достал сигарету, последняя. Протянул гостю. Молча. Гость молча взял и, тут же одумавшись, вернул:

— Я же это, не курю.

Мухин кивнул, закурил.

— Не подумайте только, раз у меня такой псевдоним, что я какой-то не такой, — протянул руку.

Могильщик, обтерев свою ладонь об штаны, с несмываемой, застывшей под ногтями и в порах вечной чернотой, принял рукопожатие.

— Семён, — представился парень с фотоаппаратом и бесконечной улыбкой, — это настоящее имя, не подумайте...

Сергей промычал неразборчиво.

— Все понятно с вами, — Семён сильнее сжал пальцы, крепко как мог, и привлек внимание могильщика, тот посмотрел в упор, белки глаз блестели, будто от слез, — у всех у нас есть свои тайны, не правда ли?..

Кивнул Сергей Мухин, не отвел взгляда, не моргнул, что-то в незваном госте притягивало...

«На меня чем-то походит...» — вглядывается в глаза внештатного корреспондента, и в сердце кольнуло острие звезды, той, что в кармане. Кольнуло раз — болью вспышка. Еще укол в сердце — и поползли кадры диафильма в сознании, замелькали...

Затылок налился расплавленным свинцом. Раскаленная, серебристая лава, как в детстве, выливая накопленные для стрел или шарики для рогатки, заполнила пустоту формы. Сергей часто ощущал этот свинец, сжигающий границы времени, и прошлое прорывалось...

— Кладбищенский человек, у него нет прошлого, — говорил он себе, убеждая себя. Но были вспышки, иногда особый, сладковато-пряный запах земли в могиле вызывал воспоминания, нечеткие, как на испорченных, старых фотографиях, возникали образы детства. Фрагменты забытой истории одного маленького человека.

Веснушки на серьезном лице и поезда, падающие звезды с привкусом пастилы и тряпичная кукла, похожая на Буратино, застряли в нем эхом. Еще на нечетких снимках памяти — комнаты, квадраты без окон, иногда в трещинах, через которые просачивалась тьма, с паутиной ржавых труб и земляными стенами, чаще комната, полная воды — мутной, мертвой...

Снимки засвечены, местами смяты, разорваны.

Вот крыша дома упирается коньком в небо, и двое мальчишек держат на вытянутых тонких руках сладкую вату из кучевых, кудрявых облаков.

На следующем кадре — тропинка разрезает лес на две ровные части, здесь у деревьев есть глаза, они следят за всеми на тропинке, смотрят на него из пыльных крон кипарисов, ветвистых сосен, смотрят из прошлого...

Кладбище, вечный спутник каждого человека и фотоальбома, появляется почти через каждые пару снимков. Могильные ограды, набитые незнакомыми людьми, пустые гробы и гробы с котами покойниками...

Вспышки воспоминания повторяют сны. Он записывает сны, хотя помнит каждый досконально, сны, как и вспышки, повторяются.

— Все повторяется, — повторяет Мухин всякий раз перед тетрадкой снов, и перечитывает всегда про себя написанное, едва шевеля губами:

— Уверен, что знаю эту женщину, она из детства, я в детстве, все вокруг очень ярко, красочно, я смотрю на мир глазами ребенка. Зеленая трава режет сетчатку, стекла и витрины обжигают до слез. Женщина и я — одни в городе посреди проезжей части. Машины стоят там, где застало их слово «замри», произнесенное небесами.

Люди не исчезли, понимаю, они растворились, стали песком у меня под ногами, прахом. Остались лишь двое на планете Земля: я и эта странная, непохожая ни на кого женщина с забавным именем. Если я вспомню ее имя и произнесу громко — мир оживет.

— Вспомнить имя! — призываю всевозможные силы и духов себе в помощь. — Имя?!

Это даже не имя, нет, позывной. Прозвище, кличка. Заклинание. Слово-обратка. Произнеси — и время пойдет вспять. Этой женщине подвластно время и вечность. У нее жирно подведены черным глаза и зеленые тени с блестками, помада цвета молодой моркови и румяна красным светофором. Она повелительница

хаоса. Богиня альтернативных существований и миров. Смотрит, пронзая, читая мысли, ей известно будущее.

Ни ветерка, ни запаха, ни движения вокруг нас. Мы стоим напротив друг друга в паре шагов, но между нами вечность.

— Назови меня, — шелестит в голове, — одно слово.

Я открываю рот и... Просыпаюсь. Заканчивает записывать сон мужчина. Оглядывается. Замечая, что делает так каждый раз, словно сон, запечатленный на бумаге, в силах изменить реальность.

— Черный час, — выскакивает словосочетание из неподвластных глубин разума. Шарик синей пасты черкает на листе, ровные линии превращаются в узкий прямоугольник, он закрашивает его дочерна, оставляет лишь белую тоненькую полоску в середине.

Такой же рисунок бессознательного могильщик карябает на черной, утопанной сотней подошв кладбищенской земле обломком от шифера, на котором сидит. В рисунок он выливает весь жидкий свинец из головы, представляет, как серебристые, раскаленные слезы текут из глаз на землю, плюхаются, сворачиваются ртутными шариками, застывают...

Семён говорит без остановки, и голос звенит в кладбищенском пространстве особым присутствием, Мухину нравится все происходящее, приятен голос этого весельчака с забавным женским псевдонимом, и запах, да, вот что вызвало вспышку, аромат молодой хвои с лимоном, дезодорант молодого гостя.

Запахи творят жизнь, наполняют тебя прошлым, вынуждают идти дальше, вперед...

Стало не по себе из-за грязных ногтей, Сергей оставил осколок, затушил об него бычок. Семён тем временем смотрел в сторону старого кладбища, размахивая руками, потом подошел вплитык, протянул руки, обнимая, повесил фотоаппарат могильщику на шею:

— Вот, посторожите, пока я покопаю.

Не дожидаясь ответа, Семён снял пуховик, положил рядом с новым знакомым. На месте костра очищенное пятно земли.

— Я решил, что помогу выкопать вам эту могилу, чего бы мне это ни стоило.

Мухин перехватывает взгляд корреспондента, в этой схватке взглядов не будет победителей, уверен, поэтому моргает — «приступай».

Ответное морганье вздернутых ресниц и улыбка со знаком бесконечность.

— Ваш секрет останется со мной, — заговорческим полусшепотом, — у всех свои тени под кроватью...

Уверенно хватает лопату, вонзает в черную землю:

— Какая податливая, — говорит, — будто сама открывает свои объятия...

— Объятия, — повторяет под нос Сергей.

Первая могила встретила его отнюдь не с распростертыми объятиями. Это сейчас на чумазом лице мелькнула улыбка, тогда, больше года назад, он рыл себе могилу — именно эта мысль закипала в бурлящем мозгу, стучала в изнемогающих, сжавшихся в кулачки легких, вытекала из раскрававленных шишек мозолей...

— Объятия.

Это не закончится никогда, вечно тут рыть себе могилу, истекая потом, кровью, слезами. Солнце выжигало, клеймило обнаженную кожу спины, в шею вцепился скорпион, жало пронзило затылок, и стоило пошевелить головой, яд боли растекался по всему телу отравленной, горячей кровью...

С каждой новой горстью земли, отброшенной в сторону, он стирал год из прошлой жизни, дорогие сердцу моменты ее, привычки, людей...

Сбился на восемьдесят седьмом, восемьдесят восьмом взмахе. Начал заново стирать стертое. Как по содранной коже, снова и снова, сбиваясь и начиная с нуля. Стирать до пустоты.

Он потерял сознание от солнечного удара или с непривычки... пролежал в яме почти час, пока его не нашел пьяный напарник Васька Колотун и сначала подумал, что Мухин отбросил коньки.

— Как есть отбросил, — будет рассказывать целый месяц Колотун кладбищенским обывателям, а пришлым, «не своим», привирать за стакан халявного алкоголя, будто видел, как у новой, не выкопанной согласно ГОСТу могилы стояло двое. Кому-то он скажет:

— Это были самые настоящие ангелы, каких мы привыкли видеть в кино или на картинках всяких. Молодые, с чистой белой кожей и золотистыми волосами юноши в белоснежных одеждах и с крыльями цвета солнца за спиной.

Кто-то же говорил, Колотун божился и клялся мамой, что двое были, как из фильма «Матрица» и «Люди в черном», — в длинных кожаных плащах и в темных очках.

— На самом деле, — откровенничал много месяцев спустя с Мухиным Вася, после того, как тот простил ему долг в полтинник, — я уделался по утру с Бухариным, но над тобой стопудово стояли двое.

Колотун икал, трясся, продолжал чистосердечное признание:

— Потом уже Бухарин насоветовал простых пацанов ангелами сделать, он это дело любит, ему вечно всякое божественное видится, Богородица и все такое.

Сергей слушал вполуха похмельного напарника, не верил ни одному слову, кивал по обыкновению, изредка тяжело вздыхая.

— Думаешь, с пьяных глаз мальчишки привиделись? Боярышник с портвейном помешал? Но они как живые стояли, один рыжий такой, будто собирался прыгать в яму, второй темненький, напуганный, руки стоял заламывал. Я подумал, это друзья, может, твои какие, помощники, только больно зеленые для могильщиков, а потом все пропало, но ощущения-то остались, и протрезвел

я как-то сразу: смотрю, ты в яме лежишь жмурик жмуриком... Не веришь, а ведь все так и было. Я же потом долго не мог это видение из головы выбросить, все размышлял о нем, думал, может, трансляцию какую перехватил, дыра временная открылась или пространственная...

Мухину знакомо это, особенно близко ощущение попадания в дыру. Искажение реальности, изгиб, где все становится ненужным, пустым. Лежа на спине в съемной однокомнатной квартире на первом этаже он научился вызывать это состояние. Дыру. Она возникала ни в потолке над ним, как ожидал, дыра появлялась в груди, открывала пустоту в нем.

— Я переполнен пустотой, — просовывал он руку внутрь себя, — и во мне, как и за мной, ничего, — рука исчезала, вскоре он становился одной сплошной дырой. Ничем. Сливался с пустотой.

Из пустоты был выход — сон.

Сны возникают из ничего и заполняют пустоту... Повторяющиеся сны — как спасение из небытия, как тот сон с женщиной на дороге в опустошенном, мертвом городе песка и праха. Имя спутницы — ключ к выходу, он произносит его и возвращается... В одном из спасительных снов он и увидел звезды. Карманные звезды.

Он нашел их на дне болота в старой, заброшенной части парка. С ним был еще такой же, как и он, мальчишка. Он звал его Грей. Им лет десять, они ловили головастиков, а обнаружили яркие, размером с детский кулачок, сверкающие всеми цветами на свете звезды.

В перине ила и зеленой тины мирно спали неземные «колючки».

— Золотобриллианты? — скороговоркой выпаливает Грей.

— Они живые, — шепчу, и тут же, на глазах, звезды пытаются зарыться в податливый, почти воздушный

ил, они дрожат, перемигиваются, как лампочки в цвe-  
томузыке, поднимая вокруг себя желтую муть.

— Ловим, а то уйдут! — бросается, не закатывая ру-  
кава, друг в воду, и я буквально ныряю следом за ним.

Мы побросали звезды на траву, здесь она примятая, и звезды нервно запрыгали, зазвенели, словно стеклян-  
ные, но стоило Грею прикрикнуть на них: а ну, тихо!  
Звездочки замерли, окаменели. Продолжая дышать ка-  
ждая своим цветом.

— Как думаешь, они с неба?

Грей мотнул плечами, откуда ему знать, он сказал:

— Они наши — это точно.

Я присел перед загадочной находкой, сейчас от звезд  
шло тепло.

— Поделим поровну, — сел Грей, — полосатая, чур,  
моя, — схватил он желто-красную звезду и не успел  
спрятать в карман вскрикнул: — Аущ! Она укусила!

Золотистая звезда сама потянулась ко мне и не уку-  
сила, слегка обожгла, устроившись удобно в ладони.

— Кусачие звезды, — друг отбросил желто-красную  
хищницу и двумя пальцами взял светло голубую, —  
если и эта цапнет...

Голубая звездочка лишь вздохнула, и Грей спрятал ее  
в карман.

Пятая звезда, фиолетовая в белую крапинку меня  
ужалила небожно, так, слегка. Грею же до крови уку-  
сила ярко-зеленая, восьмиконечная осминожка.

— Кусают, значит, любят, — бурчал.

Полные карманы звезд раздулись пузырями, сияли  
радугой и приятно грели ноги.

— Ночью отпустим вас в небо, — приговаривал, по-  
глаживая карманы, — если что, сами вернетесь к нам,  
когда нужны будете.

— Вдруг не вернутся?!

— Вернутся! — я был в этом уверен!

Звездочки весело бренчали и шушукались между собой. Желто-красная в моих руках вела себя тихо, переливалась и щекотала невидимыми ресничками.

— Я знаю, ты точно вернешься, — шептал я, — кусачие звезды самые верные.

Перечитывал сон, бывало, несколько раз в день, поутру, обязательно ночью перед сном, Сергей верил, этот сон делает его светлее, и пространство вокруг него освещается светом десятков спасенных им звездочек.

Руки сами нашли лист, сложили в звездочку.

Весь день до позднего вечера Мухин ходил с самоделькой по съемной квартире, а ближе к полуночи придумал первое послание на тот свет.

— Даже не думал, что смогу столько нарыть, — обдало могильщика звездной теплотой и цитрусовым ароматом, — вы, я знаю, один роете могилу за пару часов, без помощника.

Мухин выбирается из паутины полудремы, перед ним улыбка до ушей, горящие глаза, шапка на макушке, мокрые от пота волосы прилипли ко лбу гитлеровским чубом.

— Не хило, а?.. — отступил, демонстрируя растопленную от снега площадку и ровнехонький прямоугольник могилы, — по колено выкопал.

Семён сложил ладони лодочкой, подул в них. Могильщик успел заметить багровые шишки, которые завтра превратятся в болезненные мозоли, не задумываясь, достал рукавицы из карманов телогрейки, протянул напарнику. Семён не успел их взять, Мухин подскочил, будто укушенный звездой, взял лопату, прогудел:

— Давай я, отдохни.

Электромуха — за глаза звали Сергея коллеги землекопы, а все из-за способности копать без остановки

долгое время, используя одну лишь лопату, в то время как соседнюю могилу выпиливали бензопилой...

Мухин погружался в транс, в черную дыру, с каждым сантиметром опускаясь в новую могилу. Иной раз и перекапывал установленные стандарты.

Стоило лишь взяться за черенок штыковой лопаты, и кладбище складывалось бумажным листом...

Директор кладбища «Северный простор» любит повторять:

— Кладбище меня позвало, и это теперь профессия всей моей жизни.

Врет как дышит, считает Сергей, хотя его самого «просторы» как раз-таки позвали.

Город встретил гостя духотой, небо в серой дымке пожаров, горела тайга, воздух напряжен, раскален, обездвижен.

В трамвае вместе с объявлением остановок вдруг услышал:

— Ты мужчина в рассвете лет и сил, выносливый, не боишься трудностей?! Некрополь «Северный простор» примет тебя на работу на выгодных для тебя условиях.

Сергей не старался запомнить номер телефона, цифры назойливо вертелись в голове, встречали в мысленный монолог, мешали думать.

Он позвонил после обеда и уже на следующий день был оформлен землекопом.

— Могильщики не шибко любят это слово — могильщик, а землекоп — самое-то, — разъяснял пупс-директор, он не открыл паспорт нового работника, записал в толстой, выдавшей виды канцелярской тетради его ФИО. Пупс так и спросил:

— ФИО?

— Фамилия? Мухин, имя Сергей.

Этого пупсу оказалось достаточно, он сказал — добро пожаловать, и позвал напарника Василия.

На вопрос Колотуна: «Какими судьбами?» — Мухин отвечал словами директора, но в отличие от него ни-сколечко не привирая:

— Кладбище меня позвало.

Колотун беззубо щерился:

— Прямо вот так и позвало?..

Кивал Сергей:

— Кладбище, ага, из радио в трамвае ко мне прямо и обратилось...

Такой ответ Ваську устраивал, у него большой опыт, как оказалось, общения через радио с инопланетными обитателями...

Придурь Колотуна и притянула Мухина. Васька запросто, например, мог рассказать, как утром, собираясь на работу, слышал космические звуки из неработающего телевизора:

— Сто лет не пашущий телик вдруг принимает сигналы с Альфы Центавра, — на полном серьезе говорит подвыпивший Колотун, — а я не дурак, стакан граненый к уху подставил и сразу все понял, о чем речь.

Инопланетяне, по словам Васьки, уже давно на Земле, они проникают в человека с помощью болезни, той же простуды, и остаются в организме до полного прекращения жизнедеятельности. Они меняют код, и мы уже живем не своей жизнью, не своим сознанием, а взезным. И одно есть всего лишь лекарство от порабощения инопланетного — это алкоголь.

— Чем ядреней, тем лучше, — поясняет специалист по космическим внедрениям. — Боярышник, стекло-рез и лосьоны всяческие... Водка и крепкое пиво на худой конец.

Если спрашивали про вино, специалист хмурился:

— Крепленое если только, портвейн, да паленый чтоб был.

Иисус — пример полного инопланетного перерождения. А все потому, что вино пил и не злоупотреблял.

— А в нашем мире без злоупотреблений никак нельзя. Быстро рабом сделают не инопланетные, так земные властители.

Злоупотребляй, чтобы не употребили тебя! — лозунг Колотуна.

Как-то в первый месяц знакомства Мухин по пьянствовал в компании Васьки пару дней, больше не смог, не выдержал ни он, ни печень...

В алкогольном бреду прошлое приобретало угрожающие, огромные формы. Чудовища — воспоминания вырывались из клеток и громили, рвали в клочья настоящее, душу, сердце... Разбавленный спирт справлялся с космическими пришельцами и был бесполезен в борьбе с прошлым.

Спирт усугублял, трансформировал...

Сорокоградусная правда взрывала мозг, плавилась...

Время меняло ход. Время останавливалось, замирало. Сергей просыпался на полу в комнате общежития день за днем, застрявший в одном, восьмом дне недели. Или же очухивался в бетонном квадрате, где с потолка и по стенам бежит вода, потом все становится дождем, и он теряется в дожде, исчезает.

— ФИО? — требует голос.

Он не помнит своего имени, не помнит фамилию. Это все дождь, вода, это их вина, что ему не вспомнить, кто он. Вода стерла память, смыла прошлое...

— Как твое имя?! — грохочет над ним все тот же грозный, повелительный баритон.

Мотает головой, не знает.

— Может, Игорь? — предполагает тихо, почти про себя. — А, нет, нет, не Игорь, Стас, Станислав...

Водяная гладь становится зеркальной.

— Илья? Владислав? Виктор? Григорий?

У него нет лица, только отражение. Розовое пятно с нечеткими, смазанными очертаниями.

— Тимофей? Александр? Михаил?..

Губы, две кривые полоски, раздвигаются:

— Родион? Василий? Николай?..

Из кошмара его выдергивает собутыльник Колотун:

— Да Серёга ты! Сергей, очнись, бля! Какого ты потерялся-то?! Имя свое вспомнить не можешь, епть. — Васька Колотун тянет его за руку, стараясь поднять с пола. — Похитили тебя инопланетные, я так скажу.

Мухин встает на ноги. Мотает больной головой все сильнее и сильнее:

— Нет, нет, нет!.. — мельтешит перед глазами лицо Колотуна, мельтешит комната, — нет, нет, нет... Не мое это имя! Не мое!

Лопату Семён выхватил у могильщика с третьей попытки:

— Вы как Терминатор какой-то, — раздражение и злость в голосе, — или это такой способ себя угробить?

Мухин не сразу понял, где он, с кем, и что стоит по пояс в могиле. Кроваво-фиолетовое лицо горит, горят обожженные ладони, все внутри требует хоть капли воды. Из горла свист и хрип, он хватается ртом холодный воздух, пьет его и никак не напьется.

— Выпейте, — пластиковая литровая бутылка минералки ткнулась в нос Сергея.

— Имя, — выдыхает могильщик, — уф, имя... — делает три глотка.

Внештатный корреспондент не улыбается, смотрит, насупившись, в упор:

— Пробудились старыетени, — протянул руку Семён, — я наблюдал за вами, вы, как зомби, копаете, ничего не слышите, не реагируете ни на что, бормочите себе...

Сергей ухватил ладонь, выбрался из могилы, сплюнул. Небо ожило. Черные кляксы птиц расчерчивали серый лист неба. Солнце? Мухин задрал голову до хруста в шее, поискал светило. Не нашел.

— Без солнца как-то кастрировано всё, так ведь?..

Сделав еще пару глотков, Сергей вернул бутылку:

— Спасибо, — прокашлялся, и заговорил, не веря самому себе, — ты хорошо это сказал — про кастрацию, — хмыкнул. Посмотрел снова на небо, поискал солнце, — лучше и не скажешь. Я всегда думал, как это назвать, и вот подсказка. Находка.

Семён спрыгнул в могилу:

— Вся наша жизнь — поиск нужных слов. Точных. Сказать, как отрезать!

Мухин искал по карманам сигареты, вспомнил, что не взял новую пачку, оставил на кухонном столе. У сердца бумажная звездочка кольнула теплотой.

— Жизнь состоит из слов, даже больше, чем из поступков, — нашел провалившуюся в подкладку телогрейки подушечку жевательной резинки, — если бы все мы говорили нужные слова в нужный момент, жизнь была бы иной, — жвачка отправилась в рот, — лучше в сотни раз. Ни войн, ни преступлений... Счастье — это ведь вовремя сказанное слово, нужное и к месту. То же самое с любовью, любовь — это слова, нашедшие друг друга, подошедшие друг другу, составившие одно предложение. Так и пишется книга любви и книга жизни, слово за словом... Только вот пока мы все не те слова подбираем. Какие-то пустые, тихие. Неправильные... Косноязычные. Боимся громких слов, как и громких чувств. А надо не шептать, надо кричать во все горло, во всеуслышание. Орать и не бояться быть услышанными. Непонятыми. Важно — крикнуть одному. Начать — и закричат тысячи, миллионы...

Речь могильщика прервал птичий крик в небе. Вороны затеяли склоку с сороками прямо над ними. Тараня друг друга, птицы удалились в глубь кладбища, оставив после себя еще долго парить в небе черточки-перья.

— А я думал, вы молчун, — донеслось из ямы, — а вы философ, могильщик-философ — тоже находка, согласитесь... Можно мне про вас написать?

— Землекопы, так менее обидно, — сказал Сергей, — мне так-то могильщик больше нравится, но другие... Это если статью соберешься писать.

— Знаю, и что лом карандашом зовете, так что — можно про вас?..

Покачал головой Мухин:

— Нечего про меня писать, пусто все, и слова пустые. Поинтересней есть обитатели ... Колотун — так вообще находка для журналиста вроде тебя.

Поморщился Семён, потер нос, Мухин увидел на нем свои рукавицы, обрадовался до откровенной улыбки. Показалось, что на секунду из серости выглянуло солнце.

— Знаю я находку эту вашу, — Семён постучал рукой по шее, — было время, он к ответсеку нашему ходил, все истории рассказывал про космические субстанции и инопланетный захват. Вы знали, что он считает, будто его инопланетяне похитили в детстве?..

Сергей не припоминал.

— В десять лет его забрали прямо из кровати, сквозь крышу, с помощью зеленого луча, и провели опыт. Опыт он не запомнил, а, вернувшись, стал слышать в неработающих радио — и телеприборах звуки из космоса. Переговоры инопланетных существ, — корреспондент помахал небу, — хе-хеу, верю, что там кто-то есть и наблюдает.

Мухин увидел только пустынное, открытое небо, но с трудом сдержался, чтобы не помахать следом, спрятав обе руки в карманы.

— Статью из серии хотите — верьте, хотите — нет, ответсек накатал, но в печать она не попала. — Семён подтянул рукавицы. — Ничего в этом Колотуне особенного и примечательного нет, пьяное трепло, — закончил, вонзив лопату.

Ментоловая резинка, голос чистый, такой знакомый, спокойствие и умиротворенность кладбища и души, мужчина облокотился на шифер, закрыл глаза.

Может быть, это он и выпрашивал в своих посланиях на тот свет? Именно вот это состояние? Здесь не надо искать ответы, заполнять пустоту... Состояние покоя, тишины внутренней и внешней. Остановить время в этом моменте. Замереть...

— Замри, — шепнул Сергей.

Занесенная лопата повисла над головой Семёна, оброненные крупницы земли застыли в воздухе. Птицы в небе отпечатались китайскими иероглифами, ветер застрял в порах на лице...

Глаза открывал так медленно, насколько мог, проглотив дыхание, остановив сердце. На секунду показалось, все так и есть, послушно замерло время и природа. Мухин моргнул, мир ожил.

— Черт! — Ветер шлепнул по щеке. Каркнула где-то за спиной ворона. Парень выглянул из свежей могилы, вытер пот со лба, спросил:

— Что? Что-то не так?..

Семён снял шапку, кудрявые, непослушные волосы торчком во все стороны, подставил раскрасневшееся лицо ветру, дышал всей грудью и не мог надышаться, громко, аппетитно...

— Шапку, говорю, надень, — расстроено произнес могильщик, в области души надеясь, что мир изменился за тот онемевший миг.

— Ага, — послушался Семён и вернулся к лопате.

«Моя очередь, — подумал Сергей, — не дай Бог надорвется творчество, они же из другого теста, завтра с кровати не встанет, так все болеть будет». Шагнул к могиле, а следующий шаг сделал в жаркое лето на много лет назад.

Первое, что почувствовал Мухин, — другой воздух, вкусный, с оттенком мятной карамели и барбариса. И стрекотание кузнечиков. Солнце жгло, и земля у вырытой прямоугольной ямы цвета этого самого солнца — песочно-желтая.

Он босой ребенок, лет десять, может, больше. В яме кто-то хорошо знакомый пыхтит, выгребая землю руками, говорит:

— Карту надо спрятать, чтобы не потерять. Ко всему нужны карты. Карта, чтоб найти эту карту... Карта, чтобы найти тебя, найти меня, найти самого себя...

Возле уха жужжит жирный, полосатый, черно-желтый шмель, из ямы доносится крик, это зовут его, зовут по имени. Отмахивается от насекомого, делает шаг назад. В ладони острая боль ожогом — укус. Еще шаг назад — и вот он, снежный октябрь, с неизменной серостью, небо потемнело, небо готовило очередной сюрприз.

Из могилы вылетела горсть земли, приправленная словами песни:

— Трали-вали крыша, где ты будешь завтра?

Да где ты будешь завтра, тута или тама?

Хали-гали-Кришна, хали-гали-Рама.

Мухин стянул вязаную засаленную шапку, помассировал ею затылок. Хмыкнул. Ни намек на боль, никакого тебе плавящегося свинца. Для проверки дал себе подзатыльник.

— Уф, — выдох облегчения, почти счастья.

А в могиле целый концерт с пристуком и присвистом:

— Но я могу найти то, что смог потерять,

Мне не нужно крыльев, чтобы летать -

Хорошая крыша летает сама

И в самый низ, и в самые верха...

Внештатный корреспондент «Вечерней среды» чувствовал себя в могиле как в своей тарелке, будто занимался копанием могил всю свою, еще не совсем взрослую, жизнь. Ловко пританцовывая, загребал полный ковш лопаты, отбрасывал землю через себя. Улыбался, напевая:

— Хали-гали-Кришна, хали-гали-Рама,

Трали-вали крыша, где ты будешь завтра?

— Давай, Халигали, моя очередь, — Мухин натянул шапку на глаза, — обед уже прошел, но у меня есть бутерброды, в сумке за шифером, возьми. Я туда и фотик твой положил...

Семён кивнул, яма была ему почти по шею, выбросил сначала лопату, снял рукавицы и протянул руку, чтобы Сергей помог выбраться:

— Невероятно, но могила будто бы сама хочет, чтобы ее вырыли, — затараторил, — земля разве что сама в лопату не запрыгивает.

— Землязнает, кому открываться, сердцетвое видит, — не успел подать руку Мухин, небо над кладбищем лопнуло ледяным ливнем.

Могильщик среагировал молниеносно, в руках у Семёна в считанные секунды оказалась сумка, фотоаппарат и куртка. Сергей с легкостью стащил верхний лист шифера, подтащив к яме, спрыгнул в нее.

— Задвигай! — скомандовал.

Семён присел на корточки, потащил шифер на себя, отрезая дождь, свет, мир живых.

Расположились каждый в своем углу могилы. Посредине Мухин соорудил из своего рюкзака что-то вроде стола.

— Долбаный прогноз погоды, — ворчал Сергей, — сроду не слушал, а сегодня с утра, надо же, послушал.

Он выложил на целлофановый пакет четыре бутерброда с салом. Во главу стола водрузил минералку.

Семён растерянно, молча рассматривал потолок над головой. Лист шифера, полностью укрывший их от стихии, почти не пропускал свет. Источник света, корреспондент сосчитал, это четыре дыры с пятирублевую монету и восемь с пятидесятикопеечную.

Дождь бабахал кулаком, пытаясь достать беглецов.

— Запах, — шепотом, словно чтобы дождь не слышал, начал Семён, — земля иначе пахла там, наверху.

Глаза привыкали к мраку, уже различимы черты лица сидящего и жующего напротив могильщика, корни, торчащие со стен...

— Так мы наполовину уже там, — довольно откусил кусок бутерброда Мухин, — а тут — это тебе не там. Здесь все иначе.

Кивнул Семён:

— Там, это про тот свет вы? Думаете, живые, находящиеся в могиле, находятся в ином, в каком-то другом, измененном состоянии?..

— Ага, — проглотил собеседник, — ты скоро сам это почувствуешь, — и вложил в ладонь нового знакомого самый толстый кусок хлеба.

— Спасибо, — если бы было больше света, Сергей увидел бы, как зардел, стесняясь, Семён, — просто как-то странно есть в могиле.

— Все в жизни странно, если задуматься.

— Я на кладбище, помню, в детстве не мог ничего съесть, — кусает Семён, — бабушка яйцо насильно, было дело, запихивала...

Вспышка.

Могильщик зажмурился, прижался к земляной стене. Голос соседа по могиле издали еле слышен:

— Вкус другой, не то чтобы мертвый, нет, иной, хотя, конечно, это все психика, не более. Игры подсознания...

Мухин раздвоился — сидел в могиле напротив парня из газеты и бежал вприпрыжку двенадцатилетним мальчишкой с пустым ведром к кладбищенской бочке с водой для поливки.

— Курорт, мы называли кладбище курортом, — тихим голосом, вспоминая, говорит землекоп и слышит в ответ:

— Прикольно, и звучит заманчиво, а то кладбище — такое отталкивающее слово.

Мужчина слышит барабанную дробь — это он, мальчишка, специально стучит по ведру, распугивая тени, сгущающиеся после полудня за оградами могил и в кипарисах. Он бежит за водой по узким тропинкам кладбища летом, во времена бессмертия, во времена Вечности... Стук проносится сквозь время, года, десятки

лет, он слышит его здесь, в свежевыкопанной могиле. Ему почти за сорок, он одинок (одинок ли?), снимает квартиру в поселке «Кирпичный», работает землекопом в некрополе «Северный простор», хобби — записывать сны и хоронить в каждой выкопанной могиле звезды-послания на тот свет. Мечта — заполнить пустоту собой.

Вернувшаяся боль в затылке отдавала шепотом в уши. Противный, шипящий: «Это все ненастоящее, все пустое, как эта новая могила. Все придуманное, искусственное. Ложь... Ложь на лжи! Ты — двуногое кладбище! Ты — пустая могила! Ты — это не ты-ы-ы!..»

Тарабание пустого ведра, дождем по шиферной крыше могилы. Мухин хочет улыбнуться, видя, как испуганно смотрит на него Семён, но боль вынудила зажмуриться и до скрипа сжать зубы.

«Лжец! — вырвался голос из головы. — Все ложь!»

Могильщик зажал голову между колен, закрылся руками.

Стены могилы сомкнулись, Мухин попал в сон, вернулся в опустевший город мертвецов, где из живых лишь он и женщина — повелительница времени и иных миров. Вспомнив ее имя (даже не имя, прозвище, позывной...), он сможет оживить город.

Слово, всему виной всегда одно лишь слово. Слова. Как и спасение в них же. Одно слово — и мир спасен.

— Назови меня...

Голова обращается в свинцовый раскаленный шар.

Дорога, на которой они стоят, закипает перед глазами, ярко раскрашенное лицо женщины пузырится, вспыхивает синим пламенем, и он называет ее:

— Ау, — сначала ели слышно, потом громче, — ау.

И, наконец, кричит так, что взрывает сон и стены могилы:

— А-а-а-у-у!

— Все из-за замкнутого пространства, — голос улыбающегося подростка, — все из-за могилы, это измененное состояние.

Семён трясет его за плечи обеими руками:

— Вам надо взять себя в руки, слышите... — и как продолжение сна, вспышкой имя: — Пётр?!

Голова-шар разлетается на миллионы свинцовых шариков.

Все, что замерло, отмерло. Сотни вспышек слились в один огромный вселенский взрыв — миг просветления.

Вот оно имя разблокировки, пароль к выходу.

Могильщик убрал руки, выпрямился, в голове еще звенит эхо крика — ау...

— Могила меняет людей, заземляет, — улыбается Семён, — только в могиле вскрывается вся правда, — и засовывает остатки бутерброда в рот.

Дождь стучит по шиферу, в углах могилы подтекает, у мужчины намокли штаны.

— Чем глубже ты в земле, тем честней перед самим собой, — жует, — да и вы, как мне кажется, сами искали ответ на свой вопрос... Выкопали себе могилу и похоронили себя в ней живьем, мне это приснилось, а я привык доверять снам, чутью, так сказать. После сна я и решил узнать про вас все, что смогу. И узнал...

Со стороны сердца зажгло, резко и больно. Могильщик вспомнил про звезду. Посмотрел на грудь. Звезда зажглась красным светом, прожгла в нем дыру. Та самая кусачая звезда — выстрелило в мозг, и пришла тишина.

В жизни человеческой нет места тишине. Ее и невозможно услышать — чистую, истинную, незапятнанную тишину без примесей. Безмолвие — удел мертвых.

Первые дни на кладбище он искал такую тишину. Но в самом глухом месте некрополя, на дне могилы он все равно слышал присутствие жизни. В своих первых посланиях он спрашивал об этом — как там? Быть может, и там, за чертой жизни, нет места тишине?.. Как и нет смерти?..

Смерти нет. Она для слабаков.

Что-то да остается, после того, как ушел.

Звезда, та, что выжгла сердце и поселилась вместо органа жизни, вдруг стала расти — заполнила всего его, наполнила могилу...

Звезда рвалась на свободу, в небо, домой.

— Домой, — слышит Семён и снова бьет потерявшего сознание землекопа по лицу.

— Истина сделает вас свободным, — библейски говорит он, и третья пощечина приводит могильщика в чувство.

— Сегодня у вас особенный день. Такой, что бывает раз в жизни и на всю жизнь.

Из нагрудного кармана неМухин вынул поспешно бумажную самоделку — звезду.

Что бы там ни узнал про него журналист, это тайна только лишь его.

— Как вы себя чувствуете? Честно, я подумал, что у вас сердечный приступ, или инсульт, а потом вы заговорили...

— Да, — заговорил сосед другой половины могилы, — у меня с детства такое что-то... Луначу я... Лунатик. Правда, сто лет уже ничего, ни намека... А сегодня... В этой могиле...

— Если вы переживаете из-за того, что я открою ваш секрет, не волнуйтесь. Я — могила, — сказал и рассмеялся Семён, — могу продолжать звать вас Сергеем, это у меня с испугу вырвалось настоящее...

Мужчина замотал головой:

— Я сам устал от этой путаницы. Давай уже начистоту, как есть.

— То есть Пётр?

Пётр не ответил. Развернул послание-звезду.

— Сначала я подумал, вы живое подтверждение инопланетной теории о подмене Колотуна, потом, что неудачный псевдоним, — профессионально быстро, четко проговаривая каждую букву, начал Семён, — но вспомнил сон и пришел к выводу, и считаю его верным, что вы доживаете, вернее, проживаете чью-то

чужую жизнь. Близкого вам человека, друга, скажем, или родственника... Словом, вы как-то связаны с ним. Он ушел, а вы остались и решили жить, так, как жил бы тот, кто... Вы взяли его имя и фамилию, стали воплощать его мечты, может, сделали такую татуировку, как у него, переняли привычки, научились играть, как он, на гитаре, к примеру, или занялись бегом...

Речь собрата по могиле, сомогильщика, Пётр слушал не перебивая, со всем соглашаясь, слегка кивая. Отдавая должное прекрасно расписанному сценарию его жизни. Семён рассказал даже про сны, что пытались напомнить о прошлом, о том, как он старательно забывал все, что было, выращивая в себе ушедшего Сергея Мухина...

— Чувство вины — или же вы как-то причастны — в том, что Мухина не стало в вашей жизни, жизни в целом... и вот вы бросаете свою работу и устраиваетесь на непривычную мухинскую работу могильщиком. Начинаете курить, как курил Сергей, и не хотите ничего знать, слышать, хоть как-то соприкоснуться с жизнью Петра Алтаева. Вы — Сергей Мухин и точка. Но вычеркнуть прошлое невозможно, не в наших силах и власти. Сны, воспоминания, мысли, слова, запахи... снова и снова тянут вас в прошлое, будят настоящее...

Голос звучит под землей грозно, будто приговор. Пётр замер, как в детстве, играя в «море волнуется раз», и кто-то, вероятней всего Серёга Муха, загадал загробную фигуру:

— Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, загробная фигура на месте замри!

Маленький Петя, Петрушка, как называли его даже учителя, выпрямился в струнку, скрестил руки на груди, замер, закрыв глаза.

Его не оживили. Водящий не коснулся Петруши, он так и стоит там, посреди треугольника — излюбленного места поселковой детворы, в ожидании одного слова, одного прикосновения. Стоит, приняв загробную фигуру, на его взгляд, самую верную, а вокруг продолжается жизнь.

Пожалуйста, вернись!

Просьба-послание на развернутом листе. За год с лишним он не раз просил у того света возвращений.

— Похоже, в загробном мире меня услышали, — свернул лист по линиям обратно в звезду, — ты — их ответ.

Не понимая, о чем речь, Семён улыбнулся, его девиз по жизни — «влюбой непонятной, сложной ситуации — улыбайся».

— Для меня это кладбище звезд. Когда хоронишь свои мечты, рассказанные бумаге, проще воспринимать все это невыносимое: горе, потери, страхи, боль... Звездочки-самоделки вместо людей, и кладбище становится не таким тяжелым, мертвым...

— Это вы придумали с Мухиным?

Мужчины смотрят друг другу в глаза, сидя в сырой могиле напротив друг друга, а над ними, в полутора метрах продолжается другая жизнь. Время в могиле замерло. И ручейки дождевой воды больше не вычерчивают слезные стрелки по углам, песок не сыпется со щупальцев торчащих корней...

— Да, кажется, это его была идея, много, много лет назад, лет в двенадцать, да.

Между ними больше нет импровизированного стола, Семён убрал оставшийся бутерброд в пакет, пакет сунул в рюкзак и отодвинул рюкзак к стене. Стало просторней, корреспондент вытянул ноги, слушал.

Пётр возвращал то, что так пытался забыть.

Воспоминания — обрывочные, нечеткие, запутывали сновидения. Смешивались, трансформировались... Пётр хорошо помнит, как они искали чудовище, убийцу детей, патрулировали парк от дороги до школы и как-то в дождь наткнулись на полицейского со звериным взглядом.

— Я делал наброски, рисовал по памяти, ничего не выходило, словно встретили призрака. И все, что запомнили — нечеловеческие глаза, — вздохнул Пётр, — они мне

снят, и все время эти глаза у разных людей, как-то при-  
снилась классная руководительница с глазами чудовища...

— Убийцу нашли?

Пётр пожал плечами:

— Ох уж эта память, — снова глубоко и тоскливо  
вдохнул, — в своих фантазиях подростка я, мы с друзь-  
ями, нас было пятеро, выслеживали монстра. Убивали.  
Я придумал такое супероружие, стреляющие цветы, —  
мужчина улыбнулся, хмыкнул, — забавно, не думал, что  
когда-нибудь это вспомню.

— Могила творит чудеса, — пошутил Семён, — я вот  
тоже не предполагал, что проведу день в могиле.

— Угу, — Пётр осмотрел крышу над головой, — дождь  
сближает землю с небом.

— Заземляет, — хихикнул корреспондент, — так что  
с этим маньяком?..

— Да, — взгляд вернулся в сумрак могилы, — мы его,  
конечно, не нашли. Мечты зачастую так и остаются  
мечтами.

В этот раз вздох был с надрывом, сотканный из боли  
и слез:

— Он нашел нас, — сказал и отвернулся, уставился  
в земляную стену, — не могу точно на все сто процен-  
тов сказать, что было потом реальностью, а что при-  
снилось... Мне и сейчас кажется, что я сплю, что вся  
моя жизнь — это чей-то сон. Может, я остался где-то  
на грани сна и реальности? Бабуля всегда пугала, что  
лунатик может остаться в таком мире лунатиков, не  
вернуться в бытие из этого сомнамбулического состо-  
яния, застрять и... — повернулся, посмотрел на собе-  
седника, — и ты подумай, может быть, и ты в этом мире  
лунатиков. В реальной жизни разве можно сидеть, ве-  
сти милую беседу в свежевыкопанной могиле, в кото-  
рой через неделю похоронят чье-то тело?..

Пришла очередь Семёна пожимать плечами:

— Получается, все мы живем в этом мире. Может,  
и нет никакого другого, только этот, лунатический...

Возникшее молчание разбавлял размеренный стук непрекращающегося дождя. «Так стучит сердце неба», — думает Пётр, и кажется ему, он слышит не только свое сердце, но и голос сердца соседа — волнующий, тревожный. А еще, что все — это место, яма, могила — это сердце кладбища, кладбища звезд. В детстве они зажигали такие земные звезды — бросали вызов небу. Огоньки подоженных от костра палок разбивали мрак ночи, освещали детство, юные, безумные сердца.

— Миром правят лунатики, — задумчиво произнес Семён.

— Скорей, чудовища правят, — очнулся Пётр, — у лунатиков слишком хрупкая натура.

В могиле громыхнули раскаты пятой симфонии Бетховена, Мужчины вздрогнули как один.

Семён полез в перепачканные джинсы. Симфония смолкла.

— Мир живых напоминает, что он еще существует, — прокомментировал Пётр.

— Будильник, — извиняющимся тоном, — живет своей жизнью, звонит, когда вздумается, и никогда в заведенное время.

— И сколько сейчас?..

— Шесть, вроде бы, семь... Я не посмотрел, если честно, разве сейчас время имеет значение?..

«У меня со временем свои счеты», — подумал Пётр, а сказал:

— С возрастом понимаешь, что оно существует, это самое время... в детстве его просто нет. Вернее, оно тебе подвластно, с годами ты подвластен ему.

— Но мы же сейчас остановили время, — твердый, уверенный голос корреспондента.

Не ответил Пётр, да и не было у него ответа. Существуют вопросы, на которые не нужен ответ. Вопросы без ответов. Вопросы в Вечность.

— Мухин Сергей стал жертвой маньяка, — это был скорей ответ, чем вопрос. Семён собрался сказать, что ему очень жаль, и что он поймет, если Пётр откажется ворошить прошлое.

Пётр перебил, сказал:

— Дождь, мне постоянно тогда снился дождь, стены воды, ни конца, ни края, сплошь водяные потоки. Помню, бетонные стены без окон, свет от каких-то невидимых ламп, тускло, сумрачно. Я узнаю это место. Туалетный домик в парке. Бетонные блоки с обжигающими красными буквами «М» и «Ж» и такими же дверями. Красный цвет смерти. И ведь все время нас преследовал дождь, словно небо знало и заранее оплакивало... Мухин, Муха, из тех, кого называют трудными подростками. Непослушный, своенравный, у него всегда было свое мнение, в отличие от нас. Смелый. Он догнал меня у самого туалета, и я знаю, что, если бы не он, если бы не Муха... — Пётр осмотрелся, будто искал подмогу, или пытался обнаружить что-то потерянное, — мы, получается, сбежали с уроков, с последнего. Зачем мы свернули к бетонному домику, не знаю. Я захотел в туалет, вроде так все было. На удивление, опечатанная полицией дверь в мужском отделении была открыта, железная такая, раньше после первого случая с растерзанным мальчиком, на ней весел амбарный ржавый замок, а тут нараспашку.

«Растерзанный», — зацепилось слово в голове Семёна, он хотел бы уточнить, разобраться, что это значит?.. Как?.. Не стал перебивать. Старался не издавать ни звука, не дышать.

— Почему я оказался на улице, а Муха внутри? Все, как во сне. Вот я захожу внутрь, свет мигает, с труб на потолке капает, по стенам течет вода... Мне надо по-маленькому, я делаю свое дело, и вот я уже стою перед дверью. Пинаю ее, кричу, зову на помощь, в парке, на аллее ни души. Тут дверь сбивает меня с ног,

разбивает в кровь нос, я лечу спиной на асфальт и ничего сначала не вижу перед собой — туман боли... Ползу к туалету, все так же, как во сне, медленней медленнее, заторможенно, и вижу: белые кроссовки с пятнами крови, вижу спортивные штаны, заправленные в черные носки, дальше туман. Кроссовки потоптались возле моего лица, оставили кровавые отпечатки подошвы елочкой, исчезли. Я думаю, это из-за моего лунатизма все эти провалы, или же от удара дверью... Картинки сменялись, как кадры диафильма, следующее, что помню, увидел выползающего Муху.

Его лицо в царапинах, в грязи с кровью... Он вытянул руку, я вытянул свою, его пальцы были как лед. Я заплакал. А Муха... Муха улыбнулся. Кровавые губы и зубы бардового цвета...

Зашелся кашлем Пётр, странным, истеричным, больше похожим на крик. Семён в этот раз тихо сказал:

— Не надо, наверное, вам это вспоминать. Я понимаю, сам бы забыл все, что услышал. А уж пережить такое...

Сплюнув в платок, появившийся невесть откуда, Пётр прошипел:

— Да как от этого избавишься, забудешь как?.. Через сны прошлое найдет тебя, достанет, изведет на нет...

Хрустнули коленки, мужчина приподнялся, сначала собирался выглянуть из могилы, как показалось Семёну, но потом передумал, постучал по шиферу в ответ бесконечному дождю, сел, подложив под спину рюкзак.

— Двадцать пять лет стерли многое из памяти о детстве... Что-то выдумалось, додумалось... Порой не уверен, было это со мной на самом деле или просто сон запомнился, и я выдаю его за реальность.

Понимающе кивнул корреспондент, «растерзанный» — все еще вертелось и тревожило:

— Чудовище, уверен, наказано. И его так же растерзали сокамерники, а если нет, то жизнь растерзала.

— Жизнь, — усмехнулся Пётр, — сразу видно, зелёный ещё. Жизнь создала все условия для существования чудовищ. Жизнь чудовищна. Припеваючи живут лишь преступники, ничтожества, воры и убийцы... Я спал и видел подростком, как нахожу и как мучаю, как пытаю и убиваю этого мудака в спортивных штанах, заправленных в носки. Не поверишь, я помню рисунок, узор на носках, да, хоть сейчас нарисую. Во мне живет каждая трещинка, вмятина, капля крови на чертовых адидасовских кроссовках.

Голос дрожал, но был силен и вибрировал. Дай Петру в руки чудовище из детства, и он разорвет, растерзает его в клочья голыми руками, зубами.

— Я ничего не сделал! Вот эта фраза кровоточит во мне и гниет. Мне лучше пока так, здесь, на кладбище... Лучше Сергеем Мухиным, чем Петром Алтаевым.

— Но почему столько лет спустя?!. — вырвалось у корреспондента профессиональное любопытство.

Пётр ответил:

— Время здесь ничего не значит.

Семён поддержал:

— Всему свое время.

— Я, ты, наверное, знаешь, не из здешних мест. С юга. И все шло, как шло. Жизнь, как говорится, протекала изо дня в день, из года в год. Давно взял за правило не смотреть телевизор. А тут, будто высшая сила толкнула, включил первый попавшийся канал и сразу увидел их.

Взгляды встретились.

— Глаза, — сказал себе Семён.

— Бл...е, ненавистные глаза, — подтвердил Пётр.

В одну из дырочек с пятирублевою монету, заглянула какая-то птица, небо продолжало лить слезы.

— Это были нарисованные глаза, такие, что я рисовал в детстве. Только эти глаза написал другой художник, портрет маслом. Я увидел лицо чудовища. И, как бы написал ты в статье, мир перевернулся.

Не стал Семён возражать такому прописному штампу, а он в своих материалах избегает подобного, тщательно выверяя и продумывая каждое слово. Он бы написал — «в этот самый момент у экрана телевизора на вечерней кухне Петра Алтаева не стало». Он бы написал — «а был ли он все эти годы самим собой? Вопрос, ответить на который не сможет сам Алтаев. В тени прошлого, в тени Сергея Мухина проживались все эти двадцать с лишним лет и вот...»

— И вот я тут, — Пётр демонстративно обвел рукой просторы могилы, — на своем месте, — страшно хихикнул, — где все закончится.

— Стоп, — Семён непонимающе смотрел на Петра, — так это могила для него?! Для чудовища?! Вы нашли его?!

— Нашел художника. Вышел на канал, транслировавший сюжет, там дали всю информацию. Известный в вашем городе живописец, — набрал побольше воздуха мужчина, — я увидел эту картину, как оказался в прошлом, не совсем реальном, а в том, что снится. Глаза зверя всегда у разных людей. На картине они были у пожилого человека, и как оказалось, человек этот давно скончался.

— Ваш родственник? — спросил меня художник, — очень уж глаза похожи.

Я засмеялся.

Пётр сделал неудачную попытку рассмеяться, не получилось, захрипел, закашлял:

— ...глаза похожи, — слышит Семён, сквозь мешанину гортанной какофонии, — родственники...

Семён ждет, когда Пётр успокоится, у него куча вопросов. Пётр же, высморкавшись, тяжело дыша, всхлипывая, говорит:

— Так что, вот так, мой молодой друг, это могила для чудовища. И ты здесь тоже неспроста. Понимаешь, о чем я?..

Корреспондент напрягся, сдвинул к носу брови:

— Понимаю? Что?

— Ну, как же?! Я ведь не смог бы без запасных рук?! Как ты себе представляешь, я бы себя закопал?..

Дождь стих. Тишина в могиле гробовая. Никто не дышит. Пётр смотрит на юношу. Семён расплывается в улыбке:

— Это шутка же, да?..

— А ты бы закопал?

— Я не могу проследить цепь событий! Никакой логики...

— В жизни, что, много ты видел разумного? Да сплошной абсурд и хаос. Ни причин, ни логики, ни следствий...

— Лунатический мир забыли?! — напомнил Семён и продолжил: — Вы, правда, думали о таком уходе из жизни? Без ответов?! Выкопали сами себе могилу, придумали способ зарыться, уверен, это не сложно придумать, и все, точка. Вычеркнуты, забыты... Так?!

Тишина ответом. Пётр молчал. Да, он думал о таком исходе, ему снилось, так, как описал сейчас Семён. В более ярких красках, с бурлящей кровью, дымящей землей и гусеничными монстрами...

— Нечестно это просто. И вы это знаете. Иначе... Иначе зачем все... — Семён выпрямился, насколько позволил лист шифера. — Безвыходных ситуаций не бывает, как и вопросов без ответов. И из могилы есть выход, — он приподнял головой «крышу». Пётр остановил:

— Подожди.

Корреспондент послушно остановился, прислонился к стене.

Перевел дух Пётр, протянул руку молча. Семён молча пожал.

«Что, если шифер сейчас не поднимется», — подумали двое мужчин в могиле и по молчаливому сговору в четыре руки отбросили его.

Звездное небо смотрело на них миллиардами ясных, светлых глаз. Холодный воздух обжег лица.

— На вкус, как барбариска, — сказал, глотнув ночной прохлады, Семён.

— Как детство, — ответил Пётр.

Так они и стояли по грудь в земле, в могиле с открытыми ртами и никак не могли надышаться свежестью, ночью, звездами...

Надышаться жизнью.

— Сможешь из листа бумаги сложить звезду? — спу-  
стя какое-то время спросил Пётр.

Семён пожал плечами, ответил:

— Наверное, нет.

— Хочешь, научу?

— Хочу, — согласился Семён.

И они вернулись назад в могилу, под светом небесных глаз и взошедшей полной луны мастерить новые звезды.

## Часть третья ПОЛОВИНКИ

### *Созвездие на букву «А»*

#### А

В самолете чувствуешь близость к Богу. Особенно, если сидишь у окошечка сплошь покрытого водянистой испариной иллюминатора, в которое видишь серебристое крыло летающей машины. Временами сталь срастается с небом, и ты становишься частью божественного местообитания, кусочком Вечного...

Небо валяется у тебя под ногами — от этого ощущения никак не избавиться, и ты чувствуешь себя богом.

Это не ее мысли, не ее ощущения, за двадцать лет тесной, совместной жизни, она научилась мыслить, как муж. Смотреть его глазами души. Думать... Она впитала все качества мужа, разделила мечты, желания, боль...

И сейчас он летел вместе с ней, сидел полноценной мужской частью в ней, на месте 19 F у иллюминатора, смотрел, как самолет, выполняющий рейс в его детство, растворяется в белизне облаков.

Ольга в очередной раз провела руками по жиденьким, окрашенным в черный цвет волосам, собранным в хвост, вздохнула, откинулась в кресле. Парень рядом с ней, заказавший вегетарианский ужин, спит, как спит и его соседка с краю, пристроив голову на свернутом жгутом пледе, широко раскрыв рот.

— Везучие, — отвернулась к небу Ольга. Она не спит вторые сутки, преодолевая: аэропорты, километры, часовые пояса...

Она давно уже толком не спит, измотанная мыслями, нервами, поиском... Проваливается на час-другой в ватные, колючие пространства бессознательного

и не видит полноценных снов — осколки, кошмары, где минута растягивается в сотню лет, и она проживает тысячелетия в аду собственного бессилия.

Вместо молитвы, заклинание — я буду бороться за мужа!

Первый месяц после исчезновения не находила себе места, ушла с работы, металась по квартире, по городу, искала вчерашнее, неизвестное...

Время остановилось. Стало безразлично время. Часы, минуты... Она потеряла наручные часы где-то в толпе, под дождем, на центральном рынке. Увидела знакомый профиль — щетина клочками, нос горбинкой — бросилась против людского потока, хлынувшего в двери, нагло и жестко распахивая жаркие, потные тела локтями и коленками. Видимо, в этой неравной схватке растянулся браслет часиков, и сгнули они в хаосе неизвестности. И не жаль. Обнаружив пропажу поздно ночью, Ольга ощутила, что время больше над ней не властно. Оно слетело, пропало вместе с позолоченным подарком к годовщине их знакомства. Пётр никак не мог решиться, выбрать, что лучше подарить — часы или цепочку. Выбор за мужа сделала жена.

Ладонь обняла запястье, на котором давно нет часов, за стеклом иллюминатора небо оживало землей. Замелькали полосы огней тонкими паутинками... Бодрый голос капитана воздушного судна в сонном царстве раздраженно объявил, что через полчаса снижаемся, и что сейчас подадут прохладительные напитки.

Вегетарианец ошалело осмотрелся, будто потерялся во времени и пространстве, задел соседку, всхрипнув, женщина подняла голову, плед сполз с шеи за спину:

— Че? Сели, что ли, уже?!

Веган пожал костлявыми куриными плечиками:

— Вроде летим...

Два молодых стюарда появились с тележкой, забитой пакетами соков и минеральной водой, вопрос отпал.

— Мне в самолетах всегда такая чушь снится, — нагибаясь за пледом, громко жалуется женщина всем, кто готов ее слушать, — хотя всегда, если честно, ерунда снится, — добавила, — но здесь обязательно снится, как самолет падает и никак не упадет, такое бесконечное падение.

— Угу, — подал голос сосед.

Ольга смотрела на небо.

— Вся жизнь и без снов — падения. Падаем и падаем... Главное — не забывать подниматься. А то это у нас, у русских, в крови: упадем и лежим, валяемся, ждем чего-то, надеемся на лучшее, что вот оно скоро наступит, пока петух в одно место не клюнет...

Сосед разулся, кивая в такт манифеста-монолога соседки, забрался в кресло с ногами, и, закрыв лицо ладонями, утробно загудел.

Соседка не растерялась, перевела взгляд на Ольгу:

— Вы всю дорогу глаз не сомкнули, шесть часов лету... Ай, ай, по вашим глазам видно, что дома нелады... Это все проходящее, поверьте моему опыту. У меня три законных и три гражданских мужа было. Сейчас никого не надо, натерпелась, настрадалась, отжило.

Ольга смотрела по очереди сначала на женщину, потом на небо, слушала, отвечая стандартной улыбкой приличия.

— Мужики, все беды от них на планете. И только от них, подчеркиваю жирной чертой! Бабы тоже не сахар, но в нас природа живет, мы даем жизнь, мы начало. А мужик это погибель, конец, смерть.

Веган подавился своим мычанием, закашлял.

— А что? Самая настоящая смерть, — окончательным вердиктом закончила соседка.

Подоспевший стюард, «Олесь», согласно бейджи, предложил напитки. Ольга взяла томатный сок.

Зеленая трава сразу за серым асфальтом взлетной полосы приятно успокаивала.

Из зимы в лето.

Багаж — спортивная сумка мужа, ее она пронесла ручной кладью. Поэтому сразу по указателю «выход в город» — к веренице такси и автобусов.

— Женщина! — остановил знакомый голос. — Еле догнала вас, — всхлипывала и шумно вдыхала свежий октябрьский воздух соседка с рейса.

Ольга отметила, что в солидном брючном костюме темно-синего цвета с воздушным платком на шее, подкрашенными глазами соседка выглядит неузнаваемой.

На Ольге джинсы, свитер с горлом и куртка. Пацанка в кроссовках на босу ногу.

— Извините Христа ради. Я не такая наглая и бесцеремонная, как может показаться, — протянула руку женщина. — Анастасия, служба знакомств «На веки вечные» и экстрасенс по призванию.

Ольга пожала руку:

— Ольга. Временно безработная.

— Не подумайте, что сватать вас собираюсь или цыганить... Я-а-а-а, — прикусила нижнюю губу, — как бы проще сказать... Словом, мне кажется, что вы нуждаетесь в помощи, а еще вы сильно похожи на мою подругу детства. Умершую подругу. Лучшую.

Натянув на ненакрашенное лицо улыбку, Ольга сказала:

— Все мы чем-то на кого-то похожи, — убрала руку, посмотрела в небо. Солнце светило откуда-то со спины. — Я спешу, простите. А помощь, так кому она не нужна... Все мы в ней нуждаемся.

Анастасия, уже было скиснувшая всем своим видом, так что и солидный костюм обвис, воспрянула:

— Как верно подмечено, Ольга, — она снова взяла ее за руку. — Давайте я хотя бы подвезу вас. Бомбилам доверять не стоит, и они до города меньше чем за тысячу не поедут, а это ну ни в какие ворота.

Не думая, Ольга кивнула.

Новая знакомая кивнула в ответ, достала сотовый из внутреннего кармана, скомандовала:

— Давай живо ко входу. Не вечно же тебя ждать, — вернувшись к Ольге, спросила. — Вам наверняка на окраину, в какой-нибудь поселок, угадала?

Искренне улыбнувшись, Ольга вскинула голову:

— Угадали.

— Тогда, может, перекусить заедем для начала, путь-то неблизкий? — И, не давая ответить: — Или возьмем блинов с начинкой в машину, я знаю место, там и чай в непроливайках есть, с травами.

Белая «Тойота» с пожилым шофером бесшумно притормозила у тротуара.

— Это мой старый друг, — объяснила Анастасия, — половинчатый любовник, — просияла. — Да, и такое бывает.

Блин с грибами и сыром запихала в себя через «не хочу». Запила холодным чаем. Всю дорогу Анастасия рассказывала обо всем и про все, изредка интересуясь:

— Еще не надоела?.. — и добавляла, оправдываясь: — Это у меня семейное, что мамка, что бабка молчать не умели, может поэтому и мужики от нас бегут, причем сразу далеко, чтоб не нашли, на тот свет.

Серьезно, ни намека на шутку.

Потом попросила водителя остановить авто. А Ольгу дать ей обе руки.

«Началось», — зажглось лампочкой в голове Ольги. Сейчас наступят времена Средневековья.

Анастасия сказала:

— Это тоже семейное. Я не совсем экстрасенс, как сказала, ясночувствующая я. Давайте мне свои руки, и я почувствую вас. Может, прошлое почувствую, может, будущее...

Руки ясночувствующей Анастасии горячие, сухие. Ладони Ольги липкие, ледяные.

Водителю был дан приказ — покурить. Машина припаркована на обочине в тени еще зеленого тополя.

— Сейчас, сейчас, — говорит, настраиваясь, Анастасия, — сейчас, — сжимая ладони, перебирая пальцами в перстнях и кольцах, — сейчас.

Это от долгого перелета — думает Ольга, а в голове легкость и кружение. Женщина напротив расплывается в радужное пятно, кожаная обивка сиденья сливается с потолком автомобиля, зелень за окном с синевой неба.

— Сей-час, — доносится издалека. И вдруг почти у самого уха: — Ты была уже здесь. В этом городе, в том месте, куда направляешься, ты там жила, в детстве.

Ольга закрыла глаза, открыла, картинка прояснялась — лицо ясночувствующей, Анастасия смотрит, не моргнет, говорит:

— Это твоя родина.

Нет. Неправда.

Ольга не произносит это. Сердце замирает на четверти стука, вот сейчас, выглянув в окно, глаза увидят то, что раньше заметило сердце — знакомый пейзаж аллеи, дорогу к морю, бесконечность неба, детство без границ и краев, звезды, которые видны днем, если правильно посмотреть вверх...

И Ольга кивает, соглашается. Была.

Говорит:

— Мой муж из этих краев.

Не слушая, Анастасия продолжает взволнованно, грузно с всхлипыванием выдыхая, будто вновь догоняла соседку с самолета:

— Потеря. Пропажа. Поиск. Подмена. Да именно так — подмена. Поворот, грубый, резкий, неожиданный. Как оторвать кусок сердца, искать и никак не на-

ходить, кровью истекать и продолжать искать. Жизнь — это продолжения. И если не сдаваться, подниматься и идти, то...

Отпустив мокрые, размякшие, покрасневшие ладони Ольги, Анастасия закончила:

— Ответы, они здесь. Вопросы тоже, но они не так важны. Нельзя всю жизнь жить ими одними, пришло время ответов. Время сбора камней.

Тишина возникает, как всегда, неожиданно, Ольга, оказывается, все это время не дышала. За нее дышал муж...

Сердце под горлом шлепнулось назад в грудную клетку:

— Я ищу мужа, — отвернулась от ясночувствующей, — половину свою.

«Половина» — кольнуло слева, потянуло слезную струну...

Солнце стрельнуло, заставило зажмуриться.

— Облака идут, — тихо сказала, — надо же, я и забыла, что бывает такое. Не видела давно... Лет сто...

Вернулся водитель, видимо Анастасия подала сигнал.

— Идут, ага, — пробурчал.

Ольга жадно смотрела на белоснежный парад в небе.

В этом беге столько близкого. Облака сближают. Мы смотрим на них вместе. Быть может на расстоянии в тридцать лет, но смотрим. Маленький Пётр, я уверена, так же восхищенно пожирал глазами эту небесную, молочную, сахарную вату. Отыскивал знакомые фигуры...

— Знаки повсюду. Облака — хороший знак, — заговорила Анастасия, — чистый, искренний, многообещающий... Встреча неизбежна.

Отвела взгляд Ольга, прошептала:

— Да. Я знаю.

## Л

Адрес помнила наизусть: улица «Дворцовая», дом 2. Фамилии лучших друзей из детства мужа Петра записала на отдельном листе, свернутом ровным квадратиком, он лежал в правом кармане джинсов.

«Тойота» свернула с шоссе на узкую асфальтированную дорогу, справа тянулись деревянные заборы садов, слева — двухэтажные дома.

Ольга встрепенулась, осмотрелась:

— Парк? Здесь где-то поблизости должен быть парк?!

Водитель, сбавляя скорость:

— Есть парк, в противоположной стороне, разворачиваемся?

Половинчатый любовник Анастасии, высокий, худощавый, с хвостиком седеньких волос на макушке, посмотрел на женщин в зеркало заднего вида. Ясночувствующая ответила за Ольгу:

— Нет, давай сначала посмотрим, что стало с улицей.

Ольга выдохнула облегченно. В последнее время она только и делает, что выдыхает:

— Спасибо вам.

— Давайте на «ты», Ольга, — предложила Анастасия.

— На «ты», — тихо согласилась Ольга и отвернулась к окну, слезы-попутчики привычно скатились к переносице и дальше, прячась за воротником свитера.

— Время беспощадно кроит людей, улицы... — голос водителя молодой, звенящий, — мы живем во времена заборов. Не успел оглянуться, а дороги как не бывало — забор высоченный, что не заглянешь внутрь, и ни объездов, ни переходов. Мосты сжигаются, а новые не возводятся. Живем во времена царствования заборов, не людей.

— Так и между людьми — заборы. Посмотри, какие мы выстраиваем друг от друга барьеры, только бы никто не проник в нашу личную жизнь... Порой диву даешься,

как человек рьяно отгораживается от всех, от жизни, от себя! Забор на заборе, — поддержала Анастасия.

— Да, всюду заборы, — задумчиво взгляд Ольги скользит по длинному забору из белого камня.

Ее глаза, ставшие сейчас глазами мужа, искали и никак не могли зацепиться, даже за веточку дерева из детства.

Заборы.

Поворот налево, и Ольга понимает раньше, чем водитель успевает произнести: вот их пункт назначения.

Она распахивает дверь на ходу, жаркий ветер в лицо, запах пыльной травы, нефти, яблочной пастилы...

— Приехали.

Ольга выскакивает из машины, мелко дрожат руки, все тело дрожит, трепещет, сердце, дай ему волю, выскочит в траву, только бы прикоснуться к узкой тропинке из битых камней, ведущей между домов с цветами, кустами шиповника, к родной калитке, выкрашенной в зеленый цвет...

Но тропинка обрывается забором.

Ольга сдерживается, чтобы не побежать, быстрыми шагами, касаясь пальцами белых, шероховатых камней, вдоль забора к воротам, а там табличка-указатель: улица «Дворцовая» 1-б. И лай десятка собак, и еще одна табличка — «Учебно-профилактический центр «Каспий». Посторонним вход запрещен. Ведется видеонаблюдение. Территория охраняется собаками».

Половинка мужа оторвалась, частичка Петра бросилась со всех ног, босая, как в детстве, бежать по периметру забора, считать шаги, метры...

У единственного уцелевшего из прошлого фонарного столба, если повернуться к нему спиной, можно увидеть конек крыши родного дома, рогатую телевизионную антенну, макушки деревьев: лавровый лист сразу бросался в глаза, еще могучий тутовник и веточки с виноградными усиками... Теперь — ничего. Стена — безжизненная, граница, за которой нет прошлого.

Бежать не было смысла, большая часть улицы детства, шесть домов с садами, огородами, детская площадка, гаражи — все исчезло.

На пятисотом шагу маленький мальчик Петруша перестал считать, разревелся не по-мальчишечьи, пнул до крови босой ногой камень, потом — вспышкой из детства — приспустил шорты и помочился на забор.

«Вечность за нами!», «Этот мир наш!».

Вернувшись, забился в уголок сердца жены, заснул тревожным, беспокойным сном...

— Они выкупили половину поселка лет двадцать назад, — говорит, подходя, новая подруга, — Андрей сейчас разужнает, что сможет, он у меня пробивной, с характером, хотя на первый взгляд не скажешь, — положила горячую ладонь на плечо.

Ольга вздрогнула:

— Хорошо, что муж этого не видит. Ранимый он, детство для него — стимул всей жизни, опора. Потерянный рай, в который мечтаешь вернуться, грезишь... И вот, рая больше нет!

— Потери делают нас человечней. Заставляют действовать... Любить.

Ольга приобняла Анастасию.

«Мне это необходимо, просто чтобы рядом кто-то был. Устала я, очень устала», — булькало в измученном сознании, а сказала:

— Спасибо, что настояли на помощи. Настояла. Спасибо, Настя.

Ольга расплакалась, тихо, неуверенно, ясночувствующая обняла в ответ, прижала, Ольга сдалась, зарыдав в голос.

Знамение — слово, значение которого Ольга объясняла поверхностно, с трудом, она чувствовала глубину слова, но достигнуть дна, докопаться до сути как-то не решалась, довольствовалась малым. Так всегда, нас устраивает то, что рядом, на поверхности...

Слепой дождь успокоил ее, смешав слезы женщины с небесными слезами. Ольга запрокинула голову, подставила горячее лицо навстречу дождю. И первое, что произнесла, — это слово «знамение».

Анастасия выпустила ее из объятий, вытянула ладони, поймала несколько солнечных, холодных капель:

— Говорят, когда идет такой дождь, слепой, значит, умер хороший человек.

— Где-то умер, а где-то родился, — Ольга сказала, глядя в лазурь чистого, ни облака, неба.

— Небо крестит землю дождем, — загадочно, в никуда прошептала Анастасия, — крестит людей... Я верю, что тебя мне послало небо. Нам всем необходимо отрабатывать, латать, заштопывать свои, даже самые незначительные, невинные грехи. Может, ошибаюсь, придумала это все для себя, в свое успокоение, ну, так мне легче... Вот и этот дождик как знак. Подружка моя... когда ее хоронили, тогда тоже пошел такой дождь, а может, этот же самый... Знамение, да, как правильно ты сказала, я словно услышала ее голос... Спасибо тебе, Оля. Ты только не пугайся, пожалуйста, это все от чувств, из-за дождя, мысли вслух... Все так неожиданно и так закономерно. Я уже и не мыслю другого сценария этого дня... Там, в самолете, помнишь, я рассказывала сон, так вот во сне ты не давала нам упасть, мне... Нет, прости, не слушай меня, я расчувствовалась не на шутку. Прости.

Ясночувствующая шагнула от Ольги, Ольга остановилась, взяла женщину за локоть:

— Я рада, рада, что все так, знакомству, даже этому чертовому забору надо сказать «спасибо», рада половинчатому любовнику, слепому дождю рада... Человек не должен быть один. Это строго-настрого запрещено! Противопоказано! Мы целые, когда частичка каждого из нас в каждом из нас. Вот это открылось мне, объяснилось, это мое сегодняшнее знамение.

Андрей появился незаметно. Будто стоял все это время с ними невидимкой и, наконец, решил появиться:

— Тут это... — начал, покашлял, осмотрелся, — узнал я, короче, про Мухина.

Женщины, поддерживая друг друга, уставились на мужчину.

— Он тут местная знаменитость, его очень даже прекрасно все знают. Значит так, Мухин был пастором в какой-то религиозной секте. Потом открыл социальное такси, и на этой волне попал в городскую Думу, депутатом почти два срока отмотал, потом пропал ненадолго, говорили, работал вахтовым методом где-то на приисках, появился, открыл цех по обивке диванов, что-то в этом роде. Работал таксистом. Сейчас взял в аренду, а может, уже и выкупил заведение типа клуб по интересам — чай, нарды, кальян, все удовольствия... Тут недалеко, вместо старого здания поселковой бани, название, — мужчина достал смятый клочок бумаги, развернул, — За-ре-ма, — прочитал по слогам, — что расшифровывается, мне объяснили — за революцию мира.

Смял лист, убрал в карман.

— Поехали в Зарему, — сказала Анастасия.

## А

Маленький Пётр слышал, что ребята постарше лазали по опасной лестнице подглядывать в окошко женской раздевалки, когда же он подросток для подобных экскурсий, лестницу спилили. Да и не тянуло его к приключениям такого характера. Стеснительным и молчаливым рос Петруша. С мальчишками по двору два раза ходил в эту самую баню помыться, в последний раз во всем поселке отключили свет, отключение застало мальчишек в раздевалке после парной, и Петруша поклялся — больше в общественные бани ни ногой.

Частичка мужа проснулась, как только Ольга увидела аллею акаций на углу отреставрированной бани.

У дверей клуба с темной неоновой вывеской двое мужчин на табуретах читают одну газету.

— Может, мне сходить для начала на разведку? — снова предложил водитель.

Ольга открыла дверь вместо ответа.

Мужчины оторвались от газеты, бритоголовые, улыбочивые:

— Добро пожаловать, — произнесли в унисон, поднялись, как по команде.

— Мухин Сергей, — сказала Ольга.

Мужчины раскрыли входные двери, как книгу.

За барной стойкой в конце довольно длинного зала, в полумраке тускло подмигивали разноцветные лампы, третий бритоголовый мужчина поднял голову. Рыжая борода, широкие скулы, боксерский нос и печальный, безумный взгляд.

Вздрогнула всем телом Ольга, половинка мужа потянулась к знакомым с детства чертам:

— Муха, — вырвалось у Ольги.

Мужчина торопливо вышел из-за стойки в три шага приблизился, откровенно рассматривая гостью, протянул руку:

— Так точно. Мы, кажется, знакомы?!

— Пётр Алтаев, — как заклинание сказала Ольга, — Петруша, так вы его звали, правильно?

Пожатие было долгим, оценивающе мужчина и женщина смотрели друг в друга.

— Петруша, да, так, — Мухин сглотнул, перевел взгляд на еще двух гостей у входа. — Проходите, давайте присядем, — взгляд вернулся к Ольге, — вы жена Петра. Похожи. Сильно.

Ольга наблюдает, как Анастасия с Андреем усаживаются за столик на четыре персоны, смотрит на паутину огоньков по всему потолку, и говорит:

— Вы же умерли, Сергей Мухин. Вы — последняя жертва маньяка-убийцы, промышляющего в парке у школы, где вы учились вместе с Петром. Пётр выжил, вы... Нет.

Радужно, резво над ними замигали лампочки гирлянд, у Ольги громко заурчало в желудке, Сергей сделал блок из жилистых накачанных рук:

— Сдаюсь. Я действительно умирал и не раз, но, как видите... — он развел руки в стороны, — давайте для начала выпьем, я вас и друзей ваших покормлю, потом поговорим обо всем.

— Стойте, — Ольга сложила ладони в молитвенном жесте, — вы действительно тот самый Сергей Мухин, друг Петра Алтаева, который мечтал стать могильщиком, часто сбегал из дома, и нырнул в яму старого туалета, пол-ную фекалий?!

Мужчина театрально смахнул невидимый пот со лба:

— Ух, застали прямо врасплох, да это я и есть, собственной персоной, — и широко улыбнулся бесконечной улыбкой.

— И вы живой, — закончила на выдохе, чуть слышно Ольга.

## В

Вино и фирменное блюдо, окрещенное шеф-поваром Мухиным «Южная амброзия» (из массы ингредиентов, Ольга смогла точно определить лишь рис), сделали свое дело — желудок успокоился, тело расслабилось под грузом многомесячной усталости, потянуло ко сну.

— Не спать! — приказывала Ольга непослушным векам, то и дело слипавшимся. — Не спать!..

И прямо из-за стола плюхнулась в чем была: свитере, джинсах, кроссовках в яму с непонятной густой, вязкой субстанцией, и... Открыла глаза.

Она на диванчике, за плотной бархатной ширмой бордового цвета, сквозь тоненькую щель внизу видно, как пол переливается, подмигивает разноцветьем. Слышно, как гудит электричество, трещат холодильники с напитками, она видела их у входа.

Впервые за долгое время подумала о времени. Нашла в кармане выключенный сотовый, повертела, убрала назад, поднялась.

— Блин, — вытерла глаза, поправила волосы, затянула их потуже в хвост, отодвинула бархат.

Комнатка была сразу за баром, столик на четверых убран, владелец за стойкой смотрит в пустоту.

— Помогите мне вернуть мужа, — голос Ольги ясный, громкий.

Сергей оторвался от пустоты:

— Проснулись. Мы с Андреем перенесли вас, обменялись телефонами, визитками, я пригласил их на ужин, ваши друзья — мои друзья, — отчитался.

Замолчал, собираясь с мыслями, заговорил:

— Даже не знаю, с чего начать. Петра я начал искать сразу после армии, думал, найду, встретимся, вспомним детство... Все соцсети перерыл, вбивал его по всем поисковикам... Он же, можно сказать, исчез в седьмом классе, нас из нашей банды осталось четверо. Потом уже узнал, что родители увезли Петра по совету врача, климат вроде как сменить, и на Севере работу получили, и что-то у них все так ладно кроилось...

Присела на барный стул без спинки, Ольга старалась не пропустить ни слова, ни буквы, ни вдоха...

Мужчина налил в высокий бокал красного вина, подвинул:

— Взбодриться. — Продолжил рассказывать: — Пётр — просто фонтан воображения и фантазии. Он сочинял, бывало, по две, три истории в день. Мы часто путали его выдумки с реальностью, время стирало границы, и сочиненное Петрушей оживало... Да, да, уже на следующее лето мы не могли с уверенностью сказать, было это на самом деле, или это всего лишь очередная история из Петрушкиной азбуки.

Ольга подняла указательный палец, прерывая Мужина:

— Вы видели эту тетрадь?

— Да он с ней не расставался. И не одна тетрадь была, куча блокнотов, записных книжек, бабушка так назвала его записи — азбукой. А там все: выдуманное и невыдуманное... Запомнилась история про животных заговоривших на человеческом языке, — улыбнулся дну своего бокала. — Сколько всего было, даже вспоминать страшно. Мы прожили в то лето целую Вечность. Каждое лето было Вечностью и последнее...

Ольга сделала глоток терпкого полусухого вина:

— Пётр избавился от прошлого, безжалостно, все уничтожил, записи, фотографии, чувства, сны, — еще глоток, — из той тетради, азбуки, я и узнала про вас, про маньяка.

Сергей коротко кивнул:

— Чудовище. Маньяков тогда для нас не существовало, они были ненастоящими, жили в телевизоре, в фильмах. Их обязательно ловили и справедливо наказывали, казнили... Наше же чудовище исчезло так же внезапно, как появилось. Из неоткуда в никуда.

— Так вы сталкивались с ним лицом к лицу или?.. — допила залпом вино Ольга.

Наполнив оба бокала, мужчина выдохнул:

— В тот день в парке были я и Пётр. Мы пришли к бетонной коробке туалета, Пётр собирался пописать, и все, больше я ничего не помню. Меня вырубил из сети удар чем-то тяжелым по голове. Когда очнулся, Петра не было. И дома я его не нашел. Утром он появился как ни в чем не бывало, сказал, что тоже ничего не помнит, показал шишку на затылке побольше моей и прочитал новый рассказ про чудовище.

Он поднял бокал, Ольга сделала то же самое.

— В этой истории чудовище нарывается на не того мальчика. Мальчик убивает его, а тело хоронит в яме старого туалета под трехметровым слоем дерьма.

Сергей выпил, Ольга вернула стакан на стойку:

— Ничего не понимаю. Если вы не пострадали от рук маньяка, тогда...

Недосказанность, то, что она всегда не любила, возникла вновь. Повисла между ними в кондиционированном, прохладном воздухе раскаленным добела знаком вопроса.

— Я до сих пор корю себя, что не настоял, не заставил Петра рассказать его версию случившегося в парке. Но ведь был этот рассказ, история о смелом мальчике, уничтожившем чудовище... Мне и нынче снится тот день, мы сбежали с уроков и, и... снова и снова я безучастно наблюдаю, как... — он налил вино в свой бокал, выпил, — может, правильно, что Пётр вычеркнул это из жизни. Забыл. Я бы тоже так хотел. Но не могу. Знай я правду, быть может, многое что изменил бы. Поступки, принятые решения, взгляды, чувства... Я ведь собирался в могильщики податься, проспорил, вот и нырнул на дно того самого сортира Алтаевых.

Пришла очередь Ольги залпом выпить вино:

— Да, это есть в его историях, в азбуке. Поэтому, Сергей, когда Пётр исчез, я не сразу отправилась к вам, почти полгода я искала мужа и...

Перевела взгляд с внимательно слушающего лица Мухина на бутылку, мужчина послушно налил ей алкоголь. Ольга кивнула:

— Сказать, что было шоком то, с чем я столкнулась — это ничего не сказать. Мой муж стал звать себя Сергеем, — она громко сглотнула слюну, — Мухиным Сергеем, и копал могилы на кладбище в маленьком провинциальном городке на реке Ангаре.

Ольга выпила.

Сергей Мухин привстал, сел, налил им вино.

— Анализируя все прочитанное из сохранившихся дневников, все произошедшее, происходящее, сделала выводы...

Замолчала, быть может, ожидая, что Сергей озвучит сделанные ею выводы, Сергей не озвучил. «Шок — это по-нашему!» — единственное, что мог из себя сейчас выдать, что булькало в нем и кипело, но и это не произнес.

— Пётр, твердо решила я, как-то причастен к вашей смерти, может, он стал свидетелем расправы над вами этим чудищем, может, вы не выплыли, утопились... Что послужило толчком, могу догадываться, может какая-то информация в СМИ вскрыла старые раны. Словом, он перечеркивает свою жизнь и становится вами. Живет так, как проживали бы вы свою жизнь.

Выпала, выдохнула, выпила.

— Да, я даже, — он повертел в руках пустую бутылку, поставил, поднялся, — странно очень, мне снился Пётр, копающий могилу, если бы вы сейчас не рассказали, я бы не вспомнил, даже не снилось, это, как невыполненное обещание, которое гложет и выдает всякие ощущения вроде оживших снов, дежавю, что-то вроде... Он копал моими руками, руки болели, я видел буквально грязь от могилы на ладонях, набухшие мозоли...

Достал из-под стойки еще одну бутылку, штопор:

— Но как?.. Он должен был стать писателем, художником, я не знаю... Предполагал, Петруша перебрался за границу, может, в Америку, Францию, но никак не роет землю... И ну никак не из-за того, что сам выдумал невообразимое, ужасное и поверил в это... Ожил...

— Или Пётр все-таки пострадал в тот день в парке от лап чудовища, — тихо, смело, резко вставила Ольга, — но поверить в такое его взрослый мозг не мог, и, как бы защищаясь, он переложил всю боль трагедии на вас...

Мухин заметно растерялся, по вискам блеснули крупницы пота, поднял глаза к разноцветным всполохам, которые всегда его успокаивали, не помогло, Ольга увидела блески в глазах лучшего друга мужа. И ей самой захотелось поддержать его, обнять, выплакаться вволю, во всю мощь.

Все еще живы в ней первые дни откровения, что муж потерян и вернуть его, может быть, не удастся никогда. Тогда в ней яростно проснулась его половинка. Она

всегда, с первого дня знакомства в школе чувствовала его в себе. Любовь с первого взгляда, думала, но крепкие отношения, связи, все сильнее ощущалось присутствие мужа. Это и есть настоящее родство душ. Двух половинок. Муж и жена — одна...

Не стесняясь, редела на улице, отследила, где поселился муж, ставший другим человеком, плакала у подъезда, ночами не могла уснуть и кричала, кричала, срывая голос в ладони и в подушку, в ванну орала под грохот воды, в раковину, в нутро стиральной машинки... И половинка Петра кричала вместе с ней. Металась в пустом пространстве, в могиле, и никак не находила выхода... Спасения от чудовищ, которые наверняка были для него реальны.

Пётр болен, решила сначала, но после встречи в упор (она взяла его за руку, назвала по имени), как осенило — найду правду. Разузнаю все, что стало с Мухиным: могилу, семью, родственников, близких, дальних, соседей, друзей... Если понадобится, с того света достану. Последнее утверждение стало успокоительным. Призывом, лозунгом, ее главной целью.

Ничто не могло ее остановить: ни время, ни расстояние, ни люди с чудовищами...

Истина сделает тебя свободным, говорят, но никто не говорит, что сперва разнесет твоё сердце и душу в клочья. От осознания. Принятие истины. От бессилия! Хочется не просто плакать, прижавшись к другу мужа из детства всем телом, хочется бить, рушить все вокруг и первого, на кого обрушить всю свою боль и немощность, — на друга, этого успешного, но тоже потерянного, как она и Пётр, мужчину.

Ольга разжала кулаки, протянула руку к Сергею, он все еще разглядывал цветной потолок, она взяла его за руку, глаза в слезах, навстречу — слезы Петра.

— Мне без вас не справиться. Не вернуть его, — шепотом, а слезы бегут и капаят, — мы скажем ему, что все живы, а это самое главное! Скажем, скажем, что...

— Что этот мир наш! — сказал Сергей, обнимая Ольгу, ставшую за несколько часов ближе всех в этом южном городе, чувствуя ее слезы на шее, ощущая прикосновения старого, доброго друга детства.

## Е

Взяли билеты на завтрашний полдень. Самолетом до Иркутска, дальше такси. Ужин, назначенный Сергеем, не отменялся, до него два часа, и Мухин на правах хозяина повел гостью к одному лишь сохранившемуся месту детства, к болотцу в парке.

Оливковую рожицу прорезала труба, разделяющая парк от цветущей зелены лужи.

— Высушивали, засыпали, химикатами травили наше водяное царство, а ему хоть бы хны. Не справится человек с природой никогда. Она всегда возьмет вверх.

Ступив на тропинку парка, центральную (она же фонарная, рассказал Сергей), Ольга вновь потеряла половинку мужа, она выскочила из нее, огляделась. Тропинка была другой, шире, с тротуаром и другими фонарями, но запах, конечно... Пётр узнал этот аромат отцветшего шиповника, горячего послеполуденного зноя в пыльной хвое кипарисов, запах сухой, выжженной солнцем, пыльной травы...

На трубу Петруша забрался, запрыгнул, поскакал раньше жены и друга, заглянул в уцелевший оазис прошлого звездного детства, Вечности...

Вода прозрачная, не глубже чем по колено, в редких островках между зеленью ряски с лилиями видно глинистое дно с мягкой тиной, мельтешат водомеры, комары с мошкаррой... Здесь пахнет детством, одиннадцатилетним, бесконечным, теплыми брызгами солнца, отраженного от воды, сыростью болотной зелени с нотками вскопанной рыбаками и червями земли. Именно тут они с Мухой обнаружили самого большого червяка в мире, с розовыми кольцами по всей по-

луметровой длине коричневого, скользкого тельца. Червя решили отпустить на другой стороне болота подалее от таких же копателей, разулись, взвизгивая от прикосновений холодной воды, скользя по тающему, выскользывающему из-под босых ног и между пальцами илу, перебрались в гушу олив. Там долго наблюдали, как аномальное членистоногое искало новое убежище. На обратном пути Пётр и обнаружит нечто похожее на горсть звезд, он замрет с раскрытым ртом, а звезды будут подмигивать ему, переговариваться...

— Звезды окажутся целлофановым пакетом, — вернул сказку в реальность Мухин, улыбнулся фирменной улыбкой. — Я вытащил пакет, но мы все равно остались уверенными, что там были звезды, они, конечно же, успели скрыться, мы хоть и были мальчишками, но людьми же, а людям звезды не достать, разве что только во сне...

На трубе надпись, видна не приглядываясь — ПЕТРУШКА И МУХА ДРУЗЬЯ НАВЕЧНО!! — кричат все еще ярко белым на ржавчине корявые буквы, выцарапанные детскими руками.

Мухин сидит на корточках, в точности как тридцать лет назад, плюс-минус год-два, какая разница, для детства ведь время ничто, так, слово, за которое можно получить нагоняй, если к наказанному родителями часу не появиться дома. Прикасается к каждой царапинке — буковке. Ольга рядом наблюдает и боится, что сердце выпрыгнет в воду, так оно бьется в груди, разрывается от этого трепетного ритуала соединения с Вечностью. Прикосновения к детству, наивности... Чистоте и святости... Впереди еще много побед и поражений, всяческих любовей и слез... Ольга думает половинкой мужа, что Муха стопроцентно вспоминает сейчас, как они провалились вместе под тонкий лед, решив испытать его на прочность, в середине теплой зимы, после школы. Как потом чумазые украдкой пробрались в баню, ту, что по соседству со знаменитым Алтаевским сортиром, терли намыленными мочалками

друг дружку до ссадин, умирая от смеха, и до ночи сушили мокрые тетради с книгами на батарее, разглаживая сморщенные листы раскаленным утюгом.

Мужчина на трубе провел горячей ладонью по памятной надписи:

— Честно, у меня была мысль, примерно через год после отъезда Петруши, раскопать тот туалет, проверить, что там... — Поднялся высокий, взрослый Муха, оставив в воде храниться свое детское, конопатое отражение. — Тогда там уже, как и в других местах, поставили забор. Правда, еще не кирпичный, такой, из металлических листов, я знал лазейку и часто пробирался туда. Бродил по вырубленному саду — ни деревца, ни травинки, — по нашим тайным местам, это я про закрытый туалет, — пояснил, посмотрев на Ольгу. А она высматривала что-то на дне. — Пока дом не снесли, часами искал следы нас в комнате Петруши, в зале, на чердаке, я тогда и нашел там нашу карту сокровищ.

Ольга задрала голову, в глазах вопрос. У нее сейчас время вопросов. Сергей ответил:

— Это все тайные места сада, все прошлые, закопанные туалеты. Мы решили, что забавно будет сделать карту для потомков, — сдерживал смех он, — ну а главным кладом была, конечно, свежезарытая яма, я ее окрестил своим именем, — рассмеялся Мухин.

Ольга поднялась, он подал ей руку. Они стояли и смеялись громко, с эхом, на трубе в парке у болота, в середине упрятанного от чужих глаз священного, бесконечного детства.

Закатное солнце расписало синее небо розовыми полосами, волнами.

Двое на трубе давно уgomонились, молчали. Детству претит тишина, но тут она была громкой, объединяющей, потому что думали эти двое об одном. В подтверждение Муха продолжил:

— Меня испугало то, что я могу там действительно найти тело чудовища, — он посмотрел в сторону клад-

бища, — могильщиком я не стал, потому что и там, в царстве, во владениях мертвых все изменилось. Сначала сменился директор, пробивная тетка была, мне нравилась, потом людей заменила техника....

Ветер теплый, пряный, принес звонкие детские, девичьи голоса, взрослые обернулись. Звезды в болоте возникли вновь, мир детства явил миру взрослых частичку чуда, но тут же пропали в сгущающемся чернильном мраке подводного мира.

— А что с другими из вашей банды? С Яшей, Чемпелом?.. — спросила Ольга, разглядывая темнеющий парк.

— Уф, — Сергей помолчал, сосредотачиваясь, в голове, как в парке, вихрь из красок и теней, — все, кроме меня, переехали. Тимур, кличка Пельмень, с матерью в деревню к ее родственникам перебрались после смерти отца. Язык, Яша, в Израиле моделью, знаю, работал, ориентацию сменил, мягко говоря. Никто, кроме Чемпела, не женился и детишек не завел. Леха же постарался за всех, у него, если не ошибаюсь, четыре девочки, все пытается мальчика сотворить, жена у него из верующих, и его в веру затащила, работают при храме где-то в Мордовии, свой дом, хозяйство, но кажется, слышал краем уха, что и пятая у них девочка, — задумчиво, сомневаясь, закончил Мухин.

— Ну, а ты, — они незаметно, не стовариваясь, перешли на «ты».

— Ну, а я, ты видишь, — развел руками, описывая все вокруг, — живу свободой, настоящим, иногда вот прошлым, — нагнулся, на прощание щелкнул щелбаном по белым крючкам букв.

Болото попрощалось всплеском выстрелившей из-под трубы, потревоженной лягушки.

— Звезды ваши надежно охраняют, как я посмотрю, — махнула хвостом в резинке Ольга в сторону кругов на воде.

— О, да. Тут еще змеи, ежи, птиц всевозможных полно, ну, а про комаров и пиявок я вообще молчу...

## Д

На фонарной аллее Ольга остановилась, обернулась, посмотрела пристально туда, где когда-то стояла бетонная коробка с красными буквами «М» и «Ж». Это она сделала сама, без участия половинки мужа, даже не сама — злость, граничащая с безумием, когда хочется орать, рвать, крошить, притянула взгляд:

— Там? — короткий вопрос в темноте.

— Да, — шепот в ответ.

Но призраки прошлого, страшного, болезненного прошлого все-таки услышали, пробудились. Тяжелой волной гниющих запахов накрыло мужчину и женщину. Закружило в мутном водовороте из обрывков воспоминаний, тревожных мыслей, запретных желаний...

Если бы Ольга, как и Сергей, закрыла в этот момент глаза, она бы оказалась в комнате, где повсюду вода и свет проникают невесть откуда...

После второго происшествия в злосчастной бетонной коробке, ее стерли с лица земли в прямом смысле слова. Мужчины и женщины поселка собрались в парке, вооружившись всем тем, что нашли у себя в гараже, в мастерской, в сарае... Кувалды, ломы, лопаты, молотки, куски арматуры, гантели... все это обрушилось на стены скрывавшие мерзость преступления, логово чудовища, его место кормления. Прибывшая по вызову милиция помогла свежими силами. Три часа жители, родственники пострадавших, соседи, друзья, сочувствующие вершили правосудие, каждый из них верил, что внутри этих стен еще прячется зверь, они расправятся и с ним, прикончат!

— И ведь прикончили, — дышит тяжело Сергей, словно это произошло только что, он, двенадцатилетний юноша, лупил до бордовых ладоней ненавистные камни сортира, кафель разлетался осколками, гнулась, лопалась сантехника, брызгал щепками фаянс... —

чудовище исчезло. Мы снова не боялись дотемна играть в парке, смело бегали в школу, в клуб, за головастиками к болоту.

Они вышли из парка, подходили к клубу. Фонари вдоль дороги слепили.

— Это все из-за страха темноты, — заметил Мухин, — мы запомнили урок прошлого, то время, когда из тьмы и полумрака выбирается ужас и забирает невинное, калечит, терзает, время подозрений и ненависти. Помнится случай, прям из рассказа Петрушки, жена нашла рабочую рубашку мужа, сплошь покрытую засохшими кляксами серо-буро-малинового цвета, а у них двое маленьких детей, а в парке второй случай издевательства и насилия над ребенком. Она, недолго думая, кормит вновь припозднившегося с работы суженного ядом от грызунов.

Ольга сказала:

— Да ну...

— В оправданье жена заявила, что в последнее время замечала странные взгляды мужа на ребятишек, а следы, как оказалось, от взорвавшейся банки солевых, лечо в погребе бабахнуло, частично следы тавота. Мужа спасли, вырезали часть желудка, пищевода, они до сих пор живут вместе, он пенсию по инвалидности получает, она заботится теперь обо всех и обо всем одна, и в тавоте пачкается тоже она одна.

У дверей «Заремы» никого, если прислушаться — слышно спокойную музыку, позвякивание столового серебра, тихие голоса, слышна умиротворенная, такая далекая от ее, Ольги Алтаевой жизни, жизнь.

— Ты тоже мастер рассказывать. Не пробовал записывать?..

Отмахнулся Мухин:

— Все пробовал, но не это. Петруша по этой части у нас.

Слова роднят, рожают надежду, вселяют веру...

Утренние бритоголовые мужчины все так же широко улыбаются, на них белые фартуки, перчатки, подмечает Ольга, и улыбается в ответ.

В зале, на первый взгляд, все столики заняты.

— Нам накрыли внутри, — показывает за пустую стойку хозяйин.

За спиной открываются не успевшие закрыться двери. Анастасия и Андрей приветливо кланяются, так часто бывает, за пару часов просто попутчики, знакомые превращаются в хороших друзей. У них цветы и большая бутылка вина. Ольга не знает, что сказать, комок слез сжимается в груди, подкатывает к горлу.

Если бы Пётр был рядом, это был бы самый прекрасный вечер в жизни — стучит комок в горле, не вздохнуть, если бы...

— Этот мир наш, — шепотом, писком, получилось проглотить ком, — мы, — громче говорит Ольга, — мы победим.

За ужином больше говорили Анастасия с Андреем. Она рассказывала забавные, смешные до колик в животе истории из своего большого опыта сведения душ и сердец мужчины и женщины к одному знаменателю, она это так назвала. Андрей, как и положено мужчине, чье сердце бескорыстно отдано на растерзание любимой женщине, поддакивал, подтверждал каждое слово, жест, вздох.

Сергей вспоминал прежние места работы ... Ольга наслаждалась, приказывая себе чуть ли ни каждые пару минут не думать, по-Скарлет Охаровски, «об этом я подумаю завтра», и вино ей в этом помогло.

Спихватились в начале первого ночи, до часу все же приняли решение, что правильной будет попрощаться сегодня.

— Я сам отвезу нас к двенадцати в аэропорт, машину потом заберут, мы сразу на регистрацию и так далее, — решительно расставлял точки рыжебородый Мухин. Худая, все с тем же замусоленным хвостиком, напоминающим волан для игры в бадминтон, Ольга послушно кивала. Ей было покойно и приятно, что за нее принимают решения.

— Да, да, — всхлипывала ясночувствующая, — я предполагала, поэтому вот, — она протянула Ольге узенькую коробочку из нежно бирюзового бархата, — мне было чутье, видение, давайте скажем, задремала и увидела подружку, вы действительно похожи, глазами. — Анастасия прижала руки в перстнях с крупными камнями к груди. — Впервые за столько лет она улыбнулась мне, помахала, впервые я услышала ее голос, она сказала: «Пришло время», и пропала, пропала, знаю, уже навсегда.

Мужчины делали вид, что их нет за столом, Андрей медитировал над дымящей сигаретой, Сергей думал — как же хорошо, что смог бросить курить еще сто лет назад.

В коробочке — позолоченные часы, и сердце Ольги перестало стучать. Это были в точности такие часы, что Пётр подарил на годовщину, их она потеряла, пробираясь сквозь толпу за привидевшимся любимым человеком где-то на Центральном рынке, в далеком северном городе, у черта на куличках. Провела ладонью, убедилась, что не сон. Вздрогнула.

Анастасия взяла часы застегнула на левом запястье Ольги:

— Вот, это от нас с подругой подарок. Не буду говорить, откуда они, скажу, что я их купила давным-давно, да это и не важно...

Ольга сдержалась, не закричала — еще как важно!

Смотрела на подарок, как пульсирует секундная стрелка.

Время вернулось в ее жизнь.

На часах половина второго ночи.

— Настя, спасибо, — спридыханием и старым другом — слезным комком в горле, — у меня, даже не знаю...

За креслом спортивная сумка Ольги, с яркими багажными бирками двух аэропортов. Ловкими, несмотря на выпитое, движениями, достала косметичку, порылась в ней:

— Вот, — серебряный браслет «змейка», талисман с детства, со старших классов. Переливающая всеми цветами змея, кусающая себя за хвост, скромно легла между тарелками.

Ясночувствующая взяла браслет, взяла Ольгу за ладонь:

— Верно, все верно, — запричитала, — отдай мужу браслет, когда вы встретитесь. Все вернется с этой змейкой, все оживет, и запечатаются могилы и подуют новые ветра...

И ладонью подруги сжала символ Вечности:

— Ты мне сделала подарок еще утром, самый драгоценный подарок.

Женщины встали, по одной лишь им ведомой команде, обнялись, тихо заплакали друг другу в волосы.

Ольга не любит прощания. Ненавидит. Поэтому, проводив друзей до автомобиля, тихо сказала:

— Спасибо вам. Как, что — сообщу. На связи. — И, не дожидаясь, пока гости уедут, исчезла в дверях с неоновой вывеской «Зарема».

После ванны в третьем часу ночи, незаметно для самой себя, уснула на неразобранной кровати в приготовленной комнате над клубом, и ей снилось что-то хорошее. Прекрасное. Потому что, когда в девятом часу Сергей тихо постучал в приоткрытую дверь, она открыла глаза и улыбнулась новому дню, ее распирало огромное желание закричать от радости.

— Мне снилась встреча, — первое, что сказала она в это солнечное, осеннее утро.

## Е

Мухин попросил называть его Муха:

— Мне будет больше чем приятно.

Потом, пока завтракали, собирались, всю дорогу до аэропорта, при регистрации билетов, досмотре, в ожидании посадки и в самолете, пока Ольга не выдохлась и не заснула, слушал с легким, радостным сердцем, как это — быть женой Петрушки.

— Мне бы понравилось, — подвел Муха итог многочасового жизнеописания семьи Алтаевых, поправил под головой Ольги скомканный плед, — мне бы понравилось.

В нагрудном кармане, он периодически притрагивается к сердцу, нащупывает, проверяет и убеждается, что все на месте, Муха везет Вечность.

## Р

Время ожило и понеслось со скоростью света. Ольга открыла глаза и не поверила им. Самолет собирался заходить на посадку. Протерла глаза, посмотрела на часы, снова протерла.

— Плюс пять часов, — голос Сергея слева, и металлическое чавканье командира экипажа в микрофон о том, что в Иркутске прекрасная погода, минус 15 градусов.

Суежливым стюардессам все-таки удалось хотя бы напоить спящую весь полет пассажирку водой и апельсиновым соком.

— Это все из-за тебя, — пьет Ольга, — одна бы я фиг уснула, а с тобой, — икнула, извиняюще покосилась, — зато полна сил и решимости.

Сказала, и тут же ощутила, как тревога и страх обняли с двух сторон. Проползли сквозь поры внутрь, в душу ледяными, мерзкими поцелуями...

Вместо молитвы — я буду бороться за мужа!

Сергей спросил:

— Что?

Ольга поняла, что сказала это вслух:

— Чем ближе к цели, тем сильнее страхи и ощущение потери, — созналась, — я так боялась этого слова — «потеря» — и вот говорю...

Бритоголовый, рыжебородый великан на сиденье рядом подмигнул:

— Я обещал, что верну тебе Петрушу.

— Нам, — вставила Ольга.

Великан растянулся в бесконечной улыбке:

— Нам. Нам!

Багаж — две сумки, его и Ольги. Она долго спорила, не давала ему нести ее «ридикюль», наконец, сдалась:

— У Петрушки разве в своих записях нет про то, что я упрямый, как... — Муха резко замолчал, — упрямый, как баран или как осел? — спросил с каменным лицом. — Это от мороза, видать.

В Иркутске сугробы, зима в северных районах наступила в конце сентября, здесь, южнее, в октябре уже ударили морозы и захозяйничали выюги.

До такси, его Сергей заказал еще из дома, вприпрыжку, хохоча.

— И тот и тот, думаю, подойдет, — смеялась Ольга.

Муха сначала не понял, о чем речь, а как дошло, загоготал так, что пожилой водитель подавился табачным дымом.

— Не, — не соглашался Муха, уже в такси, — упрямый только осел и благородней...

Водитель кашлял и кивал:

— Бараны...кхе, — это те...кхе-кхе, что на новые...кхе... ворота плятятся, — кряхтел через слово.

По-простецки, по-свойски постучал по спине водилы Муха, скомандовал:

— Жми, отец, впереди у нас Вечность.

А Ольге сказал:

— Может, верблюды?..

Смеялись все.

## Ч

Трубы-гиганты, ранящие небо и чадающие чернотой, — стражи этих мест. Надзиратели и палачи. Вороны — приспешники труб, падальщики, кляксами, знаками пачкают глаза, мелькают, карканье режет по ушам и бьет мозг. Цивилизация осталась за спиной, это территория комбинатов, ворон, бомжей, брошенных собак...

Снег не спрятал все плечи, раны, болячки... Не подлтал...

Муха заметил, как сменялся пейзаж и вместе с ним меняется настроение Ольги.

Заброшенные дома, свалки, горы железной арматуры, люди — ходячие пугала — та еще картинка.

— Этих поселков нет на карте мира, — крикал водитель, — место обитания призраков.

Ольга молчала, боялась, что голос испуганно запищит.

— Сюда селят всякий ширпотреб. Тут куча общаг, хозных и бесхозных, вот их из города сюда и заселяют: неплатежеспособных, бомжей всяких, у кого за кредит квартиру забрали, тож сюда.

— Кирпичный поселок тоже в этих краях, — пробасил пассажир, и таксист снова подавился, закивал.

— Понятно, — прогудел Муха, — что ничего не понятно. Бедный народ.

Взглянул на Ольгу, цокнул:

— И наш Петруша вот тут?! Еж... — отвернулся, едва не выбив лбом стекло, — дикость несусветная. Мат на мате.

И Муха матерился, как когда-то в детстве Петрушка кричал вслед грузовикам-монстрам, ворвавшимся в их детство.

— Ну, нормальные люди тоже живут, не подумайте, состоятельные, — заступился за городскую окраину таксист, — даже какие-то известные личности жили, было дело, художник, что ли, пианист ли?..

Ольга молчала. Муха матерился, и матам его не было конца.

Остановились в гостинице «Не Юг», в центре между съемной квартирой Петра-Сергея и его работой. Взяли один номер, «на полсуток, не больше», оставили сумки, перекусили в кафе, в холле.

По Ольгиным подсчетам муж сегодня на кладбище:  
— Смена его, сторожевым, поднялся по карьерной лестнице, — неуклюже рисует она улыбку на лице. — Я следила за ним все последние шесть месяцев...

Морщинки вокруг глаз стали глубже, такие же расцарапали лоб, стрелами прошли по вискам. Она не слышала больше мужа внутри, его половинки, она затаилась в ожидании. В режиме ожидания работает и сердце, и душа свернулась в тугую, кровоточащий узел.

Пётр отлично рисовал невидимое, несуществующее, он бы запросто изобразил душу, истекающую кровью, распятую, рыдающую алыми слезами...

До некрополя «Северный простор» вызвали такси.

— Из окраины в окраину, — это Муха про друга Петрушу с его замкнутым мирком.

— Он часто неделями из кладбища не выбирается, — уточнила, — живет в своей сторожке. Перед отъездом заметила, стал общаться с молодым парнем, видимо, журналист из местной газетки статью пишет, репортаж, щелкает фотоаппаратом, чуть в объектив не угодила. — Ольга говорит и нервно, снова, и снова, и снова прилизывает волосы обеими ладонями, снова, и снова, и снова затягивая коротенький хвостик в резинку.

Водитель, толстяк в белой бейсболке с красной надписью SEX, молча ведет свою «Тойоту» с горестным, каменным лицом, не обгоняя, не превышая скорость, предусмотрительно выключив приемник, всегда настроенный на волну радио «Шансон».

Ольга оставила волосы, отметил Муха, принялась терроризировать часы на запястье:

— Боюсь даже думать о том, что может произойти, — говорит и вздыхает, вздыхает она через каждую секунду, воздуха в салоне скоро не осталось, и она приоткрыла окно, подставила под ледяной ветер скуластое, посеревшее лицо и вздыхала, и не могла вздохнуть...

— Простынешь, — перегнулся через Ольгу Муха, закрыл окно. — Сегодня, Оля, все закончится. Слышишь?!

«Пришло время собирать камни», — решил добавить, но вспомнились слова ясночувствующей, сказал:

— Все вернется, оживет. Запечатываются могилы, подуют новые ветра!

Улыбка промелькнула, посветлел взгляд, заалели щеки:

— У тебя дар, Муха.

Муха ответил:

— Да, я знаю.

Впереди справа появился угол забора кладбища.

Приехали.

## И

Есть места, где невольно, инстинктивно ощущаешь себя уязвимым. Смирившимся с участью гостя на этой планете. Раздавленным и одиноким...

Оградки, перекошенные древние кресты — от деревянных до железных — мраморные памятники в цветовой гамме всех оттенков (от белого до черного), режущая ярость искусственных венков, хмурые сосны, костлявые березы, паутина замерзших кустарников роз, где-то окаменели так и не раскрывшиеся бутоны. Последнее пристанище человечества. Точка невозврата.

Пётр решил не возвращаться — протекла мысль в голову Ольги сразу, как въехали в грязные, серые ворота кладбища.

«Невозвращение» — прилипло к нёбу слово, и, чтобы избавиться от него, она произнесла его вслух.

Надо озвучивать все, что желаешь и чего боишься, тогда это произойдет или не сбудется — так считала ее покойница бабушка.

— Невозвращение.

Выбрались из душного салона на мороз.

— Даже отсюда возвращаются, — подал голос водитель, тихо с хрипотцой сказал: — Главное — верить, а когда веришь, то и мертвые возвращаются.

У центральных ворот по левую сторону — одноэтажные домики-бараки, темные окна без занавесок бросаются в глаза похлеще букета яростных красных маков из пластмассы, запиханных за дверную ручку. «Администрация», — гласит самодельная вывеска из картона, сегодня в ней тихо, один директор отдыхает от семьи, от очередной разгромной статьи Вия Тришки, сулившей ему неприятности, от всей этой чертовой жизни вне кладбища. Развалился в кожаном кресле, закинул ноги на рабочий стол, заваленный бумагами. Он с детства мечтал вот так устроиться, и чтобы весь этот мир ему завидовал, маленькому пупсу с комплексом Наполеона.

Ему глубоко насрать на все, что творится вне этой комнатки с греющим во всю мощь калорифером и ящиком пива в морозильной камере.

— Это мой мир, — повторяет в сотый раз директор кладбища, — мой! И мертвецы все мои! И могилы! Памятники все мои, и ограды все... Могильщики все мои...

Таксиста отпустили, приподняв козырек бейсболки, угрюмый водитель не сказал больше ни слова, мигнули габариты на прощанье.

Посыпал мелкий снежок.

— Потеплело, нет?

Ольгу знобило, и она лишь повела плечами.

— Мертвые греют землю, — продолжал Муха, пока они шли к самому мудрому домику ночных сторожей, — разложение, реакция и все такое...

Ольга может только кивать, ни слова, ни звука... Она уже не вздыхает, все замерло в ней, приготовилось. Умереть или воскреснуть.

И место подходящее — конечная остановка последнего пути. Дальше — Вечность.

Муха говорит:

— В детстве думал, что земля на кладбище живая. Земля так и так живая, но здесь со всеми погребенными телами, химические реакции, газообразование еще никто ж не отменял и прочее...

Окно в сторожке — единственное, занавешенное, грязный серый кусок тюля с дырами для глаз чтобы не задирать каждый раз занавеску, посмотреть, что творится на улице.

— Его там нет, — раньше, чем Муха постучал в выкрашенную желтым цветом дверь, сказала Ольга.

Дверь не заперта, Муха распахнул ее, в нос ударило разогретой сыростью, пропитавшим стены и все вокруг потом, свежей заваренной китайской лапшой.

В ровном квадрате комнаты: две кровати, стол у окна с тремя табуретами, электроплита, два обогревателя, телевизор — увидел Муха. Ольга видела синий пуховик мужа на вешалке у входа, его зимние ботинки на меху в углу.

Потянулась, прикоснулась к одежде мужа половинка Ольги, душа всунула руки в рукава пуховика, опрокинулась лицом в ворот, впитала запах родной и любимый — его не смогло убить ни время, ни жесткий запах дешевых сигарет.

Она забралась в его ботинки, потопала в них по дощатому полу, ощущая всю тяжесть и легкость одновременно, подпрыгнула, и... улетела бы напрямик туда, где он — одинокий, потерянный — ждет...

— Пойдем, найдем его, — вернул Ольгу на порог сторожки и реальности голос Мухи.

Нехотя вернулась. Муха прикрыл дверь и уверенно, будто вправду знал, где искать друга, пошел в глубь кладбища.

Следы торопливо заметал снег, он пошел хлопьями, сделал некрополь привлекательней для глаз измученной женщины, белая мельтешащая пелена и спина Мухи-проводника — все, что видели глаза, сердце видело намного дальше, глубже...

«Карта, — про себя думает она, — у них с детства куча всяких карт: карта сокровищ, звездная карта, карта Вечности... Вот и карта кладбища, карта к другу, к новой жизни карта...»

Налетела на неожиданно остановившегося Муху. Мужчина ткнул пальцем на убранный от снега, судя по всему, совсем недавно, памятник. Мухин Александр Иванович покоился здесь.

Они переглянулись.

— Верной дорогой идем, — сказал, зашагал дальше.

— Знаки? — скорей саму себя спросила.

— Сердце, — прозвучал ответ.

Карта, знала Ольга, в них с тех самых пор вмонтирована карта, в самое сердце. Иначе и быть не может, иначе это не объяснить — поворот, еще поворот, срезают угол у мусорных баков, снова поворот, коротким путем Муха привел их в новую часть кладбища с рядами заготовленных могил меньше чем за десять минут. Ольга тратила на это минимум полчаса.

От белизны рябит в глазах. Белая пустота с сотнями черных дверей в небеса, небо белое, пустое.

Листы шифера громадным сугробом, тут же должна быть вырыта могила, где Ольга видела мужа три дня назад. Нет могилы. От костра из покрышек ни следа. Снег подчистил прошлое. Вычеркнул, в точности как вычеркнул все из своей прошлой и настоящей жизни Пётр-Петруша.

— Быть этого не может, — вертит головой Ольга, вертится сама, — это то самое место, только...

Слезы еще больше исказили пейзаж, размазалось все, расплылось...

Муха взял ее под локоть, вытер тыльной стороной ладони воспаленные, мокрые глаза.

— Что ты, Оль, мы же нашли его.

Он повернул ее голову и слегка пригнул, чтобы она увидела.

Слегка запорошенный лист шифера прячет внутренности свежей могилы. Из самой большой раны-дыры тонкой струйкой дым, это Пётр курит, сидя на своем рюкзаке, и пускает сизые стрелы, чтобы в могиле было чем дышать.

Муха достал из нагрудного кармана кусочек Вечности. Теплый, свернутый в аккуратный квадрат лист бумаги. Карту.

Сел на корточки.

Тут Ольга отдернула его за ворот куртки, стой, быстро достала из сумки браслет «змейку». Муха понимающе кивнул, взял его, и вместе с картой сокровищ просунул в щель, в могилу. Постучал условным с детства стуком позывным. Тук, тук, ту-дук.

Два сердца над могилой перестали биться. Шумел снег, ложась ровным слоем на землю, запечатывая время, грехи, ошибки и страхи... Снегом небеса, как могут, очищают наши души от грязи, ненужного хлама, мусора, делают нас хоть на чуточку чище. Возвращают нам нас настоящих.

Минута, а карта с браслетом все еще в руке Мухи, сжал кулак, чтобы повторить условный стук, невидимая рука забрала «подношения».

Муха довольно кивнул, поднялся. Борода усыпана снежинками, снег на голове, вылитый Дед Мороз. Ольга невольно улыбнулась.

Половинка мужа пробудилась, заволновалась, вырвалась наружу, проскользнула в щель, а щель стала шире, еще шире...

Лист шифера обнажил могилу наполовину. Люди на земле смотрели на человека под землей. Пётр щурится, озирается, прикусив нижнюю губу до крови, в руках раскрытая карта и колечком змея. В грубых, с несмываемой черной каймой под ногтями, ссадинах и мозолях руках — Вечность.

Ольга прикусила губу, в точности, как и муж. Муж и жена...

Сергей Мухин снова присел на корточки, сказал:  
— Петрушка, — и улыбнулся, как мог улыбаться лишь он — бесконечной улыбкой.

Мужчина в могиле улыбнулся такой же улыбкой:

— Муха, — сказал.

Перевел взгляд на женщину, протянул браслет:

— Олька.

Ольга закрыла лицо руками, половинка мужа вернулась, плюхнулась с размаху в сердце, где и растворилась...

— Наша карта, — помахал бумажной частичкой Вечности, — я нашел там себя. Нашел всех нас.

Муха сказал, раскрыв перед другом детства широкую ладонь:

— Давай выбираться уже отсюда в мир живых.

Петрушка спрятал сначала карту со змейкой, сунул их за ворот телогрейки, принял ладонь.

— На счет три, — скомандовал друг, — и, три!

Пётр выскочил из могилы, как тряпичная кукла Петрушка в красной рубашке и колпаке с желтой кисточкой выпрыгивает на сцену кукольного театра, пугая и радуя одновременно маленьких и больших зрителей.

— Я вернулся. Живой!

Жена обняла мужа, Муха обнял друга.

— Мы все вернулись!

А в могиле на рюкзаке — недоделанный треугольник оригами, бумажная половинка звезды. Белая на черном. Люди ушли, не увидели, как снег сначала покрыл всю черноту белым, а потом забрал половинку с собой на небо. Там ее место. Там есть место для всех.

Для тех же, кто нашел себя, нашел своих людей на планете Земля, небом становится земля, и небо радуется за таких людей всей своей громадной душой-Вселенной, посылая в награду маленькие чудеса, награждая медалями звезд.

Пётр не стал переодеваться. Оставил все кладбищу и мертвецам. Сказал лишь, что дельце одно, и исчез ненадолго в домике администрации, откуда выскочил, хохоча во все горло:

— Бежим, кто быстрее! — прокричал.

Троица дружно побежала вон из обители мертвых.

Директор, всегда напоминающий Петру курицу-наседку, выскочил следом за подчиненным, держась за побагровевший лоб:

— Мухин, ты уволен! — завопил так, что сорвал голос, только его никто не услышал.

Они остановились, чтобы отдышаться. Остановились у железнодорожного полотна. Ольга не понимала, зачем и для чего, но была согласна на все — хоть в могилу и жить там.

Взрослые мужчины превратились в двенадцатилетних мальчишек, смеялись, глядя на воробьев, и строили друг другу рожи... Ольга, впрочем, не отставала — распустила волосы, начесала челку, как в юности на утренники, вспоминала она, играя кикимору болотную...

— Чего ждем? — спросила Кикимора.

Муха ответил:

— Ты, главное, беги изо всех сил.

Петрушка сказал:

— Я возьму тебя за руку, понесу если что...

Кикимора, довольная таким положением вещей, весело запрыгала, сначала на одной ноге, потом на другой.

— Муха, — вдруг спросил Петрушка, — а что это было за слово? Тогда, перед тем, как ты нырнул в соковища?!

Гудок приближающего поезда.

Муха говорит:

— Так, встали в одну линию. Приготовились.

Появился поезд, разрезая белый, чистый лист бытия желтым лезвием фар.

— На старт, — Муха согнул колени, — внимание...

Петрушка с Кикиморой взяли за руки.

Поезд поравнялся с троицей друзей.

— Марш!

Они побежали. Обгоняя поезд, догоняя ветер.

— Слово, Муха? Что это было за слово?.. — перекрикивая грохот поезда за спиной и свист ветра в ушах.

— Не помню! — кричит в ответ друг, — что-то на букву «а»!

— Айл би баг?

В ответ Муха смеется, смеется Кикимора, и Петрушке ничего не остается, только как поддержать близких, родных людей.

— Давайте поднажмем, чтоб со скоростью света! — громко предлагает Муха.

И они разгоняются, оставляя поезд на Москву далеко позади, оставляя кладбища и могилы, чудовищ и недосказанность, сомнения и неуверенность, страхи и боль...

Бежали, летели, превышая скорость света, пока не зажглись в опустившихся сумерках первого ноября яркими звездами. Образовав новое созвездие на букву «А».







**РОМАН**



# БЕЗДОМНЫЕ КОМНАТЫ

(Роман-круг)

## ВХОД. ОН ЖЕ ВЫХОД

Комната 30

### *Штрихи к автопортрету у открытой двери*

Я выбрался.

Первое, что произнес художник после двух дней немого небытия.

— Я выбрался.

Рассказала сестра-сиделка, старенькая, почти прозрачная, она поправила иглу в вене на его правой руке, погладила, как родного, по голове:

— Выбрался, конечно. Выкарабкался. Почти трое суток без сознания был. Твои друзья тут в тайне все держат. Кудрявый, вон, ночует, не уходит, серьезный такой. Я скажу, что ты очнулся, после осмотра, сейчас врач придет.

Осмотр занял почти час, врач, хоть и был знакомым хорошей знакомой, подозрительно переспрашивал, недовольно ворчал, цыкал и мотал головой, исписал пять листов с обеих сторон, художник считал.

Перед появлением друга незаметно (от самого себя?) прикоснулся к ушам.

Мешали шапки бинтов, и непонятно, болели уши или вся голова целиком?..

«Вроде на месте», — утешила мысль, успокоила на время. Впереди долгие расспросы, вопросы: что? как? зачем?

Ответы он не знал.

Не помнил?..

Память осталась там, в лабиринте, блуждать одна-одинешенька в поисках ответов — такой ответ никого не устроит. Но это было так. Почти так. Он выбрался, больной, с букетом болячек (еще предстояла беседа с доктором от психиатрии), с ощущением в районе души (там теперь пустота?), душа тоже осталась там, в лабиринте, в комнате 30 среди картин и...

— Минотавр!

Илья привстал на локтях, попытался заглянуть в высокое окошко. Не вышло.

Чудовище лабиринта, оно сожрало его душу и память, пыталось проглотить тело — не вышло, слишком костлявый. Подавившись острыми ребрами, оно выплюнуло художника.

Выбрался, словно Иона из чрева кита, художник из кишок комнаты, где на обоях тысячи глаз, и сердце стучит под полом, и дышит потолок, и призраки оживают. И картины. Его цикл комнат. Его кошмары, ставшие реальностью...

Сны общаги?..

Он не успел придумать название, и последняя работа осталась неназванной, а значит бессмертной. То, что не названо, не имеет имени — вечно. Оно не существует, а значит, не может умереть...

Как уничтожить то, что из других миров?.. Из мира, где нет лиц? Где призраки?..

Это мир комнат...

Автопортрет — последняя неназванная картина, это автопортрет у открытой двери. Незаконченный, он ждет его там...

Савва, кудрявый друг, ввалился с матюгами в палату.

— Что все это было? — единственное цензурное, что произнес он, пока снимал куртку, пододвигал стул поближе. — Ты там в этой общаге совсем с катушек слетел, мать...

— И тебе здарсьте, — криво улыбнулся. Нижняя губа опухла и кровоточила, видимо, прикусил, потеряв сознание, несколько дней назад (сколько?) в своей мастерской, в месте, которого нет.

— Я, как не смог дозвониться — «аппарат абонента выключен», — пулей взял такси...

— Ты видел картины?! — неподдельный страх натянуто-хриплыми нотами, и ужас увеличивает черноту зрачков.

— Не до картин было!.. Твою душу!.. Ты весь в кровище на полу распластался, как Христос распятый. Не понять, краски это твои или ты что с собой сделал... Меня вонизма одна добила. В охапку тебя сгреб, ты не дышишь, хорошо, знаю, что делать...

Илья кашлянул, не сдерживая смешок:

— Скажи еще, что делал искусственное дыхание мне?..

Друг щелкнул пальцами:

— Как в воду....

— Рот в рот?! — Художник поперхнулся смехом.

— Мне честно, бля, не до смеха было, рот в рот, конечно.

— Теперь ты обязан на мне жениться, твою мать, Савва! — сквозь смех и кашель. — И не отвертись.

Савва не выдержал, стены серьезности рухнули под заразительным хохотом друга:

— Тебе придется забыть тогда про художество, борщ научиться готовить и плов с фруктами — сможешь?!

Илья честно сказал «нет» и тут его как подменили, шепотом, без намека на веселость мгновенье назад:

— Комнату ты запер?!

Савва, все еще улыбаясь, во все лицо:

— Так замок же сам захлопывается... А если даже не запер, там такой бардак!..

Илья откинулся на подушку.

— Открытые двери — что открытое море, космос... Бесконечность...

— Квартиранты с картин, думаешь, разбегутся?..

Художник, соглашаясь, моргнул.

— Там что-то поселилось, хорошо, если это плод моего воображения, мой бред. Но нечто выбралось из всей этой браги...

— Браги? Нечто? У тебя срыв нервный был, гены прорвались наконец, заговорили, высвободились. Год сидел взаперти со своими картинами, вот и результат... Ты пьяный был, перегар с ацетоном — то еще амбре... Тут все что хочешь померещится и оживет...

В возникшей тишине Илья попытался вслушаться, но тишина рождала тишину. Никаких посторонних, больничных звуков, кроме урчащего желудка посетителя и дыхания.

Изоляция ему на руку. Подальше от хаоса. Хаос мог выбраться из телефонных гудков, из комочков пыли и теней...

— Какой сейчас год? Шестнадцатый?.. — Тихий голос художника. Савва не успел ответить, как тот воскликнул: — Нет! Нет! Не говори! Пусть время идет своим чередом. Я насмотрелся на все его штучки. Помнишь повешенного соседа?.. Могу предположить, что расщепленная губа — его кулака дело...

Не найдя слов, Савва мотнул плечами:

— Ты еще, видно, под лекарствами, весь такой потерянный во времени и пространстве...

Минотавр прошел сквозь время вспышкой в больном мозгу.

Картинки завертелись, как в калейдоскопе, кадры из другой жизни, другого мира: раз, два, три, четыре, пять — рогатое нечто, прикатившее из небытия в гробу на колесах, выбирается из жуткого транспорта.

— Шесть, семь, восемь, девять... — дышащее чернотой, оно стоит в открытых дверях.

— Десять! Счет окончен, — рычит чудовище.

— Матери не звонил, не стал пугать, Алиска только знает. Понимаю, ты был бы против, но я решил, что ей-то надо. И да — у нее твоя группа крови, если че...

— Мы с ней помирились. Кажется, — вяло, словно засыпая, промямлил. — Ты, главное, пообещай мне, поклянись.

Савва нагнулся, чтоб лучше слышать, и услышал:

— Там живет огонь, его надо лишь разбудить.

Друг ждал. Илья закрыл глаза, тяжело задышал. Савва поднялся и тут услышал:

— Сожги их все, — вынес приговор еле слышно. — Сожги их все!

Художник уснул.

Лишь открыв глаза и убедившись, что все так же в палате с маленьким окошком, в бинтах и с капельницей, а не в тридцатой комнате у открытой двери, встречающий безумие (оно, говорят, заразное), Илья расслабился, выдохнул:

— Выбрался.

И поймал то чувство уже виденного, дежавю, — он уже говорил это вроде бы день назад, в палате была сестра-сиделка старенькая, прозрачная.

Художник улыбнулся.

Вечером, вспомнил, в очередной раз приходил Савва.

— Или я, или эти обои, — сказал тогда тихо, словно самому себе, Илья.

Савва тупо огляделся. Обоев в больничной палате без номера (ох уж эти номера!) не было. Окрашенные в голубой цвет голые стены, плохо побеленный потолок, тумбочка, на ней лекарства, фрукты, блокнот с карандашом...

— Обои у тебя в общежитии?.. — пробасил.

— Говорят, это были последние слова Оскара Уайльда: «Или я, или эти обои». Обои победили, о да. Вещи всегда побеждают. Неживые потому что. Хотя в случае со мной все началось с обоев как раз-таки.

Савва промолчал. Художник продолжил:

— Если это даже временное помешательство, все равно первыми ожили обои в той комнате. Рисунок на обоях... Хотя... проехали. Все изменится, если ты сожжешь все картины в той комнате. Не задумываясь, спалишь к чертям собачьим.

Савва достал из кармана спортивных брюк смятую до неузнаваемости пачку сигарет «Винстон»:

— Ты хорошо обдумай это еще, хотя бы денек, приди в себя... Чтобы не сожалеть, ты же понимаешь... — На колени упали коричневые стружки табака.

— Мы такие слабовольные, бессильные даже перед простой зависимостью. От всего зависим. От близких, от сигарет... Привязаны к мелочам. Мы рабы привычек, — озвучил мысли бросающего курить друга художник. — Я знаю, что эти мои комнаты, то, что я сотворил там, они стали моей болезнью. Заразили меня!

— Рабы, — задумчиво, в пустоту, себе под нос сказал Савва и сжал кулак, бумажный комочек с крошками табака убрал назад. — Ты подхватил болезнь от своих картин, так?

— Так... — Илья подмигнул. — Я напишу новые. Но чтобы сотворить новое, надо разрушить старое. Расстаться с ним безжалостно, жестоко.

Стук по раме окошка стал одобряющим знаком.

Тук-тук-тук.

— Кто там? — Поднялся, нервно задергалось левое веко. — Неужели и здесь они нашли меня, — прошептал художник, но стукача не увидел.

— По-моему, это снегирь или дятел. Дятел, точно.

Илья задрал голову, но увидел лишь кусок синего неба, голые ветки дерева.

— Хорошо не голубь, а то был там один... — Упал на подушки. — А, к черту. Птица с окровавленной грудью — хороший символ — к огню.

Птица стучит:

— Тук-тук...

Илья говорит:

— Сожги все по одной, за общагой есть пустырь, там и сожги, но по одной, чтоб наверняка.

Потом он уснул — теперь он много спит, и снится ему всегда одно и то же. Открытая дверь с темным силуэтом на пороге.

— Решено, — снова и снова говорит в тишину Илья, готовясь к встрече с другом, репетируя ответ. Голос от таблеток или со сна изменчиво тих, вял.

В себе мы рычим львами, а выдаем — жалкий мышинный писк.

Через час пришел Савва с пакетом еды:

— Говорят, ты не ешь толком, решил вот с ложки покормить, — обдавая свежим запахом уходящей зимы.

— Покормишь хоть изорта, но сначала сожги их все! — громко, почти рыком.

Савва сел:

— Это твое крайнее решение?

— Крайнее не бывает.

— Если это и вправду излечит тебя — я хоть всю эту твою гребаную общагу спалю, — вытащил из пакета на тумбу пластиковый контейнер с супом.

— С каждым мазком они высасывали из меня меня же. Питались мной. Кормежка — я это так называл. Думаешь, откуда эти порезы на руках? Я кормил их кровью, смешивая ее с красками...

Говорил он, закрыв глаза. За веками художник опять стоял в комнате перед открытой дверью...

— Все вы художники того, — отшучивался друг. — Я подозревал, откуда у тебя такой насыщенный красный цвет.

— Сожги их сегодня же, — открыл глаза.

Друг кивнул:

— Сегодня. Вот Алиска сменит меня, и съезжу, сожгу.

— По одной.

— Хоть вместе со всем общежитием!..

Илья решил: отлично.

Савва спрятал задрожавшие ладони в карман.

Птица с окровавленной грудью вернулась ближе к обеду.

— Тук-тук, — продолжался счет.

— Посланник из мира комнат, — отметил художник. —

Они знают, что скоро им конец. Ты там поосторожней.

Друг жевал мятную конфету, промычал.

— Тук-тук...

— Странно, что не у дятлов мы спрашиваем, сколько нам жить осталось, а у кукушки. Дятлы могли бы нехило настучать...

Пришла очередь ириски — так мужчина боролся с желанием покурить.

— Тс-с-с, — неожиданно Илья вскинул руку. — Слушай.

Савва проглотил конфету. Прислушались. Дятла не слышно.

Слышно, как в соседней палате играет музыка и кто-то стучит в такт ей по спинке кровати или по тумбочке:

— Тук-тук-тук-тук...

— У тебя, походу, сосед за стенкой завелся, — забросил очередной леденец в рот. — И, походу, жесткий меломан.

Иногда они возвращаются — избитое выражение пыталось взорвать черепную коробку, чтобы быть услышанным, Илья прошептал:

— Это больше чем знак. Сначала голубь, теперь — это.

— Дятел, — поправил друг.

— Это, бля, Чайковский! — с надрывом, злобно, прикусив нижнюю губу. — Дятел тебе!

Савва театрально развел руками, запел:

— Ала бала Чайковский, улица...

— Ты че, не понял?! — перебил криком художник. — Это «Щелкунчик»! Чайковского! Любимый балет самоубийцы из двадцать восьмой комнаты! Миша пове-

шенный, помнишь?! Тот, что... Они нашли меня! Они выбрались, как и я!.. Следом за мной!.. Выкарабкались!..

Илья укрывшись одеялом с головой.

— Миша? Повешенный?.. — Савва выплюнул сосательную карамель в фантик. Незнакомая мелодия, приправленная постукиваниями, стала громче.

— Сожги, — глухо донеслось из-под одеяла. — Сожги их. Прошу.

Кудрявый друг встал:

— Я же обещал! И это... Я скоро вернусь.

В больничном коридоре лампочки на 60 ватт горят через одну. На стенах висят пожелтевшие, нарисованные от руки плакаты. Обо всем на свете: начиная с проблем кожи, кончая проблемным жидким стулом.

Савва смело, чего требовала мускулистая фигура качка, постучал, не дожидаясь ответа, заглянул в палату с номером 10, откуда доносилась музыка с надоедливым аккомпанементом. Тук-тук-тук-тук-тук...

— Извините.

Вместо повешенного соседа из общежития на кровати с радиоприемником в обнимку — лысый старик.

— Выключите эту дребедень, пожалуйста, или наденьте наушники, здесь вам не курорт.

Старик слепо моргает, вглядывается, в палате пахнет разложением, гнилью.

— Выключить?! — переспрашивает громко.

Кудрявый качок почти кричит:

— Да, выключите!

Старик поворачивается, нажимает кнопки на приемнике, музыка играет еще громче, еще... Старик хихикает:

— Хе-хе, не хочет убавляться, хе-хе-хе...

Два шага — и Савва у розетки, одно движение рукой — и вот уже стариковская шарманка покоится в дальнем углу подоконника вместе с кусками окровавленной ваты и стеклянными банками.

— Вот вам и хе-хе!

— Это же Чай-коф-фс-с-кий, — стонет старик.

— Чай. Кофф. Шел бы он!..

И никакой жалости к старику. Ничего внутри, лишь тупое постукивание, долбежка: тук-тук-тук...

— Дятел это, а не Чайкофский. Его давно сжечь надо было, чтобы никого не калечил.

От безумной реплики повеселело.

Старик смотрит на незваного гостя, губы и дряблый подбородок трясутся, старик плачет. Без слез.

— Это «Щелкунчик»... Это Чайковский... Великий композитор и чародей. — Старик набирает в легкие больше воздуха, с хрипом, со свистом выдает: — А вы... вы хулиган и дебил.

— Не включайте больше приемник, дедуля, иначе...

Старик замер.

— Не болейте, — Савва вышел из палаты.

В палате у друга рассмеялся:

— Ты меня заразил, походу, своей ненормальностью, сумасшествием...

На стуле девушка в больничном халате, обернулась, это Алиса.

— Развлекаетесь тут без меня, — роскошно, по-голливудски улыбнулась она.

Савва улыбнулся в ответ:

— Сколько стоит старый радиоприемник?

Единогласно решили, что художника покормит супчиком Алиса. Пока Савва разберется с кое-каким неотложным делом.

— Безотлагательным и жизненно важным, — поднял указательный палец Илья и подмигнул.

Алиса посмотрела на друзей:

— Мужская солидарность, понимаю, только большинство бед именно из-за нее — так, к слову, мальчишки.

Савва сказал:

— Согласен с тобой.

Илья погрозил ему пальцем:

— Спасибо за тишину.

— Мне, правда, надо. Я если не сегодня, то завтра с утра как штык, — пожал палец другу, погладил Алису по голове.

— Как на войну — ощущение — уходишь. — Алиса шлепнула мужчину по заду.

Илья закашлял.

— Ага, — Савва тихо закрыл дверь.

— Ощущения меня еще никогда не подводили, — повернулась к больше чем другу она. — Интуиция женская, знаешь ли...

Илья перестал кашлять:

— Знаю. Только мы всех победим, ты же знаешь.

Она сказала:

— Знаю.

Попросила:

— А теперь открывай шире рот, чтоб не пролить. Буду тебя кормить.

Илья послушно открыл рот.

В больницах чувствуешь себя больным. Савва выскочил из дверей приемного покоя и вдохнул свежесть пасмурного зимнего дня.

За забором серой пятиэтажной больницы автобусная остановка.

И природе вокруг больницы тоже поставлен страшный диагноз, как и многим ее обитателям. Редкие птички на скрюченных костлявых ветках, сморщенные, покрытые коричневыми язвами прошлогодние листья, и солнце светит бледненько, будто сквозь марлю.

Савва развернул конфету, подбросил, поймал ртом, а в голове один безобразный образ Щелкунчика и сводящее с ума «тук-тук-тук...»

Побежал, громко топая по асфальту, стараясь хоть на минуту перебить этот стук в голове.

Тук-тук-тук...

Так стучит тревожное, испуганное сердце. И этот стук убивает.

Тук...

Место, которого нет, находится на отшибе. Автобусом добираться — как пешком до Луны.

А это и есть Луна, самая настоящая. Савва шагал к двухэтажному зданию, карамели закончились, и в голове стучало его напуганное сердце. «Напуганное — это совсем не то слово», — думал Савва. Он с детства научился ничего не бояться, кроме одиночества и смерти близких людей. Сердце колотили чувства, лупили, как боксерскую грушу со всех сторон, — отчаяние и безвыходность...

Ему предстояло нелегкое дело — уничтожить произведения искусства.

Он ценит все, что делает друг, они знакомы целую жизнь, они столько пережили... Илья — отличный друг, верный и сумасшедший. И необыкновенный художник, это подтвердят эксперты из мира искусства... Сжечь все, что он сотворил за последние месяцы, — как-то неправильно. Не по-человечески.

Предательством же будет — если он не уничтожит картины.

И эти мысли запутывали... Пугали своей нереальностью. Это происходит не с ним, а если с ним — то где-то не здесь, не на планете Земля. На Луне.

Все стало ирреальным. Мир изменился...

Савва словно завис в невесомости где-то над лунным кратером. Шаг, как во сне... Медленно... И вот ты уже паришь над землей...

Не чувствуешь себя. Своего тела. Сердце, оно больше не колотится...

Идти по воздуху легко и необыкновенно. Невыносимая легкость небытия — вот она...

И руки не его, он их совсем не чувствует... Ключ в замок, щелчок — и всплываешь в комнату с номером 30. А там девять картин глядят на тебя, полные жизни, тьмы и света.

Закреть дверь, Илья терпеть не может открытые двери...

Савва болтается посреди комнаты среди живых картин. На картинах комнаты.

Вот он узнает комнату 27 — на ней молодая пара. Илья, чтобы оживить полотно, украл у них что-то... С нее и надо начать. Сжечь ее первой.

Рукой в карман, а там — лишь смятая сигаретная пачка и ни крошки табака. Ни спичек, ни зажигалки.

Есть фантик с завернутым недососанным леденцом и...

Снизу на него смотрит перевернутая последняя работа друга.

Картина без названия, но самая узнаваемая из всех. Это он смотрит на себя в проеме открытой двери. Он. Вот эти надоедливые кудряшки в глаза, квадратом челюсть, сломанный в двух местах боксерский нос...

Савва узнал себя. Улыбнулся себе, помахал сверху. И что это?.. Он, написанный маслом, помахал в ответ?..

На Луне все вверх тормашками.

Решительно выбросив бумажный комок, он стремительно опустился. Собрав все силы, поборол невесомость, опустился, обрушился вниз. На себя. В себя. Влетел, попав берцем себе по лицу. Лицо с кудрями и сломанным носом треснуло, разлетелось со звоном разбитого зеркала.

Остался один пустой проем открытой двери комнаты с номером 30.

## ПОЙДИ К МУРАВЬЮ

### *Новая Библия и глушитель АнтиМеркель*

Сигнал из космоса Виталий поймал через три месяца после увольнения. В ночь на девяносто четвертые сутки бессмысленного просмотра телевизора мужчина, допивая очередной баллон пива, вдруг понял, что значат эти мельтешения белых и черных точек на экране.

— Есть сигнал, — отрыгнул он и сел писать книгу.

До сокращения Виталий работал в городском управлении строительства инструктором по технике безопасности.

— А что урезали меня, — делился он с женой Викой, — так потому, что прознали, что в Высший Вселенский разум верю я больше, чем в политику. И что не знаю, кто такая Ангела Меркель.

— Канцлер Германии, — тихо подсказала жена. — Первая женщина на этом посту. — Помолчала и закончила с глубоким вздохом: — На нянечкину зарплату мы не потянем ребенка.

Он пообещал что-нибудь придумать и, выманивая у жены деньги на пиво, упорно ждал прямой трансляции с неба.

— Главное — чистый разум, — разъяснял. — Открытые каналы и чакры. Если не медитация. А в комнатке общежития какое может быть созерцание?.. Никакой трансцендентальности не постичь, не открыть, не выйти, разве что до толчка. Тогда альтернативой медитации может стать алкоголь. Ты же, Лунка моя, не думаешь, что я тупо напиваюсь?..

Виктория вздыхала в ответ и повторяла:

— Я помню тебя таким веселым анархистом. Изобретателем. Верю в тебя. Знаю, что ты находчивый.

Мы выкрутимся... Но прошу — Лункой не называй меня, я же Космосом тебя не называю, уже сколько раз говорила, звучит как-то пошлово.

Муж обиделся:

— Это для плебеев-простолюдинов, верующих в силу власти, политику и в Ангелу Меркель, «Лунка» звучит пошлово. Луна — спутник Земли. Ты — мой спутник. Мое отражение Солнца. Луна же солнечный свет отражает ночью, — уточнял. — Ласково, уменьшительно-ласкательно я зову тебя Лункой. Луночкой.

Девушка выдыхала:

— Ну, не на людях...

— А что есть человек?.. Все эти начальники из управления, все эти президенты, депутаты? Кто они? Разве люди? Ангела Меркель эта? Кто? Люди не могут управлять людьми! Только Высший разум. Космический...

И Виталий, принимая необходимую дозу медитативного алкоголя, слушал Космос. В белом шуме радио и телевизора. На девяносто четвертые сутки он услышал и проникся космической мыслью.

— Это будет Книга Книг, — метался по комнате, истерично расчесывая замусоленную шевелюру, посыпая вокруг себя все белыми искорками перхоти. — Я покажу вам Ангелу Меркель!

Теперь он перестал выходить даже за пивом, до киоска. Просил жену:

— Ты берешь на себя тяжелую ношу. Знаю, Луна очей моих. Жены писателей созданы для страданий, но эта великая заслуга сродни святости.

Он целовал руки, прятал в ее ладонях лицо и всхлипывал:

— Как Софья, не помню точно, Андреевна у Толстого. Как Анна, что была стенографисткой, а стала женой Достоевского. Как няня, няня, в конце концов, Пушкина!..

— Возьму литровую, на больше не хватит, — гладила мужа по голове. — Помыться бы сходил. Подстричься, волосы вон по плечи...

— Давай полторашку, и я в душ сгоняю, а потом писать, писать, писать...

Весь месяц Виталий читал жене строчки будущего бестселлера. Читал с выражением, в разных интонациях и по ролям, читал, растягивая слова и долго размышляя над синтаксисом.

*Виталий Храмов*

**КНИГА**

*Новая Библия*

**ПРОЧИТАВ ЭТУ КНИГУ, ТЫ СТАНЕШЬ БОГОМ. ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ. ВСЕ ИЗМЕНИМСЯ. УЖЕ С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ТЫ ПОЙМЕШЬ ЭТО.**

А еще была реклама в прайм-тайм. «Мировой бестселлер. Книга Книг. Дочитать придется до конца!» — заявляют с экрана ТВ самые знаменитые звезды шоу-бизнеса.

«Дочитав до 25-й страницы, я поняла, что становлюсь лучше, ощутила себя живой, настоящей, нужной!..» — визжит певица.

А на 50-й странице загораются огромные буквы разноцветным сиянием: «**ТЫ БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ!**»

«Это невероятно, — восторгается политик. — Но я знаю, что такое смысл жизни. Я обрел его на 85-й странице Книги!»

**С ПЕРВОЙ СТРОКИ СОТОЙ СТРАНИЦЫ ТВОЕ СЕРДЦЕ НАПОЛНИТСЯ ЛЮБОВЬЮ! ТЫ УЗНАЕШЬ, ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ! И БУДЕШЬ ЛЮБИТЬ, И РАЗДЕЛИШЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ!**

Тут по привычке он прерывался смочить пересохшее горло — желательно, конечно, пивом. В лучшие дни это получалось, в дни сумрака пиво заменяла газировка из соды и уксуса.

Виталий требовал, чтобы жена не перебивала, не переспрашивала («а то снова начнешь про прайм-тайм

спрашивать — когда и что»), продолжал, помня текст наизусть, закатив глаза к давно не беленному потолку:

— Бог есть любовь! Это новая Библия. Такое мог написать только Бог! — восторгается нобелевский лауреат по литературе.

«Ты должен это прочесть! — кричат таблоиды. — Книга, меняющая сознание!»

«Весь мир должен прочесть ее, и тогда наступит новая жизнь. Наступит Рай! Книга-преддверие — мы стоим у врат долгожданной жизни, где все счастливы, здоровы!..» — утверждает ученый.

А начинается книга так:

«Вначале сотворил Бог, теперь небо и землю творю я. Прочитай и узнай, как и тебе, друг мой, стать Богом. И начать творить. Новое небо и новую землю...»

Книга эта называлась «Книга». Ее автором был неизвестный ХВ.

— Это грандиозный дебют новичка в литературном мире. Мировые премии и переводы на все возможные языки мира, — брызгают слюной от восхищения критики. — После Книги никто из писателей не отважится написать лучше! Это путеводитель в Золотое время, о котором все мечтали! И вот оно наступило!

**МЕЧТА СБУДЕТСЯ — ТОЛЬКО ДОЧИТАЙ КНИГУ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ТОЧКИ!** — такими словами заканчивается аннотация к Книге.

Он закрывал глаза и прижимал без того измятые листки к сердцу:

— Это то, что транслировал Космос прямо в самую мою сердцевину, а я выжал уже на лист. Как кровью писал и слезами.

Вика вставала с табурета, целовала мужа:

— Нет слов. Так смело. Непривычно. Дальше что?..

А дальше заглохло — у Виталия Храмова прервалась трансляция. Замолчал Космос.

— Может, обидел чем? — спрашивал тихо себя Виталий, лежа на диване. — Тонкие миры так переменчивы... К примеру, они не переносят политику, власть в какой бы ни было форме. Та же Ангела Меркель могла стать причиной сбоя сигнала. Слишком много ее в этой комнате последние месяцы... Глушит сигнал. Ангела совсем не ангел, я так скажу. Канцлер Германии — звучит как-то враждебно, по-фашистски.

Вот бы придумать заглушку против глушителя Ангелы. Говорю «Ангела» — имею в виду всех политиков Земли.

Пребывая на шаткой границе сна и яви, Виталий увидел глубоко в себе, как должен выглядеть этот прибор.

По форме похоже на радар. С мощными сенсорами, чувствительными к тонким мирам.

— Эх, жаль, не силен я в электротехнике и физике, — томно ахнул и повернулся к стене.

У него давно своя шкала положений на диване. С досконально расписанными мыслями и возможными желаниями во время принятия той или иной позиции.

Например, на спине возможно без движений лежать не более получаса. При благоприятных обстоятельствах, без влияний извне, таких, как физические позывы (зачесалось под лопаткой, скрутило живот), — чуть более часа. Желания попить пиво, лучше светлое, съесть что-нибудь. Можно сладкое. Профитролей. Вспомнить, что соседу Грише из 29-й комнаты занимал пятачку. Обматерить его, плавно перейдя к ругательствам в адрес Меркель. Надругаться над канцлером Германии всеми возможными способами (включая запрещенные), три раза без остановки на перекур в течение десяти минут.

И неправда, что мужчина думает о сексе каждые семь секунд (это получается более восьми тысяч раз в день). Восемь тысяч раз мужчина может подумать о пиве, но никак не о сексе. Про чирей, зудящий в са-

мом интимном месте, будет думать, пока не пройдет. О долгах, которые не отдают... Обиды и обидчиков, на перечисление которых уйдет больше двух часов, — какой там секс...

И не о работе. Работа — враг свободы. Как печать в паспорте. Клеймо на жизни. О работе думать категорически не рекомендуется.

— Это делает нас рабами. Мысли о работе. Поиск работы. Денег на существование. Мы рабы работы. От этого надо избавляться. От мысли даже. Не впускать...

На правом боку лежать проще, спокойней. Мысли о невозможном и непостижимом... Желание ничего не делать и стараться тише дышать. Слушать сердце и урчащий желудок.

С левым сложнее, близость сердца напоминает давящим чувством тревоги, нагнетает плохие мысли. Отгоняет желания, какие бы ни были... Помни о смерти.

Обои на стене по обыкновению, ставшему привычкой, возвращали Виталия в реальность.

Пожелтевший рисунок — голубые розы, заключенные в геометрические фигуры, — вынуждал подниматься с дивана, недовольно бормоча миру вокруг:

— Ну что? Что тебе от меня надо?..

Виктории, если бы на месте жизни была она, от мужа нужно было одно, и она это повторяла и повторяла:

— Найди хоть какую-нибудь работу.

— Дворником?! — восклицал вместо ответа Виталий. — Тебе самой не стыдно будет, если я сортиры начну чистить, а?!

### *Жертва неуставных семейных отношений*

Первый седой волос Вика обнаружила через месяц сожительства с Виталием.

— Знаешь где? — спросила.

Виталий угадал:

— На левой брови.

Вика бросила в него тюбиком крема для рук:

— Видел и мне ничего не говорил?!

Он мотнул плечами:

— А что такого? Тебе очень даже шло...

Еще один тюбик с тумбочки полетел:

— Мне двадцать три, если че!

— Мне двадцать семь, и ни одного седого волосика, — хихикнул, подобрал тюбики и оба швырнул в жену. — Возьмем тебе краску, в чем беда-то? Эт же все мелочи жизни...

Один крем попал в грудь, другой по носу.

Если бы Виктория вспомнила и посчитала, то сегодня ровно три года с той мелочи жизни. Только ей не до экскурсов в прошлое, перед ней вновь нелегкая задача — краска для волос или полтора литра пива для мужа?..

Пересчитала еще раз деньги в кошельке. Сегодня в детском садике праздник, и раздобревшая после шампанского завша отпустила нянечек на час раньше.

Долго не решалась позвонить мужу — «вдруг пишет?». Виталий позвонил сам, сделал дозвон, у него, как всегда, на телефоне не было денег.

— У меня новая идея, — выпалил, когда она перезвонила. — Новый проект, он точно прибыльный. На миллион. Какой там — миллиард!

— Правда?! — вскрикнула радостно Виктория и тут же спохватилась, протараторила чуть слышно: — А не получится, как в тот раз с видеофильмом? Ведь сколько денег и нервов потратили...

Виталий успокоил:

— Это знак свыше. Я задремал после обеда, и мне открылось. Я получил четкие указания и подробную инструкцию.

Выдохнув, Вика сказала:

— За комнату не платили два месяца и компьютер починить не мешало бы...

— Все заплатим, починим. С такими деньгами мы дом купим. Дворец. Съедем из общаги к чертовой бабушке и ребенка заведем, как мечтала.

— Ой, — все, что смогла ответить она.

Муж захлеб продолжал:

— Клянусь, это будет работать и принесет нам реальные деньги. Большие. Меня осенило, как током пронзило. Космическая мысль. Даже страшно стало от осознания.

Он говорил. Вика купила в минимаркете двухлитровую бутылку светлого пива, Виталий рассказывал, как вскочил с дивана и принялся делать зарисовки. Девушка села в автобус, муж объяснял технологию трансляции, как он ее понимает. Через три остановки речь пошла о Божественном замысле и его проявлении во всех, даже скромных идеях:

— Значит, пока, на сегодняшний день, достаточно того, что я написал в Книге. Библию писали почти два тысячелетия, если что...

Она знала, он всегда находит всему оправдание. Себе особенно. А с увеличением числа седых волос в ней крепла вера, что при необходимости Виталий найдет оправдание их разводу.

Сама же гнала подобные мысли. Случись развод, отец не удержится позлорадствовать:

— Я же говорил. Мой глаз-рентген еще никогда не подводил. Сказал: «Ненадолго этот Витя (он нарочно всегда путал и коверкал имена непонравившихся людей, а не нравились отцу все), болезненный уж больно на вид, да и по содержанию... Слушайся папу, он твою общественную, личную и интимную жизнь наладит».

Виталий в приступе паники, которая может возникнуть из-за отсутствия в нужный момент пива в холодильнике, бросался выражениями: «Давай разведемся, если уж так немоготу» или «Недопонимание супругов — первый шаг к раздельному жительству»...

Она и влюбилась в длинноволосого юношу за его своеобразный язык. «Такой образный, золотистый, сказочный», — наделяла она остроты Виталия высокопарными эпитетами. И боялась подумать, что этим он сильно похож на ее отца, любителя «словесных красотостей».

Намеченный, согласно очереди в загсе, день ждали, отсчитывая каждый час до заветной даты, посылая СМС-сообщения: «Котик, осталось 74 дня! Это 106560 минут. Люблю!»

— ...получается, что ты выглядишь как еще одна жертва неуставных семейных отношений, — раздраженно закончил Виталий, а Вика подошла к комнате 27 и открыла дверь ключом.

Из телефона донеслось:

— Это ты, что ли, уже ломишься? Смотри, ни для кого меня нет. Если Гришка в коридоре — он мне должен.

— Нет никого в коридоре, — отключила телефон. Прислонила пакет к стене, пивная бутылка выкатилась к босым ногам Виталия.

— Лунка моя небесная, — и недовольного голоса, раздраженных нот как не бывало, — впереди у нас розовые слоны в кружевах и зефире...

Он поднял двухлитровку. Вика разулась, выдохнула:

— Так что ты там про жертву неуставных семейных отношений?..

Нахмурился:

— Жертву?.. А, это. Я тебе про образ женщины — той же Богородицы — как олицетворение всего женского. Каждая вторая, если не каждая женщина, девушка, девочка... Как она одета? Посмотри! Во что?! Как себя преподносит... Поведение. Жесты. Аура... Все выдает в ней жертву. Семейная жизнь написана в том, во что ты одета. Все семейные склоки и неурядицы у тебя на лице: в твоей губной помаде, в румянах на щеках, в тенях... Ваши отношения с мужем как на ладони в твоей прическе, в перчатках, сумочке с кошельком. Модели телефона. Ведь так?..

Зашипело белыми пузырями пиво, Виталий открыл бутылку, налил полную с горкой пены кружку, Вика перевела дыхание:

— Так давно не секрет, что жена — это отражение мужа.

— Вот, умничка моя, — повесив усы пены, он чмокнул жену в щеку. — Настало время преобразаться.

Виктория вытерла испачканную щеку:

— Ты намекаешь, что я одета не комильфо?..

— Я про тех мокриц в серых юбках и мешковатых свитерах цвета блевоты, с пережженными перекисью волосенками, собранными в хвост, которые на каблуках ходить не умеют, купят резиновые по колено говнодавы и чешут на полусогнутых, как лепреконы в поисках золота. Только их золото — дешевые распродажи и уцененные товары.

Сделал большой глоток и завалился на диван. Вика вышла помыть руки, вернувшись, сказала:

— Так если бы мужья работали и зарабатывали более или менее нормальные деньги, разве жены ходили бы за таким золотом лепреконами?..

Виталий добавил пива в кружку:

— Твоя правда, Лунка, и до мужей дойдем. Все по порядку. Всех же лично не будешь одергивать — это не надевай, то не носи, так глаза не красят, и не сутулься. Надо начинать с большого. Великого. Переодеть и поменять образ тех, кто значит многое для человечества, на кого все равняются, кто может диктовать моду, проще говоря.

— Встречают по одежке...

— Верно, мой лучик. А знаешь, с кого начнем преобразование?..

Пиво дало о себе знать, голос у Виталия завибрировал, «распоясался», как он бы заметил.

Вика сказала наугад:

— С папы Римского.

Муж взвизгнул:

— Белиссимо! Почти попала. Ранила.

*Сними Христа с креста!  
Платья и другие украшения Богородицы*

Фантазии у Виталика хватило на шесть юбок, столько же кофт, три платья, восемь пиджаков, десяток моделей причесок и около двадцати видов сумок и кошельков. На это ушло два с половиной дня, и Виталик решил упростить задачу, копируя платья и прочие туалеты для Богородицы из женских журналов.

— «Космополитен» — для шлюх, уж простят меня невинные создания, попавшие в сети рекламных кампаний. Хотя уверен, найдутся и такие, которые решат одеть свою Богоматерь в наряд из «Плейбоя».

Вика принесла мужу пачку старых журналов моды, и первые три вечера он прилежно вырезал, клеил, раскрашивал... Готовил свою коллекцию.

— Это платья для Богородицы. К набору из всеческих нарядов и украшений должна прилагаться обнаженная фигурка Божьей Матери. Можно с младенцем, тогда бонусом пойдут распашонки, пеленки, чепчики для беби Иисуса.

Виталий загорелся новой идеей.

— Это не какая-то там эфемерная заглушка Анти-Меркель. Это реальная возможность заработать. Прославиться. И почему до этого раньше никто не додумался? — спрашивал себя, спрашивал жену.

Вика вздыхала. Виталий размышлял:

— Потому что это должны быть мы. Космос приберег это открытие для нас. Ведь ничего сложного, заменим в наборе для девочек куклу Барби Девой Марией — и вуаля. Это больше чем игрушка теперь. Твоя персональная Богородица.

— А это не богохульство? — Виктория разглядывала вырезанные мужем из цветного картона нимбы в розовый горошек и с надписями «Я люблю Россию». — Попахивает как-то...

— Это возвращение к вере, — отвечал с легкостью Виталий. — Я еще к майкам и футболкам надписи придумаю, типа «Я выбираю Иисуса!» и «Верующий до конца спасется!».

Ночью же, долго ворочаясь, Виталий никак не мог заснуть. Когда это все-таки произошло (хотя наутро он будет рассказывать жене, что не спал), увидел Богородицу.

— Как с иконы сошла, — вспоминал он, в трусах нервно накручивая круги по комнате. — Вся в сиянии, а нимб — в точности что я нарисовал, со смайликами. И она мне так по-свойски, знаешь: «Виталь, а ты про Сына моего не забывай». Я рта открыть не могу и, как сейчас, в трусах ведь в одних перед ней, стыдно до инфаркта, отступить и прятаться некуда. Молчу, руками прикрываюсь. Она сквозь улыбку: «Я же внутрь тебя смотрю, почему стесняешься своей наружности? Стыдиться надо за то, что внутри».

У меня голос прорезается, я в ответ: «Да-да, все верно, вы как скажете», — бурчу что-то типа того, а она снова про Сына. Я спрашиваю: «Вы про Иисуса?..» — «Сними его с креста, — отвечает Богородица. — Сына моего. Сделай так, придумай способ...» Вспыхнула золотым светом вся вмиг, и я проснулся, а перед глазами стоит это.

Замерев посреди комнаты, Виталий протянул к жене правую руку и написал в воздухе указательным пальцем:

— Сними Христа с креста! — сказал и устало опустился на край дивана.

Вика протянула ему кружку дымящегося кофе.

— Я правильно поняла, это что-то вроде набора с фигуркой прибитого к кресту Иисуса и его надо будет снять с помощью каких-то инструментов? Спасти. Так?..

Муж кивнул:

— Уверен, найдутся индивидуумы, которые снова и снова будут прибивать Спасителя, распинать его вновь и вновь...

Виктория вздохнула:

— Это серьезно уже. И страшно, Виталь. Здесь точно можно схлопотать. Сейчас церковь только тронь — сама распнет любого.

— Да-да-да, — вскочил, подбежал к окну и выглянул в форточку. Снова вернулся, отпил кофе, обжег язык, подкрался к двери, прислушался. — Страшной будет, если идею эту кто-то украдет, — зашептал. — У стен есть уши. Ангелы Меркель не дремлют.

— Говорю «Меркель» — подразумеваю всех, кто против нас? — уточнила Вика.

— Идеи, к сведению, воруют и перепродают. Больших денег доходная идея стоит. У нас в России пока не быстро за идеи платят, но за границей...

Он опять подошел, приложил ухо к двери.

— Нет там никого. Гриша пьяный может только шараться, — успокоила Вика.

— А за стенкой? Заехал же кто-то?.. Женщина?..

— Не Меркель, точно, — засмеялась. — Куплю сегодня газету, посмотрю, может, подработку найду или еще что.

Виталий схватил жену за руку.

— Вот не начинай снова, пожалуйста, — прошипел ей в лицо. — Мне твои намеки только ауру портят. И себе ты карму этим не улучшаешь.

Вика вырвала руку.

— Совсем что ли?! Я тебе про подработку еще в том году говорила.

— Помню. Как раз я книгу начал писать, а ты с мысли сбивала своими вакансиями!

Натянул спортивное трико и футболку, исчез за дверью.

Вика застелила диван, пока убирала белье, вспомнила мать, как она терпеливо подбирала за отцом разбросанные вещи, а маленькая дочка смотрела на все это и говорила себе, что никогда не выйдет замуж, а если все же случится, то ни за что не будет собирать за мужем его вонючие носки.

— История повторяется, — вздохнула горько повзрослевшая девочка Вика и вытащила из-под дивана носок Виталия.

*Ганг, твои воды замутились*

Неделю он носился с мыслью о патенте. Помылся и подравнял, как смог, волосы с целью всерьез заняться этим вопросом.

Вика ходила в библиотеку, нашла в интернете всю нужную информацию. Распечатки, которые она принесла, Виталий долго изучал. Громко потом возмутился. И наконец, разорвал на мелкие кусочки:

— Я же еще и платить за свою находку должен?! Тридцать тысяч за ненужные бумажки! Обломитесь!

С горя («небо это так не оставит») упросил Вику купить полтора литра крепкого пива и уснул после третьей кружки. И приснилась ему вода.

Женщине снился отец. Он смеялся и махал молотком: «Примите заказ, — кричал сквозь хохот. — Вытащи Ленина из Мавзолея! В набор входит Ленин-китаец и Ленин-негр... Ха-ха-ха! К нему прилагаются нимбы! И звезды! И мой глаз-рентген! Я хочу, чтобы ты это запатентовала-а-а-А!» Крик разбил стекла, она слышала звон и боялась, что это бьются зеркала, как тогда, перед смертью мамы. Она была в ванной, мыла голову, когда над ней взорвалось в крошку зеркало. Мамино любимое, как считалось. Мама говорила: «Оно меня молодит».

Зеркала чувствуют тот свет, они проводники. Больше в ванной зеркало не висело. Отец брился на кухне, перед стеклянной дверцей микроволновки, а Викиного мнения никто не спрашивал. Да и не осмелилась бы она взглянуть в новое зеркало. Она и сейчас редко смотрится в зеркала. Так, на бегу, одним глазком, подкрасить губы, поправить челку...

Проснулась, звон выбрался из сна и наполнил комнату. Это Виталий барабанил пластмассовым и алюминиевым тазами.

— Не пойму, какой глубже? — вертел он их, по очереди надевая на себя.

— В трусах и с тазиком на голове, — Вика засмеялась. — И тебе доброе утро.

— «Ганг, твои воды замутились» — эта строчка просто кричит во мне, я с восьми утра уже как не в себе, — сказал Виталий и тише добавил. — Ты разговаривала во сне. Отца все своего не то звала, не то проклинала...

Вика встала, накинула халат.

— Да, кошмары всю ночь.

— А мне Ганг снился, вернее, не снился, влился в меня, забушевал во мне... Позвал...

— Это все пиво крепкое, — сказала в ответ, загрохотали об пол пустые тазы.

— Снова ты приземленно мыслишь, Вич!

Если Виталий был женой недоволен, то ласковое «Лунка» заменялось резким, страшным, трехбуквенным — «Вич». Вика это знала, а он знал, что она до дрожи ненавидела эти три буквы.

«Как диагноз ставишь», — возмущалась она. Только сегодня никак не отреагировала. И когда он в третий раз назвал ее словом из трех букв, Виктория лишь заметила вслух, что на трусах у мужа пятно:

— Приземленно-недвусмысленное пятнышко.

— Красный — это цвет праны, цвет сердца.

— Красный с натяжкой до коричневого, — поправила она.

— Анус, между прочим, обитель апаны, это субпрана.

— Давай, постираю твою апану, — Вика подняла красный пластмассовый таз.

Виталий снял трусы и бросил в жену.

— Не муди и без того мутную воду, Вич. Если тебе отец всю ночь покоя не давал, не срывайся на мне. Дыши глубже.

— Ощущения у меня непроходящие, что с переездом в общежитие мы вязнем, как в трясине. И глубже с каждым днем.

— Ганг, твои воды...

— Это болото! Не Ганг!

— Предлагаешь послушать папочкин совет и переехать жить к нему? Всегда под его чутким вниманием и руководством? Так? Ты ведь поэтому начала все это?! Болото, трясина...

— Ладно, проехали, — махнула она трусами мужа. — У стиральной машинки шланг протекает, новый надо бы...

Голый мужчина не ответил, его привлекло темное отражение в эмалированном тазу. Тени двигались, жили, перемещались и трансформировались... Он слышал, как они шумят выходящей из берегов клоко-чущей, бурлящей водой...

Вика с работы позвонила на домашний телефон родителей. Отец, как вышел на пенсию, так с весны до первых сильных морозов живет на даче. Трехкомнатная квартира наполняется пылью, паутиной и призраками в немом ожидании хозяина и редких гостей.

После первого гудка в трубке раздался грубый, недовольный голос отца:

— Что?

От неожиданности уронила трубку.

— Виктория, это ты, я знаю, — твердый, уверенный голос. — Ты мне сегодня приснилась. Сначала спутал тебя с матерью, вы ведь как две капли... Потом ты разбила зеркало, и я понял, я вспомнил... Ты в тот день в ванной так же...

Вика нажала рычажки отбоя — гудки в утешение не успокоили.

— Ганг, твои воды замутнели, — сказала и полоснула ногтями по лакированной поверхности стола, оставив заметные царапины.

### *Очищение*

На лестнице, между первым и вторым этажом, ее остановила Галя-Губа из 33-й комнаты. Волосы обмотаны полотенцем, мокрые пятна на банном халате цвета детской неожиданности, — подметила Вика.

— Не поверишь, работало, — схватила подвыпившая девица Викторию. — Я полчаса не могла без сигареты. А как выпью, так через каждые пять минут курю. И вот — на тебе, уже третий час. Три часа, Вик! В рот не брала!..

Женщины остановились.

Галина зашептала:

— Раньше почему не говорила, что твой наложением рук ауру корректирует?..

Виктория интуитивно ожидала чего-то подобного, поэтому ответила с улыбкой:

— О, это еще цветочки, знала бы ты, что он в постели творит, — и пошла вверх, дальше налево, в единственное жилое крыло двухэтажного общежития. Мимо комнаты 25, снова налево в приоткрытую дверь под номером 27.

Встретил Вику алюминиевый таз с водой на журнальном столике в центре. Муж, облаченный в ее банный халат, торжественно показал на подоконник, там стояли три полторашки пива:

— Вот, — вяло проямлил, — заработал.

Вика кивнула:

— Ага, скорректировал ауру, уже слышаны.

Виталий отрыгнул:

— Это Галька принесла, у нее у сына, что ли, день рождения... Я не мог не взять, — оправдывался, присаживаясь на край дивана. — За такие услуги деньги не берут, если ты хочешь знать. Это дар, и он оплачивается по иному тарифу...

— Пивом, — вставила женщина.

— Ну, бабушкам, которые лечат, сахар несут, муку, печенье с конфетами...

— И вы с ней решили этот твой дар отметить? — раздраженно выпалила Вика. — Кому еще ауру подчищал?! Из 26-й, вроде, тоже нуждается в корректировке, нелюдима какая-то, а? Или Грише помоги, наладь жизнь. Чего? Да в этой долбаной общаге всем нужна помощь! Потерянные души! Бездомные и никому не нужные! Карма здесь у всех плохая! И это заразно! ЗА-РАЗ-НО!

Вика прокричалась, разулась и поняла, почему Виталий не противоречит, как обычно, и не разбирает по полочкам состояние кармы соседей. Мужчина уснул с открытыми ртом и глазами.

В тазу черной паутиной волосы Гали. Вику передернуло от отвращения и больно свело пустой желудок.

— Хорошо, блевать нечем, — сказала, и ее стошнило в таз.

Она давно заметила, что глазит себя безжалостно. Подумала на днях: «Как здорово, что пломба так долго держится». Не прошло и десяти минут — пломбы не стало. Обрадовалась, что забрали у нее старшую группу ребятишек — так зарплату на пятьсот рублей убавили.

«Ни о чем плохом не думать и ничего не планировать», — зареклась Виктория. Но слез проявлялся в мелочах, ежесекундных мыслях-вспышках, как сейчас. Волосы соседки исчезли в молочно-белой воде, Вика вытерла губы и, напевая про себя песню скворцов из любимого мультфильма детства, вышла с тазом

в коридор, к умывальникам и туалетным кабинкам. Мычанием пытаюсь заглушить мысль: «Что если выпить все пиво мужа?»

Виталий разбудил во втором часу ночи:

— Чего-то пиво найти не могу...

— Я его выпила с художником, — сказала и повернулась к стене Вика.

— Как?!

— Пошла таз с твоей целебной водой выносить, встретила соседа Илью, предложила отметить, он согласился.

Мужчина схватился за голову:

— Что отметить? Боже ж ты мой...

— Развод, — зевнула Вика. — Сказала, что ты изменил мне с Галькой и что развод не за горами.

Виталик остолбенел с поднятыми над головой руками.

— Изменил?..

— Ауру ей почистил — если хочешь, так это назовем.

Трезвый он бы уловил нотки иронии в ее голосе, но выпитые с соседкой несколько бутылок крепкого пива заглушили голос разума, оборвав связь с Космосом и с самим собой.

— Но это не измена! Я только опустил ее голову три раза в таз с водой, делов-то...

— Целых три раза?! Ну, ты герой, силен...

— Вик, стой, постой, ты что, правда выпила все пиво?!

Он встал на колени у изголовья дивана.

— А ты правда спал с Галькой?..

— Да как я?.. Ну ты что?!

— Ладно, прощен. В тазу твоём пиво, алюминиевом. Хотела тебя проучить, да что-то плохо совсем ты выглядишь. Крепкое же ты сроду не пил...

— Дык... — поднялся с хрустом в коленях. — Заработал же, не выливать же...

Шкаф с вещами отделял диван от кухонного угла, где под столом таились тазики. Шаря в полутьме, Виталик обнаружил пропажу, незамедлительно откупорил бутылку и принял на грудь, булькая и бормоча:

— Вот оно, причащение, истинное очищение. Смывает с сердца и души все путы. И как вновь рожденный ты снова готов к подвигам и откровениям.

Вика укрылась с головой, страшное слово «развод» застряло в ней, разрастаясь, деформируясь, мутируя...

### *Заколка (Голос крови)*

Всю следующую неделю после коррекции ауры соседки Виталий болел.

— Почти всю энергию растратил, — не поднимая головы с подушки, говорил. — Исчерпал сосуд. Подпитаться надо... От природы. От неба...

Вика не стала говорить, что Галя закурила на следующее же утро после процедуры с тазом. Они столкнулись в дверях общежития, Вика спешила на работу, Галя с похмельным баллоном пива — в свою комнату.

— Только мужу не скажи, — попросила, выбрасывая сигарету. — Это я виновата. С перепоя всегда так, всякие непотребства творю, это в крови алкоголь говорит. Кровь после бурных возлияний жидкая, голосок писклявый, вот спирт и заглушает его. Поэтому все выпившие кричат, как потерпевшие, а кровь помалкивает, — философствовала Галя.

Пообещав, что муж про сигарету не узнает, Вика оставила Галю одну в поисках ответа на вопрос о смысле жизни.

В послеобеденный сончас она набрала номер телефона родителей.

На этот раз гудкам, казалось, не будет конца. Гудки слились в один непрерывный гул, и Вика не сразу сквозь него услышала отца:

— Хочу сказать тебе, зеркала у нас так и занавешены. Я не осмелился. Никто, кроме тебя и матери, в них ведь не смотрелся...

Она только выдохнула в телефон.

Отец говорил спокойным, гипнотизирующим голосом:

— Мама твоя, помнишь, верила фанатично, что можно увидеть души умерших близких родственников в зеркале, если посмотреть в него после полуночи. Помнишь? Вот я и боюсь, что она окажется права... Если бы не один, а с тобою, если вдвоем — не так страшно. Мы бы расчехлили, открыли зеркала. Один я не рискну. Нет.

Виктория слушала, прикусив костяшки пальцев на правой руке.

— Не поверишь, ночами, мучаясь бессонницей, я слышу шорохи в зеркале, в том, которое в спальне. Мы занавесили его простыней, на которую ты еще малышкой пролила несмывающиеся чернила, мама хранила ее, потому что пятно было в форме сердца...

Вика не сдержавшись всхлипнула, дала отбой и в голос заплакала.

Она звонила всю неделю в одно и то же время, отец, словно по молчаливой договоренности, снимал трубку, вспоминал прошлое. Она молча слушала, грустно вздыхала, иногда всхлипывала, иногда из губ вырывался короткий смешок.

— Нашел вчера заколку, — сразу начал рассказывать сегодня отец. — Я ведь, как съехала, закрыл твою комнату и на дверь не взглянул даже. А заколку нашел на лоджии. Полез искать дюбель панно на кухне прибить как следует. Смотрю, блестит что-то на дне ящика с инструментами. Улитка такая, золотого цвета, со сломанным зубчиком. Это же мамина?

И дочь ответила:

— Моя.

Больная неделя завершилась для Виталия новым откровением:

— Я понял, в чем секрет Христа! — прокричал жене, стоило ей появиться в дверях. — Это отвечает на самый важный вопрос веры. Верить или нет.

Вика после разговора с отцом была в отличном настроении, улыбалась и принесла мужу литровую банку пива.

— Вот это событие мы и отпразднуем, — ответила словами отца, сказанными ей несколько часов назад.

— Креститель не просто опустил Иисуса в воду реки, когда проводил обряд крещения. Чтобы родился новый человек, надо убить старого. Понимаешь?..

Она кивала, разбирая пакет с продуктами:

— Да-да, — соглашалась, не прекращая улыбаться.

— Что «да»-то?..

— Все верно ты говоришь. Я же никогда в тебе не сомневалась. И роман ты допишешь, знаю, и что там еще?.. Все, все у тебя получится.

— А что с Иисусом Иоанн Креститель сделал, поняла?

Вика ответила:

— Судя по всему, утопил.

Муж хлопнул в ладоши.

— Моя женщина! — воскликнул. — Браво, Лунка! Конечно, утопил! Иначе бы Иисус не был тем, кем стал. Старый Христос умер, там, в водах реки Иордан. Креститель убил его, позволил ему захлебнуться, а потом вернул к жизни — это второе рождение и было отмечено появлением голубя, что сошел с неба на новорожденного тридцатилетнего Иисуса... Вот и ответ на вопрос всей жизни. Надо умереть, чтобы родиться человеком, достойным неба.

Виктория открыла банку пива, разлила по стаканам.

— Думаю, тогда тебе придется повторить сеанс с Галей, теперь уже в ванной, хотя, наверно, можно и в тазике ее утопить, — протянула стакан, полный шипящей пены.

Муж взял стакан:

— А что с Галей не так?

Вика отхлебнула, продолжая улыбаться:

— Сорвалась Галя, вот что. Закурила.

— Как?!

Она выпила пиво, выдохнула:

— Да вот так! Наутро после тазика уже затягивалась никотином твоя подопечная.

Виталий поперхнулся, отдал стакан с пивом, прошелся по комнате.

— Не может эта схема не работать... Нет. Нет. Это с ней что-то не так... С Галей...

— Так и я про то, — выпила пиво мужа Виктория. — Надо бы ее как следует откорректировать. Галю. Чтоб навек забыла про курево.

Виталий почесал голову, разбрасывая снежинки перхоти.

— Думаешь? У Крестителя была прямая и непрерывная связь с открытым небом. У меня же — так, через пень колоду.

— Я верю в тебя. Я с нашего знакомства, с первой встречи верила, знала, что ты необыкновенный...

Виталий исчез за шкафом, загредел тазами, вернулся с алюминиевой посудинкой.

— Ты как, не желаешь? — спросил жену полушепотом. — Потренироваться мне бы...

— Не желаю — что?! Обновиться?! — Вылила пиво в свою кружку. — Вот если бы днем раньше, я, может, и согласилась. Стать новой. Но сейчас...

— А что изменилось со вчерашнего?..

— Заколка нашлась. Любимая с детства. Талисман мой. Оберег.

Виталий, не понимая, замотал головой.

— Золотая улитка, мама мне, когда я в первый класс пошла, подарила. Не поверишь, стоило мне

только надеть эту заколку — сдавала экзамен на «отлично». Дам подружке Насте — и у нее пятерка.

Виталий уже кивал, соглашаясь:

— Верю в такое, ага, бывает...

— А потом как в воду канула заколка. У нее зубчик один отломался, поэтому надевала ее в жизненно важные, решающие моменты и всегда хранила в маминой шкатулке с драгоценностями. Тут в техникум поступать, схватилась, а улитки нет. Весь дом перевернули с мамой, нет заколки. Ох и наревелась я тогда...

Допив последние капли из банки, Вика закончила:

— Не поступила я в техникум, короче говоря, потом не стало мамы, — она икнула. — И много лет спустя, сегодняшним днем, заколка нашлась.

— Супер. Теперь у нас, значит, все наладится и получится.

Вика рассмеялась:

— Может, и мне не надо будет работать, деньги улитка нам золотая в домике своем приносить будет, а?! И ребенка наконец сможем позволить. Съедем с гребаной общаги. Забудем про Ангелу-Меркель и Галю... — развалившись на диване, мечтала вслух Виктория.

Виталий убрал таз назад под стол, вернулся к жене и лег рядом.

— Пусть улитка работает за нас. Работает на нас! — выкрикивала она громко. — И никаких тебе ссаных горшков и аванса в три тысячи!

— Можно и патент тогда на все мои изобретения сделать, — вставил Виталик. — С деньгами я и книгу быстрее напишу...

— И патент, и книгу... Ребенка как назовем?!

Они лежали, уставившись в потолок, касаясь друг друга голыми локтями. В комнате пахло пивом и потом.

— Виталий-младший, как тебе? — спросил он и сам ответил: — Все гениальное просто. Храмов Виталий Витальевич, как продолжение...

— А девочку Викторией-младшей, так?.. Как продолжение?..

И снова они молчали. Часто голос мешает, отвлекает, путает... Муж и жена не произносили ни слова. Они слушали Космос.

### *Зазеркалье*

Вика впервые проспала. Последний раз она опоздала на урок в восьмом классе, с тех пор ее внутренние часовые куранты срабатывали раньше заведенного будильника примерно на десять минут.

«Это знак», — подумала она и не стала спешить. Решив, что сегодня она на работу не пойдет.

Но мужу, конечно, не скажет. Соберется, как всегда, поцелует его, спящего, в нос и уйдет, тихо закрыв за собой дверь. Сегодня она впервые за годы совместной жизни оставила ему записку на журнальном столике.

*«Ушла за улиткой. Могу задержаться. Могу с ночевкой. Может, и на пару дней. Сам говорил, что расставания укрепляют узы. Не волнуйся. Делай все, что запланировал и что считаешь нужным. Пельмени бросать только после того, как вода закипит. Ви.»*

Виталий прочитал, отвел взгляд на обои — голубые розы в геометрических тюрьмах — снова прочитал записку. Рисунок обоев не изменился. Вслух произнесенные слова тоже не сотворили чуда. Виталик решил, что если это послание жены катастрофично, то пусть розы выберутся из вечного заключения. В десятый раз он запел:

— Ушла за улиткой...

Было время обеда, и Вика, всегда пунктуальная, подошла к двери в детство. Повернула ручку, дверь была открыта.

Вошла в коридор, полный солнечного света, блики от фотографий за стеклом ослепили, она не глядя знала, кто на этих снимках.

— Я вернулась, — сказала она. — Давай откроем зеркала.

Виталий постучал в комнату 33 во второй раз уже после обеда. В этот раз ему открыл сын Гали, школьник Миша, сказал, что мама на работе. Виталий попросил передать, чтобы она зашла к нему сразу, как придет. Мальчик ответил: «Ага».

Набрав в таз холодной воды, чуть больше половины, Виталий закрылся в комнате. Включил телевизор, шел черно-белый немой фильм.

На столе рядом с тазом — вырезки платьев, разноцветные нимбы, выдавшие виды листы бумаги.

На одном виден кусок текста:

*Виталий Храмов*

КНИГА

*Новая Библия*

Там было написано: *«ПРОЧИТАВ ЭТУ КНИГУ, ТЫ СТАНЕШЬ БОГОМ. ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ. ВСЕ ИЗМЕНИМСЯ. УЖЕ С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ТЫ ПОЙМЕШЬ ЭТО».*

На втором, смятом листе, фрагмент записки:

«Ушла за улиткой. Сам говорил, что... как вода закипит».

Вспомнил историю про девушку, которая из-за несчастной любви сунула голову в кастрюлю с кипящей водой. Это был рассказ или случай из жизни? Он прочел в газете или в книге?.. Виталий не мог вспомнить, и это его злило. Расчесывая ногтями голову над тазом, он любовался, как чешуйки перхоти исчезают в воде и выдернутые волосы становятся невидимыми через

пару мгновений. В воде все исчезало, кроме его отражения. Виталий смог разглядеть свои черные зрачки на дне таза. Они смотрели на него, в него бездонной пустотой небытия. Смотрели темной стороной луны. Лунки...

— Исчезнуть, чтобы вернуться, — сказал. — Вернуться новым.

Закрыв глаза и исчез в темноте.

Темнота полна жизни. Кишит просто ею... Открыл глаза, когда диктор программы «Новости» сказал:

— Ангела Меркель теряет связь с реальностью. Миграционная политика канцлера Германии привела к разобщению Европы, — заявил премьер-министр...

Дальше он не слушал, он смеялся до шума, до звона в ушах.

На экране телевизора мелькали кадры с яростно жестикулирующей Меркель. Виталий закричал, задрал голову к потолку:

— А-а-а-а!.. Хайль Гитлер! — И снова смеялся, пока не рухнул вниз головой в таз с водой.

И там он смеялся — бурлила, выплескиваясь на стол и на пол вода. Пузырилась, пенилась, хохотала...

А потом закипела.

Комната 29

## ПОД СТОЛОМ, ИЛИ ПОРТРЕТ ЧУДОВИЩА

Гриша — старожил общаги. «Бессмертный обитатель уцелевшего крыла», — называл себя он. Если Гриша не пил, значит, болел после запоя, отходил минимум неделю. Это называлось у него воскрешением. Если исчезал на месяц-другой — на вахту уехал Гриша, работает. Где? Этого не знает никто, ни друзья, ни собутыльники. О прошлом Гриши известно не больше. Был в Афгане, Чечне, вроде, и Нагорный Карабах захватил. Трезвый — немногословный, а пьяного — не переговорить, не переслушать. И отделить правду

от вымысла так же невозможно, как и пытаться отвязаться от Гриши. Он может закрыть комнату, а ключ спрятать, только бы ты остался с ним и дослушал его истории, которых тьма тьмушая. Он может постелить тебе на полу, несмотря на то, что у тебя через стенку удобный диван или раскладное кресло.

Гриша незлопамятный, потому как после пьяных дебошей не помнит обид, ничего не помнит. Гриша — меломан. Ему без разницы, какая музыка играет в радиоприемнике, лишь бы, кроме него и его голоса, в комнате еще что-то звучало, жило.

Возраст около сорока пяти. Гриша никогда не отмечает свой день рождения. Он вообще никакие праздники не отмечает.

Носит спецовки цвета хаки, солдатские ботинки, после вахты приезжает обросший и сразу бреется наголо.

И в первый же день, не дожидаясь, когда деньги придут на карточку, напивается.

Виталька-Космос до женитьбы — частый гость в комнатке Гриши, это его хозяин, затарившись пятью бутылками водки и пакетом сосательных конфет «Барбарис», не выпускал до шести утра, пытая байками из прошлой, военной жизни.

Виталик водку не пьет, Гриша не пьет пиво. После такой ночи у пленника две недели болел язык, расцарапанный барбарисками, и долго не выходила из головы страшная история встречи молодого Гриши с чудовищем.

Самого Гришу некоторые женщины, знающие близко, называют чудовищем.

Одно время по общежитию ходил слух, якобы Гриша под водку пытался закусить девицей, которую привел на ночь. Еще говорили, что Галю из 33-й комнаты пытался изнасиловать. Только Галя продолжает общаться с Гришей как ни в чем не бывало. И «закуску» целехонькую, слегка потрепанную, неряшливую, пару раз видели выходящей из комнаты 29.

Гриша признается: женщина ему нужна время от времени, не более того. Известно, что он платит алименты, не всегда вовремя, и тогда появляются еще одни гости — из службы судебных приставов.

Что за дети? Откуда? Где?.. В общежитии этими вопросами никто не задается, а Гриша по пьяни о детях не заикается. Говорит лишь, что не переносит запах детей, а еще больше терпеть не может запах женщины в комнате.

— Как почувствую, так водка в рот не лезет.

Второй человек, кому рассказал Гриша о страшной встрече, обитатель комнаты 6 на 4, — молодой поэт и художник Илья Дубин.

Гриша переключился на него, как только к «Космосу» в комнату заселилась «костлявая фея». Илья употреблял водку, но с Гришей пить отказывался:

— Пью только в женской компании.

Гриша пробовал с ним фокус с потерянным ключом — Илья едва не вышиб дверь. Привлек лишь однажды историей про чудовище:

— Давай, творчество, я тебе чуток налью, чтоб на сухую не сидел, а ты слушай. Потом, может, нарисуешь че или сочинишь...

Илья вспомнил, как лет восемь, может, десять назад называл Гришу на «вы», а иной раз даже проскакивало «дядя»... Теперь Илье почти тридцать, и он хлопает испачканной в краске ладонью по столу и берет полную до краев рюмку.

— Если бы не дописал, хрен бы ты меня уломал, — сказал и залпом влил в себя горькую. — Фу-у, — поморщился.

На закуску у Гриши, как всегда, сосательные конфеты.

— Есть чем запивать хоть? — покосился Илья на банку с водой тут же на столе.

— Сок березовый наливай, — пододвинул алюминиевую кружку к гостю Гриша.

Гриша любит рыбачить и просто бродить по берегу Ангары в летнее время. У него всегда в морозилке пакет замороженной рыбы, ягод, а под кроватью расфасованные по кулям кедровые шишки и орехи.

— Пельмени есть, только их же варить надо, — предложил.

— Ты страшную историю расскажи, да пойду я, уже первый час ночи, где ты раньше был?..

— А ты?..

— Я-то картину дописывал, — не растерялся Илья. — «Ежевичный Христос», видел же?..

Гриша кивнул.

— Это вот это темно-синее в пупырышках и есть Христос?.. — Он сделал руками замысловатый, описательный жест. — С квадратными глазами? Или это не глаза?..

Автор кашлянул в кулак:

— Глаза, угадал.

Гриша налил водки.

— У меня тоже особый взгляд на вещи, — промямлил. — Я тебе рассказывал, как зема мой в танке живьем сгорел?..

Не давая ответить, Гриша говорил:

— А президенты все живей живых. Ну, кроме Ельцина, конечно, тот вовремя на тот свет свинтил. Там ему сейчас кипяточек-то заливают в горлышко... Горбатого еще бы по соседству, и души моих братьев успокоились бы на маленько. Хотя какой там? Надо всех живьем закопать, тех, из верхушек, кто причастен к Афгану и Чечне, без разговора закопать. Дали бы лопату — собственноручно бы, в одного, это сделал. И яму выкопал бы здоровенную своими вот этими руками. Да без лопаты бы вырыл. — Закончил хозяин и выпил.

— Ты же верующий?.. — Илья слегка пригубил.

— Верующий, ага, в свое чудовище, — отрыгнул Гриша. — А знаешь, почему? Потому что видел его, вот как тебя сейчас, веришь?

Илья прошептал:

— Верю, — налил сока в кружку, отпил, терпеливо ждал продолжения, чувствуя, как хмель плавно и уверенно берет над ним верх.

Гриша пробубнил что-то невнятно, залез под стол и оттуда прокричал:

— А ты свое прочти мне, перед тем, как я начну!

— Да ну... — Илья покачал головой и прокричал под стол: — Я не любитель читать стихи мужчинам!

— Брось, — появилось из угла стола бордовое лицо хозяина, — мы никому не скажем, — задыхаясь, выбрался Гриша, сел на стул, положил перед собой чистый лист бумаги и карандаш.

— У меня стихи для определенной публики...

Гриша налил полные рюмки.

— Давай дернем за творчество, и ты прочти, чтоб наглядно было, за что пили, — выпалил и быстро выпил.

Илья протараторил:

— Возьми меня с собой,

А нет, так застрели.

Один распятым был,

И он тебя любил...

И кто его убил?

Выпил, громко поставил рюмку.

— Вот.

— Так? И что? — развел руками Гриша. — Я что-то не понял, это был стих?..

Илья цокнул:

— Ладно, — промочил горло соком, прокашлялся. — Только одно, и никому не скажем.

Гриша ударил себя по горлу ребром ладони.

— Могила.

Илья смотрел в ночь за окном, читал:

Пули достаем из голов  
Для вас.  
В нас стреляют  
В который раз.  
Снова пехота,  
И снова в бой.  
Жрите все гильзы,  
Всю нашу боль.  
Мамкины слёзы,  
Полынь, меня...  
Зной не сокроет,  
Укроет земля.  
Письма не знают,  
Кому, куда...  
И без ответов.  
Война.

Поэт замолчал, в тишине Гриша громко икнул, поднялся, хлопнул в ладоши.

— Вот да, — сказал и добавил: — Это ты написал?..

Нагнулся над Ильей, обнял за шею. Илья отстранился:

— Мой дед написал, а что, все понятно?

Икнув в ответ, Гриша вернулся за стол.

— Как там?.. Пули из голов для мам... жрите, паскуды, меня, а мать не отдам?..

— Почти так, — хмыкнул автор, развернул конфету. — Твоя очередь.

— Страсти на ночь, как бабка моя говорила, — ссаться под утро. — Гриша казался на удивление трезвым. Илья поэтому спросил:

— Ты там под столом чего делал, градус сгонял?

Гриша показал пальцем на лист:

— Фоторобот с тобой составим. Ты же художник.

— Чей фоторобот? — Илья подавился барбариской.

— Чудовища, епта, — усмехнулся с довольной миной Гриша. — Запечатлеть его на всю оставшуюся жизнь. Вдруг больше не встречу. А так портрет будет.

Выпив кружку березового сока, Илья прокашлялся.

— Под руку как вовремя сказал, — прошипел, — со-салку целиком проглотил.

— Водочкой давай смажь горло, — посоветовал со знанием дела Гриша и ловко пододвинул бумагу с карандашом к художнику.

На этот раз Илья выпил все и не запил, щелкнул костяшками пальцев, взял карандаш, скомандовал:

— Начинай.

Гриша проглотил икоту.

— Как сейчас помню, год девяносто седьмой, весна, Дудаев мертв, Ельцин сказал — «война окончилась», Лебедь подписал соглашения Хасавюртовские, все и всё в шоколаде, хотя всем и вся известно, что ни черта еще не конец. Мы пьем полгода, не просыхая, на хате у Витьки Кабысдоха из парашютно-десантного. Я думал, это фамилия такая, потом узнал, что кличка армейская.

— Кабысдох, — повторил, пробуя на вкус и звук, Илья. — Запомню...

— Запоминай, дядя Гриша еще не таким удивит, — поднял рюмку, не чокаясь, выпил, забросил в рот конфету. — Дело было примерно часов так за полночь. Один остался на кухне за столом, сижу примерно вот так на твоём месте, слева стена с плакатом-календарем. Природа какая-то, водопад там.

Вся честная компания давно в отрубке. Кто где дрыхнет, я самый стойкий из всех, наливаю себе стакан, самогон пили. И тут прямо из стены, перешагивая через стол, через все бутылки, тарелки, закуску, — Оно. Выходит, ага, как будто так и надо и должно быть. Фигурой человеческой, волосатый весь, до потолка вышиной, это под два метра, и садится так на корточки рядом со мной. А от его шерсти запах — не вонь, нет, запах, и такой знакомый. Шерсть иссиня-черная, но на голове и клочками по груди седые волосы, — уточняет Гриша, подливая в рюмки. — Староват, понятно дело.

Илья делает быстрый набросок снежного человека.

Гриша добавляет:

— Сплошь волосы, от макушки и до конца, только лицо чистое, совсем без волос, белоснежное. Глаза голубые врезались в мозг и сердце. И голос, вроде, и страшный, и как бы знакомый, не понять — женский, вроде, и не женский. Говорит: «Не перестанешь пить, Гриша, с собой заберу». Меня от страха заколотило, я, как огурчик, трезвый махом стал. Думаю, перекреститься надо, а рука не поднимается, ни правая, никакая.

Карандашные глаза у чудовища после пары штрихов выглядели настоящими.

— Похоже?

Гриша сглотнул:

— Копия, — и исчез под столом. — Не перестану пить, с собой, значит, ага, меня заберет. — Гриша вылез с коробкой цветных карандашей. — Я клянусь, после этого случая три года в рот ни капли не брал.

Илья вытащил остро наточенный карандаш. Глаза чудовища наполнились цветом, голубой лазурью, заблестели слезами.

— Нос, как у меня, — продолжал Гриша.

— Такой же кривой?

— Это хрящ выпирает, наследственное от бати, — пробурчал, словно оправдываясь. — А губы побольше моих, толстые.

С человеческим лицом чудовище смотрелось уже не так пугающе.

— Поскуластей сделай. И брови, брови у него тоньше...

— С чего решил, что это он? — вопрос Ильи застал врасплох. Гриша привстал, нагнулся к гостю и тихо, почти на ухо, сказал:

— Вот. Вот и я думаю, что это не совсем он, — и вернулся на табурет.

Илья сделал тонкими линии бровей. Раскрыл губы, казалось, чудовище хочет что-то сказать.

— Точно, ни ушей, ни рогов не было? Может, хвост? Гриша замахал руками:

— Нет, нет, нет. Ты че думаешь, допился до чертиков?! Не черт это был!

— Кто тогда? — Последние черточки, завитушки, кляксы — и готовый фоторобот чудовища в руках заказчика-очевидца, у которого нет слов, вместо них он выливает остатки водки в рюмку художника.

— Давно надо было тебя попросить его нарисовать, — в голосе дребезжание. — Мне он часто снится, Оно. Глаза эти голубые, слова... Просыпаюсь, но не избавляюсь от всего этого. Оно поселилось во мне и живет с того самого девяносто седьмого. Иногда я улавливаю запах и начинаю искать чудовище. Думаю, может, оно скрывается в ком-то или вот-вот выглянет из какой-нибудь стены... А эти глаза, если увижу подобные, мурашки по телу. Я долго не мог переносить людей с голубыми глазами, боялся. Боялся, а меня к ним тянуло не по-человечески...

— Хорошо у меня не голубые, — пошутил Илья. — Храни тогда рисунок как зеницу ока, — зевнул широко, встал.

— Это точно, я даже знаю одно местечко, — Гриша снова начал пьянеть, будто получив что хотел, организм вновь позволил себе расслабиться. — Может, еще по сто?

— Главное, не давай ему имя, — сказал в дверях Илья, — потом убивать труднее...

Закрылась дверь, Гриша в пустоту прошептал:

— Умерли те, кого хотелось убить.

Из-под стола вытащил ящик, из ящика альбом с фотографиями.

— Папа, мама, я, — кривя голосом, пропел, — недружная семья.

Нашел нужное фото, на снимке отец и мать, в пустой кармашек рядом с родителями аккуратно вложил рисунок чудовища.

Мать смотрела на сына печально, щурясь от солнца или вспышки. Нос отца фирменной загогулиной выпирал из фотографии.

— Я художнику не сказал, что запах — это запах из детства. Он сам еще недалеко от детства ушел. Еще не разобрался, как оно для него пахнет. Чем?.. Про мамыны глаза не помню, вроде, не проболтался. Он меня спрашивает, а что пьешь так много, опять встретиться с чудовищем хочешь?.. Дурак, а ведь почти рассекретил меня. И про пол, когда поинтересовался, я подумал: а дуб совсем не дуб. Весь хмель с меня как рукой... В дверях же эта фраза его аж подкосила, ну, та, что про имя... Да, имя, — выдохнул Григорий и щелкнул отца по носу. — Портрет есть, и неплохой, я скажу, портрет. Почти что живая копия, а не портрет. Осталось одно, последнее...

Гриша замолчал. Чудовище смотрело на него с бумажного листа и вдруг подмигнуло правым глазом.

Гриша захлопнул альбом.

— Просто хочется почувствовать этот запах. Снова. Еще раз. Больше ничего. Маленько вдохнуть. Совсем чуточку...

Слезы закапали на старую обложку, схватив альбом, Гриша залез под стол.

Иногда там пахло прошлым. Под столом.

В детстве за это ему влетало от отца, а мама пугала, что Гриша больше не вырастет, если будет продолжать там играть. Гриша не слушался. Гриша рос.

И вырос.

Но иногда, как сегодня, как сейчас, Грише кажется, что из-под стола он так и не выбрался.

Комната 33  
ГУБА В РАЗРЕЗЕ

Нагадала старая цыганка, что Галя никогда не наденет свадебного платья. Девочка толком и не поняла, что говорила горбатая провидица, мать на каждое предсказание слишком бурно и болезненно реагировала, периодически шлепая дочь по спине и по шее.

Галя терпеливо выносила удары судьбы, даже когда мать попала по уху, сорвав сережку, и в голове зазвенело, как на перемене в школе, она не пригнулась. Не шелохнулась. А разорванная мочка с тех пор кровоточила. Уже взрослая, Галина с предсказанным ребенком прикладывала кусок ваты к окровавленному уху и возвращалась в дождливый вечер детства, когда под тиканье кухонных часов окутанная парами собачьего варева она с онемевшим сердцем слушала цыганские наставления.

— Будет один ребенок. Мальчик, — голос горбуны вкрадчиво тих. — Если правильно все сделаешь, когда придет время.

Девочка любит разноцветными перстнями на костлявых обезьяньих пальцах. Цыганка перебирает черными от старости и нюхательного табака пальцами четки, прячет лицо в пестрый платок.

— Чтоб он лег с ней, — обращается она к Галиной матери, — надо украсть его исподнее. И лучше, если оно будет нестираное. Понимаешь?

Мать кивает. Понимает. Дочь пугается слова «исподнее», вжимается в табурет, кажется, что-то таинственное прячется в этом исподнем, темное, неживое...

Галя потом часто, закрывая глаза, будет видеть, как шипящее исподнее выползает из-под кровати и глядит на нее злобными, желтыми глазами без зрачков. Волосяное, дурно пахнущее...

— В церковь пусть не ходит, пока сыну двадцать не исполнится, — наказывала цыганка шепотом, косясь на календарь с Владимирской Богоматерью. — У дочери почему губа заячья, знаешь?

Мать, конечно, не знала.

— Это порча. На твою прабабку еще сделана за то, что семью разбила. Мужа увела и на себе женила. А в той семье дети сильно болели. На весь твой женский род такое уродство теперь. По наследству и мальчикам дефект может передаться. Если хочешь, чтобы у внука ни заячья губа, ни волчья пасть не вылезли, сделай, как я скажу.

Галя боится прикасаться к губам. Во сне ей снова и снова снится толстая женщина в белом халате и с красными от крови руками. Эти руки тянутся к ней, закрывают лицо, открывают рот:

— Шире! Еще шире, — кричит в ухо толстуха. — Еще!

И Галя видит себя со стороны с разорванным от уха до уха ртом.

— Это не рот, это пасть! — слышит приговор.

Душа возвращается в тело. Галя захлебывается слезами от щемящего осознания собственного уродства.

На вторую операцию по исправлению расщелины губы мать повезла Галю в Иркутск. Девочка увидела медсестру у входа в областную больницу, пискнула, ноги подвернулись, и она шмякнулась плашмя на бетонную дорожку. Как результат — разбитый лоб, выбитые два передних зуба и невозможность исправления дефекта. Плюс панический страх при виде людей в белых халатах.

Вывернутая, словно наизнанку, губа заживала долго. Для маленькой Гали — вечность. Она не могла нормально жевать, чистить зубы, а каким испытанием было зевнуть или чихнуть, не заплакав!

Галя боялась смотреться в зеркала. Кричала каждую ночь и просыпалась от кошмаров.

Мать решилась — повела дочь к бабке, поселковой знаменитости. Знахарка погадала на воске, поплевала в лицо девочке и дала телефон цыганки:

— Она сильней. Она с мертвыми говорит.

Цыганке мать позвонила тем же вечером.

— Жди, как собака попросит еды, заказывай мне машину, адрес сейчас скажу.

Записав все, что надиктовала гадалка, мать вышла в сад. Там, в будке у забора, спал на цепи пес Китой с полной чашкой вчерашней похлебки.

— Знать, не скоро попросит, — решила женщина.

Утром дворняга разбудил всех диким воем.

— Есть хочет, — предположила Галя.

Сказала она это едва разборчиво, да и мать не пыталась разбирать невнятное мычание дочери, догадывалась приблизительно, о чем та могла говорить, и молча кивала или говорила «ага», «ну-ну».

Ближе к обеду мать заглянула в собачью миску и взвизгнула.

В бульоне заплывла коркой жира дохлая крыса.

Поставив вариться куриные лапки для собаки, мать набрала номер такси.

— С губой девочке помогу, — цыганка смотрит левым, затынутым белой катарактой глазом на Галю, и Галя чувствует, как по спине к ногам бегут щекотно горячие катышки пота.

— Слушай внимательно сейчас, мать. Пусть она одна сходит на могилу к деду, ты не ходи. Там, где крест встречается с землей, спит змейка медянка. Не бойся за дочь, змея не укусит, а дочь должна откусить змее хвост и помазать губы кровью змеиной. И не просто помазать, а так, чтоб рот исчез в крови и внутренностях змеи.

Галя слышит все будто сквозь воду, слова булькают, кипят, точно в кастрюле с собачьей едой. Она задремала прямо тут, на кухонном табурете, погрузившись

в жаркий и липкий пар от куриных ног, которые тархтели в кастрюле, царапали по нержавеющей когтями, пытаясь выбраться из кипящего ада. И одной лапе от самой резвой и безбашенной курицы это удалось. Она выскочила, ошпаренная, опрокинув крышку, прямоком, будто видела, вцепилась в губы Галя.

— Открой свою пасть, пасть открой, — кудахтало в кастрюле. Галя закричала и слетела на пол. Тут же получив затрещину от матери.

— Пойди, помешай, давай, вон как булькает, — рывкнула на дочь и спокойней сказала гадалке: — По ночам не спит толком, вот днем и кемарит...

Горбунья хрипло сплюнула в платок, поднялась.

— Уйдут кошмары, как змеиной кровью помажется, — снова покосилась на календарь с Божьей Матерью. — Посмотри только, чтоб праздника никакого церковного не было, и посылай до могилы деда.

Задыхаясь от пара, Галя вертела ложкой густое вариво, а потом увидела в кастрюле вместо птичьих ножек губы человеческие — распухшие, разваренные, кроваво-фиолетовые...

— Мои губы, — услышала свой громкий, отчетливый голос. — Они сварятся, ты их съешь, и у тебя вырастут две очаровательные губы. Бантиком, как у той американской актрисы.

Галя выпрямилась, хихикнула, она видела себя с новыми губами. Втайне от матери она красит их помадой морковного цвета, а на месте, где сейчас рана, — черной кляксой родинка.

— В точности как у звезды! — следом за голосом закричала Галя, обожгла пальцы паром и потеряла ложку. Алюминиевый прибор мгновенно скрылся в пупырышках слезшей с костей кожи. А ошметки мяса, заметила Галя, так сильно похожи на ее искаленную губу.

Изменять, преобразовать, так она это называла, губы знаменитостей и простых людей в журналах и газетах Галя начала с начальной школы. Нужно всего лишь провести пару линий красным фломастером от левого уголка губы к правой ноздре — и готово. Частичка Гали теперь в Мэрилин Монро, и у президента России такая же губа, у известного боксера и победительницы городского конкурса чтецов...

Вот и та самая актриса с родинкой и рассеченной губой смотрит на Галю с глянцевого страницы и кажется ей ближе, роднее... Девочка проводит пальцем по исправленным губам знаменитости, шепчет:

— Нас таких много. Очень много...

На могилу деда мать собрала дочь наутро после посещения цыганки. Галя выслушала все, что ей предстояло сделать, кивала и, полная уверенности, отправилась на кладбище вприпрыжку. Могилу нашла сразу и у основания железного креста побеленный камень.

— Змейка, не бойся, не кусается, — голос матери. — Возьми ее, не мешкая, и откуси хвост.

Девочка подняла камень, змея, больше похожая на дождевого червя, подняла голову. Черные капельки глаз дрожали вместе с рассеченным язычком.

— Хочу быть красивой.

Схватив змею, Галя зажмурилась и вслепую запихала почти целиком в рот. Откусила, чувствуя горячее прикосновение крови змеи на губах и в горле. Приоткрыла глаза, в ладонях покойно лежала крохотная головка с черными глазками. Стряхнув ее, девочка яростно принялась втирать в себя змеиные внутренности.

— Красивой, красивой всех, красивой, — бурчала, глотая горькую слюну. Губы пульсировали, преобразались...

Галя видела, как они исправляются, пропитанные кровью змеи... Она вытирает рот — и вот они, новые губы бантиком, и ни следа от уродства.

Бежала до дома, задыхаясь от смеха, было приятно улыбаться, кривляться, высовывать язык и широко разевать рот...

— Получилось! — закричала с порога матери. Женщина по привычке кивнула, не разобрав. Дочь с измазанным, будто в шоколадной пасте, лицом, неестественно перекошенным ртом, демонстративно подставляла матери то одну, то другую щеку.

— Что?! — не понимала женщина. — Ты как из могилы вылезла, иди умойся!

— Губа, — бубнила дочка, — губа.

— Ну, вижу, что губа, и что?! Иди давай, с кладбища обмойся...

Реальность со всей жестокой непривлекательностью взглянула на нее из зеркала. Распоротым швом вздернутая к носу губа, веснушки рыжими пятнами, потухшие, бесцветные глаза.

— Бедная змейка, — брызнула в отражение горячей водой. — Змея подколотная.

В общежитие первый раз Галю загнал дождь, второй раз мать. Она сбежала, когда пожилая родительница заставила надеть ношенные мужские плавки.

— Дура, для тебя же стараюсь, — размахивала чужим исподним мать. — Все надо сделать в точности, как цыганка нагадала, тупица ты.

— Так сколько лет прошло, мать?! Лет пятнадцать?! Ты что?!

С возрастом Галя приспособилась довольно разборчиво говорить и скрывать дефект под толстым слоем тонального крема и пудры.

— Надевай трусы, кому говорю! — неунималась мать. — Знаешь, чего мне стоило украсть их у Белова Артема. Я же знаю, он тебе со школы нравится.

Семнадцатилетняя девочка растерялась:

— Не верю ушам, мама, зачем?..

— За счастьем! Для тебя, дура, стараюсь, кто еще о тебе позаботится, кроме меня?! Я все, что тогда она наворожила, записала. Все, чтоб жизнь твою несуразную более или менее обустроить... Надевай, тебе сказала!

Бросила в лицо дочери плавки Белова Артема. Его Галя видела в своих снах и ему посвящала любовные записки, которые, написав, тут же рвала. Его инициалы А.Б. вырезала обломком бритвы на внутренней стороне щиколотки, подальше от материнских глаз.

— Я что, многое прошу?.. Надень, поноси денек-другой, главное — поспи эту ночь в них, а там посмотрим...

Галя подняла плавки в серо-желтую клетку, сердце, когда пальцы прикоснулись к ткани, сжалось. В горле пересохло, прикусила нижнюю губу, от волнения вспотели ладони, она отвернулась:

— Хорошо, надену.

— Давай, чтобы я видела.

Девочка подчинилась.

В нижнем белье юноши своей мечты Галя боялась шагнуть. Внизу живота будто откачали воздух, и возникшая легкость могла поднять к потолку. И выше...

Присев на корточки, Галя вцепилась в ворс ковра:

— Я сейчас улечу.

Мать закатила глаза, сложила руки в молитвенном жесте на груди:

— Святые небеса. Работает.

Мать проследила, чтобы дочь легла в ворованных плавках. И сидела в ногах на краю кровати, пока не убедилась, что Галя спит.

Она ощущала терпкий запах мужского пота, когда дочь переворачивалась и откидывала угол одеяла.

Узкое белье сковывало, резинка до крови натерла бедра... Снилось Гале, что она по пояс в земле закопана, в центре грядки с огурцами. И ей известно, кто это сделал.

— За что?! — кричит с мыслью, что сможет разбудить соседей, а мать ох как не любит выносить сор из избы.

Темнеет в саду. Нечто ползает по ногам девочки, за-ползает в нее.

— Черви?! — кричит.

— Исподнее, — слышно шипение из-под земли. — Самое настоящее исподнее...

Оно пронзает низ живота, разрывает, Галя просыпается в намокшем белье Артема Белова с твердой уверенностью, что завтра уйдет из дома.

— Даже не буду возражать, — услышав в ответ, дочь растерялась и не нашла слов, быстро захлопала глазами, а мать похлопала ее по плечу. — Я все, что должна была сделать, сделала, теперь ты давай действуй.

Галина съехала в комнату с номером 33 малосе-мейного общежития, прихватив с собой плавки в се-ро-желтую клетку.

А на ежегодном церковном календаре у Богоматери топорщилась заячья губа.

— У черта на куличках, — звала свое местожитель-ства Галя и поясняла: — На самом конце города в окру-женье железных путей стоит двухэтажное здание. Первый этаж забит списанным товаром с закрытого керамического завода, на втором обитают списанные обществом человеки. За всех не скажу, но некоторые точно неликвид.

В общежитии и закрепилось за девушкой прозвище «Губа». Галина не обижалась. Давая объявление о зна-комстве в местную газету, подписывалась: «Губа Галина».

Сначала искала отзывчивого, доброго, с минимумом вредных привычек мужчину с целью создания семьи. После четвертой неудачной встречи с ответившим на ее письмо мужчиной объявление кардинально изме-нилось: Для нечастых интимных встреч ищу мужчину,

можно с инвалидностью и лицевыми дефектами (заячья губа, волчья пасть). Место для встречи имеется.

Не каждый ответивший Галине мужчина соглашался ехать на окраину в общежитие. В большинстве это были инвалиды с ДЦП и колясочники. Редкие смельчаки с вполне сносной внешностью (один из двадцати согласно подсчетам девушки), без лишних слов и подарков, выполняли по-быстрому свои оговоренные еще по телефону или в переписке обязательства, поспешно покидали комнату 33 и никогда не перезванивали.

С появлением интернета стало проще находить партнеров, но к этому времени у Галины уже был сын-первоклассник.

Маленький Миша не знал, кто его отец, впрочем, и Галя не знала. Бабушка Миши верила, что это — Белов Артем, осеменивший дочь с помощью украденных плавок и цыганского наговора. Она и настояла, чтобы в свидетельстве о рождении отчество у внука было Артемович. Галя не спорила. Исподнее «любви всей жизни» до сих пор припрятано у нее на нижней полке бельевого шкафа.

Пока сын рос в селе (семьдесят километров от города) у бабушки, Галя смело приводила утешителей в комнату и даже забывала запира́ть дверь.

В общежитие Миша переехал в семь лет, перед самой школой.

— Я буду достойной матерью, — поклялась женщина, стоя перед окном. Поклялась темнеющим небом, солнцем, что спряталось за черной крышей, поклялась криворуким тополем, ветками, упирающимися в раму, куском разбитого асфальта...

Всем, что попало в эту минуту на глаза, Галя поклялась.

— И никаких связей с мужчинами, — обещала мутной луне, замелькавшей перед глазами. — Не на глазах сына.

Миша проснулся в раскладном кресле, потянулся, спросил:

— Ты меня звала?

Галя сидела спиной к нему, красила ногти, ответила:

— Ты за чтением правда уснул или обдурить решил? Книжку открыл, а сам дрыхнуть?..

Сын сощурился:

— Да не люблю я эти буквы.

У Галя завибрировал, пропиликал смартфон. Пришла эсэмэска, приятными воспоминаниями дрожь пробежала от живота по ногам. Галя ощутила ту же легкость, как будто снова надела ворованные плавки.

— Телефон, — соскочил мальчик к матери и схватил аппарат со стола раньше нее.

— Сколько могу говорить, чтоб не трогал без разрешения, — замахнулась мать. — Положил быстро на место.

Сын всхлипнул:

— Посмотреть хотел просто...

— В книгу лучше посмотри.

Смартфон вернулся на стол. Миша обиженно надулся, отвернулся к окну.

Сообщение с сайта мобильных знакомств «ЧПОк», заметила Галя и поспешно скрыла.

— Двойки сплошные и неуды за поведение, еще чего-то хочет, — возмущалась громко. — Третий класс, начальная школа! А в старших что будет?! Пиво и наркотики?!

— Тебе-то что?.. — пробурчал мальчик. — Снова заставишь в коридоре сидеть.

Галя сделала вид, что не услышала:

— Подуй лучше маме, чтоб лак быстрее засох. Дам, так уж и быть, поиграть полчаса на телефоне.

Миша попятился спиной к матери, потом развернулся, сел на корточки и принялся дуть на длинные кроваво-красные ногти:

— Это же не твои...

— Нравятся?.. — поиграла костлявыми пальцами, как по клавишам, перед носом сына. — Приклеила накладные, в киоске продаются, копейки стоят...

— Страшные, как у ведьмы.

— Много ты понимаешь. В математике лучше б разбирался, а не в ногтях.

— Все, — дунул в последний раз сын, — давай телефон, — протянул ладошку.

В кармане халата просигналила новая СМС-ка.

— Сказала же, дам, — прочла сообщение. — Только давай в коридоре, сейчас ко мне гость придет через пятнадцать минут.

Сдвинув брови, сын хмуро, исподлобья, взглянул на мать:

— Опять?!

Она обняла его осторожно, чтоб не повредить ногтей, пообещала:

— Я тебе телефон с зарплаты подарю.

— Поклянись.

— Клянусь, — поцеловала в макушку.

— Мной поклянись.

Женщина отпрянула:

— Сказала же. Клянусь всем.

Миша кивнул:

— Всем, значит, и мной, — и добавил: — А если дядя Гриша пьяный на лавке спит?

— Не спит, и если цепляться будет с вопросами, пошли его куда подальше.

— Не его собачье дело.

— Молодчина.

Галя всегда успевала выпроводить сына за несколько минут до появления гостя. Миша садился на лавку у окна и провожал незнакомцев презрительным взглядом из-под бровей.

— Ненавижу, — шевелил губами, — убил бы!

Чаще всего смотрел в темноту, на одинокое светлое пятно от фонаря. В пятне света изредка возникали и исчезали человеческие фигуры, собаки...

Прислушивался Миша к звукам общежития — громче всех в крыле был дядя Гриша, у него без умолку работало радио. Играл в смартфон без энтузиазма, отвлекаясь на дверь с номером 33 и испуганно ожидая появления приставучего дяди Гриши. Проигрывал, злился на мать, на себя, на гостей... Гости были всегда разные, но все будто на одно лицо. Миша не смотрел им в глаза. Чтобы не запомнить. Так они скорей будут уходить из его жизни, из их жизни, исчезать подобно силуэтам в свете фонаря...

Иногда прогуливался по коридору, спускался на первый этаж, где все двери закрыты, а местами из стен и на полу сквозь старый линолеум растет трава.

Он представлял себя путешественником, открывателем потерянных земель, воином, защитником всех живущих, спасителем...

Полчаса, бывало, затягивались еще на полчаса. Тогда Миша подкрадывался к закрытой на ключ двери и скулил, мяукал, рычал...

Подумывал бросить в комнату зажженную спичку, поджечь что-нибудь и выкурить незваного гостя, но никак не мог придумать, как поступить с мамой.

Вспоминал, бабушка рассказывала, как еще до его рождения прочитала специальную молитву над огнем, и этот огонь изжег все недостатки у Миши, еще не родившегося...

Вспоминал, как у мамы кровь пошла из уха, и подумал, что теперь мама умрет, и проревел без остановки весь день, пока не уснул.

Вспоминал сон, он видел его много раз: из ямы посреди комнаты выползают огромные крысы в человеческий рост. А Миша с мамой кушают за кухонным столом, и

чудовища окружают их, первой откусывают голову маме. Миша вместо крика смеется, тогда и ему откусывает голову гигантская крыса, а он все равно смеется, наблюдая, как безголовые тела продолжают есть...

— А без головы можно жить? — интересовался у бабушки.

— Мать твоя живет же как-то.

Подержанный телефон «Nokia» появился у Миши через неделю, а на следующий день он снова бродил по коридорам общежития. В этот раз Галя пообещала сыну роликовые коньки.

В пятом классе, когда у Миши появился планшет с велосипедом, на парте, за которой сидел на сдвоенных уроках русского языка и литературы, кто-то нацарапал большими буквами: МИША ГУБА СПИТ С МАТЕРЬЮ.

— Я сплю на кресле, — оправдываясь, прошептал мальчик себе под нос. — Мама спит на диване.

Потом кто-то окликнул его в школьном дворе, громко, во все горло:

— Эй, Губа! Есть полтинник?!

— Губа, — подхватило эхо и разнесло во все стороны.

— Губа, — кричали вслед девчонки-первоклашки.

— Губа, — поддерживали старшекласники...

Миша смотрел в зеркало и ничего необыкновенного в своих губах не находил.

— Это из-за тебя меня так дразнят! — выкрикнул матери в лицо, как поставил диагноз, в ответ на ее просьбу сходить погулять полчаса. — Это у тебя губа уродливая! Трусиха! Бабуля говорила, что ты сама виновата, доктора испугалась! Ты во всем виновата! Ты! Ты-Ы!

Галя захлопала накладными ресницами:

— Что?.. Что ты такое говоришь?..

— И гости все твои уроды! Уроды! Все на одно лицо! С такими же пастями!

«Шире! Еще шире!» — закричало в голове, Галя испуганно обернулась. Голос был реален до звона в ушах.

Увидела огромную женщину в белом халате, с окровавленными руками, она стояла перед Галей и кричала, и тянулась пальцами-сосисками к ее рту:

— Это не рот, это пасть!

И Галя ударила, залепила пощечину, оттолкнула:

— Убирайся! На х.. пошла! Проваливай!

Галю пихнули в ответ. Она стукнулась об угол шкафа, сверху на нее посыпались плюшевые игрушки.

— Сама пошла! — Хлопнула дверь, чешуйки побелки полетели с потолка.

— Миша?.. — заморгала, осмотрелась мать: — Миша, я на минуту из реальности выпала. Я не хотела.

Выбежала босиком в коридор, закричала в пустоту:

— Я врачу прогоняла! Не тебя! Миша! Прошное свое выгоняла! Миша! Не тебя!

— Вернусь, чтобы сжечь все раз и навсегда, — шептал, поднимаясь на второй этаж общежития. — Я Губа, великий и ужасный.

У двери комнаты 33 достал коробок спичек, свернутую косичкой картонку. Он представлял, сидя за гаражами, как огонь выбивает стекло в их комнате. Как пламя заползает на крышу, и вот уже шифер бабахает салютом. Он слышит крик. Крики. Огонь перебирается дальше в другую комнату, и в считанные минуты все общежитие — это один большой костер. Черный дым закоптил небо, солнце исчезло...

— Всех сожгу, — дверь приоткрылась, видимо, от сквозняка. Миша шагнул в комнату, пряча орудия возмездия.

Сумрачно и тихо в комнате. Над кухонным столом зажженное бра. На электроплите еще горячая кастрюля с колбасным, его любимым, супом.

Дверцы шкафа распахнуты, на полу разбросаны плюшевые игрушки, их дарят иногда гости. Мамы нет.

На телевизоре часы: вечер, полшестого. Миша разулся. Снял куртку, попил воды, посидел на диване.

Мама звонить не станет, твердо решил. Пока собирал игрушки, отгонял мысли, что с мамой случилась беда.

Но мысли возвращались, терзали, не давали сидеть на месте.

«Она могла выбежать за мной на дорогу и не увидеть машину... Новый гость мог заманить в ловушку, похитить, увезти... У нее от волнения пошла из уха кровь, и “скорая” увезла в больницу, а мама без сознания и не может позвонить, сообщить...»

Миша набрал номер матери.

Абонент недоступен.

— Мама, — пропищал, не сдерживая слезы. Залез на подоконник, выглянул в форточку. Торопливо темноло. Спрыгнул, выбежал в коридор, пустая лавочка, а за окном одинокий свет фонаря.

— Да мама же! — крикнул.

Часы показывают ровно восемь. Суп остыл. И есть ни капли не хочется Мише. Он мечется по комнате, высовывается в окно, снова и снова выбегает в коридор. Звонит...

— Мама... — Миша не плачет, все слезы выплакал час назад в мамину подушку на диване.

Ему чудится, гигантские крысы где-то рядом, близко, и мама у них, быть может, уже с откушенной головой, а виноват во всем он. Он — Губа!

Задремал, увидел маму. Она лежала на операционном столе, и над ней нависла женщина необъятных размеров, схватила маму за рот и разорвала. Мама кричит. Миша кричит.

Упал с дивана, подполз к телевизору. Начало одиннадцатого.

Встал. Уверенно посмотрел на себя в зеркало над столом. Взял из ящика нож. Провел ладонью по вечно тупому лезвию, сматерился, швырнул нож назад в ящик стола.

В коробке с мамиными принадлежностями — тампонами, баночками с кремами, бритвенным станком — отыскал пачку лезвий.

Набрал в тарелку воды из чайника, под руку, справа, положил распечатанный рулон ваты, бинт. Слева — открытый тюбик йода.

Еще раз набрал маму. Выглянул за дверь.

Подошел к зеркалу — щелки заплаканных глаз, красный нос, поджал губы, закрыл глаза и, не глядя, полоснул уголком лезвия над верхней губой, задев краешек носа. Боли не было, поэтому Миша сделал еще один глубокий надрез. Горячая кровь попала в рот, потекла по подбородку, по шее. Затекала под майку...

Миша не посмотрел в зеркало, проглотил кровь и еще раз позвал маму.

Он не успел умыться, в комнату ввалилась Галя с начатой бутылкой пива. Она сразу села на табурет и не вдруг увидела сына.

Миша бросился к ней:

— Я знал, — пробулькал и обнял мать.

— Сынок мой, — зашмыгала носом, — я всюду тебя искала, испугалась, что потеряла тебя навсегда, поэтому в церковь пошла. Попросила Богородицу вернуть тебя мне...

Кровь сына потекла по щеке матери. Тут Галя заглянула ему в лицо и протрезвела.

— Что?! Кто?! Миша! Кто это сделал?! Скорей! «Скорую»...

Она взяла лицо сына в свои руки.

— Не надо. Это я сам. Сам. Чтоб быть похожим на тебя, — говорил сын, роняя крупные алые капли в ладони матери. — Теперь и у меня такая губа. Как у тебя. Посмотри, ведь похоже?

Галя сползла с табурета на колени перед сыном. Прижала кровоточащие раны к губам. Слезы матери смешались с кровью сына.

— Прости меня, сынок.

В кармане распахнутой куртки-ветровки ожил смартфон знакомым рингтоном эсэмэс.

Миша сильнее прижался к матери, пряча лицо в ее растрепанных волосах.

— Можно я не буду больше ждать в коридоре? — Кровавая змейка скользнула по его подбородку и дальше по материной щеке и шее. — А, мам? Можно?..

Ответом пришло еще одно сообщение.

Комната 32

## ВНУТРИ НУЛЯ

### *Будущее*

Город мутантов. Здесь всегда обитали чудовища. Ро-ждались, жили, плодились и умирали. Радиация лишь вскрыла их настоящий облик. Уродство. Обнажила истинное лицо.

Были сообщения-пророчества: «АЛЛАХ АКБАР НЕФТЬПРОМ ДЕРЖИ ВОРОТА ОТКРЫТЫМИ, СУДНЫЙ ДЕНЬ ГРЯДЕТ!». Большими буквами на трубе перед въездом в центральные ворота Комбината. И над урановым комбинатом болтались лозунги: «ЭТО ЧЕРНОБЫЛЬ №2!», «ОБОГАЩЕНИЕ УРАНА — НАЧАЛО КОНЦА!», «ЯДЕРНЫЕ ОТХОДЫ — В КАЖДЫЙ ДОМ И СЕМЬЮ!»...

Были статьи в газетах, были митинги...

Было.

Теперь, не прошло и десяти лет, город превратился в могильник. Кладбище живых мертвецов. Ночи освещены зеленым сиянием радиации. Небо умерло следом за землей и водой. Это территория огня и пепла.

Урановые хвосты забрались, пролезли, как и предсказывалось, во все квартиры, впились, въелись во все, без исключения, существа...

Отходы пустили корни. Взросли. Мутировали. Поглотили. Завоевали...

Все ждали взрыва. Ядерный гриб.

А Конец пришел тихо, начался с пыли — закончился бурей.

Люди обратились не сразу, началось все с плохой крови.

Как тать, наступил Конец Света. Порошком, пылью, дыханьем драконовым...

### *Настоящее*

Если долго и пристально смотреть на чистый белый лист, не моргая, он исчезнет. Без разницы — это лист бумаги или только что созданный вордовский документ на компьютере — он исчезнет при условии, что вы будете смотреть на него, в него, долго. Очень, очень долго.

Проверено на себе. Лист сольется с окружением, станет невидимым. Если сильно постараться, и ты можешь исчезнуть. Некоторым так и стараться не надо, они родились невидимыми...

Взгляните вон на того бомжа, залезшего в мусорный бак, для большей части людей он человек-невидимка.

Я мечтал исчезнуть. Пропасть для всех, чтобы найти, обрести себя. Стать собой.

В руководстве для тех, кто хочет стать невидимым, первым пунктом — забудь свое имя и фамилию. Отучись отзываться. Не замечай.

Теперь, когда тебя никак не зовут, иди дальше... Удали контакты, расстанься с любимыми и нужными... Иди дальше, рви связи, взрывай мосты, пепел развей и иди дальше... Растворяйся. Исчезай.

Меня зовут Ник. Никак не зовут. Но соседям же необходимо как-то к тебе обратиться, вот я и сказал: «Зовите меня Ник».

Это место создано для тех, кто хочет потеряться, пропасть в безобразии жизни... Вычеркнуть себя из нее...

Вычеркивание порой необходимо, оно как добавление наоборот. Иногда, чтобы стало понятней, надо что-то удалить.

У невидимок многое не по-людски. Наоборот...

Ник отъехал в кресле от стола, от ноутбука, потеряв глаза, в окне начало весны. Серое небо в черных воронах, серый снег в черных пятнах проталин.

— Обожаю весну, — поднялся, — в грязи и цветении так легко затеряться.

«Избавься от возраста, — гласит второй пункт в руководстве по исчезновению, — стань нулем, пустотой, вечностью, бессмертием...»

На вид ему за сорок.

Неухожен — так одним словом охарактеризовала его соседка напротив, из комнаты 33. А если попросить ее описать подробнее, ответит: «Бородат, сутул, плешив, тих. В целом — пустое место», — вынесет окончательный вердикт.

— Снег тает на глазах, — запотевают на стекле слова: — Он больше трех месяцев был всем и повсюду, а теперь превращается в воду и пар. — Я человек-снег.

Снежный человек — неуловимый, несуществующий. Капель, испарение...

На подоконник спикировал голубь, мужчина спрятался за пыльную занавеску по инерции, машинально.

В комнате полки, до потолка забитые книгами, старыми газетами, рабочий стол с ноутбуком обложен бумагами, на кровати и кресле раскрыты блокноты, рассыпанные карандаши, ручки...

— Вещи. Избавиться от всего, что держит в прошлом, привязывает к настоящему, тянет в будущее, — озвучил третий пункт руководства Ник, разглядывая окружающее его наследство. — Огонь — самый верный способ избавиться от...

Вернулся за стол и быстро напечатал:

«Здесь все думают об огне. Он третий собеседник в беседе двух соседей. Огонь временами говорит за них, вместо них. Разгорается. Мечты об огне теплятся в каждом обитателе этого места. Это место потерянного времени и загубленных надежд. Кладбище. Тут хоронят свои мечты неудачники. Тут обитают живые призраки. Люди, которые думают, что не живут, что умерли... Ходячие мертвецы.

Огонь положит конец всему. Огонь очищающий. Созидающий... Огонь, творящий новое... Но Фениксы, возвращенные из пепла, другие. Ничто не проходит бесследно, из пепла восстает тьма.

Зажги в себе огонь. Гори, но не сгорай. Из пепла ты не вернешься собой.

Невидимки не горят. Как человек-снег сгорит?.. Только в себе, самим собой, от безумного чувства, например.

В руководстве прописано — ты не исчезнешь полностью, пока будешь чувствовать.

Я никого не люблю! Писал на обоях комнаты. Писал мелкими, едва различимыми буквами, писал огромными — Я НИКОГО НЕ ЛЮБЛЮ!

Любовь приходила во сне.

Сны, вот с чем надо бороться, согласно руководству об исчезновении. Они делают тебя видимым. Выдают в тебе человека живого, мыслящего, желающего...

Надежда на огонь».

Голубь настырно пялился в окно, настойчиво тарабаня в раму.

В начале зимы Ник пожалел серую грязную птицу, высыпал хлебные крошки замерзшему голубю. И четвертый месяц не может избавиться от пернатого чудовища. Раньше солнца начинает голубь утреннюю долбежку, не получив требуемого пайка, к загаженному подоконнику добавляет новую порцию помета. Днем голубь заявляется с приятелями. Они могут до вечера вести протяжные беседы, периодически постукивая в окно. Теплой ночью попрошайка ночует тут же, набирается сил, чтобы в начале пятого утра снова броситься в атаку.

Первые дни Ника забавляла борьба с приставучей птицей: он прогоняет ее газетой, высовываясь в форточку, грозит кулаком, стучит по стеклу.

Голубь раз клюнул в ладонь до крови, и с первой кровью началась война.

Гриша, сосед по этажу, посоветовал насыпать стиральный порошок на подоконник — не помогло. Малоэффективен был и уксус, и нашатырь. Голубь, подпитываясь человеческим сопротивлением, — жирнел, становясь непробиваемо-бронированным.

— Пока не исчезну, так и будешь мучить меня?! — спросил Ник голубя, подкатывая к окну в кресле. — Ты меня видишь. Ты мой судья и палач.

Мужчина стукнул по стеклу, голубь стукнул в ответ. Ник поднялся, открыл форточку, впустил ветер с ароматами голубинового дерьма и комбинатовских выбросов. Весной не пахло.

— Или я, или ты. Кто первый из нас обратится в пустоту, а?..

Голубь улетел, на прощание стрельнув желто-зеленой кляксой в окно.

## *Прошлое*

*(из блокнота внештатного корреспондента)*

Февраль в городе страшен. Ветра при температуре минус двадцать пытаются сорвать кожу с лица, словно хотят заглянуть в тебя настоящего. Незащищенного. Слезы из глаз превращаются в хрусталики льда на щеках, и их приходится соскребать до царапин, до первой крови. А какой пейзаж — серость и чернота. Особенно здесь, на окраине, в поселке. Дома пугают своим ветхим видом. Двухэтажки с облупленной краской, с ранами свежей штукатурки, залатанными крышами. Корявые, скрюченные в болезненной агонии доски заброшенных огородов. Старые проржавевшие трамвайные пути, идущие в никуда. Одинокие столбы с оборванными проводами. Пугливые деревья, худые бродячие собаки, теням подобные люди. И над всем этим трубы Комбината. Дымящие, пылающие... трубы. Трубы-стражники, трубы-наблюдатели, трубы-вершители человеческих судеб.

Это городская окраина. Добраться сюда не так-то просто. Один автобус в час. Когда из-за износа трамвайных путей в поселок перестал ходить трамвай, жители собрали подписи с обращением к мэру и подумывали выйти на площадь перед городской администрацией, но прошло уже десять лет и...

Двадцать два рубля стоит дорога в ад. Ладно, не в сам ад, в его преддверье. Поселки из-за тесного соседства с Комбинатом должны были снести еще в начале шестидесятых годов. Снесли один — на месте него теперь пустырь, а три поселка оставили — забыли. Живьем похоронили. Да и куда девать людей...

Люди остались. Комбинат рос. Комбинат приближался. И однажды вдруг стало достоянием общественности, что поселки оказались в так называемой санитарной зоне, на территории которой оседают все комбинатовские выбросы.

## *Настоящее*

Уснуть и не проснуться. С детства эта мысль живет в нем. Ворочаясь в постели, под подушкой, укрывшись с головой одеялом, в двенадцать, в двадцать пять, в тридцать семь лет... Почти невидимым. Уснуть и не проснуться.

Проснулся от привычного голубиноного барабана.

Потянуло закурить. Но привычка, особенно вредная — тормоз в процессе исчезновения.

— Разложение, — сказал первое пришедшее на ум Ник, каждое новое утро забывая по одному слову.

Он тут же записал это слово в блокнот «Исчезнувшие слова и мысли». Написал и вычеркнул. Забыл.

Разложение.

По задернутым шторам на окне мельтешила одинокая тень. Пока шумел, закипая, электрический чайник и разогревался ноутбук, Ник выглянул, противник поприветствовал, брызнув свежей порцией радости на стекло.

— Вот гад, — ответно стукнул Ник по раме, задрезжали стекла, голубь же смело прошелся по подоконнику, распушив хвост.

Щелкнул, отключился чайник. И вот Ник уже набирает полную кружку кипятка и залазит на подоконник коленями. Дымится и еще булькает вода в керамической кружке с надписью: «Все люди как люди, а я как Бог». Мужчина замер, враг косится, топчется.

— Подойди ближе, — гипнотизирует человек.

Терпение наверняка наградило бы победой, но Нику его всегда не хватало. Затекала рука, и с криком «Получай!» он выплескивает воду в птицу.

Голубь успевает исчезнуть под крышей. Мужчина стучается головой о щеколду, пораженный, с шишкой на макушке спускается в комнату.

Заваривает кофе, садится за ноутбук, и все возвращается на круги своя. Только теперь одинокая барабанная долбежка обернулась целым оркестром. Пернатые оккупанты набросились на окно, как на корку хлеба в морозное утро. Закрыв глаза, Ник видел фрагменты из «Птиц» Хичкока. Голуби стучали, царапали, пищали, рычали...

До позднего вечера не написал ни строчки в своей работе. Название — «Прозрачное завещание».

### *Будущее*

Животные боятся людей. Новых людей с истинными лицами и желаниями. У многих слезла кожа, другие покрылись чешуей...

Уцелевшие от радиации животные бегут из города. В горах воздух не заражен и не отравлен. Люди спаслись лишь те, кто уехал. Все оставшиеся изменились. Человеческий облик остался в прошлом, как и память. Чудовища ничего не помнят. Чудовища хотят лишь одного — жрать.

Что они и делают без сна и усталости. Все, что попадает на пути, исчезает в желудках этих существ.

Птицы. Говорили, всех голубей съели китайцы. Может, и так. Только следом за голубями пропали вороны, сороки, ласточки, дятлы... Воробьи, самые стойкие, держались до первых зеленых ночей.

### *Прошлое*

*(из блокнота внештатного корреспондента)*

Вы, когда спускались в поселок с главного виадука, не заметили, не почувствовали, как поменялся воздух вокруг вас?.. Он становится тяжелым, становится осязательным. Его почти что можно потрогать. Воздух давит на стекла окон, оставляя зачастую на них следы, легкий

налет. Подождите, еще не вечер, вечером вы даже при закрытой форточке почувствуете этот жгучий тошнотворный запах сероводорода. Он наполнит квартиру, и ни один освежитель воздуха с ним не справится. Это газовая атака. После нее у непривыкших начинается болеть голова, тошнить... Бог его знает, какие элементы из периодической таблицы Менделеева вы проглотили.

Знаете, что беременные женщины стараются выехать из поселка на время беременности?

Самые страшные, на мой взгляд, — ночные выбросы. Если днем видишь, чем дышишь, ночью же... Нас давно негласно город прозвал «чертовым местом». На карте нас нет, мы помечены как городская свалка. За нас никто не заступится. Нас не спасут. Потому что на свалке жизни нет. Нас не существует. Здесь, в поселке, потому и прописывают всех мертвых душ.

В ночных выбросах присутствует что-то пострашнее...

Идут слухи, что на протяжении многих лет в этих местах чего только не нарождалось...

...Однажды у Полины Геннадьевны голубые подсолнухи зацвели. Потом у деда Михаила, соседа по огороду, черви дождевые с локоть длиной повылазили, их лопатой бьешь, они кровью взрываются и кричат, пищат по-человечески как-то, жуть. Про двухголового котенка, думаю, слышали?.. А про зубастых и волосатых младенцев и вовсе не стоит вспоминать.

Здесь люди меняются. Внешне это малозаметно, у кого странные наросты, прыщи, болячки, у кого волосы вдруг поседели, что уж говорить про то, что листья на деревьях посреди лета желтеют и опадают. Люди изменяются внутри — они становятся злыми. Чокнутыми психами. Все человеческое внутри них умирает. Ни любви, ни жалости, ни понимания, ни сочув-

ствия... Все боятся. Тупеют. Деградируют. По ночам я часто слышу крики — это кричат люди, люди, которые не могут справиться с изменениями в себе и которые скоро превратятся в животных. Если бы в животных. В чудовищ. В нечто.

### *Настоящее*

Капюшон скрывает лицо. Быстрым шагом до магазина. Черный хлеб, пачки лапши быстрого приготовления, тушенка, вода. Список покупок он знает наизусть. Никаких излишеств.

От продуктового до общежития — 355 шагов, их Ник проходит за полторы минуты. Дворами, подальше от проезжей части.

Уличное освещение, отсутствовавшее в поселке больше десяти лет, как назло, наладили год спустя после его бегства из города. Ник подумывал незаметно разбить лампы фонарей у общежития, но в освещении, кроме минусов, был плюс. Он мог обнаружить слезку раньше, чем обнаружат его.

Конечно, если возможно в этом тощем, сутулом, обросшем бомже в поношенном драповом пальто и резиновых сапогах узнать всегда ухоженного, стильного журналиста, специализирующегося на скандальных разоблачениях...

Ник позволял себе раз в месяц звонить матери и раз в полгода разговаривать с другом детства. Мать была уверена, что сын в Германии на долгосрочной работе. Друг больше слушал, чем говорил, считая: все, что нужно сказать, рано или поздно будет сказано и услышано.

Эти поблажки и делали его все еще видимым. Почти невидимым.

Сегодня к списку продуктов был добавлен пакет отравы для крыс и мышей.

— Меньше чем за неделю умрет грызун, — пообещала продавец, заворачивая в газету стограммовый

пакетик ядовитых зерен. — Сами осторожней, были случаи, не смертельные, правда, — оценивающе осмотрела покупателя повелительница хозтоваров, хмыкнула: — От детей подальше и руки мойте.

Ник старался поменьше мозолить глаза соседям. Прежде чем выйти по нужде, долго прислушивался к звукам в коридоре и шуму воды в мойке. Посуду мыл и принимал душ после полуночи. А когда все же сталкивался с жильцами, глухо здоровался и спешил в свою комнату, не поднимая глаз. Поэтому некоторые, например Галя, считали его умственно отсталым, а кто и глухонемым.

По вечерам не включал свет, только светильник у дивана. Если стучали в дверь, никогда не открывал. Его комната была напротив комнаты Гали, и ее частые гости так же часто путали левое с правым и требовали впустить, иногда угрожали и обещали жестоко надругаться...

Гриша из 29-й тоже мог долго стучать и торчать под дверь с мольбами поговорить за жизнь. Ник в таких ситуациях зажимал ладонями уши, ложился на диван и представлял, что исчез.

Почти всегда засыпал и проваливался в альтернативную жизнь.

Здесь он известный журналист с бешеными гонорами и популярностью, продолжает работать в реанимированном и раскрученном городском еженедельнике «Пульс». Только издание уже областное, а он уже и не совсем журналист, а главный редактор. У него пятикомнатная квартира в спальном районе, жена, та самая модель из рекламы духов, четверо детей, собака лабрадор...

Реальность сильней любой эфемерной альтернативы — настигала, разбивала барабанной дробью придуманный мир, вышвыривала сначала в прошлое, в тот момент, когда два человека в черном избивали его у дверей редакции. Ник просыпался со вкусом крови во рту

и бомбежкой в больной голове. Это голубь пробрался в нее с улицы и мстит, разнося мозг в зерно.

Усыпав весь подоконник отравой, Ник сполоснул руки над половой тряпкой у двери, с победным видом сел перед черным экраном ноутбука.

«Прострация» — слово, вычеркнутое из лексикона сегодня утром, и именно так он себя сейчас ощущал.

— Вот она, блаженная невесомость идиота, — сказал тихо. — Инфантильные маленькие победы и бессмысленное ожидание неизвестности...

Орда голубей за десять минут смела яд вместе с пометом подчистую.

Ник хлопнул в ладоши. Смело распахнул форточку. Вернулся за стол, к работе.

Тут и раздался знакомый одиночный стук по оконной раме.

### *Прошлое*

*(из блокнота внештатного корреспондента)*

Сумерки. В них было что-то еще. Оно мельтешило в воздухе подобно миллионам мушек и оставляло на щеках маслянично-липкий налет. Я закрыл лицо перчаткой. Возле автобусной остановки меня накрыл черный туман, видимости никакой, и спасибо простуде за заложенный нос. Режет глаза, и я вдруг понимаю, что не слышу совсем ничего. Мертвая тишина. Замолкли птицы, опустели улицы, перестали шуметь редкие машины на шоссе.

Неожиданно небо осветилось оранжевым цветом. Я взглянул вверх и в сторону — это вырвалось огромное пламя огня из трубы Комбината. Сначала из одной, потом из другой трубы, третьей. И сразу воздух наполнился жаром и гулом.

— Не хотите превратиться в чудовище?

— А вы хотите?..

## *Настоящее*

Написал одно: «*Настало время уничтожить человека мыслящего, человека пишущего*».

Голубь, свидетель его видимого существования, не клюнувший на отраву, исчез сам по себе, не показывался шесть суток. Зато вместо него под окном Ника стали появляться вроде бы случайные, но до боли знакомые личности.

Два дня назад долго стояла черная иномарка, потом из нее выбрался парень в спортивном костюме с шапкой на глаза. Он узнал его своим разбитым носом и вывихнутой челюстью. Серебряные печатки болтами на трех пальцах левой руки. На одном кольце выбит крест с сердцем посередине, Ник ходил около месяца с этим отпечатком на переносице.

Те же дерганные движения, прыгающая походка, нервная жестикуляция...

Они вычислили его. Нашли.

Потом он увидел молодого папашу с коляской, только вместо ребенка, в этом Ник мог поклясться, бандюган вывез на прогулку куклу. Он делал вид, что говорит по телефону, сам не отводил взгляда от общежития.

Голубь наступал. Донес.

— Огонь, — отошел в сотый раз от наглухо зашторенного окна: — Сжечь все записи. Прошое. Настоящее.

Проверил, как делал почти каждые несколько минут, заперта ли дверь.

Дверь была закрыта на ключ и щеколду.

— Разорвать все на мелкие кусочки, — давал себе установку. — И будущее туда же, на клочки — и огню...

Посреди комнаты в алюминиевый таз покидал все, что было еще со времен внештатного корреспондента: записные книжки, ежедневники, тетради, блокноты...

— Теперь ноутбук, — курсор бьется в такт сердцу, в конце последнего предложения в его видимой жизни.

Настало время уничтожить человека мыслящего, человека пишущего.

— Вычеркнуто, — сказал и удалил сначала строку, потом весь документ, — нет больше «Прозрачного завещания». Нет будущего. Нет прошлого.

Ту самую злосчастную статью, из-за которой все началось, он написал на одном дыхании пять лет назад.

Статья вышла в понедельник на первой полосе с продолжением на второй, самым большим тиражом в тридцать тысяч экземпляров. Заголовок был такой: «Противогаз для мэра или для бабы Маши?» На фотографии к статье коллаж: мэр в противогазе на фоне дымящих труб Комбината.

В статье речь шла о загрязнениях, отходах и о протестующей старушке в противогазе. Она всего лишь хотела чистого воздуха для внука, а в четверг в конце рабочего дня в нее стреляли люди в черном из черного автомобиля.

И все это в преддверии выборов мэра и в городскую думу.

— Мы подомнем мэра перед самыми выборами. Мы поставим его на колени. На второй срок ему не избираться. Его песенка после твоей статьи будет спета, — брызгал слюной главный редактор «Пульса» и обещал поднять общественные массы и защитить в случае чего.

В следующий четверг его, внештатного корреспондента, окликнули: «Эй ты, бумагомарака!» Двое, у одного была шапка на глаза и печатка с распятым цветком розы на указательном пальце...

Потом посыпались в редакцию письма, бумажные и электронные, с угрозами в его адрес. Ночные звонки и пугали тишиной. А когда в квартире, которую снимал, выбили стекла и на двери красной краской написали: «Ты покойник!» — он решил исчезнуть.

*«Жизнь в страхе — не жизнь, — писал он в своем «Завещании». — Страх сворачивает время и кровь. Рождает чудовищ. Первое, что надо каждому вычеркнуть из своей жизни, из себя — это страх. Страх.*

Начинаем с малого — не боимся завтрашнего дня, не боимся, что о нас подумают, что скажут... Не боимся не быть».

Прозрачные крупички надежды забрали голубиные последователи.

Ник даже насыпал свежих крошек в ожидании голубя.

Уж лучше он, чем они.

Но птица не появлялась.

— Это к лучшему, — говорил, очищая и форматируя жесткий диск. — Завещание меня тормозило, как и память о прошлом. Все теперь уничтожено, стерто. Вычеркнуто и забыто. Ноль. Полный и голый ноль.

В руководстве о совершенном исчезновении говорилось последним пунктом: осознай, что ты ноль. Все твоё существование, окружение внутри и снаружи — всего лишь пустое место. Достигнув нуля. Приняв его. Став частью его. Ты достигнешь цели.

— Почувствуй ноль в себе, — закрыл Ник глаза, — больше никаких альтернативных жизней. Никаких снов. Минимум мыслей и слов. Минимум потребностей. Ноль.

Я ноль. Ноль в нуле.

Сжечь все, что написал за свою жизнь, Ник в комнате не мог, поэтому припас канистру с разбавителем. Художник из 30-й комнаты как-то сказал, что берет его из бочки, которыми забит первый этаж.

«Это просроченный товар керамического завода», — подслушал разговор Ник и той же ночью спустился вниз с трехлитровой канистрой и воронкой. Пахло содержимое жутко и резало глаза до слез.

Художник говорил, что разъедает смесь не только краску, но и кожу на пальцах моментально.

— То, что надо, — тонкая струя потекла из канистры в таз на блокнот с надписью «Прошлое». Зашипела и расплзлась на глазах обложка, надулось желтыми пузырями, задымилось будущее и настоящее...

Прошлое, настоящее и будущее растворялось без сопротивления и борьбы... Исчезало.

Ник отвернулся, вновь закрыл глаза. Внутри себя, внутри нуля разгорелось голубое пламя. Он ощутил жар, капли пота побежали по вискам, под невымытой шапкой волос, скатились по спине.

Огонь, долгожданный огонь вспыхнул в нем.

— Невидимки не горят.

В комнате стало невозможно дышать, Ник проскользнул к окну, выглянул, глаза щипало, сквозь радужную пленку слез разглядел пустой квадрат асфальта, куски снежных проталин. Открыл форточку. А когда обернулся, увидел снег. Он стоял в окружении белых крошек, они липли к нему, проникали под кожу.

— Да, да, лепите из меня снежного человека. Сделайте снежным. Сделайте невидимым.

Он раскрыл объятия.

За закрытыми веками бушевала огненно-снежная пурга.

### *Безвременье*

Идет дождь, и человек-снег приспособливается. Теперь он человек-дождь. Когда первые капли застучали в середине ночи по подоконнику, он подскочил к окну. Выглянул в темноту. Блестящие ветки тополя так похожи на птичьи крылья, на птичьи лапки...

Вычеркнутые из лексикона слова приходили во сне. Наверняка он повторял их вслух, может, даже громко. Криком.

Как в детстве. Стоп. Детство. Память.

Избавиться от себя не так-то просто. Забыть все невозможно, через лоботомию разве что, не иначе.

В зеркале он все еще видит себя. Отражение невидимки.

Безразличие — действующий принцип невидимости. Стань безразличным ко всему, и для всех ты исчезнешь.

Думай о нуле.

Обои изо дня в день покрывались нулями. Так легче растворяться.

Вышел как-то в коридор, и соседка прошла мимо него, не заметив, чуть ли не сквозь. Она не то чтобы не поздоровалась, не взглянула, глазом не повела.

И Гриша больше не донимал своими стуками и предложениями поговорить за жизнь...

— Я исчезаю, — говорил и реже подходил к окну.

Ночью свет фар скользил по потолку, и он его совсем не волновал.

Порой, чтобы начать чувствовать жизнь, надо от нее отказаться. Надо раствориться. Обесцениться. Пропасть. Вычеркнуть.

В одно утро по раме постучали. Сердце невидимки исчезло. Стук повторился, и невидимка на цыпочках подошел к шторе.

Стук. Тук и еще один.

Это сердце стучит по оконной раме, не более...

Отодвинул край ткани. Синичка вспорхнула желтой вспышкой перед глазами.

По тротуару катил коляску улыбчивый папаша с ребенком на руках.

Невидимка попятился, лег на диван, сполз на пол. В белом потолке можно увидеть множество интересных вещей. В каждой трещинке бурлит жизнь. В каждом кусочке побелки, паутине...

Думал о тишине. Раньше отвлекали тикающие часы, он вынул батарейку, и стрелки теперь всегда смотрят в небо.

Шум соседей, прохожих, машин стал морем. Сейчас штиль. Не слышно чаек. Ни ветерка. Движение песка, лишь оно постоянно и вечно. Песок жизни. Времени песок.

00ноль000ОНОЛЬ.000000нольнольнольноль0  
ноль00000ооноль00.000

Приснились похороны. Его похороны. Пустой гроб.  
Недоумевающие лица.

— Где тело?

На памятнике ни буквы. Притягивающая бесконечность серого мрамора.

— Он не умер. Он стал частью Вечности. Он теперь рядом с нами и в каждом из нас...

Невидимка сильно похудел. Есть с каждым днем хотелось все меньше.

Зато воду поглощал трехлитровыми баллонами. Шесть литров выпивал за утро. Пока солнце слепило в окно.

Вода растворяла, чувствовал... С каждой каплей частичка тела смывалась, становилась прозрачной...

Да здравствует человек невидимый!

Поэкспериментировал — спустился вечером на первый этаж. Побродил там. Двери в оба крыла общежития закрыты цепями, опечатаны, в коридоре бочки с вонючими жидкостями и ящики с кусками цемента...

Лицом к лицу столкнулся с мальчиком лет десяти, похоже, это сын соседки. Мальчик увлеченно комкал картонку, а когда невидимка коснулся его плеча, вздрогнул и поспешил наверх, перепрыгивая через две ступеньки, бормоча что-то про огонь.

Получилось!

Радостно закружился он, поднимая вокруг себя песок с мелким мусором. Вот и пара конфетных оберток заплясала с ним...

Хлопнула входная дверь, незнакомая женщина быстро прошла, разбив вихрь пыли. Она чихнула, а яркие фантики полетели следом...

Невидим!

Нули смотрели на него отовсюду — с книжных полок, из холодильника, таращились с обоев...

Ноль — это новая жизнь. Начало отсчета. Теперь главное — не повторить прошлых ош...

Слово «ошибка» он вычеркнул из своего лексикона месяц назад.

...погрешностей.

Невидимка не мог заснуть. Ворочался, спускался на пол, вставал, выглядывал в форточку, выходил в коридор, пил воду.

Под утро страшно потянуло писать, он искал чистый лист — не нашел. Нули. Вокруг и всюду. Нули... И на рулоне туалетной бумаги, и старых газетах...

А потом он оказался перед ноутбуком, и чистый лист с пульсирующим курсором требовал от него слов.

Хотя бы слово.

Рука зависла над клавиатурой. В нем больше не осталось слов. Вычеркнуто. Все. И всё тоже вычеркнуто. Ноль.

Черная метка курсора пророчила беду. Он заскрипел зубами, но крик было не удержать. Курсор стал расплзаться по белизне листа чернильной тьмой. Она потекла из экрана, покрыла густой слизью клавиатуру. Стол. Оказалась на пальцах...

Крикнуть не получилось, тошнотворная жижа брызнула в лицо, ослепила, заполнила рот.

Пустота имеет цвет. Ноль — черный.

Еще ощущая черноту внутри, поднялся, тяжелая голова, как в тот день уничтожения от паров растворителя, его два раза стошнило в таз, в котором исчезло его прошлое и будущее.

Невидимка бесстрашно распахнул шторы и форточку.

Трубы Комбината приветливо чадили, отчего небо было неприветливо серым и солнце катарактой смотрело недружелюбно.

— И тебе доброе, — сказал трубам.

Когда тебе известен финал, проще быть снисходительным, легче прощать, дарить улыбки, радоваться жизни, потому что знаешь...

Полегчало, но не от ветра в лицо, помогло осознание, что вот еще час на кофе, туалет, прочее, а там — свобода.

— Все с нуля, — прикрыл форточку.

Решил: с этого утра, с нуля, он начинает возвращать вычеркнутые слова.

Сегодняшнее слово — «надежда».

### *Ноль*

Вот и объяснение слову «счастье». Его он не успел изъять из своего словарного обихода. Но никогда не понимал, как в простое слово из семи букв может вместиться столько...

Он ерничал, говорил, что для кого-то сходить по большому после недельного запора уже счастье, а кому-то для полного счастья нужно унижить соседа или придушить кошку... Понятие счастья так многогранно...

Сейчас он нашел ему объяснение. Своему счастью.

Свобода. Вот оно. Без страха, заглушающего стук сердца, без хмурых бровей и упертого взгляда в асфальт. Счастье идти и знать, что этот мир только твой и для тебя. Все остальное лишь дополнение. Есть только ты. Ноль.

Надеяться, что посланники мэра его не вычислят и не отправят на дно Ангары. Надеяться, что урановые хвосты не так страшны и воздух в городе действительно не такой грязный. Надеяться, что мутанты — это фантастика. Надеяться...

«Не выходи из комнаты, не совершай (вычеркнуто)», — строчка из прошлого, из Бродского назойливо вертелась, пока он одевался, зашнуровывал кроссовки, возился с дверным замком.

Ноль, ноль, ноль, ноль...

Из комнаты напротив вышел мальчик с перебинтованным лицом. Невидимка взглянул на него, подмигнул. Мальчик не отреагировал, сел на лавочку у окна и растворился в телефоне.

Не выходи из комнаты...

— Ноль!

Дверь общежития хлопнула выстрелом из стартового пистолета перед забегом.

Марш!

— Ноль один, — шепнул себе.

Невидимка успел лишь перешагнуть лужу. Что-то промелькнуло над ним шумно. Что-то теплое шлепнулось на нос, потекло. Еще до того как смахнуть «послание» с неба, он услышал стук по подоконнику. Настойчивый стук, насмехающийся...

Черный джип вырулил со двора, и Невидимка узнал эту шапку на глаза, кривую улыбку...

Голубиная печать сделала его видимым. Открытым, уязвимым, обнаженным.

Под аккомпанемент сигнала авто с визгом тормозов и канонаду пернатого возвращенца он развернулся, наступил в лужу сначала одной, потом другой ногой, побежал к спасительной двери общежития.

Потом холл в шесть шагов, шестнадцать ступенек на второй этаж и в конце двадцатиметрового коридора комната номер 32.

Он побежал. Побежал назад. В ноль.

## Комната 28

### СЫН ЩЕЛКУНЧИКА

Во главе стола фотография в рамке перебинтована черной лентой.

Хмуро сдвинув к переносице брови, сжав губы, смотрит лицо с черно-белого снимка на ряд запечатанных бутылок водки.

— Тринадцать, — сосчитал Шнырь, испуганно покосившись на женщину в черном платке, молчаливо сидящую напротив.

— Его любимое число, что ли? — пробасил Глух, а, не дождавшись ответа, уронил голову на грудь.

— Тры, — отпрыгнул с другого конца стола Петрович, успевший до похорон влить в себя литровый графин самогонки, — тры и еще тры.

— Тридцать три, — сказал за Петровича сосед по столу, Пушкин. — Разливай уже, Шнырь, помянем. Салаты вон с колбасой кто-то заранее оформил, — мотнул головой в сторону женщины, — салфеточки разложил, вилочки...

Несмотря на то что все — одногодки из одного выпускного 8 «А» класса средней образовательной школы № 42, Шнырь считался за младшего.

— Наш меньший, — шутили друзья.

Шнырь разлил в пять рюмок водку, сел и тут же подскочил.

— Маргарину ж, — шепнул.

Шестую рюмку с куском хлеба поставил к фотографии и снова покосился на женщину. Потом осторожно пододвинул к ней ее рюмку.

— Трезвенником Рино последнее время был, — ожил Глух. — Ни капли в рот не брал.

— Помянем друга нашего стоя, давайте, — поднялся Пушкин, он, как всегда, руководил, тамада-заводила по крови и призванию. — Маргарин, мы тебя не забудем.

Встал Шнырь, Петровичу помог Глух. Незнакомка подняла рюмку.

Пушкин выдохнул:

— Земля тебе пухом, дорогой друг, нам тебя будет не хватать, — и залпом выпил.

Когда снова сели, Глух повторил:

— Рино, говорю, трезвенником был.

Петрович, заглатывая целиком малосольный огурец:

— Хрена ли?! Пил еще как, за милый мой, хоть оттаскивай, — ожил Петрович, прожевал и продолжил: —

Мы с ним месяца три назад в «Сударушке» встретились, сперва взяли перцовки, у него, типа, простуда была, потом сообразили, скинулись на литр водяры, пошли к Чесноку, вот Чеснок в завязке был. Ему полжелудка удалили, и он, как спиртное что выпьет, ссыт кровью.

Глух яростно замотал головой:

— Не, не, не, путаешь ты все. Не три месяца, а три года назад это было.

Петрович икнул, почесал плешь на макушке:

— Три года?.. Да гонишь. Пара-тройка месяцев, не больше... Он потому и это, — схватился за горло Петрович и высунул язык, — что с бодунища был, и потерял себя.

Глух и Шнырь посмотрели на женщину, женщина смотрела в никуда.

— У меня такое бывает после длительного загула, — разоткровенничался Петрович. — Это хуже клинической смерти, я так скажу. Там только свет в конце тоннеля, а тут ни хрена. И если вовремя не принять грамм двести-триста, капец. Можно и не успеть руки на себя наложить, сгоришь к еб...

Пушкин живо поднялся:

— С Рино я давно не общался и не видел больше трех лет, поэтому не знаю всех подробностей, да и какая уже разница...

— Не скажи, — перебил Глух. — Мертвым не нравится, когда их зазря оговаривают, а уж алкашом когда, это никуда не годится.

Шнырь быстро разлил. Тайнственная молчунья, когда он наполнял ее рюмку, всхлипнула и еще глубже спрятала в черный платок костлявые скулы.

— Я вам салата с колбасой положил, — накладывая еду в блюдце, прошептал Шнырь. Женщина в ответ шмыгнула носом.

— Тем более, когда столько не пьешь, годы ни капли в рот, а тебя все еще алкашом называют, это по себе

знаю, просто крышу сносит. — Глух взял свою рюмку. — И вот еще что скажу, покончить с собой на трезвую голову — это поступок. По пьяни с дури можно затянуть шутки ради шнур на шею и так по-дебильному и отшвырнуть коньки, на чистую голову же... Это, братцы, — сила.

— Он на ремне, — сказал Шнырь чуть слышно. — Не было никакого шнура, — и подцепил вилкой куст салата.

Пушкин пихнул друга под столом ногой, Шнырь покраснел и затараторил:

— Я верю в жизнь после смерти и уверен, что Рино сейчас с нами.

— Как на ремне?! На своем?! От брюк, что ли?! — поставил рюмку на стол Глух, и Петрович тут же звонко шлепнул его по лбу.

— Куда ты ставишь, мать твою!

Глух испуганно схватил рюмку, выпил.

— Ёпть, еще лучше! — замахнулся Петрович. — Ты еще давай ниже стола опусти посуду — точно в трезвенники пропишем сходу.

Непонимающе Глух посмотрел на Пушкина, развел руками.

— Так-так, — вступился Пушкин. — Ты, Петрович, не начинай свои эти ритуалы. Если на то пошло, то надо было на край стола налить умершему, если все правила собрался соблюсти. Глух с тобой сколько, лет пять точно за одним столом не сидел и твои заморочки уже не помнит.

Взгляд Глуха метался от Петровича к Пушкину, он никак не мог понять, за что получил затрещину.

Петрович крикнул, попытался дотянуться до Глуха, чтобы обнять, Глух отодвинулся:

— Сперва обоснуй.

— Да, Глух, не заводись, — Пушкин взял водку, налил ему. — Ниже стола рюмку не опускать, если поднял, то

пей, назад не возвращай... Обычаи застольные, у Петровича пунтик, особенно когда до кондиции доходит.

— Так, а ремень тут при чем?! Или что, Рино все-таки на шнуре?..

Пушкин всунул в ладонь Глуху рюмку, взял свою.

— Давайте помянем. — И тише уже шепнул на ухо однокласснику: — На ремне он повесился.

Петрович демонстративно накапал водки на край стола, перекрестился.

Помянули сидя, выпили, закусывали молча.

— А мать Маргарина где? — спросил Шнырь у тишины, все посмотрели на женщину.

Никакой реакции.

— Мачеха у него, — потер лоб Глух, искоса поглядывая на Петровича. — Матери не было. Она на кладбище была, сказала, что водки и закуски оставила кому-то из общаги и что с нами не поедет, не переваривает она это место.

— Общагу не переваривает? — Шнырь обвел глазами комнату. — Конечно, он же тут это сотворил, я сам как на иголках, особенно на дверь как взгляну, мурашки по коже.

— Он что на-а-а?.. — Пушкин оглянулся на покрашенную голубой краской деревянную дверь в свежих зарубках-ранах от ножа. — Узнаю почерк Рино: любимое занятие — бросать ножи.

— На двери, ага, — ответил за Шныря Глух, — на ручке.

— Не на ручке только, — возразил Петрович, разворачиваясь вместе со стулом к двери. — Скорей, он один конец ремня, тот, что с бляшкой, просунул наверх и закрыл. Так точно не сорвется, пока никто не зайдет...

— Тогда оба конца надо закрывать, чтоб петля получилась, — изобразил наглядно в воздухе пальцем Пушкин.

— Так и удобней, — согласился Шнырь. — На ручке придется на колени вставать, ложиться, как-то изгибаться, а так почти в полный рост, колени поджал — и все.

Петрович вернулся к столу.

Глух открыл новую бутылку.

— Это у него в третий раз получилось. Два раза ремень срывался, то мешал кто...

— Получается, что он чуть ли не каждый раз, как с вахты приезжал, так вешался? Ну дела... — предположил Пушкин, опасливо посмотрев на сидящую слева.

Когда они вчетвером вернулись с похорон, она была тут, прошло почти два часа, женщина не сказала ни слова, он спросил потихонечку у каждого про гостью. Никто ничего о ней не знал.

— Третью Рино неизменно пил за любовь, — разливал Глух. — Может, и причина его ухода кроется в этом, кто знает...

Пушкин кашлянул в кулак, прочистил горло, сказал:

— Любовь — это отговорка. Сколько несчастий из-за этой любви. И ни одного счастливого. Получается, любовь даже не наказание, а самый настоящий ад. Муки и огонь. Страдания и слезы. Боль, и все ради чего?..

Он замолчал, может, в ожидании ответа, или в горле пересохло.

Шнырь решил, что тишину надо заполнить, и вставил свои три копейки:

— Вешаться из-за того, что баба не дала или бросила, это как-то не по-мужски. По-дурацки даже как-то, я вот никогда бы...

Петрович громко икнул.

Пушкин снова закашлял.

— Любовь толкает на ножи, Шнырь, или тебе просто повезло — и ты еще не любил.

Глух подал голос:

— При чем тут любовь, не врублюсь?! Маргарин что, полез в петлю из-за бабы?! Кто сказал?!

В стекло постучали. Шнырь тонко вскрикнул, вскочил:

— Второй этаж же!

Стук повторился.

Тук-тук-тудук.

— Так Рино стучал всегда, это его стук, — прошептал Шнырь, пятясь от окна.

— Да посмотри уже, занавеску отодвинь, — рявкнул Пушкин. — Рино в дверь бы постучал, если б пришел.

— Птица это, голубь какой, — жевал и говорил Петрович. — Давайте за любовь выпьем, а то закипела уже водка, того гляди выкипит вся.

Шнырь нехотя шагнул к подоконнику, щурясь, как делал всегда, когда надувал воздушные шары или видел кровавую сцену в фильме, потянул на себя занавеску.

За окном никого.

— Говорю же, Маргарин, — отбросил занавеску Шнырь. — Это его позывной. — Сел и схватился за рюмку. — Может, и правда все от любви?.. Ведь как за любовь стали говорить, так и постучал...

Петрович поднял рюмку:

— Ну, за любовь с левой руки и стоя надо, но раз такое дело, можно сидя, но с левой, — выпил Петрович, занюхал хлебом. — А если честно, из-за любви дети должны быть, а не трупы.

Потревоженная занавеска в сине-желтый горох пропустила полоску света, лучи солнца превратили фотографию покойника в пылающий портал, — так подумал Пушкин, поежился и сказал:

— Я верю, что души мертвых могут приходиться и вступать в контакт с живыми.

Шнырь отодвинул стул подальше от окна.

— У меня по детству история была, — зашептал, наклоняясь к столу. — Я ночевал на даче, неделя как деда похоронили, и там часы настенные так громко тикали, спать не давали. Вдруг посреди ночи тишина гробовая и вместо часов стук такой по потолку, туп-туп. — Шнырь посмотрел на окно, сглотнул. — С потолка по

стене, туп-туп, потом хлопок такой, будто кто спрыгнул и по полу теперь идет к моей кровати. Туп-туп.

— Туп! — стукнул Петрович по столу и вздрогнул вместе со всеми от грохота зазвеневших нержавеек и стекла. — Ёк макарек, пойду до туалета, однако, — поднялся Петрович, держась за ширинку. — Что-то не пошла, малой, твоя история, — поковылял он, оставив дверь нараспашку.

— Фуф, напугал, придурок, — вздохнул Шнырь.

Глух разливал. Пушкин первый заметил, как в дверном проеме мелькнула тень, и через мгновение в комнату ввалился пьяный мужик.

— Эй, эй, — Пушкин привстал, чтобы не дать незнакомцу загреметь на стол, но тот удержался на ногах, выпрямился и, раскланявшись, исчез, словно и не было.

— Сосед явно, — озвучил Пушкин.

— Может, надо было налить ему помянуть? — спросил Глух и сам ответил: — Хотя он уже налит по горлышко.

Женщина встала, Шнырь следил за ней с открытым ртом. Нарезала в опустевшую тарелку колбасы, треугольником хлеб, а когда повернулась к сидящему Пушкину, он поднялся, пропустил ее к холодильнику.

Из кастрюли, что достала из тарахтящего старого ЗИЛа, выложила остатки салата, поставила в центр стола трехлитровую ополовиненную банку огурцов. Поправила занавеску, на фотокарточке пригладила черную ленточку, сдунула невидимую пыль. Села, и только тогда Шнырь закрыл рот, но выражение «что это было?» еще долго не сходило с лица.

— Все общаги похожи, — закрыл за собой дверь Петрович. — Крендель тут один, в хлам убитый, просил передать Маргарину привет. Живет напротив, говорит, у них музыкальные вкусы схожие.

— Рино музыку терпеть не мог, если че, — со знанием дела сказал Глух. — Даже «Сектор газа» не слушал по молодости, и на «Мальчишник» ему было, мягко говоря...

Петрович сел. Пушкин с облегчением отметил, что солнечный портал исчез, поднял рюмку:

— С музыкой, значит, сосед прогнал.

— А может, мы не так уж и хорошо, как думаем, знали Рино, а? — Шнырь не отводил глаз от женщины и говорил словно лишь ей. — Виделись раз в пятилетку, напивались и говорили о пустом. Кто душой его интересовался? Кто из нас хоть раз спросил: «Мargarин, о чем ты думаешь? Мечтаешь? Чем живет твое сердце, кем занято?..» Мы и про баб его ничего не знали... У него что, последнее время не было никого, что ли? Может, он просто с нами не делился? Да и где мы все были? Кто где. Всегда так. Когда надо, никого рядом, даже друзей!.. Ты вот, Глух, про музыку говоришь, а я знаю, что Рино классику слушал.

Глух промывчал вместо ответа. Петрович замычал следом. Пушкин пожал плечами. Шнырь хлюпнул носом:

— Да, классику слушал, стеснялся просто, что не так поймут. — Глаза заблестели слезами. — Типа, мужикам не может нравиться скрипка и балет... Думал, что на смех поднимут, затравят... А я с ним ходил, да, на балет ходил! — Шнырь почти кричал, друзья, свесив головы, слушали с поднятыми рюмками. Женщина, казалось, исчезла, на стуле сидела лишь одежда, в которую завернулась пустота.

— На балет это он предложил пойти, позвонил и попросил, только не хотел, чтобы вы об этом знали. Особенно вы! Петрович с пошляцкими шутками, Глух, вечно недопонимающий, и ты, Пушкин, думающий только о себе. Я тоже не лучше, мне все до фени. Я, честно, и не хотел с ним идти, все думал, как бы кто из знакомых нас не увидел на балете, не подумал бы чего... Эх, мы!..

Шнырь выпил. Одинокая слеза торопливо скатилась по щеке и шлепнулась в пустую рюмку.

Выпила незнакомка. Следом Пушкин и Петрович с Глухом. Молчали.

В общезнании где-то тихо играла музыка.

— А мы ему порнуху, помню, на днюху подарили, — виновато пробасил Глух. — Я бы и не подумал никогда про балет. Там же голубцы в колготках скачут, и что в этом интересного, не пойму...

— Не порно, это точно, — хмыкнул Пушкин. — Ты, Шнырь, все вроде четко сказал, одно упустил — у нас у всех семьи, а у вас с Рино черт-те что, ни бабы, ни мужика.

Петрович расплылся в пьяно-довольной улыбке.

— Про мужика отпад шутка. Или не шутка, — отрыгнул.

— Семьи, скажешь тоже, — ответил Шнырь. — Это кто тут у нас такой семейный? Ты что ли, Пушкин?

Пушкин отвел взгляд в потолок.

— Ни для кого не секрет, что ты от любой юбки слюной истекаешь, а трижды разведенный Петрович — это у него-то семья?

— Третьего развода, мож, и не будет, — вставил Петрович. — Я пообещал закодироваться.

— Глух, а ты как? С детьми уже разрешили видетсья? — Басы в голосе Шныря снизились до нуля, он ожидал атаки, отрицания, а не пассивного согласия. — Собутельники мы, а не друзья, — оборвал речь Шнырь. Распечатал новую бутылку, налил всем.

— Что за балет был? — Пушкин поднялся.

Шнырь молчал.

— Без подвоха, Шнырь, хочу сказать пару слов в память о Рино, потому спрашиваю.

— «Щелкунчик», — ответил и добавил: — Только вот попробуй что-нибудь ляпнуть.

Пушкин поднес рюмку к фотографии друга, словно чокаясь:

— Надеюсь, там, где ты сейчас, есть балет и ты сможешь им насладиться, не стесняясь и не боясь. За Щелкунчика! Это посерьезней съеденных тобой на спор трех пачек маргарина.

— За «Щелкунчика»! — подхватил Петрович. — Мне этот зубастый с детства нравился.

— За Щелкунчика так за Щелкунчика, — пробубнил Глух.

Шнырь выпил молча.

Курить вышли на улицу, некурящий Шнырь — подышать воздухом.

— Может, она его родственница какая? — строили догадки. — Невеста, соседка или знакомая хорошая?..

Выкурив по две сигареты, решили, что женщина немая, и хорошо, что есть кому после поминок убрать со стола.

Комната встретила мужчин тем же хмурым взглядом хозяина с фотографии и полными рюмками.

— Немая налила, — шепнул Пушкин. — Любовница, интересно все же, или нет?..

Выпили без речей, закусили. И вроде бы за двадцать лет дружбы не раз спорили и ругались, сегодня было иначе, через каждого прошла трещина, отделив друг от друга.

«Это все из-за водки», — думал Глух.

«Иду кодироваться», — решил Петрович, выжимая из рюмки на язык горькие капли. Его все еще тревожили сорок капель, которые якобы можно раздобыть из каждой пустой бутылки.

«Шнырь прав, я чертов эгоист и бабник, но не я один такой. Он, что ли, лучше?!» — Пушкин негодовал, то и дело ерзая на стуле.

«Смерть, она виной всему. Она травмирует и искажает. Кто прав, кто виноват...» — Шнырь открыл еще бутылку.

— Пустые бутылки под столом, — непонятно, спросил или подтвердил Петрович безразлично пьяным голосом.

— Не по ритуалу, что ли? — поставил Шнырь бутылку перед носом Петровича.

— Помню, как с Маргарином бутылки ходили сдавать, — перевел разговор Глух. — Помните, за аптекой прием стеклотары был?

— Такое забудешь разве? — Пушкин обнял Глуха за плечи. — Нам по сколько лет тогда было? Двенадцать? Меньше?..

— Ага, не забудешь, точно, у меня до сих пор ощущение под ногтями от сдирания этикеток, — повеселел Шнырь. — Поэтому, видать, я бутылочному пиву баночное предпочитаю, а лучше разливное.

— Пиво, — оживился и Петрович, — да, про пиво не подумали, может, с ним быстрее торкнуло бы, а то пьем и не вштыривает. Одни базары и распри.

Петровича не слушали, говорили, перебивая друг друга, вспоминали, пока по стеклу не раздался знакомый позывной — тук-тук-тудук.

— Да к черту! — вскочил и распахнул занавески Шнырь, зажмурившись.

— Ебда, — все, что сказал Петрович.

— Странно, — это был Пушкин, и Шнырь открыл глаза. За пыльным стеклом предвечернее яркое солнце, и на фоне ровного, ни облачка, бледно-голубого неба дымящие трубы Комбината и деревья шапками птичьих гнезд на костлявых макушках.

— Тут так много злых птиц, воронье одно, как на кладбище, — тихо сказал Шнырь. — Если это душа Рино, то она не может быть в вороне или в воробье...

— Тут гиблое место, — Петрович потянулся за бутылкой. — Люди тут звереют, с ума сходят, в точности как наш Рино, кончают самым изощренным способом, — булькала водка по рюмкам, он говорил. — Это негласная правда, здесь все оседает, что Комбинат сбрасывает из своих труб. Черная дыра города эти поселки. Тут мертвые души свой век доживают. Мне еще батя про их свалку рассказывал, там целое государство... И как сюда нормальные люди попадают, каким их

ветром заносит?.. Поддай рюмку мадам, — попросил Шныря и тут же спросил: — Так кто там стучал у тебя в детстве?..

К концу дня Петрович посвежел, это в нем открылось второе дыхание, как он объяснял, и добавлял: — Тут главное, во-первых, лавировать, во-вторых, вылавировать.

Второе у него редко получалось.

Шнырь отмахнулся:

— Проехали.

— А все-таки?.. — Это уже был Пушкин.

— До той ночи я не был таким трусишкой, темноты не боялся, закрытых помещений... — вздохнул тихо Шнырь, возвращаясь в прошлое. — Встал я тогда с кровати, нащупал выключатель и, когда стук приблизился и закрипела панцирная сетка, включил свет.

Петрович пролил водку и даже не матюгнулся досадно, как раньше.

— Рино попросил, — сказал.

Шнырь вздохнул еще глубже:

— Оно сидело на краю кровати, длинное, голова свисала под потолком, тощее, безрукое, и кожа, как кора дерева, серая в черных плешах. Я бы, может, закричал, если бы не лицо деда. Оно зажмурилось от света, открыло рот, и я оглох от неведомого звука — это был плач и вой, и что-то железное. Оно бросилось бежать и сшибло меня с ног. Я очнулся уже в зале, с шишкой на лбу, меня туда бабушка приволокла, как потом узнал.

— Ну не, — прогудел Глух, — если мертвецы и приходят, то призраками невидимыми, в это я еще с натяжкой могу поверить.

— Дед твой по ходу в дерево реинкарнировал, — серьезно сказал Пушкин. — Давайте тогда помянем всех тех, кого с нами нет, наших умерших дедушек, бабушек...

Выпили, и Петрович спросил:

— Может, приснилось? Или перекурил?.. Очкую я что-то, если такое дело. Мои враги еще живы, поэтому не могут достать меня, а умру, так и припрутся ночью... Я вот зуб даю, мужики, я всегда знал, что умру не от печени и алкоголя, а вот от чего-то подобного. Проснусь ночью, а надо мной хрень такая из загробного стоит, тут и отброшу я сандали.

— Не курю же я, да и не спал. Шишка через неделю прошла, но на левое ухо я стал плохо слышать, а иной раз слышу то, чего как бы не слышно. Звуки всякие.

— Типа след остался, — поежился Пушкин, хотел рассказать про привидевшийся портал, передумал. — Следы, всюду мы оставляем следы.

— Рино только вот никакого следа после себя не оставил, — хрипел Глух. — Ни ребеночка. Ни деревца, записки предсмертной и то не оставил.

— Да-а-а, — загудел Петрович, — это плохо. Когда жил-жил, а помер, так и ни черта от тебя, лишь место на кладбище занял.

— Где-нибудь, мож, есть частичка нашего Рино, бегают дите, Шнырь, разлей-ка, будь другом, выпьем за след, — скомандовал Пушкин. — Чтоб у каждого после его ухода осталась хоть черточка, хоть пятнышко...

Поднялись все, как сговорились, и женщина встала.

— Какими бы мы ни были, но мы были у него и старались быть, — философски закончил Пушкин.

Сели, сумерки заползали в окно, фотография в рамке потускнела, да и лица у всех за столом стали мягче, расплывчатыми...

— Так мы и не повторили, как мечтали, собраться впятером у костра, — напомнил с грустью Шнырь. — А ведь поклялись, что через двадцать лет так же махнем в лес с палатками на ночную рыбалку... Эх...

— Так двадцать лет у нас когда? Нам было по шестнадцать? — Пушкин хлопнул по столу. — Так это ж в этом году!

— Ну и? — пришла очередь Петровича разливать.

— Я хотел предложить, не знаю, как вам такая идея, — Шнырь затеребил скатерть, взгляд его скакал от друга к другу. — Вы, конечно, подумайте, сразу не нападайте. Значит, раз такое дело и нам впятером уже не собраться, в честь памяти Рино, может, сходим все вместе на «Щелкунчика»?..

Кусок колбасы выпал изо рта Петровича в рюмку, Глух не нашел подходящего слова, Пушкин поднял рюмку:

— В точку! — Выпил, вытер кулаком губы. — Это охрененно ты придумал.

Подал голос Глух:

— Балет, что ли?..

— Любимый балет Рино, — подобрал колбасу Петрович. — Рино же у нас тайный Щелкунчик был, не в обиду. Я не против. Ему же нравилось. Мы, значит, посмотрим, нет — так потерпим.

— Здорово как, ребзя, — просиял Шнырь. — А я подумал, посмеетесь и пошлете куда подальше.

За это и выпили.

— А ведь мы правда многое друг о друге не знаем. — Пушкин смотрел на снимок мертвого друга. — Но Рино - Щелкунчик нас исправил. Да. Своим уходом он открыл нам глаза на нас самих и на такое понятие, как друг. Дружба.

— Верно все говоришь, — показал большой палец Петрович. — Как положено.

— Теперь нас четверо, и мы еще тесней стали, так давайте выпьем в память о друге и за нашу дружбу. И чтобы кольцо наших объятий ничто не смогло разорвать.

Выпить не успели, в дверь постучали.

Тук-тук-тудук.

Пушкин сел. Шнырь закрыл глаза. Глух с Петровичем обернулись и уставились на дверь стеклянными глазами.

В тишине протяжно скрипнули дверные петли.

— Кто там? — спросил, не открывая глаз, Шнырь.

Из-за двери показалась кудрявая мальчишечья голова. Мальчик улыбнулся, обнажив два передних кроличьих зуба, позвал:

— Мама.

Шнырь открыл глаза.

Мальчик повторил громче:

— Мама!

Женщина ойкнула, подскочила, едва не уронив рюмку с потянувшейся за ней вслед скатерти.

— Миша, сынок, — проскользнула позади Пушкина и Петровича тенью, обняла мальчика, поцеловала в макушку. — Пойдем, — и они исчезли. Дверь закрылась коротким взвизгом.

Шнырь посмотрел на фотографию с черной лентой как в первый раз.

— Мы все это видели? — спросил друзей, с которыми дружит третий десяток.

— Как будто в детство вернулся, — шепотом ответил Пушкин.

Глух, хлопая губами, выдавил:

— Э-э-э, копия живая.

— Ай да щучий сын, — ударил по столу Петрович. — Вот тихоня! Ну, за это грех не выпить. Сам бог велел.

— Не, ну вы видели? — повторил Шнырь, рукой будто меряя расстояние от двери до фотографии. — Видели?..

— Реинкарнировал, думаешь? Или...

— Или, или, — перебил Пушкина Петрович. — Давай, ты еще сегодня на разливе не был, — сунул в руку другу новую бутылку водки.

— Глаза и нос, — бубнил Глух, — вылитый...

— Видели, да?! — не унимался Шнырь. — Видели?..

— Наливай!

— Тук-тук-тудук, — раздалось из-за занавески.

## ИСТОРИЯ С ТАБУРЕТОМ

*Глава первая (небольшая),  
в которой бабу Полю навестил ночной гость,  
и как баба Поля с сестрой пообщалась*

Первый раз он пришел перед Пасхой. Вошел молча в дверь так, что вечно скрипучие петли не пискнули. Прошел между шкафом с одеждой и вешалкой к книжному стеллажу, там, в углу, завсегда стоял табурет для гостей. Гость взял его, два шага, и он присаживается прямо у изголовья кровати. Смотрит, и, как наяву, кажется бабе Поле, осмелюсь и протяни руку, она коснется его бороды. Хмуро пришелец глядит, словно в самую душу пробирается... Худые скулы, широкий лоб. Молча смотрит, слегка согнувшись над ней. И не дышит вроде.

— Вот она, смерть моя, — решила баба Поля. Этот бородатый мужчина в обтягивающем кости пальто.

И тогда она заскрипела панцирной сеткой, захохла и как ни в чем не бывало перевернулась на другой бок к стене.

Может, сам уйдет, откуда пришел. Сразу напряжение спало, вдыхая запах старого, но помладше нее ковра, обратилась она оленем, что на рисунке тканом пасется, а дальше по известному маршруту вприпрыжку сквозь страшные годы взрослой жизни в невинное фиалковое детство.

Только не вечно оно, и возвращение полно слез и открытых ран, что никогда в этой жизни не заживут.

С натертыми о ворс красными коленками проснулась баба Поля в маленькой, три на шесть, комнате в общежитии, в богом забытом месте. Взясась бубнить молитву, тут и вспомнила про гостя. Да и пахло непривычно. Душно в комнате от сумасшедшей палящей батареи. Муторно.

Не поворачиваясь, начала монотонно вполголоса молитву читать и медленно, в такт голосу, растирать руками больные колени:

— Богородица, Господь с тобой, пребудь повсюду со мной, с Божией рабой Полиной. Укроти врагов, утоли мои боли, отведи от меня всякие хвори.

Эту молитву заучила в детстве на спор с сестрой младшей, просила разбудить ее среди ночи и заставить рассказать.

— Освободи от опухоли: от женской, от мужской, от насаженной и от любой. С рук, с ног, с живота, со всего тела, от вражьего поддела. От ночной подчитки, от дневной подчитки, от утренней подчитки, от упокойной отчитки.

На потолке солнце заиграло зайчиками, да и в Святой Великий праздник грех бояться. Обернулась баба Поля, табурет у кровати стоит пустой, без намека на ночного пришельца. Закончила молитву, уселась в кровати в любимой ночной рубашке, спросила табурет:

— Сама, видно, тебя поставила вчера да со сна забыла. А по ночи кажется всякое, или сон был это. Приснился же такое.

Но больно знакомым показался незнакомец.

Разговелась пасхальным яичком, позвонила сестре, только ее номер и был у бабы Поли на сотике. Похристосовались, и сразу к делу. Ближе к телу, пошутила бы баба Поля, как в молодости, но это время и вспоминать — только до инсульта себя довести. Прошное забыто, с корнем выдрано.

Рассказала все, до запаха и ощущений. Сестра младшая терпеливо выслушала, не перебивая, что непривычно, так как любит она это дело, обрубить собеседника на полуслове, с детства любит, с горшка.

Баба Поля начала говорить про яичко и батарею, тут сестра и обрела голос:

— Вот ты говоришь, сон вещей на Пасху и мужик знакомый... Так наверняка Христос это и был!.. Иисус

воскрес же сегодня, вот и к тебе по ночи на табуретку пришел посидеть. Христос в пальто! Ты же у нас теперь правильная вся такая стала!

Голос сестры из тьякня перерос в лай и спугнул солнечных зайчиков с потолка. Потемнело в комнате.

Сестра не унималась:

— Я одна у тебя осталась! Дети тебя в богадельню только из-за меня не упекли, комнату тебе нашли! А ты, значит, теперь белая и пушистая?! Кто старое помянет... А от прошлого, баба Поля, не убежишь! Иисус к ней приходил, как же!.. Уснула и храпела во все дыры, и снился тебе мужик какой из твоей бурной жизни! Ты и у меня, вспомни, мужика чуть не увела!..

— Пасха же. Нельзя сегодня, — зажегся голосок бабы Поли и тут же погас.

— Да знаем мы таких верующих! Вся Россия такая! Притворы чертовы!

Гудки не вернули солнце, пасмурно за окном, ветер колышет стираную занавеску. Серые тени по потолку. словно прячась от них, украдкой перекрестилась баба Поля у холодильника, кусок кулича в рот не лез. Зачем про гостя ей рассказала? — терла шишки колен. — Но знакомый до боли уж больно. Будто родственник, сосед, мож?.. Подскажет, думала... Но не Христос, — гнала вслед за теньями мысль. Хотя взгляд печальный, полный жертвы...

Это ее юбилейная, пятая Пасха. На прошлое Светлое Христово Воскресение из соседей к ней Гриша-страдалец только и зашел, да и то спросить, есть ли чем разговеться. Яичком не захотел, горючки жаждал.

По голосу — сестра, однако, с утра приняла уже хорошо. Водка всегда разговорчива. Водка требовательна. Прошлое ей подавай, подавай водке месть и жертву.

Растерла колени до жженья, опомнилась баба Поля, по сторонам смотрит, будто не в своей комнате. Такое с ней бывало уже, терялась на миг: кто она? где? поче-

му? И быстро все вставало по своим полкам — книги, посуда, она за столом, и тогда баба Поля заговаривала сама с собой, спрашивала громко:

— А ты ли это та Поля, которая там-то, там-то и то-то, то-то делала?..

Если отвечала на вопрос, улыбалась — она, все еще она. Просто временами, особенно в дождь или метель, чудилось — подменили ее. Что это не она живет в комнатухе с номером 31, где соседи не здороваются, знать друг друга не хотят, живут, как катятся, доживают... А Поля настоящая, та самая, из фиалкового детства, так и живет припеваючи где-то на другом конце города и по-прежнему в окруженье любимых цветов.

Отдышалась баба Поля. Дождалась, когда нытье в коленях пройдет, сказала приказным тоном:

— Сама сегодня пойду всех навешу. За столько лет можно.

*Глава вторая (большая)  
о том, как баба Поля по соседям  
с пасхальными яйцами ходила*

Надела самый красивый халат, надушилась, седые волосы под гребень не стала прятать, косынку надела с золотыми кистями, очки сменные с резными дужками. Собирается, а сама на табурет все посматривает. Не выгонишь же никак из памяти бородатого визитера с глазами-ранами... А в гостях невольно забудется.

В карманы набрала яиц пасхальных, по пять в каждый. В крыле общежития девять комнат, но не во всех одиночки живут, знала она. Хотя все, как одиночки, и в семье каждый сам по себе...

Многих баба Поля не знает. Кто-то приходит, поживет чуток и исчезает бесследно, как и не было. Вешаются часто, от водки гибнут, всхлипывает баба Поля. И еще одно яйцо про запас взяла.

В зеркало взглянула, перекрестилась и открыла скрипучую дверь.

Смазывай не смазывай, все равно как потерпевшая орет.

В коридоре мрачно, ни одной лампы не горит, а ей не привыкать, бывало, так и шутит, мол, научилась я в темноте жить, слепотой не испугаешь.

Музыка слышна откуда-то, празднуют. Потеплело на душе, воспоминания пушинками защекотали в носу и намочили глаза. Слезы делают нас чище.

Баба Поля вгляделась, а в конце коридора лавка для курильщиков у окна, на ней мальчик сидит, экран телефона голубым светом лицо страшным делает. Тут и налетает сосед, что через стенку живет, тот самый Гриша-страдалец, и опять еле на ногах, и заплетающимся языком:

— Баба Полечка, — мямлит, а перегар — аж отсюда окна вспотели, что еще темней стало, — Христос воскресе, пардон муа.

И руку, в которой запасное яйцо, берет и целует.

— Воистину воскресе, — тихо отвечает баба Поля.

— Яйцами, чур, не биться, — вставляет страдалец, — и так все безголовые и безъяйцовые. Вся Россия сплошняком.

— Праздник же, ну а ты вон как Спасителя встречаешь, — вырывает руку баба Поля. — Возьми яичка, закусишь хоть.

— Закусить-то я возьму, кто бы налил, — отрывивает. — Пардон муа, баба Полечка.

А когда баба Поля поворачивается, хочет постучать в дверь, что напротив ее, отдергивает руку старушки.

— Тсс. Ни-ни-ни. Там смертельно больной.

— Да все мы смертельно больные, — заступается за соседа баба Поля. Видела она этого юношу с печальным взглядом, еще тогда подумала, что он-то тут забыл, ангелоподобный.

— Он насмерть болен, — икнул и пошел по коридору. — Да и нет его, по больничкам все. А чем болен, кто знает, вдруг заразно. Но, сука, рисовал как бог, — взмахнул руками Гриша, яйцо выскочило и покатилося, прицокивая, по грязному полу. — Стой, стой, стой...

Исчез на лестнице Гриша-страдалец, баба Поля постучала в комнату молодого художника. Даже на деревянной двери были радужные кляксы, отпечатки его пальцев, мазки... Как-то в мойке баба Поля испугалась: парнишка мыл руки, и вся раковина вдруг забурлила алым, вот тогда он и сказал, что пишет. Так и сказал: «Пишу я, бабуль, не пугайтесь, рисую, с красным цветом перебрал».

За дверью тихо, слышно, как ветер воет. Жутко холодно стало от слов «смертельно болен», баба Поля поежилась. «Помолюсь за него», — решила.

Мальчик все играл в телефоне, и когда она подошла к нему, сказала:

— Христос воскрес.

Играл, серьезный и беспощадный. Баба Поля достала яичко, красное попалося.

— Давай тогда биться будем с тобой. Сможешь расколоть или бабульке сдашься?

Мальчик, нахмурившись, взглянул, нажал пару кнопок на телефоне, экран побелел, потух.

— Яичками стукаться? Тогда я бью, — взял свое орудие боя, сжал в кулачок, баба Поля сделала то же самое, мальчик ударил и тут же вскрикнул: — Йоу! Я всегда побеждаю, давайте сюда яичко и не боритесь со мной больше.

Погладила победителя по голове баба Поля и сейчас заметила, что у мальчонки с верхней губой беда, — словно заячья.

— До свадьбы заживет, — сказала, в ответ услышала, как лопаются один за другим ее пасхальные подношения.

— Не! — Первое шмякнулось об пол. — Заживет! — разбилось второе. — И не стучите в тридцать третью, у мамы гость, — рявкнул.

Дверь открыл горбун, тенью проскочил мимо напуганной, растерянной и обиженной бабы Поля, следом появилась женщина, на ходу накидывая на пеньюар длинную вязаную кофту:

— Баба Валя, Христос воскрес же, — полезла обниматься, а от самой несет всем, что не сосчитать: тут и пиво, и пахучий лак для волос, плюс дезодорант, добавьте пот, перемешайте с табаком и лучной закуской. Баба Поля стерпела, виду не подала, затаив дыхание, протянула голубое яичко.

— Воистину воскресе, Галя, — ответила.

— Ой, и у меня яичко есть, в клеенки сейчас модно заворачивать, что с краской мучиться.

Не любила баба Поля «в клеенки» эти, как сказала соседка, яйца пасхальные рядить. Суррогатом называла, мертвыми яйца смотрелись, искусственными, деревянными.

— Вот, баба Валя.

Баба Поля не стала поправлять, Валя так Валя, забрала яичко, мысленно она уже сорвала с него тесную рубашку, поклонилась.

— А что, может, по стаканчику за Рождество, ась? — и расплылась корявой улыбкой из-за неудачной операции в детстве на заячьей губе. — Пиво крепкое.

— Некогда ей! — раздалось с лавочки. — Сейчас к Космосу пойдет, потому что журналист не откроет, может, уже и свинтил куда, пока я ссакать ходил, а больше и некого.

— Такой грубиян, без отца растет, — обволокло безысходностью перегарное дыхание женщины, и баба Поля отступила и снова потерялась на мгновенье. — Кто я? Что происходит?.. Вовремя девица голос подала: — Баба Валя, может, денюжку мне занять сможете, а?..

— Ты мне скутер обещала!

Баба Поля лишь прошептала:

— Нет, извини, нет...

Колени как в песке хрустели и щелкали, пока баба Поля шла к комнате журналиста, где ей никто не открыл, а потом шаркала дальше, под язвительный смех дрянного мальчишки, мимо своей комнатки, потом комнаты Гриши, мимо пустующей комнаты повешенного, к 27-му номеру. Видит Бог, хотела как лучше. Спицами вязальными обида в сердце и давай заматывать кишки в клубок. Ведь лишний раз на глаза им не попадалась, соседям этим, в комнате на ведро ходила, чтоб не помешать, в тазу мылась... и получи — «бабка Валька», ладно я, яички-то за что ирод разбил?! Крутится, запутывается клубок из мыслей, переживаний...

Вечность по песку шуршала баба Поля, а приблизилась — силы откуда взялись, и не поняла сразу. Да это зайчики солнца забегали по крашеным в серо-буро-малиновый цвет стенам. И возле нее кружат, будто одобряют: все верно делаешь, бабушка Поля.

А дверь в 27-й комнате приоткрыта, и видно, как мечется в одном спортивном трико тощий и обросший, как бабай иль леший какой, мужичишка, если б ростом повыше был, — в точности ночной гость с табурета.

Кашлянула разок баба Поля, мужичишка отпрыгнул, как кошка ошпаренная, и к двери — шнырь.

— Баба Поля, нельзя так подкрадываться и шпионить, — прошипел, а глаза так и зыркают туда-сюда.

— Дверь открыта же. Сквозняком, мож?..

В комнате у него, мама дорогая, одни бутылки пластиковые пивные и конструкция какая-то посреди. Почему конструкция? Виталий, сосед в трико с пузырями на коленях до пола, сам так ее назвал и добавил таинственным голосом:

— Это точно сработает, баб Поль, только тссс, — приложил палец к губам, не стесняясь почесал в промежности. Отхлебнул из зеленого баллона жидкость вонючую, протянул:

— Если не побрезгуете. Оно, правда, выдохлось, с ночи забыл закрыть крышкой.

— Не пью же я, а к тебе похристосоваться зашла, праздник же сегодня Великий.

Побледнел и без того бледнолицый сосед, попятился, за грудь тощую с клочками волос схватился:

— Неуж, неуж Меркель Ангела умерла?

Опешила баба Поля, стоит в дверях с желтым, как солнце, яичком в руках:

— Она тут при чем?.. Жива вроде.

— Черт, — хлопнул повпалому животу себя Виталий, — из-за нее же Лунка моя ушла, жена ненаглядная. И с работы погнали поганой метлой, когда узнали, что не знаю я, кто это такая и с чем едят ее, эту Меркель.

— Оюшки, не знала, что женат был, и про работу...

Мужичишка козлом подскочил к бабе Поле:

— Вот это она все — Ангела Меркель. Говорю «Меркель» — подразумеваю всю политику, всю власть. Уползла моя улиточка от меня, когда Ангелы этой в семье нашей стало больше, чем надо.

Затуманилось в голове бабы Поли. Окна у Виталия заклеены газетами, ни капли света. Паутина с гардин вместо занавесок, в углах черная плесень поселилась неистребимая. И голос Виталия безумием звучит. Дергаются по очереди веки глаз его, ногтями пиво свое дрянное закусывает, до мяса изгрызены пальцы.

— А это, — тычет он в свою перемотанную проводами конструкцию из стульев и трубок алюминиевых, — это заглушит всех Меркелей на свете и вернет мне Лунку мою, Вику-Викторию. Сама улиточкой приползет. И будем, как прежде, жить-поживать и Меркель не знать.

Отхлебнул гадости, отрыгнул.

— Так не лучше тебе самому к Лунке сходить с цветами и подарком? Поцелуешь, обниметесь, и все наладится без этой, — баба Поля показала на

чуду-юду-конструкцию. — Любовь, она людьми притягивается, душами, сердцами. Не машинами любовь завоевывается.

Запрыгал Виталий, замотал длиннющими, ниже плеч, волосами, перхотью сыпет, ногами стучит.

— Да нет же! Нет! Баба Поля! Нет! Пока власть держащие волнам космическим препятствуют свободно в нас проникать, нет места любви в мире нашем!

Рука с яичком так и опустилась:

— Ох, родненький, отдохнуть тебе надо. В праздник такой не работай уж. Ляг, полежи.

Подала яичко, притянула к себе, обняла. Сердце мужичишки надрывом бьет, рыдает. Выскочить до любимого сердца хочет, того гляди и выстрелит.

Заплакала баба Поля, слезы сами побежали и на костлявые плечи Виталия закапали. Не сдержался и он, навзрыд выплеснул все годы одиночества и тоски. Черной желчью потекла из него боль, сполз на пол, уткнулся в больные колени бабы Поли, и вдруг сквозь всхлипы и завыванье услышала баба Поля голос Виталия:

— Хрис-тос вос-кресе, — выдал он и отдался целиком неиссякаемому горю своему.

— Воистину воскрес! — гладит по сальным волосам Виталия баба Поля. — Воистину воскрес!

Уложила горемыку на диван, укрыла, перекрестила. Расчистила место на заваленном, залитом, загаженном журнальном столике, оставила яичко пасхальное, капельку солнца в мире разбитой мечты, морока и паутины, про себя прочитала молитву, свою любимую, которую помнила наизусть с детства, а Виталий спит беспокойно, ворочается, всем телом брыкается, Лунку без конца все зовет. И зовет, и зовет...

Ушла, придавленная, выпотрошенная, без души будто ушла баба Поля в свою комнатенку. В коридоре пьяный Гриша пророчествовал скорый конец света, смеялся и плясал мальчишка с израненной губой

и сердцем... Баба Поля крестила их и на ходу засыпала. Сонная рыба в мутной воде медленно опустилась на скользкое дно, скрывшись в темноте ила, одно лишь произнесла баба Поля, сама не зная почему: «Ганг, твои воды замутились». И был сон.

*Глава третья (очень большая),  
в ней бабу Полю снова посещает  
ночной визитер и она находит ответ*

на книжной полке

Баба Поля не помнила, открывала глаза или нет. Но вот он, гость ночной, сидит, как и в первый раз, на табурете у изголовья кровати, и смотрят глаза его, страдания исполненные, тоскою заполненные, в душу ее. Нагибается он к бабе Поле еще ниже и молчит, а может, и говорит, да страх уши заложил, не пискнуть. Борода вот-вот лица ее коснется, но баба Поля только смотрит во все глаза, запоминает каждую морщинку худого лица. Широкий открытый лоб, запавшие щеки, обрей да побрей, кажется, голова на яйцо похожая будет, острием вниз, если яйцо поставить, да к шее с плечами.

И чем больше вглядывается баба Поля в него, чем глубже взгляд проникает на дно ее души, тем меньше, даже совсем не страшен незванный знакомец. А в том, что она его знает, баба Поля уверена, как в силе молитвы своей. Знает и вспомнит. Духота гонит из-под одеяла, баба Поля тихонечко так руку высовывает, дай потрогаю, наяву ли он, аль все ж во сне. Пальчиком, хоть мизинчиком прикоснуться к пальто его, повезет, так за бородку ухвати да и дерну. А как дотронулась до сухой бороды гостя, так и охнула всей грудью, громко, почти вскриком, и с головой укрылась баба Поля, а сама вслушивается, что там на табурете творится. Творилось же только с ее животом неладное, фуги такие издавал, что стыдно перед гостем стало, неудобно. Обхватила ворчуна руками баба Поля и молитву взяла. Последние слова вслух произнесла:

— Как я жила без опухоли, так чтоб и дальше без опухоли жить. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

И живота не слышно, вокруг только ночь разговаривает собачьим лаем и гуденьем огня из труб комбинатовских.

Духота правит этим миром бездушных. Духота и перегар.

Смело скинула одеяло баба Поля, поднялась, что в спине хрустнуло.

И вот он, пустой табурет, в углу книжного стеллажа, но на подушечках пальцев еще пульсирует воспоминанием ощущение жесткого волоса.

Села в кровати баба Поля в ожидании, когда коленки заломит соль до жгучих слез, — не было боли, и живот перестал фуги выводить, и колокольчиком зазвенело в голове: ты его знаешь, ты его знаешь.

— На писателя нашего, русского классика похож, — завершила баба Поля. — Некрасов?.. Островский?.. Не Толстой точно — у, бородачи! — погрозила кулаком книгам на полках. Книги, ковер и так по мелочевке — все, что она получила в наследство от прошлого.

— Не Тургенев, тот упитанный, какой-то белобородый. Чехов, мож?! — подскочило сердце и вернулось: — Тот бы в пенсне был.

Баба Поля вернулась в еще теплые внутренности кровати.

Может, и не классик? Может, ученый какой? На кой ему ко мне приходиться? Я, кроме книжек, ничего и не читала, и не помню ни математики, ни физики. Нет, писатель, как пить дать писатель. Зачем я понадобилась ему?..

Так с думами о визитере баба Поля опять пробралась в фиалковое детство, которое ни одному самому мастеровому сочинителю не сочинить.

Тревога подняла на ноги, беспокойно на душе. В термосе травяной чай настаивался больше суток, но

и он не помог, съела кусок кулича баба Поля, в окошко долго смотрела, как низко бежали облака, а вслед за ними не поспевали местные пропойцы за дозой отравы. В хозяйственном магазине настойка боярышника стоила копейки. Этим и жили поселковые страдалыцы. Нет-нет, а кое-кому все-таки удавалось обогнать облака — так горела душа и трубили трубы.

Сотик, баба Поля его еще «погремушкой» звала, связал-таки узор — за сестру изболелось сердце. Пьет та чересчур много, года два уже пьет как не в себя. Будто жажда какая-то мучает. Алкоголь кровь разбавит, злость из нее так и поперет. И не помнит потом, что говорила такое, отвечает, не могла я и все, тема закрыта. Наговорит же столько гадостей, это от отца у нее, тот тоже, как напьется, всех из помойного ведра поливает.

Держит телефон в руках баба Поля, и от нерешительности слезы текут полосками-антенками, будто связь устанавливают невидимую.

Всегда первой на примирение шла старшая сестра, баба Поля извинялась, даже если не была виноватой. Порой ругала себя за слабость, клятвенно обещала больше никогда, ни за что не сделает первый шаг...

Палец, не повинуюсь, нажал цифру один — горячая клавиша вызова сестры. Баба Поля сощурилась в ожидании гудков и нервного, как всегда недовольного, голоса сестры, но в телефоне тишина, и, наконец, механический голос сообщает, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети.

Выдохнула баба Поля, сказала себе в утешение:

— Спит наверняка после вчерашнего, так бы первая позвонила, знает же, что переживаю...

Табурет притягивал пустотой бермудского квадрата. Сядь — и исчезнешь. Выпадешь из этого мира в мир Летучих голландцев и Марии Селесты...

Оттуда приходят призраки и туда уходят живые...

Отложив телефон, баба Поля присела на жесткое сиденье. Непривычно под ней затрещал табурет. Будто гость подчинил его себе за эти ночи. «А может, он давно приходит? Просто не замечала?..» — проскользнула мысль. Поежилась баба Поля. Тени заходили по комнате, заметались, вот и их раньше не замечала она. Как серые, из света и пыли сотканые силуэты, шарят по комнате в поиске. Ее ищут они. Ветер гудел в щелях окна, иной раз дверные петли подпевали протяжно, так печально, словно оплакивая. И опять потерялась на мгновение баба Поля, призрачный мир невидимок захватил и, может, утянул бы в себя навсегда, только пихнул кто-то бабу Полю, сильно так под правую бочину. Едва не загремев на пол, вскочила, смотрит на табурет, как будто он ожил и взбрыкнул, и запах незнакомый, а в носу щиплет, словно пыль с книжных полок смахнул кто неосторожно.

— Ишь ты, — громко, возмущенно начала баба Поля, — хоть и гостевой табурет, но и я на нем нет-нет да посиживаю.

А на пустом табурете, из ночи выбравшись, пришелец бородатый сидит и показывает на книжные переплеты.

Ни капли страха, одно любопытство. Поморгала баба Поля, кофе крепкий решила заварить, чтобы не засыпалось на ногах, обвела глазами ряды старых книг. Взяла наугад первую, с печатями библиотечными, уже и не помнила, почему не вернула книгу, скорей, не ее эта книга, детей или внучки. Тургенев «Накануне», «Отцы и дети». Не взглянула на портрет, вернула на полку. Следующий был Максим Горький, томик Ахматовой не раскрывала, попались под руку Хемингуэй и Голсуорси, но заграничным классикам явно нет дела до старушки из заброшенного общежития на краю Вселенной. Твардовский, Крылов, Гумилёв, Бунин...

Не находился ночной визави. Знакомые черты мелькали во многих русских мастерах слова, не было того

режущего душу до крови взгляда, того внутреннего мученического света. Долго всматривалась в Салтыкова-Щедрина. Присела вновь на табуретку. Но нет, не он, не Щедрин вторую ночь подряд заглядывает внутрь сердечных чувств и мыслей бабы Поли.

— Не Щедрин, — убрала растрепанный томик и лишь теперь только вспомнила про шишки на коленях. Ни намека на боль, и ветер на улице, того гляди, тучи нагонит, а перед непогодой по обыкновению артрит дает о себе знать, завывая наперекор ветру.

— Видно, гость разделил с тобой болезнь, ему не привыкать, вот и пожалел старуху, — по привычке потирая коленки, сказала баба Поля и сняла с полки последнюю, перед тем как заняться обедом, книгу. Шестой том из тридцатитомного собрания сочинений Фёдора Михайловича Достоевского. Еще до того, как открыть книгу, кольнуло под сердцем у бабы Поли — он! Конечно же, он и никто другой сидел у нее на табурете несколько часов назад. Защитник всех униженных и оскорбленных...

«Гравюра на дереве В. А. Фаворского». Подпись под черно-белой картинкой, а на картинке те же глаза, та же сутулая фигура в пальто и борода в точности как та, за которую ухватилась баба Поля в предрассветный час.

На гравюре Достоевский склонился над столом с кипой рукописных листов, взгляд сквозь время и в самое нутро бабы Поли. Закрыла шлепком книгу. Схватила за грудь баба Поля — и вздохнуть хочет, а не может, замерло дыханье в районе души и сердца. Тут опять, будто сам Достоевский ее кулаком под правый бок, тюк — мол, не расслабляйся, баба Поля. Дыши.

Перевела дыхание, раскрыла толстенную книгу.

«Преступление и наказание».

— А ко мне какое отношение имеет? — спросила вслух, снова поглядела на рисунок классика. Перелистала на начало романа.

Пугало название, и объем пугал. Читать не перечитывать, роман в шести частях, да еще и с эпилогом.

К литературе баба Поля имела косвенное отношение, читателем была запойным. Работая в торговле, приходилось много читать в ожидании покупателя или в долгих поездках за товаром, когда в хорошие времена работала на саму себя, возила из Китая обувь, держала палатку на центральном рынке. Тогда она и могла прочесть это «Преступление и наказание». Еще в киоске в ночные смены читала залпом все, что попадется, как-то Ленин попался, один из его бесчисленных трудов, ничего, читала, чтобы скоротать сонливые часы.

Пока закипал чайник, баба Поля надела очки для чтения и, не отвлекаясь на кружащие тени и канитель мыслей, стала читать. Увлекаясь, читала в голос. Заварила кофе, сядила на табурет, ложилась на кровать, пила кофе, подходила к окну, не отрываясь от повествования.

Каморка героя Раскольниковва стала ее коморкой под номером 31, отвращение к старухе-процентщице захватило бабу Полю буквально на физическом уровне, до зубного скрежета, титулярный советник Мармеладов наполнял жалостью и состраданием, каждое слово отпечатывалось и ранило. Баба Поля ждала под-сказки с каждой перевернутой страницей.

Почему Достоевский? В чем тайна? Где ответ? Она не расслышала трель сотика, только кода он заголосил на последних нотах, баба Поля отыскала погремушку, ответила.

— Ты что там, дрыхнешь?! — раздраженный голос сестры. — Второй раз набираю, думаю, мож, бабай этот твой, что под Иисуса косит, уволок тебя куда.

— Фу-ф, — баба Поля не нашла сразу нужных слов.

Сестра говорила:

— Голова из-за погоды разламывается прям, купила тебе сахар тростниковый, полезный который, но, боюсь, не дойду.

А баба Поля никак не решится, не знает, с чего начать рассказывать, выдыхает и охает лишь.

— Ты еще со своими снами. Мне вон приснилось, будто на нас черные псы напали. Скорей, волки, думаю, это были, а мы с тобой за огородом, а калитка изнутри заперта, и эти чудища нас окружили, ты и вышла вперед, типа меня закрыла и больше ничего не помню. Лишь кровь, много крови было, а потом, как будто не кровь это, оказалось.

— А что? — прорезался голос у бабы Поли.

— Краска.

— Вот-вот, краска, точно, я второе утро запах подобный ощущаю.

— Не смейся, под тобой чего только не хоронится с ликвидированных цехов керамического... Там бочки всяких лаков и растворителей, испаряется вся эта хрень, тебе и мерещатся Иисусы Христы.

— Достоевский это, — твердо вставила баба Поля с обидой в голосе за классика и гордостью за себя. Надо же, на восьмом десятке к ней великий человек пожаловал...

— Писатель, что ли?.. Достоевский?..

— Писатель, писатель. Я на сто рядов проверила.

Ожидая привычной издевки, баба Поля напряглась, готовя про себя целую речь в защиту гостя, но сестра сказала:

— И как думаешь, зачем он к тебе стал вдруг приходить?..

Баба Поля не ответила.

— Предупредить явно о чем-то хочет, я уверена. Помнишь, у меня подруга по техникуму была, Мирка-певичка. Так вот к ней во сне ни с того ни сего начала Анна Герман приходить, уже покойница. У Мирки песни из репертуара Герман были, всякие там «сады цветут», «надежда». Мирка думала-гадала, к чему бы это, вышла, словом, на каком-то смотре художествен-

ной самодеятельности, спела «один раз в год сады цветут» и больше не поет. Пропал голос. Даже в душе не поет и за столом под водочку, только мычит. А не спела бы про сады, может, и сохранился голос.

— Ну, — вставила баба Поля, а сестра продолжала:

— К тому я, что все неспроста, эти его посещения, хочешь что-то от тебя или сказать что. Может, за старое что вспоминает тебя. Когда ты у нас фестивалила налево и направо...

«Богородица, Господь с тобой, пребудь повсюду со мной, с Божией рабой Полиной», — про себя начала читать молитву баба Поля, чтоб заглушить звон сестринских оскорблений. Сестра за пару минут припомнила все проступки старшей сестры от и до, начиная с детского сада и заканчивая историей с Достоевским, и как результат — громкий истеричный вердикт:

— Короче! Ты во всем виновата! И Бог не поможет! Это он послал писателя тебе на табурет, намекая, чтобы ты думала, а то табуретка по тебе плачет!..

Впервые за десятки лет слова сестры нисколько не пошатнули душевный мир бабы Поли, не всколыхнули. Она сама нажала кнопку отбоя, села на табурет, предварительно проверив, не сидит ли на нем известная личность, раскрыла книгу. Раскольников дочитывал письмо матери. Баба Поля перевернула страницу.

Прервалась по зову желудка, болезненно заурчал организм, потянул от чтения к холодильнику. Суп-звездочки в пачках варила в крайнем случае, сейчас как раз такой случай. Двадцать минут, и обед, ароматный благодаря лавровому листу — его баба Поля предусмотрительно кладет во все полуфабрикатные супы, — остывает на передвижном столике у дивана.

Вместо Родиона Раскольникова баба Поля прошла ворота, прошла квадратный двор, поднялась на лестницу, до квартиры старухи оставалось совсем чуть-чуть, сердце бьется об топор, спрятанный в петле

за пазухой. Второй этаж, третий, четвертый, вот и нужная квартира. Прислушивается баба Поля, тихо на лестнице, и из квартиры процентщицы ни звука, одно лишь сердце стучит в ушах и эхом разносится по этажам.

Позвонила раз, другой, чувства обострились, стали различимы шорохи, скрипы... После третьего звонка за дверью слышались жизнь и звук отпираемого затвора.

Седьмую главу баба Поля не дочитала. В комнате давно тени слились в полумрак, и остывший суп она выпила прямо из тарелки.

Книга вернулась на полку.

— Надо же. Получается, Достоевский пришел предостеречь, — размышляла вслух. Смотрела в окно, как темнота побеждает свет и свет сдается без сопротивления. — А Раскольников очень даже похож на Фёдора Михайловича.

Прошла по комнате от окна к двери, заложив руки за спину. Каждый раз, проходя мимо табурета, останавливалась и смотрела на пустой квадрат сиденья:

— Задачку ты загадал, — скажет баба Поля. Мотнет головой с распущенными седенькими волосами и опять ходить... А в голове и на сердце путанный узлами и петлями клубок ни в жизнь не размотать.

Приготовила чай на травах, съела кулича, об одном лишь не прекращая думать — что дальше? Может, Достоевский сегодня снова придет и подскажет, а то так от дум можно и рассудка лишиться. Молитва спасала. Пораньше легла баба Поля. В темноте прислушивалась, хотя знала, что он приходит бесшумно, даже вечно скрипучие петли не пискнут.

*Глава четвертая (маленькая),  
в ней баба Поля спускается на первый этаж*

Сон сошел, только закрыла глаза. Прошлое воскресло черно-белыми кадрами. Заворочалась, заметалась в кровати, отгоняя кошмар, силилась проснуться, а открыла глаза — не в своей кровати она лежит, а в гробу заколоченном. Давят узкие стенки деревянного ящика, крышка прижимает, не вздохнуть. На груди руки крестом сложены, цветы искусственные землей пахнут. И схоронили-то в одной ночнушке с заплатами, и неудобно бабе Поле перед народом, что на похороны пришел, до слез обидно, что вот так не по-людски, не в платье, с растрепанными волосами. Повернулась переполненная обидой и стыдом набок баба Поля, тут и увидела Достоевского на табурете.

— Вот, — пропищала слезливо, — как в ваших романах почти что, беда со мной случилась... Детям ненужная, внучке и подавно, все им отдала: и квартиру, и сбережения, а меня в общагу на конце света вселили, а потом и в гроб, как дворнягу, в чем была, заколотили.

Всхлипнула баба Поля, а Достоевский от нее отклоняется вместе с табуретом, и видит баба Поля — на коленях у Федора Михайловича топор лежит. Ахнула старушка всем существом своим, писатель взял обеими руками топор и протянул ей. Молча, лишь глаза говорящие душу бередают. Во рту сухо, будто в рот могильная земля попала, и перцем в носу щиплет. Потянуться надо бы, вертится мысль, взять топор, коль дает, значит нужен. Пригодится. Вытянула правую руку, ухватилась за сухое дерево, оно и бабахнуло громом.

Будто не спала, села в кровати баба Поля, а грохот еще звенит в ушах и в коридоре общежития. А у кровати перевернутый набок табурет.

Подняла табурет с едва уловимым запахом из другого мира, слезы потекли, закапали. Достоевский сделал

свое дело, больше не явится посидеть у нее в изголовье. Тоскливо защемило внутри у бабы Поля, словно провожала лучшего друга всей жизни, и тихие слезы отпечатались капельками-точками на пустом квадрате табурета.

Кофе горчил, солнечный зайчик промелькнул лишь раз, и тучи снова спрятали светило. Моросило за окном, но в комнате духота и уныние.

— Где взять топор? — спросила баба Поля себя.

У Гришки-страдальца скорей всего есть, но он потребует горячительного взамен, да и вопросами засыплет.

Проверила в шкафу коробки со старой посудой, нашла молоток с пассатижами и пару отверток.

Как вариант, купить топор в хозяйственном, только будет ли он там?... Сестре заказать, так тоже чревато — вопросами, подозрениями, обвинениями...

Присела на табурет баба Поля, слушает дождь, как он по молодой листве стрекочет и по подоконнику, слушает сердца скромное тарактенье, и вдруг словно солнца лучик пронзил.

Вспомнила, взмахнула руками баба Поля. Поднялась. Заметалась по комнате. Халат надела просторный. Очки для чтения, волосы под гребень собрала. Вышла торопливо, дверь не стала закрывать, спустилась по темной лестнице вниз на первый этаж, там возле закрытой комнаты вахтера щит пожарный.

Коробка на стене выкрашена в красный цвет, а в ней топор такой же броский, пугающий. Сняла с крючков инструмент баба Поля, взяла осторожно за деревянную рукоятку, взвесила, ух и тяжелый, спрятала на груди под халатом в фиалковый цветочек.

На первом, нежилом этаже, заставленном бочками и бракованным товаром с керамического завода, сильно пахло смесью из лакокрасочных веществ. Закружилась голова, как во хмелю, затошнило; баба Поля, при-

жимая топор к сердцу, прошаркала по своим следам назад в комнату, про себя повторяя строчки любимой молитвы.

Сначала положила топор в шкаф к зимним вещам, но тут же достала, убрала под кровать. Красное топорщице светилось в темноте, и баба Поля могла поклясться, на ощупь оно было горячим. Дерево и лезвие напряглись в ожидании, топор готовился к битве.

*Глава пятая, последняя (большая),  
из которой становится ясно,  
с какой целью приходил Достоевский  
и кое-что еще*

После плотного обеда, манной каши с оставшимся куличом, баба Поля прилегла под тяжестью мыслей и натиском непогоды. Ветер бился с жаром батареи, гоня пыльные шарики по верхним полкам книжного стеллажа. Перед Пасхой пыталась достать с помощью табурета и тряпки на швабре недоступные места, да чуть не загремела под фанфары с табурета, хорошо — успела на швабру опереться. Смела веником, где достала, паутину, окошко вымыла, полы, и лишь настойчивый ветер сгонял притаившуюся пыль, и баба Поля снова мучительно искала способ добраться до верха...

С кровати смотрела, как под потолком дышит другая жизнь, сотканная из паутины и пыли. Крохотные миры всюду. Она тоже один из таких незаметных, непримечательных, невидимых мирков.

Общежитие, уцелевшее в схватке за выживание крыло на втором этаже — мир без цели и истории. Тут у каждого своя маленькая история. В комнатах живут не люди — истории... Истории невидимых жизней, потерянных душ... Истории обновляются, обнуляются, меняются, стареют, умирают... Комнаты остаются... Бездомные комнаты...

Баба Поля задремала. Баба Поля боится снов из прошлого, боится своей истории, что проста, как три копейки. Проста в своей дикой предсказуемости. Дети вырастают, дети не прощают своего одинокого взросления, дети забирают все и списывают родителя со счетов в приют на край земли и жизни.

На тонкой нити сна и яви табурет громадных размеров, и если взглядеться, можно увидеть, что по всему периметру сиденья, на краю, свесив ноги, сидят маленькие человечки. Приглядись — узнаешь всех, кто шел с бабой Полей по жизни, кто рука об руку, кто спиной, поодаль, кто с закрытыми глазами...

«Вот сяду сейчас на всех них и раздавлю, — думает баба Поля, и от мысли разгорается в ней пламя мести за все пролитые слезы, тумачи и оскорбленья. — Или одним щелбаном побиваю всех. Тут и свекор со свекровкой, и детки веселятся, будто снова мать квартиру с дачей на них переписывает, и сестренка младшая сидит, ножками болтает, с бутылки, прямо из горла, водку хлещет... Сдуну их, как ветер пыль со шкафов, и дело с концом». Решилась баба Поля, набрала в легкие воздуха и дунула что есть мочи, и закашлялась, никак слюной подавилась, согнулась пополам баба Поля, а разогнулась уже в реальности, на кровати. За окном растеклись сумерки, уплотнились тени. Комната в это время похожа на склеп, гроб, вспомнила сон баба Поля и осторожно спустилась на колени. Заглянула под кровать. Топор с красным топорщищем был на месте. Баба Поля потрогала его, убедилась, что он настоящий и теплый, будто живой. Встала, захрустело в коленях, безболезненно, но по привычке схватилась за ноги баба Поля, ойкнула по привычке. На табурете пятно света, это за окном фонарь загорелся, странное дело, эти поселковые уличные фонари — горят, когда им вздумается. Иной раз перемигиваются, разговаривают друг с дружкой да с припозднившимися прохожими.

Улыбнулась, как солнечному зайчику, баба Поля, вспомнила первый визит бородатого незнакомца, которого за Иисуса приняла, и тихо рассмеялась.

— Теперь ты самое дорогое, что у меня есть, — сказала она табурету. — На тебе самый из самых великих писателей сидел.

Подвязала халат, включила бра над кроватью и электрический чайник. Ох, и шумел порой чайник, как и фонари, живущие своей жизнью. Пока баба Поля делала бутерброды, чайник щелкнул, отключился. Щелкнуло и сразу бабахнуло за окном, баба Поля терпеть не могла эту детскую забаву — круглогодично взрывать новогодние петарды. Вдрагивала, пугалась, как сейчас, до мурашек по всему телу. Шагнула к окну баба Поля, остановилась, достала из-под кровати топор. В комнате запахло потусторонним присутствием. На табурете никого, но баба Поля чувствовала душой, она не одна. Рукоятка топора вспотела в ладони, заскользила, ожила, нагреваясь, как и поднималось давление в крови бабы Поли, зашумело в голове. Запульсировало в висках и перед глазами. Топор, комната подстроились под удары сердца.

Баба Поля сказала громко:

— Богородица, Господь с тобой, пребудь повсюду со мной, с Божией рабой Полиной. Укроти врагов.

Тут дверь и вышиб одним ударом кирзового сапога худой мужчина в пластмассовой помятой маске Белоснежки, следом за ним в комнату заскочил кривоногий коротышка с черным чулком в сеточку на голове.

Баба Поля не успела испугаться. Подняла топор и шагнула к воришкам навстречу.

В полиции позже они будут рассказывать, что испугались не столько старухи с топором, хотя она их с порога ошаршила, сколько того, кто стоял за ее спиной.

— Черт, высокий, бородатый, с глазами, как блюдца, — брызгал слюной Чулок в сеточку.

— Какие блюда?! — возражал зло Белоснежка. — Глаза, как щели в пропасти, и красным внутри огнем горят.

— Горят, только не красным, а зеленым, ты дальтоник просто, — возражал Чулок. — Еще скажи, что рогов у него не было!

Белоснежка стучал по своей бритой голове:

— Ты с боярышником перебрал, не было у него рогов! Это у тебя рога, тупая ты башка.

— Ага, тогда табурет ты сам себе под ноги поставил?..

Грабители-неудачники спорили, пока их не закрыли в камеру, и там продолжили спор.

Капала ли с топора бабульки кровь? Двигалась табуретка по полу сама, или ее нечто хвостом пододвинуло? Спорили, пока не разодрались, поставив друг дружке по синяку, утихомирились, Чулок пообещал в церковь сходить и вообще теперь он в Бога уверовал, Белоснежка еще не разобрался в своих чувствах. Но что-то в комнате 31 бесспорно было из области фантастики.

Почему решили ограбить старушку? Пацаненок какой-то нашептал, что у старухи в комнате золотобрильянты, вот и повелись безработные дуралеи. Приняли для храбрости настойку боярышника неразведенную и поднялись на второй этаж к комнате 31, а их тут уже ждали. Баба Поля с топором и кто-то за ее спиной. Кто-то и подсунул табурет под ноги Белоснежке, воришка споткнулся, спиной полетел на своего напарника, который сам еле на ногах стоял, так они кубарем и выкатились из комнаты. Прямо в ноженьки полиции. Тот самый пацаненок стражей порядка вызвал. Раскался. Плакал.

Баба Поля стояла с топором в руках, пока не приехала сестра. В комнате больше не пахло присутствием чуда. Да, баба Поля для себя схоронила затею, что с ней произошло чудо, и его запах останется в ней до самой смерти. Сладковато-мятный, теплый. Фиалковый.

Сестра приехала в первом часу ночи, растрепанная, ненакрашенная. Вошла в полуоткрытую дверь, не замечая молодого полицейского, строго косившего на нее в коридоре.

Баба Поля сидела на кровати в обнимку с топором, она впервые не могла вспомнить, как правильно заканчивалась молитва, что зазубрила с детства.

Вот те нате, сетовала про себя баба Поля, и ведь не испугалась, чтоб со страху забыть самое важное на свете.

Перед приходом сестры увидела, как по табурету — его подняли полицейские, он странным образом попал под ноги воришкам — проскакал радужный зайчик, какие бывают, когда случайный луч солнца отражается от очков для чтения. Очки лежали на столе, а вместо солнца лампочка в сто ватт над головой. Зайчик спрыгнул с табурета, запрыгнул к ней на колени, промчался по топору, и баба Поля едва успела увидеть, как он исчез в ковровом лесу за ручьем, где пасутся олени и таится дверь в фиалковое детство бабы Поли.

Улыбнулась баба Поля: если бы не милиционеры, она бы легла на бочок лицом к коврику и помчалась бы следом за чудо-зайчиком туда, где все бы только начиналось...

Сестра села в ногах бабы Поли, погладила ее руки, сказала:

— Прости, сестра. За все прости меня, дуру! За родительский дом, что потеряли, прости. За племянников, которым позволила так с тобой поступить. За все эти годы тут, в этой кунсткамере, прости. Прости за мои слова, за каждое слово, хочешь, я буду просить у тебя прощения на коленях за каждое слово! Букву!

Встав на колени, сестра заплакала в голос. Молодой полицейский заглянул в дверь и тут же скрылся.

— Я же на самом деле люблю тебя. Ты же это знаешь, ведь правда, знаешь? Веришь?

Баба Поля убрала топор, положила на кровать за спиной, пригладила растрепанные волосы сестры. Поцеловала в макушку.

— Конечно, знаю.

— Ты ничего отсюда не бери, только если самое необходимое, — всхлипывая, икая, говорила сестра. — Будем жить вместе, как в детстве, помнишь?! В одной комнате... Я пить брошу, я ведь не какая-то там алкашка... Просто мне тебя не хватало, а я не знала, как признаться самой себе, что я без тебя не целая, половинчатая. Стыдно, и сейчас стыдно, что целых пять лет мучили тебя...

Гладит голову сестры баба Поля, и исчезают в ней все годы, сотканые из слез и тревоги, из страха и потерь... А волосы сестры пахнут детским шампунем и яйцом, она знала, сестра для пышности шевелюры втирает сырые яйца в корни жидких волос. Засмеялась баба Поля. Сестра оторвала голову от ее колен, посмотрела в глаза:

— Не говори только, что не поедешь жить ко мне! Это ведь и твоя квартира. Все, что мое, — твое!..

— Яичко я для тебя специально покрасила одно в золото. Думала похристосоваться...

Сестра встала.

— Так и у меня для тебя в холодильнике яичко и сахар тростниковый... Собирайся, хотя на такси поедем, можешь и так, в халате. Потом за вещами приедем. Хочешь если, топор возьми.

Баба Поля запахнула халат, подмигнула сестре:

— Топор назад надо вернуть. Не мой он, снизу... Я возьму вот...

Баба Поля подняла табурет, про себя она будет называть его табурет Достоевского, прижала к груди и на секунду потерялась в мирках большого мира. Секунды хватило, чтобы отыскать себя, ту счастливую, живущую в фиалковом вечном лете, и взять ее за руку, прижать к себе, обнять. Обрести.

— Так у меня табуреток куча, и все новые, — услышала баба Поля и вернулась, переполненная запахом фиалок, к сестре, в комнату, в которой ей больше не жить.

— Это особенный табурет...

— На нем Достоевский сидел, — уверенно предположила сестра.

Не ответила баба Поля, сердце не могло насытиться любовью и прощением. Баба Поля простила всех. Простила себя.

Молодой полицейский спросил еще раз, будет ли она писать заявление о вторжении? Баба Поля попросила его отпустить бедолаг.

— Отпустят, — выдохнул полицейский, — если такое дело.

Был час ночи, сестры закрыли дверь комнаты 31, и баба Поля в последний раз оглядела коридор, где сегодня на удивление горели все лампочки. Соседский мальчик ждал ее на лавочке у окна. Увидев бабу Полю, подошел почти на цыпочках, молча сунул ей что-то в карман куртки-ветровки.

— Чего не спишь? — спросила сестра.

Мальчик промолчал, заскочил в свою комнату, и ответом стал щелчок замка.

— Дикушные тут все какие-то, — сказала сестра. — Давай я табурет твой понесу.

— Сама. — Баба Поля взяла для удобства табуретку за ножку, правой рукой залезла в карман.

— Что там?

Они спустились по темной лестнице, справа вахта и пожарный щит. Топор молоденький полицейский вернул на прежнее место.

Вышли на улицу, такси ждало у входа.

Сестра села с водителем, баба Поля с табуретом разместились на заднем сиденье.

Когда поехали, сестра снова спросила:

— Так что там он тебе положил?.. Не бомбу же?.. От таких зверьков всякое можно ожидать.

— Да какой он зверек, — голос бабы Поли дрожал от накатившихся слез. — Птичка, как есть птичка-невеличка.

На ладони у бабы Поли, вздрагивая и подпрыгивая на каждой кочке, в темноте салона поблескивало, радужно переливаясь, пасхальное яйцо с золотистыми буквами ХВ.

— Воистину воскресе, — прошептала баба Поля и вспомнила вылетевшие из головы слова молитвы.

Водитель прибавил газ, и скоро такси выехало на главную дорогу к городу. В другой мир.

Комната 26

## ЦАРАПИНЫ И НОВЫЙ АДАМ

*Он и Она*

Это она нашла комнату.

— На окраине города, жизни и верности, — описала место, где им предстоит встретаться в оговоренное время, ни минутой позже, ни минутой раньше, два дня в неделю: среда и пятница для начала, — предложила Ева. Так она попросила ее называть.

Он спросил: Ева — твое настоящее имя?

Она словно задумалась, закатила глаза цвета зеленого перламутра.

— Мы же вроде договорились, минимум вопросов, — поправила иссиня-черную челку, нежно прикоснулась к ресницам на правом глазу. — Вопросы рожают подозрения.

Он кивнул, не понимая толком, о чем она.

— Загадочное имя. Мне оно с детства казалось как-ким-то запретным что ли...

— Первая женщина, соблазнившая Адама, водившая дружбу со Змеем и все такое?.. — Алые губы приоткрылись в интимной улыбке. — Понимаю. Мужчины, должно быть, подсознательно испытывают страх к такому виду женщин. Их к ним смертельно влечет, потому что власть и сила притягательны, сексуальны до безумия...

Он только и делал, что кивал, и не знал, куда деть глаза, они то непослушно забирались в открытый вырез плаття на груди Евы, то впивались в мякоть ее пухлых губ.

— Да, Ева была сильной женщиной, — сглотнул слюну, спросил: — Тогда, может, я буду Адамом?..

Она сдвинула к переносице паутинки бровей.

— Оставайся лучше Сергеем, — и провела языком по белым, ровным зубам. — Адам, честно сказать, — слабак.

Сергей не смог не улыбнуться:

— Ради таких Ев я бы стал самым слабым мужчиной на Земле. С условием, что Ева будет вся, целиком и полностью моей. Моей и точка.

Ева щелкнула пальцами перед его носом:

— Ответ неверный.

Мужчина заметно растерялся, задергалось левое веко, покраснели щеки, Сергей нервно потер взмокшие ладони:

— Я-а-а, — начал заикаясь, — я только чтоб тебе...

Она перебила:

— Я говорила-нет, что не люблю презервативы?..

Сергей раскрыл рот, но не выдавил из себя ни звука.

— Нам в жизни очень часто приходится делать то, чего мы не любим, — рассмеялась.

Ее смех, отметил про себя мужчина, заразительный. Напряжение вмиг поменяло полярности. И новое напряжение росло, наливалось соком и кровью. Сергей нервничал уже по этому поводу.

— Вы с моей женой такие противоположности, — заговорил с придыханием. — Она не умеет шутить и шуток не понимает. Юмор ей противопоказан. Из области фантастики. Будет что-то, если она рассмеется над моей остротой.

Оценивающий взгляд Евы был нагло откровенен.

— Вот чего я точно не люблю, остряк, так это когда мужья обсуждают своих жен. Осуждают особенно!

— Я-а, — поперхнулся Сергей, — нет, нет, я просто хочу показать, что доверяю тебе как никому. С первых наших мимолетных встреч я ощущал это. Меня тянуло к тебе, не поверишь, но я храню твой волосок. Я снял его с твоего плеча и спрятал в книгу.

Ева, несколько не удивившись, хмыкнула:

— Что за книга?..

И вновь Сергей завис в неловкой паузе.

— Лю-у-лю-у-у, — вспоминал, — любовник, любовник леди...

— Чаттерлей, — закончила Ева.

— Точно, да! Она самая.

— Знаково, — коснулась она золотой цепочки, провела по шее ногтем, оставляя розовый, возбуждающий след. — Читал?..

— Ой, да что ты, нет! — отмахнулся Сергей. — Я такое не читаю. Открыл случайно, а там на всю страницу про это... Ладно бы просто о сексе, не вопрос, там все про член да член...

— Ха, и поэтому ты спрятал мой волос там?.. Где про член?..

Большими ладонями он закрыл лицо.

— Боже, ты просто убийственна! — Взмолился: — Просто наповал, я теряюсь, как школяр какой. Ты богиня! А я-а-а... Я хочу быть с тобой!

И она сказала:

— Будешь.

## Он

Ему стали сниться эротические сны сразу после регистрации брака.

На изломе детства не было ничего подобного. А здесь каждую ночь — яркие, фонтанирующие, запоминающиеся сны. Порой ставившие его в неудобное положение перед женой.

Сергей стеснялся снов. Обнаженным, обезоруженным, высосанным — таким он чувствовал себя утром после невероятной эквилибристики с неизвестными молодыми женщинами без запоминающихся лиц.

Лиц не было, только рты. Губы с разным цветом помады.

Черты лица прояснились после встречи с ней.

До того как он узнал ее имя, Сергей звал ее «журналистка». Он приезжал в редакцию газеты «Вечерняя среда», менял картриджи, проверял работу принтеров, тут и зацепился глазами, сердцем, душой, которая, по его ощущениям, перебралась в низ живота и зашевелилась, ожила, потянулась к женщине с фантастическими данными, такое определение дал он журналистке, встретившей его в дверях.

Он вспоминал, как растерялся от ее взгляда и запаха духов или это был запах ее силы, страсти, женственности...

— Я-а-а, — искал поддержки в лице знакомой секретарши или кого из техников, в редакции словно все вымерли.

— Я вас помню, вы из сервисного обслуживания, картридж привезли.

Сергей выдохнул:

— Так точно.

И специально забыл оставить бланк заявки, чтобы вернуться за ним в редакцию на следующий день.

Сны за границей штатной эротики прекратились после первой встречи в комнате 26, на окраине города, жизни и верности.

## Она

Евгения с детства не любила свое имя и не могла объяснить почему. Подростком подозревала, что все дело в близняшковости с мужским именем.

Потом терпеть не могла, когда одергивали грубо — Женька!

Так в институте, на факультете журналистики, появилась Ева. Соблазнительная и неприступная.

В «Среде» проработала меньше полугода, в планах — а цели у Евы были с размахом — «Областная газета» и редакторство.

В «Областной газете» сразу попала на должность ответственного секретаря, через месяц после увольнения из городского еженедельника, а через два года — кожаное кресло редактора ощутило на себе все изгибы и тонкости фантастического тела Евы.

Пока же она смотрит в оленьи глаза стесняющегося мужчины с испачканными в черном порошке ладонями, говорит:

— Туалетная комната дальше по коридору.

Она замечает обручальное кольцо, раннюю седину на висках, очаровательный шрам на выбритом до пепельного цвета подбородке, мягкую картавость и огромную неудовлетворенность. Ее Ева научилась распознавать в мужчинах с одного взгляда. Достаточно пары минут, нескольких слов, телодвижений, жестов, и она знает, что этому мужчине нужно, чего не хватает и как ему в этом помочь.

Сергей, она все о нем узнала от секретарши Марины, живет в браке одиннадцатый год. Ему сорок два, у них дочь Маша, учится в начальной школе. Жена Алёна старше его на два года, преподаватель черчения и рисования.

Секретарша подвела итог, эротично вздыхая:

— Верный муж, повезло Мымре.

Верный — выстрелом шарахнуло в крохотной приемной редакции до звона в ушах. Ева сощурилась.

— Я не верю в мужскую верность, — чуть ли не криком. — Верные только лебеди.

Марина красила ногти черным лаком.

— Этот — исключение, я пыталась, безрезультатно, а с женой его в школе учились, такая гонза.

Ева не стала больше ничего говорить, спрашивать. Она знала, завтра он снова придет, потому что увидела его жадный взгляд и как он нехотя уходил, сжимая кулаки...

Назавтра она пришла в редакцию в кофте с глубоким вырезом.

### *Он и Она*

Ей нравятся слова «влечение», «вожделение», «похоть». Терпеть не может словосочетание «заниматься любовью».

Ему нравится, что она экспериментирует в постели, и не нравится, когда молчит.

— Боюсь твоей тишины, — курит у окна в форточку, пару минут назад она заставила его надеть трусы, а теперь молча смотрит в потолок, укрывшись простыней по горло.

Затушил сигарету в пустой сигаретной пачке, пролез к ней под простыню, поцеловал в плечо:

— Не молчи, ну...

Лег на спину, и вместе они смотрели в давно не беленный серый потолок в трещинках и трещинах.

— Почему двадцать шесть? — спросил вдруг. — Число какое-то никакое, ни туда, ни сюда...

Ева молчала.

— Комнат других не было, да?.. Мне число семь нравится, оно многим нравится, наверное, оттого что считается божественным.

Женщина рядом не дышала.

Сергей говорил:

— Ты вот все обо мне знаешь, а я о тебе ничего, даже не знаю, твое это имя или так... Это у тебя, видно, профессиональное, вы, журналисты, всегда не договариваете, да и вообще любители пудрить мозги таким вот лохам, как я.

Он просунул руку под ее голову.

— Моргни хоть...

Она не моргнула.

— Хотя два плюс шесть дает восемь. Восемь напололам две четверки. Как раз по четверке на нас двоих... Но тебя же четверка не устроит, да?.. Только пять. Все должно быть на отлично. По высшему разряду. На пять с плюсом.

Другой рукой нашел ее ладонь, сжал.

— Чувствую твой пульс, сердце колотится, будто ты бежишь. Ты бежишь куда-то? — Привстал и спросил громче, с испуганными нотками в голосе: — Убегаешь? От кого? От меня?..

Ее улыбка уложила его обратно в кровать, на спину. На лопатки.

— Уже лучше, люблю, когда так улыбаешься. Не люблю, когда молчишь, вот так, ни с того ни с сего...

Молчали вдвоем недолго, минут пять, не больше, потом Сергей спросил про ключи:

— У тебя и у меня, больше ни у кого нет ключа от комнаты? Это ведь наша, только наша комната?!

Она моргнула.

— Два ключа, обычно их три в связке, третий, что, у хозяина?.. Он же не заявится негаданно?.. Без предупреждения?! Или что, это твоя комната?.. Ну, Ева. — Он повернул нежно ее голову к себе, посмотрел в глаза: — Я что, много говорю лишнего?..

Ева снова моргнула, но ответить он не успел, слова утонули во влажности ее губ.

## Он

Они встречались восемь месяцев, когда Сергей во сне впервые произнес ее имя. Утром жена спросила про Еву. Муж в этот раз не растерялся, ответил:

— У меня и знакомых-то с таким именем нет.

Жена налила себе кофе.

— Ты, задыхаясь, прямо молил эту Еву продолжать, — хохотнула.

— Что продолжать? — Сергей протянул Алёне кружку. — Плесни мне.

Она ответила:

— Ты у нее спроси — что.

— Про кого это ты?

— Мне на работу пора, — отстранила руку с пустой кружкой жена, — некогда.

— Ты что, реально злишься из-за того, что я во сне там наговорил?! Тем более я вчера выпил на работе, сама знаешь, премию дали. Что за Ева?.. Откуда?..

— От верблюда! Я же всяких Адамов не прошу перестать по ночам во сне?!

«Адам» из уст Алёны напугал, Сергею показалось в эту секунду, что перед ним Ева в обличии жены. Что они как-то чем-то связаны. Такие непохожие и такие целостные. Объединенные жаждой мести неверному мужу, мужчине.

— Точно! Это из фильма. Актриса это, точно! Ева Грин или как, с такими цветными линзами... «Город грехов-2» вот, фильм, вспомни!.. — протянул ей кружку. — Там она играла, полфильма голышом проходила, Ева Грин!..

Алёна забрала кружку.

— Мы договаривались быть честными друг с другом, и если что-то пойдет не так, обсудим это открыто.

Сергей подошел к жене, обнял.

— Мне не нравится имя Ева, какое-то оно не наше. — Поцеловал в голову.

— Хорошее имя, «дающая жизнь» означает, — ответила жена, ушла, оставив пустую кружку на краю стола.

### *Он и Она*

До общежития из города добирались разными путями. В поселок ездил один автобус, поэтому Сергей приобрел расписание маршрута и уходил с работы строго согласно ему.

Ева приезжала на редакционной машине.

— Это общежитие давно снести собирались, читал чуть ли не в твоей газете, — серьезно говорил Сергей.

— Оно еще город и всех нас переживет, — отшучивалась Ева

— Мрачное жилище, пристанище.

— Сердце города грехов.

Ударом под дых дежавю. Сергей выбрался из кровати, натянул, не застегивая, джинсы, прикурил у окна.

— Почему город грехов вдруг? — глубоко затягиваясь.

— Скажем так, все мы не без греха.

Струйка дыма отправилась в форточку, в сумерки. За окном трубы комбината — стража города грехов. Посмотрел на любовницу: в тусклом желтом свете бра Ева тем, как она сейчас лежала, заломив голову, напомнила жену. В редкие моменты близости Алёна запрокидывала голову назад и вбок, волосы падали на лицо, она закрывала глаза.

На тумбочке у кровати бутылка вина, два стакана, блюдо с дольками фруктов.

Сергей стрельнул бычком, звездочка в синеве вечера, вернулся, разлил остатки белого сухого, Ева пила только такое вино, подал ей стакан.

— Сегодня звал тебя во сне по имени, — звякнули встретившиеся стаканы, — просил продолжать.

Ева выпила первая.

— Так продолжай.

## Она

То, что она у него первая любовница, Ева знала, он мог ей и не говорить. Она знала больше — что она у него и последняя.

Он у нее не первый, и это он знал, хотя она этого не говорила.

— Я не замужем, и это главное, — как всегда шутила. — Может, лет в пятьдесят и решусь.

Он считал, демонстративно, на пальцах:

— Ого, мне тогда будет пятьдесят шесть.

Ева смеялась:

— Я не боюсь старости.

В двухкомнатной квартире, доставшейся ей от бабушки, портреты женщин всех возрастов — все близкие родственницы.

Ева обожает бабушку. У нее на могиле не успевают вянуть живые цветы.

А по словам бабушки, внучка просто копия прабабки Серафимы.

— Та была неопикуемой красавицей. Все мужики по ней с ума сходили, в монастырь уходили, да, и такое было, стрелялись на дуэлях, а двое покончили с собой, отвергнутые прабабкой.

Мужских фотографий не было.

Бабушка рассказывала, одинокими жили и умирали в одиночестве женщины в их роду, из поколения в поколение передавалось это проклятье за их красоту.

— Красивое всегда неверное, непостоянное... Есть такая красота, губительная. Всеразрушающая...

Внучка разглядывала лица прапрабабок, восхищалась сходством, общими чертами, нисколько не задумываясь, не переживая о всеединой несчастной судьбе.

## Он и Она

— Приснилось, я обнаженная позирую твоей жене. — Закуталась в простыню, взяла у Сергея из губ сигарету, затагнулась.

Любовник поднялся на локтях,

— Как позировала?

— Рисовала она меня, с натуры, — всунула обратно сигарету в губы Сергея. — Вроде как у вас в квартире, похоже, что на огромной, без краев, постели.

— Блин, что за сон, — встал, голый подошел к форточке.

— Она привлекательная, скажу тебе.

Он поперхнулся, закашлял.

— Ты где ее видела-то?

— Во сне, не тупи, Серый.

— Откуда узнала, что это она?..

— Оттуда! Во сне ты просто знаешь, и все. И наяву так бывает: вот знаешь ты это из ниоткуда. Знаешь, и точка. И надень трусы!

Отвернулась к стене в желтых обоях с непонятным геометрическим рисунком, замолчала.

Сергей докурил, присел у изголовья.

— И как портрет? Или она тебя всю рисовала. Ах, точно, ты же разделась...

Ева не отозвалась.

— Лесбийский какой-то сон, скажу тебе.

— У твоей жены есть размытое, нечеткое родимое пятно под левой ягодицей? — повернулась Ева. — Как у Горбачева, только не на голове, а намного, намного ниже, — сверкнули белые зубы.

Сергей смог выдать:

— Да ладно...

## Она

Конечно, не мечта всей жизни, но Ева хотела, чтобы ее запечатлела кисть художника. Этим и объяснила она свое сновидение. Сергей никак не мог успокоиться:

— Родимое пятно?! Как?! Догадаться?.. Быть такого не может. Случайное совпадение?..

Ева обрывала его догадки:

— Вещий сон, успокойся, жизнь такая веселая штука, никогда не знаешь, что преподнесет завтра.

Мать Ева не застала, «умерла сразу же после родов, бедняжка, от старой болячки», — рассказала бабушка, заменившая родительницу.

На память о матери осталось одно лишь ненавистное имя — Евгения.

Отца, как и все женщины рода, Ева не знала. Рожали детей для себя, без обязательств со стороны оСемёни-теля и уз связующих...

— Мужчина в дополнение, не более.

Ева слушала бабушку, спрашивала:

— И я, получается, не выйду замуж?..

Бросала на картах бабушка: что было, что будет, что на сердце, что под сердцем, чем сердце успокоится.

Девочка терпеливо ждала результатов, вслушиваясь в дыхание бабушки и тиканье секундной стрелки настенных часов.

— Ищи, — получала ответ, — как и все мы, ищи. Най-дешь — почувствуешь. Узнаешь. Это как проснуться.

В институте шутила с одногруппницами:

— Мне на роду написано блядью быть. А против судьбы и природы не попрешь...

Бабушка разгадывала сны, расшифровывала до мелочей.

— Она бы объяснила, к чему такая страсть приснилась.

Сергей ответил:

— Может, Алёна подозревает?.. Так-то она недалекая...

Ева стрельнула перламутром глаз:  
— Не при мне. Близкий ты наш.  
— А если скажу, что хочу развестись и сделать тебе предложение?

Любовница ответила, не задумываясь:

— Попробуй.

И вспомнился скрытый от любовника кусочек сна.

— Попробуй, — шепчет она на ухо художнице.

Краски приходят в движение, текут, смешиваются, капают с холста. Воск свечей стекает с подсвечников...

### *Он*

О разводе думал после каждой встречи в комнате 26. Приходил, возвращался с темнотой в квартиру к жене и дочери, шел в ванную, там под струями горячей воды пытался разложить будущую жизнь по полочкам.

Начинать жизнь с нуля, в сорок три, с женщиной-тайной? — на первой полке.

Продолжать обманывать и отравлять семью выхлопами неверности? — занята вторая полка.

На третьей полке — признаться жене, молить о прощении?

И последняя полочка — оставить Еву?

Обжигала мысль похлеще кипятка.

— Я не смогу без нее, — говорит в шуме воды: — Она моя болезнь.

Мужчина заболевает женщиной, когда ощущает в ней свое продолжение. Когда запахи приятны только в компоненте друг с другом и можно молча понимать все о желаниях и не хотеть большего... Если эта болезнь обоюдна, на двоих, вот вам и настоящая любовь, и крепкий союз до гроба.

Болезни вылечиваются, проходят... Раны затягиваются, заживают... Остаются следы...

— Не хочу, чтобы ты стала следом, — прошептал на ухо Еве, все еще оставаясь в ней. — Хочу слиться с тобой в целое. Неразрывное...

Она ответит ему несколько дней спустя, на этом же месте под легкой простыней, в той же позе. Ева скажет:

— Мы уже наследили. Не сотрешь. Разве что только стерев одного из нас с лица земли.

Сергей не понял, о чем она. У Евы не было настроения вдаваться в подробности.

Мелочи нам говорят намного больше целого.

### *Он и Она*

На их юбилей — год отношениям — в комнату впервые постучали.

Сергей инстинктивно бросил взгляд на окно.

Ева подмигнула.

— Муж пришел, — прошептала. — Со второго этажа сможешь спрыгнуть?..

Зрачки любовника увеличились.

— Пойти открыть? — спросил тихо, заговорщически.

— Вдруг жена, — отбила охоту Ева.

Еще один неуверенный стук и голос:

— Соседи! Будьте соседями! Займите чирик до полочки!

Она громко, несдержанно рассмеялась.

— Возьми у меня в кошельке, — велела. — По голосу слышно — угорит соседка.

Сергей недовольно заворчал:

— Может, вина ему налить еще? — съязвил. — Ты что, его знаешь, что ли?..

— Дурак.

За дверью голос возвестил:

— Блаженнее давать!.. Может, полтинник найдется?..

Сергей приоткрыл дверь, просунул соседу пятидесятирублевую купюру.

— Меня Гришей зовут, с двадцать девятой я, — пробурчал, забирая трясущимися руками драгоценную бумажку.

— Адам с двадцать шестой, — закрыл дверь Сергей.

### *Она*

Человек живет множествами жизней. На работе — одной, в компании друзей — второй, с семьей — третьей...

Ева не позволяла стираться границам жизней. Все четко расчерчено, разделено. Шаг влево, вправо — расстрел. Никаких поблажек, исключений. Крохотные отступления, вот основная причина бедствий всех уровней и катастроф человеческого существования.

Случай — двигатель жизни. Ева жила по принципу: «все что ни делается, для чего-то нужно и важно». Даже подножка может стать пьедесталом к новому и большему.

Отношения, любые, самые невыносимые и неприятные, открывают в тебе другого тебя.

Любовь возможна, пока ее ищешь.

Верность должна быть проверена. Лебедь разбивается оземь, теряя любимую.

Все мы носим свое наказание в себе.

Сны никогда не врут. Они раскрывают нам нас.

### *Он*

О встрече договорились, как и всегда, заранее. Очередное свидание в пятницу, ровно, ни минутой раньше, в шесть вечера. Сегодня четверг, время — начало пятого, Сергей отпросился с работы, едва не опоздал на автобус до поселка, выкурил на лавочке у общежития три сигареты, разглядывая редких прохожих, потом не спеша поднялся в комнату 26.

— Зачем? — спрашивал себя. — Чтобы проверить, не изменяет ли она тебе?

Воображение рисовало короткометражки: непристойные, мерзкие, болезненные...

— Почему именно в эти дни? В это время? Что за секрет?

Заранее приготовил ключ, еще на улице. На ключе нацарапаны номер 26 и сердечко.

— Хотела что попохабней, но похабней не придумала, — объяснила она появление сердца на ключе.

Дверь окрашена белой краской, номер написан красным.

Щелкнул замок, раз и два, на третьем повороте ключа вошел.

— Дебил, — поставил диагноз.

В комнате застыли в ожидании любовников вещи и предметы.

Застеленная, убранная кровать манила воспоминаниями. На подоконнике импровизированная пепельница — банка из-под пива...

— Ева, — позвал.

Подошел к кровати, сел на край постели, погладил прохладное покрывало, лег на живот, вдохнул легкий запах их тел. Ее духов, его одеколону...

— Ты меня убиваешь, — прогудел в подушку, — сука.

### *Она*

Сергей спрашивал, любит она его? Ева всегда отшучивалась, не отвечала ничего конкретного.

— Бабушку люблю, это наверняка и неизменно.

Любовь — слово не из любимых. Не из ее обиходного лексикона.

— Узнаешь, — говорила бабушка, — найдешь — почувствуешь. Это как проснуться.

Ева ждала, искала. Каждая командировка в столицу, за границу — как новый виток в поиске любви...

Она не любила, чтобы ее провожали, любила встречи. Сергей обижался, надувал по-детски щеки:

— Не хочешь, чтобы нас вдвоем видели, так и скажи.

Ева не отступила.

— Встречай через три дня с цветами. Встречи важней прощаний.

Сергей подозрительно оглядывал ее:

— Точно командировка?.. У меня последние месяцы какие-то чувства ненормальные, картинки всякие...

Она чмокнула его в щеку.

— Не повторяй ошибку Адама, — прошептала в ухо.

— При чем тут Адам?! Ты же не изменяешь мне?..

Спасением стал голос, объявивший о начале посадки на рейс до Москвы.

В самолете, устроившись у иллюминатора, достала из сумочки ключ, с выцарапанном номером 26 и сердечком.

— Я уже скучаю, — держал он ее руку и не отпускал. — Ты, знаю, не скучаешь по мне, я же слабак. Ты права, Адам был слабаком. Все мы, Адамы, такие.

Она хотела сказать, что не все. Не сказала. Не успела.

Сергей заплакал.

### *Он и Она*

Постельные диалоги, так она прозвала их беседы после пары маленьких смертей. La petite mort.

— Мужчины тоже имитируют оргазм, знаешь? — спросила как-то.

Он поперхнулся кусочком мандарина.

— Точно не я.

Ева смотрела в потолок,

— Трещины, сколько их ни замазывай, закрасивай, они все равно проступают... Со временем, но трещина проступит...

— Это ты к тому, что мы трещины друг друга?..

Она перевела взгляд с потолка на обнаженную спину любовника. Сергей прикуривал.

— Скорей, царапины, — ответила, — царапины, как те, что на ключах. Я их гвоздем делала, ржавый такой гвоздь, не знаю, как он, откуда в руки мне попался. Выцарапала, чтоб не забыли.

— Ты и на сердце у меня нацарапала. Хочешь, покажу?..

— Сердце?..

— Да, оцарапанное?! Выцарапанное...

— Давай.

Она

В Москве снова приснилась его жена.

Если не хочешь долгих отношений с человеком, не узнавай его имени, не открывай своего. Трудней убивать, когда знаешь имя.

Они в комнате 26.

Ева, обнаженная, на разобранной постели, среди цветов и подушек. Вместо привычного торса Сергея — белоснежная податливая грудь его жены.

— Попробуй, — стекает с губ Евы.

— Ева — твое настоящее имя? — вкрадчивый, томный голос жены. Алёны.

— Евгения, — говорит Ева и просыпается с именем во рту.

А внутри продолжается сон, в котором она видит мать в точности как на старых, пожелтевших фотографиях.

— Мама? Почему ты меня так назвала? Дала такое имя? Почему?..

Мать говорит, не открывая рта. Ее слова звучат в голове Евы.

— Так звали твоего отца, — растворяется в дочери голос матери. — Ты — это память о нем.

## Он

Алёна заметно изменилась. Повеселела, шутила.

— Бог мой, ты шутишь?!

Сергей не сразу заметил новую стрижку, не обратил внимания на французский маникюр и нижнее белье, откровенно-прозрачное.

— Она знает, — разговаривал, как всегда, под душем. — Она готовит атаку. Отмщение.

На всякий случай удалил эсэмэски от Главного, их он любил перечитывать в такие одинокие дни командировок Главного и вспоминать.

Мы все пленники воспоминаний. Рабы памяти. Фантазий. Хорошая фантазия — лучший друг мужчины, особенно в одинокие дни...

Алёна стала задерживаться на работе, и Машу приходилось забирать ему.

— У мамы допэзэ? — интересовалась дочь.

— Что еще за допэзэ?..

Девочка стучала отца по руке.

— Па! Ну, ты даешь. Мама же всегда так говорит. Дополнительные задания.

После допэзэ жена приходила в приподнятом настроении, смеялась, рассказывала анекдоты.

— Она тебе изменяет, — нашептывал мерзкий, писклявый внутренний голос. — Точно, у нее кто-то появился. Посмотри, как она счастлива. Ты не мог научить ее смеяться, и вот пожалуйста, нашелся тот, кто нарисовал улыбку на ее лице. Кто разбудил ее? Научил сверкать! Сергей не решался спросить у жены о переменах. Язык онемел, попытайся он сказать ей: «Ты мне изменяешь?!»

Звонил среди ночи Еве, чтобы рассказать, спросить совета, поддержки:

— Как поступить?..

Номер телефона Евы был недоступен.

А через день все разрешилось само. Как часто и бывает.

## *Она*

Мысли закрадывались еще с института — разыскать отца. Реальность побеждала. Найти родителя не удастся. Но она попробует, решила. Она ведь всегда добивается своего.

У стойки рецепшена гостиницы толкотня, приехала команда школьников на олимпиаду по истории.

Администраторы загружены оформлением новых гостей.

— Мне номер сдать, — пытается перекричать какофонию детства, непосредственности, задора и громкого счастья.

— Оставьте ключ на стойке, я заберу, — кричит в ответ крашенная блондинка.

Евгения так и сделала.

Переполняясь сладостным ощущением уже виденного, прожитого...

Ключ с выцарапанным номером и сердечком остался навсегда в пяти тысячах километров от замка комнаты 26.

## *Он*

Точно такой же ключ нашел Сергей, осмелившийся проверить сумку жены. Она вернулась с очередного допэзэ, сразу проскочила в ванную, и теперь он слышал, как она там напевает и, о небеса, насвистывает.

Ключ лежал в кармашке с другими ключами. Этот он не мог не узнать.

Сначала подумал, это его ключ, что Алёна нашла его и теперь предстоят долгие, выматывающие беседы, море лжи и, конечно, слез...

Бросился к своей барсетке, в потайном отделении обнаружил близнеца.

Сравнил ключи, на обоих номер 26 и сердечко — чтобы не забыли, — сделанные ржавым гвоздем.

В ванной — самый настоящий концерт, с барабанами, хлопанием в ладоши. Вскриками «о-у-е!» и «дай-дай-дай!».

Он, с одинаковыми (проверил каждый изгиб) ключами в большой мозолистой ладони, посреди спальни. Стоит у аккуратно застеленного белоснежным, как чистый холст, покрывалом супружеского ложа.

Растерянный, потерянный, ничего не понимающий, заблудившийся...

В точности как первый человек на земле.

## Комната 25

### ПОБЕГ

Мать? Он никогда так ее не называл. Мама, мамочка, мамуля.

Нина Николаевна не могла вспомнить ни одного случая, когда бы сын нагрубил ей.

Как-то, сразу после своего восемнадцатилетия, пришел домой поздно ночью, пьяный, еле на ногах стоял, перепачканный в грязи и блевотине. Нина Николаевна молча сняла тапочку и хлестнула сына несколько раз по спине. Он не уворачивался, кивал, обещал, что больше таким она его ни в жизнь не увидит. И мать была уверена, сын сдержит слово.

В поезде вспомнился вдруг этот случай, а потом она услышала кукушку.

Сначала подумала, может, у кого на телефоне такой звонок... Осмотрелась, плацкартный вагон тревожно спит.

Да и какая кукушка в поезде?! Но Нина Николаевна слышит ее тоскливое кукование. Издалека, из прошлого...

У нее нижнее боковое место, думала, что ночь потерпит, не заснет, но не успели отъехать от станции, как Нину Николаевну сморили размеренный стук и колыбельное укачивание поезда.

Облокотившись на пыльное окно с пронсящимся однообразием полей, закрыла глаза. Кукушкин плач, а Нина Николаевна всегда считала, что не от веселой жизни серая птица горло до хрипа надрыгает, унес ее назад, лет на десять, во времена цветения.

Сын рос, расцветал интеллигентным мальчиком. Так считали учителя в начальной школе, и соседи, и все знакомые — твердили, как стговорились:

— Такой маленький интеллигент, скромный, аккуратный во всем, воспитанный, всегда улыбнется, поздороваешься...

— Не матерится, — добавляла классный руководитель Тамара Иннокентьевна.

— Сумку поможет донести, — нахваливала баба Шура из двадцатой квартиры. — Мои внуки сроду сами не предложат, а Илюша чуть ли с рук не вырывает...

Нину Николаевну переполняла гордость за сына. Она ведь и не прикладывала чрезмерных усилий в воспитании. Читала на ночь добрые сказки, за столом просила не чавкать, желать здоровья тому, кто чихнул, говорить правду, даже если за нее попадет, и никогда не забывать маму.

Отца Илья не знал. Точнее, отец не захотел ничего знать об Илье. Бросил мимоходом Нине Николаевне — откуда мне знать, что этот ублюдок мой? Хлопнул дверью и растворился в Вечности. А маленький Илюша, Илья-подросток, ни разу не заикнется об отце. В саду и в школе с твердой уверенностью в голосе и в сердце будет заявлять: «Мой папа — космонавт». И каждую ночь, заметив летящую звездочку-спутник, грустно и глубоко вздыхать:

— Папа летит.

Нина Николаевна сама удивлялась поведению сына, видно, в точку попали с интеллигентностью, людям на расстоянии виднее. Только в кого он такой правильный, примерный?..

— От Бога это все, — смотрит мать на спящего сына, на сонные пузырьки в уголках губ, а душу давит беспокойство, сжимает в кулак, закручивает канатом непонятная тоска и страх. Скоро это закончится, шепчет, заползая в окно, темнота ночи, в тихом омуте черти...

Грохот встречного скорого вытолкнул Нину Николаевну из дремоты в душную плацкарту. Протерла залипшие глаза, свет притушен до минимума, в окне редкие огоньки, в голове тихое кукование.

— От стресса, недосыпания, от волнения, — успокаивает себя Нина Николаевна. — Ночью кукушки спят.

Только сердце ноет, и кажется, это оно, сердце, кукует. Стук как ку. Ку-ку, ку-ку... Нина Николаевна приложила ладонь к груди. Кукование перебралось вверх по горлу в голову. Сердце стучало. Кукушка поселилась в голове.

Разбирать столик и ложиться требовал организм, ноги гудели похлеще поезда, спина затекла от шеи до копчика, во рту сухо... Нина Николаевна нащупала под столом бутылку воды, выпила почти всю, поджала ноги, уткнувшись головой в край стола, постаралась ни о чем не думать.

Не получилось.

Мысли страшные, будто не ее, перебивали голос разума, голос кукушки, сдирали свежие коросты... Эти раны не заживут никогда, кровоточащие, глубокие до самой души, пронзившие сердце насквозь раны.

Она дала имя каждой ране. Сын — самая бездонная и болезненная рана. Убийство — название второй раны, темной, черно-алой. Смертельной. Третья рана — место, название которого она не может, боится произнести.

Первый час в вагоне казалось, все знают, куда она едет. К кому, зачем, с какой целью...

Проводница взглянула как-то осуждающе, хмыкнула, глянув на фотографию в паспорте. Нина Николаев-

на, конечно, не похожа на ту сияющую, полную жизни и смысла сорокапятилетнюю женщину. Тогда она еще не знала, что меньше чем через год жизнь остановится. Прервется. Кончится.

— В половине пятого утра Ангарск? — тихо, незащищенно спросила худая уставшая женщина с седыми до корней волосами.

Проводница испугалась, потом она расскажет своей напарнице, что ее словно ледяной водой окатил взгляд пассажирки с 51-го места.

— Как из потустороннего мира, и голос, и образ, косы в руках не хватает. Я спецом посмотрела дату рождения, она же еще не на пенсии даже, и в сорок пять на фотке огонь-баба, а тут передо мной скелет живой. Мертвец и ужас ходячий.

— Горе, видать, сломило, надорвало, — напарница пойдет будить единственного выходящего на станции Ангарск пассажира и не удивится, застав женщину глядящей, не моргнет, в ночь за окном.

— Через полчаса, — голос проводницы дребезжит жалостью и слезами. — Вы что, не ложились?..

Женщина покачала головой.

— Не до сна, — сказала.

Проводница забрала нераспакованный комплект белья, закрылась у себя в каморке и проревела до самой станции от нахлынувшего чувства одиночества. Утром при свете солнца она скажет:

— Женщина с 51-го сделает что-то непоправимое. Ужасное. Я тебе говорю, я прям внутренностями почувствовала это.

Нина Николаевна спустилась с поезда, и серость проглотила ее. Перрон, лес, здание вокзала, все, что между небом и землей, растворилось, обесцветилось, сравнялось в туманной постели.

Шаги громким эхом разбивали стены подземного перехода, но нисколько не напугали кукушку. Нина

Николаевна ловила себя на мысли, что жила всю жизнь с этим кукованием, просто не было времени расслышать его в себе...

До первого автобуса больше часа, в зале ожидания молодой солдатик мерит расстояние от окна до закрытого окошка касс дальнего следования.

У матерей особое чутье, Нина Николаевна в этом уверена, они знают, когда ребенок запутался, когда оступился и ему нужна помощь. Вот сейчас она смотрит на солдатика и по-матерински ощущает его волнение, натянутое на разрыв напряжение.

«Да, — говорит про себя Нина Николаевна, — чужих детей понимаешь, распознаешь их беды, а своего не услышала, не сберегла! Проглядела!»

Вспомнила, что не курила целых двенадцать часов в поезде, а еще вспомнила, что год назад дым сигаретный не переносила и представить не могла себя дымящей...

Нервно достала помятую пачку легких сигарет. Осмотрелась, всюду наклейки, запрещающие курение. Пришлось надевать рюкзак, выходить на улицу. В серость.

Курила быстрыми, короткими затяжками и никогда не докуривала. Илья был бы в шоке, увидев такую картину: мама с растрепанными волосами, ненакрашенная, с сигаретой, в окружении мусорных бачков в туманной дымке рассвета.

Солдатик спал, свернувшись на жестком железном сиденье, накрывшись с головой пятнистой формой. Нина Николаевна тихо села в углу, материнское сердце, преодолев десяток километров, отыскало родное сердечко. Сердцем увидела сына. Илья спал, и она осторожно, украдкой, одним глазком заглянула в его сон.

Кровь попала в глаза, обожгла, крик вытолкнул, оглушил.

Сердце вернулось, едва не расколотив грудную клетку. Слезы забурились, вспенились, полились через край.

Кошмарные сны им снятся теперь всегда.

— Мама, мамочка, мамуля, — Нина Николаевна проговаривала с интонациями сына вместо молитвы.

Она не слышала голоса сына больше года. С суда. Позвонил раз, говорила только она, сын молчал, даже не вздохнул. И Нина Николаевна после каждой фразы спрашивала: сынок, ты меня слышишь? Ты еще здесь?..

И это здесь как заговор, приговор. Нина Николаевна поверить не могла, что сына с ней по-настоящему не было. Все было неискренне, не по правде. Когда это началось?.. Как давно?.. Может, это было всегда?..

Нет, в последнее не верила, она помнила их прогулки, взгляды, разговоры о вечном и неподдельном... Прикосновения. Объятия.

Сын целовал без всякого стеснения маму до последнего. Последним был день, а точнее вечер, под желтым кухонным абажуром. Звонок, сначала телефона, и сразу в дверь. Нина Николаевна не поняла толком, что произошло. Сын появился перед ней, поцеловал в щеку, сказал:

— Я не хотел.

И его вывели под руки двое полицейских.

— Прямо кино какое-то, — говорила растерянно, хватая руками пустоту вместо сына, — кино...

Прошла следом в коридор, дверь перед носом захлопнул сквозняк.

Почему-то долго не могла открыть замок. Заклинило или это все трясущиеся руки виноваты...

Босиком в подъезд, по лестнице, не чувствуя холода, выбежала в морозный февраль. Тихо падает снег, скрывая следы...

— Тетя Нина, а куда Люху увезли? Милиция была, — слышит она писклявый голос, а глаза впиваются в черные полосы шин. Сотни отпечатков подошв, она ищет следы кроссовок сына. Она помнит их узор елочкой, вместе выбирали на зиму, Илья никак не мог определить, что лучше: ботинки или же кроссовки на меху.

Отыскала еле видимый след елочкой, опустилась перед ним на корточки, прикоснулась, снег под пальцами быстро начал таять. Вот и следа не осталось — слетела горячая слеза, следом вторая...

Она не заметила, что поседела за одну ночь, соседка сказала и успокоила:

— У нас в Сибири каждый второй сидел. Чего уж там, вся Россия из эков и осужденных. И так переживать — себе вредить, сначала волосы, потом сердце в один прекрасный день не выдержит, или кукушка улетит и до конца жизни умалишенная, если в дурку не закроют.

— Не спать! — вытряхнул из сна Нину Николаевну толстый полицейский. — Вы прибыли или убываете?

Нина Николаевна заметила, что солдатика нет, растерянно сказала:

— Убываю, — и добавила: — А солдат тут был, не видишь?.. Уехал?..

Усмехнулся толстый полицейский:

— Уедет он, как же... Третьи сутки тут ошивается. Ждет, когда ему кто денег привезет, мать там или сестра, не знаю, ограбили служивого...

— Как ограбили?

Пожал плечами полицейский.

— Цыгане, говорит, если сегодня не найдет денег, пусть на улице ночует, у нас тут не благотворительность.

Белое пятно солнца встретило Нину Николаевну в дверях вокзала. Первые автобусы чадили выхлопными газами. Солдаты стояли у закрытого киоска «МОРОЖЕНОЕ», рассматривая яркие разноцветные этикетки.

Она на ходу достала из кошелька, сколько попало в щепотку, бумажные купюры.

— Тебе домой надо? — напугала громким голосом солдата. Он вздрогнул, обернулся, поднял, защищаясь, руки.

Нина Николаевна взяла его руку, вложила в ладонь деньги.

— Вот. Возьми. У меня сын твоего возраста.

Солдатик моргал длинными ресницами, кивал, мотал головой. Нина Николаевна замолчала, и он спросил:

— А где служит ваш сын?

Она сказала:

— У Ильи зрение плохое, — пожалала холодный кулак с комкаными бумажками, пошла к автобусной остановке.

Солдатик догнал.

— Вы много дали, извините, мне две тысячи на билет надо, а тут...

Нина Николаевна спешила на автобус.

— Спасибо вам! Я попрошу бабушку, она помолится за вас и вашего сына, — прокричал он и еще раз пересчитал деньги. Проводил синий автобус взглядом, вернулся к киоску.

Пломбир с фисташковым наполнителем в шоколадной глазури он выкупит весь, что будет в киоске. Все восемь рожков.

Общежитие долгое время принадлежало Исправительной колонии №21 ГУФСИН по Иркутской области, в нем жили, в основном, сотрудники зоны, две комнаты, так называемые гостиные, сдавались посуточно родственникам заключенных, приехавшим на свидания издалека.

Общежитие сначала выкупил Керамический завод, потом город, но по негласной договоренности одна комната оставалась гостиной, ключ от нее был у бывшего коменданта общежития, он и отдал его тощей, измученной женщине с рюкзаком за спиной, встретив ее на автобусной остановке холодным утром в середине июня.

Вздыхать устаешь, как устаешь думать, плакать... Слезы заканчиваются, ей ли этого не знать. Слез не стало через месяц после ареста сына.

Одна кукушка безудержно напоминает о себе в голове, перебивая рев двигателя и тархатенье автобуса.

Ехали долго. Петляли по узким улицам с мрачными постройками, выезжали на пустырь, поднимались на виадук, пересекали лесной массив.

Нина Николаевна уже была здесь полгода назад, тогда свидание отменили из-за проведения противоэпидемиологических мероприятий. Так ей объяснили на контрольно-пропускном пункте.

Сегодня, как и шесть месяцев назад, шла вдоль бетонного забора с кольцами-лентами колючей проволоки, шла, по инерции переставляя ноги, шла как во сне. Смотрела, но не видела. Все вокруг стало бессмысленным, ограниченным все тем же забором и проволокой. Во сне колючая спираль оживала, сползала змеей, шипела, разрывала на части безликие тела, сон окрашивался в кроваво-красный цвет. Нина Николаевна видела сны сына, просыпалась и не верила себе, руки в мелких кровотокающих ссадинах, в порезах...

Она хватала стальную змею, она пыталась ее остановить, придавить хотя бы ногой... Змея резала, кромсала, пересекала...

Всю дорогу, до ворот колонии, чувствовала колючий неживой взгляд, пронзающий спину, внутренности, душу.

От черных мыслей спасала кукушка.

— Вы слышите? — спросила она мужчину с ключами на обочине дороги.

Ключник прислушался нехотя, зевнул.

— Кукушку, что ли? Так немудрено, лето ж...

Кукушка куковала на самом деле, это успокоило, и Нина Николаевна всю дорогу спрашивала печальную птицу обо всем, что приходило на ум, и птица ей отвечала.

На обратном пути рассказывала кукушке тихим голосом, как не могла решиться написать в заявлении строку — прошу предоставить мне длительное сви-

дание с осужденным, и дальше нужно было написать фамилию, имя и отчество сына: пальцы не слушались, крюками онемели костлявыми, что ручка выпала.

Буквы выдавливала из себя, из сердца с болью, кровью писала.

Дальше были предупреждения. Предупреждены о запрете, предупреждены об ответственности, предупреждены о содержании, предупреждены, что факт обнаружения и изъятия, предупреждены, что в случае нарушения, предупреждены...

Не могла вспомнить число, чтобы указать в конце заявления, подсказал молодой человек в форме, она не знала, какой сейчас год, и он, не удивившись, сказал — год две тысячи шестнадцатый.

Кукушка куковала.

До общежития тихим шагом дошла за полчаса. Территория вокруг колонии сплошь мусор и искореженные металлические сооружения. Горы песка, спрессованного угля, рулоны стекловаты в человеческий рост. Молчаливые, напуганные вороны.

— Здесь все неправильно, искаженно, перевернуто, — шептала. — Рельсы с пустыми тележками из-под угля, и те заканчиваются тупиком. Из тупика в тупик.

Комната номер 25 была на втором этаже двухэтажного горбатого домика, выкрашенного в грязно-желтый цвет. На асфальте разноцветными мелкими надписями: «Добро пожаловать в ад, двуногое животное!»

Деревянная дверь залатана кусками фанеры, в коридоре — бочки, пласты плитки, разбитые унитазы... Дверь с надписью «вахта» закрыта на замок. По лестнице со следами жесткой метлы наверх, потом налево и снова налево, первая дверь — место ее прибытия.

Не хотела попадаться никому из жильцов на глаза, резво повернула ключ в замке и скрылась за дверью раньше, чем из соседней комнаты 27 выбежала, недовольно ворча, обесцвеченная девушка.

Отдышалась, сняла рюкзак, достала помятую пачку сигарет.

Комната с одной кроватью, шкафом, тумбочкой, электрической плиткой и парой стульев похожа на камеру-одиночку.

Она боялась таких замкнутых пространств, ограниченности. Несвободы. Сын пошел в маму. Говорил, что не позволит запереть себя в четырех стенах, не сможет быть заключенным и зависеть от кого-либо.

— Лучше смерть, — говорил. — Вены зубами перегрызу, но буду свободным...

Пахло чем-то наподобие ацетона, растворителем. Нина Николаевна открыла форточку. Июнь нынче холодный, снег шел в первые дни лета.

Прикурила, не докурив и половины, затушила, бычок сигареты аккуратно положила на подоконник.

Кукование проникло в комнату и поселилось вместе с женщиной. Нина Николаевна села на кровать. Желтокоричневые обои с геометрическими фигурами угнетали.

«Попались, попались, попались», — заползали решетки с обоев в глубину ее души. Она закрыла глаза, уронила голову на колени и только сделала хуже — в темноте, перебивая кукование и шипение, взорвался крик. Крик был нечеловеческим. Боль и ужас ломает голос, превращает человека в нечто...

Открыла глаза, поднялась, вернулась к окну и докурила бычок.

Солнце над крышей превратило дворик перед общежитием в ровный белый квадрат — безлюдный, выжженный...

Солнечная камера, тюрьма. Все мы заключенные, осужденные, загнаны в свои зоны, исправительные колонии...

— Побег невозможен, — услышала свой голос и не поверила, — это не ее голос. Сухой, затравленности-хий. Прокашлялась, повторила. — Побег невозможен.

Нет, точно не ее голос.

Мысль вспыхнула, и она тут же ей подчинилась, Нина Николаевна тихо прокуковала, подставив лицо под случайные лучи солнца:

— Ку-ку.

Побег невозможен.

Цыганка появилась из ниоткуда и ушла туда же. Горбатая, полуслепая, закутанная в яркий платок, она подошла к ней у здания областного суда и на хорошем русском сказала:

— Вижу, сердце твое кровью захлебывается. Вижу, сны твои полны крови, той, что на руках сына твоего. Был хороший мальчик, стал убийца. Себя винишь и гадаешь, как такое могло случиться. Не ищи ответа. Сам он выбрал дорогу к концу. Нагнись, шепну то, что вслух нельзя говорить, о чем лучше не знать, а коли знаешь, молчи и похорони в себе.

Нина Николаевна на дух не переносила цыганское племя, но старуха притягивала откровенностью. Да и нечего больше терять Нине Николаевне. Нагнулась к гадалке и услышала лишь щелканье цыганских четок, так ей показалось. Ночью же слова, что нашептала цыганка, приснятся, разбудят. Поднимут с кровати, выгонят в ночь на улицу. Вынудят купить в круглосуточном киоске пачку «Винстона» и курить одну за другой сигарету.

Цыганка спросила:

— Что ты хочешь для сына?

Она ответила:

— Свободы.

— Ни ты, ни твой сын больше никогда не будете свободными, — сплюнула в ладонь ворожея и закончила. — Кукушка уже начала отсчет.

И тогда Нина Николаевна нагнулась к уху цыганки и прошептала что нельзя произнести вслух:

— Побег. Если так, я хочу побег. Буду скитаться, скрываться с ним вместе. Только бы рядом. Только не тюрьма.

Последнюю сигарету в пачке и в жизни, как решила, Нина Николаевна оставила на вечер.

Прислушалась. Кукушка куковала со стороны зоны. Нина Николаевна достала из рюкзака черный целлофановый пакет, резиновые перчатки, все делала в точности по указке цыганки.

Заперла на ключ временное пристанище и вышла из дверей общежития до того, как в них едва вписался пьяный обитатель 29-й комнаты.

— Под суком, на котором найдешь кукушку, найдешь поляну с ягодами, — запомнила слово в слово наставление цыганки. — Надень перчатки, чтоб не навредить ягодам и себе, собери их все в темный непрозрачный пакет, дальше замеси тесто и настряпай пирожки, ягоды будут начинкой.

Сразу напротив общежития железная дорога, дальше заброшенное картофельное поле и лесок — туда и заманивала женщину кукушка.

Пахло травой в рощице, запах рождал воспоминания.

Двенадцать лет назад в летний жаркий день они с сыном уже ходили на поиски кукушки.

— Точно, точно, — шептала под нос Нина Николаевна, пробираясь через колючие кусты шиповника: — Это было перед твоим первым классом. Ты так жаждал пойти в школу. Мы решили устроить пикник у реки, ты услышал кукушку, спросил у нее: «Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?» И кукушка начала куковать. Я смеялась, и ты сбился со счета. Кричал: ну мамуля, теперь я не знаю, сколько проживу. Я обнимала тебя, щекотала, говорила, что сто лет проживешь и еще сто раз по сто. Тут ты и предложил отыскать птицу:

— Глянуть глазком, как она это делает, — скакал вокруг меня и снял майку с себя и бросал ее в небо, кричал. — Кукушка, кукушка, мы тебя найдем!

А я боялась, что ты обгоришь на солнце, согласилась, чтобы скорей уйти с тобой в тень леса.

Кукушка начала отсчет.

Ощущение дежавю не покидало. Словно это те же лес и кукушка.

Нина Николаевна осмотрелась, вот сейчас из-за той березы появится Илья, выпрыгнет с визгом, она сделает вид, что напугалась, прижмет к себе, и они вернутся домой. И никаких ягод. Никакого общезнания с комнатой 25. Никаких колоний строгого режима с приговором заключения на срок в полчетверти жизни...

Подыграла себе Нина Николаевна, закрыла глаза и громко сказала:

— Ку-ку, кто не спрятался, я не виновата. Считаю до пяти, иду искать. Раз.

Притаился ветер в деревьях.

— Два.

Замолчала кукушка.

— Три.

Хрустнула ветка, вздрогнуло сердце.

— Четыре.

Она не одна, рядом еще кто-то, слышно его прерывистое дыхание.

— Четыре с половиной.

Еще один хруст, со стороны березы, и ощущение движения. Присутствия.

— Пять, — заканчивает радостно она, открывает глаза.

Черно-белая псина смотрит просящим взглядом, высунув язык, доверчиво виляя хвостом-обрубком.

Глаза не верят увиденному, глаза ищут мальчика в шортах с веснушчатой спиной... Сердце ищет.

Кукушка прокуковала совсем близко. Псина, услышав далекий собачий лай, сорвалась с места, оставив Нину Николаевну одну.

Тогда, в прошлом, кукушку они так и не нашли. Бродили долго, до самого вечера, до сумерек, вдоль берега.

— Откуда она знает, кто сколько проживет? — интересовался Илья. — У нее что, счеты специальные, калькулятор?.. Или дар?..

— Вырастешь — и сам мне разъяснишь, что у нее там, я, честно, не знаю.

Сын все-таки обгорел, и весь вечер Нина Николаевна мазала ему спину кефиром и подсолнечным маслом.

— Помнишь? — спросила тишину.

Ответила кукушка.

Мать была уверена, сегодня она найдет птицу, чего бы ей это ни стоило.

— Сердце свое вынешь и отдашь, да вот не нужно сыну сердце твое. Есть такие дети — кукушонки. И у достойных матерей они зачастую и рождаются. Ты хорошая мать. Это твой высокий грех — любовь к сыну. Кукушонки, они себе на уме. И ты никогда не узнаешь, что на душе и под сердцем у него.

Не стала возражать словам горбуны Нина Николаевна. В чем-то цыганка права. Мы не знаем своих детей. Поверхностно, снаружи, то, что они хотят нам показать, видим, знаем... А что у них там, в глубине?..

Сначала увидела ягоды — белесо-прозрачные, похожие на капли слез, следом над головой дважды подавала голос кукушка.

Серая птаха молча глядела сверху, с молодого березового сука, как женщина надела перчатки и быстро собрала ягоды в пакет.

— Как в кино.

Казалось Нине Николаевне, что она крепко спит и все это ей снится. Цвета чересчур яркие, запах острый, отдает мятой и перцем. Движения вялые, за-

торможенные. Ягоды не живые — искусственные. Сожми одну — она брызнет неестественной мягкостью, человеческой горячей кровью.

Или того гляди — запищит, застонет, закукует...

— Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? — спросила в соответствии с жанром кинодрамы (все это ведь сон, кино) Нина Николаевна, завязывая пакет с ягодами. Повторила вопрос громче, отыскивая вещь в зеленой кроне березы.

Птицы не было.

Со стороны колонии непрерывный лай сторожевых собак. Выбравшись из рощи, снова увидела знакомую псину. Мокрая, смешная, она бежала с веревкой-петлей на шее в сторону мусорного бака.

Как есть кино. Вспомнила старые фильмы: «Белый Бим Черное ухо» и почему-то пса из «Сталкера» Тарковского...

У общежития напомнила снова о себе кукушка, тоскливый голос доносился эхом издалека, из другого мира, потустороннего.

Незаметно вернулась в гостиничную комнату.

Из рюкзака достала все, что велела взять цыганка. Это пластиковые чашки, кастрюлю, сковородку, пакет муки, дрожжи, масло, яйца...

Сходила к мойке, промыла, в перчатках, ягоды. Набрала чайник воды. Замесила тесто для пирожков. Укутала кастрюлю шерстяной кофтой, оставила на столе, чтобы забродило.

С кружкой чая села на кровать, по-человечьи вздохнула она, тоскливо. Специально купила зеленый чай с яблоком, в пакетиках, Илья предпочитал пить такой, говорил, черный чай тяжелые мысли нагнетает, этот расслабляет. Посылку сыну собрала через месяц, как перевели из карантина в колонию. Но сердце знало, не притронется сын к передаче, разделят между собой эки сладкое и носки теплые.

Молчит сын и питается через силу, за полгода заключения пять раз в больнице при колонии лежал.

— Сыночек, с тобой вместе и меня посадили, — плачет она в трубку телефона. — Я же не живу без тебя, не сплю, не ем.

Тишина отвечает Нине Николаевне шумом в ушах и тихим кукованием.

— Я сделаю все, чтобы исправить это! — заканчивает каждый звонок она и плачет, снова и снова перебирает вещи сына. Прикасается к каждой вещице на полках в его комнате. Надела его рубашку и спит теперь в ней на кровати Ильи, постепенно замечая, как редет, исчезая, запах сына.

В рюкзаке туалетная вода Ильи, подарок на 23 февраля. Отложила чай Нина Николаевна, достала золотистый флакон с черным драконом, брызнула бережливо себе на грудь, принюхалась.

И вот он, ее мальчик с облезлыми плечиками, просит ободрать отшелушившуюся на солнце кожу.

Нина Николаевна жуть как не любит это, но сын настойчив и обещает пропылесосить всю квартиру, а не только свою комнату:

— Целую неделю, — увеличивает ставку.

Она сдается, он ложится животом к ней на колени и закрывает глаза.

— Вот бы и жизнь, как кожу, поменять можно было, — говорит.

— А что тебе в этой жизни не нравится? — улыбается Нина Николаевна, снимая белую полоску кожи с шеи сына.

— На будущее, — отвечает мальчик, — вдруг что-то пойдет не так и захочется все изменить, возьмешь и сбросишь старую жизнь и снова жизнь начнешь, по-новому уже, без ошибок.

«Защекотала я тебя тогда, помнишь?.. — убрала туалетную воду с драконом назад в рюкзак Нина Никола-

евна. — А ты вырывался и кричал, что отныне ты змея и сможешь запросто сбросить кожу и заново отрастить новую».

Кусочки кожи сына она спрятала в шкатулку рядом с биркой из роддома, его первыми состриженными волосиками и кусочком пуповины с еще заметными следами зеленки. Там же хранила рисунок — портрет мамы, маленький Илья нарисовал его в детском саду, пропись с отметкой классной руководительницы красной пастой: «Молодец!», несколько молочных зубов...

Тесто поднялось, Нина Николаевна замяла его, снова накрыла. В коридоре пьяный мужской голос громко, с надрывом и всхлипыванием пел:

— Голуби летят над нашей зоной,  
Голубям нигде преграды нет.  
Как бы мне хотелось с голубями  
На свободу к маме улететь.  
О-о-о!  
Как бы мне хотелось с голубями  
На свободу к маме улететь.

Закрыла уши, но протяжное «о» зацепилось, застряло, осталось гудеть, разрастаясь до головной боли.

Кукушка не спасала, Нина Николаевна принялась мычать. Не помогло.

«О» прогнала последняя сигарета, выкуренная в открытую форточку. Никотин притупил пульсирующую боль в висках. Певец сменил репертуар и теперь подпевал орущему на все общежитие радио.

Солнце сместилось за крышу соседней двухэтажки, и квадрат дворика (слово «тюремного» назойливо лезло в голову), сбросив кожу, окрасился в мрачные, асфальтные тона.

Илья, в классе втором, выкрасил себя с макушки и до пяток черной акварелью.

Нина Николаевна в дверях увидела темные следы босых ног на линолеуме, а чумазый негритенок поджидал ее на кухне с перьями на голове и веником в руках.

— У меня новая кожа! Новая кожа — новая жизнь! — кричал, прыгая вокруг мамы. — Я теперь другой. И все, что было до этого, нечитово.

— Пятки мог бы не красить, — обняла мама сына, и больше часа они отмывались в ванной, смеялись до колик и были самыми счастливыми на планете.

— В следующий раз выкрашусь в красный цвет, — обещал Илья. — Чего в жизни не бывает, вдруг двойку получу или разобью что-нибудь...

Десять лет спустя он разбил ее сердце.

Тесто едва не убежало, вздулось шапкой, свесилось с краев кастрюли.

Скалка перебралась из рюкзака на стол, заранее посыпанный мукой.

Ягоды-слезы побурели.

— Как кровью нальется ягода, начинка готова, по горсточке в каждый пирожок. Получится десять сдоб, — слышала гадалку, раскатывая податливое тесто, заворачивая алые слезинки в сердцевину лепешек.

На электроплитке докрасна раскалилась спираль, запахло старым, прожженным маслом.

— Сколько я должна? — спросила опасно Нина Николаевна.

Цыганка посмотрела внутрь ее души заплывшим катарактой глазом, сказала:

— С тобой до смерти и после смерти остается навеки то, что ты отдал.

Нина Николаевна испугалась этих слов, задрожала всем телом.

— Если решила делать — делай смело. Спасение бывает разное. Сын должен нести свой крест, и ты с ним его не разделишь. Хочешь взять на себя его ношу?! Де-

лай, как рассказала. Когда спросят тебя, кто виноват, ты знаешь ответ, он в сердце твоём кукушкой кукует.

Затрещало масло в сковороде, уложила под щелканье и фейерверк брызг на чугунное дно первые три пирожка.

— От справедливости нельзя убежать. Побег чаще всего — возвращение к истине. К наказанию должному, на небе прописанному... Божьему!

Не стала спрашивать цыганку, где был Бог, когда сын в нём нуждался. Когда творил то, что вслух произнести страшно. Она спрашивала это не раз у Бога. Кричала, молила, требовала ответа...

Все, как по шаблону, заурядно и не ново — виним во всем Бога, и в своей неудавшейся жизни, и в сломанном ногте... во всем виноват Он! А надо говорить спасибо Богу за неудавшуюся жизнь, за сломанный ноготь...

«За осужденного сына, — перевернула румяный пирожок Нина Николаевна. — Спасибо, Бог, за мужа-космонавта, за кукушку настоящую и сердечную, за ягоды и пирожки... Спасибо, что завтра все закончится».

Ягод хватило, как и предсказывалось, на десять пирожков. Оставшийся комочек теста бросила птицам за окном.

Облачившись в черную кожу, дворик исчез с лица земли, ни огонька, ни звездочки. Темнота проползла в комнату, Нина Николаевна зажгла бра над столом, центральный свет включать не стала. А если б попробовала, не получилось бы — лампочка тут давно перегорела.

Пирожки сложила в чашку, поставила рядом на прикроватную тумбу.

Ночь изменяла, стирала границы реальности. Все казалось поправимым и возможным.

— Как в кино, — шепотом, а за окном собачий лай, беспокойный, как сон зэков.

Кукушка ночью звучала эхом в сердце. Напоминанием.

«Утро вечера мудренее, — успокаивала себя Нина Николаевна. — Все, что ни делается, к лучшему, — как заклинания, как установка, мотивация. — Слезами горю не поможешь, что решила делать, делай!..»

Запах жареных пирожков убаюкивал, темнота овладела ей. Нина Николаевна со дня ареста сына не видит свои сны, поэтому, открыв глаза, не удивилась, что лежит на шконке под грязно-зеленым шерстяным одеялом и боится повернуть голову. Грудь саднит от ударов и слез. Мыслей нет, одно желание помочиться, но внизу живота огненный шар. Страх парализовал голосовые связки, и он не знает, сможет ли теперь когда-нибудь заговорить. Когда это когда-нибудь наступит? Никогда?! Воняет грязным телом, мочой, гноем. Это его запах. Так пахнет беспомощность. Страх. Потеря.

Завтра длительное свидание, и мама пообещала, что спасет. Мама, мамочка, мамуля... Слезы красные по щекам, и крик, застрявший в горле, окаменевший. И беспощадное ночное кукование невидимой кукушки, сводящее с ума, как поступь необратимого. Неисправимого. Молотком по черепу — ку-ку, и в мозг — ку-ку.

Ку-ку, — вздрогнула от сна Нина Николаевна, поднялась. Позвала сына, уверенная, что слышит он ее. Попросила потерпеть до утра:

— И пусть всего не исправлю, но помогу тебе. Спасу тебя! Спасу нас!

Выдохнула кровать, отпуская человека, встала, прошла по комнате, ноет душа, тело ноет.

Все движения как во сне. Вся жизнь — сновидение. Может, она спит и никак не проснется. Это сон. Да, всего лишь сон, отсюда и ощущение, что все происходящее — как в кино. Вот ответ.

Это же во сне ты пытаешься бежать, а не можешь: шаг, как в замедленном кино, вязок и тянется вечность. Один шаг в сто лет.

Внутри затеплилась радость. Нина Николаевна захотела ущипнуть себя, но передумала, вдруг проснется — и кино кончится, а так она может перемотать пленку вперед и посмотреть, что будет...

Она рассмеялась про себя, плюхнулась на кровать, закрыла глаза, представила, как перематывается пленка, мелькают кадры. Кадр за кадром...

...И ночь разорвал рассвет, вместе с солнцем на улицу вышла она. Нина Николаевна направилась знакомой до щемящей тоски тропинкой к колонии строгого режима. Вот и псына с веревкой на шее бежит следом, и кукушка тут как тут, и коптившая черным труба котельной на территории поселения. До ворот зоны добежала на перемотке, потом до комнаты, где они будут жить с сыном, все просмотрела одним кадром. Пауза. Комната меньше той, что в общежитии. Две кровати, раковина с ведром, стол с двумя стульями. Сын в дверях слушает толстого мужчину в форме, тот яростно жестикулирует, плюется. Илюша худой, бледный, так сильно на нее похожий, молча кивает.

Она отсюда слышит хриплое дыхание сына, чувствует жар его больного тела.

Мужчина в форме договорил, ушел. Сын шагнул в комнату, прикрыл дверь.

— Я не буду плакать, я пообещала же тебе, — слезится, дрожит голос Нины Николаевны. — Я принесла пирожки со специальной волшебной начинкой, ты должен съесть их — и через три дня мы будем далеко отсюда...

Следующий кадр — Илья сидит за столом перед чашкой с пирожками. Ест и улыбается.

— Ты умрешь, сердце твое остановится ровно на три дня, — шепчет Нина Николаевна.

Кадр поменялся — мертвое тело Ильи увозят за ворота колонии. А в следующем кадре видим тело под простыней в морге городской больницы.

— Будем хоронить из дома, — говорит мать врачу, и через пару кадров — Илья в своей комнате на кровати. Еще кадр — и он приходит в себя, улыбается, и мама, мамочка, мамуля его плачет, хотя обещала не плакать, они обнимаются, а на столе кухонном два билета на самолет и собранные пузатые дорожные сумки в коридоре.

— Присядем на дорожку, — в последнем кадре говорит Илья.

Камера стремительно взмывает в голубые небеса, и на ярко-белом солнце надпись красным: «Конец».

Взлетела вместе с камерой Нина Николаевна, сердце взлетело, и стало больше солнца. Места не находила Нина Николаевна, металась по комнате, выглядывала в окно, а сама уже бежала, перепрыгивая через ржавые рельсы и кучи угля к воротам, к дверям контрольно-пропускного пункта.

В четыре утра небо начало светлеть. Квадрат перед окном, дом, все приобретало внятные черты, натягивало кожу нового дня. Кукушка — свидетельница и судья — прокуковала устало и нерешительно. Решительней солнца и птицы была лишь мать.

Собрала пирожки в пакет, посуду сложила в рюкзак. Время, когда его торопишь, назло опаздывает, секундные стрелки становятся минутными. Минуты тянутся часами. И небо, и квадрат двора — все застыло в одном кадре. Ни движения.

Невыносимо было наблюдать нерасторопность природы, Нина Николаевна прилегла.

— Надо набраться сил, — сказала, — и во сне незаметно пройдет время.

До девяти утра осталось ждать четыре часа.

Время в кино, как во сне, незаметно, и жизнь может длиться бесконечно, а может пролететь за пару мгновений.

Утро пахло намоченной росой, травой, и кукушку перебивали другие птичьи трели, радостные, задорные.

Комнату закрыла, ключ оставила в замке — так договорились с бывшим комендантом. Он зайдет за ним через несколько минут.

На общежитие не взглянула, не обернулась. Больше она его никогда не увидит. Добро жало ад— у-е! — радужные буквы на асфальте.

Псина, словно караулила, подбежала, принюхиваясь к пакету с пирожками. Заскулила.

— Это для сыночки, — ответила попрошайке Нина Николаевна.

Развязала петлю, псина сопротивлялась, вертела мордой, гавкала. Веревку выбросила.

— Теперь ты целиком и полностью свободна.

Тявкнула недовольная псина, отыскала в траве веревку, зажала ее в пасти и мгновенно скрылась в кустах.

Привычки творят чудеса. Тюремь не всегда ограничивают. Иногда ограничения и есть свобода. С веревкой на шее, на привязи, жить легче...

Прошла мимо вчерашней рощи, там снова истерила кукушка, продолжая свой отсчет.

Остановилась Нина Николаевна. Замерла. И сердце остановилось. И время...

Как в кино.

Кукушкин плач стал голосом сына.

Они сидели за столом, в комнате для свиданий, друг напротив друга перед плоской жареных пирожков. Сын сказал, и его слова стали командой к действию, приказом, точкой отсчета:

— Пусть кукушка замолчит, мама. — Он это сказал тихо, но для них двоих слова прогремели громче всех бомб!

— Пусть кукушка замолчит!

Она кивнула, она улыбнулась, она протянула ему пирожок.

— Поджаристый, как ты любишь, — сказала.

Сын съел, проглотил целиком.

Взял второй, протянул маме, мамочке, мамуле.

Она взяла из рук сына пирог со специальной волшебной начинкой, откусила.

— Обещала тебе, что съездим на море, помнишь?..

Сын жевал, кивал, помнил.

— Вдвоем, только ты и я. Найдем место, где нас никто не отыщет, и это будет нашим местом. Тайным. Только надо съесть все пирожки. Они с ягодами, которые похожи на слезы...

Взяла еще пирожок Нина Николаевна.

— Закрой глаза, сынок, и представь. Закрой, закрой. Слышишь шум моря? Иди на звук. С закрытыми глазами иди... Под ногами песок, теплый, мягкий. Чувствуешь, как припекает солнце на твоих щеках? Не бойся обгореть. Это другое солнце, как и другие мы. Мы новые! Здесь все новое, и все дышит жизнью, искрит красками. Это рай. Это как во сне. Как в кино!

Иди. Вот я уже вижу, вижу тебя. Тебя нового. Ты весь золотистый. Сияющий. Мой, мой сын. Открой глаза, не бойся. Открывай.

Сын открыл глаза.

Камера показывает пустую пластиковую чашку с масляными разводами на стенках и кусочками сдобы. Камера ныряет в пустоту, на самое дно чаши, все окрашивается в бело-золотистый цвет.

Это еще не конец.

Глаза сына привыкают к яростному свету солнца, и вот он уже различает берег моря: полоса сине-зеленого цвета, желтый песок, бирюзовые скалы и золотистый силуэт, бегущий навстречу.

— Мама, мамочка, мамуля!..

Мать? Он никогда так ее не называл.

# ВЫХОД. ОН ЖЕ ВХОД

Комната 30

## ДЕВЯТАЯ КАРТИНА

*Время камней и снов*

*Греха не существует! В грешном мире все не без греха, значит, все что угодно есть грех и не грех одновременно. Греха нет, когда он — все! Мы безгрешны и смело можем бросать камни в Магдалену. В Иисуса. Шумного соседа по лестничной площадке. предавшего друга. Неверную жену. Друг в друга. В себя. Брось в меня камень!*

*(Из аннотации к выставке)*

«Выставка «Брошенные камни» была уникальной и успешной, — писала городская газета «Вечерняя среда». — Тридцатилетний художник Илья Дубин, автор семи работ в жанре, который он определяет как «нервный метафизический реализм», стал событием в мире красок. Открытием года. Запоминающиеся образы, шокирующие и притягивающие. Ярость цветов и необыкновенная техника. Оголенные нервы, политые кровью, — такое блюдо преподнес смелый автор. Критика встретила самобытного художника с распростертыми объятиями. Все работы, как стало известно редакции, были куплены частным коллекционером и по окончании выставки покинут город и даже страну».

Через полгода в еженедельнике появится заметка «Время собирать брошенные камни».

«По словам директора «Художественного центра» Ольги Ивашко, известный в области художник Илья Дубин готовит новую, не менее скандальную, выставку-эксперимент, которую планирует показать не раньше осени 2017 года.

— Илья ушел в добровольное, так сказать, отшельничество, — поделилась с нами Ольга Игоревна. — Название выставки пока неизвестно. Илья работает на вырученные от продажи картин деньги, он независимый, талантливый многообещающий художник. И я могу ответить его словами: пришло время собирать брошенные камни. Этот эксперимент коснется каждого сердца, затронет каждую душу... Это будет наша простая и такая сложная жизнь. Обыкновенная и полная мистики. Заурядная и такая удивительно индивидуальная. Непостижимая. Невозможная...»

Илья не читает газет.

Комнату в общежитии решил превратить в мастерскую после очередного кошмара.

— Нормальные сны мне давно не снятся, — это он не раз говорил своему единственному настоящему другу. Всем остальным, сотням так называемых друзей он такое не скажет никогда и под пытками. Он и друзьями никого, кроме Саввы, не называет: знакомые, поклонники, завистники, банные хвосты, проходящие...

— Сколько тебя знаю, они всегда тебе снились.

— Это сколько? Лет двадцать?..

Савва развел руками:

— Да всю жизнь.

— Сны кажутся вторичными, на самом деле они наша первооснова. Сначала сон, потом уже реальность, наша каждодневная жизнь. Но вначале был сон.

Илья говорит это на автобусной остановке, метровыми шагами прохаживаясь перед сидящим на лавочке другом. Савва поможет загрузить две спортивные сумки с красками и вещами в автобус.

— Может, с тобой доехать? — спрашивает в десятый раз и в десятый раз слышит:

— С тобой я буду слабым. Картины это чувствуют, они сломают меня... И ты же знаешь, когда работаю, я злее Сатаны. Попадись кто под руку, живым не уйдет...

Савва может подтвердить истину слов художника:

— Тот еще маньяк.

Илья подсел к другу:

— Сны общаги.

— Мне нравится, — ответил друг.

В тишине ощутило напряжение, в неожиданном молчании, неоконченном монологе, прерванном разговором...

— Я видел коридор с открытыми дверями, — шепотом, прикрыв рот ладонью, начал Илья, наклонившись к уху друга: — Коридор общежития, все как в жизни. Заглянул в первую комнату, номер не помню, где-то в центре, а там пусто, но пустота живая, я ее ощутил. Это как душа, ты ее не видишь, но зато прекрасно ощущаешь. Невидимое не значит несуществующее. И оно втянуло меня воронкой в себя, и я понял, что становлюсь невидимым, а потом увидел себя со стороны частью интерьера комнаты. В комнате какие-то стеллажи с книгами, кровать, стол, табуретка... Я был табуретом. Я закричал, как может кричать деревянный предмет, и проснулся с мыслью, что я уже никогда не буду человеком. Что я табурет, и с этим как-то придется смириться и жить.

Савва достал пачку сигарет.

— Табуретом не так уж и плохо, не стульчаком унитазным хоть, — утешил, покрутил пачку в ладонях, помял, убрал назад в карман. — Курить бросаю, — выдохнул. — Пробую.

Илья сказал:

— Ага, — встал. — Вчера вот приснился голос. А сегодня я решился...

— Голос велел, что ли, в общежитии поселиться?!

— Рисовать там сказал.

Кудрявый, черноволосый, с выдающейся мощной челюстью и бесстрашным взглядом. Савва посмотрел на друга:

— Шизофренией, слушай, пахнет, Лях?..

Илья скривил лицо:

— Так давно уже, ты просто не замечал...

Показался автобус.

Савва взял сумки, на всякий случай еще раз предложил помощь. Илья пожал в ответ руку. Хлопнул по выпирающей, накачанной груди:

— Телохранитель нам понадобится на выставке — от поклонниц чтоб отбивал.

Друг улыбнулся:

— Ты аккуратней там. С голосом и с табуретками смотри шашни не крути.

Водитель просигналил. Илья скрылся в темном салоне.

Савва вынул сигарету, зажигалку, дождался, пока автобус завернет к площади, прикурнул.

*Место, которого нет, не это ли мое место?! — написал в блокноте художник. И дальше: — Сны общежития все те же кошмары. В каждой комнате свои. Здесь живут не люди, комнаты живут людьми! Вопрос: кто видит сны? Люди или комнаты?..*

*Комнатам снятся люди. Люди — плоды сознания комнат. Несуществующие, порождение кошмарных снов...*

*Кто знает, что комнатам приснится завтра?..*

— Пока я конкретно в ней не поселился, это не ощущалось. Чтобы проникнуться, стать своим для этого мира, надо засыпать и просыпаться в нем, в его внутренностях, кишках, сердце. В сознании...

— Кишки комнаты, — хихикнул Савва, — отличное название. У моей квартиры точно мозг отсутствует. Она у меня полоумная...

Пили пиво в павильоне между домом Саввы и автобусной остановкой. Илья приехал заказать листы ДВП для новых работ.

— Мама твоя звонила, спрашивала новый номер.

Илья отхлебнул из большого пластикового стакана.

— Я сам позвоню ей, говорил, забыла, видно, что звонить буду редко, от работы все это жутко отвлекает. Да и говорить не о чем...

Савва помял пачку сигарет на столе, покрутил зажигалку в пальцах.

— Сосед что твой? — спросил.

— Эт который?

— Тот, что вечно убитый.

— Вечно убитый, — Илья улыбнулся. — Из двадцать девятой Гриша. Он у меня в планах на вторую картину...

— Сколько там вообще народу?.. Помню, пустота, ни живой души. Вымершая общага.

Кивнул Илья.

— Почти. Вот я и придумываю жильцов комнат. Гриша-страдалец — тоже моя выдумка. Пустота никогда не бывает полностью пустой. Она самозаполняется.

— Кошмарами?

Кивок.

— Ими в первую очередь.

Порыв ветра легко сбросил измятую сигаретную пачку с пластикового столика.

— Холодное лето, — нагнулся за сигаретами Савва. — Такое ощущение, что осень.

— Точняк, осень, надо Ивашко звякнуть, как минимум к следующей осени смогу картины у нее выставить.

Савва вылез из-под стола.

— Что так долго?.. — Выудил из пачки сигарету, сломал.

— Думаешь, легко это — быть богом?.. — допивая пиво. — На первой пока сижу. Застрять не застрял, не пойму просто, чего она от меня хочет. Смешанную технику думаю попробовать.

Савва достал вторую сигарету.

— Это как?

Дружба — это непохожесть. Савва далек от живописи, как Илья от слесарно-токарных работ. И в картинах друга пытается найти отголоски реальной жизни.

— О! Вот вижу лампочку и окно, это на бабочку похоже, а тут мужик — копия моего соседа сверху, сука, достал уже, топит меня каждые полгода. Что, угадал?

Илья говорил, угадал.

Раньше он долго вдавался в рассуждения о понимании картины, что нужно ее чувствовать сердцем, душой:

— Кто-то понимает зубами. Да, да, не смейся, проникается настолько, что начинают ныть зубы. До сумасшествия доводит глубинное, идущее не от разума наложение мазков. Цвет может убить. Сочетание красок в определенной пропорции при нужной форме — вуаля, ты мертвец.

Друг понимающе сочувствовал:

— Да я буду лучше в толчках ковыряться...

— Можно не понимать, что написал автор, но ощущать энергию цвета. Ярость, грусть...

— Но это ведь точно лампочка?! — переспрашивал Савва. Он и сейчас переспросил:

— Чего смешивать, говорю, будешь?

Художник ответил:

— Да все подряд. Я стащил уже из двадцать седьмой, там пара молодая живет, несколько безделушек, впишу их в картину.

— Украл?! — Сломал напополам сигарету, крошки табака сдула новая волна ветра.

— Скажем так, — в голосе резкость и злость, — не украл, а позаимствовал для Вечности. Я вписываю их в историю, б...ь! Даю вечную жизнь!

— Оу, оу, оу, — следующую сигарету Савва решил помиловать и убрал пачку. — Чего завелся-то?!

— Они, узнай, что я делаю их бессмертными, увековечиваю, уверен, отдали бы все, что ни попрошу. И волосы, и кожу с кровью, и...

Савва смял стаканчик:

— Не пугай. Что, еще по пиву и в школу не пойдём?..

Пива Илья не захотел:

— Картины не любят, — ответил коротко.

— Ой, — возразил друг, — да знаем мы. Все эти Вангоги, Пикассо, кто под абсентом, кто по накурке творили...

— Не в моем случае, — снова раздражаясь и злясь. — Я к своим работам отношусь иначе. Даже в трусах перед картиной не появляюсь. Тем более не работаю. Уважаю, и они это ценят. Поэтому не мое. В трезвом уме и твердой памяти. Только так. Это же как священнодействие. Катарсис...

— Потрахаться тебе надо, — сделал вывод Савва. — Алиска явно будет не против, если ты хотя бы ей кисточку свою дашь пополоскать...

— Алиса — неудачная работа, — перебил. — Я такие холсты закрашиваю. Пишу на них новую картину. И, Савва, эта новая работа, подмечено, всегда получается. Доволен я, в восторге зрители.

— У нее так-то к тебе чувство, — тихие слова унес ветер.

Илья поднялся.

— Пойдем что ли, нить Ариадны...

— Чего это я нить, еще и Ариадны?..

Художник вытащил пару сотенных купюр:

— Ну, а кто меня еще связывает с этим миром? Миром живых.

Подошел пожилой узбек, забрал деньги, пригласил приходиться еще.

Савва переспросил:

— С чего Ариадны-то?..

— Потому что я в лабиринте, а там Минотавр!.. — прошептал на ухо друг.

*Время комнат  
(Взгляд из гроба)*

Летом краски бледнеют, теряют яркость. Не люблю лето. Лето — это маленькая смерть. Комната в полдень делится на две равные части. В распахнутом окне зелень тополей, гнезда сорок, трубы Комбината. Небо. Никогда не писал небо. Голубая полоса вверху картины не обязательно небо, полоса синяя, черная с вкраплениями белых клякс — это еще не небо. И облака не делают небо небом. Небо может увидеть не каждый. Не глазами...

666. Шестое число, шестого месяца, шестнадцатого года. Холодный день. Дьявольская отметина. Здесь мудрость...

В существовании зла никто не сомневается. С добром — сложнее. Умники рассуждают, считают, что в моих картинах темная сторона жизни и личности. Может, перебарщиваю с темными, холодными тонами, цветом, но пишу я отнюдь не темноту. Обратную сторону тьмы. Я пишу — рассветы. Рассвет Человека! Пробуждение. Спасение от кошмаров. Но сначала кошмар. Чтобы просыпаться, надо заснуть. Для спасения необходимо пленение. Необходим ужас, страх, беда, горе... Все мы на привязи... Рабы привычек и желаний... Рабы времени, любимых людей, тел, вещей, комнат...

Комната ловит тебя не сразу, потихоньку затягивая в лабиринт к Минотавру. С каждой ночью, в самую глубь, на дно...

Первыми оживают обои.

Сначала подумал — померещилось, потом — может, все дело в шестом дне шестого месяца?..

В такие моменты вспоминаю урок рисования в школе, в классе пятом было дело. Задали нарисовать «что видите на картинке».

Все нарисовали фрагмент стола с книгой, свечой и чернильницей. Я заглянул внутрь картинки, глубже, еще глубже — увидел того, кому принадлежали эти предметы. Он ожил передо мной, старик со шрамом, пересекающим лицо. У старика было имя, оно написано в книге... Только это не книга, это его дневник, он допишет сейчас последнюю запись в своей жизни, прикурит от свечи и оставит все так. Старик болен, одинок и несчастен. Старик — бывший офицер — застрелится здесь же за столом, и капли крови станут подписью на листе под его последним посланием...

Я нарисовал его, как смог, с раной вместо правого глаза и кровью на раскрытой книге. Нарисовал карандашом и разукрасил фломастерами, терпеть не могу фломастеры, они были водянистыми, их перезаправили вонючим одеколоном, и лицо старика-самоубийцы, без того страшное, растеклось в кровавую кашу.

Стоит ли говорить, училка была в ужасе. Спрятала лист из альбома до прихода родителей. Отец тогда уже лежал в больнице, лечился от алкогольной зависимости, мать пришла под таблетками успокоительного. Рисунок подвергли прилюдно экзекуции, в кабинете были еще психолог и физрук, как оказалось, спец по детским психотравмам получше школьного психолога. Я, я клятвенно пообещал больше не рисовать что взбредет в голову. Мама пила таблетки и держалась за сердце. Физрук подмигивал, мол, все хорошо, парень, дополнительный урок физ-ры тебе, дохляку, пойдет на пользу. Я поклялся, в кармане сложив пальцы крестиком. Я не сдержал клятвы.

И не перестал смотреть сквозь, внутрь и глубже.

Вот и увидел, как рисунок на обоях ожил. Геометрические фигуры стали клеткой, розы голубо-грязные превратились в глаза.

Жутко, да, когда за тобой наблюдает сотня тысяч глаз из стен со всех сторон. Но это лишь поначалу, потом привыкаешь. Человек может привыкнуть ко всему, даже к боли и своему сумасшествию...

Я заказал девять листов ДВП разных размеров. Ими частично закрыл глазающие стены.

Каждый лист — комната в левом крыле общежития.

Первая комната 26. Выставив лист 1,5 метра на 2 так, чтобы солнце не целилось прямоком, выдавил на палец желтую краску, нарисовал спираль. Спираль превратилась в улитку. Улитка оставила след. Из этой серебряной нити выросли фигуры. Мужчина с алюминиевым тазом в руках и девушка, поймавшая улитку за яркий золотистый хвост.

И все-таки чего-то не хватало, чтобы они ожили.

Кричали глаза с обоев, косясь на работу.

И в первую ночь с написанной работой засыпая, одурманенный запахом масляных красок и растворителя, услышал голос:

— Вещи живут дольше, вещи переживут человека. Человека не будет, останется то, что он носил, к чему прикасался...

Я повторял за голосом, и с каждым словом, вздохом исчезал. Стал невидим, стал голосом.

Сквозь стены проходить оказалось не так-то просто. Особенно когда они сплошь в глазах. Липкие и холодные прикосновения, чмокающие, словно поцелуи взасос...

Я шел сквозь стены за голосом, вместе с голосом, черт возьми, я был этим голосом.

В комнате молодой пары бардак, это мужская половина, Виталик по кличке «Космос» заразился безумной идеей.

Здесь многие подвержены безумию, сумасшествию. Это все энергия места. Души комнат...

Мне нужно забрать у них что-то, что оживит плотно. Платок Виктории с отпечатком губной помады

и слез. Она плачет теперь часто, особенно в обеденный перерыв на работе после разговора с отцом. Говорит отец, она плачет и слушает, и видно, как блестят зерна слез...

Носок Виталия, у него привычка терять носки, дырка на месте большого пальца. Виталий недоумевал, откуда они берутся, эти дырки?..

Обесцвеченная прядь волос Вики, засохшая капля рвоты, что нашел за ухом Виталия, станут отличными штрихами в картине. Подчинят их ей, привяжут, оживят.

Вдохнуть жизнь — как говорила та самая училка по рисованию, разорвавшая в мелкие клочья мой первый, настоящий живой рисунок.

— Ты какой-то не бледный даже, а синий. — Савва встретил друга, как договаривались, на остановке. На встрече настоял Савва и сразу протянул телефон художнику:

— Я набрал уже, поговори с матерью.

— Боже! Ради всего!.. — рявкнул, а из сотового громко донеслось:

— Что, я плохой матерью была, вот скажи мне, Саввушка, ты как никто нас знаешь! Что отец пил, так что, я виновата?.. Или в том, что у меня такая психика нездоровая?.. Скажи, Саввушка!

— Здравствуй, мама, — сказал сын.

Отцу нравились, как он выражался, каракули сына. Отец не просыхал, и трезвым Илья его никогда не видел. Даже в гробу, куда он угодил, по словам матери, благодаря пьянке, от него несло перегаром.

Мать с не выявленным ни одним невропатологом (потому что все они тупицы и неучи) душевным расстройством считала рисование немужским занятием, и вообще не занятием, а увлечением, временным детским хобби.

Илья рисовал и потому считался непослушным ребенком, и пару раз матери удалось затащить его в кабинет к психиатру. Все заканчивалось ее слезами и таблетками. Сын, как об стену горох, считал, что рисовать — это его призвание, и он будет продолжать в том же духе.

Комната в общежитии нашла его сама, как Илья будет говорить потом другу, она позвала. Сначала жил в ней время от времени, отходил после бурных загулов, мог по полгода не появляться, пока не превратил в свою мастерскую. Пока не оживил комнату с номером 30.

— Ты меня не слушаешь, Илья Дмитриевич! — Убрал от уха кричащий мобильник. — Ты опять игнорируешь меня! Живешь в придуманном, в своем рисованном мире и думаешь, что все, кто не вхож в твой мир, не жильцы?! Мертвецы?! Так получается! Так вот, знай, мертвец — один лишь твой отец, а на нас всех нечего крест ставить! Савва тоже долго таскаться с тобой не будет. Убежит, не обернется. Добьешь и его, вот увидишь!.. А Алиса — прекрасная девушка, ты ей мало того что жизнь сломал, ты насильно ее аборт заставил сделать. Убил моего внука! Ты! Ты убийца, слышишь! Убийца! И меня ты хочешь убить! Свою мать родную! Да?! Давай! Убивай!

Сын запрокинул голову и смотрел в небо.

«По сути неба не существует, — размышлял, — оно продолжение нас. Мы — это небо. В продолжение... Небо всюду, чем оно выше и подальше от нас, людей, тем чище... Прозрачней».

— Думаешь, я забыла, какой ты меня изобразил в своей мазне?! Ладно, отец у тебя в гробу с бутылкой в зубах лежит... Ты меня сделал без глаз, без ушей, с какой-то собачьей пастью вместо рта... Это ты меня такой видишь, я так понимаю?! Так почему не убьешь?! В гроб уже положил бы лучше с отцом вместе!..

Пока мать переводила дыхание, сын успел сказать:

— Ты забыла, ты такая безучастная, ничего не желающая ни видеть, ни слышать, ты тоже в гробу лежишь, почти рядом с отцом.

Мать не слышала сына, продолжала:

— Савва — положительный молодой человек, спорт любит, работает на нормальной работе, семью завел. А ты что делаешь? Изображаешь его какой-то девочкой с бантиками и шарами воздушными! Это что, по-дружески, хочешь сказать? Сделал из него какого-то трансвера!

— Трансвестита, — поправил тихо Илья и подмигнул другу. Савва терзал в руках пачку сигарет:

— И мне досталось, — подмигнул.

— Я бы на его месте тебе морду набила.

— Так набил, — и добавил: — Он, не забывай, как и все, в гробу, и леденец еще во рту, помнишь?..

— Ничего я не помню!

— То было время гробов. «Взгляд из гроба» все это называлось, — говорил сын.

— И помнить ничего не хочу! Не желаю! — всхлипывала мать. — Снова таблетки пить из-за тебя. Всегда все из-за тебя! Сделал из меня...

— Прости меня, мама, — перебил сын. — Честно, я постараюсь больше так не делать. В гробах точно никого не нарисую. Клянусь. Только скажи, что прощаешь.

Савва уронил пачку. Мать, заикаясь:

— Я, я, у теб... у тебя все, все хорошо?..

Илья молчал.

— Не думай ничего такого. Я всегда тебя прощаю. Ты что там такое подумал? Я прощаю, и рисуй ты, чего хочешь. Хоть снова меня в гроб уложи...

— Спасибо, мама.

«Взгляд из гроба» — серия работ формата А4 — хранилась у Саввы в дипломате под ключом подальше от многих глаз. Лиц, жаждущих кровавой расплаты с картинками и автором.

На кусках фанеры общие знакомые, еще живые, смотрят на мир из собственно созданных своей жизнью гробов. Илье нравилась серия. Всем остальным — нет. Савва долго смеялся до слез над своим гробом:

— Что-то в этом есть.

Алиса, увидев себя, сказала коротко художнику:

— Застрелись.

— Мы создаем гробы для самих себя своими делами, поступками, — объяснял автор. — Словами своими, желаниями, мыслями, мечтами... Так и живем в гробах. От гроба до гроба...

Алиса лежала в гробу, обмотанная пуповиной ребенка, которого держала на груди, между ног рос куст колючек...

— Это я себя нарисовал на самом деле, — услышал как-то Савва. — Если приглядеться, пальцы испачканы в красках, и кадык, у Алиски его нет. Но почему-то такие заметные мелочи никто не увидел. Мы видим то, что льстит нашему глазу. Я и не тебя одел девочкой — себя. И родители — взглядишь, там всюду я. Кругом, везде и всюду один я!.. Мелочи выдают истину...

Илья этого не знал, но Савва в тот же вечер достал из укрытия картины и с ужасом и восторгом разглядел в себе с бантами и леденцом Илью. Как он сразу не увидел этот печальный взгляд исподлобья?..

«Под столом, или Портрет чудовища» — назвал комнату 29.

Гриша во мраке под столом не один, с ним его родители. С ним его детство — единственное ценное, что есть в его жизни. За столом сидит нечто — то самое чудовище. Оно сломало жизнь мужчине. Чудовище — его спутник по жизни. Его мать, партнер, детство, судьба, смерть...

Клок волос со своей волосатой груди дал мне сам — для кисточки. Пьяный, он способен еще не на такие поступки...

Я прихватил у него для своей работы старую семейную фотографию.

Гриша в том году пошел в первый класс, он в школьной форме и с заметным синяком под правым глазом. Подрался в первый же день. Отец дал ремня, поставил в угол, мама принесла втихаря кусок творожной запеканки, поцеловала, шепнула что-то утешающее...

Гришино детство — золотистая лужица, раздавленная когтитыми, мохнатыми лапами чудовища. У монстра нет лица, морды, назовите как хотите, рожи... Потому что портрет, портрет с лицом чудовища, что я нарисовал, Гриша прячет от всех и от себя...

Стены в моей комнате ожили, следом за обоями — потолок. Они дышали, пульсировали, в самый неподходящий момент могли сузиться до размера коробки (черепной?). Все в комнате тогда уменьшалось. Сердце комнаты (или это не оно бьется в темных каменных внутренностях?) не дает уснуть. Стучит, кричит на разрыв ушных перепонок и сердца человеческого.

Не сплю третью ночь.

На четвертую заметил, что с готовыми работами что-то не так.

### *Время кормежки (Брага из человечины)*

Ивашко договорилась о встрече в «Шоколадном рае», утром напомнив эсэмэской: «В 11 жду в раю:»).

Илья опоздал на полчаса. Ольга Игоревна — женщина пунктуальная и ответственная, выпила три стакана молочного коктейля, поэтому, когда появился художник, она торопливо поздоровалась, исчезла в туалетной комнате. Появилась минут через пятнадцать.

— Коктейль «Метель» не заказывай, — процедила сквозь зубы. — Это не метель, это пурга какая-то.

Илья нашел на сотовом сфотографированные работы, положил на стол.

— Вправо листайте.

Ольга Игоревна смотрела на фотографии и не дышала. Просмотрев на третий раз, сказала хрипло из-за пересохшего горла:

— Как живые. Ей-богу. Натуральные... Особенно мальчик с разрезанным ртом. Кровь настоящая, и кажется, что еще идет... Течет...

Художник перегнулся через столик.

— Настоящая. Угадали.

Директор Художественного центра, не отрываясь от разглядывания мальчика с перебинтованным лицом и кровавой розой вместо рта, сглотнула:

— Превосходно.

Бинты, насквозь пропитанные кровью, — ими был под завязку забит целлофановый пакет и выставлен за дверь комнаты 33, так часто делали соседи, чтобы не забыть вынести мусор поутру. Илья по-соседски вынес пакет...

На картине мальчик с лезвием в руке и разрезанной пополам губой, кровавые ленты обратились кровотокащими розами. Капли крови на бинтах, на руках и груди матери. У матери заячья губа, сильно похожая на воспаленные, возбужденные женские гениталии.

— Название как?

— Пойди к муравью?.. — не задумываясь, отчеканил.

— Да нет, с настоящей кровью, мне она прям в сердце забралась. До мурашек, вот взгляни, — протянула белую руку с гусиной кожей. — До дрожи и за душу.

— А, эта комната. Губа в разрезе.

— Превосходно, превос... У них тут крепкое не подают, поэтому я с собой коньяк принесла, сейчас кофе закажем черный, отметим.

Илья согласился. Коньяк расслабит, коньяк поможет забыться хмельным сном.

Пьяные сны не так страшны.

Из «рая» отправились в кабинет Ольги Игоревны, где в тумбочке стола пылился французский коньяк, туда и приехал Савелий за другом.

Илья обнимал Ольгу, Оленьку и обращался на «ты», как бывало каждый раз в момент разгула веселья на встречах-фуршетах. Потом развеется дым алкогольной эйфории, она снова станет для него Ольгой Игоревной.

Решили, что объявлять точную дату выставки не будут.

— Не будем! Не будем! — махала руками Ольга и в сотый раз напоминала: — Но Губа моя, ты должен мне ее подарить.

Илья не отвечал.

Савва появился в самый нужный момент, решающий, бежать еще за бутылкой или расходиться.

Победил разум. Ольга осталась ждать мужа. Савва повел друга к остановке автобуса.

— Они растащат меня по кусочку, — ворочал языком Илья, — им мало всего, что даю. Им нужен буду я. Часть меня, в каждой из них и так часть меня. Но им мало, им необходимо больше меня. Моя боль, мои слезы, мои сны... Кровь. Им нужна моя кровь!..

Савва уговаривал остаться переночевать у него на диване, напрашивался проводить Илью до общежития.

— Нет, нет, только не ты. Они и тебя сожрут!

Посадив художника в автобус до окраины, Савва успел крикнуть в закрывающиеся двери:

— Позвоню через час, не отключай телефон, или приеду на хрен!

Илья, сложив руки в приветственном жесте, потряс ими над головой.

Савва достал мятую пачку «Винстон», обсыпав себя крошками табака.

«Утро пахло кровью», — запишет художник следующим вечером. Похмелье разрывало голову, путаница из реального и приснившегося впивалась в сердце и мозг острыми иглами страха, безысходности, стыда...

«Метания», — написал Илья. Да, были метания, он помнит, тело помнит синяками, ноющими на боках и коленях, синяками... Порезами.

На ладони левой руки две глубокие, воспаленные, покрытые коростой раны. Полосами. На ноже — засохшие кляксы крови, на полу... Кровь на картинах.

Он метался по комнате — загнанный, пойманный, обезумевший, а отыскав нож, резал ладонь и кормил кровью жадные рты картин-комнат.

Да, он помнит, как вгрызлась в ладонь пьяная от похоти и жажды Галя-Губа, как высасывала вместе с кровью его легкие и печень...

Невидимка из 32-й комнаты, он поселился на четвертом листе ДВП. Это журналист, вернее, бывший журналист, после смелой статьи теперь прячется от бандитов. На картине его нет, он достиг состояния полного нуля, и теперь он — пустое место. Ему не нужна была моя кровь, ему нужно было тело. Это он пытался содрать с меня кожу, даже не содрать, забраться под нее. Хотел стать мной?

Его помощник, мерзкий голубь, вонзал клюв, целясь мне в глаза.

— Лучше выключь мою печень! — кричал я, распятый подобно Прометею на полу комнаты. Картины нависли надо мной с ожившими жильцами — пленники комнат, они не ведают, что творят, — это все дух комнат. Душа единого зверя зверей. Минотавра.

К ладони по очереди приложились все, даже соседка-старушка, божий одуванчик, баба Поля. Конечно, это не она, это все комната — зло, с которым она борется силой молитвы и верой...

Покончивший самоубийством висельник накинул мне на шею ремень и, в точности как на картине, что еще не дописал, вздернул меня на двери, как тряпичную куклу. Я просунул руки под обжигающую ленту ремня и последнее, что увидел, как Виталий-Космос нагнулся ко мне с молотком в руках и гвоздями.

— Ты, главное, когда ноги буду прибивать, вниз не смотри, — прошипел он, — а то мало ли что...

Художник написал: *«Они разбили меня. Я не целое. И больше не буду целым никогда».*

Начало осени.

«Поминки по Маргарину» переименовал, назвал «Сын Щелкунчика». Название — основа. Отправная часть в путешествии по произведению. Точка отсчета. Как корабль назови...

Никогда не признавал работы без названия. Неполноценность, незавершенность, безликость. Имя делает тебя одушевленным, существующим, конкретным...

Все, что имеет имя, нельзя просто взять и безнаказанно уничтожить. За убийство имени придется расплачиваться.

Поэтому я никогда не давал имена и клички рыбкам, хомякам, попугаям...

У случайных партнерш не спрашивал, как их звать, называл синичкой, волшебницей, радостью...

Скоро зима.

Дописал «Историю с табуретом» — говорящее название, не правда ли?.. Оно все рассказало и без меня. На картине, конечно же, главный герой — табурет. Табурет Достоевского. Да, можно добавить — история с табуретом Достоевского. Надо подумать... Баба Поля с топором здесь уже на добавку...

Это она шепнула мне: «Ты болен...» — и топор опустился аккуратно на мой затылок.

— Болен, болен! — подхватили картинные обитатели комнат.

— Отдай мне свою кожу, тело отдай! — визжала пустота комнаты 32.

— Нам нужна кровь. Много, много крови, — мать и сын с разрезанными ртами.

— Ты будешь моим новым экспериментом — мы попробуем тебя распять и посмотрим, что получится. Воскреснешь?.. Знаешь, сколько гвоздей нужно для распятия? — квартирант из комнаты 27.

За Гришу просило чудовище, оно хотело, чтобы я отдал свое лицо. А Гриша хотел лишь немного выпить:

— Из человечины получается неплохая брага...

В зеркало не смотрюсь. С Саввой не вижусь второй месяц. Он приезжал на той неделе, стучал, обещал, если не открою, выбьет дверь. Пообещал клятвенно, что позвоню и скажу, когда встреча.

Встреча сегодня, а я боюсь, что ветер разорвет меня, как та училка мой первый рисунок, в клочья, меня, и без того растерзанного на куски... Меня — оболочку.

Бежать. Надо бежать отсюда!

Побег. Моя новая работа будет называться «Побег».

Останется совсем ничего — две с половиной комнаты. И я свободен. Эксперимент закончится выставкой и моей победой. Пишу, а сам не верю в победу. Со мной это впервые. Я всегда знаю, что первый. Или лучший — или никак. Второе не для меня...

Я боюсь — напишу это сейчас, но потом зачеркну. Я не должен бояться. Страх питает тьму. Их...

Я говорил, что мне больше не снятся кошмары? Они теперь реальность. Сны общаги. Сны комнат. Сны минотавров. Почему минотавр вдруг во множественном числе? Потому что их много!..

Врач, хороший знакомый Ольги Игоревны, пообещал, что все будет лишь между ними, в строжайшей тайне, если Илья пообещает, что ляжет на обследование до конца года.

Илья пообещал, скрестив на всякий случай пальцы на правой руке и на левой, он с детства не знает, на какой руке правильной...

Пока он будет принимать кучу таблеток и сдавать кровь на анализ два раза в неделю.

— Сифилис? — Савва перебирал названия болезней, запивая каждое темным пивом из горла бутылки.

— СПИД?!

Илья мотал головой:

— Нервное истощение, еще раз говорю.

Мать бы начала с других болезней, яркой картиной — истеричные выкрики за кухонным столом в их квартире:

— Рак! Это рак, я всегда знала, — хватаясь за таблетки. — Опухоль мозга!

А Савва предполагает:

— Триппер, хламидиоз, простатит...

— Побег — это не просто побег из зоны заключенного там по справедливости убийцы. Это побег от жизни. Метафизический. От наказания не сбежишь ведь, правда?..

— Правда то, что ты дохлый, как моя смерть! Тебя они там правда едят, что ли?.. Сжирают прямо.

— Я же когда работаю...

— Да, да, не ем, не сплю, не сру... У тебя щеки впали, глаза одни вон... Ребра скоро вылезут наружу, продырявят любимый свитер...

Художник повторил:

— Еще две картины. Сейчас с «Побегом» разберусь, я две комнаты пишу сразу, еще «Нового Адама» творю... Твоя любимая тема, кстати, любовь и измена, — сменил тему Илья.

Савва попался на удочку.

— С чего это моя любимая тема? — отставил пиво.

Сидели все в том же павильоне, что и полгода назад, только пиво пили темное, Савва все так же мучил очередную пачку сигарет.

— Ты же у нас веришь в любовь? А значит, и можешь, как вариант, предположить измену...

— Я для измен не создан, не так заточен, ты же знаешь. Я в этом плане как три рубля.

— Лох для измены, — улыбнулся друг. — Это вот и есть новый Адам. Не обижайся.

— Так ты прав, тебе ли не знать, что не для меня вся эта киношная любовь со всякими страстями-мордастями. В жизни все же не так ярко и пышно. Может, у вас, у богемы, все так, но у большинства, у простых таких вот токарей, сантехников... Моя любовь тихая, домашняя... Без страсти, рока, измен тем более...

— Я расскажу свою историю об измене, — хихикнул и потер довольно ладони. — Веселая история получится с комнатой 26.

— Ты вообще думаешь об Алисе? — Вопрос Саввы завис в перегарном воздухе пивного павильона.

Илья разглядывал дыру в пластмассовом столике. На младенца в утробе похожа была дыра, Илья заговорил:

— Я не заставлял ее идти на аборт. Это было ее, и только ее решение. Я думаю, роди она, ребенок мог бы много что исправить. Изменить.

Савва облегченно выдохнул:

— Я так и знал, знал, что ты хотел ребенка.

Илья ничего не сказал в ответ, продолжая разглядывать дыру.

Его короткие, часовые бегства от комнаты, от картин всегда заканчивались кровью.

«Кормежка, — отмечал каждый раз после дезертирства в блокноте художник, — очередная кормежка в наказание».

— Если придется, буду кормить силой, — угрожал друг, складывая в пакет колбасную нарезку, кусок ветчины, сыр, два хлебных батона, консервы и супы быстрого приготовления. Илья не сопротивлялся — может, он научит своих жильцов питаться не человеками, а человеческой едой?..

— Да, и обязательно передай мои слова своим там обитателям, квартирантам, что если ты еще хоть на грамм похудеешь, я порву их, как Тузик грелку. Или волос хоть один поседеет... Это же не дело, бля, — половина башки седая!..

«Мы твоя болезнь! — вопили с картин жильцы комнат. — Врачи ничего не найдут! Тысяча диагнозов и предположений и ни одного верного! Тысяча таблеток и литры крови...»

Затыкать уши берушами, надевать наушники с громкой музыкой — дохлый номер. Они кричали в голове.

От любовников после каждого свидания оставалось много интимных сувениров, следов...

«Оживить нового Адама, подобрав использованный презерватив, было проще простого». Теперь он пялился на меня с удивлением и непониманием, точно такое же выражение лица будет у него, когда он найдет третий ключ, и измена — а любовники всегда кому-то, пусть даже самим себе, изменяют — перейдет на новый уровень, станет отрезвляющей. Погибелью. Он изменял жене. Жена ответила той же монетой. И от этого он уже не сбежит. Придется с этим жить, хоть как-то жить...

Все мы беглецы от жизни. Легче придумывать жизнь, выдумывать счастье, строить позитив, изображать радость, доброжелательность... Убегать от себя настоящего, от истинной личины жизни.

Брага на человечине. Греха прав. Вот определение жизни человеческой — брага!

И хоть заубегайся. Это бег по кругу. Все циклично. И комнаты знают, что будут новые жильцы всегда. Одни уходят, приходят другие. Кормежка не должна прекращаться...

*Время считать  
(Отдай свое сердце)*

Зима нового года.

Опять клятва. Поклялся мамой, что как только допишу последнюю картину, лягу в больницу к доктору, хорошему знакомому Ольги Игоревны.

— Клянусь мамой, — так и сказал седому крепко сложенному мужчине в кабинете с табличкой «заведующий отделением». Врач ответил:

— На этот раз я вам верю, Илья. Мама — это серьезно. Это святое...

Я не стал складывать пальцы крестиком, я болен, и с каждым штрихом последней комнаты, моей комнаты, я растворяюсь все заметней...

Это не слабость из-за переутомления, не нервное истощение и не авитаминоз... Они поглощают мой кислород. Дышат моим воздухом, моим дыханием. Дышат мной.

— Ты что, себя рисуешь, получается?! — спрашивал сотик голосом друга.

Я отвечал:

— Ну, а кто в тридцатой комнате живет? Последняя картина. Автопортрет в интерьере.

Шутить не было ни сил, ни желания.

Они украли мой смех?

*Свыкся с болью внутри черепной коробки, привык к кровавым сгусткам после продолжительного*

*кашля, к резкой смене температур: может морозить до ноющих зубов, как вдруг начинаю истекать потом...*

Повернул готовые работы к стенам, пусть любуются...

Осталась комната номер 30.

Главное, не потерять нить Ариадны, не заплутать, не сгинуть... Минотавры выбрались из кошмаров и притворяются живыми в мире человеческой браги. Притворяются нами. Мной?..

Странное дело, становлюсь забывчивым. Не помню снов. Ни капельки не помню...

Звонила Алиса (или это мне приснилось?), долго молча слушали друг друга. Я сказал первым (всегда должен быть первым, о да!):

— Привет.

Она плакала, голос тонко дрожал:

— Виделась с твоей мамой, сказала, что виновата. Что ты никакой не, ну ты понял...

Думаю, что понял.

Она говорила:

— Если бы можно было все переписать заново, я бы переписала не задумываясь. Мы можем попробовать снова, еще раз... Пообещала твоей маме, что скажу это тебе. Она просила передать, что видит плохие сны с тобой. Чтобы ты берег себя и не сотворил ничего. Она сильно переживает за тебя. Таблетки горстями глотает.

— Постараюсь, — все, что смог сказать, — постараюсь.

— Может быть, постараемся и мы?.. Постараемся снова быть вместе?..

Слезы, женские в особенности слезы, творят чудеса. Алиса в голос заплакала после вопроса, а я не смог сказать ничего, кроме:

— Мы постараемся.

Я никогда не научусь отказывать и говорить «нет».

Она больше не плакала, «позвоню» сказала, сказала «спасибо», отключилась. Поэтому, когда тут же

раздался новый звонок, я даже не посмотрел на номер, уверенный, что это Алиса. Номер скрыт, это я проверил потом, а тяжелое дыхание в микрофон наполняло тревогой, страхом перед неизвестностью, безумием.

— Это ты! — говорю, стараясь сохранить твердость в голосе. — Ты, я знаю! Выбрался! Теперь идешь за мной?! Что ж, я готов, давай!

Сначала исчезли все звуки, исчез шум в ушах. Минута безмолвия — пугающего, разрывающего, и наконец я услышал ответ. Рев разъяренного животного, рев Минотавра оглушил, я убрал телефон от уха.

Звериный клич подхватили мои квартиранты.

В какой-то альтернативной реальности я позвонил Савве, кричал, что чудовище из лабиринта, из картин выбралось и придет со дня на день за мной. Друг пригнулся тут же, мы собрали мои вещи и убрались подальше от комнаты 30, от картин, минотавров...

Все в той же псевдореальности мы сошлись с Алисой и через месяц расписались, Алиса забеременела, моя мать была, по ее выражению, на седьмом небе от счастья и забыла про таблетки.

Савва был свидетелем на свадьбе, с неизменной скомканной сигаретной пачкой.

Ольга Игоревна выставила восемь работ, их забрали из 30-й комнаты сотрудники Художественного центра. Выставка «Бесконечные комнаты» стала новой сенсацией, так, по крайней мере, напишут в газете...

Не секрет, мы живем в нескольких реальностях. Многих. Сложно порой определить, какая из реальностей реальна...

Жизнь тоже всего лишь продолжение сна.

Минотавр звонил с наступлением темноты еще шесть раз и страшно дышал. Потом неживой голос из небытия начал считать:

— Раз. Гроб на колесиках выехал из могилы и едет к воротам кладбища. Он ищет твою улицу.

Обрывалось соединение гудками. Не менее зловещими. Сигналами SOS.

Первое желание — свалить из комнаты и забыть про все, что тут происходило, начать писать заново, только не эти бездушные, бездомные комнаты...

Победила мысль — я доведу начатое до конца.

До смерти?..

Если это проверка на прочность — я не спасую. Пусть будет сражение. Минотавры всегда проигрывают. Ариады, принимая всевозможные облики, спасают своих Тесеев вот уже тысячи тысяч лет...

Минотавр должен умереть, и в этот раз от моей руки. От моих кистей и красок! Это мое оружие!

00:01

— Три. Гроб на колесиках нашел твою улицу. Он едет по дороге, ищет твой дом.

Я сказал:

— Да, да, это мы уже проходили.

Страшилка из детства была не страшней истории про черную руку, но более цветастой, что ли, яркой... Лакированный гроб на колесиках выбирался из могилы и, сияя бездонной чернотой безысходности, мчался через весь город к непослушной девочке. Находили потом девочку бездыханной с колесиком во рту.

— Откуда колесико?.. — спрашивал кто-нибудь по обыкновению, и тогда следовало напугать невнимательного маленького слушателя, прокричав что-то наподобие: — Гроб на колесиках нашел тебя!

Но мне всегда больше нравился, был ближе своей вычурностью и кровожадностью выкрик:

— Отдай свое сердце!

— Тебе нужно мое сердце! — закричал на четвертую ночь, после того как неживой монотонный голос объявил, что гроб на колесиках нашел-таки мою улицу и ищет дом.

— Не дом, а общагу, тупое животное, скотина, — продолжал я орать в телефон. — Все знают, если помещать мне работать, можно конкретно огрести по полной! Понял, мразь? Можно пострадать!

Гудки смеялись надо мной. Невидимые квартиранты смеялись. Смеялась девятая картина без названия. Все, что я сделал, — закрасил весь лист ДВП черной сажей. Задумывал, что сверху белой краской впервые напишу автопортрет. И я писал с выключенным светом, после полуночи в крошечной темноте, в лабиринте ожидания развязки...

Лабиринты внутри нас. Выбираются немногие... Одни блуждают мрачными коридорами до конца жизни в поисках выхода... Другие, смирившись, обживаются в укромном уголке лабиринта. Третий сжирает Минотавр. Лишь единицы находят нить спасения, выбирают к свету...

— Семь. Гроб на колесиках нашел твою квартиру и едет по лестнице.

— Нашел комнату, — поправил я Минотавра. — Здесь у нас комнаты...

Сходил до дальнего магазина, купил бутылку водки, закуски... Через два дня, на третью ночь, по моим подсчетам, Минотавр должен найти меня в моей комнате перед картиной с кистью в руках...

— Встречу тебя как полагается. Хлебом и солью... Водкой и перцем, взял острое лечо. Наверное, правильной будет зажечь свечи, чтобы randevу не проходило в полной темноте, купил две восковые свечи.

По дороге назад встретил Михаила из 28-й. Кивнули молча друг другу, разошлись.

Стоп. Ты же повесился, — обернулся я, спина живого висельника казалась живой и реальной. В забеленном зимнем пейзаже.

— Миша, — окликнул я, — ты... на автобус?

Миша кивнул.

— На балет, — сказал. — «Щелкунчик», с детства мечтал...

И он пошел дальше. По растоптанному в слякоть снегу...

А я пошел назад, побежал, в точности как журналист Ник, побежал назад, в ноль.

Время. В лабиринте времени легко потеряться, забыть... Прошлое запросто становится твоим настоящим, и будущее может стать прошлым... Мертвые оживают или еще не умерли... Живые смотрят из гробов и не хотят из них выбираться... Время может остановиться, тогда вечная остановка и вечная жизнь, бессмертие нам обеспечено...

Позвонил матери, стараясь не вслушиваться в гудки, за гудками скрывалась темнота. Мать без приветствия сразу же рассказала сон:

— Ты отрезал себе уши и пришил их к своей картине, вытащил глаза и тоже туда, на картину, тут я и проснулась вся в слезах, ну и расстроилась вся. Пришлось таблетку выпить... На воду сон рассказала, потом отпустило...

— Дурацкий сон, — сказал, но подумал другое: сон казался пророческим...

— Ты береги там себя, не заставляй меня нервничать, и так, знаешь, нервы ни к черту... Все отец твой напортил своей пьянкой. Пообещай, что будешь осторожным и не злоупотреблять!..

Илья пообещал. Снова пообещал.

Савва испугался звонка.

— Что случилось?! Я сам сейчас хотел звонить, — в голосе нескрытое волнение. — Ты мне сегодня приснился, весь в крови такой, и пахло, как у вас в общежитии...

— Это растворителем пахнет, ацетоном, лаками всякими.

— Но кровь...

— Скорей, это краска была.

— Это уже получше, потому что потом я увидел, как из шкафа твоего, что напротив двери, вылезает что-то непонятное, знаешь, черт такой с рогами, весь в шерсти, с глазами зелеными, и язык, как у змеи...

— И ты его хлопнул, конечно же?

— Проснулся я, слава тебе...

Савва не договаривал, во сне черт из шкафа вырывал сердце у художника: — Отдай свое сердце!

— Я аж закурил, сука, а ведь почти год уже...

— Зря, — сказал Илья.

— Что зря? Что закурил? Конечно, такое не каждую ночь снится...

— Что не досмотрел сон до конца, зря. А я вчера повешенного соседа видел. — Решительность и уверенность в голосе, как и в том, что видел. — Даже поговорил с ним. Он на балет ехал...

Друг в трех километрах от комнаты 30 спросил:

— Во сне видел, что ли?..

Илья не знал.

Друг повторил, пришлось отвечать:

— Толком не скажу. Не совсем во сне.

— Это как, не совсем?..

Художник посмотрел на закрытую клеенкой в фиалковый цветочек девятую картину:

— Скоро узнаю.

Скоро наступило не скоро.

К полуночи накрыл стол-тумбу на двоих, зажег свечи, последний раз он подобное делал в другой жизни,

в первую ночь с Алисой. Вместо водки было полусладкое вино, и в вазе, где сейчас лечо, оттаивали, покрываясь каплями влаги, крупные виноградины из морозилки.

Ровно в ноль часов ноль минут сотовый вспыхнул зловещим, радиационным сиянием:

— Девять. Гроб на колесиках нашел тебя и стоит у тебя за спиной.

Илья обернулся. За спиной была клеенка в цветочек, за ней недописанная картина, дальше стена...

Минотавра не было.

— Десять, — налил водку и выпил Илья. Налил во вторую рюмку и выпил.

Так он сидел всю ночь, попивая водку за себя и не-пришедшего гостя в молчаливом ожидании. И уснул с первыми лучами рассвета, упав на матрац, без сновидений.

Он не пришел.

Минотавр сдался?..

К следующей полуночи снова купил водку, выложил остатки лечо.

В этот раз, возвращаясь из магазина, с уверенностью высматривал Мишу-самоубийцу. Висельник не появился. В полночь сотик ожил:

— Девять. Гроб на колесиках нашел тебя и стоит у тебя за спиной.

Обернулся. Никого. Все те же фиалковые цветочки.

— Где ты?! — закричал и остаток ночи прикладывался к бутылке прямо из горла. Не закусывая. В ожидании своего Минотавра...

Наутро голова раскалывалась от колокольного звона и рвало кровью. К вечеру отпустило, сходил за бутылкой и новой банкой лечо...

Стоит ли говорить, что и в эту полночь все повторилось.

— Девять. Гроб на колесиках нашел тебя и стоит у тебя за спиной.

И в следующую полночь.

Посчитал полуночи бутылками — девять бутылок. По ходу, девять — роковое для меня число.

Сейчас, в ожидании десятой полуночи пришел к осознанию.

Возвращаясь сегодня в девятый раз, встретил живого мертвеца. Спросил его:

— На балет собрался?

Миша, как живой, покраснел, что удивительно, покрутил у виска пальцем.

— На «Щелкунчика» же, балет?.. — заикался и чувствовал, как от меня во все стороны шарашут токи перегарной вони.

— Протрезвей.

Не обращая внимания, продолжил настаивать:

— С детства ты мечтал сходить на балет и тайно ходишь, давай уже признайся хотя бы самому себе!

— На вахту я, — процедил сквозь зубы покойник и заехал мне кулаком промеж глаз.

В общаге сразу прошел к мойке, смыл кровь, она пошла носом — и вновь издевка времени, или это я пошел по уже пройденной дорожке лабиринта, запетлял?..

Сын Гали-Губы с еще не изрезанной губой набирал воду в пластиковую чашку.

— Сегодня важный вечер, — подмигнул ему.

Он не ответил. А я знал, что через час он будет стоять перед зеркалом с лезвием в руках... Через час он будет похож на маму...

Весь вечер даже с закрытой форточкой слышал кукование.

Кукушка начала свой отсчет.

А в той же альтернативной жизни я отрезал уши и приклеил их на суперклей к себе, написанному маслом.

Остались глаза. Мамин сон в параллельном измерении стал реальностью. Автопортрет с частями моего тела завизжал, кровавая полоса губ расплзлась чернотой:

— Отдай свое сердце!

Я сказал:

— Это будет сложно, — и на помощь пришел Самоделкин из 27-й комнаты.

Виталий-Космос всегда был мастер на эксперименты, у него для такого случая имелись инструменты собственного изготовления из кухонных ножей, лезвий бритвы и лески.

— Сердцевырезатель, — хвастался чудовищным прибором. — В три нажатия удаляет сердце без лишних движений. На раз — вскрываем грудную клетку, на два — вырезаем моторчик, на три — все готово, можно зашивать.

— А кто будет зашивать? — пытался оттянуть смертельную процедуру, казнь.

— Имеется и такая штукавина, — расплылся в улыбке Космос. — Шиватель Храмова...

Автопортрет с ушами противно застонал, заскулил в предвкушении кровавой кормежки...

— На раз, — подмигнул Космос.

И я услышал свой голос:

— Раз, — произнес не своими губами.

Холодное лето, теплая зима. В комнате жарко, душно, испарение от масла дурманит.

Все. Картины, матрац, стол-тумба, шкаф, я... Все плавает в вязкой субстанции, маслянистой, дурно пахнущей... Бульон? Брага?..

Водка — спасение от реальности бульона/браги. Налил очередную рюмку. Цифры на сотике поменялись на 00:00.

Выпил. Телефон требовал ответа.

— Девять. Гроб на колесиках нашел тебя и стоит у тебя за спиной.

Услышал в очередной (тысячный?) раз, и сотовый отправился прямым в стену.

— Десять! — закричал. — Десять!

Повернулся.

Считается, что в последние мгновенья перед смертью, за миг, перед глазами пролетает вся прошедшая жизнь. Так и передо мной перелистывалось все давно забытое, прошедшее, сладостное и ужасное...

Клеенка с незаконченной девятой картины сползла (или я сдернул?), и вместо автопортрета на меня взглянул Он, тот, кого так жду. Ждал.

Рогатый монстр оскалился. Краски (или это не краски?) ожили, задвигались живой, дышащей плотью...

Я заметил у него свои глаза, правда, с дьявольски-зеленым, почти перламутровым отливом. Свои торчащие уши.

И мой рот, без сомнения, с моими губами, открылся: — Попался, — сказал я, — попался!..

Параллели сошлись в параллельном мире.

Меня нашли с развороченной грудью, о, как она кроваво чернела клумбой чайных роз посреди бесшабашности размазанных по линолеуму красок. Сердце, по словам полицейских, стучало, приделанное к картинному полотну. «На картине изображено масляными красками человекоподобное существо с фрагментами человеческих органов», — будет записано в протоколе осмотра места преступления.

Боги бессмертны. Художник вечен в своих творениях. Надо подождать, когда он созреет, наберется сил, смелости, чувств... и выберется из мира, лабиринта своих картин в реальность жизни. Из рамок, застывших (застывших ли?) полотен в мир дышащих...

Я выбрался.

## *Время новостей*

Из криминальной хроники еженедельника «Вечерняя среда» и программы «Местное время» телекомпании «АТВ»:

*...Взрывов было больше тридцати!* — утверждают очевидцы пожара в поселке на окраине.

...Также на территории общежития были замечены посторонние личности, ночами в окнах нежилого здания, по словам жильцов соседних домов, был виден зажженный свет, и в комнатах перемещались тени людей...

...Известный в городе экстрасенс:  
— *В общежитии обитали души неупокоенных, и с пожаром они наконец обрели покой.*

...Городская администрация пожар никак не прокомментировала.

Исполняющий обязанности директора жилищного коммунального управления «Трест», в ведении которого было общежитие, заявил, что могло иметь место незаконное заселение.

...Возгорание произошло на первом этаже общежития, где в закрытых комнатах и коридорах долгое время хранились летучие и легко воспламеняющиеся жидкости: краски, лаки, растворители, принадлежавшие, по предварительным данным, закрытому керамическому заводу. По факту халатного и незаконного хранения горючих веществ, умышленного причинения вреда государственному учреждению возбуждены уголовные дела.

Из неофициального источника нам стало известно, что на втором этаже закрытого из-за аварийного состояния общежития находилась мастерская художника-самоучки Ильи Дубина, известного своими провокационными и скандальными выставками.

Местонахождение художника пока неизвестно, как и судьба новых картин, которые планировалось выставить в Художественном центре искусств осенью 2017 года.

Напомним, что во время пожара предположительно в здании общежития никого не было. Ведутся поисковые работы.

Человеческих жертв при пожаре в общежитии нет — таковы последние данные пресс-службы МЧС города.

Найдены чудом уцелевшие работы художника. Представители СМИ смогут увидеть спасенные полотна.

*«Бессмертные комнаты» — таково предполагаемое название цикла из восьми картин, —* рассказала директор Художественного центра Ольга Ивашко, — будут выставлены сразу после устранения незначительных повреждений.

— *Это будет убийственно,* — добавила она. И с ней нельзя не согласиться. Достаточно лишь взглянуть на одну из работ (смотрите фото 1), чтобы понять это.

Картина без названия, но всей редакцией единогласно окрестили работу «Ангарский Минотавр».

И да, кто не спрятался, он не виноват.



**ВХОД. ОН ЖЕ ВЫХОД**



## СОДЕРЖАНИЕ

«Шукшинская литературная премия».....	5
Об авторе.....	6
От редактора <i>А. В. Кирилин</i> .....	7
РАССКАЗЫ	
Птичка-невеличка.....	17
Иду искать!.....	32
Астероид (Утопленники).....	44
Развилка.....	65
Горсть родины.....	80
Половица в небо.....	95
Друг из СССР.....	108
Оскар Джоконды и улыбка Чеширского кота.....	129
Под кожей (Последний цвет).....	138
Опечатка.....	163
Улыбки.....	177
Гражданский долг.....	187
Китайская головоломка.....	195
Старик и радио бога.....	202
Кошачья косточка.....	210
Земля пухом.....	219
Восьмой день недели.....	235
Птичка, возвращайся домой!.....	245
Трюк.....	257
Шнурок.....	271
Ковчег (Вода стирает камни).....	285
Место встречи поездов.....	313
Клятва.....	316
Ангел на чердаке.....	352
Змея кусает себя за хвост.....	361
ПОВЕСТЬ	
Алаведерчи.....	375
РОМАН	
Бездомные комнаты.....	507

*Литературно-художественное издание*

**Корниенко Игорь Николаевич**

Сборник прозы

## **ЗАВТРАШНИЕ ЧУДЕСА**

Редактор: А. В. Кирилин  
Тех. редактор Т. П. Берглизова  
Дизайнер: Ю. В. Раменская  
Корректор: Ю. А. Зименкова  
Верстка: Е. П. Гавриченкова

Подписано в печать 18.05.2020 г. Формат 62x90/16

Тираж 1500 экз. Заказ № 856471.

Отпечатано

ООО «Полиграфический комплекс»,

[www.printyard.ru](http://www.printyard.ru),

+7 (495) 781-64-11,

Москва, ул. Часовая д. 28 к 4, эт. 3, ком. 42в

ISBN 978-5-6044609-0-0



9 785604 460900







